



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### **Правила использования**

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.  
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.  
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.  
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.  
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

### **О программе Поиск книг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

Stanford University Libraries

3 6105 119 180 037





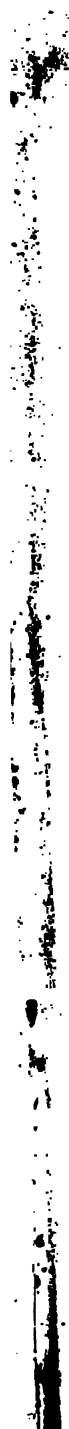
STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES







STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES





А. Б.

СОЧИНЕНІЯ

*Belinskii, V. G.*  
"

В. Б Ъ Л И Н С К А Г О .

СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА И ЕГО ФАКСИМИЛЕ.

ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ.

*Издание К. Солдатенкова и Н. Щепкина.*

---

ЦѢНА ЗА КАЖДУЮ ЧАСТЬ 1 Р. СЕР.

---

МОСКВА.

ВЪ ТИПОГРАФІИ В. ГРАЧЕВА И КОМІИ.

1860.

*ЛРК*

III E

PG2933

B4

1860

v. 9

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ Ценсурный  
Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва, Октября 13 дня  
1860 года.

Ценсоръ Н. Гиллровъ-Платоновъ,



**1844.**

—

**ОТЕЧЕСТВЕННЫЯ ЗАПИСКИ.**

**I.**

**КРИТИКА.**

**(ОКОНЧАНИЕ.)**



**ПАРИЖСКІЯ ТАЙНЫ.** Романъ Ежеся Сю. Перевелъ В. Строевъ. Спб. 1844. Два тома, восемь частей.

Исторія европейскихъ литературъ, особенно въ последнее время, представляетъ много примѣровъ блистательнаго успѣха, какимъ увѣнчивались нѣкоторые писатели или нѣкоторыя сочиненія. Кому не памятно то время, когда, напр., вся Англія на расхватъ разбирала поэмы Байрона и романы Вальтеръ Скотта, такъ что изданіе новаго творенія каждаго изъ этихъ писателей расходилось въ нѣсколько дней, въ числѣ не одной тысячи экземпляровъ. Подобный успѣхъ очень понятенъ: кромѣ того, что Байронъ и Вальтеръ Скоттъ были великіе поэты, они положили еще совершенно новые пути въ искусствѣ, создали новые роды его, дали ему новое содержаніе; каждый изъ нихъ былъ Коломбомъ въ сферѣ искусства, и изумленная Европа на всѣхъ парусахъ мчалась въ новооткрытые ими материкки міра творчества, богатые и чудные не менѣе Америки. Итакъ, въ этомъ не было ничего удивительнаго. Не удивительно также и то, что подобнымъ успѣхомъ, хотя и мгновеннымъ, пользовались таланты обыкновенные: у толпы должны быть свои геніи, какъ у человѣчества есть свои. Такъ, во Франціи, въ последнее время реставраціи, выступила, подъ знаменемъ романтизма, на сцену литературы цѣлая фаланга писателей средней величины, въ которыхъ толпа увидѣла своихъ геніевъ. Ихъ читала и имъ удивлялась вся Франція, а за нею, какъ водится, и вся Европа. Романъ Гюго «Nôtre Dame de Paris»

имѣлъ успѣхъ, какимъ бы должны пользоваться только величайшія произведенія величайшихъ геніевъ, приходящихъ въ міръ съ живымъ глаголомъ обновленія и возрожденія. Но вотъ едва прошло какихъ-нибудь четырнадцать лѣтъ — и на этотъ романъ уже всѣ смотрятъ, какъ на *tour de force* таланта замѣчательнаго, но чисто внѣшняго и эффектнаго, какъ на плодъ фантазіи сильной и пламенной, но не дружной съ творческимъ разумомъ, какъ на произведеніе ярко блестящее, но натянутое, все составленное изъ преувеличеній, все наполненное не картинами дѣйствительности, но картинами исключеній, уродливое безъ величія, огромное безъ стройности и гармоніи, болѣзненное и нелѣпое. Многіе теперь о немъ даже совсѣмъ никакъ не думаютъ, и никто не хлопочетъ извлечь его изъ Леты, на глубокомъ днѣ которой покоится оно сномъ сладкимъ и непробуднымъ. И такая участь постигла лучшее созданіе Виктора Гюго, *ci-devant* міроваго генія: стало-быть, о судьбѣ всѣхъ другихъ и особенно послѣднихъ его произведеній нечего и говорить. Вся слава этого писателя, недавно столь громадная и всемірная, теперь легко можетъ утѣститься въ орѣховой скорлупѣ. — Давно ли повѣсти Бальзака, эти картины салоннаго быта, съ ихъ тридцатилѣтними женщинами, были причиною общаго восторга, предметомъ всѣхъ разговоровъ? давно ли ими шеголяли наши русскіе журналы? Три раза весь читающій міръ жадно читалъ, или, лучше сказать, пожиралъ восторію «Одного изъ Тринадцати», думая видѣть въ ней «Иліаду» новѣйшей общественности? А теперь, у кого станеть отваги и терпѣнія, чтобъ вновь перечитать эти три длинные сказки? Мы не хотимъ этимъ сказать, чтобъ теперь ничего хорошаго нельзя было найти въ сочиненіяхъ Бальзака, или чтобъ это былъ человѣкъ бездарный: напротивъ, и теперь въ его повѣстяхъ можно найти много красоты, но временныхъ и относительныхъ; у него былъ та-

лантъ, и даже замѣчательный, но талантъ для извѣстнаго времени. Время это прошло, и талантъ забыть, — и теперь той же самой толпѣ, которая отъ него съ ума сходила, ни мало нѣтъ нужды, не только существуетъ ли онъ нынче, но и былъ ли когда-нибудь.

При всемъ томъ, едва ли какая-нибудь эпоха какой-нибудь литературы представляетъ примѣръ успѣха сколько-нибудь подобнаго тому, какимъ увѣнчались въ наши дни пресловутыя «*Les Mystères de Paris*». Мы не будемъ говорить о томъ, что этотъ романъ, или лучше сказать, эта европейская Шехеразада, являвшаяся клочками въ фѣльетонѣ ежедневной газеты, занимала публику Парижа, слѣдовательно, и публику всего міра, гдѣ получаютъ французскія газеты (а гдѣ же онъ не получаютъ?), — ни того, что по выходѣ этого романа отдѣльными изданіемъ, онъ въ короткое время былъ расхвтанъ, прочитанъ, перечитанъ, зачитанъ, растрепанъ и затертъ на всѣхъ концахъ земли, гдѣ только говорятъ на французскомъ языкѣ (а гдѣ не говорятъ на немъ?), переведенъ на всѣ европейскіе языки, возбудилъ множество толковъ, еще болѣе нелитературныхъ, нежели сколько литературныхъ, и породилъ великое желаніе подражать ему, — ни того, что въ Парижѣ готовится новое великолѣпное изданіе его съ картинами работы лучшихъ рисовальщиковъ. Все это, въ наше время, еще не шѣрка истиннаго, дѣйствительнаго успѣха. Въ наше время, объемъ генія, таланта, учености, красоты, добродѣтели, а слѣдовательно и успѣха, который въ нашъ вѣкъ считается выше генія, таланта, учености, красоты и добродѣтели, — этотъ объемъ легко измѣряется одною мѣрою, которая усложивается собою и заключаетъ въ себѣ всѣ другія: это — деньги. Въ наше время, тотъ не геній, не знаніе, не красота и не добродѣтель, кто не нажился и не разбогатѣлъ. Въ прежнія добродушныя и невѣжественныя времена, геній оканчивалъ свое

великое поприще или на кострь, или въ богадѣльнѣ, если не въ домѣ умалишенныхъ; ученость умирала голодною смертью; добродѣтель имѣла одну участь съ геніемъ, а красота считалась опаснымъ даромъ природы. Теперь не то: теперь всѣ эти качества иногда трудно начинаютъ свое поприще, зато хорошо оканчиваютъ его: сухія, тоненькія, блѣдныя съ молоду, они, въ лѣта опытной возмужалости, толстыя, жирныя, краснощекія, гордо и безпечно покоятся на мѣшкахъ съ золотомъ. Сначала, они бывають и мизантропами, и байронистами, а потомъ дѣлаются мѣщанами довольными собою и міромъ. Жюль Жаненъ началъ свое поприще «Мертвымъ Осломъ и Гильйотинированною Женщиною», а оканчиваетъ его продажными фѣльетонами въ «Journal des Debats», въ которомъ основалъ себѣ доходную лавку похвалъ и браней, продающихся съ молотка. Эженъ Сю, въ началѣ своего поприща, смотрѣлъ на жизнь и человѣчество сквозь очки чернаго цвѣта и старался выказываться принадлежащимъ къ сатанинской школѣ литературы: тогда онъ былъ не богатъ. Теперь онъ принялся за мораль, потому что разбогатѣлъ... Кромѣ большой суммы, полученной за «Парижскія Тайны», новый журналистъ, желающій поднять свой журналъ, предлагаетъ автору «Парижскихъ Тайнъ» сто тысячъ франковъ за его новый романъ, который еще не написанъ... Вотъ это успѣхъ! И кто хочетъ превзойти Эжена Сю въ геніяльности, тотъ долженъ написать романъ, за который журналистъ далъ бы двѣсти тысячъ франковъ: тогда всякій, даже неумѣющій читать, но умѣющій считать, пойметъ, что новый романистъ ровно вдвое геніяльнѣе Эжена Сю... Эстетическая критика, какъ видите, очень простая: всякій русскій подрядчикъ съ бородкою и счетами въ рукахъ можетъ быть величайшимъ критикомъ нашего времени...

Кажется, вопросъ о «Парижскихъ Тайнахъ» рѣшился бы этимъ и коротко и удовлетворительно; но, вѣрные нашимъ



убѣжденіямъ, которыя для всѣхъ, обладающихъ значительнымъ капиталомъ нравственности людей, могутъ почестъся предубѣжденіями,—мы хотимъ взглянуть на «Парижскія Тайны» съ другой точки и помѣрять ихъ другимъ аршиномъ, кромѣ ихъ успѣха, т. е.. кромѣ заплаченныхъ за нихъ денегъ. Это мы считаемъ даже нашею обязанностью, потому что «Парижскія Тайны» имѣли большой успѣхъ и въ Россіи, какъ и вездѣ. Благодаря хорошему, хотя и неполному, переводу г. Строева, съ этимъ романомъ теперь можетъ познакомиться и та часть русской публики, которая не можетъ читать иностранныхъ произведенія въ оригиналѣ. О «Парижскихъ Тайнахъ» говорятъ и толкуютъ у насъ и въ провинціи, а нѣкоторые столичные журналы отпускаютъ прегромкія фразы о геніальности Эжена Сю и безсмертіи его «Парижскихъ Тайнъ», оставляя, впрочемъ, для своей публики непроницаемую тайною причины такой геніальности и такого безсмертія. Въ свое время, мы уже сказали наше мнѣніе, и въ отдѣлѣ «Иностранной Словесности» представили мнѣніе одного изъ лучшихъ современныхъ критиковъ во Франціи о «Парижскихъ Тайнахъ». Этого было бы и довольно; но могли ли мы тогда думать, чтобы «Парижскія Тайны» до такой степени могли заинтересовать русскую публику? Говорить же о предметахъ общаго интереса — дѣло журнала. Итакъ, будемъ еще говорить о «Парижскихъ Тайнахъ».

Основная мысль этого романа истинна и благородна. Авторъ хотѣлъ представить развратному, эгоистическому, обоготворившему златаго тельца обществу зрѣлище страданій несчастныхъ, осужденныхъ на невѣжество и нищету, а невѣжествомъ и нищетою — на порокъ и преступленія. Не знаетъ, заставила ли эта картина, которую авторъ нарисовалъ какъ умѣлъ, заставила ли она содрогнуться это общество среди его торговыхъ и промышленныхъ оргій; но знаемъ, что она раз-

дражила это общество, — и оно обвинило автора — въ безнравственности! Въ наше время, слова «нравственность» и «безнравственность» сдѣлались очень гибкими, и ихъ теперь легко прилагать по произволу къ чему вамъ угодно. Посмотрите, на примѣръ, на этого господина, который съ такимъ достоинствомъ носитъ свое толстое чрево, поглотившее въ себя столько слезъ и крови беззащитной невинности — этого господина, на лицѣ котораго выражается такое довольство самимъ собою, что вы не можете не убѣдиться съ перваго взгляда въ полнотѣ его глубокихъ сундуковъ, схоронившихъ въ себѣ и безвозмездный трудъ бѣдняка, и законное наследство сироты. Онъ, этотъ господинъ съ головою осла на туловищѣ быка, чаще всего и съ особеннымъ удовольствіемъ говорить о нравственности и съ особенною строгостію судить молодѣжь за ея безнравственность, состоящую въ неуваженіи къ заслуженнымъ (т. е. разбогатѣвшимъ) людямъ, и за ея вольнодумство, заключающееся въ томъ, что она не хочетъ вѣрить словамъ, неподтвержденнымъ дѣлами. Такихъ примѣровъ можно найти тысячи, и ни мало не удивительно, что въ наше время являются люди, которые Сократа называютъ надувалою, мошенникомъ и опаснымъ для нравственности юношества безумцемъ. Къ особенной чертѣ характера нашего времени принадлежитъ то, что за всякую правду, за всякое благородное движеніе, за всякій честный поступокъ, непосредственно и фактически объясняющій значеніе нравственности и неумышленно обличающій развратныхъ моралистовъ, васъ сейчасъ назовутъ безнравственнымъ.

Этимъ ужаснымъ словомъ встрѣченъ былъ въ Парижѣ и романъ Эжена Сю: значитъ, авторъ достигъ своей цѣли, — письмо его дошло по адресу... «Парижскія Тайны» даже подали поводъ къ административнымъ преніямъ въ Палатѣ Депутатовъ: таковъ былъ успѣхъ этого романа...

Чтобъ для большинства русской публики сдѣлать понятіе чрезвычайный успѣхъ «Парижскихъ Тайнъ», надо объяснить жѣстныя и историческія причины такого успѣха. Причины эти принадлежать теперь исторіи; о нихъ перестала говорить политика: слѣдовательно, онѣ сдѣлались уже предметомъ исторической критики. Королевскими повелѣніями въ 1830 году была измѣнена французская хартія; рабочій классъ въ Парижѣ былъ искусно приведенъ въ волненіе партією средняго сословія (*bourgeoisie*). Между народомъ и королевскими войсками завязалась борьба. Въ слѣпомъ и безумномъ самоотверженіи, народъ не щадилъ себя, сражаясь за нарушеніе правъ, которыя нисколько не дѣлали его счастливѣе и, слѣдовательно, такъ же мало касались его, какъ и вопросъ о здоровьѣ китайскаго богдыхана. Сражаясь отдѣльными массами, изъ-за баррикадъ, безъ общаго плана, безъ знамени, безъ предводителей, едва зная противъ кого, и совсѣмъ не зная за кого и за что, народъ тщетно посылалъ къ представителямъ націи, недавно засѣдавшимъ въ абонированной камерѣ: этими представителямъ было не до того; они чуть не прятались по погребамъ, блѣдныя, трепещущіе. Когда дѣло было кончено ревностію слѣпаго народа, представители повыползли изъ своихъ норъ и по трупамъ ловко дошли до власти, оттерли отъ нея всѣхъ честныхъ людей и, загреба жаръ чужими руками, благополучно стали грѣться около него, разсуждая о нравственности. А народъ, который, въ безумной ревности, лилъ свою кровь за слово, за пустой звукъ, котораго значенія самъ не понималъ, что же выигралъ себѣ этотъ народъ? — Увы! тотчасъ же послѣ іюльскихъ происшествій этотъ бѣдный народъ съ ужасомъ увидѣлъ, что его положеніе не только не улучшилось, но значительно ухудшилось противъ прежняго. А между тѣмъ, вся эта историческая комедія была разыграна во имя народа и для блага народа! Аристократія пала оконча-

тельно; мѣщанство твердою ногою стало на ея мѣсто, наследовавъ ея преимущества, но не наследовавъ ея образованности, изящныхъ формъ ея жизни, ея кровнаго презрѣнія, высоко-мѣрнаго великодушія и тщеславной щедрости къ народу. Французскій пролетарій передъ закономъ равенъ съ самымъ богатымъ собственникомъ (propriétaire) и капиталистомъ; тотъ и другой судится одинакимъ судомъ и, по винѣ, наказывается одинакимъ наказаніемъ; но бѣда въ томъ, что отъ этого равенства пролетарію ни чуть не легче. Вѣчный работникъ собственника и капиталиста, пролетарій, весь въ его рукахъ, весь его рабъ, ибо тотъ даетъ ему работу и произвольно назначаетъ за нее плату. Этой платы бѣдному рабочему не всегда станетъ на дневную пищу и на лохмотья для него самого и для его семейства; а богатый собственникъ, съ этой платы, беретъ 99 процентовъ на сто... Хорошо равенство! И будто легче умирать зимою, въ холодномъ подвалѣ, или на холодномъ чердакѣ, съ женою, съ дѣтьми, дрожащими отъ стужи, неѣвшими уже три дня, будто легче такъ умирать съ хартією, за которую пролито столько крови, нежели безъ хартіи, но и безъ жертвъ, которыхъ она требуетъ?... Собственникъ, какъ всякій выскочка, смотритъ на работника въ блузѣ и деревянныхъ башмакахъ, какъ плантаторъ на негра. Правда, онъ не можетъ его насильно заставить на себя работать; но онъ можетъ не дать ему работы и заставить его умереть съ голода. Мѣщане-собственники — люди прозаически положительные. Ихъ любимое правило: «всякій у себя и для себя». Они хотятъ быть правы по закону гражданскому, и не хотятъ слышать о законахъ человѣчества и нравственности. Они честно платятъ работнику ими же назначенную плату, и если этой платы недостаточно для спасенія его съ семействомъ отъ голодной смерти, и онъ, съ отчаянія, сдѣлается воромъ или убійцею, — ихъ совѣсть спокойна — вѣдь они по закону правы! Аристо-

кратія такъ не разсуждаетъ: она великодушна даже по тщеславію, по принятому обычаю. По тому же самому, она всегда любила умъ, талантъ, науку и искусство, и гордилась тѣмъ, что покровительствовала имъ. Мѣщанство современной Франціи подражаетъ аристократіи только въ роскоши и тщеславіи, которыя у него проявляются грубо и пошло, какъ у Мольерова мѣщанина во дворянствѣ (*bourgeois-gentilhomme*). И вотъ за кого народъ жертвовалъ своею жизнію! По французской хартіи, избирателемъ и кандидатомъ можетъ быть только собственникъ, который съ своей недвижимости платитъ подати не менѣе четырехъ-сотъ франковъ въ годъ. Слѣдовательно, вся власть, все вліяніе на государство сосредоточены въ рукахъ владѣльцевъ, которые ни единою каплею крови не пожертвовали за хартію, а народъ остался совершенно отчужденъ отъ правъ хартіи, за которую страдалъ. У насъ, въ Россіи, гдѣ выраженіе — «умереть съ голода» употребляется какъ ипербола, потому что въ Россіи не только трудолюбивому бѣдняку, но и отъявленному лѣнтяю-нищему нѣтъ рѣшительно никакой возможности умереть съ голода, — у насъ, въ Россіи, не всѣ повѣрятъ безъ труда, что въ Англіи и во Франціи голодная смерть, для бѣдныхъ, самое возможное и нисколько не необыкновенное дѣло. Нѣсколько недѣль, два-три мѣсяца болѣзни, или недостатка въ работѣ, — и бѣдный пролетарій долженъ умереть съ семействомъ, если не прибѣгнетъ къ преступленію, которое должно повести его на гильйотину. Вотъ почему мы и распространились объ этомъ предметѣ, такъ тѣсно связанномъ съ содержаніемъ «Парижскихъ Тайнъ». Бѣдствія народа въ Парижѣ выше всякой мѣры, превосходятъ самыя смѣлыя выдумки фантазій.

Но искры добра еще не погасли во Франціи — онѣ только подъ щепломъ и ждутъ благопріятнаго вѣтра, который превратилъ бы ихъ въ яркое и чистое пламя. Народъ — дитя; но это

дѣтя растеть и общаеть сдѣлаться мужемъ, полнымъ силы и разума. Горе научило его уму-разуму и показало ему конституционную мишуру въ ея истинномъ видѣ. Онъ уже не вѣрить говорунамъ и фабрикантамъ законѣвъ, и не станетъ больше проливать своей крови за слова, которыхъ значеніе для него темно, и за людей, которые любятъ его только тогда, когда имъ нужно загрести жаръ чужими руками, чтобъ воспользоваться некупленнымъ тепломъ. Въ народѣ уже быстро развивается образованіе, и онъ уже имѣетъ своихъ покровъ, которые указываютъ ему его будущее, дѣла его страданія и не отдѣляясь отъ него ни одеждою, ни образомъ жизни. Онъ еще слабъ, но онъ одинъ хранитъ въ себѣ огонь національной жизни и свѣжій энтузіазмъ убѣжденія, погасшій въ слояхъ «образованнаго» общества. Но и теперь еще у него есть истинные друзья: это люди, которые слили съ его судьбою свои обѣты и надежды, и которые добровольно отреклись отъ всякаго участія на рынкѣ власти и денегъ. Многіе изъ нихъ, пользуясь европейскою извѣстностію, какъ люди ученые и литераторы, имѣя всѣ средства стоять на первомъ планѣ конституціоннаго рынка, живутъ и трудятся въ добровольной и честной бѣдности. Ихъ добросовѣстный и энергическій голосъ страшенъ продавцамъ, покупателямъ и акціонерамъ администраціи, — и этотъ голосъ, возвышаясь за бѣдный, обманутый народъ, раздается въ ушахъ административныхъ антрепренёровъ, какъ звукъ трубы судной. Стоны народа, передаваемые этимъ голосомъ во всеуслышаніе, будятъ общественное мнѣніе и, потому, тревожатъ спекулянтовъ власти. Съ этими честными голосами раздаются другіе, болѣе многочисленные, которые въ заступничествѣ за народъ видятъ вѣрную спекуляцію на власть, надежное средство къ низверженію министерства и занятію его мѣста. Такимъ образомъ, народъ сдѣлался во Франціи вопросомъ общественнымъ, политическимъ и административнымъ. Понятно, что въ



такое время не может не нѣтъ успѣха литературное произведение, героемъ котораго является народъ. И надо удивляться, какъ духъ спекуляціи, обладающій французскою литературою, не догадался раньше схватиться за этотъ неисчерпаемый источникъ вѣрнаго дохода!...

Эженъ Сю былъ этакъ счастливцемъ, которому первому вошло въ голову сдѣлать выгодную литературную спекуляцію на нѣя народа. Эженъ Сю не принадлежитъ къ числу тѣхъ не многихъ литераторовъ французскихъ, которые, махнувъ рукою на нерязоу запустѣнія общественной нравственности, добровольно отказались отъ настоящаго и обрекли себя безкорыстному служенію будущаго, котораго, вѣроятно, нѣтъ не дожидаться, но котораго приближенію они же содѣйствовали. Нѣтъ, Эженъ Сю — человѣкъ положительный, вполне сочувствующій матеріальному духу современной Франціи. Правда, нѣкогда онъ хотѣлъ играть роль Байрона и кривлялся въ сатанинскихъ романахъ, въ родѣ «Атаръ-Гюля», «Хитано», «Красо»: но это оттого, что тогда книгопродавцы и журналисты еще не бѣгали за нимъ съ мѣшками золота въ рукахъ. Сверхъ того, мода на поддѣльный байронизмъ уже прошла, да и лѣта Эжена Сю давно уже должны были сдѣлать его благоразумнымъ и заставить сойти съ ходуля. Онъ всегда былъ добрымъ малымъ, и только прикидывался денономъ средней руки: а теперь онъ — добрый малый вполне, безъ всякихъ претензій, почтенный мѣщанинъ въ полномъ смыслѣ слова, филантеръ конституціонно-мѣщанской гражданственности, и еслибъ негъ попалъ въ депутаты, былъ бы крѣпко такимъ депутатомъ, какихъ нужно теперь хартівъ. Изображая французскій народъ въ своемъ романѣ, Эженъ Сю смотритъ на него какъ истинный мѣщанинъ (bourgeois), смотритъ на него очень просто — какъ на голодную, обреченную чернь, невѣжествомъ и нищетою осужденную на преступленія. Онъ не знаетъ ни истинныхъ пороковъ, ни

истинныхъ добродѣтелей народа, не подозрѣваетъ, что у него есть будущее, котораго уже нѣтъ у торжествующей и преобладающей партіи, потому что въ народѣ есть вѣра, есть энтузіазмъ, есть сила нравственности. Эженъ Сю сочувствуетъ бѣдствіямъ народа: зачѣмъ отнимать у него благородную способность состраданія, — тѣмъ болѣе, что она обѣщала ему такіе вѣрные барыши? но какъ сочувствуетъ — это другой вопросъ. Онъ желалъ бы, чтобъ народъ не бѣдствовалъ, и, переставъ быть голодною, оборванною и частью по неволѣ преступною чернью, сдѣлался сытою, опратною и прилично себя ведущею чернью, а мѣщане, теперешніе фабриканты законовъ во Франціи, оставались бы по прежнему господами Франціи, образованнѣйшимъ сословіемъ спекулянтовъ. Эженъ Сю показываетъ въ своемъ романѣ, какъ иногда сами законы французскіе безсознательно покровительствуютъ разврату и преступленію. И, надо сказать, онъ показываетъ это очень ловко и убѣдительно; но онъ не подозрѣваетъ того, что зло скрывается не въ какихъ-нибудь отдѣльныхъ законахъ, а въ цѣлой системѣ французскаго законодательства, во всемъ устройствѣ общества. Чтобъ показать, какъ Эженъ Сю обнаруживаетъ невольное покровительство нѣкоторыхъ французскихъ законовъ и самаго судебного порядка пороку и преступленію, выпишемъ изъ романа разсказъ Анны.

«Мой мужъ былъ добрый ремесленникъ; потомъ разстроился... бросилъ меня съ дѣтьми, продавъ все, что у насъ было. Я работала, добрые люди помогали мнѣ; я поправлялась, какъ вдругъ явился мужъ мой съ какой-то женщиной и отнялъ у меня последнее.... «Надобно было разводиться по закону, а французскій законъ слишкомъ дорогъ для бѣдныхъ людей!... Вотъ что случилось: назадъ тому три дня, я сидѣла съ дѣтьми и работала... входитъ мужъ. По лицу его, я увидѣла, что онъ пьянъ... Я припохъ за Катериной, говорилъ онъ. Я тотчасъ обняла дочь и отвѣчала ему: «Куда поведешь ее?» — Не твоѣ дѣло; она моя дочь и должна идти за мной— Вся кровь бросилась мнѣ въ голову, я знаю, что та женщина, которая приходила къ намъ съ моимъ мужемъ, давно подбиваетъ его на черное дѣло.....

«Не отдамъ дочери, кричала я Дюпору: я знаю, что вы хотите съ ней сдѣлать! — «Не упрямься или я убью тебя» отвѣчалъ онъ; губы его поблѣднѣли отъ гнѣва. Катерина съ плачемъ бросилась ко мнѣ на шею и кричала: я хочу остаться у маменьки!... Дюпоръ взбѣсился, вырвалъ у меня дочь, ударилъ меня ногой въ грудь, я упала... О! онъ вѣрно не поступилъ бы такъ дурно со мною, еслибъ былъ не пьянъ.....

«Онъ билъ меня ногами... ругалъ меня... Дѣти бросились на колѣна, просить за меня... Тутъ онъ, какъ бѣшеный, сказала дочери: ступай за мною, или я непремѣнно убью мать! Кровь текла у меня горломъ... я не могла двинуться, но все еще кричала Катеринѣ: не уходи; лучше пусть убьетъ меня.— «Замолчишь ли ты?» вскричалъ Дюпоръ, и ударилъ меня такъ, что я упала безъ памяти ...

«Когда я пришла въ себя, мальчики мои плакали.

— А дочь ваша?

«Онъ увелъ ее, отвѣчала несчастная мать, рыдая. Онъ прибилъ и увелъ ее!

— И вы не пожаловались комиссару?

«Я объ этомъ не подумала въ первую минуту; я только могла плакать о Катеринѣ... Скоро все тѣло мое разболѣлось... я не могла ходить. Тутъ я вспомнила, что говорила брату: мужъ такъ прибить меня, что мнѣ придется идти въ больницу, и тогда, что будетъ съ моими дѣтьми?... Вотъ я въ больницѣ: что жъ будетъ съ моими дѣтьми?...

— Такъ во Франціи нѣтъ правосудія для бѣдныхъ людей?

«Оно слишкомъ дорого!... Сосѣди мои послали за комиссаромъ. Онъ пришелъ съ писмоводителемъ... Мнѣ не хотѣлось жаловаться на мужа, но мысль о дочери принудила меня... Я сказала только, что во время ссоры за дочь онъ толкнулъ меня... Это ничего, но я хочу, чтобы мнѣ возвратили дочь... чтобы не развратили ее.

— Что же отвѣчалъ вамъ писмоводитель?

«Что мужъ мой имѣетъ право увести дочь, потому что онъ не разведенъ со мною; что жаль будетъ, если моя дочь испортится отъ дурныхъ совѣтовъ, но это одинъ предположеніе, а нельзя основать жалобы на однихъ предположеніяхъ. Требуйте развода, сказалъ писмоводитель: побои, нанесенные вамъ мужемъ, его поведеніе съ дурною женщиной, все это послужитъ въ вашу пользу и вамъ отдаютъ дочь... а иначе онъ имѣетъ право оставить ее у себя.— Требовать развода! а у меня нѣтъ денегъ, да еще я должна кормить дѣтей... — Что жъ мнѣ дѣлать, отвѣчалъ писмоводитель: такъ надобно... И потому, что такъ надобно, дочь моя мѣсяца черезъ три будетъ таскаться по улицамъ....» (Часть 8-я, стр. 52 — 44).

Этого отрывка достаточно, чтобы дать понятіе объ идеѣ «Парижскихъ Тайнъ» даже и нечитавшимъ этого романа, и

потому больше выписывать не нужно. Авторъ водить читателя по тавернамъ и кабакамъ, гдѣ собираются убійцы, воры, мошенники, распутныя женщины, — по тюрьмамъ, гдѣ подозреваемые въ преступленіи посажены въ одну комнату съ уличенными во множествѣ преступленій, съ бѣжавшими не одинъ разъ съ галеръ, — въ больницы, гдѣ, для пользы науки, бѣдная женщина должна рассказывать своему доктору, при множествѣ его учениковъ, симптомы своей болѣзни, а послѣ этого, если въ ней есть женскій стыдъ, чувствовать усиленіе болѣзни, — въ дома ума-лишенныхъ, которые, по описанію автора, представляютъ глазамъ филантропа болѣе утѣшительное зрѣлище, чѣмъ всѣ другія общественныя заведенія, — по чердакамъ и по подваламъ, гдѣ скрываются бѣдныя семейства, круглый годъ блѣдныя отъ голода и изнуренія, а зимою дрожащія отъ стужи, потому-что они не знаютъ, что такое дрова. Въ этихъ чердакахъ и подвалахъ — жилищахъ нищеты и отчаянія, часто живутъ высокія добродѣтели, но еще чаще гнѣздится развратъ и преступленіе. Но что говорить о тѣхъ несчастныхъ, которые сами себя называютъ «дѣтьми мостовой» и съ малолѣтства служатъ предметомъ спекуляціи для подобныхъ имъ нищихъ? Развратъ и преступленіе, такъ сказать, ждутъ ихъ на порогѣ жизни, чтобъ схватить въ свои когти и повлечь по всѣмъ мытарствамъ побой, голода, обидъ, презрѣнія, угнетенія, наказаній, тюремъ, галеръ, воспитывая въ нихъ закоренѣлыхъ злодѣевъ. Все это составляетъ содержаніе романа Эжена Сю. Мысль его — какъ изъ этого достаточно видно — благородная и прекрасная; взглянемъ на исполненіе.

Съ этой стороны «Парижскія Тайны» являются самымъ жалкимъ и бездарнымъ произведеніемъ. Завязка романа основана на лжи и призрактѣ, какими погнушалась бы въ наше время даже сколько-нибудь порядочная мелодрама. И эта ложь, эта призрачность въ особенности бросаются въ глаза даже

самому невзыскательному читателю въ героѣ и героинѣ романа, т. е., въ его свѣтлости принцъ Родольфъ герольштейнскомъ и ея свѣтлости, единородной дщери его, Пѣвунѣ. воспитанницѣ Сычихи и нахлѣбницѣ Яги-Бабы. Оставивъ свои наслѣдственные владѣнія, въ которыхъ, видно, по ихъ микроскопической мелкости, его свѣтлости нечего было дѣлать, Родольфъ живетъ въ Парижѣ, занимаясь такимъ дѣломъ, которое можетъ прійти въ голову развѣ только какому-нибудь подрядчику повѣстей въ «Фельетонѣ» журнала, но которое, слава Богу, въ нашъ прозаическій вѣкъ не прійдетъ въ голову никому, тѣмъ менѣе принцу. Переодѣтый въ блузу работника, Родольфъ шатается по кабакамъ и тавернамъ Ситѣ, и дерется тамъ на кулачки съ убійцами, ворами и мошенниками, защищая, какъ истинный донъ-Кихоть, слабыхъ и невинныхъ, наказывая пороковъ и награждая добродѣтелей. По словамъ автора, Родольфъ «отличался красотою, но не мужественною; его блѣдность, его полузакрытые черные глаза, лѣнивая походка, разсѣянный взглядъ, ироническая улыбка показывали человека отжившаго вѣкъ (хотя ему было не болѣе тридцати лѣтъ); казалось, онъ былъ разслабленъ аристократическою невоздержностію (хотя онъ легко одолевалъ страшныхъ бойцовъ и силачей)». Мы бы никакъ не догадались о причинѣ побѣдоносности его свѣтлости, еслибы наперсникъ его, Мурфъ, въ разговорѣ съ нимъ же, не подсказалъ намъ о немъ слѣдующихъ біографическихъ подробностей: «Креббъ научилъ васъ боксировать, Лакуръ передалъ вамъ искусство бороться и драться на палкахъ, знаменитый Бертранъ превратилъ васъ въ удивительнаго бойца на шпагахъ; вы убиваете ласточку на лету изъ пистолета; у васъ стальные шускулы». Видите ли: все, что нужно для искателя приключеній, для донъ-Кихота XIX вѣка, для наполненія невозможными и небывалыми приключеніями пошлаго романа въ родѣ Шехеразеды! Играя въ приключенія и опасности,

Родольфъ играетъ и въ добродѣтель, и въ высокія чувства. — и во всѣхъ родахъ этихъ игръ онъ ужасный эффектёръ. Освободивъ Пѣвунью изъ-подъ опеки Яги-Бабы, онъ не рассказываетъ ей этого, везетъ ее за городъ будто для прогулки, привозитъ на свою собственную мызу, и только тамъ Пѣвунья узнаетъ, что она уже не зависитъ больше отъ Яги-Бабы и что для нея есть честное и прекрасное убѣжище, даже добродѣтельная мать, въ особѣ г-жи Жоржъ. Все это дѣлается сюрпризомъ и съ эффектами; все это могло имѣть преплохія слѣдствія для бѣдной protégée, которой злая судьба велѣла быть предметомъ эффектнаго покровительства. Такъ и случилось: Пѣвунью увезли злодѣи, и если Сычиха не испортила ея прекраснаго лица купоросною кислотою, такъ это потому что для эффекта романа автору нужно было и въ гробъ положить свою героиню прекрасною. Для этого онъ придумалъ чудесное средство: злодѣю Мастаку послать страшный сонъ, пробудившій въ немъ раскаяніе, которое и побудило его помѣшать Сычихѣ изуродовать Пѣвунью, хотя этого, по слѣпотѣ своей, онъ совѣтъ не былъ въ состояніи сдѣлать. Между тѣмъ, Пѣвунью помѣстили въ тюрьму, потомъ выпустили, утопили въ рѣкѣ, спасли, вылѣчили, — и Родольфъ ничего этого не знаетъ, за множествомъ дѣлъ. Все это ужасно глупо и пошло, но все еще далеко не конецъ глупостямъ и пошлостямъ романа. Родольфу нужно завладѣть Мастакомъ; но онъ самъ запутывается въ своихъ сѣтяхъ и долженъ погибнуть. Однакожъ не бойтесь: романъ только начинается, а Родольфу предстоитъ еще надѣлать много разныхъ эффектовъ. И вотъ онъ ухитряется написать въ карманѣ нѣсколько строкъ и ловко выбросить бумажку за окно кареты; а вѣрный Мурфъ ловко ее подхватываетъ. Все это не помѣшало однакожъ Родольфу полетѣть въ погребъ. Тамъ онъ долженъ былъ захлебнуться смрадною водою, на его груди уже спасаются крысы, онъ ужъ задыхается, падаетъ безъ чувствъ;



но не трепещите, читатели, вѣдь это еще только первая часть романа—впереди цѣлыя семь частей, да еще съ эпилогомъ; а куда онѣ годятся, если Родольфъ не будетъ въ нихъ эффектировать? И вотъ почему Рѣзака такъ счастливо, т. е. такъ натянуто, спасаетъ его. Такимъ же чудомъ Мурфъ получаетъ не смертельную рану отъ руки Мастака, который во всякомъ другомъ случаѣ не умѣетъ поражать иначе, какъ на смерть. Судъ надъ Мастакомъ и ослѣпленіе его возбудили негодованіе въ нѣкоторыхъ гуманныхъ французскихъ критикахъ. И въ самомъ дѣлѣ, это было бы возмущающею душу картиною, если бы не было смѣшною мелодрамою, пошлымъ театральнымъ эффектомъ. Посмотрите, какъ затѣйливы судъ и эта казнь! Чтѣ ни черта—то мелодраматическій фарсъ. Монологъ Родольфа къ Мастаку—пародія на любой монологъ Шиллерова Карла Моора. Кстати о черномъ докторѣ Давидѣ: какъ и въ его исторіи выказывается донкихотство Родольфа! Плантаторъ такъ гнусно-безчеловѣчно поступилъ съ негромъ Давидомъ и креолкою Сесили, что всякій честный человѣкъ не могъ не почестъ себя въ правѣ спасти ихъ, имѣя къ тому средства. Но Родольфъ эффектёръ; онъ не любитъ дѣлать добро просто: онъ задалъ себѣ вопросъ, имѣетъ ли онъ право самоуправно лишать господина слуги? И вслѣдствіе этого, онъ разсчелъ, сколько стоило плантатору воспитаніе Давида, чтѣ стоитъ рабъ-негръ и раба-креолка, и сонному, пьяному плантатору, въ полночь, отдастъ двойную противъ разсчета сумму. Скажите, Бога ради: если вы найдете возможность изъ берлоги разбойника вырвать попавшагося къ нему въ плѣнъ несчастнаго, — неужели вы будете разсчитывать, чтѣ стоило этому разбойнику содержаніе его плѣнника, и заплатите вдвое болѣе противъ разсчета?... Какъ эта черта отзывается мѣщанствомъ и капитализмомъ, которыя законность и справедливость допускаютъ только въ денежныхъ дѣлахъ? И отчего же совѣстливый и чуж-

дающійся самоуправства Родольфъ не усомнился почестъ себя въ правѣ лишить зрѣнія, конечно, великаго злодѣя, но для кары котораго были правительство, законы, эшафотъ? — Онъ хотѣлъ его лишить возможности дѣлать зло — и далъ ему возможность еще надѣлать зла; онъ хотѣлъ дать ему возможность раскаяться — и въ чемъ же мы видимъ это раскаяніе? неужели въ убійствѣ Сычихи, убійствѣ, учиненномъ въ изступленіи ярости, которое однакоже не помѣшало Мастаку на нѣсколькихъ страницахъ читать Сычихѣ исполненные риторической шумихи монологи, забывъ, что Сычихѣ совсѣмъ не до нихъ, а для Хромушки они, какъ и слѣдовало, были ужасно смѣшны?...

Такимъ же точно выказывается Родольфъ въ своихъ отношеніяхъ къ маркизѣ Дарвиль. Маркизъ женился на ней обманомъ, утаивъ отъ нея, что онъ страдаетъ падучею болѣзнію. Съ горя, она влюбилась въ Родольфа, но какъ женщина безъ ума и такта, позволила играть собою графинѣ Сэрѣ, которая возбудила въ ней недовѣрчивость къ Родольфу и любовь къ Шарлю Роберу, набитому дураку. Маркиза рѣшается даже на тайныя свиданія съ этимъ глупцомъ, и только одна нерѣшительность спасаетъ ее отъ слѣдствій этихъ свиданій. При последнемъ, ее чуть было не поймалъ мужъ; но все знающій и вездѣ поспѣвающій Родольфъ спасъ ее. Въ эту-то женщину влюбленъ Родольфъ. Онъ предлагалъ ей для разсѣянія дѣлать добро, и она начинаетъ играть въ добро. Все это приторно до последней степени.

Но до сихъ поръ, Родольфъ только эффектёръ и фразёръ; мы увидимъ, что онъ просто глупъ. Онъ вѣнчается съ умирающею Сарою, чтобъ имѣть право объявить Пѣвунью своею законною дочерью. А для чего это? И что за принцесса, что за владѣтельница княжна, окруженная штатсъ-дамами и фрейлинами, — Пѣвунья, воспитанница Сычихи, дѣвушка шестнад-

цати лѣтъ. всю жизнь проведшая съ ворами и мошенниками, растлѣнная и оскверненная всею грязью порока, хотя и невольнаго и безсознательнаго, но тѣмъ не менѣе порока? Къ лицу ли ей, возможна ли для нея роль владѣтельной княжны? Не лучше ли, не естественнѣе ли было бы, еслибъ Родольфъ оставилъ ее на рукахъ г-жи Жоржъ, или, ужъ если ее убивало присутствіе людей, знавшихъ о прежней ея жизни, найти ей уголокъ въ Германіи и видѣться съ нею инкогнито, какъ съ своею дочерью?

Теперь, что за лицо эта Пѣвунья? Сначала, въ трактирѣ, съ Родольфомъ и Рѣзакою, она довольно естественна и даже интересна; но когда она вдругъ освобождается отъ грязи, въ которой болѣе десяти лѣтъ топтали ея ногами убійцы, воры и мошенники, и вдругъ, ни съ того, ни съ сего дѣлается «дѣвою идеальною» и «неземною», она перестаетъ быть естественною и дѣлается пошлою, скучною. Мы не споримъ противъ того, что сердце ея было чисто по своей натурѣ; что она способна была къ раскаянію и страданію при мысли о прежней жизни; но все это должно было проявиться въ ней естественно, безъ идеальничанья; на ея жизни навсегда должны были остаться слѣды грязи, которой не смыли бы воды цѣлаго океана. А ей, видите ли, довольно было рукомыльничка водицы, чтобъ сдѣлаться чище голубки, невиннѣе младенца. Какая пошлая натяжка! И потому, нелѣпѣе, пошлѣе, приторнѣе, натянутѣе и скучнѣе эпилога къ роману, гдѣ дѣйствіе перенесено въ Герольштейнъ, ничего нельзя вообразить. Въ сравненіи съ этимъ эпилогомъ, даже «Семейство», чувствительный романъ Фредеріки Бремеръ, кажется чѣмъ-то сноснымъ!

Между тѣмъ, на этихъ двухъ неестественныхъ и невозможныхъ во всѣхъ отношеніяхъ лицахъ основано все зданіе романа. Почему вѣсто ихъ, авторъ не придумалъ лицъ инте-

ресныхъ, но возможныхъ, происшествій занимательныхъ, но простыхъ? Потому, что для этого нуженъ былъ талантъ, и притомъ большой талантъ, ибо истинно-изящное просто и естественно. А у добраго Эжена Сю дарованія можетъ хватить на какую-нибудь повѣсть въ родѣ «Полковника Сюрвиля» — не больше; взявшись за что-нибудь бѣльшее, онъ по необходимости долженъ стать на ходули и впасть въ мелодраму.

Мы не видимъ достаточной причины, почему бы Пѣвунья непременно должна была оказаться дочерью нѣмецкаго князя. По крайней мѣрѣ, изъ этого ничего не вышло, кромѣ сентиментальнаго вздора и пошлыхъ эффектовъ. Явно, что авторъ въ этой завязкѣ рассчитывалъ на чувствительныхъ читателей, которые любятъ въ романахъ необыкновенныя столкновенія, особенно родственныя, годныя только для наполненія пустоты романа, чуждаго всякой концепціи, всякаго творчества.

Г-жа Жермень и сентиментальный, безличныи и безобразный сынъ ея — лица совершенно лишнія въ романѣ. Между тѣмъ, изъ желанія Родольфа отыскать Жермена вытекаютъ въ романѣ, всѣ до пошлости чудесныя похождения его.

Мастакъ, Сычиха, Полидори, Сесили — лица неестественныя и невыдержанныя. Что они такое, по мысли автора? Чудовища ли природы, или жертвы воспитанія и другихъ неотразимыхъ причинъ? Но въ первомъ случаѣ не слѣдовало бы автору быть столь щедрымъ на такія рѣдкія произведенія натуры; а во второмъ — показать намъ причины ихъ искаженія и найти въ ихъ душахъ хотя какіе-нибудь слѣды человѣчности, какъ онъ показалъ ихъ въ Рѣзакѣ. Что это лица мелодраматическія, сшитыя на живую нитку, довольно привести для доказательства одну черту. Полидори, котораго Родольфъ принуждаетъ быть палачомъ Феррана, говоритъ ему: «Князь наказываетъ преступленіе преступленіемъ, сообщника — сообщникомъ... Я не долженъ покидать тебя, по его приказанію; я

возлѣ тебя, какъ тѣнь... Я заслужилъ эшафотъ, какъ ты...» и проч. Подумаете, это говоритъ обратившійся на путь заблудшій человѣкъ,—ни чуть не бывало: это говоритъ нераскаянный извергъ, отравитель, убійца, воръ, все, что угодно... И это поэзія, творчество! Нѣтъ, это просто — шехеразада! Лучше всѣхъ этихъ изверговъ очерченъ Жакъ Ферранъ. Самая мысль — изобразить гнуснаго злодѣя, пользующагося въ обществѣ репутаціею нравственнаго человѣка, достойна вниманія; но авторъ не выдержалъ ея, перехитрилъ, принесъ ее въ жертву великому господину Родольфу — и вышла мелодрама! Безумная любовь Феррана къ Сесили кажется ужасною натяжкой и не возбуждаетъ въ читателѣ ни довѣрія, ни интереса. Полидори, умирающій отъ ядовитаго кинжала Сесили, и Родольфъ, спасающійся отъ той же смерти — эффектъ. Лучше всѣхъ другихъ злодѣевъ изображены — вдова Марсіаль (не вездѣ, впрочемъ, выдержанная), дочь ея Тыква (очень хорошо очерченная) и Скелеть. Графиня Макъ-Грегоръ обрисована довольно удачно, хотя и переутрирована; но братецъ ея Томъ очень похожъ на болвана, съ которымъ играютъ въ вистъ, когда не достаеъ четвертаго. Онъ потому только вертится въ романѣ, что безъ него Саръ нельзя таскаться по кабакамъ и харчевнямъ...

Что же, спросятъ насъ, неужели въ «Парижскихъ Тайнахъ» нѣтъ ничего хорошаго, и есть только одно дурное? Нѣтъ: въ цѣломъ, этотъ романъ — верхъ нечѣстности, но частности въ немъ не дурны. Таковы характеры — Рѣзакъ (впрочемъ, невыдержанный), Марсіаль и особенно Волчихи, Пикъ-Венегра, Риголетты, доктора Грифона, г. и г-жи Пипле. Не дурны нѣкоторые эпизоды, какъ-то: рассказъ въ тюрьмѣ Пикъ-Венегра, страданія баронессы Фермонъ и ея дочери, картина страданія семейства Морель, исторія Луизы, сцены на островѣ Гривителя. Но все это не болѣе, какъ не дурно, и во всемъ

этомъ видѣнъ не даровитый живописецъ-творецъ, а ловкій ученикъ Академіи, набившій руку, присмотрѣвшійся къ картинамъ мастеровъ и кое-какъ умѣющій съ плеча чертить фигуры, иныя такъ себѣ—не дурныя, а иныя очень плохія, и никогда неумѣющій написать ничего полного и стройнаго. Многое, что въ русскомъ писателѣ показалось бы талантомъ, во французскомъ—не болѣе, какъ образованность, навыкъ, привычка. Языкъ французскій до того выработанъ, что рѣдкій Французъ не умѣетъ прекрасно владѣть имъ; стихія общественной жизни до того разнообразны и опредѣленны, что есть откуда брать готовые матеріалы для сочиненій—умѣй лишь копировать хорошо; литература французская до того богата, что всякому легко блистать чужимъ умомъ и чужимъ талантомъ, при небольшомъ количествѣ своихъ собственныхъ.

Но въ цѣломъ, повторяемъ, романъ Эжена Сю—верхъ неглѣпости. Большая часть характеровъ, и притомъ самыхъ главныхъ, безобразно-нелѣпа, событія завязываются насильно, а развязываются посредствомъ *deus ex machina*. Мы уже говорили о томъ и другомъ; прибавимъ еще нѣсколько чертъ касательно послѣдняго. Многочисленныя дѣйствующія лица поставлены въ насильственные отношенія другъ къ другу. Такъ, наприм., Полидори развращаетъ Родольфа въ его юности, помогаетъ Саръ Макъ-Грегоръ, — и онъ же помогаетъ потомъ г-жѣ Роланъ отравить графиню Дорбиньи, мать маркизы Дорвиль; сверхъ того, онъ сообщникъ Жака Феррана во всѣхъ его злодѣйствахъ и участвовалъ въ гибели семейства Фермонъ: видите ли, какой гордіевъ узелъ разныхъ хитросплетеній! Но всезнающій, вездѣ-успѣвающій великій Родольфъ не хуже Александра Македонскаго справляется съ этимъ узломъ. Случайная покупка коммоды на толкучемъ рынкѣ и попавшееся въ немъ письмо наводятъ Родольфа на слѣды баронессы Фермонъ; а квартира въ домѣ «Красной Руки» даетъ ему возмож-

ность напасть на слѣды Полидори, котораго онъ узнаётъ въ ложномъ Брадаманти, и въ-время послать Мурфа въ Нормандію для спасенія глупаго графа Дорбиньи отъ яда. Въ самомъ дѣлѣ, опоздай маркиза Дорвиль съ Мурфомъ хоть минутою, — графъ Дорбиньи былъ бы отравленъ. Такимъ же точно образомъ Родольфъ успѣлъ заблаговременно узнать о злодѣйскихъ умыслахъ Скелета и другихъ преступниковъ на жизнь Жермена; кстати воротился тутъ Рѣзакъ, о которомъ Родольфъ думалъ, что онъ уже въ Африкѣ, и очень успѣшно и еще болѣе эффектно защитилъ Жермена. Смерть самого Рѣзакъ восполнѣдовала также очень эффектно: во первыхъ, онъ умеръ за своего благодѣтеля, и во вторыхъ, умеръ отъ ножа, которымъ самъ убивалъ другихъ. Отчего же Мастакъ не погибъ отъ ножа и даже нашелъ себѣ вѣрное пристанище въ домѣ умалишенныхъ? За раскаяніе? — но вѣдь Рѣзакъ тоже раскаялся, и еще искреннѣе, не говоря уже о томъ, что онъ, никогда не былъ такимъ извергомъ, какъ Мастакъ? Отчего же Сычиха погибла отъ рукъ, а не отъ кинжала, которымъ она въ этотъ же день смертельно ранила графиню Сару Мак-Грегоръ? А знаете ли, зачѣмъ она ее ранила? — затѣмъ, чтобъ дать Родольфу возможность жениться на маркизѣ Дорвиль. Затѣмъ же астрѣлился и маркизъ Дорвиль... Какъ все это пошло!

Нѣкоторые смотрятъ на «Парижскія Тайны», какъ на дидактическій романъ и доказываютъ ими возможность и законность дидактическаго рода поэзіи. «Парижскія Тайны» дѣйствительно — романъ дидактическій, но онъ-то именно и доказываетъ невозможность и незаконность дидактическаго рода поэзіи. Однакожъ скажутъ намъ — этотъ романъ достигъ своей цѣли. Правда, онъ заставилъ общество потолковать нѣсколько времени о народѣ — до новой новости; можетъ-быть, даже, что вслѣдствіе его, французскіе законодатели поторопятся подумать о какихъ-нибудь способахъ къ улучшенію участи

несчастныхъ бѣдняковъ — и въ такомъ случаѣ, романъ полезень; но тѣмъ не менѣе, онъ все-таки не романъ, а сказка, и притомъ довольно нелѣпая. Еслибъ кто-нибудь, узнавъ о тайномъ убійствѣ, написалъ повѣсть, которая навела бы полицію на слѣды преступленія — поступокъ былъ бы прекрасенъ, а повѣсть была бы плоха, и всѣ помнили бы случай, а повѣсть тотчасъ же забыли бы. Такая же участь ожидаетъ и «Парижскія Тайны». Теперь пишутся уже «Лондонскія Тайны», — и, кто знаетъ, можетъ-быть, годъ-другой всѣ литературы и всѣ театры завяжутся тайнами и не-тайнами разныхъ городовъ, благодаря торговому стремленію разныхъ мелкотравчатыхъ писакъ! Но въ такомъ случаѣ, нелѣпость пожретъ сама себя и погибнетъ отъ своего собственного излишества, а о «Парижскихъ Тайнахъ» черезъ годъ ничего не будетъ слышно, словно кануть онъ въ воду. Такова судьба всѣхъ дидактическихъ произведеній! Жоржъ Зандъ не сдѣлала романа изъ исторіи Фаншетты: она описала въ своемъ журналѣ дѣло, какъ оно было, но результаты этой небольшой статейки будутъ посущественнѣе результатовъ всевозможныхъ «Парижскихъ Тайнъ»...

Нельзя не удивляться бездарности Эжена Сю, когда читаешь его «Парижскія Тайны»: въ нихъ такъ и видѣнъ выписавшійся сочинитель, какіе есть и у насъ, на святой Руси. Мы сказали, что завязка и ходъ его романа — верхъ нелѣпости; и что же? — мысль этой завязки и вообще весь характеръ его романа не ему принадлежать. «Парижскія Тайны» — неловкое и неудачное подражаніе романамъ Диккенса. Этотъ даровитый англійскій писатель довольно извѣстенъ у насъ въ Россіи; всѣ читали его «Николая Никльби», «Оливера Твиста». «Бэрнеби Роджа» и «Лавку Древностей»: стало-быть, всякій можетъ самъ повѣрить справедливость нашего замѣчанія. Большая часть романовъ Диккенса основана на семейной тайнѣ: брошенное на произволъ судьбы дитя богатой и знатной фами-



ліи преслѣдуется родственниками, желающими незаконно воспользоваться его наслѣдствомъ. Завязка старая и избитая въ англійскихъ романахъ, но въ Англіи, землѣ аристократизма и майоратства, такая завязка имѣетъ свое значеніе, ибо вытекаетъ изъ самаго устройства англійскаго общества, слѣдовательно имѣетъ своею почвою дѣйствительность. Притомъ же, Диккенсъ умѣетъ пользоваться этою истасканною завязкою, какъ человекъ съ огромнымъ поэтическимъ талантомъ. Во Франціи теперь подобная завязка не имѣетъ никакого смысла, и потому бѣдный Эженъ Сю принужденъ былъ въ благородныя отцы ангажировать нѣмецкаго владѣтельнаго князька. Мы уже видѣли, какъ умно и правдоподобно умѣлъ онъ развить эту пошлую завязку. Злодѣи, воры и мошенники, равно какъ и сцены нищеты въ романѣ Эжена Сю—тоже плохія копии съ мастерскихъ, дышащихъ страшною истинною дѣйствительности и художественною жизнію картинъ Диккенса. Но особенно злодѣи Эжена Сю смѣшны и жалки въ сравненіи съ злодѣями Диккенса.

Отчего же ни одинъ изъ романовъ сильно-даровитаго Диккенса не имѣлъ и сотой доли того успѣха, какимъ воспользовался романъ почти бездарнаго Эжена Сю? На это есть двѣ причины, изъ которыхъ одна дѣлаетъ честь Диккенсу, а другая Эжену Сю. Во первыхъ, толпа любитъ больше такіа произведенія, которыя ей по плечу, и хотя Диккенсъ не принадлежитъ къ числу великихъ поэтовъ, однако его талантъ все-таки выше рузумѣнія и вкуса толпы. Во вторыхъ, Диккенсъ—Англичанинъ, а Эженъ Сю—Французъ. Какъ истинный Англичанинъ, Диккенсъ исполненъ сухаго, фарисейскаго морализма націи, привыкшей подчинять справедливость политикѣ, а нравственность — общественнымъ выгодамъ. Какъ истинный художникъ, Диккенсъ вѣрно изображаетъ злодѣевъ и изверговъ жертвами дурнаго общественнаго устройства; но,

какъ истинный Англичанинъ, онъ никогда въ этомъ не сознаётся даже самому себѣ.

Какъ Французъ, Эженъ Сю нечуждъ симпатіи къ падшимъ и слабымъ. Гуманность и человеколюбіе — одна изъ самыхъ рѣзкихъ чертъ національнаго характера Французовъ. Это отразилось съ большею или меньшею силою и истиною въ «Парижскихъ Тайнахъ». Если Сю нарисовалъ нѣсколько отвратительныхъ и неправдоподобныхъ чудищъ, каковы Мастакъ, Сычиха и Полидори, — это для мелодраматическаго успѣха, столь несомнѣннаго въ расчетахъ на толпу; но въ другихъ злодѣяхъ авторъ старался показать неизбѣжныхъ жертвъ недостатковъ французскаго общественнаго устройства. Дѣти, брошенные на мостовую, попавшіяся во власть грубыхъ и жестокихъ промышленниковъ, не могутъ не говорить безъ восторга о славномъ житіи ихъ въ тюрьмѣ!... Чего же хотите вы отъ нихъ? И какое имѣете вы право считать себя лучше ихъ и строго судить ихъ? Развѣ вы увѣрены, что, при подобномъ образѣ жизни въ лѣта дѣтства, вы остались бы людьми честными и нравственными? Преступника казнили за убійство — и его семейству, не участвовавшему въ преступленіи, нѣтъ прохода на улицѣ отъ оскорбительныхъ восклицаній и упрековъ; ему нѣтъ работы, нѣтъ средствъ къ существованію: ему остается или умереть голодною смертію, или приняться за воровство, а потомъ за убійство... Вотъ вопросы, которые расшевелилъ Эженъ Сю въ своихъ «Парижскихъ Тайнахъ», и этимъ-то вопросамъ обязанъ его романъ своимъ необыкновеннымъ успѣхомъ.

Но все-таки тутъ не меньшую роль играетъ и та причина, о которой мы говорили выше. Назначеніе генія — проводить новую свѣжую струю въ потокъ жизни человѣчества и народовъ. Но брошенная геніемъ идея принималась бы слишкомъ медленно, еслибъ не подхватывали ея на лету таланты и дарованія, роль и назначеніе которыхъ — быть посредниками между геніями

и толпою. Даже искажая и дѣлая пошлою мысль гения, они тѣмъ самымъ приближаютъ ее къ понятію толпы. Написавъ Эжень Сю свой романъ безъ мелодраматическихъ прикрасъ, просто, естественно, съ строгою вѣрностью дѣйствительности, — его оцѣнили бы только тѣ, для которыхъ заключенная въ немъ идея отнюдь не новость, и его не прочли бы именно тѣ, для которыхъ эта идея совершенная новость. Разумѣется, Эжень Сю не могъ бы лучше написать, еслибъ и хотѣлъ, но потому-то и успѣлъ онъ, что талантъ его по плечу десяткамъ и сотнямъ тысячъ читателей, и потому эти десятки и сотни тысячъ читателей теперь думаютъ о томъ, о чемъ прежде не думали, и знаютъ то, чего прежде не знали.

---

**сочиненія князя в. о. одоевскаго. Спб. 1844. Три части.**

Князь Одоевскій принадлежитъ къ числу наиболѣе уважаемыхъ изъ современныхъ русскихъ писателей, — и между тѣмъ, ничего не можетъ быть неопредѣленнѣе извѣстности, которою онъ пользуется. Скажемъ болѣе: имя его гораздо извѣстнѣе, нежели его сочиненія. Это нѣсколько странное явленіе имѣетъ двѣ причины: одну чисто-внѣшнюю, случайную, другую — внутреннюю и необходимую. Князь Одоевскій выступилъ на литературное поприще въ 1824 году, въ эпоху совершеннаго переворота въ русской литературѣ, когда новыя понятія вооружились противъ старыхъ, новыя славы и знаменитости начали противопоставляться авторитетамъ, которые до того времени считались непогрѣшительными образцами и далѣ которыхъ идти, въ мысли или въ формѣ, строжайше запрещалось литературнымъ кодексомъ, получившимъ имя классическаго, и по давности времени пользовавшагося значеніемъ

корана. Эта борьба стараго и новаго извѣстна подъ именемъ борьбы романтизма съ классицизмомъ. Если сказать по правдѣ, тутъ не было ни классицизма, ни романтизма, а была только борьба умственнаго движенія съ умственнымъ застоємъ; но борьба, какая бы она ни была, рѣдко носитъ имя того дѣла, за которое она возникла, и это имя, равно какъ и значеніе этого дѣла, почти всегда узнаются уже тогда, какъ борьба кончится. Всѣ думали, что споръ былъ за то, которые писатели должны быть образцами — древніе ли греческіе и латинскіе, и ихъ рабскіе подражатели — французскіе классики XVII и XVIII столѣтій, или новые — Шекспиръ, Байронъ, Вальтеръ Скоттъ, Шиллеръ и Гёте; а между тѣмъ въ сущности-то спорили о томъ, имѣеть ли право на титулъ поэта, и еще притомъ великаго, такой поэтъ, какъ Пушкинъ, который не употребляетъ «пѣстическихъ вольностей», — вмѣсто шаршаваго, тяжелаго, скрипучаго и прозаическаго стиха употребляетъ стихъ гладкій, легкій, гармоническій, — вмѣсто одъ пишетъ элегіи, вмѣсто надутаго и натянутаго слога держится слога естественнаго и благородно-простаго, — поэмами называетъ маленькія повѣсти, гдѣ дѣйствуютъ люди вмѣсто того, чтобъ разумѣть подъ ними холодныя описанія на одинъ и тотъ же ходульный тонъ, знаменитыхъ событій, гдѣ дѣйствуютъ герои съ ихъ наперсниками и вѣстниками; — словомъ, поэтъ, который тайны души и сердца человѣка дерзнулъ предпочесть плосечнымъ иллюминаціямъ. Вслѣдствіе движенія, даннаго преимущественно явленіемъ Пушкина, молодые люди, выходившіе тогда на литературное поприще, усердно гонялись за новизною, считая ее за романтизмъ. Стихи ихъ были гладки и легки, фраза блистала новыми оборотами, мысли и чувства отличались какою-то свѣжестью, потому что не были повтореніемъ и перебивкою уже вѣдѣмыхъ знакомыхъ и перезнакомыхъ мыслей и чувствъ. Въ прозѣ видно было то же самое стремле-

ніе — найти новые источники мыслей и новыя формы для нихъ. Разумѣется, источникомъ всего этого «новаго» служили для нихъ иностранныя литературы; но для большинства нашей читающей публики того времени, все это дѣйствительно было слишкомъ ново, а потому и казалось ярко-оригинальнымъ и смѣло-самобытнымъ. И вотъ почему, въ тѣ блаженныя времена, слава доставалась такъ легко, такъ дешево, а извѣстность была просто ни-почемъ. Разумѣется, подобная новизна не могла не состарѣться скоро, и вслѣдствіе этого многіе люди, о которыхъ думали, что они подавали блестящія надежды, оказались совершенно безнадежными; другіе, которые пользовались большою извѣстностью, вдругъ пришли въ забвеніе. Но какъ движеніе, произведенное такъ называемымъ «романтизмомъ», развязало руки и ноги нашей литературѣ, то оно все продолжалось и продолжалось: новое сегодня становилось завтра если еще не старымъ, то уже и не новымъ; на мѣсто одной забытой знаменитости являлось нѣсколько новыхъ; въ литературу безпрестанно входили новые элементы, содержаніе ея расширялось, формы разнообразились, характеръ ставился самобытнѣе. И теперь уже немногіе помнятъ эти споры и эту борьбу; писателей дѣлятъ по эпохамъ, въ которыя они дѣйствовали, и по таланту, которой они выказали; но уже нѣтъ болѣе ни классиковъ, ни романтиковъ; ни содержаніе, ни форма уже не приводятъ въ изумленіе своею оригинальностью, но чѣмъ онѣ оригинальнѣе, тѣмъ болѣе возбуждаютъ вниманіе. Лучшія стихотворенія г-на Майкова, одного изъ особенно замѣчательныхъ поэтовъ нашего времени, принадлежать къ антологическому роду, — и потому онѣ гораздо больше, нежели всѣ наши поэты старой школы, имѣютъ право называться классическимъ поэтомъ; и однакожъ, его такъ же никто не называетъ классикомъ, какъ и романтикомъ. Въ поэзіи Пушкина есть элементы и романтическіе, и классиче-

скіе, и элементы восточной поэзіи, и, въ то же время, въ ней такъ много принадлежащаго собственно нашей эпохѣ, нашему времени: какъ же теперь называть его романтикомъ? Онъ просто поэтъ, и притомъ поэтъ великій! Теперь каждый талантъ, и великій и малый, хочетъ быть не классикомъ, не романтикомъ, а поэтомъ, слѣдовательно, хочетъ равно брать дань со всего человѣческаго — и благо ему, если онъ, не чуждаясь ни древняго, ни стараго, ни новаго, во всемъ этомъ умѣетъ быть современнымъ!... Эту многосторонность, эту свободу, наша литература приобрѣла все-таки черезъ борьбу мнимаго романтизма съ мнимымъ классицизмомъ!

Между множествомъ эфемерныхъ явленій, вызванныхъ тогда новизною и обязанныхъ ей своею минутною извѣстностью, были яркіе таланты, которые считали за необходимость не останавливаться на первомъ успѣхѣ, но идти за временемъ. Конечно, не всѣ изъ нихъ шли до конца, но иные остановились на полудорогѣ, и едва ли хотя одинъ дошелъ до конца пути своего то-есть, сдѣлалъ все, чего могли отъ него ожидать и что въ силахъ былъ бы онъ выполнить... Вообще, доходить до конца какъ-то не въ судьбѣ русскихъ писателей, особенно съ нѣкотораго времени. И если Державинъ, Дмитріевъ и Крыловъ дожили до сѣдинъ, обремененныхъ лаврами, за то сколько путей, различныхъ образомъ прерванныхъ! Ломоносовъ умеръ пятидесяти лѣтъ, съ полнымъ сознаніемъ, что онъ могъ бы еще много сдѣлать и что онъ гораздо меньше сдѣлалъ, нежели сколько надѣялся. Великій человѣкъ винилъ себя и въ своей преждевременной смерти и въ томъ, что онъ, по его сознанію, сдѣлалъ такъ мало; но его жизнь и дѣятельность зависѣли не отъ него, а отъ той дѣйствительности, въ которой таѣ одиноко былъ онъ вызванъ судьбой дѣйствовать. Фонъ-Визинъ написалъ свое послѣднее и лучшее произведеніе на тридцать-сѣдмомъ году отъ рожденія, и послѣ того провелъ цѣлыя десять лѣтъ разбитый параличомъ

и въ состояніи совершенной недѣтельности. Карамзинъ сошелъ въ могилу хотя уже и въ лѣтахъ, но еще въ порѣ силъ своихъ и далеко не кончивъ своего великаго труда. Озеровъ написалъ всего пять трагедій, и умеръ на сорокъ-шестомъ году, вслѣдствіе долговременной болѣзни, съ которою было сопряжено разстройство умственныхъ силъ. Батюшковъ погибъ для литературы и общества во цвѣтѣ лѣтъ и силъ своихъ, подавъ такія блестящія, такія богатая надежды... Нужно ли говорить о томъ, какъ прервалась поэтическая дѣятельность трехъ великихъ славъ нашей литературы — Грибоѣдова, Пушкина и Лермонтова?... А сколько менѣе огромныхъ и столь же безвременныхъ потерь! Веневитиновъ умеръ почти при самомъ началѣ своего столь много общавшаго литературнаго поприща. Полежаевъ палъ жертвою избытка собственныхъ силъ, дурно уравновѣшенныхъ природою и еще хуже направленныхъ воспитаніемъ и жизнію... Всѣ эти утраты какъ-то невольно приходятъ въ голову теперь, по случаю внезапной вѣсти о смерти Баратынскаго, — поэта съ такимъ замѣчательнымъ талантомъ, одного изъ товарищей и сподвижниковъ Пушкина. И сколько въ послѣднее десятилѣтіе было подобныхъ утратъ!... только и слышишь, что о паденіи прежнихъ бойцовъ, сраженныхъ то смертію, то — что еще хуже — жизнію... Ужасно умереть прежде времени, но еще ужаснѣе пережить свою дѣятельность, и только изрѣдка новыми, но уже слабыми произведеніями напоминать о прекрасной порѣ своей прежней дѣятельности. Эта нравственная смерть производитъ въ нашей литературѣ еще больше опустошеній, чѣмъ физическая. Причина ея столь же понятна, сколько и горестна, и лучше скорбѣть о ней, нежели высокоумно разсуждать о томъ, какимъ бы образомъ могъ ея избѣгнуть тотъ или другой авторъ, или гордо осуждать его за то, что онъ не могъ ея избѣгнуть. Увы! выходя на поприще жизни, мы всѣ смѣло и гордо смотримъ въ ея

неизвѣданную даль, и для насъ паденіе есть преступленіе; но перешедши сами лучшую часть своей жизни, мы, при видѣ всякаго падшаго бойца, съ грустію обращаемся на самихъ себя... Кто палъ, почему не сказать о немъ, что уже нѣтъ его? Но дѣло критики говорить не о томъ только, что могъ бы сдѣлать авторъ и чего онъ не сдѣлалъ, но и о томъ, что сдѣлалъ онъ и чѣмъ благодатна была для общества жизнь его...

Итакъ, князь Одоевскій вышелъ на литературное поприще въ 1824 году. Онъ былъ изъ числа тѣхъ счастливо-одаренныхъ натуръ, которыя начинаютъ дѣйствовать сознательно въ духѣ своего истиннаго призванія и въ кругѣ своихъ собственныхъ силъ. Мы помнимъ первую повѣсть его «Элладій, картину изъ свѣтской жизни», напечатанную въ одномъ изъ тогдашнихъ журналовъ-альманаховъ («Мнемозинѣ»). Эта повѣсть теперь всякому показалась бы слабою, дѣтскою и по содержанію и по формѣ; но тогда она обратила на себя общее вниманіе и пріятно всѣхъ удивила. Повѣсть дѣйствительно слаба; но успѣхъ ея былъ тѣмъ не менѣе вполне заслуженный. Это была первая повѣсть изъ русской дѣйствительности, первая попытка изобразить общество не-идеальное и нигдѣ несуществующее, но такое, какимъ авторъ видѣлъ его въ дѣйствительности. Со стороны искусства и вообще манеры разсказывать, она была произведеніемъ оригинальнымъ и дотогѣ невиданнымъ; было что-то свѣжее въ ея мысли, во взглядѣ автора на предметы и въ чувствахъ, которыя старался онъ ею возбудить въ обществѣ. Къ тому же времени, въ которое былъ напечатанъ «Элладій» князя Одоевскаго, относятся его «апологи» — родъ поэтическихъ аллегорій, въ которыхъ ясно и опредѣлительно выказалось направленіе таланта ихъ автора. Такъ какъ теперь уже немногіе помнятъ ихъ, а многіе и совсѣмъ не знаютъ, и такъ какъ, несмотря на это, мы приписываемъ имъ значительную литературно-историческую важность и видимъ прямое



указаніе на призваніе князя Одоевскаго, какъ писателя, то и считаемъ за нужное познакомить съ ними нашихъ читателей. Для этого приводимъ здѣсь апологъ:

#### Старикъ или Островъ Панхан.

Какъ памятно мнѣ время моего перехода изъ юности въ возрастъ зрѣлый, время сего перехода, когда человекъ внезапно, пораженный опытностію, — рѣшается оставить ту простосердечную довѣрчивость, которая составляетъ блаженство младенца, рѣшается и — еще жалѣть о ней, любить ее!

Прежде еще сего перехода я помню — одна мечта, какъ игрушка, занимала меня; съ величайшимъ благоговѣніемъ взиравъ я на старость. Божественнымъ казался мнѣ сей возрастъ, въ которомъ, мнилъ я, укрощаются буйныя, постыдныя страсти, умолкаютъ мелкія, суетныя желанія, — ничтожными становятся препоны, задерживающія человека на пути къ высокой мечтѣ его — совершенствованію! На покрытомъ морщинами челѣ старца — я читалъ сладкое чувствованіе усталаго путника, близкаго желанной цѣли и уже готоваго въ прахъ сбросить и запыленную одежду и обувь, къ которой несмотря на тягость, привыкли плечи его; каждый старецъ казался мнѣ счастливецемъ, покорившимъ силу брѣнія — силою духа; и до того даже доходила моя слѣпота въ семъ случаѣ, что тотъ пріобрѣталъ право на мое неличе-мѣрное почтеніе, кто былъ меня хотя нѣсколькими годами старше. Еслибъ тогда старшій меня сказалъ: *я мудрѣйшій изъ смертныхъ*, я бы и не повѣрилъ ему — но не смѣлъ бы противурѣчить: онъ *опытнѣе* меня, сказалъ бы я самому себѣ!

Теперь же вы знаете меня, друзья! — суетная наружность не ослѣпляетъ глазъ моихъ! Грозный взоръ вельможи, потрясающій всю нервную систему твари, имѣ созданной — производить во мнѣ лишь улыбку, столь нерѣдко бывающую на устахъ моихъ: я привыкъ, дерзостной рукою срывая личину съ спѣсивой знатности — находить отсутствіе всѣхъ достоинствъ, а подъ мишурою пышныхъ словъ — вялое слабоуміе. Но чувство благоговѣнія къ старости до сихъ поръ еще сохранилось въ душѣ моей, только съ тою разницею, что прежде всякій старецъ казался мнѣ существомъ совершеннымъ, теперь же и въ старцахъ я умѣю открывать недостатки. Но таковыя открытія всегда были тягостны моему сердцу: они, разочаровывая меня, возмущали душу мою; въ семъ только случаѣ, я не могъ смѣяться. Нѣсколько же дней тому назадъ, произошла со мною большая перемена и въ семъ отношеніи, и вотъ какимъ образомъ:

Прижавшись къ углу въ моемъ кабинетѣ, съ Діодоромъ Сицилійскимъ въ одной рукѣ и съ греческимъ словаремъ въ другой, я путешествовалъ по Ара-

віа, по цвітущему острову Пантан, наслаждався видомъ колесниці Уранової и стоящаго на оной храма.

Води, омывавшія сей храмъ, названныя *водами солнца*, имѣли, какъ говорятъ, даръ чудный: испившій отъ нихъ молодѣлъ постепенно и, дошедши до возраста юноши, содѣлывался безсмертнымъ; но горе тому, который хотѣлъ въ одно мгновеніе сдѣлаться юнымъ! Желаніе его исполнялось, — но безразсудный продолжалъ молодѣть безпрестанно и умиралъ, пришедши въ состояніе однодневнаго младенца. — На свѣтѣ моеї нагорѣло, глаза утрудились отъ долгаго чтенія, голова отяжелѣла отъ греческихъ аористовъ, сумракъ, усталость, баснословное сказаніе, мною читанное, — все это вмѣстѣ погрузило меня въ то сладостное состояніе, которое извѣстно всякому знакомому съ умственными напряженіями, въ то состояніе, когда мы еще не можемъ отдать себѣ отчета въ новыхъ впечатлѣніяхъ, нами полученныхъ, когда родившіяся отъ нихъ бѣглыя, разнородныя мысли роятся въ головахъ нашихъ и мѣшаются съ чуждыми, часто безобразными призраками.

Въ такомъ состояніи былъ я: не знаю спалъ ли, или нѣтъ, — но слушайте, друзья мои, что нарисовало предо мною причудливое воображеніе:

Взору моему представился храмъ Геміеи, осяенный пальмовыми деревьями, — мнѣ слышалось журчаніе *водъ солнца*, тихій зефиръ, вѣчно-вѣющій надъ сими водами, касался лица моего. Берега сихъ водъ были покрыты толпами людей обоого пола, всѣхъ народовъ и состояній, но ни одного старца не было видно въ сихъ толпахъ: вездѣ были *дѣти*.

Приближаюсь, всматриваюсь, — и какое удивленіе меня поразило, когда я увидѣлъ, что всѣ тѣ, которые мнѣ казались издали младенцами — были ими только по тѣлесной немощи и по своимъ занятіямъ; лицо измѣняло имъ: почти у всѣхъ оно было изрыто морщинами; впалые, слезившіеся глаза, беззубый ротъ, трясущіяся колѣна и другія принадлежности глубокой старости, спорили съ младенческимъ ростомъ и ребяческимъ выраженіемъ. Нельзя описать, какое сильное отвращеніе производилъ видъ *сихъ старцевъ-младенцевъ*! Я содрогнулся, хотѣлъ бѣжать, но невидимая рука остановила меня и невидимый голосъ говорить мнѣ: «Наблюдай. Здѣсь видишь ты свѣтъ и людей живущихъ въ немъ, въ истинномъ ихъ видѣ. Тотъ свѣтъ, въ которомъ ты обитаешь, есть мечтательный, всѣ дѣйствія, здѣсь происходящія, кажутся тамъ совсѣмъ иными!»

Я послушался и, скрѣпя сердце, продолжалъ продираться сквозь толпу младенцевъ. О! сколько тутъ знакомыхъ моихъ я увидѣлъ, и какъ страннымъ были ихъ занятія. Многіе изъ младенцевъ подходили другъ къ другу; одинъ изъ нихъ съ величайшею важностію вынималъ мишурный мячикъ и кидалъ къ своему товарищу; товарищъ съ такою же важностію отвѣчалъ ему тѣмъ же мячикомъ; перекинувши его нѣсколько разъ такимъ образомъ, младенцы, не теряя своей важности, расходились!

«Что это за игра такая?» спросил я.—Она называется, отвечал мнѣ невидимый голосъ: *свѣтскими разговорами*. Эта игра весьма скучна, какъ ты видишь, но любимая у младенцевъ. Есть многіе изъ нихъ, которые до самой смерти безпрестанно занимаются ею и ничѣмъ болѣе.»

Къ дереву, возлѣ котораго я стоялъ, была прислонена тоненькая жердочка; многіе изъ младенцевъ старались взобраться по ней на дерево; чего не дѣлали они для достиженія своей цѣли! и низко сгибали спину, и ползли, и то хватились за младенцевъ, окружавшихъ дерево, то отталкивали ихъ; странно было то только, что, когда кто поднимался нѣсколько выше другаго по жердочкѣ, то младенцы старались того назадъ отдергивать и между тѣмъ рукоплескали и кланялись ему; упавшаго же гнали и били немилосердо. Я замѣтилъ, что предметъ, привлекавшій болѣе всего младенцевъ къ этому дереву, были прекрасные плоды, на немъ висѣвшіе. Младенцы съ низу не замѣчали, что эти плоды были прекрасны только издали, но въ самомъ дѣлѣ были гнили. «И это игра, сказалъ мнѣ голосъ; она называется *почестями безъ заслуги*».

Весьма жалко мнѣ было смотрѣть на нѣкоторыхъ юношей, которыхъ *старики-младенцы* приводили къ дереву и показывая имъ плоды, на немъ росшіе, съ важностію говорили, что эти плоды чрезвычайно вкусны и должны быть цѣлю жизни человѣческой, — что единственное средство для достиженія оной, есть искусное перекидываніе мишурнаго мячика. Тщетно злополучные юноши обращали взоры къ чему-то высшему, непонятному для *стариковъ-младенцевъ*; упрямые старики, не давая имъ отдыха, заставляли перекидывать мячикъ.

«Не жалѣй! сказалъ мнѣ голосъ: это также игра, называемая *свѣтскимъ воспитаніемъ*. *Старики-младенцы*, правда, соблазняютъ многихъ юношей, но не останавливаютъ истинно презирающихъ эту ничтожную игру. Посмотри сюда, и ты увидишь подтвержденіе словъ моихъ».

Я обратился, увидѣлъ... О! какъ мнѣ выразить словами то, что увидѣлъ я?—Небеснымъ огнемъ пламенѣли ихъ очи, ихъ не туманило ничтожное земное; душевная дѣятельность пылала во всѣхъ чертахъ, во всѣхъ движеніяхъ; они презирали шумный, суетный крикъ младенцевъ,—ихъ взоры быстро стремились къ *возвышенному*.

«Кто сіи невѣдомые?» воскликнулъ я отъ избытка сердца.

«Это *безсмертные*!»—отвѣчалъ голосъ. «Старики-младенцы не замѣчаютъ, что сіи безсмертные юношамъ они обязаны почти существованіемъ, что сіи юноши, стремясь къ возвышенной цѣли своей, *мимоходомъ*, съ отеческою нѣжностію разливаютъ на нихъ дары свои; неблагодарные не понимаютъ ни дѣйствія, ни цѣли безсмертныхъ: одни смѣются надъ ними, другіе презираютъ, иные не обращаютъ вниманія, большая часть даже не знаетъ о существованіи сихъ юношей. Но вращаются вѣки, быстрые круговороты вре-

мени поглощаютъ въ безднѣ забвенія ничтожную толпу *стариковъ-младенцевъ*, и живутъ *бессмертные* — живутъ и нѣтъ предѣла ихъ возвышенной жизни!»

Кружокъ стариковъ-младенцевъ привлекъ мое вниманіе. Всѣ, составлявшіе оной, сидѣли наморщивъ брови, и съ важностію тщательно складывали песчинку къ песчинкѣ; имъ хотѣлось такимъ образомъ соорудить зданіе, подобное храму Гемисеен. «У васъ нѣтъ *основанія*, сказалъ улыбаясь одинъ изъ бессмертныхъ юношей, — у васъ нѣтъ даже *связи*, которая бы могла соединить ваши песчинки.»

Младенцы презрительно посмотрѣли на юношу — и спѣсиво указали ему на десять кое-какъ сложенныхъ песчинокъ, какъ бы говоря: вотъ гдѣ истинная мудрость!

«Тщетно! сказалъ мнѣ голосъ: отъ этой игры ихъ не отучишь; она называется: *опытными знаніями*!

Возлѣ сего кружка, нѣсколько стариковъ-младенцевъ, еще болѣе угрюмыхъ, раздѣривали землю для построенія того же зданія; но никакъ у нихъ дѣло не ладилось: только что безпрестанно ссорились и бранились! — и не мудрено! у всѣхъ были разномѣрные аршинны!

«Мѣряйте одинъ и тѣмъ же аршиномъ!» сказалъ бессмертный юноша. — Мой лучшій! мой лучшій! закричали они всѣ вмѣстѣ.

«Эти старики-младенцы думаютъ, сказалъ голосъ, что они нѣсколькими степенями выше младенцевъ, складывающихъ песчинки; но въ самомъ-дѣлѣ также *въ игрушки играютъ*, лишь съ тою разницею, что эта игра имѣетъ другое названіе: она называется *офранцузженными теоріями*».

Возлѣ меня нѣсколько стариковъ-младенцевъ играли въ игру весьма странную; одинъ изъ нихъ завязывалъ себѣ глаза, приходилъ въ мѣсто совершенно ему незнакомое и приказывалъ нѣкоторымъ юношамъ идти по дорогѣ, которую онъ, не видя, имъ указывалъ. Бѣдные юноши спотыкались безпрестанно, слѣдуя въ точности руководству его; но упрямый старикъ увѣрялъ, что юноши спотыкаются отъ несовершеннаго исполненія его наставленій, и ежeminутно твердилъ о своей *опытности*.

«Эта игра въ большемъ употребленіи у *стариковъ-младенцевъ*, сказалъ мнѣ голосъ; она истинное торжество для ихъ слабоумія — и называется: *искусствомъ подавать совѣты*».

Удаленный отъ всѣхъ подлѣ тѣнью миртоваго кусточка, сидѣлъ одинъ изъ *стариковъ-младенцевъ*; онъ подзывалъ каждаго проходящаго и съ глупою радостію показывалъ свою работу, но никто не обращалъ на нее вниманія; по этому и по розовому платочку я тотчасъ узналъ моего друга Ахалкина; подхожу — и что же? Онъ вырѣзывалъ солдатиковъ изъ листочковъ розы, и мнилъ такую армію въ прахъ разразить своего грознаго Аристарха! Повѣялъ лег-

кій вѣтеръ,—изчезли труды Ахалкина; только на лицѣ его осталось нѣкѣмъ не замѣченное выраженіе, которое не знаю, какъ назвать — улыбкою или плачемъ, лишь знаю, что оно было—отвратительно!

Какъ изчислить мнѣ всѣ суетныя занятія *стариковъ-младенцевъ*, какъ изчислить неизчислимое? Одни пускали мыльные пузыри и увѣряли, что для сего потребны величайшія усилія и умъ высокій; другіе вили въ кудри сѣдые волосы и восхищались своею безобразною красотою; третьи прозябали въ бездѣйствіи, но у всѣхъ на языкѣ вертѣлась *опытность!*

Не знаю, долго ли продолжалось мое видѣніе, но когда оно изчезло, я сдѣлался гораздо спокойнѣе.

Теперь, слышу ли я старика, порицающаго ученость, потому-что самъ не имѣеть ее, порицающаго всякую новизну за то, что она новизна;—вижу ли тарика, который хочетъ обмануть время не пріобрѣтеніемъ познаній, но подкрашенными волосами—ихъ невѣжество и слабоуміе не возмущаютъ меня болѣе; я вспоминаю о моемъ видѣніи и спокойно говорю себѣ: *«это старики-младенцы!»*

Увы! я уже вижу поднимающуюся грозно-смѣшную толпу *стариковъ-младенцевъ*; они обвиняютъ меня даже за то, что мнѣ могло представиться такое видѣніе. Но вы, юные друзья мои, скажите мнѣ: не тогда ли только долгая жизнь можетъ содѣлать человека *опытнымъ*, когда каждый день оной — есть новый рядъ умствованій;—гдѣ же опытность *стариковъ-младенцевъ*, которою они столько хвалятся, когда бездѣйственность, или ничтожныя занятія потушили въ ихъ головахъ и послѣднюю искру размышленія?

*Зевесъ посылаетъ намъ сны*, говорили древніе. Мое видѣніе — не должно возбудить непочтеніе къ старости, но напротивъ еще больше произвесть благоговѣнія къ *старцамъ*, въ истинномъ, высокомъ значеніи сего слова.

Друзья! улыбку *старикамъ-младенцамъ* и на колѣна предъ *вѣчными старцами!*

Нѣтъ спора, что все это молодо, незрѣло и, можетъ-быть, слишкомъ наивно, но нельзя отрицать, чтобъ въ этомъ не было одушевленія, жизни и мысли, хотя и выраженной въ формѣ, которая уже по самой сущности своей прозаична, какъ сбивающаяся на аллегорію. Нечего и доказывать, что теперь такой родъ сочиненій былъ бы страненъ и не могъ бы имѣть успѣха; но вѣдь это было писано двадцать лѣтъ назадъ, — а что является въ свое время, вдохновенное самобытною мыслию и запечатлѣнное талантомъ, то если не всегда сохраняетъ свою первоначальную свѣжесть и спадаетъ съ цѣны отъ времени,

за то всегда имѣеть, въ глазахъ мыслящаго человѣка, свою относительную, свою историческую важность. Эти апологи замѣчательны уже тѣмъ, что они не походили ни на что, бывшее до нихъ въ русской литературѣ; они не пользовались популярностью, потому что могли нравиться не всѣмъ. Старички острова Панхаи называли ихъ безнравственными; большинство публики, не находя въ нихъ ничего для фантазій и не любя пищи, предлагаемой преимущественно для ума мыслящаго, пропустило ихъ безъ особеннаго вниманія; но за то юношество, одушевленное стремленіемъ къ идеальному, въ хорошемъ значеніи этого слова, какъ противоположности прошлой прозѣ жизни, — это юношество читало ихъ съ жадностью, и благодатны были плоды этого чтенія. Мы знаемъ это по собственному опыту, и кто умѣетъ судить о достоинствѣ вещей не по настоящему времени, а по ихъ историческому смыслу, кто помнитъ состояніе нашей литературы въ ту эпоху, когда лучшими журналами въ Россіи были «Вѣстникъ Европы» и «Сынъ Отечества» и еще не было «Московского Телеграфа», когда читающая публика была несравненно малочисленнѣе нынѣшней, — тѣ согласятся съ нами.

Но князь Одоевскій не остановился на этихъ юношескихъ опытахъ; онъ скоро понялъ, что этотъ избранный, или, лучше сказать, созданный имъ родъ литературы прозаиченъ и однообразенъ. Онъ такъ мало даетъ цѣны этимъ первоначальнымъ опытамъ своимъ, что не захотѣлъ даже помѣстить ихъ въ собраніи своихъ сочиненій... Послѣдующіе его опыты, разбросанные преимущественно по альманахамъ, уже обнаружили въ немъ писателя столько же возмужавшаго, сколько и даровитаго. Не измѣняя своему истинному призванію, по прежнему оставаясь по преимуществу дидактическимъ, онъ въ то же время умѣлъ возвыситься до того поэтическаго краснорѣчія, которое составляетъ собою звѣно, связывающее оба эти искус-

ства — краснорѣчіе и поэзію, и которое составляет истинную сущность таланта Жанъ-Поля Рихтера. Для доказательства ссылаемся на три лучшія произведенія князя Одоевскаго — «Бригадиръ», «Балъ» и «Насмѣшка Мертвеца». Это уже не апологи, не аллегоріи: это живыя мысли созрѣвшаго ума, переданныя въ живыхъ поэтическихъ образахъ. Несмотря на дидактическую цѣль этихъ произведеній, въ нихъ все горитъ и блещетъ яркими цвѣтами фантазіи, въ нихъ слышится одушевленный языкъ живаго, страстнаго убѣжденія, они проникнуты пафосомъ истины, они — не холодныя поученія, не резонёрскіе нападки на пороки людей, не риторическія похвалы добродѣтели: они — пламенные филиппики, исполненныя то грознаго пророческаго негодованія противъ ничтожности и мелочности положительной жизни, валяющейся въ грязи эгоистическихъ разсчетовъ, — то молніеносныхъ образовъ надзвѣздной страны идеала, гдѣ живутъ высокія чувствованія, свѣтлыя мысли, благородныя стремленія, доблестныя помыслы. Ихъ цѣль — пробудить въ спящей душѣ отвращеніе къ мертвой дѣйствительности, къ пошлой прозѣ жизни, и святую тоску по той высокой дѣйствительности, идеалъ которой заключается въ смѣломъ, исполненномъ жизни сознаніи человѣческаго достоинства. Но, кромѣ того, важное преимущество этихъ піесъ составляетъ ихъ близкое, живое соотношеніе къ обществу. Съ этой стороны, онѣ — не выдумки, не игрушки праздної фантазіи, не риторическія олицетворенія отвлеченныхъ мыслей, общихъ добродѣтелей и пороковъ, но уроки высокой мудрости, тѣмъ болѣе плодотворные, что ихъ корни скрываются глубоко въ почвѣ русской дѣйствительности. Прочтите «Бригадира»: это исторія многихъ тысячъ нашихъ бригадировъ, — исторія, къ несчастію, всегда одинаковая. Безпокойный и страстный юморъ составляетъ также одно изъ неотъемлемыхъ достоинствъ этихъ піесъ и придаетъ имъ характеръ положительности, безъ котораго онѣ казались

бы слишком фантастическими, а потому и недостаточно дълкими. Но какъ фантастическое лежитъ въ этихъ пьесахъ на существенномъ основаніи, то оно придаетъ имъ только еще болѣе сильный и увлекательный характеръ, поражая мысль чрезъ посредство фантастическихъ образовъ, сверкающихъ яркими и причудливыми красками поэзіи. Для доказательства этого, достаточно указать на то мѣсто изъ «Бала», гдѣ съдой капельмейстеръ, хвалится своимъ умѣньемъ оживлять балъ искуснымъ подборомъ музыкальных пѣсень... Еще богаче и внутреннимъ содержаніемъ, и стремительнымъ пафосомъ, и фантастически-поэтическими образами пьеса — «Насмѣшка Мертвеца». По нашему мнѣнію, это едва ли не лучшее произведеніе князя Одоевскаго и, въ то же время, одно изъ замѣчательнѣйшихъ произведеній русской литературы, тѣмъ болѣе, что оно въ ней единственное въ своемъ родѣ. Мысль автора... но пусть эта мысль скажется сама, во всей прелести и во всей силѣ ея поэтического выраженія. Красавица, ѣдущая на балъ съ своимъ мужемъ, встрѣтила на дорогѣ гробъ и смутилась при взглядѣ на мертвого молодого человѣка, лежавшаго въ гробу.

Красавица нѣкогда видала этого молодого человѣка. Видала! она знала его, знала всѣ изгибы души его, понимала каждое трепетаніе его сердца, каждое недоговоренное слово, каждую незамѣтную черту на лицѣ его; она знала, понимала все это, но на ту пору, одно изъ тѣхъ людскихъ мнѣній, которыя люди называютъ вѣчнымъ, необходимымъ основаніемъ семейственного счастья, и которому приносятъ въ жертву и гевій, и добродѣтель, и состраданіе, и здравый смыслъ, все это на нѣсколько мѣсяцевъ, — одно изъ такихъ мнѣній поставило непреодолимую преграду между красавицею и молодымъ человѣкомъ. И красавица покорилась. Покорилась не чувству, — нѣтъ, она затоптала святую искру, которая было затеплилась въ душѣ ея, и падши, поклонилась тому демону, который раздаетъ счастье и славу міра, и демонъ похвалилъ ея повиновеніе, далъ ей «хорошую партію», и назвалъ ея разсчетливостъ — добродѣтелью, ея подобострастіе — благоразуміемъ, ея оптический обманъ — влеченіемъ сердца; и красавица едва не гордилась его похвалою.

Но въ любви юности соединилось все святое и прекрасное человѣка; ея роскошнымъ огнемъ жила жизнь его, какъ блестящій, благоухающій алозъ



подъ опаломъ солнца, юношѣ были родными тѣ минуты, когда надъ мыслию проходить дыханіе бурно: тѣ минуты, въ которыя живутъ вѣка, когда ангелы присутствуютъ таинству души человѣческой, и таинственные зародыши будущаго поколѣній со страхомъ внимаютъ рѣшенію судьбы своей.

Да! много будущаго было въ этой мысли, въ этомъ чувствѣ. Но имъ ли оковать живное сердце свѣтской красавицы, непрерывно охлаждаемое расчетами приличій? Имъ ли пѣннѣть умъ, безпрестанно сводимый съ толку тѣми судьями общаго мнѣнія, которые постигли искусство судить о другихъ по себѣ, о чувствѣ по расчету, о мысли по тому, что имъ случилось видѣть на свѣтѣ, о поэзіи по чистой прибыли, о вѣрѣ по политикѣ, о будущемъ по прошедшему?

И все было презрѣно: и безкорыстная любовь юноши, и силы, которыми она оживляла... Красавица назвала страсть юноши порывомъ воображенія, его мучительное терзаніе—преходящею болѣзнью ума, мольбу его взоромъ—модною поэтическою причудою. Все было презрѣно, все было забыто. Красавица провела его черезъ всѣ мытарства оскорбленной любви, оскорбленной надежды, оскорбленного самолюбія...

Что я рассказалъ долгими рѣчами, то въ одно мгновеніе пролетѣло черезъ сердце красавицы при видѣ мертваго: ужасною показалась ей смерть юноши, — не смерть тѣла, нѣтъ! черты искаженного лица рассказывали страшную повѣсть о другой смерти. Кто знаетъ, что случилось съ юношей, когда, сжатая холодомъ страданія, порвались струны на гармоническомъ орудіи души его; когда изнемогъ онъ, замученный недоговоренною жизнію, когда истощилась душа на тщетное бореніе и, униженная, но не убѣжденная, съ хохотомъ отвергла даже сомнѣніе — послѣднюю святую искру души умирающей. Можетъ-быть, она вызвала изъ ада всѣ изобрѣтенія разврата; можетъ-быть, постигла сладость коварства, нѣгу мщенія, выгоды лживой безстыдной подлости; можетъ-быть, сильный юноша, распаливши сердце свое молитвою, проклялъ все доброе въ жизни! Можетъ-быть, вся та дѣятельность, которая была предназначена на святой подвигъ жизни, углубилась въ науку порока, изчерпала ея мудрость съ тою же силою, съ которою она нѣкогда изчерпала бы науку добра; можетъ-быть, та дѣятельность, которая должна была помирить гордость познанія съ смиреніемъ вѣры, слила горькое, удушающее раскаяніе съ самою минутою преступленія...

Картина бала и смятенія, произведеннаго страхомъ потопа, исполнены вдохновенія бурнаго и порывистаго, негодованія пророчески энергическаго. Здѣсь краснорѣчіе возвышается до поэзіи, а поэзія становится трибуною. Чтобы выписать все лучшее изъ этой пьесы, надобно было бы списать ее всю. Но

мы думаемъ, что и этой выписки уже слишкомъ достаточно, чтобъ показать и высокій талантъ автора, и высокое его призваніе.

Было время, когда поэзію раздѣляли на эпическую, лирическую, драматическую и еще дидактическую. Но не столько ложность раздѣленія, сколько пошлость образцовъ дидактической поэзіи, изгнала изъ употребленія самое слово «дидактическій», какъ синонимъ скуки, водянистости и прозаизма; но это несправедливо. Хотя сатира, напр., и принадлежитъ къ лирической поэзіи, какъ выраженіе субъективнаго чувства; однако сатира не есть произведеніе собственно поэзіи, какъ пѣсня, элегія, ода, потому что въ ней всегда видна слишкомъ опредѣленная цѣль, и въ нее входитъ слишкомъ большой посторонній элементъ. Въ сатирѣ, поэтъ является обличителемъ, адвокатомъ, проповѣдникомъ, а поэзія въ сатирѣ является больше какъ средство, нежели какъ самобытное искусство. Сатира одно изъ тѣхъ произведеній, въ которыхъ поэзія становится краснорѣчіемъ, краснорѣчіе—поэзіею. Знаменитые въ прошломъ вѣкѣ «Сады» Делиля не принадлежать къ дидактической поэзіи, потому что они чужды какой бы то ни было поэзіи; но сатиры Ювенала, ямбы Барбье, піеса Пушкина «Поэтъ и Чернь», піесы Лермонтова «Печально я гляжу на наше поколѣнье» и «Поэтъ» суть произведенія столько же дидактическія сколько и поэтическія. Дидактическая поэзія, въ томъ смыслѣ, какъ мы ее понимаемъ, есть то гремящее анаэемю поученіе, то страстная рѣчь защитника добра; это родъ поэзіи наиболѣе соціальный и гражданскій. Отсюда понятно, что у Римлянъ явился величайшій сатирикъ въ мірѣ. Изъ этого однакожь не слѣдуетъ, чтобъ поэзія должна была по прежнему раздѣляться на эпическую, лирическую, драматическую и дидактическую: дидактической поэзіи нѣтъ, но есть дидактизмъ, который, какъ преобладающій элементъ, можетъ входить во всѣ три рода поэзіи, преимущест-

венно же въ лирическую. Безъ пафоса невозможна никакая поэзія, и дидактизмъ, чтобъ не убивать поэзіи, долженъ быть всегда преисполненъ страстнаго одушевленія. Въ древности были пѣвцы, обрекавшіе себя на возбужденіе въ гражданахъ чувствъ доблести и любви къ отечеству во время войнъ, и до насъ дошло нѣсколько одъ Тиртея, котораго анти-поэтическіе, нелюбившіе изящныхъ искусствъ Спартанцы выпросили у Аѳинянъ, чтобъ онъ воспламенялъ своими пѣснями духъ храбрости въ ихъ воинствѣ, во время кровавой борьбы ихъ съ Мессенцами. Почему же не быть поэтамъ, которые служили бы обществу, пробуждая и поддерживая въ его членахъ стремленіе къ сознанію, къ жизни умомъ и 'сердцемъ, единой сообразной съ человѣческимъ достоинствомъ жизни? И неужели эти гражданскіе Тиртеи ниже Тиртеевъ войны? Храбрость составляетъ одно изъ достоинствъ человѣка, особенно важное во время войны, но человѣчность всегда и вездѣ, въ войнѣ и мирѣ, есть высшая добродѣтель, высшее достоинство человѣка, потому что безъ нея человѣкъ есть только животное, тѣмъ болѣе отвратительное, что вопреки здравому смыслу будучи внутри животнымъ, снаружи имѣетъ форму человѣка...

Мы выше сказали, что въ русской литературѣ нѣтъ произведеній, которыя бы, по своему духу и формѣ, могли относиться къ одному разряду съ тѣми піесами князя Одоевскаго, о которыхъ говорено выше. Ихъ прототипа надо искать въ сочиненіяхъ Жанъ-Поля Рихтера, который, не будучи поэтомъ въ смыслѣ творчества, тѣмъ не менѣе обладалъ замѣчательно сильною фантазією, и нерѣдко умѣлъ ею счастливо пользоваться для выраженія философскихъ и преимущественно нравственныхъ идей. Поэтому, мы смотримъ на Жанъ-Поля Рихтера, какъ на дидактическаго поэта. Талантъ этого рода имѣетъ еще то отличіе отъ таланта чисто поэтическаго, чисто творческаго, что онъ тѣсно связанъ съ одушевленіемъ одарен-

наго имъ лица къ нравственнымъ идеямъ. И потому, мы нерѣдко видимъ, что люди, обладающіе чисто поэтическимъ талантомъ, сохраняютъ его долго, независимо отъ ихъ отношеній къ жизни; но когда писатель, котораго направленіе преимущественно дидактическое, или привыкаетъ наконецъ къ холоду жизни, прежде возбуждавшему въ немъ громовое негодованіе, или допускаетъ сомнѣнію ослабить въ себѣ энергію убѣжденія. — тогда его талантъ исчезаетъ вмѣстѣ съ упадкомъ его нравственной силы. Это потому, что такой талантъ есть своего рода добродѣтель.

Намъ не безъ основанія могутъ замѣтить, что такіа произведенія, какъ «Бригадиръ», «Балъ» и «Насмѣшка Мертвеца», могутъ читаться не всегда, и притомъ не во всякомъ расположеніи духа, и что для умовъ зрѣлыхъ и закаленныхъ въ борьбѣ съ жизнью подобный дидактизмъ не вполне поучителенъ. Не споримъ противъ этого. Но какъ различны потребности возрастовъ и состояній, такъ различны и средства къ ихъ удовлетворенію. Есть люди, которые съ восторгомъ будутъ читать трагедію Шиллера, и въ которыхъ «Ревизоръ», или «Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ» могутъ возбудить скорѣе болѣзненно непріятное чувство, нежели удовольствіе и восторгъ; и есть люди, которымъ гениальная комедія изъ современной жизни громче говоритъ о значеніи и смыслѣ великаго и прекраснаго на землѣ, нежели иная восторженная, исполненная кипѣніемъ юнаго чувства трагедія. Не будемъ рассуждать, которая изъ этихъ сторонъ права, которая неправа; мы даже думаемъ, что обѣ онѣ равно правы, ибо каждая изъ нихъ требуетъ того, что ей нужно, и обѣ достигаютъ одной и той же цѣли, идя по разнымъ путямъ. Какъ бы то ни было, но чтеніе такихъ произведеній, какъ «Бригадиръ», «Балъ» и «Насмѣшка Мертвеца», производитъ на молодую душу, еще свѣжую, неподвергшуюся

нечистому прикосновенію житейской суеты, дѣйствіе электрическаго удара, потрясающаго всю нервную систему. И подобный нравственный ударъ оставляетъ въ юной, исполненной благороднаго стремленія душѣ самыя благодатныя слѣдствія. Мы знаемъ это по собственному примѣру: мы помнимъ то время, когда избранная молодёжь съ восторгомъ читала эти піесы и говорила о нихъ съ тѣмъ важнымъ видомъ, съ какимъ обыкновенно неопиты говорятъ о тайнствахъ своего ученія. И вотъ одна изъ причинъ, почему имя князя Одоевскаго, какъ писателя, болѣе извѣстно и знакомо всѣмъ, нежели его сочиненія: его сочиненія таковы, что могутъ или сильно нравиться, или совсѣмъ не могутъ нравиться, потому что годятся не для всѣхъ; а между тѣмъ, мнѣніе тѣхъ, которыхъ они могутъ сильно интересовать, слишкомъ важно и дѣйствительно даже для тѣхъ, которые сами не могутъ находить въ нихъ для себя особеннаго интереса. Къ этому надо присовокупить еще и то обстоятельство, что сочиненія князя Одоевскаго долго были разбросаны во множествѣ разныхъ альманаховъ и журналовъ, и что ихъ многіе печатно и хвалили и бранили, но никто не почелъ за нужное отдать публикѣ отчетъ, почему онъ ихъ хвалить или бранить. Впрочемъ, и не легко было бы дать такой отчетъ, потому что для этого критикъ принужденъ былъ бы прежде всего завалить свой столъ альманахами и журналами разныхъ годовъ. Вообще, нельзя не упрекнуть князя Одоевскаго, что онъ не собиралъ и не издавалъ своихъ сочиненій по мѣрѣ ихъ накопленія. Это было бы для него весьма важно: ему легче было бы судить о потребностяхъ времени по приему публикою каждой книжки своихъ сочиненій и знать заранее, можетъ ли имѣть успѣхъ измѣненіе ихъ въ направленіи.

Послѣ всего, сказаннаго нами по поводу піесъ — «Бригадиръ», «Балъ» и «Насмѣшка Мертвеца», было бы бесполезно распространяться о достоинствѣ такого рода произведеній, о

высокомъ талантѣ ихъ автора, равно какъ и о неоспоримой важности его направленія и призванія. Но навсегда ли, или по крайней мѣрѣ надолго ли авторъ остался ему вѣренъ? — вотъ вопросъ. Кромѣ этихъ трехъ піесъ, помѣщенныхъ въ первой части, въ слѣдующихъ частяхъ мы находимъ еще нѣсколько въ такомъ же родѣ, каковы: «Городъ безъ имени», «Новый Годъ», «Черная Перчатка», «Живой Мертвецъ», и отрывки изъ «Пестрыхъ Сказокъ»; но въ этихъ уже, за исключеніемъ первой, преобладаетъ юморъ, и онѣ, не теряя своего дидактическаго характера, начинаютъ наклоняться къ повѣсти. Изъ нихъ лучше другихъ кажется намъ «Новый Годъ». — «Живой Мертвецъ», написанъ какъ-будто въ pendant къ «Бригадиру»: въ немъ та же мысль, съ одной стороны, выраженная болѣе дѣйствительнымъ, нежели поэтическимъ образомъ, можетъ-быть, болѣе уловимая для большинства, но съ другой стороны лишенная торжественности лирическаго одушевленія, которое составляетъ лучшее достоинство «Бригадира». — Что же касается до піесы «Городъ безъ имени», она написана совершенно въ духѣ лучшихъ произведеній въ этомъ родѣ князя Одоевскаго; но основная мысль ея нѣсколько односторонняя. Авторъ нападаетъ на исключительно индустріальное и утилитарное направленіе обществъ, думая видѣть въ немъ причину будто бы близкаго ихъ паденія. Автору можно возразить, что могутъ быть общества, основанныя на преобладаніи идеи утилитарности, но что общества, основанныя на исключительной идее практической пользы, совершенно невозможны. Сколько можно замѣтить, авторъ намекаетъ на Сѣверо-Американскіе Штаты; но что можно сказать положительнаго объ обществѣ, которое такъ юно, что еще не доросло до эпохи уравниванія своихъ силъ и полной общественной организаціи? И кто можетъ сказать утвердительно, что въ этомъ странномъ, заражающемся обществѣ не кроются элементы болѣе дѣйстви-

ные и благородные, чѣмъ исключительное стремленіе къ положительной пользѣ? Вообще, мысль о возможности смерти для обществъ вслѣдствіе ложнаго направленія, слишкомъ пугаетъ автора. Въ піесѣ «Послѣднее Самоубійство», онъ рѣшился даже нарисовать картину смерти всего человѣчества, которому уже ничего не осталось ни знать, ни дѣлать, потому что все уже узнано и сдѣлано...

Піесы: «Opere del Cavaliere Giambatista Piranesi», «Послѣдній Квартетъ Бетховена», «Импровизаторъ» и «Себастьянъ Бахъ», образуютъ собою особенную серію дидактическихъ произведеній, и всѣ онѣ возбудили, при своемъ появленіи, большое вниманіе. Въ нихъ развивается какая-нибудь или психологическая мысль, или взглядъ на искусство и художника. Первая изъ нихъ — «Opere del Cavaliere Giamabatista Piranesi» есть — кто бы могъ подумать? — апофеоза сумасшествия!... Ибо что другое, какъ не желаніе апофеозировать сумасшествіе, могло заставить автора взять на себя трудъ представить архитектора, который помѣшался на мысли строить зданія изъ горъ, переставлять горы съ мѣста на мѣсто, и дѣлать тому подобное?... Такое состояніе, по нашему мнѣнію, отнюдь не показываетъ геніяльности, но напротивъ свидѣтельствуетъ о слабой нервической натурѣ, которая не выдерживаетъ тяжести разумной дѣйствительности, — и Пиранези. таковъ, какимъ представляетъ его князь Одоевскій, достоинъ жалости, какъ всякій сумасшедшій, но не вниманія, какъ всякій замѣчательный человѣкъ. Геній творитъ великое, но возможное; о громадномъ, но невозможномъ можетъ мечтать только разстроенная и болѣзненная фантазія. — Въ «Импровизаторѣ» прекрасно развита мысль о бесплодности и вредѣ знанія, пріобрѣтеннаго безъ труда и усилій, какъ источникъ самаго пошлаго и тѣмъ не менѣе мучительнаго скептицизма, результатомъ котораго всегда бываетъ искреннее примиреніе съ пошлостью

вѣтшей жизни. «Себастьянъ Бахъ»—родъ біографіи-повѣсти, въ которой жизнь художника представлена въ связи съ развитіемъ и значеніемъ его таланта. Это скорѣе біографія таланта, чѣмъ біографія человека. Она вводитъ читателя въ святилище генія Баха и критически знакомитъ его съ нимъ. Жизнь Себастьяна Баха изложена княземъ Одоевскимъ въ духѣ нѣмецкаго воззрѣнія на искусство и нѣмецкаго музыкальнаго вѣрованія, которое на итальянскую музыку смотритъ какъ на расколъ, которое, вмѣстѣ съ этимъ геніальнымъ и просто-душнымъ стариннымъ мастеромъ, боится лучшаго въ мірѣ музыкальнаго инструмента—человѣческаго голоса, какъ слышкомъ исполненнаго страсти, профанирующей искусство въ той заоблачной и по тому самому нѣсколько холодной сферѣ, въ которой эксцентрическіе Нѣмцы хотятъ видѣть царство истиннаго искусства. Однако, это нисколько не мѣшаетъ поэтической біографіи Себастьяна Баха быть до того мастерски изложенною, до того живою и увлекательною, что ее нельзя читать безъ интереса даже людямъ, которые недалеко въ знаніи музыки. Это значить, что въ ней авторъ коснулся тѣхъ общихъ сторонъ, которыя и въ музыкантѣ прежде всего показываютъ художника, а потомъ уже музыканта.

«Imbroglío», «Сильфида», «Саламандра», «Южный Берегъ Финляндіи въ началѣ XVIII столѣтія», «Княжна Мими» и «Княжна Зизи»—все эти піесы образуютъ собою рядъ повѣстей собственно. Лучшая между ними и одно изъ лучшихъ произведеній князя Одоевскаго, есть «Княжна Мими». Несмотря на ея нисколько не лирическій характеръ, она вѣрна тому направленію таланта автора, которое мы столько уважаемъ и которое мы видимъ въ его піесахъ «Бригадиръ», «Балъ» и «Насмѣшка Мертвеца». Это мастерски написанная картина изъ свѣтскаго быта. Содержаніе ея очень просто: гибель прекрасной женщины, которую ожидало счастье вдвоемъ и которая



вполнѣ была достойна этого счастья, — гибель этой женщины отъ сплетни, сочиненной старою дѣвою. Вѣрный своему направлению, авторъ выводитъ наружу внутренній пафосъ повѣсти въ этихъ немногихъ, но пророчески обличительныхъ словахъ: «Есть поступки, которые преслѣдуются обществомъ: погибаютъ виновные, погибаютъ невинные. Есть люди, которые полными руками сѣютъ бѣдствіе, въ душахъ высокихъ и нѣжныхъ возбуждаютъ отвращеніе къ челоуѣчеству, словомъ, торжественно подпихиваютъ основанія общества, — и общество согрѣваетъ ихъ въ груди своей, какъ бессмысленное солнце, которое равнодушно всходитъ и надъ криками битвы и надъ молитвою мудраго». Но героиня повѣсти, княжна Мими, не принесена авторомъ въ жертву моральности: онъ раскрываетъ передъ читателями тѣ неотразимыя причины, вслѣдствіе которыхъ она должна была сдѣлаться злою сплетницею; онъ показываетъ, что гораздо прежде, нежели она начала подпихивать основы общества, это общество сгубило въ ней все хорошее и развило все дурное. Она была старая дѣва и знала, что такое «тихій шопотъ, непримѣтная улыбка, явныя или воображаемыя насмѣшки, падающія на бѣдную дѣвушку, которая не имѣла довольно искусства, или имѣла слишкомъ много благородства, чтобъ продать себя въ замужество по разсчетамъ». Превосходный рассказъ, простота и естественность завязки и развязки, выдержанность характеровъ, знаніе свѣта — дѣлаютъ «Княжну Мими» одною изъ лучшихъ русскихъ повѣстей.

Повѣсть «Княжна Зизи» уступаетъ въ достоинствѣ повѣсти «Княжна Мими», — что однакожъ не мѣшаетъ и ей быть интересною и занимательною. Основная идея — положеніе въ обществѣ женщины, которая по своему сердцу, по душѣ, составляетъ исключеніе изъ общества, и дорого платитъ за свое незнаніе людей и жизни, которымъ слишкомъ довѣрялась, потому что судила о нихъ по самой себѣ.

«Сильфида» принадлежит къ тѣмъ произведеніямъ князя Одоевскаго, въ которыхъ онъ рѣшительно началъ уклоняться отъ своего прежняго направленія, въ пользу какого-то страннаго фантазма. Отсюда происходитъ то, что съ сихъ поръ каждое изъ его произведеній имѣетъ двѣ стороны — сторону достоинствъ и сторону недостатковъ. Пока авторъ держится дѣйствительности, его талантъ увлекателенъ по прежнему и проблесками поэзіи и необыкновенно умными мыслями; но какъ скоро впадаетъ онъ въ фантастическое, изумленный читатель по неволѣ задаетъ себѣ вопросъ: шутитъ съ нимъ авторъ, или говоритъ серьезно? Герой повѣсти «Сильфида» очень занимаетъ насъ, пока мы видимъ его въ простыхъ человѣческихъ отношеніяхъ къ людямъ и жизни; но наше участіе къ нему, несмотря на искусство и высокій талантъ автора, тотчасъ погасаетъ, какъ скоро онъ началъ отыскивать какую-то Сильфиду на днѣ миски съ водою и бирюзовымъ перстнемъ. Авторъ (сколько можемъ мы понять при нашемъ совершенномъ невѣжествѣ въ дѣлахъ волшебства, видѣній и галлюцинацій) хотѣлъ въ героѣ «Сильфиды» изобразить идеалъ одного изъ тѣхъ высокихъ безумцевъ, которыхъ внутреннему созерцанію (будто-бы) доступны сокровенныя и превыспреннія тайны жизни. Но, увы! уваженіе къ безумцамъ давно уже, и притомъ безвозвратно, прошло въ просвѣщенной Европѣ, и вдохновенныхъ сантоновъ уважаютъ теперь только въ непросвѣщенной Турціи!... Точно то же можно сказать и о двухъ большихъ повѣстяхъ, которыя, впрочемъ, не особыя повѣсти, а двѣ части одной и той же повѣсти — «Саламандра» и «Южный Берегъ Финляндіи въ началѣ XVIII столѣтія». Тутъ есть прекрасныя картины быта Финновъ, прекрасная финская легенда о борьбѣ Петра-Великаго съ Карломъ XII-мъ; есть картины русскаго быта при Петрѣ-Великомъ и вскорѣ послѣ него; есть удачныя очерки характеровъ; сама эта полудикая Эльса, въ противо-

положности съ образованною Марьею Егоровною, такъ интересна... Но Саламандра, ея роль въ повѣсти, разныя магнетическія и другія чудеса, исканіе философскаго камня и обрѣтеніе онаго, — все это было для насъ непонятно; а чего мы не понимаемъ, тѣмъ не можемъ и восхищаться... Притомъ же мы имѣемъ глубокое и твердое убѣжденіе, что такія пружины для возбужденія интереса въ читателяхъ уже давно устарѣли и ни на кого не могутъ дѣйствовать. Теперь вниманіе толпы можетъ покорять только сознательно-разумное, только разумно-дѣйствительное, а волшебство и видѣнія людей съ разстроенными нервами принадлежатъ къ вѣдѣнію медицины, а не искусства. И что было плодомъ этого новаго направленія князя Одоевскаго?—«Необойденный Домъ», въ которомъ едва ли что-нибудь поймутъ какъ образованные люди, не для которыхъ писана эта странно-фантастическая повѣсть, такъ и простолюдины, для которыхъ она писана, и которые, вѣроятно, никогда не узнаютъ о ея существованіи!...

Но это направленіе явилось въ сочиненіяхъ князя Одоевскаго не въ послѣднее только время. Еще въ 1833 году, издалъ онъ свои «Пестрыя Сказки», въ которыхъ было нѣсколько прекрасныхъ юмористическихъ очерковъ, какъ, напримѣръ: «Исторія о пѣтухѣ, кошкѣ и лягушкѣ»; «Сказка о томъ, по какому случаю коллежскому совѣтнику Отношенью не удалось въ свѣтлое воскресенье поздравить своихъ начальниковъ съ праздникомъ», «Сказка о мертвомъ тѣлѣ, неизвѣстно кому принадлежащемъ». Но между этими очерками была піеса «Игоша», въ которой все непонятно, отъ перваго до послѣдняго слова, и которая, поэтому, вполне заслуживаетъ названіе фантастической. Мы имѣемъ причины думать, что на это фантастическое направленіе нашего даровитаго писателя имѣлъ большое вліяніе Гофманъ. Но фантазмъ Гофмана составлялъ его натуру, и Гофманъ въ самыхъ нелѣпыхъ дурачествахъ своей фан-

тазиѣ умѣлъ быть вѣрнымъ идеѣ. Поэтому, весьма опасно подражать ему: можно занять и даже преувеличить его недостатки, не заимствовавъ его достоинствъ. Сверхъ того, фантазмъ составляетъ самую слабую сторону въ сочиненіяхъ Гофмана; истинную и высокую сторону его таланта составляетъ глубокая любовь къ искусству и разумное постиженіе его законовъ, ѣдкій юморъ и всегда живая мысль.

Можетъ-быть, это же вліяніе Гофмана заставило князя Одоевскаго дать странную форму первой части его сочиненій, которую онъ отличилъ отъ другихъ страннымъ названіемъ «Русскихъ Ночей». Подобно знаменитымъ «Серапіоновымъ Братьямъ», онъ заставилъ нѣсколько молодыхъ людей бесѣдовать по ночамъ о жизни, наукѣ, искусствѣ и тому подобныхъ предметахъ. Вслѣдствіе этого, лучшія піесы его — «Бригадиръ», «Балъ», «Насмѣшка Мертвеца», «Импровизаторъ» и «Себастьянъ Бахъ», написанныя имъ гораздо прежде, нежели, можетъ-быть, родилась у него мысль о «Русскихъ ночахъ», явились въ какой-то неестественной и насильственной связи между собою: онѣ читаются Фаустомъ (предсѣдателемъ «Русскихъ ночей») изъ какой-то рукописи по поводу разговоровъ его съ друзьями о разныхъ предметахъ. Разумѣется, эти разговоры пригнаны авторомъ къ рассказамъ, а потому рассказы не совсемъ вяжутся съ разговорами. Но это еще не все: разговоры ослабляютъ впечатлѣніе рассказовъ. Правда, эти разговоры, или бесѣды, имѣютъ большую занимательность, исполнены мыслей; но почему же не сдѣлать автору изъ нихъ особой статьи? Онъ отчасти и сдѣлалъ это въ «Эпилогѣ», который имѣетъ большое достоинство, но безъ всякаго отношенія къ рассказамъ, и къ которому мы еще обратимся. Вторая часть названа «Домашними Разговорами», хотя это названіе можетъ относиться только развѣ къ повѣсти «Княжна Мими», а ко всѣмъ другимъ рассказамъ и повѣстямъ, вошедшимъ въ эту часть, нисколько

не йдетъ. Не понимаемъ, къ чему все это, если не къ тому, чтобъ давать противъ себя оружіе своимъ литературнымъ недоброжелателямъ, которыхъ у князя Одоевскаго, какъ у всякаго сильно даровитаго писателя, очень много, и которые рады будутъ обратить все свое вниманіе на эти мелочи, чтобъ не обратить никакого вниманія на существенныя стороны его сочиненій!

Въ «Эпилогъ», какъ въ выводѣ изъ предшествовавшихъ разговоровъ, развивается мысль о нравственномъ гнѣвѣ Запада въ настоящее время. Въ лицѣ Фауста, который играетъ главную роль во всѣхъ этихъ разговорахъ и въ «Эпилогѣ» особенно, — авторъ хотѣлъ изобразить человека нашего времени, впавшаго въ отчаяніе сомнѣнія, и уже не въ знаніи, а въ произволѣ чувства ищущаго разрѣшенія на свои вопросы. Слѣдовательно, это — своего рода повѣсть, въ которой авторъ представляетъ извѣстный характеръ, не отвѣчая за его дѣйствія, или за его мнѣнія. Другими словами: этотъ «Эпилогъ» есть вопросъ, который авторъ предлагаетъ обществу, не принимая на себя обязанности рѣшить его. Мы очень рады, что въ лицѣ этого выдуманнаго Фауста мы можемъ отвѣтить на важный вопросъ всѣмъ дѣйствительнымъ Фаустамъ такого рода. Фаустъ князя Одоевскаго — надо отдать ему полную справедливость — говорить о дѣлѣ съ знаніемъ дѣла, говорить не общими мѣстами, а со всею оригинальностью самобытнаго взгляда, со всѣмъ одушевленіемъ искренняго, горячаго убѣжденія. И между тѣмъ, въ его словахъ столько же парадоксовъ, сколько истинъ, а въ общемъ выводѣ онъ совершенно сходится съ такъ называемыми «славянофилами». Пока онъ говоритъ объ ужасахъ царствующаго въ Европѣ пауперизма (бѣдности), о страшномъ положеніи рабочаго класса, умирающаго съ голоду въ кровожадныхъ, разбойничьихъ когтяхъ фабрикантовъ и разнаго рода подрядчиковъ и собственниковъ; о всеобщемъ скеп-

тицизмъ и равнодушiи къ дѣлу истины и убѣжденiя, — когда говоритъ онъ обо всемъ этомъ, нельзя не соглашаться съ его доказательствами, потому что они опираются и на логику и на фактахъ. Да, ужасно въ нравственномъ отношенiи состоянiе современной Европы! Скажемъ болѣе: оно уже никому не новость, особенно для самой Европы, и тамъ объ этомъ и говорить и пишутъ еще съ гораздо большимъ знанiемъ дѣла и большимъ убѣжденiемъ, нежели въ состоянiи дѣлать это кто либо у насъ. Но какое же заключенiе должно сдѣлать изъ этого взгляда на состоянiе Европы? — Неужели согласиться съ Фаустомъ, что Европа того и гляди прикажетъ долго жить, а мы, Славяне, напечемъ блиновъ на весь мiръ, да и давай поминки творить по покойницѣ?... Подобная мысль, еслибъ о ея существованiи узнала Европа, никого не ужаснула бы тамъ... Нельзя такъ легко дѣлать заключенiя о такихъ тяжелыхъ вещахъ, какова смерть — не только народа (морить народовъ намъ ужъ ни-почемъ), но цѣлой и при томъ лучшей, образованнѣйшей части свѣта. Европа больна, — это правда, но не бойтесь, чтобъ она умерла: ея болѣзнь отъ избытка здоровья: отъ избытка жизненныхъ силъ; это болѣзнь временная, это кризисъ внутренней, подземной борьбы стараго съ новымъ; это — усиленiе отрѣшиться отъ общественныхъ основанiй среднихъ вѣковъ и замѣнить ихъ основанiями, на разумѣ и натурѣ человека основанными. Европѣ не въ первый разъ быть больною: она была больна во время крестовыхъ походовъ и ждала тогда конца мiра; она была больна передъ реформацiею и во время реформацин, — а вѣдь не умерла же къ удовольствию господъ-душеприкащиковъ ея! Идя своею дорогою развитiя, мы, Русскiе, имѣемъ слабость все явленiя западной исторiи мѣрять на свой собственный аршинъ: мудро ли послѣ этого, что Европа представляется намъ то домомъ умалищенныхъ, то безнадежною больною? мы кричимъ: «Западъ! Востокъ! Тевтонское племя! Сла-

вянское племя!» — и забываемъ, что подъ этими словами должно разумѣть человѣчество... Мы предвидимъ наше великое будущее; но хотимъ непремѣнно имѣть его на счетъ смерти Европы: какой по истинѣ братскій взглядъ на вещи! Не лучше ли, не человѣчнѣ ли, не гуманнѣ ли разсуждать такъ: насъ ожидаетъ безконечное развитіе, великіе успѣхи въ будущемъ, но и развитіе Европы и ея успѣхи пойдутъ своимъ чередомъ? Неужели для счастья одного брата непремѣнно нужна гибель другаго? Какая не философская, не цивилизованная и не христіанская мысль!...

Говоря о хаотическомъ состояніи науки и искусства Европы, Фаустъ, въ книгѣ князя Одоевскаго, много говоритъ справедливаго и дѣльнаго; но взглядъ его вообще тѣмъ не менѣе одностороненъ, парадоксаленъ. Все, что говоритъ онъ о преобладаніи опытныхъ наблюденій и мелочнаго анализа въ естественныхъ наукахъ, — все это отчасти справедливо; тѣмъ не менѣе, нельзя согласиться съ нимъ, чтобы это происходило отъ нравственного гнѣнія, отъ погасающей жизни: скорѣе можно думать, что для естественныхъ наукъ не настало еще время общихъ философскихъ основаній именно по недостатку фактовъ, которые могутъ быть добыты только опытными наблюденіями, и что этотъ-то современный эмпиризмъ и долженъ со временемъ приуготовить философское развитіе естественныхъ наукъ. Тотъ же смыслъ имѣетъ и эта дробность знаній, вслѣдствіе которой одинъ, занимаясь математикою, считаетъ себя вправѣ не имѣть понятія объ исторіи, а другой, занимающійся политическою экономіею, полагаетъ своею обязанностью быть невѣждою въ теоріи искусства. Но что въ этомъ должно видѣть только переходное, слѣдовательно, временное состояніе, переломъ, а не косненіе, какъ предвѣстникъ близкой смерти, — это доказываютъ слова самого Фауста, что всѣ чувствуютъ и сознаютъ недостатокъ общихъ началъ въ нау-

какъ и необходимость знанія, какъ чего-то цѣлаго, какъ науки о жизни, о бытіи, о сущемъ, въ обширномъ значеніи этого слова, а не какъ науки то объ этомъ предметѣ, то о томъ. Смерть обществъ всегда предшествуется пошлымъ самодовольствомъ, всеобщю удовлетворенностью, мелочами, полнымъ примиреніемъ съ тѣмъ, что есть и какъ есть. Въ умирающихъ обществахъ нѣтъ криковъ и воплей на недостаточность настоящаго, нѣтъ новыхъ идей, новыхъ ученій, нѣтъ страдальцевъ за истину, нѣтъ борьбы, — все тихо подъ зеленою плѣсенью гниющаго болота. То ли мы видимъ въ Европѣ? Фаустъ видитъ тамъ совершенную гибель искусства, говоритъ о Россіи, о Беллини — и не говоритъ о Мейерберѣ. И давно ли были тамъ Моцартъ и Бетховенъ? И неужели Европа каждый годъ обязана представлять по новому генію во всѣхъ родахъ, — иначе она умерла? Четыре такіе мыслителя, какъ Кантъ, Фихте, Шеллингъ и Гегель, непосредственно явившіеся одинъ за другимъ: неужели этого мало? И если теперь даже философія Гегеля относится въ Германіи къ ученіямъ, уже совершившимъ свой кругъ, — теперь, когда самъ великій Шеллингъ, имѣвшій несчастье пережить свой разумъ, не успѣлъ никого обморочить своими таинственными тетрадками, которыми столько лѣтъ общалъ разрѣшить альфу и омегу мудрости: неужели все это не показываетъ, какой великій шагъ сдѣлало въ Германіи мышленіе?... Но Фаустъ принадлежитъ, по своей натурѣ, къ тѣмъ замѣчательно эластическимъ, широкимъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и робкимъ умамъ, которые вѣчно обманываются оттого, что слишкомъ боятся обмануться. Для такихъ умовъ быстрое паденіе доктринъ и системъ есть доказательство ихъ ничтожности. Они вѣрятъ только въ истину абстрактную, которая бы вдругъ родилась совсѣмъ готовая, какъ Паллада изъ головы Зевса, и всѣ бы тотчасъ единодушно признали ее и поклонились ей. По недостатку историче-



скаго такта, эти умы не могут понять, что истина развивается исторически, что она сѣется, поливается потомъ и потомъ жнется, молотится и вѣется, и что много шелухи должно отвѣять, чтобъ добраться до зеренъ. Кантъ и Фихте должны были увидѣть въ Шеллингѣ свой конецъ, но не потому, чтобъ онъ доказалъ бесплодность ихъ труда, а потому что все сдѣланное ими или послужило основаніемъ для его труда, или вошло въ его трудъ какъ плодотворный элементъ. Такъ и все идетъ въ исторіи подобнымъ же образомъ: одно событіе рождаетъ другое, одинъ великій человѣкъ служитъ ступенью для другаго; люди тутъ могутъ терять, и какому-нибудь Шеллингу, конечно, не легко сознаться, что не только его, нѣкогда великаго вождя времени, но даже и того, кто первый заслонилъ его собою и кто давно уже спитъ сномъ вѣчности, даже и того далеко обогнали имъ же вызванныя на трудъ и дѣло новыя поколѣнія!... Удивительно ли, что Фаустъ не видитъ прогресса въ наукахъ, утверждая, что древніе знали больше нашего въ тайнахъ природы, что алхимики среднихъ вѣковъ владѣли чуть ли не тайною философскаго камня, который могъ и золото дѣлать и людямъ безсмертіе физическое давать? Удивительно ли, что Фаустъ въ исторіи видитъ только хаосъ фактовъ, которые, будто бы, теперь всякій толкуетъ по своему? — Для кого настоящее не есть выше прошедшаго, а будущее выше настоящаго, тому во всемъ будетъ казаться застой, гніеніе и смерть. Умы въ родѣ Фауста — истинные мученики науки: чѣмъ больше они знаютъ, тѣмъ меньше они владѣютъ знаніемъ. Знаніе дѣлаетъ ихъ маятниками, и они лучше весь вѣкъ будутъ качаться, нежели на чѣмъ-нибудь остановиться, боясь остановиться на не-истинѣ. Это люди, жаждущіе истины, съ благородною ревностью стремящіеся къ ней, и въ то же время скептики по неволѣ. Но ужъ проходитъ время скептицизма, и теперь всякое простое, честное убѣжденіе, даже ограниченное и

одностороннее, цѣнится больше, чѣмъ самое многостороннее сомнѣніе, которое не смѣетъ стать ни убѣжденіемъ, ни отрицаніемъ, и по неволѣ становится безцвѣтною и болѣзненною мнительностію.

Но Фаустъ не останавливается на сомнѣніи и идетъ къ убѣжденію. Посмотримъ на его убѣжденіе. Онъ ищетъ шестой части свѣта и народа, хранящаго въ себѣ тайну спасенія міра... находитъ его — и тутъ же спрашиваетъ себя: «не мечта ли это самолюбія?» — Неужели это убѣжденіе!...

Фаустъ, между прочимъ, доказываетъ, что мы угадали исторію прежде исторіи, посредствомъ поэтического магизма, безъ предварительной разработки матеріаловъ — и указываетъ на исторію Карамзина!... Неужели же Фаусту не извѣстно, что теперь всѣ бросили мысль писать исторію и принялись за разработку историческихъ матеріаловъ, ибо убѣдились, что исторія прежде исторіи можетъ быть только попыткою, пожалуй, и прекрасною, но изъ которой выходитъ не исторія, а историческая поэма?... Великое дѣло видитъ Фаустъ въ томъ, что наша поэзія началась сатирою — судомъ народа надъ самимъ собою... А ларчикъ просто открывался! Такъ какъ наша поэзія была заимствованіе, нововведеніе, то наши поэты и пустились подражать кто кому вздумалъ, и какой-нибудь Сумароковъ былъ и трагикъ и комикъ, и лирикъ и баснописецъ, писалъ и оды на иллюминаціи и сатиры на подъячихъ. Пушкинъ (говоритъ Фаустъ) разгадалъ характеръ русскаго лѣтописца въ «Борисѣ Годуновѣ»: разгадалъ ли, полно? Не заставилъ ли онъ его по Гердеру, но только русскимъ складомъ, дѣлать апофеозу исторіи, т. е. говорить вещи, которыя не могли прійти въ голову ни одному лѣтописцу, ни европейскому, ни русскому? Покажите намъ хоть одну лѣтопись, которая бы оправдывала возможность такого взгляда на значеніе историка со стороны простодушнаго лѣтописца XVI вѣка? — Но г. Хомя-

ковъ, по мнѣнію Фауста, глубоко проникнулъ въ характеръ еще труднѣйшій, въ характеръ русской женщины-матери (въ «Димитріи Самозванцѣ»), а г. Лажечниковъ воспроизвелъ характеръ и еще труднѣйшій — древней русской дѣвушки (въ «Басурманѣ»)... Чтѣ сказать на это?... Мы ничего не скажемъ...

И между тѣмъ, повторяемъ, въ «Эпилогѣ» столько ума; многіе даже изъ парадоксовъ его такъ остроумны и оригинальны, написанъ онъ такъ живо и увлекательно, что отъ него нельзя оторваться, не дочитавъ его до конца.

Отъ «Эпилога» перейдемъ къ «Сказкѣ о томъ, какъ опасно дѣвушкамъ ходить толпою по Невскому Проспекту» и «Той же сказкѣ, только наизворотъ». Она была напечатана еще въ 1833 году, въ «Пестрыхъ Сказкахъ», и ея содержаніе извѣстно многимъ. Героиня ея — «славянская дѣва», которая, какъ всѣ славянскія дѣвы, была бы чудомъ красоты, ума и чувства, еслибъ заморскій басурманъ, при помощи безмозглой французской головы, чуткаго нѣмецкаго носа съ ослиными ушами и туго-набитаго англійскаго живота, не вырѣзалъ изъ нея души и сердца и не превратилъ ея въ куклу. Эта сказочка навела насъ на мысль объ удивительной сметливости русскаго человѣка всегда выйти правымъ изъ бѣды и сложить вину если не на сосѣда, то на чорта, а если не на чорта, то на какого-нибудь мусьё... Дѣвушка шла по Невскому-проспекту съ десятью своими подругами, въ сопровожденіи трехъ маманекъ, которыя умѣли считать только до десяти, какъ ворона умѣетъ считать только до четырехъ. Нѣтъ спора, что подобныя дамы были въ состояніи дать превосходное воспитаніе своимъ дочерямъ, еслибъ не подвернулся проклятый басурманъ... Г. Кивакель тоже, должно быть, воспитанъ былъ басурманами, а оттого и получилъ способность жить только трубкою и лошадьми...

**И между тѣмъ, какое изложеніе, сколько таланта потрачено на эту сказку!...**

Но мы рекомендуемъ читателямъ вмѣсто этой сказки прочесть домашнюю драму — «Хорошее жалованье, приличная квартира, столъ, освѣщеніе и отопленіе», чтобъ насладиться произведеніемъ, столь же прекраснымъ по мысли, сколько и по выполненію. Это одно изъ лучшихъ произведеній князя Одоевскаго.

Особенно замѣчательна также послѣдняя статья въ третьей части: «О враждѣ къ просвѣщенію, замѣчаемой въ новѣйшей литературѣ». Она была написана еще въ 1836 году и напечатана въ «Современникѣ» Пушкина. Въ ней авторъ нападаетъ на вредную разсчитливость нѣкоторыхъ литераторовъ, которые льстятъ невѣжеству толпы, браня просвѣщеніе... Увы! съ 1836 г., много воды утекло и мы жалѣемъ, что князь Одоевскій не передѣлалъ своей прекрасной статьи, чтобъ воспользоваться огромнымъ множествомъ новыхъ фактовъ о гоненіи, воздвигнутомъ противъ просвѣщенія и литературы тѣми же самыми людьми, которые называются то учеными, то литераторами. Остроумному и энергическому перу князя Одоевскаго много дали бы матеріаловъ одни такъ называемые «славянолюбы» и «квасные патріоты», которые во всякой живой, современной человѣческой мысли видятъ вторженіе лукаваго, гніющаго Запада.

Статья «О враждѣ къ просвѣщенію» важна еще и какъ объясненіе нѣкоторыхъ критикъ на сочиненія князя Одоевскаго. Въ самомъ дѣлѣ, какъ иному критику можно находить что-нибудь хорошее въ сочиненіяхъ этого автора, если онъ имѣлъ неудовольствіе вычитать въ нихъ строки о томъ, какъ пишутся у насъ историческіе романы и трагедіи, о томъ, какъ смѣются у насъ надъ умомъ человѣческимъ, называя его надувалою и тому подобнымъ?

## Не хотите ли знать, какъ пишутся у насъ историческіе романы и трагедіи?

• Тогда догадались и наши такъ называемые сочинители: попробовали — трудно; наконецъ взялись за умъ, раскрыли Исторію Карамзина, вырѣзали изъ нея нѣсколько страницъ, склеили вмѣстѣ, и къ неописанной радости сдѣлали разомъ три открытія: 1) что такое произведеніе читатели съ небольшимъ усиліемъ могутъ принять за романъ или за трагедію, 2) что съ русскаго переводить гораздо удобнѣе, нежели съ иностраннаго, и 3) что, слѣдственно, сочинять совсѣмъ не такъ трудно, какъ прежде полагали. Въ самомъ дѣлѣ, смотришь — русскія имена, а та же французская мелодрама. И многіе, многіе пустились въ драмы и особенно въ романы; а критика — этотъ позоръ русской литературы, устала для сихъ произведеній особыя правила; за недостаткомъ историческихъ свидѣтельствъ, рѣшила, что настоящіе русскіе нравы сохранились между нынѣшними извозчиками, и вслѣдствіе того осудила какого-либо потомка Ярославичей читать изображеніе характера своего знаменитаго предка, въ точности списанное съ его кучера; вслѣдствіе тѣхъ же правилъ, кто употреблялъ русскія имена, того критика называла національнымъ трагикомъ, кто безсовѣстнѣе выписывалъ изъ Карамзина, того называла національнымъ романистомъ, и гг. А, Б, В, хвастались передъ читателями, а читатели радовались, что въ романѣ нѣтъ ни одного слова, которые бы не было взято изъ исторіи; многіе находили это средство очень полезнымъ для распространенія историческихъ познаній.

## Не хотите ли знать, какъ у насъ обращаются съ наукою?

• Отличительнымъ характеромъ нашихъ сатириковъ сдѣлалось попадать рѣдко и мѣтить всегда мимо. Два, три человѣка занимаются у насъ агрономіею; благомыслящіе люди дѣлаютъ неимоверныя усилія, чтобы распространить прямое знаніе о сей наукѣ, которое одно можетъ отвратить грозящее нашимъ явивамъ безплодіе; два, три человѣка собираются толковать о философскихъ системахъ, по слуху извѣстныхъ нашимъ литераторамъ; такъ называемые ученые (т. е. между литераторовъ) съ грѣхомъ пополамъ щечатся вокругъ словарей и энциклопедій; а наши нравоописатели толкуютъ о вредѣ, происходящемъ отъ излишней учености, о вредѣ машинъ, пишутъ романы и повѣсти, комедіи, въ которыхъ выводятся на сцену какіе-то господа Верхоглядовы, не только несуществующіе, но невозможные въ Россіи; выводятся философы, агрономы, нововводители, какъ-будто бы существованіе этихъ лицъ было характерною чертою въ нашемъ обществѣ! Названія наукъ, неизвѣстныхъ нашимъ сатирикамъ, служатъ для нихъ обильнымъ источникомъ для шутокъ, словно для школьниковъ, досадающихъ на ученость своего строгого учителя; лучшіе умы нашего и прошедшаго времени: Шампольионъ, Шел-

лингъ, Гегель, Гаммеръ, особенно Гаммеръ, снискавшіе признательность всего просвѣщеннаго міра, обращены въ предметы лакейскихъ насмѣшекъ; «лакейскихъ» говоримъ; ибо цинизмъ ихъ таковъ, что можетъ быть порожденъ лишь грубымъ, неблагодарнымъ невѣжествомъ. Отъ этого, созданія нѣкоторые изъ нашихъ романистовъ доходятъ до совершенной незлости.

Но вотъ черта, еще болѣе характеристическая, и которую особенно слѣдуетъ принять къ свѣдѣнію:

«Любопытнѣе всего знать: что дѣлали читатели?... А читателямъ что за дѣло? Были бы книги. Случалось ли вамъ спрашивать у дѣвушки, недавно вышедшей изъ пансіона: какую вы читаете книжку? «Французскую» отвѣчаетъ она; въ этомъ отвѣтѣ разгадка неимовернаго успѣха многихъ книгъ скучныхъ, негѣпныхъ, напитанныхъ площаднымъ духомъ. Да, читатели хотятъ читать, и потому читаютъ все: «лучшая приправа къ обѣду», говорили Спартанцы — «голодь». А нечего сказать, бѣдныхъ читателей подчуютъ довольно горькимъ зельемъ; но, впрочемъ, романисты и комикки утѣютъ подсластить его, и это злое зелье многимъ приходится по вкусу. Вотъ какимъ образомъ это происходитъ. Вообразите себѣ деревенскаго помѣщика, живущаго въ степной глуши; онъ живетъ очень весело: по утру онъ ѣздитъ съ собаками, вечеромъ раскладываетъ грань-пашансь, и въ промежуткахъ проматываетъ свой доходъ въ карты; за то у него въ деревнѣ нѣтъ никакихъ новостей, ни англійскихъ плуговъ, ни эктирпаторовъ, ни школъ, ни картофеля; онъ всего этого терпѣть не можетъ. Помѣщикъ не въ духѣ, да и не мудрено: земля у него что-то испортилась; онъ твердо держится тѣхъ же правилъ въ земледѣліи, которыхъ держались и дѣдъ и отецъ его, — и земля и въ половину того не приноситъ, что прежде... чудное дѣло! Да еще къ большей досадѣ, у сосѣда, у котораго земля тридцать лѣтъ тому назадъ была гораздо хуже, земля исправилась и приноситъ втрое болѣе дохода; а ужъ надъ этимъ ли сосѣдомъ не смѣялся нашъ добрый помѣщикъ, и надъ его плугами, и надъ его эктирпаторами, и надъ молотильнею, и надъ вѣялкою! Вотъ, къ помѣщику пріѣзжаетъ его племянникъ изъ университета, видитъ горькое хозяйство своего дядюшки, и совѣтуетъ... какъ бы вы думали?... совѣтуетъ подражать сосѣду, толкуютъ дядюшкѣ объ агрономіи, о лѣсоводствѣ, о чугунныхъ дорогахъ, о пособіяхъ, которыя правительство щедрою рукою предлагаетъ всякому промышленному и ученому человѣку. Дядюшкѣ это не по сердцу; съ горя онъ открываетъ книгу, которую рекомендовалъ ему пріятель изъ земскаго суда, съ которымъ онъ въ близкихъ связяхъ по разнымъ процессамъ. Дядюшка читаетъ — и что же? о восторгѣ! о восхищеніи! Сочинитель, который напечаталъ книгу, и потому, слѣдственно, долженъ быть человѣкъ умный, ученый и благомыслящій, говоритъ чита-

телю, или по крайней мѣрѣ читатель такъ понимаетъ его: «Погѣрьте мнѣ, всѣ ученые — дураки, всѣ науки — сущій взоръ, знаменитый Гаммеръ — невѣжда, Шампольонъ — враль, Гомфрій Деви — вольнодумецъ; вы, милостивый государь, настоящий мудрецъ, живите по прежнему, раскладывайте грань-пашансь, не думайте обо всѣхъ этихъ плугахъ, машинахъ, отъ которыхъ только разоряются работники, и отъ которыхъ происходитъ только зло: на что вамъ агрономія? она хороша тамъ, гдѣ мало земли; на что вамъ минералогія, зоологія? вы знаете лучшую науку — правдологію...» И помѣщикъ смѣется: онъ понимаетъ остроту; онъ очень доволенъ; дочитываетъ прекрасную книгу до конца. Когда заговоритъ племянникъ объ агрономіи, онъ обличаетъ его заблужденія печатными строками, рекомендуетъ утѣшительное произведеніе своимъ собратіямъ, и у удивленнаго издателя являются неожиданные читатели, а между тѣмъ, въ понятіяхъ добрыхъ помѣщиковъ все смѣшивается, вольнодумство съ благими дѣйствіями просвѣщенія, молодильна съ затѣями беспокойныхъ головъ, во всякомъ улучшеніи они видятъ лишь вредное нововведеніе, въ удовлетвореніи своему эгоизму и лѣни — истинную истину; настоящий духъ они находятъ лишь въ мнѣніи своихъ крестьянъ о томъ, что не должно сѣять картофеля, и что надлежитъ непремѣнно оставлять третье поле подъ паромъ.»

Нельзя не согласиться, что такого рода правда колетъ глаза, и что не у всякаго критика станетъ духа хвалить автора столь откровеннаго на счетъ нѣкоторыхъ слабостей нѣкоторыхъ изъ его ближнихъ. Не причисляя себя къ числу этихъ нѣкоторыхъ, мы не имѣли никакой причины скрывать нашего истиннаго мнѣнія о достоинствѣ сочиненій князя Одоевскаго. Такихъ писателей у насъ немного. Въ самыхъ парадоксахъ князя Одоевскаго больше ума и оригинальности, чѣмъ въ истинахъ у многихъ изъ нашихъ критическихъ акробатовъ, которые, критикуя его сочиненія, обрадовались случаю притвориться, будто они не знаютъ, о комъ пишутъ, и видятъ въ немъ одного изъ сочинителей ихъ собственнаго разряда. Нѣкоторыя изъ произведеній князя Одоевскаго можно находить менѣе другихъ удачными, но ни въ одномъ изъ нихъ нельзя не признать замѣчательнаго таланта, самобытнаго взгляда на вещи, оригинальнаго слога. Что же касается до

его лучших произведений, — они обнаруживают въ немъ не только писателя съ большимъ талантомъ, но и челоѣка съ глубокимъ, страстнымъ стремленіемъ къ истинѣ, съ горячимъ и душевнымъ убѣжденіемъ, — челоѣка, котораго волнуютъ вопросы времени и котораго вся жизнь принадлежитъ мысли. Неуваженіе къ таланту есть признакъ невѣжества; а неуваженіе къ живой и страстной мысли челоѣка показываетъ, что въ отношеніи къ мысли, неуважающій «свободенъ отъ постоя». Можно не все находить хорошимъ въ талантѣ, но нельзя не признать таланта; можно не во всемъ соглашаться съ мыслящимъ челоѣкомъ, но нельзя безъ уваженія къ нему даже не соглашаться съ нимъ.

---



## **II.**

### **БИБЛІОГРАФІЯ.**



**СЕМЕЙСТВО ИЛИ ДОМАШНІЯ РАДОСТИ И ОГОРЧЕНІЯ. Романъ шведской писательницы Фредерики Бремеръ. Перев. съ подлинника. Спб. 1842.**

Вотъ романъ, который болѣе года тянулся въ «Современникѣ»... Изъ всѣхъ нашихъ журналовъ, «Современникъ» самый почтенный, самый безукоризненный. Онъ напоминаетъ собою то блаженное время русской литературы и русской журналистики, о которомъ осталось теперь одно преданіе, какъ о золотомъ вѣкѣ, и въ которомъ люди любили литературу для литературы, видя въ ней сколько невинное, столько же и благородное препровожденіе времени. Тогда, какъ въ вѣкѣ Астrei сочиненія не продавались и не покупались, напротивъ, сами авторы готовы были платить деньги за честь видѣть свои творенія напечатанными въ журналѣ, — полемики не было; вмѣсто ея царствовала любезность самаго лучшаго тона. Писали стишки къ «милымъ» и «прекраснымъ». Въ литературѣ не подозревали никакого отношенія къ обществу и не вносили въ нее никакихъ вопросовъ, не касающихся до «преlestныхъ», или до мирной сельской жизни на берегу ручья, подъ соломенною кровлею, съ милою подругою и чистою совѣстью. Но противъ духа времени и его движенія идти нельзя. — и «Современникъ», конечно, много разнится отъ журналовъ стараго добраго времени. Впервыхъ, онъ издается изящно, а они издавались неопратно; онъ существуетъ инкогнито, по доброй волѣ, а тѣ существовали инкогнито по недостатку въ публикѣ

и въ читателяхъ, которые играли съ ними въ гулячки. Видите ли — никакого сходства! Но «Современникъ» сохранилъ эту свойственную журналамъ стараго добраго времени безкорыстную любовь къ литературѣ, какъ невинному и благородному занятію, въ самомъ себѣ имѣющему свою цѣль. И погому онъ идетъ себѣ своею дорогою, съ полнымъ сознаніемъ своего достоинства. И по наружности и по внутреннему содержанію, между всѣми другими журналами «Современникъ» — то же, что аристократъ между плебеями. Онъ ни съ кѣмъ не бранится, ни съ кѣмъ не споритъ, ни на кого не нападаетъ (развѣ только изрѣдка на какой-нибудь иностранный журналъ, не умѣющій цѣнить сочиненій такого-то, или такой-то), ни противъ кого не защищается. О немъ многіе говорятъ, иные похвалая, другіе хваля его, но онъ ни о комъ не говоритъ, кромѣ «Звѣздочки», журнала для дѣтей, тоже почтеннаго и безукоризненнаго. У него свой кругъ предметовъ, свой міръ вѣдѣнія, — въ особенности Финляндія и ея литература, — и по этой части г. Гротъ снабжаетъ его поистинѣ превосходными статьями. Въ числѣ его отдѣловъ есть и библіографія, которой короткіе, но многознаменательные отзывы многихъ приводили въ раздумье. У него своя философія, — и по этой части г. Петерсонъ снабжаетъ его удивительными статьями. У него все свое — поэты тоже. Въ «Современникѣ» изрѣдка раздаются нестарѣющіеся звуки лиры Жуковскаго; въ немъ допѣвается свои послѣднія пѣсни г. Баратынскій; сверхъ того, въ немъ постоянно являются розовыя мечты, радужныя фантазіи и сладостныя чувства, облеченныя въ неподражаемый стихъ. Въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго, потому что все это показываетъ только изящный вкусъ «Современника». Также точно оригиналенъ и самобытенъ «Современникъ» въ отношеніи къ изящной прозѣ, украшающей его страницы вольно и широко раскидывающіяся строками, безъ тѣсноты и давки, свойственной

плебейской экономіи. У него свои повѣсти, какъ и свои стихи. Бывало, изобильно снабжалъ его повѣстями и разсказами Основьяненко: въ каждой книжкѣ «Современника» (а тогда онъ выходилъ въ числѣ четырехъ книжекъ ежегодно) читатели его находили повѣсть г. Основьяненко, а иногда и двѣ. Видя такую плодovitость малороссійскаго писателя, даже мы, люди посторонніе въ отношеніи къ «Современнику», чуть было не повѣрили достовѣрности вдругъ пронесшагося слуха, будто Основьяненко — первый писатель русскій... Но въ 1842 году, нескончаемая нить повѣстей и разсказовъ г. Основьяненко вдругъ прервалась. Чьи-то повѣсти будетъ теперь печатать «Современникъ»?—думали мы, и много думали.... однакожь не отгадали. Оставивъ въ покоѣ русскія повѣсти, «Современникъ», еще съ конца 1842 года, началъ печатать романъ шведской писательницы Фредерики Бремеръ —

Романъ отъѣнно длинный, длинный,  
Нравоучительный и чинный.

Поговоримъ объ этомъ романѣ. Онъ обратилъ на себя общее вниманіе, и многіе увидѣли въ немъ даже колоссальное произведеніе, тогда какъ другіе ничего ровно не видѣли. Мы держались середины между двумя этими крайностями. Прежде всего, надо сказать, что г-жа Бремеръ не лишена свойственной женщинамъ способности не только хорошо и легко разсказывать, но даже съ нѣкоторымъ успѣхомъ очерчивать характеры, которые подъ силу ея одностороннему взгляду на вещи и ея небогатой фантазіи. Основная мысль ея романа та, что счастье заключается только въ семейной жизни и человѣкъ назначенъ природою преимущественно для семейной жизни. Мысль, какъ видите, нелишенная истины, но довольно односторонняя, и притомъ не новая: на ней, въ концѣ прошлаго и началѣ нынѣшняго столѣтія, выѣхала слава Августа Лафонтена, блаженной памяти. Этотъ добрый Нѣмецъ такъ же во всякомъ

человѣкъ видѣлъ прежде всего мужа или жену, какъ натуралистъ во всякомъ животномъ прежде всего видитъ самца или самку. Но прославляемое имъ блаженство семейной жизни было такъ мѣщански идеально, такъ приторно-сладко, что оно скоро сдѣлалось вѣсѣмъ непріятно, какъ теплая вода, разсыченная медомъ. Фредерика Бремеръ не испугалась этого, и отважно сдѣлалась Августомъ Лафонтеномъ нашего вѣка. Надо согласиться, что она явилась весьма кстати и въ тоже время весьма некстати: кстати, потому что, безъ такой жаркой защитницы блаженства супружеской и семейной жизни, это блаженство сдѣлалось бы теперь столько же сомнительнымъ, какъ и дѣйствительность золотого вѣка; некстати, потому что теперь жениться по склонности и для счастья считается совѣсѣмъ не въ тонѣ, и всѣ рѣшительно женятся для денегъ и связей, а на дѣтей смотрятъ, какъ на неизбѣжное неудобство семейной жизни. Сверхъ того, въ наше скептическое время, скорѣе повѣрять существованію волшебниковъ и кудесниковъ, чѣмъ существованію «счастья». Ему вѣрятъ теперь только безбородые юноши, да мечтательныя дѣвы; послѣднія вѣрятъ жарче первыхъ, но не дальше, какъ только до замужства; а если онѣ остаются на всю жизнь дѣвцами, то и до гробовой доски вѣрятъ счастію и мечтаютъ о немъ. Это исключительная привилегія старыхъ дѣвъ, — да и что имъ было бы дѣлать на свѣтѣ, еслибъ онѣ не вѣрили въ счастіе и не мечтали о немъ?... Фредерика Бремеръ тѣмъ съ большимъ убѣжденіемъ и большимъ жаромъ вѣритъ въ счастіе семейной жизни, что сама имѣетъ ни съ чѣмъ несравнимое преимущество быть «дѣвою», и притомъ уже, кажется, такою, которая годится Минервѣ въ ровесницы не по одному уму. Это очень выгодное обстоятельство для дѣла, котораго адвокатомъ явилась Фредерика Бремеръ; блаженство, которое мы знаемъ только въ мечтахъ, всегда кажется намъ лучше, выше, обольстительнѣе блажен-

ства, которое извѣдано нами на самомъ дѣлѣ. И потому, Фредерика Бремеръ съ восхищеніемъ, съ энтузіазмомъ описываетъ счастье семейной жизни, такъ что вы съ первыхъ же страницъ тотчасъ видите, что сочинительница не была, а только желала страстно быть замужемъ. Это, разумѣется, столько же выгодно для романа, сколько вредно для юныхъ читателей, особенно читательницъ, и особенно читательницъ безъ приданого: бѣдняжки сейчасъ ударятся въ розовыя мечты о счастьи и о немъ, — и каково же будетъ ихъ разочарованіе, когда ни одинъ «онъ» ни въ грошъ не оцѣнитъ ихъ прекрасной души, которая, какъ ни хороша, а все-таки совѣтъ не то, что «души»!.. Каково будетъ разочарованіе и тѣхъ юныхъ читательницъ, которыя, съ склонностію къ мечтательности, владѣютъ и «дѣйствительными достоинствами», т. е. придаными? Бѣдняжки, пожалуй, потребуютъ отъ своихъ мужей любви и счастья, не подозрѣвая, въ простотѣ сердца, что любовь и счастье, при деньгахъ, совершенно лишнія и даже вредныя вещи, какъ лѣкарство при здоровьѣ. Сначала, имъ будетъ больно, а потомъ онѣ возненавидятъ всѣ эти романы, которые такъ добросовѣстно лгутъ и такъ благонамѣренно обманываютъ дѣтей, заранѣе ставя ихъ въ ложное положеніе къ дѣйствительности, вмѣсто того, чтобъ заранѣе знакомить ихъ съ дѣйствительностью...

И, однакожь, Фредерика Бремеръ не буквально повторила собою Августа Лафонтена: она, какъ бы противъ воли своей, принуждена была сдѣлать значительную уступку духу времени: въ заглавіи ея романа стоятъ не однѣ «радости» семейныя, но и «огорченія». А! такъ эта утопія имѣетъ и свои огорченія, даже въ романахъ! Прочтите романъ г-жи Бремеръ, — и то ли еще увидите! Вы увидите, что для полного семейнаго счастья мало одной любви, но еще болѣе нужно эгоистическаго сосредоточенія въ маленькой и тѣсненькой сферѣ домашняго

быта, — нужна значительная доля умственной ограниченности, которая только одна даетъ человѣку силу заткнуть уши отъ всѣхъ другихъ обаятельныхъ звовъ бытія и закрыть глаза на всѣ другія обаятельныя картины широко раскинувшейся, безконечно разнообразной жизни... И какая разница, въ этомъ отношеніи, напримѣръ, между семейственною Германіею нашего времени и общественнымъ древнимъ міромъ! Въ первой, жизнь такъ узко, такъ душно опредѣляется для людей съ ихъ младенчества, семейный эгоизмъ полагается въ основу воспитанія; во второмъ, человѣкъ родился для общества, воспитывался обществомъ, и потому дѣлался человѣкомъ, а не филистеромъ.

Несмотря на все желаніе Фредерики Бремеръ быть безпристрастною въ отношеніи къ увлекшей ее идеѣ, она можетъ отстаивать ея преувеличенную истинность только ложью. Доказательствомъ этого можетъ служить искаженный ею, сколько съ умысломъ, столько и по слабости таланта, образъ Сары — единственного человѣческаго лица среди толпы этихъ добрыхъ, милыхъ, но въ то же время и дюжинныхъ характеровъ, каковы всѣ эти Франки, отъ суходушнаго ихъ родителя до долгоногой Петреи, отъ старой фру Гуниллы до стараго же Мунтера. И за то, что эта бѣдная Сара была выше другихъ и не могла свободно дышать въ ихъ бѣдной атмосферѣ, — сочинительница заставила ее пасть въ бездну несчастія, и какъ замѣтно, что не-подъ силу сочинительницѣ былъ этотъ идеаль, что не могла она сладить съ этимъ характеромъ, и потому такъ смѣшно и нелѣпо заставила больную и умирающую Сару говорить надутыя фразы и длинные риторическіе монологи! А все изъ чего эта буря въ стаканѣ воды? — изъ того, чтобъ доказать всевозможными натяжками, что счастье въ идилліи домашняго быта — и больше нигдѣ... Романъ Фредерики Бремеръ читается, впрочемъ, не безъ удовольствія, потому что эта писа-



тельница не безъ дарованія; но какъ всѣ произведенія, писанныя на тему, подѣ вліяніемъ односторонней мысли, его нельзя долго читать безъ отдыха, и онъ мѣстами страшно наскучаетъ. Не дочесть его какъ-то не хочется, а какъ дочтешь, то чувствуешь удовольствіе преодоленнаго труда,—и ужь, конечно никогда не вздумаешь перечесть его вновь.

---

**СУВОРОВЪ.** *Сочиненіе Граддеа Буларина. 100 рисунковъ В. Тимма, гравированныхъ на деревѣ барономъ Клотомъ, барономъ Неттельгорстомъ и и. Лавіелемъ и Порре. Спб. 1843. Выпускъ первый.*

Въ предисловіи къ этому изданію, или къ этому «предпріятію», г. О. Булгаринъ говоритъ, что въ его сочиненіи о Суворовѣ нѣтъ ни исторіи, потому что для исторіи Суворова еще не настало время (и мы, въ этомъ случаѣ, совершенно согласны съ сочинителемъ), ни вымысла, потому что онъ нигдѣ не отступалъ отъ истины (какой? — за отсутствіемъ исторической, вѣроятно какой-нибудь другой!), и вымыселъ находится у него только въ формѣ изложенія. Взглядъ довольно неопредѣленный, но уже не новый! Г. О. Булгаринъ давно уже пишетъ по-русски, изучивъ русскій языкъ на столько, чтобъ быть въ состояніи писать по-русски правильно, грамматически. Мы сказали выше, какъ понимаетъ и какъ смотритъ г. О. Булгаринъ на свое новое сочиненіе — «Суворовъ»: это, по его собственному сознанію, не исторія и не романъ, а что-то такое, чему нѣтъ и названія. Такъ и прежде смотрѣлъ г. О. Булгаринъ на искусство и литературу.....

Г. О. Булгаринъ принадлежитъ къ числу тѣхъ плодовитыхъ сочинителей, которыхъ многочисленныя писанія пишутся на одинъ ладъ и на одну манеру, и отличаются одно отъ другаго

только названіями да именами дѣйствующихъ лицъ; въ сущности же они не что иное, какъ повтореніе перваго сочиненія, которое когда-то вышло изъ-подъ пера. Поэтому, если, вы прочли одно произведеніе такого сочинителя, вы знаете уже всё его произведенія, и написанныя и имѣющія быть написанными; если вы разобрали критически одно такое сочиненіе, то уже отдали самый вѣрный отчетъ и обо всѣхъ другихъ. Въ самомъ дѣлѣ, «Суворовъ» г. Булгарина — ни дать ни взять, какъ всѣ другія его произведенія. Впрочемъ, какъ текстъ, писанный для картинокъ, «Суворовъ» ничѣмъ ни хуже другихъ текстовъ, писанныхъ съ тою же цѣлію, — слѣдовательно, и «Исторія Суворова», сочиненная г. Н. Полевымъ.

**НАЛЬ И ДАМАЯНТИ.** *Индійская повесть В. А. Жуковскаго.*  
Спб. 1844.

«Наль и Дамаянти» есть эпизодъ огромной индійской поэмы «Магабгарата», — эпизодъ, какихъ въ ней довольно, и который представляетъ собою нѣчто цѣлое. На нѣмецкомъ языкѣ два перевода этой поэмы («Наль и Дамаянти»), одинъ Боппа, другой Рюкерта. Жуковскій переводилъ съ послѣдняго. О достоинствѣ его перевода нечего говорить. Легкость, прозрачность, удивительная простота и благородная поэзія его гекзаметра обнаруживаютъ высокое искусство, неподражаемое художество. Это переводъ вполне художественный, и русская литература сдѣлала въ немъ важное для себя приобрѣтеніе.

Что касается до самой поэмы, она — индійская въ полномъ значеніи слова. Въ ней дѣйствуютъ боги, люди и животныя. Боги, какъ двѣ капли воды, похожи на людей, а люди — ни дать ни взять — тѣ же животныя. Такъ, напримѣръ, гуси играютъ въ поэмѣ такую роль, что безъ нихъ не было бы и поэмы. И

эти гуси говорят и мыслятъ точь-въточь, какъ люди, а эти люди, въ свою очередь, говорятъ и мыслятъ точь-въточь, какъ гуси. Гуси здѣсь не глупѣе людей, а люди не умнѣе гусей. Въ этомъ выразился пантеизмъ Индіи, и все индійское міросозерцаніе. Богъ Индійца — природа; выше и дальше природы не простираются духовные взоры Индійца. По этому въ его глазахъ, гусь или корова — такія же важныя персоны, какъ и царь, и герой, не говоря уже о простомъ челоѣкѣ. По этому же, Индіецъ весь теряется въ міровой субстанціи и бѣденъ личностію. Ему легко отрыватья отъ себя и погружаться, смотря на кончикъ своего носа, въ созерцаніе божественнаго ничтожества. Отсюда происходитъ чудовищность, нелѣпость, дикость, сердечная теплота, плѣнительная наивность, а иногда и грандіозность его поэзіи. Для насъ, Европейцевъ, эта поэзія интересна какъ фактъ первобытнаго міра, и мы не можемъ сочувствовать ея суевѣрію, ея уродливому піэтизму, даже самымъ красотамъ ея. Это происходитъ отъ противоположности европейскаго духа съ азіатскимъ. Въ азіатскомъ нравственномъ мірѣ преобладаетъ субстанціональное, безразличное и неопредѣленное общее — эта бездна поглощающая и уничтожающая личность челоѣка. Отсюда индійскія религіозныя самосожженія, самоуродованія и всякаго рода самоубійства ради блаженнаго погруженія въ лоно міровой жизни. Личность есть основа европейскаго духа, и потому въ немъ челоѣкъ является выше природы. Сравните, въ этомъ отношеніи, «Иліаду» съ любую индійскою поэмою: какая разница! Мы читаемъ «Иліаду» какъ колыбельную пѣсню челоѣчества, по прекрасному выраженію Гёте; но мы сочувствуемъ ей вполне, какъ своему собственному младенчеству, изъ котораго развилась наша возмужалость. Въ «Иліадѣ» боги также принимаютъ участіе въ дѣлахъ людей, но о животныхъ уже нѣтъ и помина. Боги эти прекрасны, и каждый изъ нихъ —

живое существо, имѣть страсти, желанія, характеръ, потому что каждый изъ нихъ — личность. Человѣкъ играетъ такую высокую роль, что сами боги его не что иное, какъ апофеоза его же собственной нравственной природы.

Въ «Навъ и Дамаянти» нѣтъ характеровъ; всѣ ея дѣйствующія лица — образы безъ лицъ. Вотъ, напримѣръ, характеристика Навя:

Крѣпкій мышцею, свѣтлый разумомъ, читатель смиренный  
Мудрыхъ духовныхъ мужей, глубоко проникнувшій въ тайный  
Смыслъ писаній священныхъ, жертвъ сожигатель усердный  
Въ храмахъ боговъ, вожделѣній своихъ обуздатель, нечистымъ  
Помысламъ чуждый, любовь и тайная дума  
Дѣвъ, гроза и ужасъ враговъ, друзей упованье,  
Опытный въ трудной военной наукѣ, искусный и смѣлый  
Вождь, изъ лука дивный стрѣлокъ, наппаче же славный  
Чуднымъ искусствомъ править конями, на конѣхъ онъ въ сутки  
Могъ сто миль проскакать—таковъ былъ Навъ; но и слабость  
Такъ же имѣлъ онъ великую: въ кости играть былъ безмѣрно  
Страстенъ.

Какая же тутъ личность? Это описаніе идетъ равно ко всѣмъ добродѣтельнымъ людямъ, гусямъ и змѣямъ поэмы. Это просто — сказка; но сказка, имѣющая важное значеніе историческаго факта жизни великаго племени, — наконецъ, сказка изложенная поэтически.

Изданіе «Навъ и Дамаянти» прекрасно; жаль только, что его портитъ ореографія, отзывающаяся блаженной памяти семидесятыми годами.

**БАСНИ И. А. КРЫЛОВА. Въ девяти книгахъ. Спб. 1844.**

Изданіямъ басень И. А. Крылова потерявъ счетъ. Нѣсколько лѣтъ тому считалось однакожъ, что ихъ издано трид-

цать девять тысяч экземпляровъ. Такимъ успѣхомъ не пользовался на Руси ни одинъ писатель, кромѣ Ивана Андреевича Крылова. И будетъ еще время, когда его басни будутъ издаваться за одинъ разъ въ числѣ 40,000 экземпляровъ. Иванъ Андреевичъ Крыловъ больше всѣхъ нашихъ писателей, кандидатъ на никѣмъ еще не занятое на Руси мѣсто «народнаго поэта»; онъ имъ сдѣлается тотчасъ же, когда русскій народъ весь сдѣлается грамотнымъ народомъ. Сверхъ того, Крыловъ проложитъ и другимъ русскимъ поэтамъ дорогу къ народности.

Говорить о достоинствѣ басенъ И. А. Крылова — лишнее дѣло: въ этомъ пунктѣ сошлись мнѣнія всѣхъ грамотныхъ людей въ Россіи. Было время, когда не умѣли рѣшить, кто выше — Хемницеръ, или Крыловъ, и было время, когда Дмитріева (И. И.), какъ баснописца, считали выше Крылова. Время это давно уже прошло, и теперь, умѣя цѣнить по достоинству Хемницера и Дмитріева, всѣ знаютъ, что Крыловъ неизмѣримо выше ихъ обоихъ. Его басни—русскія басни, а не переводы, не подражанія. Это не значить, чтобъ онъ никогда не переводилъ, напримѣръ, изъ Лафонтена, и не подражалъ ему: это значить только, что онъ и въ переводахъ и въ подражаніяхъ не могъ и не умѣлъ не быть оригинальнымъ и Русскимъ въ высшей степени. Такая ужъ у него русская натура! Посмотрите, если прозвище «дѣдушки», которымъ такъ ловко окрестилъ его князь Вяземскій, въ своемъ стихотвореніи, не сдѣлается народнымъ именемъ Крылова во всей Руси!

Всѣ басни Крылова прекрасны; но самыя лучшія, по нашему мнѣнію, заключаются въ седьмой и восьмой книгахъ. Здѣсь онъ очевидно уклонился отъ прежняго пути, котораго болѣе или менѣе держался по преданію; здѣсь онъ имѣлъ въ виду болѣе взрослыхъ людей, чѣмъ дѣтей; здѣсь больше басень, въ которыхъ герои — люди, именно, все православный людъ; даже и звѣри въ этихъ басняхъ какъ-то больше, чѣмъ

бывало прежде, похожи на людей. Въ самомъ стихѣ ясно видно большое улучшеніе. Вотъ лучшія, по нашему мнѣнію, басни въ седьмой и восьмой книгахъ: «Совѣтъ Мышей», «Мельникъ», «Мотъ и Ласточка», «Свинья подъ Дубомъ», «Лисица и Осель», «Муха и Пчела», «Крестьянинъ и Овца» (едва ли не лучшая изъ всѣхъ басень Крылова), «Волкъ и Мышонокъ», «Два Мужика», «Двѣ Собаки», «Кошка и Соловей», «Рыбьи Пляски», Прихожанинъ», «Ворона», «Левъ состарѣвшійся», «Бѣлка», «Щука», «Кукушка и Орелъ», «Бритвы», «Бѣдный Богачъ», «Булатъ», «Купецъ», «Пушки и Паруса», «Осель», «Миронъ», «Волкъ и Котъ», «Три Мужика».

И въ девятой книгѣ, заключающей въ себѣ одиннадцать басень, талантъ Крылова еще удивляетъ своею силою и свѣжестью: для него нѣтъ старости! Намъ особенно нравятся двѣ басни: «Волки и Овцы» и «Вельможа». Также прекрасна басня «Кукушка и Пѣтухъ».

Странно: почему до сихъ поръ не изданы комедіи Крылова? Конечно, эти комедіи далеко не такъ хороши, какъ его же басни; но все же онѣ хороши на столько, чтобы стѣять имени своего автора,—а это, право, не мало! Сверхъ того, комедіи Крылова еще интересны, какъ памятники нравовъ и литературы стараго времени.

---

**ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.** Соч. М. Лермонтова. Изданіе третіе. Спб. 1843. Двѣ части.

Вотъ книга, которой суждено никогда не старѣться, потому что, при самомъ рожденіи ея, она была воспрыснута живою вою поэзія! Эта старая книга всегда будетъ нова. Мы было взяли первое изданіе ея, чтобъ справиться о его годѣ, —взглядъ

нашъ упалъ на первую страницу — и страницы начали одна за другою переворачиваться подъ рукою. Сколько разъ читали мы эту книгу — пора бы ужъ было ей и надѣсть; ничуть не бывало: все старое въ ней такъ ново, такъ свѣжо, какъ-будто мы читаемъ ее въ первый разъ. И предшествовавшія чтенія не только не ослабили эффекта новаго, но еще какъ-будто усилили его. Такъ доброе вино отъ лѣтъ становится все крѣпче и букетистѣе!

Три изданія менѣе, чѣмъ въ четыре года: какъ хотите, а это успѣхъ, огромный успѣхъ! И какъ кстати явилось это третье изданіе—именно какъ-будто для того, чтобъ рѣзче выказать литературную нищету настоящаго времени, и яснѣе обнаружить всю великость утраты, понесенной русскою поэзіею въ лицѣ Лермонтова. Сколько романовъ и повѣстей, сколько стихотвореній вышло въ эти четыре года! Многіе изъ нихъ надѣлали шуму и доставили своимъ авторамъ славу «первыхъ писателей», благодаря услужливости и разсчетливости журнальных крикуновъ; нѣкоторые изъ этихъ романовъ, повѣстей и стихотвореній дѣйствительно были не безъ достоинствъ, и даже замѣчательныхъ; но гдѣ же они, всѣ эти творенія, куда скрылись? Да, если перечесть, ихъ наберется таки довольно; но, кромѣ «Мертвыхъ Душъ» и нѣсколькихъ новыхъ піесъ Гоголя,—«Герой Нашего Времени», равно какъ и стихотворенія Лермонтова — все-таки новыя, словно сегодня написанныя книги, а всѣ тѣ произведенія были новы только пока забавляли публику, пока служили ей насущнымъ дневнымъ хлѣбомъ; но сегодня хлѣбъ съѣденъ—и завтра его ужъ нѣтъ.

Перечитывая вновь «Героя Нашего Времени», невольно удивляешься, какъ все въ немъ просто, легко, обыкновенно, и въ то же время такъ проникнуто жизнію, мыслию, такъ широко, глубоко, возвышенно... Кажется, будто все это не стоило никакого труда автору, — и тогда впадаетъ на умъ во-

прось: что жъ еще онъ сдѣлалъ бы? какія поэтическія тайны унесъ онъ съ собою въ могилу? кто разгадаетъ ихъ?... Лукъ богатыря лежитъ на землѣ, но уже нѣтъ другой руки, которая натянула бы его тетиву и пустила подъ небеса пернатую стрѣлу... И этотъ гений, эта великая духовная сила привязана къ скудельному организму личности чело­вѣка: не стало чело­вѣка — и нѣтъ уже въ мірѣ его силы...

Скоро выйдетъ въ свѣтъ четвертая часть стихотвореній Лермонтова. Это будетъ тоже новая книга, хотя она уже и прочтена публикою еще до выхода своего. Въ ней собрано все, что было напечатано въ «Отечественныхъ Запискахъ» прошлаго и нынѣшняго годовъ, — такъ что почитатели таланта Лермонтова (а ихъ много на Руси) будутъ имѣть все, до послѣдней строки, что было имъ написано и теперь открыто. Нельзя надѣяться, чтобъ еще что-нибудь нашлось — развѣ какіе-нибудь слишкомъ незначительные опыты ранней эпохи его поэтической дѣятельности. Напечатанное въ этой книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» стихотвореніе «Пророкъ» принадлежитъ къ лучшимъ созданіямъ Лермонтова и есть послѣднее (по времени) его произведеніе. Какая глубина мысли, какая страшная энергія выраженія! Такихъ стиховъ долго, долго не дожидаться Россіи!...

Третье изданіе «Героя Нашего Времени», въ типографическомъ отношеніи, прекрасно. Во всякомъ другомъ отношеніи, мы не будемъ хвалить этой книжки: похвалы для нея такъ же бесполезны, какъ безопасна брань. Никто и ничто не помѣшаетъ ея ходу и расходу — пока не разойдется она до послѣдняго экземпляра; тогда она выйдетъ четвертымъ изданіемъ, и такъ будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока Русскіе будутъ говорить русскимъ языкомъ...

---



**ЖИЗНЬ, КАКЪ ОНА ЕСТЬ.** *Записки неизвѣстнаго, изданныя*  
*А. Брантомъ. Спб. 1843. Три части.*

Всѣ поэты, сколько ихъ ни было, начиная съ того времени, какъ на свѣтѣ явились поэты, и до нашихъ дней, — старались изображать «жизнь, какъ она есть», и ни одинъ изъ нихъ, ни всѣ вмѣстѣ, не успѣли окончательно показать міру «жизнь, какъ она есть». Это оттого, что жизнь неизчерпаемо глубока и безконечно многостороння: сколько не изображайте ее, всегда остается чтò изображать; сколько ни трудитесь, а всегда будете исписывать только листочки жизни, и никогда не напишете ея цѣлой книги... Такъ думали мы всегда; но, прочитавъ заглавіе новаго творенія г. Бранта, мы было колебались въ нашемъ убѣжденіи. Намъ пришло въ голову: можетъ-быть, доселѣ еще не было настоящаго генія, и всѣ эти Гомеры, Эсхилы, Софоклы, Эврипиды, Аристофаны, Шекспиры, Сервантесы, Байроны, Вальтеръ Скотты, Гёте, Шиллеры и tutti quanti, можетъ-быть, всѣ они или генія-самозванцы, или только обыкновенные талантики, которыхъ человечество, за отсутствіемъ истиннаго генія, приняло за геніевъ... Можетъ-быть, — продолжали мы мечтать, пораженные смѣлостію заглавія романа г. Бранта, — можетъ-быть... вѣдь для чудесъ нѣтъ законовъ... можетъ-быть, въ особѣ г. Бранта является міру этотъ истинный геній, которому суждено изобразить «жизнь, какъ она есть»... Ломайте же, поэты, ваши перья — вамъ нечего больше дѣлать: загадка рѣшена, слово найдено!... Бросайте, люди, въ огонь всѣ прежніе романы: въ нихъ только отрывки, клочки жизни, тогда какъ г. Брантъ предлагаетъ вамъ, за три рубля серебромъ, цѣлую книгу жизни, — жизнь, какъ она есть!... Но кто же этотъ смѣлый, этотъ геніальный г. Брантъ?... Какъ кто? неужели же вы его не знаете? Онъ тотъ, который нѣкогда

даромъ разсылалъ при газетахъ свои критическія обзоры русскоѣ литературы и другія сочиненія; онъ тотъ, который въ 1840 году издалъ два томика повѣстей, поднятые на смѣхъ всѣми журналами; онъ тотъ, который, потомъ, съ горя, издалъ брошюрку «Петербургскіе Критики и Русскіе Писатели», съ портретомъ автора, — которая брошюрка опять насмѣшила всѣ журналы; онъ тотъ, который въ прошломъ году издалъ чувствительную повѣсть «Аристократка», тоже единодушно осмѣянную во всѣхъ журналахъ... Говорятъ, что писатель, котораго всѣ бранятъ, — или великій геній, или самый бездарный писака; очевидно, что г. Брантъ — великій геній: у него столько ожесточенныхъ «враговъ» (?!), его сочиненія такъ единодушно преслѣдуются насмѣшками со стороны журналистовъ, и невниманіемъ со стороны публики... Но самое неопровержимое доказательство геніальности г. Бранта, это — его «Жизнь, какъ она есть». Спѣшимъ познакомить публику съ этимъ превосходнымъ произведеніемъ.

Въ предисловіи къ роману, г. Брантъ рассказываетъ, что у него былъ школьный пріятель, который «въ мундирѣ конно-артиллерійскаго прапорщика и съ дорожной въ рукахъ сѣлъ въ благословенную тележку», въ то время, какъ онъ, г. Брантъ «въ смиренномъ, черномъ фракѣ, остался въ Петербургѣ». Друзья забыли другъ о другѣ, — прапорщикъ по причинѣ военныхъ тревогъ, а г. Брантъ, въ черномъ смиренномъ фракѣ, по причинѣ жестокой и продолжительной болѣзни, которая «оторвала его отъ свѣта, отъ всѣхъ внѣшнихъ отношеній, наконецъ, отъ самого себя». Спросите у медиковъ: они знаютъ, какая болѣзнь отрываетъ человека отъ самого себя, и пожалѣйте о г-нѣ Брантѣ!... Прошло шесть лѣтъ, а это (какъ справедливо замѣчаетъ г. Брантъ съ свойственнымъ ему глубокомысліемъ) не «шесть часовъ и не шесть дней». (Такихъ глубокихъ истинъ въ романѣ г. Бранта разсѣяно безъ

счету). «Юность сменялась молодостью, а молодость приближалась къ періоду зрѣлости». Это такъ глубоко, что мы даже и не понимаемъ, что хотѣлъ сказать г. Брантъ; но нужды нѣтъ: оттого это такъ и хорошо... Но вотъ разъ г. Брантъ находитъ на своемъ письменномъ столѣ визитную карточку съ именемъ своего друга. На другой день онъ и самъ ѣдетъ къ нему — и тоже не застаётъ дома, и рѣшается дожидаться. Чтобъ не заставлятъ своихъ читателей ждать въ скукѣ свиданія друзей, г. Брантъ очень обязательно занялъ ихъ интереснымъ описаніемъ кабинета своего друга. Наконецъ, это надѣло самому г. Бранту, и онъ, отъ скуки, принялся читать лежавшую на столѣ рукопись, предполагая въ ней путевой журналъ... Права истинной дружбы велики... Но вотъ является самъ хозяинъ. Сцена свиданія вышла претрогательная, а г. Брантъ такой мастеръ рассказывать самымъ лучшимъ печатнымъ слогомъ... Разговоръ друзей скоро обратился на рукопись, и заграничный другъ рассказалъ цѣлую исторію о томъ, какъ досталась ему эта рукопись. Ему подарилъ ее самъ авторъ, описавшій въ ней свою жизнь. Другъ г. Бранта познакомился съ нимъ на границѣ Швейцаріи съ Германіей. Онъ очень интересовалъ друга г. Бранта, и г. Брантъ весьма скромно замѣчаетъ, по этому поводу: «прошу припомнить—это говорю не я, а пріятель мой: мнѣ, въ качествѣ издателя, говорить сего не подобаетъ». Изъ этого видно, что г. Брантъ хочетъ, чтобъ его считали не сочинителемъ, а только издателемъ «Жизни, какъ она есть». Обыкновенная уловка многихъ гениальныхъ писателей! Вальтеръ Скоттъ приписывалъ свои романы ключарю какой-то сельской церкви; Пушкинъ сочиненныя имъ самими повѣсти издалъ подъ именемъ повѣстей Бѣлкина и даже съ предисловіемъ отъ лица мнимаго Бѣлкина; Лермонтовъ, въ своемъ превосходномъ «Герое Нашего Времени», хотѣлъ казаться только издателемъ записокъ Печорина.

будто-бы случайно ему доставшихся через Максима Максимыча. Почему же и г. Бранту было не поступить такимъ же образомъ? Мы увѣрены, что по примѣру такихъ писателей, каковы Вальтеръ Скоттъ, Пушкинъ, Лермонтовъ и г. Брантъ, теперь всѣ даровитые авторы будутъ прикидываться издателями собственныхъ своихъ сочиненій. И такъ, дѣло ясное: г. Брантъ — подлинный и несомнѣнный сочинитель «Жизни, какъ она есть». Это доказывается еще и чрезвычайнымъ сходствомъ въ образѣ мыслей и выраженія между предисловіемъ г. Бранта и записками неизвѣстнаго: явно, что то и другое писано г. Брантомъ. Да вотъ въ первыхъ же строкахъ первой же страницы улика на лицо. Слушайте: «Я родился... да, разумѣется, я родился: иначе меня бы не было на бѣломъ свѣтѣ; а еслибъ не было, то тутъ нечего бы и говорить.... (четыре точки)». Согласитесь, что такая глубокая мысль, столь остроумно выраженная, могла выйти только изъ-подъ того пера, которое начертало въ предисловіи, что шесть лѣтъ—не шесть часовъ и не шесть дней...

Неизвѣстный (Евгеній тожъ) началъ себя помнить съ пятилѣтняго возраста. Юность его до самой молодости текла такъ однообразно и скучно, что нѣтъ возможности прочесть ея описанія, не заснувъ по крайней мѣрѣ десяти разъ. Няня ему все толковала печатнымъ слогомъ (самый приличный слогъ для романа!) о Наполеонѣ. За это Евгеній въ одно прекрасное утро «схватилъ руку старушки и бросился къ ней на шею; бабушка крѣпко прижала его къ груди своей, и слезы ихъ смѣшались въ чистомъ, невинномъ объятіи безкорыстной привязанности». Между разсказами о Наполеонѣ, бабушка написала Евгению, что генераль, его отецъ, нѣкогда увезъ Польку, переслалъ ее къ себѣ въ домъ, а самъ пріѣхалъ послѣ, потому что «знамена Марса еще не пускали его въ мирную, аркадскую область Гимена» (стр. 66); потомъ онъ на ней женился,

но скоро опять уѣхалъ на войну, между тѣмъ какъ Теодора «носила подъ сердцемъ своимъ священный залогъ любви отсутствующаго» (собственные слова бабушки). Родивши Евгения, Теодора умерла, несмотря на возвращеніе генерала, который съ горя опять отправился на войну. Выраженіе лица генерала было гомерическое; по словамъ г. Бранта, выраженіе лица Наполеонова тоже было — гомерическое; по словамъ того же г. Бранта, который, часто употребляя этотъ эпитетъ при описаніи лицъ своихъ героевъ, однакожь оставляетъ на догадку проникательнаго читателя, что и лицо жиды Саломона, играющаго непоследнюю роль въ «Жизни какъ она есть», было тоже—гомерическое. Наполеонъ явно принадлежитъ къ числу героевъ этого романа: его въ немъ нѣтъ, но имъ наполнены цѣлыя страницы,—и г. Брантъ пишетъ о Наполеонѣ съ особеннымъ умиленіемъ, т. е. особенно печатнымъ слогомъ, словно о своемъ родственникѣ. И почему жъ бы не такъ: всѣ гении — родня между собою. Но вотъ герою N 1 (т. е. Евгению) минуло уже пятнадцать лѣтъ, и онъ началъ вести подробный журналъ своей жизни, записывая въ него происшествія каждаго дня. Умница мальчикъ! Въ это время пріѣхалъ его отецъ. Онъ былъ отчаянный бонапартистъ, и когда Наполеонъ очутился на островѣ Эльбѣ, генералу больше не съ кѣмъ и не за кого было воевать. Но онъ пріѣхалъ не одинъ, а привезъ съ собою стараго профессора Буха съ молодою женою, Маргаритою, и двѣнадцати-лѣтнимъ сыномъ, Мишелемъ. Этотъ Мишель былъ удивительный красавецъ, голосъ имѣлъ мелодическій, нравъ ангельскій, умъ гениальный, и чудесно писалъ стихи. Маменька его, Маргарита, начала учить Евгения рисованію. Въ это время, въ мірѣ произошли два великія событія: Наполеонъ (N 2 герой романа) ушелъ съ Эльбы и произвелъ во Франціи новую революцію, а Евгений (N 1 герой романа) влюбился въ Маргариту. Евгению тогда было сем-

надцать лѣтъ, а Наполеону было уже за сорокъ пять лѣтъ. Въ то время, какъ первый вновь завоевывалъ свою корону, послѣдній завоевалъ Маргариту. Это было вотъ какъ: узнавъ, что Евгенийъ ведетъ свой журналъ, Маргарита захотѣла прочесть его, а прочитавъ узнала изъ него, что Евгенийъ ее любитъ. Тогда она рассказала ему свою исторію, какъ г. Бухъ, въ качествѣ благодѣтеля, насильно женился на ней, пятнадцатилѣтней сиротѣ. Слѣдствіемъ этой взаимной откровенности было вотъ что: «И она привлекла меня къ себѣ—и уста наши слились въ горящій, продолжительный поцалуй, между тѣмъ какъ блуждающія руки ея обхватили станъ мой, и я упалъ на грудь ея... За иступленнымъ объятіемъ послѣдовала минута сладостнаго забвенія; судорожный трепетъ пробѣжалъ по всѣмъ членамъ моимъ, будто въ дремотѣ сна; мнѣ казалось даже, что я впадаю въ безчувствіе, въ обморокъ, что я умираю»... (стр. 149). Когда Наполеонъ очутился на островѣ св. Елены, г. Бухъ съ генераломъ воротился домой, больно избилъ жену, а Евгения хотѣлъ отколотить палкою; но легче было стать передъ заряженною пушкою, чѣмъ передъ Евгениемъ или Наполеономъ въ минуту ихъ гнѣва — и профессоръ чуть не полетѣлъ съ ногъ.

Видите ли, какъ тѣсно связана исторія Евгения съ исторіею Наполеона, а исторія Наполеона съ исторіею Евгения? Мы всегда были такого мнѣнія, что, несмотря на множество историческихъ документовъ и мемуаровъ частныхъ лицъ, въ исторіи Наполеона есть что то неясное, и приписывали это близости къ намъ великихъ событій его жизни какъ она есть; но вышло другое: мы не знали жизни Евгения какъ она есть. Теперь, благодаря г. Бранта, мы узнали ее, и въ исторіи Наполеона для насъ не осталось ничего темнаго, и наоборотъ, благодаря знанію исторіи Наполеона, для насъ все ясно въ жизни Евгения, какъ она есть. Самъ авторъ, г. Брантъ, живо

чувствовалъ связь, существующую въ жизни обоихъ этихъ великихъ людей, и потому Евгений у него говоритъ: «Въ тѣ дни, когда оканчивалась бурная политическая жизнь Бонапарте, начиналась моя собственная». При этомъ случаѣ, Евгений очень основательно разсуждаетъ о томъ, что судьба Наполеона дала толчокъ его воображенію и мыслительной способности, и Наполеонъ же былъ виною, что Евгений не вступилъ на поприще гражданина. Поэтому онъ не сдѣлался потому, что боялся зависти журналистовъ и критиковъ: чувствуя въ себѣ великій гений, онъ зналъ, что наживетъ пропасть враговъ. И хорошо сдѣлалъ!... Но вотъ онъ ѣдетъ въ Веймаръ, съ письмомъ отъ отца своего къ господину тайному совѣтнику фонъ-Гёте, который сказалъ Евгению: «Вертеръ шалость, грѣхъ моей молодости, который, впрочемъ, я охотно прощаю себѣ, потому что онъ очень милъ съ поэтической стороны». Какъ въ этомъ видѣнъ Гёте!... Потомъ Гёте попросилъ Евгения разсказать ему исторію своей любви. «Всю жизнь мою я изучаю сердце человѣческое, и, можетъ-быть, повѣсть любви вашей откроетъ мнѣ новые тайники его». Именно, этимъ-то способомъ Гёте и достигъ знанія сердца человѣческаго... Для этого всегда разспрашивалъ онъ мальчишекъ о ихъ любовныхъ шашняхъ... Удивительно постигъ г. Брантъ этого непостижимаго Гёте!... Евгений предложилъ ему свой дневникъ; Гёте сказалъ, что начинаетъ уважать его, несмотря на его семнадцать лѣтъ, потомъ подалъ ему свою творческую руку, а Евгений, отвѣсивъ его превосходительству нѣсколько низкихъ поклоновъ, вышелъ изъ кабинета. «Таково было первое мое свиданіе съ гениальнымъ человѣкомъ, переданное здѣсь во всей исторической вѣрности!». Да, видно, что г. Брантъ прилежно изучилъ Гёте и глубоко постигъ его. Отъ Гёте, Евгений пошелъ въ театръ, гдѣ балетъ «произвелъ на него впечатлѣніе, особенно располагающее къ прекрасному полу», вслѣдствіе ка-

коваго расположенія, Евгений очутился въ домѣ «патріотовъ», которые играли въ карты, курили трубки, пили вино и цѣловались съ женщинами. Тамъ онъ напился пьянъ... «Въ глазахъ у меня потемнѣло... голова кружилась... брюнетка не переставала ласкать меня съ возрастающимъ жаромъ и нѣжностью...». Вслѣдствіе выпитаго вина и «возрастающаго жара и нѣжности брюнетки», Евгений заболѣлъ, и вылѣчившись пошелъ къ Гёте, который, указавъ ему мѣсто на диванѣ, самъ, на томъ же диванѣ, началъ читать его дневникъ. По поводу извѣстнаго приключенія съ Маргаритою у камина, Гёте сообщилъ Евгению, что въ него, старика, была влюблена семнадцатилѣтняя дѣвушка: явный намекъ на Бетину! Г. Брантъ глубоко проникъ въ отношенія Бетины къ Гёте... Да и что можетъ скрыться отъ такого зоркаго наблюдателя, какъ г. Брантъ! онъ вездѣ увидитъ свое... За тѣмъ, Гёте, прочитавъ Евгению длинную лекцію о слоgѣ, отпустилъ его съ миромъ.

Евгений перешелъ въ Іенскій университетъ, отпустилъ усы и началъ жестоко жечь сигары и пить пуншъ. Любовныхъ похощеній у него набралось столько, что онъ потерялъ нмъ счетъ, и рассказываетъ только о примѣчательнѣйшихъ. Тамъ онъ встрѣтился съ веймарскою брюнеткою, Эрнестиною, кабинетъ которой былъ маленькимъ раемъ — «я разумѣю здѣсь рай въ чувственномъ вкусѣ Магомета», прибавляетъ Евгений. Изъ-за этой Эрнестины онъ далъ оплеуху, своему товарищу, Леониду, а «на утро, съ разсвѣтомъ, въ уединенномъ мѣстѣ, за городомъ, назначена была, такъ называемая, благородная раздѣлка, кровавый расчетъ чести, свинцовая плата за обиду». Но мальчишекъ развелъ дядька Евгенія, съ помощію полиціи, и заставилъ ихъ помириться въ трактирѣ. Между тѣмъ, г. Бухъ умеръ. и Маргарита пріѣхала съ Мишелемъ въ Іену. Евгений было къ ней... по старому слѣду; но она заговорила о добродѣтели, достоинствѣ женщины, о своемъ паденіи и прос-



тупѣ передъ мужемъ, который женился на ней подлымъ образомъ, билъ ее подлымъ образомъ, а передъ смертью сознался, что самъ измѣнялъ ей не разъ, и особенно въ то время, какъ она измѣнила ему... Всѣ герои г. Бранта, люди очень падкіе на скоромное... Потомъ, Маргарита завела издалека рѣчь о бракѣ; но опытнаго Евгенія этимъ ужъ нельзя было провести: онъ напился мертвецки пьянъ и прокрался ночью въ комнату Маргариты... «Зачѣмъ вы здѣсь, Евгеній?» «Отвѣтъ былъ въ моихъ глазахъ, въ дикой наглости моихъ движеній». Она хочетъ кричать, а онъ ей говорить: Кричи — твой сынъ первый прибѣжитъ. Она на колѣни, молить, но напрасно... «Тогда не было для меня ничего священнаго; чувство жалости, всѣ чувства заглушены были силою одного грубаго, скотскаго чувства. Слабый вопль несчастной женщины замеръ подъ рукою моею...» «Такъ, среди мглы ночной, вой бури заглушаетъ крики гибнущаго пловца, тщетно взывающегоъ о помощи...

«Такъ...» но пусть читатели сами прочтутъ 129 и 130 стр. второй части «Жизни, какъ она есть», чтобъ имѣть понятіе о высокомъ лирическомъ пафосѣ, какимъ г. Брантъ умѣетъ заканчивать свои сцены... А кто пожелаетъ знать, какъ умѣетъ сей вдохновенный сочинитель расплываться въ поэтическихъ выраженіяхъ послѣ сценъ возвышенныхъ, того отсылаемъ къ его несравненной «Аристократкѣ».

Евгеній былъ не только неутомимый самецъ, но и большой резонёръ, — блудливъ, какъ кошка, трусливъ, какъ заяцъ, по русской пословицѣ. Простившись, онъ началъ резонёрствовать, а потомъ пьянствовать; но Маргарита пришла къ нему и сказала, что она все сдѣлала для защиты своей добродѣтели, но если ужъ... такъ оно лучше — знаете — продолжать... И въ самомъ дѣлѣ, правда! Это г. Брантъ справедливо назвалъ «подвигомъ Маргариты»; но не долго подвизался Евгеній съ Маргаритою: онъ уѣхалъ на родину, и еслибъ не жи-

довская ловкость Саломона, то Ревекка, хорошенькая дочь его сдѣлалась бы жертвою Евгенія... Самого г. Бранта возмущало непостоянство Евгенія, и онъ очень патетически, съ свойственнымъ ему краснорѣчіемъ нападаетъ на «неблагородныхъ чудовищъ, въ естественной исторіи снисходительно называемыхъ мужчинами». Послѣ этого, на сцену романа опять выступаетъ его герой N 2, т. е. Наполеонъ; но это для того только, чтобъ умереть и оставить Евгенію болѣе свободное поприще для дѣятельности. И надо сказать, что онъ очень хорошо воспользовался этимъ выгоднымъ для него обстоятельствомъ: исторія съ Ревеккою заставила его написать къ Маргаритѣ письмо съ извѣщеніемъ, что онъ ужъ не любитъ ея; но когда Маргарита опять пріѣхала въ домъ генерала (вѣроятно вслѣдствіе гнуснаго обращенія сэра Гудзона Лова съ Наполеономъ) Евгеній опять сказалъ ей: «Маргарита! Маргарита! люблю тебя! и она не смѣла протѣивиться моимъ ласкамъ, и сама ласкала меня... бѣдная, слабая женщина!».

Въ третьей части, по случаю смерти отца своего, Евгеній переѣзжаетъ жить въ Парижъ, съ Маргаритою и Мишелемъ. Кстати о послѣднемъ. Съ нимъ случилась пречувствительная исторія: онъ женился, и съ радости началъ писать стихи, которыхъ ни одинъ книгопродавецъ не хотѣлъ купить... изъ зависти къ генію Мишеля, а совсѣмъ не потому, что плохихъ стиховъ никому не нужно. Тогда Мишель издалъ ихъ на свой счетъ, и журналисты ихъ разругали... тоже изъ зависти... Несмотря на то, что вошелъ въ долги, и вмѣсто того, чтобъ дѣльными трудами кормить себя и жену, Мишель, какъ всѣ несчастные писаки безъ дарованія, но съ самолюбивою страстью къ бумагомаранію, поставилъ на сцену драму. Парижъ освисталъ ее—тоже изъ зависти, по мнѣнію г. Бранта. Мелкое самолюбіе писаки было раздражено этою неудачею, онъ во всемъ видѣлъ зависть, заговоръ противъ себя, и во всякомъ,

даже не исписанномъ листкѣ бумаги — грозную критику на себя, и съ отчаянія рѣшился писать на томъ свѣтѣ, гдѣ нѣтъ зависти и журналовъ, и оставилъ жену съ ребенкомъ. Это было самымъ умнымъ дѣломъ со стороны этого героя N 3 «Жизни, какъ она есть». Хорошо, еслибъ и всѣ дрянные писакки последовали его примѣру!... Но мы забывали впередъ, желая поскорѣе избавиться отъ этого глупаго рифмоплета.

Возвращаемся назадъ. Г. Брантъ описываетъ Парижъ, и изъ его описанія видно, что онъ основательно изучалъ... известную книгу г. Строева «Парижъ въ 1838 — 1839 годахъ». А Евгений, между тѣмъ, волочитъ напропалую. Влюбился онъ въ актрису лѣтъ девятнадцати, «прекрасную и стройную, какъ художественная мысль поэта, сложенную полно и роскошно, какъ мечта о счастіи, игривую и рѣзвую, какъ дитя, горделивую, какъ царица, пламенную и страстную, какъ герцогиня Сень-Жерменскаго Предмѣстья». Подкупивъ ея горничную, онъ залѣзъ къ ней подъ кровать, пока она была въ театрѣ. Актриса пріѣхала домой, раздѣлась, попросила ужинать, потомъ еще раздѣлась и выслала горничную — а Евгений все смотреть да смотреть изъ-подъ кровати... И вдругъ онъ видитъ: «Красавица, такъ волшебна раскинувшаяся на своемъ диванѣ, казавшаяся такою неземною, вдругъ опустилась на землю... Самымъ прозаическимъ образомъ...». Въ то самое мгновеніе, Евгений выскочилъ изъ своей засады. «Оставители вы меня, наконецъ?» — Могу ли имѣть столько власти надъ собою. — «Вы сущій злодѣй» (языкъ парижскихъ актрисъ!) — А вы настоящій ангелъ! — «Презрѣнный человѣкъ!» — Прелестнѣйшая женщина! — «Подлецъ!» — Благороднѣйшая жрица Мельпомены! — Чѣмъ кончилась эта сцена — понятно: тѣмъ же, чѣмъ кончаются всѣ сцены г. Бранта. «Я» (говоритъ его Евгений) «могъ бы рассказать здѣсь еще десятка два приключеній... Подчасъ мнѣ впадало на мысль, что я походилъ нѣ-

сколько на знаменитаго кавалера де-Фоблаза, и что похожденіи мои не годились бы для строго-нравственнаго романа, хотя и нельзя сказать, чтобы, въ нѣкоторомъ смыслѣ, онѣ совершенно были лишены назидательности». Дѣйствительно, романъ г. Бранта, въ нѣкоторомъ смыслѣ, можно счесть за пародію на романъ Лувэ, или на мемуары кавалера Казановы, и точно, онъ, въ нѣкоторомъ смыслѣ, не лишень назидательности, подобно спартанскимъ илотамъ, которыхъ господа нарочно заставляли напиваться до нельзя, чтобъ молодые люди фактически убѣждались въ гнусности пьянства... Если г-нъ Брантъ, подѣ «нѣкоторымъ смысломъ» разумѣетъ такого рода назидательность своего романа, то, конечно, съ нимъ всѣ согласятся...

Теперь мы приближаемся къ самому интересному мѣсту романа г. Бранта. Надо сказать, что его Евгенийъ познакомился, чрезъ Маргариту, съ герцогинею д'Абрантесъ, которая называла его «проказникомъ, шалуномъ (polisson), любимцемъ амура, человѣкомъ безъ всякаго занятія». Подлинный слогъ герцогини д'Абрантесъ! Она знала всѣ тайны Маргариты и Евгенія, и кокетничала съ послѣднимъ. Называя его негодяемъ и волокитою, она проситъ его сѣсть къ ней поближе, да рассказать ей о новой его интрижкѣ. Такъ какъ на ту пору у Евгенія таковой не случилось, то герцогиня посовѣтовала ему идти въ гусары, отъ чего Евгенийъ отказался, по причинѣ боязни военной дисциплины; тогда герцогиня посовѣтовала ему пойдти въ министры; но Евгенийъ отказался и отъ этого мѣста, потому что оно скользко и хлопотливо. Затѣмъ герцогиня цѣлуетъ его, и поцѣловавшись, они оба рѣшили на томъ, чтобъ Евгению быть домашнимъ секретаремъ у одного польскаго графа. Но самое интересное мѣсто романа г. Бранта, — описаніе литературнаго вечера у герцогини (ч. III, стр. 112 — 128). Изъ этого описанія читатели могутъ убѣдиться, какъ глубоко

г. Брантъ изучилъ Францію, и какъ тонко постигъ онъ ея потребности. Мы увѣрены, что г. Бранту стоить только явиться въ Парижъ съ французскимъ переводомъ своего романа, и его тотчасъ же сдѣлаютъ первымъ министромъ, на мѣсто Гизо. А какое было бы счастье для Франціи имѣть подобнаго министра! онъ, не хуже Ивана Александровича Хлестакова, все бы устроилъ въ одинъ день ко благу Франціи: журналисты не смѣли бы преслѣдовать дрянныхъ писачекъ и бездарности явилось бы просторное и свободное поприще... а отъ этого, разумѣется, Франція сдѣлалась бы счастливѣйшимъ государствомъ въ мірѣ... Однакожь при всемъ своемъ глубокомъ знаніи Франціи и ея потребностей, г. Брантъ очевидно ошибается кое въ какихъ фактахъ. Вопервыхъ, онъ черезъ чуръ, преувеличиваетъ важность рецензій во французскихъ журналахъ: во Франціи журналами называются газеты, а то, чтѣ у насъ, въ Россіи, называется журналомъ, во Франціи носить общее имя *revue*. Французскіе журналы (т. е. газеты), литературою почти не занимаются, обращая все свое вниманіе исключительно на политику. Даже *revues* отличаются преимущественно политическимъ направленіемъ, и если говорятъ о литературныхъ сочиненіяхъ, то лишь о замѣчательныхъ — о такихъ, которыя можно скорѣе хвалить чѣмъ бранить, и такихъ похвальныхъ рецензій во французскихъ *revues* является очень много, потому что во Франціи является очень много хорошихъ литературныхъ произведеній. Жаль, что г. Брантъ вовсе не читаетъ французскихъ періодическихъ изданій: еслибъ его природная проицательность была соединена съ знаніемъ дѣла, онъ не впалъ бы въ такія грубыя ошибки, которыя очевидны для всякаго мало-мальски грамотнаго человека. А все виновато его пылкое, романическое воображеніе! Оно-то было причиною, между прочимъ, и того, что г. Брантъ не вполне описалъ литературный вечеръ у г-жи Жюно. Мы знаемъ,

изъ какихъ источниковъ почерпалъ г. Брантъ всѣ эти драгоценные факты — изъ собственныхъ записокъ герцогини. Но этого недостаточно: слѣдовало бы ему заглянуть и въ записки современниковъ г-жи Жюно, посѣщавшихъ ея салонъ. Вотъ что, въ запискахъ одного изъ нихъ нашли мы касательно описаннаго г. Брантомъ литературнаго вечера, у герцогини д'Абрантесъ.

«А видите ли вы (сказала г-жа Жюно, отдѣлавъ журналистовъ), видите ли вы вонъ этого низенькаго, кругленькаго человечка, съ румянымъ лицомъ, похожимъ на пушистый персикъ? Это презамѣчательное существо. Онъ родомъ Бельгiецъ; надъ лбомъ у него голая яма, тщательно прикрытая волосами. Онъ глупъ, какъ это сейчасъ можно видѣть по его самодовольному лицу; но это бы еще ничего: худо то, что онъ помѣшанъ на двухъ идеяхъ, какъ ни странно подобное физіологическое явленіе. Первая — что онъ сынъ Наполеона и наследникъ французскаго престола. Дураку вообразилось, что Наполеонъ, въ одинъ изъ своихъ походовъ, пилъ чай у его матери, и что этому обстоятельству онъ обязанъ своей жизни. Какъ всѣ глупцы, онъ съ физіономію разряженнаго лакея (NB. въ подлинникѣ: *avec sa physionomie d'un laquais endimanché*) считаетъ себя красавцемъ и находитъ въ выраженіи своей телячьей фигуры что-то общее съ лицомъ Наполеона. Посмотрите на него поближе: фракъ на немъ стрый; складной шляпъ своей (*chapeau-claque*) онъ даетъ форму Наполеоновской трехуголки, а руку — посмотрите — важно держитъ за жилетомъ; булавочка его шейнаго платка съ Наполеономъ, перстень съ Наполеономъ, табакерка съ Наполеономъ. Второй пунктъ его помѣшательства — авторство. При своей глупости, онъ ужасно бездаренъ. Книги его не йдутъ, и онъ приписываетъ это зависти журналистовъ и паденію Наполеона. Наконецъ, увидѣвъ у уличныхъ разнощиковъ экземпляры одного своего новаго

сочиненія, раздаренные имъ пріятелямъ и журналистамъ съ собственноручными его униженными надписями, онъ, бѣднякъ, не вынесъ — и объявилъ себя на Вандомской Площади, среди бѣлаго дня, сыномъ Наполеона! Его заперли въ домъ, гдѣ лѣчуть отъ притязаній на родство съ великими міра сего... Черезъ годъ онъ поправился и опять началъ писать и печатать; но уже при этомъ сталъ поступать осторожнѣе — сталъ являться къ журналистамъ, подличать передъ ними, захваливать ихъ печатно. Но этимъ онъ только надѣлалъ себѣ новыхъ бѣдъ: журналисты, столь часто несогласные между собою во многомъ, на этотъ разъ единодушно рѣшились сдѣлать изъ писака — шута для своихъ фельетоновъ и на его счетъ забавлять публику. При этомъ, они имѣли еще въ виду отдѣлаться отъ его посѣщеній, упрямыхъ и настойчивыхъ, несмотря на то, что слуги журналистовъ захлопывали двери у него подъ носомъ, говоря: «дома нѣтъ». Не повѣрите, до какой степени раздражительно самолюбіе этого дурака: говоря съ вами, онъ безпрестанно обижается. Если ему холодно, вы обидите его смертельно, сказавъ, что вамъ жарко. О чемъ бы вы ни говорили съ нимъ, онъ сейчасъ своротитъ на литературу, на свои труды, на несправедливость критики. Особенно онъ сталъ раздражителенъ въ послѣднее время, увидѣвъ, что журналисты не перестаютъ надъ нимъ смѣяться, а къ себѣ его рѣшительно не пускаютъ, оставивъ съ нимъ всякія церемоніи. Для утѣшенія своего, онъ пишетъ на нихъ пасквили, надъ которыми они сами смѣются первые, потому что злость бессильнаго врага всегда забавна. Онъ всегда носитъ съ собою какое-нибудь новое свое маранье. Видите ли, у него изъ бокового кармана торчитъ бумага: это разсужденіе о томъ, что критику надо запретить, потому что она ведетъ къ безбожію, мятежамъ и явному неуваженію... плохихъ стиховъ и глупыхъ романовъ и повѣстей... Замѣчайте: онъ съ кѣмъ-то загово-

рилъ; румянецъ ярче вспыхнулъ на его животно-мясистомъ лицѣ; слышите ли: голосъ поднялся цѣлою октавою выше, и онъ кричитъ: «Конечно, милостивый государь, я не принадлежу къ числу такихъ геніальныхъ писателей, какъ г. Гюго, или г. Бальзакъ, или г. Ламартинъ, или г. Жаненъ, къ числу которыхъ, можетъ-быть принадлежите вы; но все-таки мои сочиненія — смѣю надѣяться—заслуживаютъ нѣкотораго вниманія, и вы очень ошибаетесь думая, что я позволю вамъ оскорблять меня... Я понимаю почему вы хвалите фблѣтоны г. Жанена: вы знаете, какъ недобросовѣстно онъ отозвался о моей поэмѣ... Онъ переписалъ мои стихи сперва снизу вверхъ, а потомъ нарвалъ по стиху изъ каждой страницы... я не виноватъ, что смыслъ выходитъ все такой же, какъ еслибъ мои стихи читались и сверху внизъ, по порядку»... Вотъ вамъ образчикъ его пошлаго самолюбія, продолжала герцогиня.—А жаль, по человѣчеству жаль: несмотря на свою глупость, онъ могъ бы быть порядочнымъ писцомъ въ канцеляріи, или порядочнымъ корректоромъ, и могъ бы послѣднею изъ этихъ должностей добывать себѣ хорошія деньги. Онъ необразованъ, безъ всякихъ свѣдѣній, ничего не читалъ, кромѣ своихъ сочиненій; но онъ порядочно знаетъ грамматику и достаточно силенъ въ орфографіи. Былъ бы славный корректоръ. Но, вмѣсто того, онъ разоряется на изданіе своихъ глупыхъ сочиненій. Если опять не сойдетъ съ ума, то ему придется умереть съ голода...»

Изъ этого отрывка да убѣдится г. Брантъ, что и мы знаемъ салонъ г жи Жюно по крайней мѣрѣ не хуже его, г. Бранта, который во всѣхъ французскихъ герцогскихъ салонахъ какъ у себя дома...

Поступивъ въ домашніе секретари къ графу, Евгенийъ свелъ связь съ графинею. Знаменитое это событіе воспослѣдовало въ каретѣ. Потомъ Евгенийъ влюбился въ дочь графа. Эту лю-



бовъ его г. Брантъ называетъ «истинною», а мы назвали бы ее приторно-сытѣвою, даже не сахарною, потому что сахаръ все-таки матеріалъ слишкомъ дорогой и благородный для идеальности людей съ низкими чувствами, каковъ былъ Евгеній. Дочь графа оказалась кузиною Евгенія, дочерью сестры его матери. Ее выдали за какого-то престарѣлаго герцога. Но чрезъ нѣсколько лѣтъ, овдовѣвъ, она явилась къ Евгенію, говоря ему, что вышла за старика изъ крайности и по расчету, потому что «супругъ болѣе молодой... былъ для нея опаснѣе... Произнеся послѣднія слова, Елена покраснѣла и потупила взоры...» За тѣмъ, они, къ несказанному удовольствію г. Бранта, сочетались законнымъ бракомъ. Евгенію тогда было уже сорокъ лѣтъ, и ему ничего не оставалось, какъ жениться. — И вотъ вамъ «Жизнь, какъ она есть»!...

Ух! позвольте отдохнуть! Мы не только прочли романъ г. Бранта, но и пересказали вамъ его содержаніе, а это подвигъ немаловажный! До сихъ поръ, мы шутили, а теперь скажемъ серьезно, что, несмотря на грамматически правильныя, несмотря на риторическія, по старинному манеру обточенныя и облизанныя фразы этого романа, трудно вообразить себѣ что-нибудь болѣе пошлое, нелѣпое. Отсутствіе фантазіи совершенное, бѣдность воображенія непостижимая. Это просто сцѣпленіе небывалыхъ происшествій на небывалой землѣ съ небывалыми людьми. Всѣ эти люди — какъ двѣ капли воды похожи другъ на друга, т. е. всѣ въ одинаковой степени невыносимо нелѣпы, всѣ, не выключая ни Наполеона, ни Гёте, ни герцогини д'Абрантесъ, Богъ вѣсть зачѣмъ приплетенныхъ къ грязнымъ похожденіямъ глупаго мальчишки. И самыя эти похожденія лишены того качества, которымъ думалъ сочинитель польстить плотоугодничеству извѣстнаго класса читателей: они мертвы и холодны, какъ и та фальшивая мораль, съ которою они переболтаны, какъ вода съ саломъ. И къ какой стати тутъ

Наполеонъ и Гёте? Не только эти люди, но даже и герцогиня д'Абрантесъ слишкомъ не по-плечу такимъ сочинителямъ, какъ г. Брантъ. Но такіе-то сочинители особенно и храбры, и ни передъ чѣмъ не останавливаются. Они понимаютъ все просто и думаютъ, что Наполеонъ и Гёте думали и чувствовали точно такъ же, какъ и они, горемычные писаки...

Мы пересказали все содержаніе романа г. Бранта, все... какъ оно есть, не упустивъ почти ни одной черты; остальное въ немъ — болтовня, водяное, многоглаголивое и безцвѣтное распространеніе пересказаннаго нами. Мертво, вяло, скучно, пошло! Г. Бранту не удалась критика, не удались повѣсти, и онъ вздумалъ написать романъ съ «веселенькими» похождениями и — очень кстати — съ Наполеономъ и Гёте; но и этого не счумѣлъ сдѣлать... такое несчастіе! Романъ его принадлежитъ къ той литературѣ, которая называется по-латинѣ *literatura obscena*; но еслибъ въ этой грязи было хоть сколько-нибудь дарованія, мы бы поздравили г. Бранта и съ такимъ успѣхомъ.

Неужели и послѣ этого г. Брантъ будетъ продолжать забавлять публику на свой счетъ нападками на зависть и недоброжелательство журналистовъ, будто-бы убивающихъ таланты? Отъ сотворенія міра по сіе время, ни одинъ журналъ не убилъ ни одного истиннаго таланта и не отвадилъ ни одного плохаго писателя отъ дурной привычки пачкать бумагу. Улика на лицо — самъ г. Брантъ: если въ немъ, г-нѣ Брантѣ, есть талантъ, насмѣшки журналовъ не ослабили же его таланта и не помѣшали ему, послѣ «Аристократки», написать «Жизнь, какъ она есть»; если же въ немъ, г-нѣ Брантѣ, нѣтъ таланта — все равно: насмѣшки журналовъ не прекратили его охоты истреблять по-пусту бумагу, и послѣ всѣми осмѣянныхъ повѣстей, рецензій, «Аристократки», онъ вотъ издалъ же всѣми же осмѣиваемую «Жизнь, какъ она есть»...

---

**АМАРАНТОСТЬ, или РОЗЫ ВОЗРОЖДЕННОЙ ЭЛЛАДЫ. Произведенія народной поэзіи нынѣшнихъ Эллиновъ, собранныя, переведеныя и изданныя съ подлинникомъ, предисловіемъ, филологическими и историческими замѣчаніями, Георгіемъ Эвламніосомъ. Удостоено Демидовской преміи. Спб. 1843.**

Во времена владычества французскаго псевдо-классицизма, народная поэзія была во всеобщемъ пренебреженіи и даже презрѣніи. Этому были и дѣльныя и недѣльныя причины. Съ одной стороны, псевдо-классики имѣли право отвергать, какъ пошлость, простодушныя произведенія народной музыки, думая, что только просвѣщеніе и образованіе могутъ быть источникомъ истиннаго искусства; съ другой стороны, они жестоко ошибались, забывая, что всякій возрастъ имѣетъ свою поэзію, и что у народа, какъ и у частнаго лица, есть свое время младенчества, юности и возмужалости; сверхъ того, они не знали, что въ дѣтскомъ лепетѣ народной поэзіи хранится таинство народнаго духа, народной жизни и отражается первобытная народная фізіономія. Псевдо-романтизмъ, возникшій въ началѣ XIX вѣка, убилъ французскій псевдо-классицизмъ. Тогда всѣ европейскія литературы, по закону діалектическаго развитія мысли, перешли въ противоположную крайность: народныя пѣсни и сказки сдѣлались предметомъ безусловнаго уваженія и начали возбуждать неосновательный восторгъ. Нѣмецкою и англійскою литературами въ особенности овладѣла эта манія. Бюргеръ долго пользовался славою великаго поэта за недѣльную балладу свою «Леонору», написанную въ духѣ самыхъ грубыхъ и дикихъ предразсудковъ невѣжественнаго простонародья. Эта баллада была переведена на всѣ языки. Жуковскій сперва передѣлалъ ее на русскій ладъ, подъ именемъ «Людмилы», потомъ перевелъ ее. Подражаній этой балладѣ нѣсть числа на русскомъ языкѣ. Въ то же время, всѣ бро-

сѣлись собирать свои народныя пѣсни и переводить чужія. Все это было очень полезно во многихъ отношеніяхъ; но тѣмъ не менѣе крайность была смѣшна. Слава Богу, теперь это народное бѣснованіе уже прошло: теперь имъ одержимы только люди недалекіе, которымъ суждено вѣчно повторять чужіе зады и не замѣчать смѣны стараго новымъ. Никто не думаетъ теперь отвергать относительнаго достоинства народной поэзіи; но никто уже, кромѣ людей запоздалыхъ, не думаетъ и придавать ей важности, которой она не имѣетъ. Всякій знаетъ теперь, что въ ней есть своя жизнь, свое одушевленіе, естественное, наивное и простодушное; но что все этимъ и оканчивается, ибо она бѣдна мыслію, бѣдна содержаніемъ и художественностью. Главное же — всякая народная поэзія хороша у себя, дома, а въ чужой землѣ теряетъ большую половину своего поэтическаго аромата и даже своего здраваго смысла. Исключеніе остается только за одною народною поэзіею въ мірѣ — поэзіею древне-греческою, которая, будучи народною, есть въ то же время и художественная; будучи греческою, она въ то же время и общечеловѣческая, всемірно-историческая, міровая.

Поэтому, г. Георгій Евлампіосъ совсѣмъ не оказалъ такой великой услуги русской литературѣ, какую думалъ онъ оказать ей переводомъ какихъ-нибудь двадцати девяти народныхъ пѣсень новыхъ Грековъ. Во первыхъ, пѣсни эти хороши въ Греціи и для Грековъ — въ этомъ мы не сомнѣваемся; но на русскомъ языкѣ онѣ не то, чтобъ не хороши, а какъ-то не читаются. Это, вѣроятно, потому, что у насъ, Русскихъ, есть свои народныя пѣсни, которыя намъ, Русскимъ, болѣе или менѣе нравятся, но которыя на ново-эллинскомъ языкѣ, вѣроятно, не понравились бы ни Грекамъ, ни тѣмъ изъ Русскихъ, которые знаютъ ново-греческій языкъ...

Достоинство перевода — не отличное. Не говоря уже о томъ, что ново-греческія народныя пѣсни въ переводѣ г.

Георгія Эвлампиоса что-то вообще плоховаты, онѣ еще и растлануты, т. е. разведены водицею лишннихъ стиховъ и словъ. Такъ, напримѣръ, пѣсня XII въ подлинникѣ состоитъ изъ пятнадцати стиховъ, а въ переводѣ — изъ тридцати.

Но что всего намъ непонятнѣе въ этой книжкѣ, — это ея пышное заглавіе и еще болѣе пышное предисловіе: подумаешь, дѣло идетъ и Богъ знаетъ о чемъ, а совсѣмъ не о посредственномъ переводѣ какихъ-нибудь двадцати девяти народныхъ пѣсень. Пѣсни эти занимаютъ тридцать четыре странички, со всѣми пробѣлами, виньетками (весьма некрасивыми) и примѣчаніями (очень неглубокомысленными), то-есть, два листа съ небольшимъ, потому что на одной сторонѣ каждаго листка напечатанъ переводъ, а на другой текстъ. Между тѣмъ, книжка состоитъ больше, чѣмъ изъ десяти печатныхъ листовъ. Чѣмъ же наполнены остальные восемь листовъ? А вотъ, посмотришь. На первой страницѣ короткій титулъ книги на новогреческомъ и русскомъ языкѣ; на оборотѣ — ничего; на второй страницѣ — ничего; на оборотѣ ея — полный титулъ книги на новогреческомъ языкѣ; на третьей страницѣ — полный титулъ книги на русскомъ языкѣ; на оборотѣ — цензурное «печатать позволяется»; на четвертой страничкѣ — нѣсколько строкъ по-новогречески; на оборотѣ — посвященіе книги «дражайшему» родителю отъ «покорнаго» сына, на новогреческомъ языкѣ; на пятой страничкѣ — посвященіе «дражайшему» родителю отъ «покорнаго» сына, на русскомъ языкѣ; на оборотѣ и на шестой страничкѣ — то же; на оборотѣ — ничего. И такъ, вотъ уже ровно шесть листовъ, или двѣнадцать страничекъ, т. е. почти печатный листъ занятъ ровно ничѣмъ. За тѣмъ слѣдуетъ, на 29 страницахъ, широковшательное предисловіе на русскомъ языкѣ — нѣчто въ родѣ огромныхъ воротъ, ведущихъ въ маленькую хату. На страницѣ 30 — ничего. На 31 страницѣ — коротенькое предисловіе къ пѣснѣ;

на 32 страницъ — подлинникъ пѣсни; на 33 — переводъ пѣсни; на оборотѣ: «Часть I», по-ново-гречески; на 35 стр.: «Часть I», по-русски; на оборотѣ — снова титулъ книжки по-ново-гречески; на стр. 37 — снова титулъ книжки, по-русски. За тѣмъ уже слѣдуетъ 28 пѣсень, напечатанныхъ *texte en regard*. Переводъ послѣдней пѣсни приходится на 69 стр.; на оборотѣ ея и на 71 стр. — заглавіе народной сказки «О Безсмертной Водѣ» и означеніе второй части, по-ново-гречески и по-русски; на оборотѣ — ничего. Страницы 73 — 77 заняты неинтереснымъ разсказомъ и разнымъ пустословіемъ о томъ, какъ г. Георгій Эвлампиосъ услышалъ эту сказку отъ одного разсказчика на кораблѣ во время штиля. За тѣмъ слѣдуетъ, прозою, сказка *texte en regard*. Сказки эти — какъ всѣ народныя сказки на бѣломъ свѣтѣ: попросите любую старуху, она вамъ сейчасъ же разскажетъ сказку не хуже, даже лучше той, которую имѣлъ терпѣніе и досужество пересказать г. Георгій Эвлампиосъ...

Надо отдать справедливость издателю: мастеръ онъ дѣлать все изъ ничего и составлять книги изъ такихъ матеріаловъ, которыхъ не хватило бы и на тощую брошюрку.

---

ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ, *арабскія сказки. Тома XI, XII, XIII, XIV и XV. Спб. 1843.*

Какъ счастливы народы съ бритыми головами! они не только слушаютъ арабскія сказки, но еще и вѣрятъ всѣмъ чудесамъ, о которыхъ въ нихъ разсказывается, такъ добродушно и несомнѣнно, какъ мы не вѣримъ самымъ достовернымъ статистическимъ таблицамъ о благосостояніи разныхъ земель и государствъ. Волшебники, волшебницы, крылатые кони, чудесныя

красавицы со звѣздами во лбу, злые и добрые кади, мудрые визири, всему этому мусульмане вѣрятъ такъ же безъ всякаго сомнѣнiя, какъ и неизрѣченному милосердiю и правосудiю великаго халифа Гарунъ-аль-Рашида, который дѣйствительно былъ очень человѣколюбивъ и милостивъ, и только въ порывахъ внезапнаго гнѣва рубилъ головы и правому и виноватому, всегда, впрочемъ, раскаяваясь въ этомъ, когда проходилъ гнѣвъ его. На Востокѣ, это уже — *pas plus ultra* гуманности... Увы! мы, западные жители, отверженные гяуры, въ наказанiе за наше невѣрiе въ Несомнѣнную Книгу и творца ея, Мухаммеда (да не уменьшится никогда тѣнь его!), — мы лишены счастья вѣрить возможности чего бы то ни было, о чемъ повѣствуется въ арабскихъ сказкахъ, и оттого не можемъ наслаждаться ими вполне. А между тѣмъ, для каждаго изъ насъ было время, когда мы съ жадностью читали рассказы Шехеразады и не меньше старыхъ мусульманъ вѣрили дѣйствительности этого небывалаго мiра. Какъ не вспомнить этого золотого времени и вѣстѣ съ нимъ этихъ стиховъ старика Дмитрiева, которые въ то время восхищали насъ не меньше прозы Шехеразады:

Утѣшно вспоминать подъ старость дѣтки лѣты,  
Забавы, рѣзвости, различные предметы,  
Которые тогда увеселяли насъ!  
Я часто и въ гостяхъ хозяевъ забываю;  
Сажу, повѣся носъ; нѣтъ ни ушей, ни глазъ;  
Всѣ думаютъ, что я взмолился на Парнасъ, —  
А я... признаться вамъ, игрушкой играю,

Которая была

Мнѣ въ дѣтствѣ такъ мила;  
Иль въ память привожу, какою мнѣ отрадой  
Бывалъ тотъ день, когда, урокъ мой окончавъ,  
Набѣгая въ садъ, уставши отъ забавъ  
И, бросаясь на постель, займусь *Шехераздой!*  
Какъ сказки я ея любилъ!  
Читалъ ихъ... прощай, учитель,

Сибирскъ и Волга! все забылъ!  
 Уже я всей вселенны зритель,  
 И вижу тамъ и сямъ и карловъ и духовъ,  
 И визирей рогатыхъ,  
 И рыбокъ золотыхъ, и лошадей крылатыхъ,  
 И въ видѣ кадіевъ волковъ...  
 Но сколько нужно словъ,  
 Чтобъ все пересчитать, друзья мои любезны!

Вѣроятно, мусульмане оттого такъ и довольны арабскими сказками и такъ вѣрятъ имъ, что они — дѣти, хотя уже и старыя. Но и мы, не будучи дѣтьми, можемъ, ради воспомина- нія нашего дѣтства, перелистовать Шехеразаду, особенно въ то время, когда не дѣлать ничего скучно, а дѣлать что-нибудь, требующее присутствія мыслительной способности, кажется труднымъ. Въ такомъ расположеніи духа, арабскія сказки — истинное сокровище, тѣмъ болѣе, что ихъ можно бросить безъ сожалѣнія, тотчасъ, какъ скоро надоедятъ онѣ, и можно опять приняться за нихъ хоть черезъ годъ и начать читать съ той страницы, которая прежде всего сама откроется.

---

СКАЗКА ЗА СКАЗКОЙ *Томъ. IV. Редакторъ Н. В. Куколь- никъ. Спб. 1844.*

Несмотря на всѣ возгласы и многоглагольные, широкоѣ- щательные толки о томъ, что успешный ходъ книжной торговли способствуетъ процвѣтанію литературы, и что появленіе или «воздвиженіе» извѣстнаго книгопродавца должно будетъ пода- рить цѣлыя дюжины новыхъ Ломоносовыхъ, Державиныхъ, Фонъ-Визинныхъ, Крыловыхъ, Карамзиныхъ, Жуковскихъ, Батюшковыхъ, Пушкиныхъ, Грибоѣдовыхъ, а по мѣрѣ надоб- ности, пожалуй, и Гомеровъ, Софокловъ, Пиндаровъ, Сокра- товъ, Платоновъ, Аристотелей, Шекспиравъ, Дантовъ,



Сервантесовъ, Шиллеровъ, Гёте, Байроновъ, Вальтеръ Скоттовъ, Куперовъ и т. д., — несмотря на все это, литература наша день-о-то-дня ванетъ болѣе и болѣе. Правда, иной книгопродавецъ въ короткое время успѣлъ издать множество книгъ, между которыми есть нѣсколько и порядочныхъ; но новыхъ геніевъ, талантовъ не является, и русской публикѣ по прежнему читать нечего, кромѣ журналовъ. Вотъ, напримѣръ, уже третій годъ тянется изданіе «Сказки за Сказкой», а между тѣмъ, ея вышелъ только четвертый томъ! Но что же въ этихъ четырехъ томахъ? — около двухъ десятковъ повѣстей и рассказовъ, изъ которыхъ піесы четыре хорошія, пять или шесть сносныхъ, да около десятка несносныхъ. Но хуже всѣхъ томовъ послѣдній. Еслибъ мы фактически не знали о страшной нищетѣ русской литературы въ настоящее время, мы имѣли бы право принять этотъ четвертый томъ «Сказки за Сказкой» за пучъ, за насмѣшку надъ добродушіемъ публики, которая еще держится невинной привычки не только покупать русскія книги, но и читать ихъ. Изъ пяти повѣстей, составляющихъ четвертый томъ «Сказки за Сказкой», двѣ до того плохи, — чтобъ не сказать плоски и пошлы, — что не знаешь, чему больше удивляться: смѣлости ли нашихъ писакъ, или добродушію публики, которая читаетъ себѣ на здоровье все, что ни выдадутъ ей за сочиненіе. Если есть охотники на повѣсти, подобныя «Градскому Главѣ» и «Сироткѣ», то нельзя не убѣдиться, что у насъ еще много людей, которымъ —

Печатный каждый листъ быть кажется святымъ.

«Градскі(о)й Глава» есть новое твореніе неутомимаго г. Н. Полеваго. Удивительную эту повѣсть можно было бы почестъ за злую пародію на «Le Medecin de Campagne» Бальзака, еслибы не разувѣрять въ этомъ отпечатокъ крайней бездарности, который прежде всего бросается въ глаза при чтеніи этой сказки. Не имѣя намѣренія пародировать Бальзаковского

романа, г. Н. Полевой не хотѣлъ также ограничиться и простою ролью подражателя. Воспользовавшись мыслию Бальзака, онъ тѣмъ не менѣе хотѣлъ написать повѣсть истинно-русскую, такъ, чтобъ всѣ сказали о ней:

Здѣсь русскій духъ, здѣсь Русью пахнетъ.

Для этого, онъ придумалъ героя, какого не бывало и не можетъ быть. Это — видите ли, купецъ — истинный отецъ и благодѣтель своего города, но не въ томъ смыслѣ, какъ знаменитый полиціймейстеръ въ «Мертвыхъ Душахъ», который въ лавки купцовъ навѣдывается, какъ въ собственную свою кладовую: Григорій Савичъ устроилъ въ своемъ городѣ отличную мостовую, чудесное фонарное освѣщеніе, устроилъ фабрики, заводы, больницы, коммерческія компаніи, чуть ли не банки, оживилъ торговлю, которой вовсе не было, привлечь капиталы, и проч. и проч. Прежде всего надо сказать, что Григорій Савичъ былъ человѣкъ съ высшими взглядами, зналъ языки, разные науки (которымъ навострился въ одномъ изъ русскихъ университетовъ), читалъ книги; добродѣтели былъ безпримѣрной; о чемъ ни заговорите съ нимъ, хоть о политической экономіи — такъ, сударь мой, отхватаетъ вамъ, что куда за нимъ иному профессору (и не мудрено: эту науку онъ изучалъ, кажется, по извѣстной рѣчи «О невещественномъ Капиталѣ» и по статьямъ «Московского Телеграфа»), а ужъ о географіи и статистикѣ нечего и говорить: зналъ онъ ихъ не хуже г. Зябловскаго. Но чему онъ былъ обязанъ всѣми своими знаніями и добродѣтелями? — смурому кафтану, александрійской рубашкѣ съ косымъ воротомъ и плисовымъ шароварамъ, которые зашивались въ сапоги съ кисточкою... Если не вѣрите, прочтите повѣсть: изъ нея вы увидите ясно, что вздумавъ Григорій Савичъ носить фракъ или скюртку съ принадлежностями, подобно всѣмъ образованнымъ на человѣческую стать людямъ, онъ забылъ бы вдругъ всѣ свои познанія и

лишился бы всѣхъ своихъ добродѣтелей, а, что всего хуже, въ Россіи одинъ дрянной городишко не превратился бы, въ продолженіи какихъ-нибудь десяти лѣтъ, въ новый Ліонъ, новый Манчестеръ, или новую Одессу... Жаль, что г. сочинитель не замѣтилъ, подъ какимъ градусомъ широты и долготы должно искать этого чудеснаго города, если только онъ существуетъ не въ «Шехеразадѣ»... Вотъ что значить борода и мѣщанскій костюмъ!... Удивительная повѣсть! Жаль только, что она рассказана скучно, вяло, мертво, словно во снѣ; да ужъ и въ самомъ дѣлѣ, не сонъ ли это?... Въ такомъ случаѣ, дѣло понятное и извинительное:

Когда же складны сны бываютъ?

Но когда же нескладныя нелѣпости и печатаются?—скажете нной читатель. И то правда!...

«Сиротка» написана совершенно въ одномъ духѣ съ «Градскимъ Главою». Вся разница въ томъ, что послѣдній есть плодъ таланта давно уже возмужавшаго, вполне развившагося, искушеннаго опытомъ и трудами многочисленными и разнообразными; а первая есть первый опытъ таланта еще юнаго, хотя и общающаго много. Разсказать содержаніе «Сиротки» нѣтъ никакой возможности: будетъ съ насъ и того, что за грѣхи наши мы прочли ее; выписать же изъ нея нѣкоторыя фразы мы почтемъ за трудъ пріятный и забавный, которымъ надѣемся доставить удовольствіе читателямъ, имѣвшимъ неизрѣченное счастье не читать этой повѣсти. И такъ, слушайте: «О Боже мой, Боже! неужели непремѣнно должно быть подлецомъ, чтобъ пожинать лавры наслажденій на этомъ боевомъ рынкѣ жизни!»—«Очень понятно было, что въ душѣ его, какъ въ котлѣ макбетовыхъ вѣдьмъ, варились чары злобы, мести и злодѣйскихъ замысловъ.» — «Я страдалъ и страдалъ невыразимо. Сердце мое предчувствовало, что прекрасная Казильда, чистая, великолѣпная жертва грознаго рока, не жилецъ тре-

вознаго міра; это была заблудившаяся звѣздочка, превращенная въ милліоны искръ, угасающихъ на ядовитой влагѣ Мертваго Моря; это былъ райскій цвѣтокъ, похищенный Аббадонною и брошенный въ пламенѣющій зѣвъ тартара; это была капля надзвѣзднаго зова, которымъ дышутъ ангелы,—капля, опущенная въ мрачную, мутную атмосфору земнаго бытія и безжизненно иссыхающая на раскаленномъ крылѣ времени». Это была — прибавимъ мы отъ себя — страшная галиматья! Нѣтъ, мало: повѣсть «Сиротка» есть море-окіанъ галиматій! Мы не выбирали изъ нея лучшаго, но выписывали чтѣ прежде бросалось въ глаза, и если бѣ хотѣли вычерпать выписками все нелѣпости, то принуждены были бы перепечатать всю повѣсть г. А—ва, отъ перваго до послѣдняго слова.

«Градскі(о)й Глава», это—Одиссея, плодъ столько же мудрости, сколько и творческаго вдохновенія; все, чтѣ въ рѣчи «О Невещественномъ Капиталѣ» было выражено философски, здѣсь является облеченнымъ въ поэтическую форму. «Сиротка», это—Иліада, гдѣ все поэзія и вдохновеніе, еще, конечно, несдружившіяся съ здравымъ смысломъ; но вѣдь и то сказать, Гомеръ сложилъ свою вѣковѣчную поэму, будучи уже въ преклонныхъ лѣтахъ, а г. А — въ, кажется, еще такъ юнъ, что и читателей своихъ считаетъ за школьникѣвъ... Но это не бѣда: подростеть, будетъ писать не хуже г. Полеваго...

«Клятва» принадлежитъ къ числу тѣхъ дюжинныхъ посредственностей, которыя не то, чтобы худы, да и не то, чтобы хороши. Разсказъ не дуренъ, но содержаніе вздорно: все дѣло вертится на томъ, что героиню повѣсти несправедливо ревнуетъ мужъ, и ей стоило бы сказать одно слово для своего оправданія, но она не говоритъ этого слова, зная, что въ такомъ случаѣ не вышло бы повѣсти. Право, не стоить труда писать и печатать подобныя ничтожности. Отъ «Градскаго Главы», или «Сиротки» можно въ веселый часъ похохотать; а

отъ «Кляты» только заснешь, именно потому что она совсѣмъ не глупа, да и не очень умна, тогда какъ тѣ...

«Татарскіе Набѣги» покойнаго Основьяненки принадлежать къ такимъ произведеніямъ, которыя не безъ удовольствія перелистываются. И то хорошо!

Лучшая повѣсть въ четвертомъ томѣ «Сказки за Сказкой» называется «Максимъ Созонтовичъ Березовскій» и написана г. Кукольникомъ. Содержаніе ея очень интересно; основная мысль прекрасна: попадаются отдѣльныя хорошія мѣста; но цѣлое рассказано довольно длинно и чуть не слабо. Видно, что авторъ писалъ нѣскоро и торопился къ сроку, а оттого изъ прекраснаго произведенія вышло у него что-то безцвѣтное, и ни то хорошее, ни то посредственное — разобрать трудно. Жаль!

И вотъ вамъ весь четвертый томъ «Сказки за Сказкой». Сколько времени, бумаги, чернилъ, перьевъ, и потомъ опять времени, бумаги, чернилъ, типографской работы и прочаго, потрачено на него! А для чего? Должно быть, для процвѣтанія книжной торговли, безъ которой не можетъ, какъ говорятъ, процвѣтать русская литература... Господь, ни то, ни другое не можетъ процвѣтать одно безъ другаго! Вы все хлопчете только объ оживленіи книжной торговли, и оттого-то, видно, у насъ нѣтъ ни литературы, ни книжной торговли...

---

ОБЪ ИСТОРИЧЕСКОМЪ ЗНАЧЕНІИ РУССКОЙ НАРОДНОЙ ПОЭЗІИ.  
*Николай Костомарова. Писано для полученія степени ма-  
гистра историческихъ наукъ. Харьковъ 1833.*

Въ наше время, если сочинитель не хочетъ или не умѣетъ говорить о чемъ-нибудь дѣльномъ, русская народная поэзія всегда представитъ ему прекрасное средство выпутаться изъ бѣды. Что можно было сказать объ этомъ предметѣ, уже было

сказано. Но г-на Костомарова это не остановило, и онъ издалъ о народной русской поэзіи цѣлую книгу словъ, изъ которыхъ трудно было бы выжать какое-нибудь содержаніе. Это собственно фразы не о русской, а о малороссійской народной поэзіи: о русской тутъ упоминается мимоходомъ. Въ разсказѣ о подвигахъ Анкудина Анкудиновича, г. Костомаровъ нашелъ — что бы вы думали? — романтизмъ!!... На 200 страницъ, сочинитель по-ученому классификуетъ русскую удалъ... Изъ потока словъ, разлитого на 214 страницахъ, сочинитель силълся доказать только три тезиса:

I. Народная поэзія особенно важна для историка, потому что въ ней видѣнъ взглядъ народа на свою жизнь. (Какая новость!)

II. Жизнь народа, разсматриваемаго въ его произведеніяхъ, можетъ быть раздѣлена на духовную, историческую и общественную (Sic!...)

III. Народъ русскій раздѣляется на двѣ коренныя отрасли: Южноруссовъ или Малоруссовъ и Сѣверноруссовъ или Великоруссовъ; а потому, подъ именемъ русской народной поэзіи должно разумѣть чисто народныя произведенія, какъ малорусскія, такъ и великорусскія.

Положимъ, что все это и правда; но стоило хлопотать изъ такихъ бѣдныхъ истинъ, которыя, къ довершенію бѣды, еще и не совсѣмъ истинны?...

ГАШЛЕТЪ. *Трагедія В. Шекспира, переводъ А. Кронебера. Харьковъ. 1844.*

Что современная русская литература находится въ состояніи заустѣвнѣя, — въ этомъ теперь согласны почти всѣ литературныя партіи, во всемъ другомъ несогласны между собою.

Естественно, каждая из них сянтся объяснить причину такого страннаго явления. Эти объясненія часто бывають вескитительными своею наивностию, и если смотрѣть на дѣло со стороны, то можно забавляться имъ какъ игрою въ жиурки: объяснитель съ завязанными глазами и распростертыми впередъ руками бѣгаетъ взадъ и впередъ, бросается изъ стороны въ сторону, лова ускользящія отъ него искомыми причины, а зрители хохочутъ... Слѣнно и забавно! Одни говорятъ, что литература потому въ упадкѣ, что нѣтъ книжной торговли; но имъ сейчасъ возражаютъ, что книжной торговли потому нѣтъ, что литература въ упадкѣ, ибо весьма естественно, что торговля не можетъ существовать, когда ей нечего продавать. Слѣдовательно, въ этомъ объясненіи остается несомнѣннымъ только фактъ, что литература въ упадкѣ, а причины этого факта все-таки нѣтъ. На бѣду объяснителей этого рода, сама дѣйствительность вразумъ рѣшить вопросъ: книгопродавцы явились,—даже, но нѣкоторые изъ воздвиглись новые дѣтели, оживители литературы, съ самоотверженіемъ рѣшившіеся вновь издавать старый хланъ ея: другіе книгопродавцы покупають рукописи, платятъ авторамъ носильную плату, издають книги,—а литература по прежнему мертва, и книжная торговля въ застоѣ. Въ этомъ принуждены были сознаться сами объяснители. Другіе говорятъ: литература оттого въ упадкѣ, что наши писатели лѣнивы, мало пишутъ, ничего не дѣлають, и т. п. Но факты доказываютъ, что теперь литераторы пишутъ по крайней мѣрѣ не меньше, если еще не больше того, какъ писывали они въ старину и во всѣ хваленныя времена русской литературы. Слѣдую является «драматическіе представленія»: новыиъ возмечалии нѣтъ счета: новѣстей не оберешься: иллюстрированныиъ исторій, оригинальныиъ и переводныиъ, даволь: правоописательныиъ и юмористическіиъ книжекъ и тетрадокъ съ картинками просто всюду дѣвать. Нѣтъ, все не то! Третьи

говорять: неуваженіе къ талантамъ — вотъ причина упадка литературы! Прекрасно! но гдѣ же это неуваженіе, если все, что является въ литературѣ отличнаго или порядочнаго, жадно читается публикою въ журналахъ, скоро раскупается въ отдѣльныхъ книгахъ? «Мертвыя Души», напечатанныя въ числѣ трехъ тысячъ экземпляровъ, давно уже распроданы до послѣдняго экземпляра; «Сочиненія Николая Гоголя» въ четырехъ частяхъ почти совсѣмъ разошлись въ какой-нибудь годъ времени, несмотря на то, что изъ нихъ около трехъ частей составлено изъ старыхъ, давно уже извѣстныхъ публикѣ статей; сочиненія Лермонтова то и дѣло издаются; повѣсти графа Соллогуба, давно прочитанныя въ періодическихъ изданіяхъ, хорошо распродавались и хорошо распродаются, изданныя отдѣльно. А между тѣмъ, эти три писателя, особенно два первые, подвергались, подвергаются и, вѣроятно, еще долго будутъ подвергаться «неуваженію» со стороны разныхъ артистарховъ. Въ цѣлой книгѣ, нельзя пересказать всѣхъ браней, которыя напечатаны на сочиненія Гоголя; о Лермонтовѣ теперь пишутъ, что такъ какъ онъ уже умеръ и отъ него никакихъ барышей ожидать нельзя, то уже смѣшно его хвалить, а надо его бранить, и на первый случай, замѣтить, наприимѣръ, что въ его «Героѣ Нашего Времени» нѣтъ знанія жизни, свѣта, людей, человеческого сердца, и что всего этого слѣдуетъ искать въ «Дѣвахъ Чудныхъ» и разныхъ «драматическихъ представленіяхъ». Правда, «неуваженіе» вредитъ многимъ талантамъ; но если оно, даже доведенное до ожесточенія, не могло повредить нѣкоторымъ, — явный знакъ, что дѣло ни въ «уваженіи», ни въ «неуваженіи», а въ достоинствѣ сочиненій, въ силѣ таланта, который самъ собою заставляетъ уважать себя. Нѣкоторые сочинители для лучшаго хода своихъ сочиненій издають журналы и газеты, въ которыхъ ихъ сочиненія весьма «уважаются», но, увы! все это теперь уже нисколько не помогаетъ горю. — На-



конецъ, намъ недавно случилось читать гдѣ-то мнѣніе, что русская литература упала не отъ чего другаго, какъ отъ журнальной полемики!... Это мнѣніе не ново: оно повторялось очень часто въ доброе старое время и брошено за негодностію. Кому-то вздумалось возобновить его. Очевидно, что возобновитель сродни падшимъ отъ полемики сочиненіямъ: иначе, онъ такъ горячо не напалъ бы на эту мнимую причину посполитаго рушенія русской литературы. А прекурёзное мнѣніе! Ради самой юродивости его, нельзя пропустить его безъ вниманія.

Полемика составляетъ душу иностранныхъ литературъ; въ сравненіи съ нашею, иностранная полемика — то же, что океанъ въ сравненіи съ ручейкомъ. Отчего же иностранныя литературы не погибли отъ полемики? Возобновитель курёзнаго мнѣнія говоритъ, между прочимъ, что журнальныя брани лишили русскую литературу всякаго довѣрія у публики, которая, будто-бы, повѣрила всѣмъ воюющимъ сторонамъ въ томъ, что онѣ говорятъ одна о другой и — перестала читать по-русски... Именно такъ! Но кто же читаетъ русскіе журналы. изъ которыхъ однѣ «Отечественныя Записки» имѣютъ болѣе трехъ тысячъ подписчиковъ? — неужели иностранцы? А вѣдь что было писано противъ «Отечественныхъ Записокъ», какъ бранили ихъ разные журналы и разные сочинители?... Кто раскупилъ «Мертвыя Души», напавалъ разруганныя половиною нашихъ журналовъ, какъ произведеніе пошлое и бездарное?... Да и когда полемика была тише, если не въ настоящее время? Глазамъ не вѣришь, читая брани, которыя нѣкогда печатались на Пушкина, а, между тѣмъ, Пушкина всѣ читали!... Нѣтъ, скорѣе одною изъ причинъ заустѣнія русской литературы можно почестъ то, что у насъ еще и теперь не стыдятся показываться въ печати мнѣнія подобныя тому, что какая-нибудь литература можетъ пасть отъ полемики...

Много есть разныхъ причинъ упадка нашей литературы въ настоящее время. Въ первой книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» 1844 года, мы, въ отдѣлѣ Критики, изложили нѣкоторыя изъ этихъ причинъ. Главнѣйшія изъ нихъ, — во первыхъ, преждевременная смерть Пушкина и Лермонтова. Первый сдѣлалъ очень много, но еще больше обѣщалъ сдѣлать, судя по его посмертнымъ сочиненіямъ. Второй только что началъ было обнаруживать всю огромность своего таланта. Гоголь рѣдко является въ печати. Нѣсколько талантовъ, болѣе или менѣе яркихъ, не могутъ сдѣлать незамѣтнымъ недостатокъ въ людяхъ гениальныхъ, а гениальныхъ людей не могутъ создать ни «уваженіе», ни процвѣтаніе книжной торговли: ихъ творить природа. Во вторыхъ, теперь русская литература вышла на такую дорогу и приняла такое направленіе, что многіе люди, недавно считавшіеся великими талантами, невольно обратились въ людей съ посредственными дарованіями; многое изъ того, что прежде восхищало публику, теперь наводитъ на нее зѣвоту, а нѣкоторые *ci-devant* любимцы публики, воспользовавшіеся подшумкѣ ея неопытностію, теперь тщетно напоминаютъ ей о себѣ разными новыми трудами своими и восторженными «уваженіями» этихъ трудовъ: въ первыхъ публика видитъ старыя погудки на новый ладъ, во вторыхъ — ужь слишкомъ неловкую и грубую продѣлку...

Между причинами упадка современной литературы есть и такія, которыя такъ очевидны и понятны, что чего-то распространяться о нихъ; кто же не въ состояніи самъ проникнуть въ нихъ, тому толковать — все равно, что съ глухими говорить шопотомъ. Но одна, также изъ главныхъ причинъ, состоитъ сколько въ незрѣлости нашей литературы, столько и въ разнохарактерности читателей, составляющихъ нашу публику. Мы достигли уже до того, что у насъ не можетъ не имѣть хода романъ, повѣсть, комедія, означенныя печатью

истиннаго и самобытнаго таланта, особенно, если содержаніе романа, повѣсти или комедіи касается нашей русской дѣйствительности. Но только этимъ и ограничивается нашъ успѣхъ. Онъ великъ—это правда; но одного его еще мало. Искусство, въ общемъ значеніи этого слова, еще далеко не вошло въ потребность нашей публики; дѣльныя сочиненія даже по части исторіи—науки, которая въ Европѣ преобладаетъ надъ всѣми другими, дѣльныя сочиненія теоретическія не составляютъ еще потребности публики... Но обратимся собственно къ искусству. У насъ, повидимому, любятъ Шекспира. Нѣкоторыя драмы его имѣли огромный успѣхъ на сценѣ, а потому расходились счастливо и книгами. Но въ этомъ-то успѣхѣ и видна вся дѣтскость эстетическаго образованія нашей публики. Больше всѣхъ другихъ драмъ Шекспира имѣлъ успѣхъ на сценѣ «Гамлетъ», поставленный на театрѣ и напечатанный въ 1837 году г. Полевымъ. До этого времени, о существованіи «Гамлета» большинство нашей публики какъ-будто и не подозрѣвало. А между тѣмъ, еще въ 1828 году былъ изданъ русскій переводъ этой драмы г. Вронченко—необыкновенно даровитымъ переводчикомъ. Въ переводѣ «Гамлета» г. на Вронченко, конечно, есть свои недостатки, потому что совершеннаго ничего не бываетъ въ дѣлахъ человѣческихъ, и совершенные переводы гораздо менѣе возможны, чѣмъ совершенныя оригинальныя произведенія; но въ то же время переводъ «Гамлета» г. Вронченко отличается достоинствами великими: въ немъ вѣетъ духъ Шекспира и передается вѣрно глубокій смыслъ созданія, а не буква. И что же?—самыя достоинства перевода г. Вронченко были причиною малаго успѣха «Гамлета» на русскомъ языкѣ! Такое колоссальное созданіе, переданное вѣрно, было явно не подъ силу нашей публикѣ, воспитанной на трагедіяхъ Озерова и едва возвысившейся до «Разбойниковъ» Шиллера. Г. Полевой передѣлалъ «Гамлета». Онъ

сократилъ его, выкинулъ многія существеннѣйшія мѣста, иска-  
зилъ характеры, и изъ драмы Шекспира сдѣлалъ рѣшительную  
мелодраму. какъ Дюсѣ сдѣлалъ изъ нея классическую трагедію.  
Но все это сдѣлано г. Полевымъ безъ всякихъ особенныхъ  
соображеній, единственно потому, что онъ понялъ Шекспира,  
какъ понимаютъ его, напримѣръ, Дюма и другіе поборники  
подновленнаго романтизма, именно — какъ романтическую  
мелодраму. И это было причиною неимовѣрнаго успѣха «Гам-  
лета» на сценѣ и въ печати: «Гамлетъ» былъ сведенъ съ Шек-  
спировскаго пьедестала и придвинутъ, такъ сказать, къ бли-  
зкому понятію толпы; вмѣсто огромнаго монумента, ей  
показали фарфоровую статуэтку — и она пришла въ восторгъ.  
Также точно держится на сценѣ чей-то преплохой переводъ  
«Лира», именно потому, что въ немъ оставлены только эф-  
фектныя мѣста, а все величественное теченіе внутренней  
драмы, основанной на глубокой идее и борьбѣ характеровъ,  
раздроблено на мелкіе, врозь текущіе, несвязанные между  
собою ручейки. Послѣ «Гамлета» г. Полеваго, г. Вронченко  
издалъ свой переводъ «Макбета», который имѣлъ еще менѣе  
успѣха, чѣмъ «Гамлетъ»: суровое величіе и строгая простота  
этого творенія, переданныя переводчикомъ со всею добросовѣ-  
стностію, безъ всякаго угодничества вкусу большинства, безъ  
всякихъ выложенныхъ прикрасъ, были сочтены толпою за  
шероховатость и прозаичность перевода. И теперь, перевести  
вновь «Гамлета» или «Макбета» значитъ только втунѣ потерять  
время: всякій скажетъ вамъ, что онъ уже читалъ ту и другую  
драму. Черта замѣчательная! Она показываетъ, что всѣ гони-  
ются за сюжетомъ драмы, не заботясь о художественности  
его развитія. Въ Англіи, цѣлая толпа комментаторовъ тру-  
дилась надъ объясненіемъ каждаго сколько-нибудь неяснаго  
выраженія или слова въ Шекспирѣ, — и эти комментаторы  
всѣми читались и приобрѣли себѣ извѣстность. Во Франціи, и

особенно въ Германіи сдѣлано по нѣскольку переводовъ всѣхъ сочиненій Шекспира. — и новый переводъ тамъ не убивалъ стараго, но всѣ они читались для сравненія, чтобъ лучше изучить Шекспира. У насъ, этого не можетъ быть, ибо у насъ только немногіе избранные возвысились до созерцанія искусства какъ творчества, до чувства формы; толпа ищетъ въ литературномъ произведеніи только сюжета. Узнавъ сюжетъ, она думаетъ, что уже знаетъ сочиненіе, и потому новый переводъ уже разъ переведеннаго, сочиненія ей кажется совершенно излишнимъ. Послѣ этого, трудитесь, переводите, оживляйте литературу своею дѣятельностію!...

Вотъ почему мы невольно пожалѣли о трудѣ г. Кронеберга. Переводъ его положительно хорошъ и какъ бы дополняетъ собою переводъ г. Вронченко, показывая «Гамлета» въ новыхъ оттѣнкахъ; но кто оцѣнитъ этотъ трудъ, кто будетъ за него благодаренъ, кто захочетъ узнать его?... Дай Богъ, чтобъ слова наши не сбылись на дѣлѣ: мы первые охотно сознаемся въ ошибкахъ; но... Г. Кронебергъ владѣетъ богатыми средствами для того, чтобъ съ успѣхомъ переводить Шекспира: онъ отъ отца своего наслѣдовалъ любовь къ этому поэту, изучалъ его подъ руководствомъ отца своего, посвятившаго изученію Шекспира всю жизнь свою и написавшаго о немъ нѣсколько сочиненій европейскаго достоинства; онъ прекрасно знаетъ англійскій языкъ (зная при томъ отлично языки нѣмецкій и французскій) и хорошо владѣетъ русскимъ стихомъ. При такихъ средствахъ, будь у насъ потребность узнать Шекспира какъ великаго поэта, а не какъ романтическаго мелодраматиста, сценическаго эффектѣра, — г. Кронебергъ, можетъ быть, обогатилъ бы русскую литературу замѣчательно хорошимъ переводомъ всего Шекспира, и притомъ мы имѣли бы, можетъ-быть, Шекспира въ переводѣ гг. Вронченко, Росковенко, и, вѣроятно, нашлись бы и другіе дѣятели. Но до

такихъ серьёзныхъ потребностей не доросла еще наша публика, а потому и для литературы нашей еще не настало время такихъ важныхъ трудовъ.

Отрывокъ изъ переведеннаго г. Кронебергомъ «Гамлета» былъ напечатанъ въ одномъ альманахѣ и былъ разбраненъ въ одной газетѣ; цѣлый переводъ еще больше будетъ разбраненъ. Но такое «неуваженіе» ничего не значитъ: причина его заключается, во первыхъ, въ томъ, что въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Русскому Инвалиду» 1839 года (т. II. стр. 189 — 196) была напечатана статья покойнаго профессора И. Я. Кронеберга, и въ этой статьѣ разобранъ не совсѣмъ «уважительно» переводъ «Гамлета» г. Полеваго; во вторыхъ, въ «Литературной Газетѣ» 1840 года (№ № 49 и 50) была напечатана статья А. И. Кронеберга (переводчика «Гамлета» и «Двѣнадцатой Ночи» Шекспира) — «Гамлетъ, исправленный г-номъ Полевымъ». Послѣ этихъ «уважительныхъ» причинъ не всѣ критики на новый переводъ «Гамлета» должны казаться «уважительными». Для людей, которые въ литературѣ видятъ не забаву въ праздное время, а занятіе дѣльное, «Гамлетъ», въ переводѣ г. Кронеберга, долженъ быть замѣчательнымъ литературнымъ приобрѣтеніемъ. Жаль, что только отъ такихъ, слишкомъ немногочисленныхъ судей, переводчикъ долженъ ожидать награды за свой безкорыстный, добросовѣстный и прекрасно выполненный трудъ!...

---

**ПАРИЖСКІЯ ТАЙНЫ.** Романъ Эжена Сю. Перевелъ В. Строевъ. Спб. 1844. Два тома, восемь частей.

Въ отдѣлѣ Критики (Сочиненія Бѣлинскаго Ч. IX, стр. 3) мы отдали подробный отчетъ о «Парижскихъ Тайнахъ». Наше мнѣніе объ этомъ романѣ должно возбудить противъ насъ

неудовольствіе многочисленныхъ почитателей и обожателей этого quasi-гениальнаго созданія. На насъ будутъ нападать и прямо и косвенно, и бранью и намеками. Въ добрый часъ! Мы считаемъ свое мнѣніе о «Парижскихъ Тайнахъ» безусловно справедливымъ; иначе не высказали бы мы его такъ рѣшительно и рѣзко. До неудовольствій разныхъ господъ-сочинителей намъ нѣтъ дѣла: кто добровольно принялъ на себя обязанность говорить правду, тотъ долженъ уметь презирать толки и жужжаніе мелкихъ самолюбій, дурнаго вкуса, ограниченныхъ понятій. Но гдѣ опроверженіе подобныхъ толковъ и жужжаній можетъ вести къ выясненію истины, тамъ можно нагнуть до нихъ, и сказать слова два касательно полемическихъ войнъ за рѣзко высказанное мнѣніе о пошлости какого-нибудь пошлаго произведенія, имѣющаго въ толпѣ своихъ восторженныхъ поклонниковъ. Между безчисленнымъ множествомъ ограниченныхъ людей, загромаждающихъ собою Божій міръ, есть особенно несносный разрядъ: это люди, которымъ, если удастся разъ въ жизни запасть какимъ-нибудь чувствованьемъ, или какою-нибудь мыслишкою, то они всякое чувствованье, всякую мыслишку въ другомъ считаютъ за личное оскорбленіе своей особѣ, лишь только чувствованье или мыслишка другаго не похожи на ихъ собственные и противорѣчатъ имъ. Но ничто не можетъ въ такой степени оскорбить ихъ мелкое самолюбіе и раздражить задорную энергію ихъ гнѣва, какъ чувство или мысль порядочнаго человека. Видя, что это чувство или эта мысль тяжестію своего содержанія уничтожаетъ и дѣлаетъ смѣшными ихъ чувствованья и мыслишки, и сознавая свою слабость, защищать послѣдніе противъ первыхъ, они прибѣгаютъ къ извѣстной тактикѣ безсилія — начинаютъ вопить о безнравственности, грѣхѣ и соблазнѣ... Многіе изъ такихъ господъ добродушно преклонились уже передъ неслыханнымъ величіемъ «Парижскихъ

Тайнъ» и, не будучи въ силахъ вообразить что либо выше этого пресловутаго творенія (какъмышь въ баснѣ Крылова не въ силахъ была вообразить звѣря сильнѣе кошки), во всеуслышаніе объявили Эжена Сю геніемъ, а его сказку — безсмертнымъ твореніемъ, не упустивъ при сей вѣрной оказіи разругать «Мертвыя Души» Гоголя. которыхъ любая страница, на удачу развернутая, убьетъ тысячи такихъ бѣдныхъ и жалкихъ произведеній, какъ «Парижскія Тайны». Посудите сами: какою неслыханною дерзостію долженъ показаться имъ нашъ откровенный отзывъ о ихъ «безсмертномъ» твореніи!... Они такъ обрадовались, что нашли наконецъ произведение, котораго огромность подѣсилу ихъ чувствованьямъ и мыслишкамъ — и вдругъ имъ доказываютъ, что они могутъ и даже должны вѣрить, въ своемъ подпольѣ, что «сильнѣе кошки звѣря нѣтъ», но что напрасно пугаютъ они этимъ звѣркомъ цѣлый свѣтъ... Посмотрите, что достанется намъ! А вотъ и фактическое подтвержденіе основательности и справедливости нашихъ предчувствій. Въ «Современникѣ» тянулся года полтора романъ шведской писательницы Фредерики Бремеръ «Семейство»; въ концѣ прошедшаго года онъ вышелъ отдѣльною книгою. Мы высказали о немъ свое мнѣніе откровенно и прямо, какъ всегда имѣемъ привычку говорить. И что же? Нѣкто г. Гротъ, котораго воззрѣнія на жизнь нашли себѣ подтвержденіе въ романѣ г-жи Бремеръ и который, по этому, увидѣлъ въ немъ для себя нѣчто въ родѣ корана, «несомнѣнной книги» мусульманъ, вдругъ грянулъ многоглаголивою, широковѣщательною и презадорливою противъ насъ филиппикою. По особеннымъ причинамъ, не любя полемическихъ битвъ съ разными російскими и иностранными господами-сочинителями, мы охотно пропустили бы безъ вниманія статью нестоящую вниманія, еслибы ея нападки не касались предметовъ, до которыхъ образованному литератору нельзя касаться. Последнее обстоятель-



ство somehow заставляет насъ сказать нѣсколько словъ о статьѣ г. Грота, для отстраненія несправедливо устроенныхъ на насъ обвиненій; да притомъ, оно и кстати пришлось.

Амелляционная статья г. Грота напечатана въ 3-й книжкѣ «Москвитинна». Доселѣ г. Гротъ упражнялся преимущественно въ наполненіи пріятельскаго журнала довольно жиденькими и пустенькими статейками о финляндскихъ правахъ и литературѣ; нельзя не пожалѣть, что онъ хотя на минуту могъ отерзаться отъ такихъ невнятныхъ и усладительныхъ занятій, чтобъ необдуманно и опрометчиво броситься въ омутъ политики, самой мутной и тинистой. Вотъ въ чемъ дѣло. Мы сказали, что для молодыхъ людей, и особенно для молодыхъ дѣвушекъ, очень вредно чтеніе романовъ въ духѣ Августа Ласонтена и Фредерики Бремеръ, потому что такіе романы нечувствительно приучаютъ смотрѣть превратно на жизнь. Эти романы располагаютъ ихъ къ восторженности, которая совсѣмъ не годится въ прозаической дѣйствительности, ожидающей ихъ въ жизни; приучаютъ ихъ видѣть жизнь въ розовомъ свѣтѣ, дѣлаютъ ихъ неспособными переносить ея часто черный и всегда сѣренькій цвѣтъ. Дѣвушекъ у насъ всегда назначаютъ для болѣе или менѣе выгодной партіи, а онѣ мечтаютъ о блаженствѣ любви, чистой и безкорыстной. Чувствительные романы поддерживаютъ и раздражаютъ опасную мечтательность. Отсюда выходитъ несчастье цѣлой жизни многихъ мечтательницъ. Вотъ что мы говорили, — а г. Гроту заблагоразсудилось обвинять насъ въ нападкахъ на бракъ, которыхъ у насъ и въ головѣ не было. Мы не менѣе всякаго г. Грота убѣждены въ важности брака, какъ религіознаго и гражданскаго установленія; но хотимъ видѣть бракъ, какъ онъ часто бываетъ въ суровой дѣйствительности, а не въ розовыхъ и дѣтскихъ мечтахъ экзальтированныхъ юныхъ головокъ. По нашему мнѣнію, браки бываютъ трехъ родовъ: браки по при-

нужденію — самый гнусный родъ браковъ; браки по юношеской страсти — самый опасный родъ браковъ, потому что изъ ста тысячъ, наконецъ удается только одинъ счастливый; и браки по разсудку, гдѣ при разчетахъ не исключается и склонность въ извѣстной степени, — это самый благонадежный родъ браковъ. Г. Гротъ, пожалуй, скажетъ, что именно этотъ-то родъ брака и прославляетъ г-жа Бремеръ. Въ томъ то и дѣло, что нѣтъ! Въ бракѣ, о которомъ мы говоримъ, нѣтъ ничего обяательнаго для юныхъ мечтателей и мечтательницъ. Представьте его имъ, въ романѣ, какъ онъ есть, они не станутъ торопиться жениться и выходить замужъ. Всѣ признають необходимость брака, но это никому не мѣшаетъ сознаваться, что брачное состояніе — дѣло довольно трудное въ дѣйствительности, хотя и обольстительное въ романахъ извѣстнаго рода. Особенно возмутили г. Грота наши слова, что «теперь жениться по склонности и для счастья считается совсѣмъ не въ тонѣ, и всѣ рѣшительно женятся для денегъ и связей». Что жъ? развѣ это не несомнѣнная истина? При слухѣ о новомъ бракѣ, всѣ спрашиваютъ, сколько приданаго, пріобрѣтаются ли связи, но никто не спрашиваетъ, любятъ ли брачащіеся другъ друга. И женихъ говоритъ громко: беру столько-то, или: у моей невѣсты такая то родня, а о любви умалчиваетъ; невѣста тоже говоритъ: у моего жениха столько-то, или: у него такія-то связи, партія приличная и выгодная. Неужели все это неизвѣстно г. Гроту? Гдѣ же онъ живетъ, въ какой Аркадіи, въ какой Утопіи? Но г. Гротъ до того простираетъ милую наивность своихъ аркадскихъ убѣжденій, что людей, которые женятся не для страсти и счастья (этой невидимки на землѣ), а для выгодной партіи, называетъ людьми безнравственными, внушающими презрѣніе и жалость. Вотъ это и несправедливо и невѣжливо. Ибо такихъ людей многое множество, и притомъ, между ними много

людей честныхъ, благородныхъ и понимающихъ нравственность не хуже г. Грота.

Нѣтъ, г. Гротъ, воля ваша, а вы слишкомъ уже много берете на себя, называя негодяями всѣхъ, кто женится не по страсти, а по расчету и склонности. Мы сами убѣждены, что негодяй тотъ, кто, по расчету, насильно женится на дѣвушкѣ, зная ея отвращеніе къ его особѣ, и еще болѣе, зная ея склонность къ другому; но гдѣ нѣтъ насилія, а есть расчетъ — тамъ несправедливо видѣть развратъ. Согласны, что въ такомъ расчетливомъ бракѣ можетъ быть много пошлаго, грубаго и даже низкаго; но несогласны, чтобъ въ немъ ужъ непремѣнно не могло быть благороднаго, честнаго и нравственнаго, и чтобъ люди, которые женятся по разсудку, а не по страсти, непремѣнно не могли быть хорошими мужьями и отцами. Вотъ что бы слѣдовало развивать въ романахъ, а не рисовать приторныя и пошленькія картинки идиллическихъ радостей и мелочныхъ огорченій (разрѣшающихся потомъ опять въ радости) филистерской жизни. Не худо бы также предудомить юныя души, съ розовыми мечтами счастья, о томъ, какъ иногда черезъ необдуманные браки размножаются въ обществѣ нищіе, какъ иногда мужъ тиранитъ свою жену и держитъ дѣтей въ рабскомъ трепетѣ, убивающемъ въ нихъ всѣ благородныя чувства въ самомъ ихъ зародышѣ... Вотъ такіе «семейные» романы были бы въ духѣ нашего времени и способствовали бы къ тому, чтобъ браки, какъ они есть — сдѣлались браками, какъ они должны быть. А то, что въ своихъ водяныхъ и приторныхъ картинкахъ рассказываетъ Фредерика Бремеръ, — то давно уже истощено филистерскою кистію Августа Лафонтена блаженной памяти. Но г. Гротъ съ чего-то вообразилъ, что пошленькіе романы г-жи Бремеръ — совсѣмъ не апокрифическія писанія, и что смѣтъ не преклоняться передъ ихъ авторитетомъ — значитъ отрицать бракъ.

какъ религіозное (вишь куда метнулъ!) и гражданское установленіе, значить «отвергать законы, совѣсть, вѣру»!!...

Г. Гротъ обвиняетъ насъ въ согласіи съ одною изъ героинь романа г-жи Бремеръ — Сарою. Да, это правда, мы бы, вполнѣ симпатизировали съ этимъ лицомъ, еслибъ авторъ изобразилъ въ немъ идеалъ личности, сознающей свое чело-вѣческое достоинство, — а не какую-то сумасшедшую, которая мечется изъ одной крайности въ другую, чтобъ подтвердить ложную мысль, что только женщина, умѣющая дѣлать картофельные соусы, можетъ быть счастлива. Несправедливо также находить г-нъ Гротъ противорѣчіе въ нашихъ словахъ, что мы смѣемся надъ старыми дѣвами и этимъ, будто-бы, уничтожаемъ наши напрасно взведенные на насъ г-мъ Гротомъ нападки на бракъ, какъ на установленіе. По нашему мнѣнію, старая дѣва — существо жалкое и смѣшное, не какъ незамужняя женщина, но какъ *не-женщина*, т. е. какъ существо, невыполнившее своего назначенія, слѣдовательно напрасно родившееся на свѣтъ. Это une existence manquée, un être avorté. Сдѣлаемъ еще замѣчаніе на одно замѣчаніе г. Грота. Онъ обвиняетъ насъ въ безнравственности на томъ основаніи, что мы не благоговѣемъ передъ микроскопическимъ талантомъ г-жи Бремеръ, и что онъ не понялъ нашихъ словъ... Вотъ какимъ образомъ противоположили мы семейственную Германію нашего времени общественному древнему міру: «Въ первой жизни душно опредѣляется для людей съ ихъ младенчества, семейный эгоизмъ полагается въ основу воспитанія; во второмъ человѣкъ родился для общества, воспитывался обществомъ, и потому дѣлался человѣкомъ, а не филистеромъ». Г. Гротъ изволитъ такъ же благонамѣренно, какъ и литературно, утверждать, что этими словами мы христіанскій міръ поставили ниже языческаго!... Но съ котораго времени Германія стала представительницею христіанства? — ужь не съ

тѣхъ ли временъ, когда Нѣмцы позволили себѣ иному вѣрить, а иному не вѣрить (слѣдовательно, то и другое произвольно) и тѣмъ равно вооружили противъ себя и вполне вѣрующихъ и вполне невѣрующихъ?...

Но оставимъ всѣ эти придирки и обратимся къ «Парижскимъ Тайнамъ», чтобъ заранѣе отвѣтить на подобнаго же рода привязки. А вѣдь случай самый удобный! Романъ Эжена Сю имѣетъ цѣль нравственную, — въ этомъ мы сами соглашаемся, а между тѣмъ романъ называемъ плохимъ. Чтò мудренаго, если за это насъ обвинять Богъ знаетъ въ чемъ!... Несмотря на все это, мы повторяемъ, что хорошая цѣль — сама по себѣ, а плохое выполненіе — само по себѣ, и что не слѣдуетъ ложью доказывать истину. А развѣ не ложь — такія лица, какъ, напримеръ, Родольфъ и Пѣвунья, не говоря о многихъ другихъ? Они не возможны въ дѣйствительности, стало быть, они — вздоръ, а вздоромъ не годится трактовать о дѣлѣ.

Переводъ г. Строева больше, чѣмъ хорошъ: онъ принадлежитъ къ числу такихъ переводовъ, которые у насъ рѣдко появляются. Напрасно переводчикъ употребляетъ семинарское слово пѣтитическій, вмѣсто общепринятаго слова поэтический: вѣдь никто уже не употребляетъ теперь словъ пѣить и пѣнта! Напрасно также онъ кланяется графамъ и маркизамъ большими буквами: въ ореографіи это совершенно излишняя и неумѣстная вѣжливость. Жаль также, что корректура романа довольно неисправна: такъ, напр., въ концѣ перваго тома, вездѣ является Жакъ Ферронъ, а во второмъ томѣ — Жакъ Ферранъ; довольно и другихъ опечатокъ. Впрочемъ, изданіе опротно и красиво.

---

**ОЧЕРКИ СВѢТА И ЖИЗНИ, повѣсти Владимира Войта.**  
Спб. 1844.

**ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНІЕ КАБИНЕТА Д. С. С. Д... а.** Спб.  
1844.

Современная русская литература невольно изумляет богатством безпрестанно являющихся въ ней талантовъ. Давно ли мы разобрали удивительное произведеніе г. Бранта «Жизнь, какъ она есть»? — и вотъ намъ приходится разбирать «Очерки Свѣта и Жизни» г. Войта... Давно ли мы говорили о «Юродивомъ Мальчикѣ въ Желѣзномъ Зеленомъ Клубукѣ»? — и вотъ мы должны говорить о «Фантастическомъ Описаніи Кабинета Д. С. С. Д... а!» Перелистовавъ твореніе г. Бранта и созданіе ассессора и кавалера г. Анаевского, мы подумали было, что бездарность вооруженная претензіями, и бездарность простодушная не могутъ идти дальше, что гг. Брантъ и Анаевскій поставили для нея геркулесовскіе столбы; но г. Войтъ и г. неизвѣстный фантастическій описатель какого-то кабинета доказали намъ, что бездарности такъ же нѣтъ границъ, какъ и генію. И отъ сего времени, г. Брантъ долженъ занимать свое мѣсто въ русской литературѣ за г. Войтомъ, а г. ассессоръ и кавалеръ Анаевскій долженъ почтительно поосторониться, чтобъ дать пройти впередъ фантастическому описателю.

Г. Войтъ изображаетъ «свѣтъ» и «жизнь», вѣроятно, «какъ они суть»; примѣръ генія соблазнительнѣ! Изъ картинъ работы г. Войта видно, что онъ глубоко изучилъ свѣтъ и жизнь, постигъ ихъ въ точности, особенно «свѣтъ». Охъ, этотъ свѣтъ! Правду, великую правду сказалъ Гоголь, говоря о мелкихъ чиновникахъ Петербурга, что «отъ высшаго общества никогда и ни въ какомъ состояніи не можетъ отказаться русскій человѣкъ!» Вѣроятно, по этой причинѣ большая часть дѣйствую-

щих лицъ въ повѣстяхъ г. Войта все — графы и князья. И что за аристократическія фамиліи: Блестова. Шалашииъ, Зондинъ, Витинъ, Балень, Чубинъ, Кникина, Павинъ, Пикинъ. Ачковъ, Нимофъ, княгиня Сашинъ, Фашеноболевъ, Хворинъ, Пискаревъ, Юлинова, Каракинъ, Тимкинъ, Хвастливая! И всѣ эти гостинодворскія фамиліи, въ повѣстяхъ г. Войта принадлежатъ людямъ большаго свѣта! Г. Брантъ тоже любитъ большой свѣтъ и въ этомъ отношеніи. онъ даже перещеголялъ г. Войта; г. Войтъ не дерзаетъ подыматься выше князей и графовъ, тогда какъ въ глазахъ г. Бранта князья и графы не болѣе, какъ роскошь, изобиліе аристократизма, и потому онъ главныя роли въ своихъ повѣстяхъ и романахъ раздаетъ только герцогамъ. Г. Брантъ имѣетъ въ предметъ болѣе прозаическую, дѣйствительную сторону жизни; г. Войтъ, по слѣдамъ великаго генія маленькихъ людей — Марлинскаго, рисуеъ пламенные страсти. Г. Брантъ болѣе игривъ, остроуменъ, наблюдателенъ; г. Войтъ болѣе высокопаренъ, клокочущъ, изступленъ. Герои г. Бранта походятъ немножко на людей, которые, при рожденіи ихъ на свѣтъ, не были обременены отъ природы слишкомъ большимъ запасомъ интеллектуальности; г. Войтъ изображаетъ людей, которые имѣли несчастье освободиться отъ того количества здраваго смысла, которое получили они нѣкогда отъ природы довольно въ-обрѣзъ. Это обстоятельство придаетъ героямъ г. Войта особенный интересъ. Его «Очерки Свѣта и жизни» состоятъ изъ трехъ повѣстей. Первая—«Новый Леандръ» начинается такъ: «Вы не знали Страстина, княгиня»... Слышите ли — Страстина? Какая многообѣщающая фамилія. Это цѣлый котелъ клокочущихъ страстей, арыхъ чувствованій, бѣшеныхъ порывовъ, свирѣпыхъ поступковъ, неистовыхъ страданій, адскихъ наслажденій, райскихъ мукъ, ядовитыхъ сценъ, жгучихъ поцѣлуевъ, турецкой ревности, тигроваго ищенія и прочей тому подобной галиматіи. Стра-

стинъ влюбленъ... Въ послѣдствіи, сердце страшно билось у Страстина, и тучи мрачныхъ предчувствій заволокли горизонтъ его счастья. Это оттого, что отецъ Елены на отрѣзъ отказалъ ему въ рукѣ ея, по той причинѣ, что она была однихъ лѣтъ со Страстинымъ. Страстинъ съ горя сдѣлался картѣжникомъ, и когда банкомѣтъ изъяснилъ свое удивленіе при видѣ хладнокровія, съ какимъ Страстинъ проигрывалъ огромныя суммы,

«Страстинъ вспыхнулъ. Онъ грозно посмотрѣлъ на банкомета, съ своей обыкновенною пылкостью разстегнулъ жилетъ, рванулъ запонки, и показалъ присутствующимъ испарпанную, избитую грудь.

Всѣ игроки ахнули.

— Вотъ каково мое хладнокровіе! вскричалъ Страстинъ. — Я равнодушенъ здѣсь, между вами, въ виду этихъ презрѣнныхъ денегъ... Здѣсь не унижусь я и до измѣненія въ лицѣ. Но вотъ гдѣ кроваво вычеркиваются мои чувства!...

И онъ отошелъ отъ стола.»

Страшно!... Каковъ же Страстинъ, великій Страстинъ! онъ не хочетъ унизиться «до измѣненія въ лицѣ», и унижается до показанія своей испарпанной, избитой груди, до такого пошлаго фарса, — и все это для того, чтобъ лучше замаскировать сильныя ощущенія своей желѣзной души!... Вотъ подлинно оригинальная манера быть неразгаданнымъ для презрѣнной толпы!... Страстинъ далъ слово Еленѣ пріѣхать къ ней на именины, изъ Ревеля въ Свеаборгъ, моремъ, — и сдержалъ слово. Осень была бурная, зима готовилась смѣнить ее; Страстинъ могъ въ объѣздъ отправиться сухимъ путемъ, а потомъ переѣхать по льду, но онъ далъ слово — и отправился въ лодкѣ одинъ одинѣхонецъ; и трупъ его прибило прямо къ крыльцу дома отца Елены, въ то самое время, когда сія вѣроломная «дѣва» танцевала до упада на своей собственной свадьбѣ. Вотъ это исторія! Мы увѣрены, что найдутся люди, которые будутъ отъ нея въ восторгѣ...



Въ повѣсти «Насвѣтанная Карьера» повѣствуются похожденія одного отставнаго, раненнаго капитана, который такъ хорошо высвистывалъ «Среди долины ровныя», что ему самому казалось, будто «эти звуки вычеркивали Анну Никитишну». Одному графу такъ понравилась это высвистываніе, въ которомъ вычеркивалась Анна Никитишна, что онъ предложилъ капитану мѣсто свистуна при своей особѣ. Капитанъ закричалъ короба съ три, что онъ офицеръ и патріотъ, а потому ничѣмъ путемъ не захочетъ быть ради дневнаго пропитанія; но проговоривъ все это, онъ попалъ въ свистуны къ графу, который за это доставилъ ему мѣсто городничаго, женилъ его на Аннѣ Никитишнѣ, которая вычеркивалась въ звукахъ свиста, и отказалъ ему деревню.

Жаль, что мы не можемъ сказать, о чемъ повѣствуется въ длинной повѣсти «кресла въ Пятомъ Ряду Михайловскаго Театра». Мы прочли ее всю, отъ начала до конца, но никакъ не могли понять, о чемъ въ ней говорится и чѣмъ она оканчивается. Какой-то Сорокинъ получилъ отъ графини Блестовой, въ маскарадѣ, браслетъ и на этомъ основалъ свое право считать Блестову своею любовницею. Блестова дала ему замѣтить, что не должно основывать такихъ надеждъ на маскарадныхъ инстинкціяхъ, за что великій Сорокинъ «хотѣлъ броситься на графиню, хотѣлъ взмять ее, хотѣлъ произвести что-нибудь взяточное» (стр. 200). Чтобъ отомстить ей, онъ написалъ пламеннымъ слогомъ канцелярскаго писца, въ которомъ какая-нибудь «барышня» возбудила клекотаніе чиновническихъ страстей, — объявленіе о браслетѣ, съ намеками, кому онъ принадлежитъ; а графиня, слогомъ уѣздныхъ служанокъ, написала къ нему письмо, которое Сорокинъ и получилъ съ приложеніемъ суммы денегъ, отосланныхъ въ пріютъ, отъ имени графини. По увѣренію г. Войта, эта исторія надѣлала въ большомъ свѣтѣ ужаснаго скандала. Графиня за-

болѣла, и словно чудомъ какимъ каждый день находила на своемъ столѣ письма отъ грознаго Сорокина, письма, гдѣ безграмотно, въ лакейскомъ тонѣ, пошлыми, надутыми фразами, предлагаетъ онъ ей быть его любовницею. Тогда графиня поднялась на хитрости: призвала къ себѣ какого-то подрядчика, который къ каждому своему слову прибавлялъ поговорку — «въ тую пору», и, вслѣдствіе этого ласковаго свиданія tête-à-tête, подрядчикъ послалъ Сорокина на Кавказъ — вѣроятно, закупать тамъ черкесскихъ барановъ. Потомъ Витинъ, другъ Сорокина, преглупѣвшими письмами, вовлекаетъ графиню въ интригу съ иностранцемъ Баленомъ, отъ котораго графиня отдѣлывается, какъ отъ дурака. Затѣмъ, Сорокинъ встрѣчается съ графинею въ домѣ нищеты, гдѣ графиня помогаетъ умирающей старухѣ. Наконецъ... но конца-то мы ужъ вовсе не поняли. Кажется, дѣло въ томъ, что гора мучилась родами и родила — мышъ!... Лицъ въ этой повѣсти бездна; всѣ они говорятъ, но Богъ знаетъ чтѣ, ходятъ, но не извѣстно куда, дѣлаютъ, но не постижимо чтѣ. Сочинитель увѣряетъ, что все это было въ большомъ свѣтѣ и, для вящаго удостовѣренія, предлагаетъ одну свѣтскую остроуту и одинъ свѣтскій каламбуръ. Самымъ аристократическимъ выраженіемъ въ повѣсти г. Войта должно почестъ слѣдующее. «Снопами лучей сожигалъ онъ графиню» (стр. 345).

Но оставимъ г. Войта въ его блаженной увѣренности, что онъ хорошо знаетъ большой свѣтъ и искусно изображаетъ его: кажется, въ этомъ его нѣтъ никакой надежды разувѣрить. Чтѣ же касается до читателей г. Войта (если они будутъ у него), имъ скажемъ, что трудно вообразить себѣ большую бездарность, соединенную съ большими претензіями и довольствомъ самимъ собою, нежели та, какою щеголяетъ эта дикая книга «Очерки Свѣта и Жизни». Ни фантазіи, ни чувства, ни остроумія, ни характеровъ, ни образовъ, ни лицъ, ни слога—

ничего этого нѣтъ и тѣни. Языкъ варварскій, даже отсутствіе орфографіи, множество опечатокъ, ничего занимательнаго, бездна скуки и пошлаго, довольно красивое изданіе и три замѣчательно дурныя картинки: вотъ въ чемъ состоятъ качества этого новаго дождевика, выросшаго на полѣ современной русской литературы, поросшемъ грибами и сорными травами.

Совсѣмъ иначе хорошо «Фантастическое Описаніе Кабинета Д. С. С. Д...а»: оно нелѣпо откровенно, добродушно, наивно, безъ всякихъ претензій. О содержаніи его говорить нельзя: оно тайна для самого сочинителя. Шушить и смѣяться надъ нимъ тоже нельзя, какъ надъ тѣми жертвами физическаго и нравственнаго искаженія, которыя возбуждаютъ скорѣе болѣзненное состраданіе, нежели смѣхъ.

---

*МОЛОДИКЪ, на 1844 годъ, украинскій литературный сборникъ. Издаваемый И. Бецкимъ. Спб. 1844.*

Назадъ тому около четырнадцати лѣтъ, русская литература была по преимуществу альманачною. Маленькія, тощенькія книжечки въ 16-ю долю листа ежегодно появлялись чуть не десятками; въ нихъ помѣщались большею частію отрывки изъ романовъ и повѣстей въ прозѣ, драмъ и комедій въ прозѣ и въ стихахъ, но больше всего отрывки изъ поэмъ въ стихахъ, мелкія лирическія стихотворенія, преимущественно элегіи. Молодая публика, которая теперь сдѣлаалась уже солидною, возмужалою публичкою, тѣмъ съ бѣльшимъ жаромъ принимала эти книжки, что и сама участвовала въ ихъ составленіи. Одни изъ альманаховъ были аристократами, какъ напримѣръ: «Сѣверные Цвѣты», «Альбомъ Сѣверныхъ Музъ», «Денница»; другіе — мѣщанами, какъ напримѣръ: «Невскій Альманахъ», «Уранія», «Радуга», «Сѣверная Лира», «Альціона», «Царское

Село» и проч.; третьи — простыми, чернымъ народомъ, какъ на примѣръ: «Зимцерла», «Цефей», «Букетъ», «Комета» и т. п. Альманаховъ послѣдняго разряда не перечесть — такъ много ихъ. Аристократическіе альманахи украшались стихами Пушкина, Жуковского и щеголяли стихами гг. Баратынского, Языкова, Дельвига, Козлова, Подолинскаго, Туманскаго, Ознобишина, Ѳ. Глинки, Хомякова и другихъ модныхъ тогда поэтовъ. Эти альманахи издавались или извѣстными литераторами, или людьми, имѣвшими большія и прочныя литературныя связи, — и потому всѣ знаменитости охотно снабжали ихъ своими произведеніями; сочиненія же посредственныя или и плохія попадали туда для балласта. Альманахи-мѣщане преимущественно наполнялись издѣліями сочинителей средней руки, и только, для обезпеченія успѣха, щеголяли нѣсколькими піесками, вымоленными у Пушкина и другихъ знаменитостей, которыя бросали въ нихъ что-нибудь залежавшееся въ ихъ портфеляхъ, что-нибудь такое, чего бы они даже и совсѣмъ не желали видѣть въ печати. Альманахи-мужики наполнялись стряпнею сочинителей пятнадцатаго класса, горемыкъ, которые за удовольствіе видѣть себя въ печати готовы были платить деньги. Вотъ почему, нѣкоторые писакы издавали свои собственные сочиненія въ видѣ альманаховъ.

Но мода на альманахи, свирѣпствовавшая больше десяти лѣтъ, вдругъ прошла. Это во всѣхъ отношеніяхъ отрадное событіе произошло отъ возвышенія цѣнности прозы на счетъ цѣнности стиховъ. Стихи перестали забавлять погремушкою рифмъ и наборомъ модныхъ словъ: отъ нихъ потребовалось оригинальности и мысли (стало-быть, не одного уже смысла, который они, т. е. стихи, часто считали совершенно лишнимъ для себя украшеніемъ); смѣтивъ эту бѣду, стихи стали являться въ меньшемъ количествѣ. По мѣрѣ того, какъ стихи падали въ цѣнѣ, проза цѣнилась все дороже и дороже. Отрыв-

новъ уже не читали, а требовали полнаго романа, оконченной повѣсти. — и эти романы и повѣсти сдѣлались скоро главнымъ товаромъ журналовъ. Вслѣдствіе этого, за статьи стали платить деньгами. и авторы оставили аркадскую привычку своими трудами кормить другихъ: они сами захотѣли находить по- сильное обезпеченіе въ своей литературной дѣятельности. Альманахамъ тутъ стало нечего дѣлать! Бывало, нѣтъ нужны были деньги только на напечатаніе, выпрошенныхъ и вымолвленныхъ отрывковъ и разныхъ мелочей, которые легко укладывались въ крошечной книжкѣ, не требовавшей большихъ расходовъ на изданіе; а тутъ потребовалось вдругъ платить деньги за статьи значительнаго объема и потомъ издавать уже не миньятюрныя книжечки а порядочныя книжки. Итакъ, перестали альманахи, а съ ними — и альманачники. А что это былъ за курьёзный народъ — эти альманачники! Мы удивляемся, какъ никому не прійдетъ на мысль — написать типъ альманачника добраго стараго времени (къ чести нашего образованія, это время уже старое)! Альманачникъ, это — родной братъ литературщику — тоже очень типическому лицу. Альманачникъ, это — человѣкъ, у котораго не хватаетъ способности произвести самому что-нибудь порядочное, который, если и пытался писать, то всегда неудачно, и неудача однакожь не отбила у него охоты, во что бы ни стало, приобрести извѣстность въ литературномъ мірѣ. Что жъ ему остается дѣлать? собирать чужіе труды и на сборникѣ ставить свое имя. Средство легкое и пріятное! Дѣла никакого, труда нисколько, а имя въ печати, къ нему приглядываются, привыкаютъ, и смотришь — нашъ собиратель уже лицо извѣстное... Впрочемъ, должно сказать, что альманачникъ бывалъ не безъ страсти къ литературѣ, только эта страсть въ немъ была всегда горемычная и жалкая. Онъ толковалъ горячо о томъ, кто выше — Пушкинъ или Жуковскій, бранилъ классицизмъ,

восхищался романтизмомъ, не имѣя ни малѣйшаго понятія ни о томъ, ни о другомъ, суевѣрно благоговѣлъ передъ вдохновеніемъ поэта, считая его за какое-то волшебное опьяненіе, которое дѣлаетъ человѣка безъ ума — умнымъ, безъ науки — знающимъ, безъ труда — неотстающимъ отъ вѣка. Алманачникъ поклонялся множеству маленькихъ авторитетиковъ, дивившихъ свои муравейники, и съ негодованіемъ говорилъ о холодномъ и гибельномъ скептицизмѣ журналовъ, не признававшихъ таланта и заслуги въ разной литературной тлѣ, которой дивился онъ, добрый альманачникъ — самъ такая же жалкая тля, какъ и предметы его удивленія, въ свою очередь, добродушно дарившіе и его, альманачника, своимъ удивленіемъ.

Но увы, теперь альманачникъ — такой же мнѣ, какъ и альманахи добраго стараго времени! Г. Смирдинъ издалъ альманахъ «Новоселье», въ которомъ было очень мало стиховъ (и то большею частію хорошихъ) и очень много прозы (тоже большею частію хорошей); самый форматъ «Новоселья» (въ 8-ю д. л.) показалъ, что время прежнихъ альманаховъ миновало навсегда. Да и кто изъ прежнихъ альманачниковъ могъ имѣть средства издать что-нибудь въ родѣ «Новоселья»? Съ 1837-го года, началъ выходить альманахъ «Утренняя Заря». Это опять было нѣчто совершенно непохожее на прежніе альманахи: въ ней съ типографскою роскошью изданія, составитель соединилъ прекрасныя гравюры и занимательность статей. Для того и другаго, онъ имѣлъ средства; связи съ художниками и всѣми извѣстнѣйшими литераторами, дѣлали для него возможнымъ предпріятіе не для всѣхъ возможное; да притомъ онъ не щадилъ и издержекъ. Но и «Утренняя Заря» наконецъ прекратилась... Вдругъ, съ нѣкотораго времени началъ появляться въ Петербургѣ украинскій альманахъ г. Бецкаго. Цѣль его прекрасная; въ исполненіи видно, что издатель дѣлалъ съ своей стороны все, что только было въ его

возможности; но альманахъ не имѣлъ успѣха: явный знакъ, что царство альманаховъ кончилось навсегда, и что если они могутъ существовать, то уже не на прежнихъ основаніяхъ добровольной вкладчины, но на основаніи журнальномъ, т. е. на платѣ за статьи... Дѣло извѣстное: если авторъ даетъ свою статью даромъ; значитъ, она никуда не годится. Скажутъ: это торгашество! гдѣ жъ любовь къ литературѣ? Гдѣ бы она ни была, но только, конечно, она не въ карманѣ тѣхъ, которые корыстно пользуются для себя чужимъ безкорыстнымъ трудомъ... Но, скажутъ: если книга издается съ добрымъ, безкорыстнымъ цѣлю, почему же не пожертвовать статьёю? Прекрасно. Вы бѣдный человѣкъ и, между прочимъ, существуете и литературою (потому что одною литературою у насъ трудно существовать); у васъ есть, напримѣръ, повесть, за которую журналистъ даетъ вамъ 500 рублей: если при всей своей бѣдности, вы считаете себя въ состояніи жертвовать на доброе дѣло 500-ми рублями — честь вамъ; но не осуждайте же строго и тѣхъ, у кого нѣтъ столько великодушія и любви къ добру, чтобъ, ради ихъ, питаться и одѣваться воздухомъ... Но любовь къ литературѣ, чистое стремленіе къ славѣ? — А развѣ надежда на обезпеченіе себя литературными трудами производитъ охлажденіе къ литературѣ, и развѣ слава хорошаго произведенія умалится отъ того, что авторъ получилъ за него приличный гонораріумъ?...

Все сказанное нами нисколько не относится къ альманаху г. Бецкаго. Мы имѣли въ виду защитить литераторовъ, нехотящихъ даромъ давать хорошихъ статей, — противъ несправедливыхъ упрековъ въ корыстолюбіи и торгашествѣ...

Что касается до альманаха г. Бецкаго, онъ состоитъ изъ трехъ отдѣленій. Первое наполнено стихами въ ужасающемъ количествѣ. Большая часть стихотвореній — плоды усердія украинскихъ поэтовъ. Украина, какъ извѣстно всѣмъ, страна

благословенная небось: хлѣбъ и стихи родятся въ ней, даже въ посредственно-урожайные годы, самъ-шестьдесятъ. Если вамъ нужно стиховъ для альманаха, — пошлите въ Харьковъ просительный циркуляръ, и издавайте хоть тысячу альманаховъ въ годъ — матеріала станетъ еще на пять тысячъ. Каковъ этотъ матеріалъ — другой вопросъ. Боже мой! сколько на Украинѣ поэтовъ! Чтѣ, еслибъ тамъ было хоть въ половину столько же читателей, — да это была бы одна изъ образованнѣйшихъ странъ въ Европѣ!... Пальмъ, Дуровъ, С. Д. Щербина, Соловей Будимировичъ, В. Ш...въ, Фата Моргана, Ш. Щ.,\*\*\*, Щоголевъ... Это только избранные, — а сколько званыхъ, и еще сколько должно быть такихъ, которыхъ никто не зоветъ, но которые готовы всюду явиться! Впрочемъ, и избранные-то отличаются больше усердіемъ и трудолюбіемъ, чѣмъ талантомъ. Соловей Будимировичъ, напримѣръ, скорѣе способенъ усыпить, нежели разбудить весь міръ, или хоть ту частичку міра, которая рѣшилась бы его послушать. Впрочемъ, г. С. Д. довольно недурно переводить Барбье; жаль, что въ то же время онъ переводитъ и довольно неинтересныя вещи изъ Виктора Гюго. Греческія мелодіи переведены г. Щоголевымъ недурными стихами; жаль только, что эти мелодіи, какъ всѣ народныя мелодіи, въ переводѣ еще менѣе интересны, чѣмъ въ подлинникѣ, и что новогреческія пѣсни, благодаря усердію переводчиковъ, особенно надоѣли всѣмъ русскимъ читателямъ. О прочихъ украинскихъ поэтахъ можно и умолчать, какъ ради ихъ собственной пользы, такъ и ради нашихъ читателей. Но «Молодикъ» наполненъ стихами не однихъ украинскихъ поэтовъ: великорусскіе, съ своей стороны, тоже не оставили ничего, чтѣ могло сдѣлать «Молодикъ» истинно украинскимъ альманахомъ. Въ немъ есть стихи гг. О. Глики, Бенедиктова, Кукольника, графини Растопчиной, князя Шаховскаго, Корсакова, Бернета, Губера; есть вирши



гг. М. Дмитриева, Степанова и других. Изъ стихотвореній изчисленныхъ нами великороссійскихъ поэтовъ, только стихотвореніе г. Губера «Разсчетъ» достойно замѣчанія. Г. Θ. Глинка въ одномъ изъ своихъ стихотвореній воспѣваетъ какого-то «Θаддея съ желѣзною палкою», и мы изъ этого стихотворенія узнаёмъ, что означенный Θаддей больно билъ своею желѣзною палкою недобрыхъ людей. Чтò, еслибъ онъ принялся за плохихъ римоначей... Въ другомъ своемъ стихотвореніи, г. Θ. Глинка зоветъ къ человѣку: «Проснись, пробудись, человѣкъ!»; но человѣкъ, прослушавъ стихотвореніе, еще крѣпче заснулъ. Въ третьемъ своемъ стихотвореніи, г. Θ. Глинка воспѣваетъ «Поэта въ себѣ»—лицо, какъ значится изъ заглавія, весьма загадочное:

Зубъ шатается ужъ больно  
И сѣдѣть усь!  
Въ битвахъ жизни я невольно  
Становлюся трусь...

Изъ этого ясно видно, что если у кого больно шатается зубъ, это такъ же признакъ старости, какъ и сѣдѣющій усь... Да, мы было и забыли сказать, что въ украинскомъ альманахѣ есть отрывокъ изъ драматической поэмы великороссійскаго пѣвца В. Соколовскаго, который не перестаетъ терзать вниманіе здѣшняго юдольнаго міра своими прѣсноводяными, надутыми и натянутыми виршами. Когда перестанутъ его печатать?... Интереснѣйшія стихотворенія въ украинскомъ альманахѣ принадлежатъ двумъ поэтамъ, которые теперь по-неволѣ могутъ заходить во всякое стихотворное общество, какъ бы ни было оно несообразно съ ихъ достоинствомъ: мы говоримъ о Пушкинѣ и Лермонтовѣ. Перваго напечатано въ «Молодикѣ» одно стихотвореніе: «Въ Альбомѣ Г. К.»; втораго три стихотворенія: «Къ Кавказу», «Къ Бухарову» и «Слѣпецъ страданьемъ вдохновенный». Всѣ четыре стихотворенія не отли-

чаются особеннымъ поэтическимъ достоинствомъ: они интересны только, какъ произведенія такихъ поэтовъ, которыхъ каждая строка должна быть сохранена для потомства...

**АНТОЛОГІЯ ИЗЪ ЖАНЪ-ПОЛЯ РИХТЕРА. Спб. 1844.**

Переводчикъ думалъ оказать великую услугу русской публикѣ изданіемъ этой книжки. По его собственнымъ словамъ, она должна «возбудить у насъ желаніе изучить подробнѣе безсмертнаго генія Германіи (т. е. Жанъ-Поля Рихтера!!...), философа, натуралиста, и живописца нравовъ» и «утолить въ читателяхъ, прельщенныхъ французскими романами, возбужденную ими жажду въ новомъ, чистомъ, живомъ источникѣ». Стало-быть, цѣль двояко полезная! Русской публикѣ, послѣ этого, ничего не остается, какъ низко присѣсть передъ любезнымъ и обязательнымъ г. Б., переводчикомъ и издателемъ «Антологіи изъ Жанъ-Поля Рихтера»...

Г. Б. питаетъ къ Жанъ-Полю Рихтеру любовь, доходящую до страсти, до энтузіазма, любовь тѣмъ болѣе благородную, что она совершенно одинока, ибо ея никто не раздѣляетъ съ нимъ. Нельзя не согласиться, что въ такой любви есть что-то умиленное, возбуждающее въ другихъ если не симпатію, то состраданіе. Такъ какъ Жанъ-Поль владѣетъ болѣе сердцемъ, чѣмъ умомъ г-на Б., и какъ г. Б. болѣе «обожаетъ», чѣмъ постигаетъ Жанъ-Поля, — то совершенно понятно, почему г. Б. видитъ въ Жанъ-Полѣ «безсмертнаго генія, великаго писателя», роднаго брата Гёте и Шиллеру. Энтузіазмъ всегда неумѣренъ и опрометчивъ, — оттого онъ всегда и расходится съ истиною. Жанъ-Поль, въ свое время, былъ явленіемъ дѣйствительно замѣчательнымъ и не безъ основанія пользовался титуломъ знаменитаго писателя; но великимъ

писателемъ, безсмертнымъ гениемъ, онъ никогда не былъ, и съ Гёте и Шиллеромъ, особенно съ первымъ, никогда и ни въ какомъ родствѣ не состоялъ. Поэтому, намъ особенно неумѣстнымъ кажется примѣненіе къ Жанъ-Полю стиховъ Баратынскаго къ Гёте, которые г. Б. взялъ эпиграфомъ къ «Антологіи»:

Съ природой одною онъ жизнью дышалъ,  
Ручья разумѣлъ лепетанье,  
И говоръ древесныхъ листовъ понималъ  
И чувствовалъ травъ прозябанье;  
Была ему звѣздная книга ясна  
И съ нимъ говорила морская волна.

Мы далеки отъ того, чтобъ унижать достоинство Жанъ-Поля, но тѣмъ не менѣе не затруднимся сказать, что эти стихи къ нему вовсе нейдутъ. Наполеоновскіе генералы были всѣ люди съ замѣчательными военными дарованіями и доселѣ пользуются большою извѣстностью; однако, ни объ одномъ изъ нихъ нельзя говорить и писать того, что можно говорить и писать о Наполеонѣ. Много на свѣтѣ есть высокихъ горъ, но это не мѣшаетъ имъ быть ниже каждой горы, которая въ сосѣдствѣ Монблана или Эльбруса считается очень незначительною горою. Есть большая разница между замѣчательнымъ и даже знаменитымъ человѣкомъ и между великимъ человѣкомъ. Для Наполеоновскихъ генераловъ большая честь занимать мѣсто на барельефахъ пьедестала его колоссальной статуи, или своими миниатюрными изображеніями составлять рамку для его большаго портрета: въ такомъ точно отношеніи находится Жанъ-Поль къ Гёте, или Шиллеру. Противъ этой истины, утвержденной національнымъ сознаніемъ цѣлой Германіи и всего просвѣщеннаго міра, не устоитъ ничей личный энтузіазмъ.

Жанъ-Поль навсегда утвердилъ за собою почетное мѣсто въ нѣмецкой литературѣ. Онъ имѣлъ сильное вліяніе на

современную ему Германію, которая уже такъ мало походитъ на современную намъ Германію. Хотя отъ смерти Жанъ-Поля едва ли прошло двадцать лѣтъ, однако въ это время въ умственной жизни Германцевъ произошло много великихъ переломовъ, возникло много новыхъ вопросовъ, и вообще направленіе Германіи и ея симпатіи значительно измѣнились. Несмотря на то, Жанъ-Поль всегда будетъ находить себѣ въ Германіи обширный кругъ читателей, и Германія всегда съ любовію будетъ воспоминать о немъ, какъ воспоминаетъ возмужалый человѣкъ о добромъ и умномъ учителѣ юности, или о книгѣ, которая уже не удовлетворяетъ его вкусамъ и требованіямъ, но которая, въ его юношескія лѣта, была столько же полезнаю для него, сколько и любимую имъ книгою. Но изъ всего этого еще не слѣдуетъ, что Жанъ-Поль былъ великимъ писателемъ, гениемъ. Онъ обладалъ замѣчательно сильнымъ талантомъ, принявшимъ, впрочемъ, до дикости странное направленіе и уродливо развившимся. Этому, конечно, много способствовалъ аскетическій духъ нѣмецкой націи, узкость и тѣснота ея общественной жизни, которая способствуетъ сильному внутреннему развитію отдѣльных лицъ, но задушаютъ всякое соціальное, богатое широкими симпатіями развитіе людей, рожденныхъ для общества. Такія гениальныя личности, какъ Гёте и Шиллеръ, собственно силою могли вырваться изъ этой душной сферы и, не переставая быть національными писателями, возвыситься, въ то же время, до всемірно-историческаго значенія. Но такіе, впрочемъ, яркіе и сильные таланты, какъ Гофманъ и Рихтеръ, не могли не поддаться гибельному вліянію дурныхъ сторонъ общественности, которою они окружены были, какъ воздухомъ. По таланту, Гофманъ вообще выше и замѣчательнѣе Рихтера. Юморъ Гофмана гораздо жизненнѣе, существеннѣе и жгучѣ юмора Жанъ-Поля, — и нѣмецкіе гофраты, филистеры и педанты должны

чувствовать до костей своих силу юморического Гофманова бича. Какою мастерскою кистію изобразилъ Гофманъ почтеннаго князя Иринеуса, его комическій дворъ и его микроскопическое государство! Какою глубиною дышитъ его превосходная повѣсть «Мейстеръ Іоганнъ Вахтъ»! Сколько прекрасныхъ и новыхъ мыслей о глубокихъ тайнахъ искусства высказалъ, въ самой поэтической формѣ, этотъ человѣкъ, одаренный такою богато-артистическою натурою! И все это не помѣшало ему вдатся въ самый нелѣпый и чудовищный фантазмъ, въ которомъ, какъ многоцѣнная жемчужина въ тинѣ, потонулъ его блестящій и могучій талантъ! Что же загнало его въ туманную область фантазёрства, въ это царство саламандръ, духовъ, карликовъ и чудищъ, если не смрадная атмосфера гофратства, филистерства, педантизма, словомъ, скука и пошлость общественной жизни, въ которой онъ задыхался и изъ которой готовъ былъ бѣжать хоть въ домъ сумасшедшихъ?... Жанъ-Поль былъ совсемъ другой натуры. Преобладающею стороною всего его существа было чувство, болѣе пламенное и задушевное, чѣмъ сильное и крѣпкое, болѣе расплывающееся, чѣмъ сосредоточенное и подчиненное разуму, болѣе гуманное, чѣмъ многостороннее. Говорятъ, что Жанъ-Поль не могъ не заплакать отъ умиленія, видя человѣка съ лицомъ, сіяющимъ отъ довольства и счастья. Духъ его былъ по преимуществу внутренній и созерцательный. Поэтому, его высочайшимъ идеаломъ человѣка была красота внутренняго развитія личности, безъ всякаго отношенія ея къ обществу,—и пагосъ всего его существованія составляла не разумная дѣятельность, слящаяся вносить въ дѣйствительность свои собственные идеалы, но природа, луна, солнце, весна, роса, ручьи, облака, цвѣты, ночь, звѣздное небо. Полная елейной, нѣсколько сентиментальной и расплывающейся любви, натура Жанъ-Поля была ясна, спокойна и крогкая. Онъ былъ однимъ изъ тѣхъ характеровъ, которые

всегда дѣлаются средоточіемъ избраннаго дружескаго кружка и обнаруживаютъ на него часто одностороннее, но всегда прекрасное и благотѣльное вліяніе. Изъ всѣхъ душевныхъ способностей, въ Жанъ-Поль особенно сильна была фантазія, такъ что она преобладала у него надъ самымъ разумомъ, которому не совсѣмъ недоступно было царство идей. Для такого человѣка все равно, гдѣ бы ни жить, и онъ можетъ быть доволенъ всякимъ обществомъ, лишь бы оно не мѣшало ему жить внутри самого себя; а такъ какъ нѣмецкое общество (особенно въ то время) всего менѣе способно вызывать человѣка изъ внутренняго міра души его и всего способнѣе, такъ сказать, вгонять его туда, — то аскетическій, въ дико-странцыхъ формахъ выразившійся духъ сочиненій Жанъ-Поля становится совершенно понятенъ. Жанъ-Поль не зналъ, подобно Гофману, ни отчаянія, ни негодованія, ни жгучихъ страстей, и потому ему не трудно было всегда держаться на какихъ-то недостижимыхъ созерцательныхъ высотахъ, неопирающихся ни на какое дѣйствительное основаніе, и писать языкомъ по большей части эпически-спокойнымъ, тяжеловато-возвышеннымъ, нерѣдко натянутымъ и всегда туманнымъ. Онъ былъ романтикъ въ душѣ, и если спускался на минуту съ своихъ заоблачныхъ высотъ, озаренныхъ холоднымъ свѣтомъ ночной луны, то не иначе, какъ для того, чтобъ подивиться, какъ люди могутъ не быть романтиками, и тогда-то разыгрывался его добродушный юморъ, который никого не кусалъ, и не сердилъ, какъ юморъ Гофмана. Герои его романовъ или, лучше сказать, его выпретенныхъ фантазій, все люди восторженные, которые живутъ въ однихъ высокихъ, поэтическихъ мгновеніяхъ жизни, никогда не зѣваютъ и всегда импровизируютъ, вмѣсто того, чтобъ говорить. Надо отдать имъ полную справедливость — они люди прекрасные, но только съ ними скука смертельная. Такъ, напримѣръ, въ одномъ своемъ сочиненіи, Жанъ-Поль

представляеть поэта Фирміана, нѣтъшаго несчаствіе жениться на Ленеттѣ, самой прозаической и ограниченной женщиной, которая ничего въ мірѣ не видитъ выше и важнѣе кухни. И дѣйствительно: вы видите, что Фирміанъ — человѣкъ возвышенный и восторженный, а Ленетта — не болѣе, какъ хорошая кухарка; но, въ то же время, вы чувствуете, что вамъ легче было бы провести всю жизнь вашу съ Ленеттою, женившись на ней, чѣмъ одну недѣлю прожить съ Фирміаномъ въ одной комнатѣ и слушать его восторженные монологи къ лунѣ и солнцу, къ жизни и смерти, къ небу и къ аду.

Г. Б. очень хорошо сдѣлалъ, помѣстивъ въ своей книгѣ статью умнаго французскаго литератора Филарета Шаль «Очеркъ Литературнаго Характера Жанъ-Поля»; только онъ не понялъ, что этотъ «очеркъ» служить самымъ сильнымъ опроверженіемъ его собственнаго мнѣнія о великости Жанъ-Поля, какъ писателя. Какъ ловкій Французъ, Филаретъ Шаль не выговариваетъ ясно своей мысли, но, посредствомъ тонкой и легкой ироніи, граціозно разлитой въ его статьѣ, представляетъ угадать свою мысль самому читателю... Филаретъ Шаль называетъ Жанъ-Поля «писателемъ столь необъятнымъ, столь мало-читаемымъ, гениемъ совершенно германскимъ, покрытымъ для другихъ націй тройнымъ покрываломъ, — единственнымъ оригинальнымъ писателемъ, столь оригинальнымъ, что онъ не нашелъ себѣ ни подражателя въ своемъ отечествѣ, ни переводчика у другихъ народовъ». Все это сильно противорѣчитъ мнѣнію о великости и гениальности Жанъ-Поля. Одно изъ первыхъ и непреложныхъ условій, составляющихъ великаго писателя, гения, есть простота, опредѣленность, ясность и общедоступность изложенія и слога, какъ свидѣтельство ясности и опредѣленности его идей. Обыкновенные писатели потому пишутъ ясно и общепонятно, что ихъ идеи обыкновенны и ничтожны; великіе писатели пишутъ

ясно и опредѣленно потому, что вполне владѣють своими идеями, и если ихъ сочиненія недоступны массамъ, — это не по мудрености изложенія, а по высотѣ идей. Великіе писатели даже въ стихахъ умѣють соединить красоту поэтическаго изложенія съ простотою почти прозаическою. Чѣмъ общѣе, слѣд., огромнѣе содержаніе твореній великаго писателя, тѣмъ доступнѣе они для всѣхъ націй, тѣмъ болѣе они суть достояніе не одного какого-нибудь народа, но цѣлаго человѣчества. Какъ ни вытягивайте подъ эту мѣру добраго Жанъ-Поля, онъ скорѣе перервется по поламъ, чѣмъ подойдетъ подъ нее. Особенно не допустить его, даже и на ципочкахъ, если хотите, на какихъ угодно длинныхъ ходуляхъ, дотянуться до нея эта справедливая характеристика Филарета Шаля:

«Если разсматривать Жанъ-Поля въ отношеніи къ искусству и къ исполненію, онъ стоитъ ниже Сервантеса. Въ его произведеніяхъ обозначается недостатокъ цѣлаго, связи и плавности. Чтеніе ихъ оставляетъ впечатлѣнія неясныя и противоположныя. Изъ этого хаоса мыслей и чувствъ, какъ съ раскаленнаго желѣза, брызжутъ тысячи искръ, пламенныхъ, высокихъ, комическихъ: но это хаосъ. Одинъ стиль этихъ дивныхъ созданій есть уже феноменъ: дѣвственная дубрава, вѣтви которой, переплетенныя между собою, образуютъ непроницаемую ограду, представляетъ вамъ неодолимые препятствія. Языкъ, метафоры, правописаніе, все облекается у Жанъ-Поля въ праздничную одежду».

Между тѣмъ, нѣтъ никакого сомнѣнія, что Жанъ-Поль — писатель, заслуживающій всякаго вниманія, и что изъ 60-ти томовъ его сочиненій можно выжать томовъ шесть болѣе или менѣе интересныхъ вещей, имѣющихъ рѣдко безотносительное, но чаще всего свое относительное достоинство. Желая говорить съ доказательствами, мы должны прибѣгнуть къ выпискамъ. Вотъ нѣсколько мыслей о назначеніи и судьбѣ женщины въ нашемъ обществѣ:

«Я думалъ въ то время о той брачной лотереѣ, въ которой молодыя дѣвушки выбираютъ себѣ супруга-властиеля, на той порѣ жизни, когда сердце



ихъ согрѣто чувствомъ, но разумъ не просвѣтленъ. Въ ихъ душѣ пустота, и среди этой пустоты горитъ пламя, какъ горѣлъ пламень на жертвенникѣ въ храмѣ Весты, безъ образа божества. Идолъ подавалъ знакъ, чтобъ подошли къ жертвеннику, и жертвоприношеніе совершалось.—Я думалъ, что она подвернется обыкновенной участи своихъ подругъ, что и она увянетъ, какъ цвѣтокъ, сорванный и измятый грубою и людскою рукою. Какъ быстро пройдутъ эти прекрасные дни кратковременной весны женской жизни! Не походила ли она, какъ почти всѣ невѣсты, на тѣхъ младенцовъ, что Гарофало любилъ помѣщать въ своихъ картинахъ: они тихо почиваютъ; надъ ихъ головками ангелъ держитъ терновый вѣнецъ. Терновый вѣнецъ есть бракъ: лишь только онѣ просыпаются, ангелъ роняетъ вѣнецъ и уязвленное чело покрывается кровію. Всѣ эти мысли меня занимали, но не отъ нихъ навернулись у меня слезы на глаза. Всякій разъ, какъ я устремлялъ взоры на это бѣлое и розовое лицо, столь граціозное, привѣтливое, доброе, я внутренно покушался воскликнуть: О, не будь такъ весела, несчастная жертва! это нѣжное сердце, хранимое тобою въ груди, жаждетъ чистыхъ и тихихъ наслажденій; ты сама того не знаешь... огонь грубой страсти испепелитъ его; но граціозныя, безцвѣтныя сновидѣнія, раждающіяся на домашней подушкѣ, не могутъ ослѣпить этой милой головки...

Ты не предполагаешь, юная дѣва невѣста, что этотъ цвѣтокъ твоей благоухающей молодости превратится въ грубый источникъ, въ которомъ чловѣкъ будетъ утолять свою жажду. Онъ скоро не будетъ требовать отъ тебя ни чувствительной души, ни добраго и свѣтлаго ума; онъ въ тебѣ будетъ цѣнить одну лишь работу рукъ, потъ лица и быстроту твоихъ шаговъ, и если ты, въ душевномъ разслабленіи, будешь хранить долгое молчаніе и оставишь его въ покоѣ, онъ благословитъ свою судьбу. Этотъ сводъ безграничный и вѣчный, этотъ ковчегъ эмпирея, величественная вселенная — не привлекутъ твоихъ взоровъ и превратятся для тебя въ бѣдное жилище, въ убѣжище для хозяйства: ты будешь замѣчать въ немъ лишь однѣ веревки, дрова, куски ветчины, прядильные станки и изрѣдка, въ лучшіе дни, визитъ въ твоей приемной. Ты будешь смотрѣть на солнце, какъ на огромный шаръ, висящій надъ твоею головою, чтобъ согрѣвать, подобно печкѣ, вселенную; на мѣсяцъ, какъ на одинъ изъ тѣхъ хрустальныхъ шаровъ, что ночью употребляютъ башмачники для освѣщенія своей мастерской. Гордый Рейнъ не удивитъ тебя своимъ величіемъ: ты будешь цѣнить его лишь въ мелкихъ мѣстахъ, гдѣ безопасно можно полоскать бѣлье. Боже мой! Рейнъ, превращенный въ щелочной котелъ! Да и самъ океанъ будетъ представляться тебѣ водоѣмомъ копченыхъ сельдей. Изъ безчисленнаго множества нѣмецкихъ книгъ ты избереши себѣ одну: календарь на текущій годъ; и, благодаря положенію, занимаемому тобою въ лѣтвищѣ живущихъ, ты едва ли найдешь въ газетахъ что-либо для тебя занимательнаго, развѣ только извѣстія о пріѣхавшихъ иностранцахъ съ пас-

портами въ рукахъ и остановившихся въ сосѣдней гостинницѣ. Того требуется положеніе женщины въ свѣтѣ, какъ говорятъ философы, *ея космологическій психизмъ*.

«Ты родилась для большого счастья: но какъ тебѣ достигнуть счастья? Твой бѣдный супругъ не въ состояніи даровать тебѣ лучшей участи и общество не позволило бы ему иначе обращаться съ тобой! Смерть внезапно навѣститъ тебя, когда года доведутъ до равнодушія твое чувствительное сердце; добрыя сѣмена, зароненныя въ немъ заботливой природой, еще не созрѣютъ, и ты уже переселишься въ то блаженное небо, куда зоветъ тебя другое, улыбающееся будущее.

«Вы удивитесь моей печали? Да не то же ли совершается каждую недѣлю передъ моими глазами, съ душами, лишь только онѣ выберутъ земною обителью женское тѣло.

Мать бѣднаго сердца, которое ты хочешь осчастливить несчастіемъ, соединяя его на вѣки съ другимъ сердцемъ, нмѣ нелюбимымъ, послушай меня! Положимъ, что дочь твоя не погибнетъ подъ тяжестью жалкой участи, тобой ей предназначенной; но не превратила ли ты для нея роскошное сновидѣніе жизни въ безплодный сонъ, не похитила ли ты у нея счастливые острова любви, всѣ цвѣты, ихъ украшающіе, очаровательные дни, въ нихъ проведенные, и чувство, всегда полное восторга, съ которымъ мы еще разъ возвращаемся къ нимъ, когда покрытыя цвѣтами холмы удаляются на дальній горизонтъ? Если твое материнское сердце вкусило радости, не лишай ихъ своей дочери; а если другіе были такъ жестоки, что похитили ихъ у тебя, вспомни долгія мученія, тобою претерпѣнныя, и не передавай этого печальнаго наслѣдія!

Положимъ даже, что твоя дочь осчастливитъ похитителя ея души, представъ же себѣ — чѣмъ она была бы для предмета, любимаго ея сердцемъ, и скажи — не достойна ли она лучшей участи, чѣмъ увеселять придверника навсегда закрывшейся за нею темницы? Но рѣдко такъ счастливо сбывается. — Ты соберешь богатую жатву страданій и отяготишь душу двойнымъ преступленіемъ, съ одной стороны нѣмое отчаяніе твоей дочери, съ другой равнодушіе къ ней мужа, который позднѣ почувствуетъ къ ней отвращеніе, или ненависть. Ты помрачишь ея молодость, ту эпоху жизни, когда каждое твореніе нуждается первыхъ лучей солнца. О, лучше затми облакомъ печали всѣ другіе однообразные периоды жизни, такъ походящіе другъ на друга; не допускай идти холодному дождю на ея зарѣ, пускай солнце взойдетъ тихо и радостно на безоблачномъ небѣ, да не блѣднѣютъ его лучи до полудни; не покрывай мракомъ это единственное утро жизни, никогда невозвратимое, разъ утраченное и ничѣмъ не замѣняемое!

«Но если ты отдаешь на жертву своимъ честолюбивымъ намѣреніямъ, своему деспотизму не только радости, самыя сладкія чувства, счастливый бракъ.

улыбающіяся надежды и цѣлы покаянія, но и самое существованіе той, которую принуждаешь отдать руку не задушевному другу, — кто можетъ оправдать тебя въ твоихъ собственныхъ глазахъ или высушить твои слезы, если твоя дочь, по своей добродѣтели, повинуется, молчитъ и умираетъ, подобно монахамъ-трапистамъ, не осмѣливающимся нарушить обѣтъ молчанія, даже тогда, когда ихъ монастырь дѣлается жертвою неистоваго пламени, — если дочь твоя, какъ плодъ, котораго одна сторона пользуется лучами солнца, а другая въ тѣни, краснѣетъ снаружи, между тѣмъ какъ сохнетъ внутри и не достигаетъ зрѣлости, — если дочь твоя, говорю я, открываетъ тебѣ свое растерзанное сердце и являетъ въ веснѣ жизни блѣдность и скорбь могильную, — если тебѣ невозможно ее утѣшить, потому что совѣсть не падаетъ тебя отъ имени дѣтоубійцы; наконецъ, если твоя жертва, изнуренная, лежитъ здѣсь предъ тобою, и безъ чувствъ рыдаетъ; — если это существо, лишившись силъ въ столь трудной и ранней борьбѣ, съ прощеніемъ на устахъ и укоризною въ растерзанныхъ и мутныхъ взорахъ, съ судорожнымъ трепетомъ, падаетъ въ бездонное море смерти... и ты стоишь на берегу и видишь ее поглощенную еще въ свѣжѣмъ цвѣтѣ молодости: — о, виновная мать! Кто тебя утѣшитъ на краю этой бездны, куда ты насильно воклеа ея; если ты еще сберегла свое сердце — отчаяннѣе убьетъ его, какъ оно убило сердце твоей дочери... Если же ты не виновна, я зову тебя — иди, присутствуй при этой жестокой смерти, смерти каждой минуты; — я спрашиваю тебя: твое дитя должно ли такъ погибнуть?

• Какая бѣдная душа не произнесла хоть однажды тщетныя молитвы любви и, разслабленная ледянымъ ядомъ, не могла поднять отяжелѣвшаго языка! Продолжай любить, пламенная душа! Подобная весеннимъ цвѣтамъ, ночнымъ бабочкамъ, вѣжная и мягкая любовь наконецъ проникнетъ сквозь оцѣпененную морозомъ душу, и сердце, жаждущее другаго сердца, наконецъ его найдетъ..

Все это обнаруживаетъ въ Жанъ-Поля душу любящую, чистую, добродѣтельную; все это согрѣто у него убѣжденіемъ и чувствомъ, все такъ хорошо, мило, трогательно, а главное — все это такъ истинно. О томъ же именно говорить и Жоржъ Зандъ. Но что такое передъ ея страстными, огненными страницами эти добросердечныя изліянія достолюбезнаго Жанъ-Поля? — милый лепетъ умнаго и добраго ребенка въ сравненіи съ громовою рѣчью возмужалаго человѣка, исполненнаго глубокаго сознанія и могучаго негодованія!.. Жалкое положеніе женщины въ обществѣ возбуждаетъ живое состраданіе Жанъ-Поля — онъ оплакиваетъ его, но не перестаетъ

на него смотрѣть, какъ на неизбежное и неизмѣняемое; Жоржъ Зандъ, напротивъ, видитъ въ немъ слѣдствіе историческаго развитія, которое уже совершило свой циклъ. Въ глазахъ Жанъ-Поля мать, торгующая счастьемъ цѣлой жизни своей дочери есть явленіе какъ бы случайное, нарушающее собою гармонію общественной нравственности. — и онъ хлопотеть, силою кроткаго, теплаго убѣжденія исправить таковую «дражайшую родительницу», еслибы она нашла гдѣ-нибудь, не подозрѣвая, въ своемъ простодушіи, что на такихъ матерей не дѣйствуютъ краснорѣчивыя строки. Въ тоже время, онъ видитъ въ поступкѣ такой матери только злоупотребленіе права, а самое право признаетъ неотъемлемымъ, — и еслибы бѣдная дочь, принесенная матерью въ жертву своей корысти, прибѣгла къ Жанъ-Полю съ жалобою растерзаннаго сердца и глубоко оскорбленнаго и поруганнаго своего человѣческаго достоинства, — добродушный Жанъ-Поль, со всею филистерскою елейностію любящаго сердца, утѣшилъ бы ее краснорѣчивыми совѣтами — терпѣливо покориться ея участи, къ радости погубившихъ ее изверговъ-спекулянтовъ. Онъ сказалъ бы ей: «О, дѣва! (Жанъ-Поль любилъ это смѣшное слово) ты носишь терновый вѣнецъ на окровавленной главѣ: за то вѣчныя розы цвѣтутъ въ груди твоей». Не знаемъ, могло ли бы дѣву сдѣлать счастливою подобное утѣшеніе; но знаемъ, что отъ такихъ утѣшеній общественныя раны никогда не излѣчятся, и что человѣкъ, выговаривающій такія утѣшенія высокимъ до напыщенности слогомъ, какъ великія истины, толчетъ воду въ ступѣ, ибо позволяетъ всему оставаться такъ, какъ оно есть. Сколько людей, и какъ уже давно, доказали вѣрно и несомнѣнно, что взаимная любовь между людьми есть лучшая гарантія ихъ общей безопасности и благосостоянія; но люди тѣмъ не менѣе не хотятъ согласиться на такую любовь! Я очень радъ, если, вслѣдствіе любви меня никто не ограбитъ и не

убьётъ на большой дорогѣ, но, при отсутствіи строгаго полицейскаго надзора, я никакъ не положусь на любовь моихъ ближнихъ... Конечно, естественная любовь матери къ дочери — хорошая порука въ томъ, что мать не выдастъ своей дочери насильно за какого-нибудь негодяя (ибо всякій мужчина, способный насильно жениться, есть негодяй); но все-таки мое сердце меньше обливается кровію при мысли о насильственныхъ бракахъ. когда возможность ихъ уничтожена строгостію ясно и положительно высказанныхъ законовъ...

«Дитя должно быть для васъ священнѣе настоящаго, которое состоитъ изъ вещей и людей образовавшихся. Вникните въ великое значеніе дѣтскаго возраста! Воспитывая дитя, вы трудитесь для будущаго, заготавливаете ему богатую жатву; не бросайте же на бразду земли пороху, который взорветъ мину: но посѣйте на ней зерно хлѣбное, которое принесетъ плодъ и насытитъ душу. Дайте этому маленькому ангелу, готовому утратить свой земной рай, въ собирающемуся въ путь далекій, неизвѣстный, — крѣпкую броню противъ судьбы, талисманъ, который защищалъ бы его въ странѣ опасностей; даруйте ему небо и полярную звѣзду, которая руководила бы его въ продолженіи всей жизни и освѣтила бы передъ нимъ мрачныя страны, которыя ему поздне суждено посѣтить. Освѣтите прежде всего его сердце лучемъ нравственнаго чувства: то будетъ заря прекрасной души. Внутренній человекъ, подобно Негру, родится бѣлымъ; жизнь — вотъ что очерняетъ его. Въ старости, величайшіе примѣры нравственной силы проходятъ мимо насъ, не сокрушая богѣ нашей жизни съ ея пути, подобно кометѣ, летящей мимо земли; — въ первой же порѣ дѣтства, напротивъ, первый порывъ любви, внѣшней или внутренней, первыя несправедливости набрасываютъ долгую тѣнь или яркій свѣтъ на необозримое поле слѣдующихъ возрастовъ.

«Почему вы знаете, что младенецъ, рвущій цвѣты подлѣ васъ, не устремится нѣкогда со своей Корсики, какъ богъ войны, въ мятежную часть свѣта, чтобъ играть бурями, срывать, очищать или сжечь? Неужели для васъ ничего не значило бы, воспитавши его, сдѣлать его Фенеломомъ, его Корнелию и его Дюбуа? И если вы не могли ни сокрушить, ни поправить полета его генія, (тѣмъ глубже море, тѣмъ круче его берега), вы бы могли въ самомъ важномъ дѣсятилѣтіи жизни, на этомъ первомъ порогѣ, чрезъ который проходятъ всѣ чувства, посѣщающія человѣческое сердце, сковать возникающую силу льва и опутать его вѣжливѣйшими привычками прекраснаго сердца и всѣми узами любви.»

Все это прекрасно, но всего этого мало. Что дѣтей должно воспитывать хорошо, — объ этомъ многіе говорили и писали; и потому вопросъ давно уже не въ томъ, должно ли воспитывать дѣтей, а въ томъ, какъ должно воспитывать и въ чемъ должно состоять основное начало истиннаго воспитанія. У Жанъ-Поля на всё болѣзнь одно лѣкарство и для всѣхъ цѣлей одно средство — любовь. Но вѣдь и госпожа Простакова любила же своего Митрофанушку, и Брутъ любилъ своихъ сыновей: любовь одна, а ея характеръ и проявленіе совершенно различны. Чтò же дало ей это различіе? — то, что въ первой есть только смыслъ, но нѣтъ никакой мысли, а во второй, кромѣ смысла, есть еще и мысль. Чтобъ развить любовь въ молодомъ сердцѣ, надо заставить его полюбить что-нибудь, — и это «что-нибудь» должно быть истинною, мыслию. Молодыхъ людей, и дома и въ школахъ, учать любить правду, ненавидѣть ложь, а когда они вступаютъ въ жизнь, ихъ гонять за правду, и ихъ правдивость называютъ гордостью, самонадѣянностью, буйствомъ и «вольнодумствомъ» — любимое слово филистеровъ и гофратовъ... Итакъ, вопросъ въ томъ, должно ли дѣтей воспитывать такъ, чтобы они могли уживаться съ обществомъ, или должно желать, чтобы общество сдѣлалось способнымъ уживаться съ людьми благовоспитанными. Этотъ вопросъ важнѣе вопросовъ о всевозможныхъ родахъ любви.

— Любишь ли ты меня! воскликнулъ молодой человѣкъ въ минуту чистѣйшаго восторга любви, въ то мгновеніе, когда души встрѣчаются и отдаются другъ другу. — Молодая дѣвушка взглянула на него и молчала.

— О, если ты меня любишь, продолжалъ онъ: — заговори!

Но она взглянула на него, не будучи въ состояніи говорить.

— Да, я былъ слишкомъ счастливъ, я надѣялся, что ты меня любишь; все теперь исчезло — надежда и блаженство!

— Возлюбленный, неужели я тебя не люблю! и она повторила вопросъ.

— О, зачѣмъ такъ поздно произнесла ты эти небесные звуки!

— Я была слишкомъ счастлива, я не могла говорить; только тогда возвращеніе мнѣ было даръ слова, когда ты передалъ мнѣ свою скорбь...

Немножко дѣтски, немножко сентиментально, а хорошо! Мы по собственному опыту знаемъ, какъ сильно и какъ освѣжительно дѣйствуютъ на юныя души подобныя романтическія мысли, изложенныя такимъ эпически-торжественнымъ языкомъ, съ оттѣнкомъ мистицизма. Но у Жанъ-Поля есть вещи гораздо лучшія и высшія. Такова, напримѣръ, его піеса «Уничтоженіе» (Die Vernichtung), въ которой высокая мысль облечена въ образы часто странные и дикіе, но тѣмъ не менѣе грандіозные, изложеніе нѣсколько натянуто, но тѣмъ не менѣе исполнено блеска могучей фантазіи. «Сонъ несчастнаго подъ Новый Годъ», которымъ оканчивается «Антологія», принадлежитъ къ числу особенно полезныхъ для юношества піесъ, потому что ея дидактизмъ не чуждъ нѣкотораго поэтическаго колорита. Среди мыслей изысканныхъ, среди сравненій натянутыхъ, остротъ и каламбуровъ, отличающихся истинно нѣмецкою легкостію и ловкостію, у Жанъ-Поля встрѣчаются мысли глубокія, сравненія вѣрныя и оригинальныя, остроты меткія. — Вотъ нѣсколько образчиковъ:

«Умереть за истину, не значитъ умереть за отечество — но за весь міръ. Истина, подобно Венерѣ Медичейской, перейдетъ къ потомству въ тридцати разныхъ отломкахъ; но потомство ихъ соберетъ, и изъ этихъ дребезговъ воздвигнется богиня. Твой храмъ, вѣчная истина, теперь вполнину сокрытъ подъ землею, воздвигнется при раскапываніи могилъ твоихъ мучениковъ и возвысится надъ землею; каждая его бронзовая колонна будетъ поспирать любимую могилу.

Мысль о смерти должна для насъ быть средствомъ сдѣлаться лучшими, но не конечною цѣлію; если прахъ могильный западетъ въ наше сердце, какъ земля въ чашечку цвѣтка, онъ его уничтожаетъ вмѣсто того, чтобъ оплодотворить.

Когда человѣкъ въ присутствіи моря или горъ, пирамидъ или развалинъ, когда несчастье встаетъ передъ нимъ, готовое его поразить — кого призываетъ онъ? дружбу. Когда потоки гармоніи прельщаютъ его слухъ: когда томный свѣтъ луны играетъ на листьяхъ деревьевъ, когда весна воскрешаетъ природу — кого онъ призываетъ? любовь. И тотъ, кто никогда не искалъ ни той, ниругой, въ тысячу разъ бѣднѣе того, кто ихъ обвѣихъ утратилъ.

Знаменитые писатели не болѣе одарены творческими способностями, чѣмъ другіе люди; они одарены только болѣею смѣлостію; они, не смущаясь, выворачиваютъ свою душу и показываютъ себя такими, какими они есть, твердо опираясь на свою знаменитость, между тѣмъ, какъ другіе красятъ, скрываются и ослабляютъ главныя черты своего характера въ своихъ произведеніяхъ.

Старые эмигранты походятъ на часы съ репетиціей, оставшіеся нѣсколько лѣтъ незаведенными. Когда подавши пружинку, изъ всѣхъ часовъ дня они звонятъ и повторяютъ тотъ часъ, на которомъ остановились.

Вообще, изъ сочиненій Жанъ-Поля можно было бы выбрать, для перевода на русскій языкъ, не одну весьма полезную книжку. Но, должно сказать правду, г. Б., переводчикъ и издатель «Антологіи», не обнаружилъ особенной разборчивости и вкуса въ выборѣ отрывковъ изъ Жанъ-Поля: болѣшая половина его «Антологіи» наполнена рѣшительнымъ пустословіемъ, вещами, какихъ у Жанъ-Поля цѣлые томы и какія могли бы спокойно оставаться въ нѣмецкомъ подлинникѣ, безъ всякаго ущерба для русской публики, даже съ большою для нея пользою, потому что чѣмъ менѣе печатнаго вздора, тѣмъ болѣе публика въ выигрышѣ. Вѣроятно, переводчикъ, въ этомъ случаѣ, рассчитывалъ на имя безсмертнаго генія Жанъ-Поля Рихтера, думая, что подъ сѣнію этого великаго имени и потертая мишура сойдетъ съ рукъ за чистое золото. Это большая ошибка съ его стороны. Въ наше время, имена ровно ничего не значатъ, и еслибы у Шекспира, Байрона, Гёте, Шиллера нашлось что-нибудь ничтожное и вздорное, его назвали бы тотчасъ настоящимъ его именемъ. Въ самомъ дѣлѣ, «Фаустъ» Гёте — великое произведеніе, но «Стелла», «Братъ и Сестра» и еще многое кое-что изъ сочиненій Гёте же — превздорныя вещи. Впрочемъ, и не съ такимъ неискуснымъ выборомъ, Жанъ-Поль не вытѣснилъ бы французскихъ романовъ. Не только лучшіе, но и сколько-нибудь порядочные романы и повѣсти французскіе всегда будутъ читаться болѣе сочиненій Жанъ-Поля, ибо они



дѣлѣ ихъ, будучи исполнены интересовъ настоящаго, которое одно важно для живыхъ людей, потому что оно есть послѣдній результатъ всего прошедшаго, и непосредственная причина будущаго...

Г. Б. обѣщаетъ продолжать изданіе «Антологіи». Доброе дѣло; желаемъ ему полного успѣха, для обезпеченія котораго нужно только побольше строгой разборчивости. Какъ бы то ни было, но «Антологія изъ Жанъ-Поля Рихтера», въ бедлестристикескомъ бюджетѣ нашей литературы за нынѣшній мѣсяцъ, есть единственная замѣчательная книга, о которой можно было сказать что-нибудь.

---

**СТАРИННАЯ СКАЗКА ОВЪ ИВАНУШКѢ ДУРАЧКѢ, разсказанная московскимъ купчиною Николаемъ Полевымъ. Лѣта 1844. Въ друкариѣ Матвея Ольхина, въ городѣ Петербургѣ. Цѣна 30 коп. сер. продается вездѣ, и на Апраксинамъ Дворѣ.**

Судя по нѣкоторымъ явленіямъ современной русской литературы, можно подумать, что мы, Русскіе, близки къ реформѣ, которая должна снова совершенно переимѣнить насъ въ нашихъ обычаяхъ и вкусахъ, и которая должна состоять въ томъ, что мы снова замѣнимъ воду квасомъ, шампанское — пѣнникомъ, портеръ — брагою, сюртуки и фраки — зипунами, сапоги — лаптями, романы Вальтеръ Скотта — сказками о Ерусланѣ Лазаревичѣ и Бовѣ Королевичѣ, образованную литературу — произведеніями блаженной памяти лубочныхъ суздальскихъ типографій... словомъ — совершенный разрывъ съ лукавымъ Западомъ и коренное обращеніе къ сермяжной народности!... Въ самомъ дѣлѣ, изъ чего же хлопочутъ, и въ стихахъ и въ прозѣ, «Маякъ» и «Москвитянинъ» — Касаторъ и Поллуксъ на горизонтѣ нашей журналистики? О чемъ

и для чего пишетъ г. Загоскинъ? Давно ли мы читали повѣсть «Градскі(о)й Глава», гдѣ такъ неопровержимо доказано вліяніе александрійской рубахи съ косымъ воротникомъ на добродѣтель и стремленіе къ разнымъ гражданскимъ подвигамъ? Давно ли самородный московскій поэтъ, г. Милькѣвъ, воспѣлъ сивуху, какъ чистѣйшій источникъ всего великаго? Когда, въ дѣтствѣ, засыпали мы подъ рассказы нашихъ нянекъ о Ерусланѣ Лазаревичѣ, Бовѣ Королевичѣ, Жарѣ Птицѣ, Иванушкѣ дурачкѣ, — думали ли мы, что эти рассказы нѣкогда будутъ пересказываться извѣстными литераторами и красиво издаваться съ картинками г. Тимма?... Но не бойтесь, не пугайтесь: реформы все-таки не будетъ. На литературу нашу не всегда можно смотрѣть какъ на зеркало нашей жизни. Этому много причинъ, и одна изъ нихъ та, что литература наша часто любитъ существовать заднимъ числомъ и, отъ нечего дѣлать, повторять собственные свои зады. Теперь она именно этимъ и занимается. Чтобъ идти впередъ, ей нужны таланты свѣжіе и сильные; но таланты у насъ какъ-то недоговѣчны; а нѣтъ знамени — нѣтъ и солдать. Вотъ почему, молодёжь наша или ничего не дѣлаетъ, или дѣйствуетъ въ разсыпную, набѣгами, отрывочно и лѣниво. Можетъ-быть, она чувствуетъ, что теперъ не ея время. Зато, старые таланты и quasi-таланты, и молодые не-таланты, какъ-будто спѣшатъ взапуски другъ передъ другомъ, перебивая старыя погудки на новый ладъ: видно почуяли, что на ихъ улицѣ праздникъ.

Въ двадцатыхъ годахъ текущаго столѣтія, въ русской литературѣ совершилась реакція духу подражательности литературѣ XVIII вѣка. Эта реакція явилась подъ именемъ «романтизма». Прежде всего, она предъявила свои требованія на народность въ литературѣ. Реакція эта была необходима и полезна; но когда сдѣлала она свое дѣло, люди съ дарованіемъ, воспользовавшись

ея плодами, отступились отъ нея и пошли своею дорогою, не заботясь болѣе ни о классицизмѣ, ни о романтизмѣ. Но не такъ думали люди, которые ратовали за ту или другую сторону: они вообразили, что если міръ существуетъ, такъ это не для чего другаго, какъ только для того, чтобъ романтизмъ побѣдилъ классицизмъ. Вызванные быть глашатаями умственного движенія впередъ, они шагъ времени приняли за вѣчность, движеніе минуты сочли за конечное достиженіе цѣли, послѣ котораго ничего не остается дѣлать, какъ повторять одно и то же,—а въ этомъ-то и упрекали они людей, которыхъ суждено было имъ сѣгнуть собою. Удивительно ли послѣ этого, что они на людей, которые опередили ихъ, смотрятъ съ такою же враждою, какъ на нихъ самихъ смотрѣли опереженные ими люди? Удивительно ли, что они осыпаютъ опередившихъ ихъ людей тою же самою бранью (самоучками, недоучками, верхоглядами и т. п.), которою осыпали ихъ опереженные ими люди? Удивительно ли, что о всемъ, что бы ни написали они теперь, видны, все тѣ же воззрѣнія, тѣ же фразы, которыя въ свое время были и новы, и истинны, и смѣлы, и даже глубокомысленны, а теперь кажутся просто избитыми общими мѣстами, истасканною рухлядью, бессильнымъ орудіемъ немощной посредственности, апатической отсталости, жалкой бездарности? Было время, когда языкъ литературный былъ скованъ условными приличіями, чуждался всякаго простаго выразительнаго слова, всякаго живописнаго и энергическаго выраженія народной рѣчи; когда наивной народной поэзіи всѣ чуждались, какъ грубаго мужицества. Романтическая реакція освободила насъ отъ этой узкости литературныхъ воззрѣній; благодаря ей, однообразная искусственность языка и изобрѣтенія поэтическаго уступила мѣсто естественности, простотѣ и разнообразію; міръ творчества расширился, и человѣкъ, безъ всякихъ отношеній къ его званію, получилъ въ немъ право гражданства. Всѣ

согласились въ томъ, что въ народной рѣчи есть своя свѣжесть, энергія, живописность, а въ народныхъ пѣсняхъ и даже сказкахъ — своя жизнь и поэзія, и что не только не должно ихъ презирать, но еще и должно ихъ собирать, какъ живые факты исторіи языка, характера народа. Но вмѣстѣ съ этимъ, теперь никто уже не будетъ преувеличивать дѣла, и въ народной поэзіи видѣть что-нибудь болѣе, кромѣ младенческаго лепета народа, имѣющаго свою относительную важность, свое относительное достоинство. Но отсталые поборники блаженной памяти такъ называвшагося романтизма, упорно остаются при своемъ. Они, такъ сказать, застряли въ поднятыхъ ими вопросахъ и, не совладѣвъ съ ними, съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе вязнутъ въ нихъ, какъ мухи, попавшіяся въ медъ. Для нихъ «Не бѣлы свѣжки» едва ли не важнѣе любого лирическаго произведенія Пушкина, а сказка о Емелѣ Дурачкѣ едва ли не важнѣе «Каменнаго Гостя» Пушкина...

По крайней мѣрѣ, мы ничѣмъ инымъ не можемъ объяснить себѣ появленія въ свѣтъ «Иванушки Дурачка» въ красивомъ изданіи, съ картинками г. Тимма. Было время, когда г. Николай Полевой очень основательно возставалъ противъ русскихъ сказокъ, которыя Пушкинъ передѣлывалъ по свѣдѣнію въ прекрасныхъ стихахъ. Г. Н. Полевой говорилъ тогда, что эти сказки хороши только въ томъ видѣ, какъ создала ихъ фантазія народа, но что передѣлывать ихъ, или поддѣлываться подъ ихъ тонъ никимъ образомъ не слѣдуетъ. И г. Полевой былъ совершенно правъ, хотя говорилъ и противъ Пушкина; а вотъ теперь онъ самъ «разсказываетъ народныя сказки довольно плохую прозою, въ которой народность прикрашена литературшествомъ и которыя къ своимъ простодушнымъ оригиналамъ относятся, какъ деревенскій мужичокъ къ городскому мѣщанину... Пушкинъ дѣлалъ то же, да не такъ: онъ перекладывалъ ихъ въ свои дивные стихи и, какъ

истинно-національный и притомъ великій поэтъ часто придавалъ имъ поэзію, которую онѣ вообще довольно бѣдны; а г. Н. Полевой лишаетъ ихъ своими передѣлками и послѣднихъ блесковъ поэзіи. Но мало ли что говаривалъ истиннаго г. Н. Полевой прежде, и что, вопреки себѣ, дѣлаетъ онѣ теперь неистиннаго?... Вспомните его прежнія статьи противъ князя Шаховскаго и его теперешнія «драматическія представленія»; вспомните его прежніе умные и благородные нападки противъ кваснаго и кулачнаго патріотизма и сравните съ ними нѣкоторыя изъ теперешнихъ его піесъ; вспомните, что писывалъ онѣ нѣкогда о невозможности дѣлать изъ повѣстей драмы—и вспомните его драму «Смерть или Честь»...

Спрашиваемъ: кому нужна «Старинная Сказка объ Иванушкѣ Дурачкѣ»? Людямъ образованнымъ? — но кто же изъ нихъ станетъ читать подобный вздоръ, если онѣ не списанъ съ разсказа простолюдиновъ, а пересказанъ купчиною, хотя бы и московскимъ? — Мужикамъ? — но они и такъ хорошо ее знаютъ и многіе умѣютъ ее разсказывать гораздо лучше г. Н. Полеваго и всякаго литератора. Притомъ же, она никому не новость. Или, можетъ-быть, она явилась для того, чтобъ всякій, кто въ состояніи заплатить за маленькую красиво изданную книжонку три гривеника, зналъ о существованіи московскаго купчины г. Н. Полеваго?... Въ такомъ случаѣ, дѣло явно идетъ о народности... жалкая народность!..

Неужели все это чистая, неподдѣльная народность: «Послушайте, добрые люди, начинается сказка, объ Иванушкѣ Дурачкѣ, тянется облако по широкому поднебесью, ходитъ вихоръ по дремучему лѣсу, а сказка гуляетъ между добрыми людьми. Хитра русская сказка. Прибаутокъ у нея, что у красной дѣвицы лентъ разноцвѣтныхъ. Приговорокъ у нея, что у пьяницы праздниковъ: что день, то праздникъ; выпить захотѣлось и праздникъ на дворѣ, а кто празднику радъ, тотъ

до свѣту пьянъ, въ обѣдъ хмѣленъ, вечеромъ опохмѣляется, — на завтра отъ головы лечится, а послѣ завтра новаго праздника ~~ждать не дождется~~? Или: «Жили въ томъ городѣ всякіе люди, — купцы честные бородатые, и плуты хитрые тороватые (?), — ремесленники нѣмецкіе, красотки шведскія, пьяницы русскіе, а въ слободахъ пригородныхъ мужички крестьяне, землю пахали, хлѣбъ заставляли, муку мололи, на базаръ возили, а выручку пропивали»?... Нѣтъ, это не народность, а жеманныя, приторныя поддѣлки подъ народность!... Вѣдь народность русская не въ одной же сивухѣ... Ужъ и это не народность ли, что «въ курантахъ гамбургскихъ пишутъ»?.. Выраженіе, прямо взятое изъ сказочнаго русскаго міра!...

Едва ли мужички наши будутъ благодарны г. Полевому за «Иванушку Дурачка»: грамотный мужичокъ ищетъ въ печатной книгѣ дѣла, а не сказокъ, на которыя онъ смотритъ какъ на пустяки, недостойные печати. Вѣдь наши мужички совсѣмъ не романтики — не въ осудъ будь сказано нѣкоторымъ нашимъ литераторамъ! Мужичокъ уважаетъ грамоту и не поддается ни купцу, ни барину, который вздумаетъ подбивать его печатными пустяками. Развѣ картинки г. Тимма? Но для мужика онѣ слишкомъ хороши, а для барина слишкомъ неудовлетворительны: карандашъ чудесный, но русскаго и сказочнаго въ немъ нѣтъ ровно ничего.

На оборотѣ заглавной обертки, г. Н. Полевой грозитъ изданіемъ и другихъ сказокъ своей работы. Вѣроятно, за нимъ потянется съ сказками цѣлая вереница мелкихъ литераторовъ и сочинителей, — и наша литература на долгое время превратится въ мужицкую сказку, такъ же, какъ она уже превратилась въ картинки г. Тимма... Долго ли еще литература наша будетъ ѣздить верхомъ на палочкѣ, въ пестрой шапкѣ съ бубенчиками?...

---

**УЧЕБНЫЙ КУРСЪ СЛОВЕСНОСТИ, съ присовокупленіемъ предварительныхъ понятій о человѣкѣ вообще, о ея познавательныхъ силахъ, о свойствахъ и связи мыслей; краткой теоріи изящныхъ искусствъ и примѣровъ во всѣхъ родахъ прозаическихъ и поэтическихъ сочиненій, составленный Василиемъ Плаксинымъ. Книга вторая. Спб. 1844.**

Мы подробно и ясно сказали свое мнѣніе о первой части «Учебнаго Курса». Это мнѣніе прилагается въ той же силѣ и мѣрѣ ко второй его части. И почему же оно измѣнится? Книга та же, сочинитель тотъ же, а до тѣхъ поръ, пока человѣкъ не выучится прыгать выше головы своей, до тѣхъ поръ достоинство произведеній будетъ равняться могуществу ихъ производителей.

Говоря о первой части, сказали мы, что въ настоящее время, т. е. въ 1844 году отъ Р. Х., при томъ объемѣ, въ которомъ словесность преподается въ университетахъ и гимназіяхъ, не только бесполезно, но даже странно являться на судъ публики съ такимъ курсомъ словесности, каковъ «Курсъ» г. Плаксина. Бесполезно, — потому что каждый преподаватель въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, вѣроятно, запасае собственными записками, если не книгой, въ которыхъ теорія краснорѣчія и поэзіи изложена удовлетворительнѣе, чѣмъ въ произведеніи г. Плаксина; странно — потому что сочинитель не дорожитъ своей извѣстностью, если онъ ее имѣлъ, предлагая учащимъ и учащимся такой скудный плодъ своей богатой опытности. Представимъ тому доказательства.

Съ тѣхъ поръ, какъ нѣмецкая эстетика опредѣлила изящное «соединеніемъ истины и блага», всѣ наши курсы словесности приняли это опредѣленіе, больше, кажется, на вѣру, нежели по надлежащемъ его объясненіи. Надобно было взять его и г. Плаксину въ «Краткую Теорію Изыщныхъ Искусствъ». Какъ

же онъ рѣшаетъ отношеніе истины къ изыщному? Онъ говорить (стр. 8):

«Часто мы принимаемъ заблужденія за достовѣрные положительныя знанія, будучи довольны мнимымъ знаніемъ; и притомъ нерѣдко съ сознаніемъ любимея вымыслами, стройною, *хорошо придуманною* (!) и *безвредною* (!! *ложью* (и ложь во спасеніе); то (за чѣмъ здѣсь *то*?) изъ сего слѣдуетъ, что только логическая истина составляетъ необходимое условіе изыщнаго. Однакожъ (прибавляетъ авторъ), свободное созданіе человѣка не можетъ (т. е. *не должно*) искажать дознанныя истины и извѣстныя опредѣленные знанія, не должно противорѣчить началамъ нравственности. Вотъ почему истина философическая и нравственная соблюдается въ изыщныхъ произведеніяхъ только отрицательно, а логическая положительно».

Въ этихъ словахъ, кромѣ лжи, есть еще противорѣчіе. Если мы «съ сознаніемъ любимея» вымыслами, стройною и безвредною «ложью», то гдѣ же здѣсь истина философская, т. е. согласіе познанія съ познаваемымъ предметомъ? Она не только не соблюдается отрицательно, но положительно отвергается. Вотъ противорѣчіе, которое привело прямо ко лжи, утверждающей, что свободное созданіе человѣка не должно искажать дознанныя истины и извѣстныя опредѣленные знанія. Замѣтимъ сначала, что дознанная истина и истина такъ же могутъ разниться между собою, какъ извѣстное опредѣленное знаніе и вѣрное знаніе. То, что вчера было для васъ истинной, можетъ завтра обратиться въ ложь. Превращеніе астрономы увѣрены были въ неподвижности земли, и, вслѣдствіе этого, г. Платинъ запретилъ бы жившимъ тогда поэтамъ изображать движеніе земли и неподвижность солнца? Ихъ произведенія были бы неизыщныя, какъ нарушающія философскую истину? Не вижу причины, почему бѣдные поэты, опережающіе иногда ученыхъ, принуждены идти по слѣдамъ дознанныхъ истинъ, которыя не всегда истинны, и основывать свои созданія на извѣстныхъ знаніяхъ, которыя современемъ окажутся невѣрными. Пушкинъ, въ одномъ изъ подражаній



Алкорану, замѣтилъ очень умно, что авторъ Алкорана плохой физикъ, но великій поэтъ. Въ балладѣ Жуковского «Ахиллъ», греческій герой изображенъ не такимъ, какъ въ «Иліадѣ», а между тѣмъ баллада превосходна. Развѣ въ идилліи Гнѣдича «Рыбаки» г. Пласинъ видитъ русскихъ рыбаковъ, живущихъ на берегахъ Невы? Однакожъ, такое искаженіе истины не помѣшало ему помѣстить это стихотвореніе въ «Курсѣ Словесности», какъ образецъ изящныхъ идиллій. Отсюда ясно, что г. Пласинъ съ чужаго голоса пропѣлъ объ истинѣ и благѣ, соединяющихся въ изящномъ, не вникнувъ основательно въ истинныя ихъ отношенія, безъ чего всегда появляется множество противорѣчій.

Всѣ эстетики строго различаютъ, въ изящныхъ произведеніяхъ, форму внѣшнюю и форму внутреннюю. Подъ первой разумѣютъ онѣ вещественное средство выражать мысли; подъ второй — тотъ образъ, въ который воплощается идея и который обыкновенно называется идеаломъ. Такъ напримѣръ, въ романѣ, внѣшняя его форма будетъ рѣчь и слогъ, короче: словесное выраженіе автора; внутреннею формою будетъ сюжетъ, т. е. происшествія и лица, въ которыхъ раскрывается какая-нибудь идея. Г. Пласинъ до того смѣшалъ эти двѣ строго различаемыя формы, что въ 10 и въ 11 параграфахъ говоритъ о формѣ внѣшней, умалчивая о внутренней, какъ будто-бы она не существуетъ, а въ пятой главѣ, объясняя историческое измѣненіе изящнаго, выходитъ на сцену съ идеаломъ, т. е. съ формой внутренней, умалчивая о внѣшней. Кто захочетъ свести и согласить два указанные нами мѣста, тотъ возьметъ на себя тяжелую обязанность!

Въ историческомъ измѣненіи изящнаго сочинитель видитъ четыре идеала: древній или греческій, въ которомъ форма вполне обнимала и ясно выражала идею; ново-европейскій, въ которомъ форма не вполне выражала идею; ново-классическій

и самобытный или національный, принадлежащий нашему времени. Куда же отнести Индійцевъ? Къ Грекамъ нельзя: въ ихъ искусствѣ нѣтъ соответствія между идеей и формой. Вычеркнуть ихъ изъ исторіи искусства — тоже нельзя: самъ сочинитель пишетъ, что у нихъ была и эпопея, и басня, и драма. Мы не знаемъ, право, какъ поступить въ такомъ щекотливомъ случаѣ. Гегель отдѣляетъ для восточнаго искусства особенный періодъ развитія, но едва ли г. Плаксинъ захочетъ слѣдовать Гегелю... Другой затруднительный вопросъ состоитъ въ томъ, чтобъ показать характеръ современнаго искусства. Названіе національный не отдѣляетъ его отъ греческаго классическаго и ново-европейскаго (романтическаго), которые были очень національны, именно, выражали народный духъ и окружающую природу. У Грековъ форма соответствовала идеѣ; въ новомъ мірѣ, въ искусствѣ романтическомъ, идея брала перевѣсъ надъ формой; ну, что жъ теперь-то? неужели форма перевѣшиваетъ идею?... Какъ вы думаете, г. Плаксинъ?...

Оставляя въ сторонѣ любопытныя разсужденія о зодчествѣ, ваяніи, музыкѣ, живописи и пр., перейдемъ къ поэзіи. Поэзію дѣлятъ различно. смотря по различнымъ основаніямъ дѣленія: это основаніе заключается или въ содержаніи произведеній, или въ ихъ формѣ, или въ ихъ характерѣ (тонѣ): для г. Плаксына этого мало; онъ ищетъ исходной точки во времени: первое самое время, и въ жизни и въ грамматикѣ, настоящее — отсюда поэзія лирическая; за настоящимъ слѣдуетъ прошедшее — отсюда поэзія эпическая; за прошедшимъ будущее — поэзія дидактическая, содержащая въ себѣ выводы и наставленія, оживленныя мечтами. Послѣдній родъ хотя противорѣчитъ понятію объ искусствѣ вообще, которое никого не составляетъ, но г. Плаксинъ часто забываетъ прежнія положенія, когда идетъ дѣло о положеніяхъ дальнѣйшихъ. Драматическая,

не имѣющая соотвѣтственнаго себѣ четвертаго времени, находить его въ прошедшемъ и настоящемъ, слѣдовательно, соединяетъ въ себѣ лирику и эпопею: это ясно!

Лирическая поэзія, по словамъ г. Плаксіна, ниже эпопеи, вѣроятно потому, что настоящее время ниже прошедшаго. Для лирики—говорить сочинитель— нужно только вдохновеніе, и въ ней почти нѣтъ никакого искусства, забывая, что если поэзія есть искусство, то искусство же и лирическая поэзія. Не знаемъ, изъ чего такъ нужно «Учебному Курсу» опредѣлять относительныя высоты разныхъ родовъ поэзіи: вѣдь это не горы, въ которыхъ высота—все, и въ которыхъ почти нѣтъ никакого искусства. Другаго рода хлопоты о сохраненіи лирическаго безпорядка: его, дѣйствительно, надобно было сохранить; онъ оправдываетъ многія драматическія произведенія, гдѣ поэты представлены растрепанными, нечесаными, и глубокомысленно подтверждаетъ мнѣніе г-на Н. Полеваго, по которому поэзія есть своего рода «безумство», и Ломоносовъ сумасшедшій. Кто не повѣритъ намъ, тотъ пусть пробѣжитъ, въ «Очеркахъ Литературы» критическую статью о сочиненіи г. К. Полеваго: «Михаилъ Васильевичъ Ломоносовъ».

Лучшій элегистъ въ «Учебномъ Курсѣ Словесности»—Батюшковъ, а за нимъ уже слѣдуетъ Жуковскій. Подобная сортировка писателей и должна была выйти изъ путаницы опредѣленій какъ лирической поэзіи вообще, такъ и родовъ ея. Вы не повѣрите, когда я скажу вамъ, что г. Плаксинъ отнесъ «Думу» Лермонтова, эту страшную сатиру, къ... балладамъ лирическимъ. Воля ваша, послѣ этого «Учебный Курсъ Словесности» есть... эпическій водевиль! Да и самое опредѣленіе поэзіи выражаетъ ли то, что дѣйствительно представляетъ поэзія? Нисколько! «Поэзія есть свободное выраженіе творческихъ помысловъ человѣка словомъ» (стр. 46). Какимъ словомъ? Вѣдь и разсужденіе выражается словомъ.

Понятіе свободное объясняетъ г. Плаксинъ слѣдующимъ образомъ:

«Геній новыхъ вѣковъ и народовъ (*а старыхъ?*) раскрываетъ творческую силу и въ человѣкѣ, и въ природѣ; по законамъ первой, онъ творитъ свободно, завися только отъ степени преобладанія своего надъ вещественными и животными силами (*что это такое?*); по законамъ второй, онъ дѣйствуетъ въ духѣ идеи Создателя. И такъ ясно (*очень ясно!*), что творческая сила человѣка можетъ создавать только въ духѣ законовъ природы, или, по крайней мѣрѣ, въ духѣ понятій о ней; а въ ознаменованіе своего торжества надъ вещественною природою облачаетъ свои созданія—идеи и помыслы—въ формы не вещественныя—слова» (Ib.)

Курьёзное и ясное толкованіе автора выражается короче такъ: «Поэзія есть свободное выраженіе, потому что геній творитъ свободно». Замѣтите, всегда такъ бываетъ, когда сочинитель говоритъ съ чужаго голоса, безсильный дать себѣ отчетъ въ истинныхъ понятіяхъ объ искусствѣ и поэзіи. Каждое слово его лишь запутываетъ мысль, и намъ отъ души становится жаль бѣдныхъ учениковъ, которые принуждены будутъ понимать толкованія своего учителя, а, можетъ быть, и затверживать ихъ. Истинно-мыслящій, сказавъ, что «поэзія есть творчество, есть та же истина, только въ образахъ», позаботился бы тотчасъ оправдать это опредѣленіе всѣми родами поэзіи, показавъ, что и эпикъ, и лирикъ, и драматикъ творятъ, воплощаютъ истину въ образы. Тогда слова автора не были бы пустотою пустотъ, бесполезнымъ повтореніемъ чужихъ, нерѣдко бессмысленныхъ опредѣленій, а шли бы очень къ дѣлу, какъ приложение общаго къ частямъ, рода къ видамъ и подвидамъ. А теперь, что мы видимъ? Г. Плаксинъ, говоря о лирической поэзіи, молчитъ о томъ, въ чемъ состоитъ ея творчество и какъ должно понимать ея образность, т. е. представленіе чувствъ и мыслей въ чувственныхъ формахъ. Вслѣдствіе этого, лирическая поэзія выходитъ у него изъ круга поэзіи вообще; ибо сказать, что «главное отличіе лиризма

состоитъ въ томъ, что онъ выражаетъ личность самого поэта, его внутреннюю жизнь, его сильные порывы души», значитъ плохо отдѣлать лиризмъ отъ другихъ родовъ поэзіи, и еще плоше отдѣлать его отъ краснорѣчія, прозы: личность поэта, внутренняя жизнь его, могутъ прекрасно выразиться въ простой біографіи, въ обыкновенной, прозаической характеристикѣ, а сильные порывы души, не составляя исключительной принадлежности всѣхъ родовъ лирической поэзіи, входятъ весьма часто въ ораторскую рѣчь.

Наговоривъ сотни удивительныхъ вещей объ эпической эпопѣ, г. Плаксинъ задаетъ себѣ таковой вопросъ: «и такъ, ежели романъ замѣняетъ у насъ эпопею, то она теперь уже невозможна?»

Вопросъ, дѣйствительно, замысловатый. Сочинитель и рѣшилъ его замысловато. Онъ сперва отрекся отъ прежняго вывода: «Романъ не замѣняетъ ея; онъ также необходимъ въ кругу нашей духовной дѣятельности, какъ эпопея у древнихъ народовъ». Потомъ продолжаетъ:

«Эпопея и нынѣ можетъ изображать первообразы (!?) религіозно-историческихъ дѣйствующихъ лицъ добродѣтелями и пороками; но при этомъ она должна или изображать такъ и нравственно-семейныя добродѣтели, или, удержавъ за собою прежнюю область свою, предоставить роману изображать идеалы дѣйствующихъ лицъ по связямъ и побужденіямъ нравственно-семейнымъ» (стр. 162).

Итакъ, одна изъ обязанностей новѣйшей эпопеи есть предоставить роману изображать идеалы дѣйствующихъ лицъ по связямъ и побужденіямъ нравственно-семейнымъ? Я думаю, что романъ и безъ дозволенія эпопеи будетъ дѣлать то, что ему слѣдуетъ дѣлать; надобно только, чтобъ и новѣйшая эпопея не совалась туда, гдѣ ей нѣтъ мѣста.

Г. Плаксинъ рѣшительно хочетъ воскресить древнюю, классическую эпопею, образцы которой такъ удачно представилъ намъ Херасковъ!

Есть ли дидактическая поэзія?...Есть, отвѣчаетъ г. Плаксинъ, и свое утвержденіе доказываетъ очень просто, хотя и не менѣ изящно.

Въ поэзіи и дидактикѣ есть противоположность, а противорѣчія нѣтъ; потому что чистой, безусловной поэзіи безъ прозы быть не можетъ, точно также какъ не можетъ быть зодчества изящнаго безъ основанія, безъ стѣнъ» (стр. 246).

Отсюда и выходитъ, что поэзія есть изящное зодчество, а дидактика — стѣны и основаніе. Эти стѣны, т. е. дидактика, должны «очаровать насъ идеею благости и красоты, или пристыдить человѣка изображеніемъ зла, разстройства и безобразія». Такъ поваръ басни Крылова, руководимый истиннымъ понятіемъ о дидактикѣ, говоритъ коту Васькѣ: «не стыдно ль стѣнъ тебѣ?» Также точно говоримъ мы о бесполезныхъ совѣтахъ человѣку, потерявшему стыдъ: «что ни дѣлай — какъ стѣнъ горохъ». Впрочемъ, при этомъ надобно помнить, что дидактика, хоть и стѣна, но не должна позволять себѣ, даже и въ баснѣ, бранныхъ выраженій. Дмитріевъ поступилъ очень дурно, начавъ свою басню «Левъ и Комаръ» такъ: «Прочь, подлѣйша тварь» (стр. 250). Вотъ въ сатиру другое дѣло; тамъ можно говорить: «шутъ, враль, пустомеля, подлець», что и видимъ въ сатиру Милонова: «на модныхъ болтуновъ». приведенной г. Плаксинымъ въ примѣръ изящныхъ образцовъ (стр. 256).

Мы хотѣли идти далѣе за г. Плаксинымъ, но рѣшительно отказываемся отъ чести шествовать по слѣдамъ этого «Учебнаго Курса Словесности», напечатаннаго — кто бы повѣрилъ, — въ 1844 году! Силъ, право, нѣтъ: надобно просто переписать всю книгу и забавляться надъ каждымъ параграфомъ, потому что ни одинъ параграфъ не стѣдитъ дѣльнаго опроверженія. И потому, взявъ это пресловутое твореніе, мы осторожно понесли его на полку и поставили рядомъ съ двумя однородными и однокровными ему теоріями: «Курсомъ Словесности» г. Греча и «Курсомъ Словесности» г. Георгіевскаго.

Теперь весь этотъ теоретическій хламъ словесности образуетъ блистательный тріумвиратъ и покомится въ нѣдрахъ пыли, прижавшись къ стѣнѣ, т. е. къ дидактикѣ...

---

**КРАТКІЯ ВЫПИСКИ** (,) *собранныя изъ лучшихъ русскихъ писателей въ пользу юношества. Спб. 1844.*

Съ нѣкотораго времени, въ русской литературѣ, или, лучше сказать, въ русской книжной торговлѣ, изобрѣтенъ весьма простой, дешевый и выгодный способъ дѣлать книги... Если хотите по этому способу составить книгу въ два, въ три дня, — надергайте изъ разныхъ писателей и писакъ прозаическихъ и стихотворныхъ отрывковъ, а маленькія стихотворенія берите цѣликомъ. Для бѣльшаго удобства, отмѣтьте все это въ книгахъ карандашомъ, и отдайте писцу переписать; потомъ представьте такимъ легкимъ образомъ составленную рукопись въ Цензурный комитетъ; затѣмъ отдайте ее въ типографію для напечатанія, а наконецъ (конецъ вѣнчаетъ дѣло) продавайте ее въ тихомолку. Для составленія такихъ книгъ не нужно ни ума, ни таланта, ни вкуса, ни даже знанія грамматики: нужно только уметь считать.

Такъ поступилъ неизвѣстный — какъ бы сказать поучительнѣе? — заимствователь, издавшій «Краткія Выписки». Онъ натаскалъ и нарвалъ отрывковъ изъ разныхъ русскихъ прозаиковъ, и хорошихъ и плохихъ, а передъ этими отрывками помѣстилъ «Нравоучительныя Мысли» собственнаго сочиненія, которыми рекомендуетъ юношеству не пить, не воровать, не шататься: и вотъ у него набралось пол-книги. Переворачиваете страницу — и видите заглавіе крупными литерами: **БАСНИ И СТИХИ**, изъ котораго заключаете, что басни — сами по себѣ, а стихи сами по себѣ, и что басни Крылова —

не стихи. Затѣмъ слѣдуетъ наборъ стихотвореній Крылова, Хемницера, Дмитріева, г. Бориса Ф(Ѳ)едорова, Мерзлякова, Ломоносова, Шатрова, Батюшкова, Жуковского, Подолинскаго, Лермонтова и Туманскаго. Для бѣльшей пользы юношества, издатель испестрилъ свою книгу-добычу знаками ударенія на каждомъ словѣ: вѣроятно, онъ имѣлъ въ виду не одно русское, но также и иностранное юношество, т. е. не одни рубли, но и франки, шиллинги и цванцигеры...

---

**ИНСТИНКТЬ ЖИВОТНЫХЪ, или письма двухъ подругъ о натуральной исторіи и нѣкоторыхъ феноменахъ природы. Сочиненіе Надежды Мердери. Четыре части. Спб. 1844.**

У насъ почти совсѣмъ нѣтъ книгъ для дѣтскаго чтенія. Ничего не можетъ быть затруднительнѣе, какъ положеніе литератора, у котораго какой-нибудь отецъ или мать спрашиваютъ, какихъ бы книгъ купить имъ для дѣтей. Чтѣ отвѣчать на подобный вопросъ? Сказать: не покупайте никакихъ, потому что всѣ онѣ никуда не годятся, — пожалуй, сочтутъ еще за одну изъ тѣхъ журнальныхъ выводовъ, къ которымъ всѣ боятся имѣть довѣріе; посоветовать купить ту или другую книжку — значитъ подвергнуться послѣ упреку за плохой совѣтъ, за дурной выборъ. Въ самомъ дѣлѣ, на чтѣ прикажете указать? Одна дѣтская книга никуда не годится ни по содержанію, ни по положенію; другая написана порядочно, по крайней мѣрѣ грамотно, но наполнена вздоромъ; третья содержитъ въ себѣ дѣло, но писана варварскимъ языкомъ; стало-быть, ни одной изъ нихъ нельзя дать въ руки дѣтямъ. Такъ, напримѣръ, книга «Инстинктъ Животныхъ, или письма двухъ подругъ о натуральной исторіи» могла бы представить дѣтямъ чтеніе пріятное и даже дѣльное; но если они будутъ читать ее, то или



мало поймутъ, или выучатся объясняться такимъ русскимъ языкомъ, какимъ говорить только главное лицо въ водевилѣ г. П. Каратыгина «Булочная». Всмотритесь въ самое заглавіе: «Инстинктъ Животныхъ. или переписка двухъ подругъ»... Какой поводъ для остротъ и насмѣшекъ! Но мы не хотимъ ни шутить, ни смѣяться. Очевидно, составительница этой книги недавно въ Россіи и еще не успѣла выучиться русскому языку, столь трудному для иностранцевъ... Чтобъ выписать изъ этой книги всѣ примѣры самаго безбожнаго искаженія русскаго языка, — надобно было бы списать отъ первой строки до послѣдней, всѣ четыре части «Инстинкта Животныхъ». И вотъ какъ пишутся у насъ книги для дѣтей! Читайте, милыя дѣти!...

---

СТИХОТВОРЕНІЯ М. ЛЕРМОНТОВА. *Часть IV. Спб. 1844.*

Говорятъ: время поэзіи прошло, и стиховъ уже никто не хочетъ читать. Не подумайте, чтобъ это говорилось гдѣ-нибудь далеко за моремъ; нѣтъ, тамъ люди давно уже на столько поумнѣли, что не говорятъ подобныхъ пустяковъ. И не мудрено: тамъ люди давно живутъ, и потому уже успѣли выжить нѣсколько истинъ, о которыхъ у нихъ никто не спорить, въ которыхъ всѣ единодушно согласились. У насъ не такъ; у насъ еще не для всѣхъ доказанная истина, что дважды-два—четыре: многіе думаютъ, что дважды-два такъ же легко могутъ производить пять и восемь, какъ и четыре. Вотъ отчего у насъ еще спорять о томъ, что наряднѣе и величественнѣе—русскіе пудовые сапоги, убитые со стороны подошвы полусотнею остроголовыхъ гвоздей и смазываемые саломъ и дегтѣмъ, или легкіе нѣмецкіе выворотные сапоги, которые лакируются ваксою; спорять о томъ, что лучше: въ нѣмецкомъ ли костюмѣ наслаждаться преимуществами, присущими человѣче-

ской натурѣ, или въ шапкѣ мурмолокъ стоять ниже челоуѣчества, во имя любви къ обычаямъ старообрядчества. Мы думаемъ, что у насъ скоро возникнетъ споръ о томъ, кого должны мы разумѣть подъ нашими праотцами — Московитовъ ли XVII-го вѣка, Славянъ ли IX-го вѣка, или Скиновъ и Сарматовъ, кочевавшихъ по сѣю сторону Азовскаго и Чернаго морей, еще въ то время, когда Мильтіадъ поразилъ ихъ родственниковъ, Персовъ, при Марафонѣ, когда на олимпійскихъ играхъ Иродотъ читалъ свою исторію, а юноша Фукидидъ плакалъ, внимая ему, — когда на тѣхъ же олимпійскихъ играхъ Пиндаръ пѣлъ свои восторженныя оды, — когда Эсхилъ, Софоклъ и Эврипидъ, зрѣлищемъ своихъ трагедій, заставляли Аѳинянъ дѣлиться съ богами блаженствомъ олимпійской жизни, — когда Фидій создавалъ статуи Зевса и Паллады, — когда Сократъ проповѣдывалъ свое ученіе народу, Димосеенъ гремѣлъ своими рѣчами, а Платонъ въ Академіи полагалъ начало ученію чистаго идеализма... Чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ, по русской пословицѣ: отыскивая родоначальниковъ Скиновъ и Сарматовъ, а потомъ родоначальниковъ ихъ родоначальниковъ, мы непремѣнно дойдемъ до Адама и, какъ истинные археологи, рѣшимъ, что намъ надо ходить въ костюмѣ Адама, чтобъ ни въ чемъ не отстать отъ своихъ предковъ. Въдь надобно же и намъ когда-нибудь быть послѣдовательными перестать противорѣчить самимъ себѣ!...

Въ ожиданіи этого вождедѣннаго и, кажется, еще весьма неблизкаго времени, обратимся къ вопросу о поэзіи. У насъ есть журналъ, который издается какъ-будто для доказательства, что стихи пишутся дѣтьми для забавы дѣтей же, — и, чтобъ быть вѣрнымъ самому себѣ, этотъ журналъ потчуетъ своихъ читателей дѣйствительно дѣтскими стихами. У насъ есть другой журналъ, который, въ противоположность первому, такъ высоко уважаетъ поэзію, что видитъ ее во всякихъ

завостренныхъ риемою, разбѣренныхъ строчкахъ, и. чтобъ тоже не противорѣчить самому себѣ, поѣщаетъ стихи, уже отзывающіеся старческою дряхлостію, и стихи даровитыхъ, но юныхъ поэтовъ — весьма юныхъ, если судить по тревожности чувства, неопредѣленности идей, по неумѣнію соглашать слова со смысломъ и другимъ признакамъ, которыми отличаются сіи плоды счастливаго досуга, несвязаннаго условіями логики и здраваго смысла. Вотъ двѣ крайнія стороны вопроса о томъ, вздоръ или важное дѣло — поэзія? Мы думаемъ, что обѣ эти крайности равно чужды истинѣ и притомъ недалеко разбѣжались другъ съ другомъ, потому что обѣ выходятъ изъ одного источника — отсутствія того органа, которымъ понимается поэзія. Мы, Русскіе, очень богаты стихами и не совсѣмъ бѣдны поэзію. По крайней мѣрѣ, въ томъ и другомъ отношеніи, мы бы должны были дойти до той разборчивости, которая любитъ одно чистое золото и уже не увлекается блестящею мишурою. И мы уже почти дошли до этого. Говоримъ почти, потому что дошли пока еще безсознательно. Публика не перестала читать стихи, но уже рѣдко перечитываетъ ихъ. Это не значить, чтобъ стихи надоели ей: это значить, что она хочетъ только хорошихъ стиховъ. А стихи теперь уже не могутъ считаться хорошими только по отношенію къ формѣ, мимо ихъ содержанія. Изъ уваженія къ заслугамъ поэта, публика, пожалуй, прочтетъ его стихи, хотя бы въ нихъ и не нашла ничего, кромѣ старыхъ, давно уже знакомыхъ ей мотивовъ и азіатскихъ сказокъ, перешедшихъ черезъ нѣмецкія руки; но перечитывать ихъ она едва ли будетъ. Изъ новыхъ талантовъ, она обратитъ свое вниманіе развѣ только на что-нибудь слишкомъ самобытное и оригинальное. Поэтому, теперь сдѣлалось очень труднымъ выйти въ таланты: мало таланта формы, мало даже фантазіи — нуженъ умъ, источникъ идей, нужна богатая натура, сильная личность, которая, опи-

раясь на самую себя, могла бы властительно приковать къ себѣ взоры всѣхъ. Вотъ что нужно теперь, чтобъ имѣть право называться поэтомъ. Послѣ Пушкина, такимъ поэтомъ явился Лермонтовъ. Онъ, какъ извѣстно, умеръ рано, и потому успѣлъ написать слишкомъ немного. Онъ дѣйствовалъ на литературномъ поприщѣ не болѣе какихъ-нибудь четырехъ лѣтъ, а между тѣмъ въ это короткое время успѣлъ обратить на свой талантъ удивленные взоры цѣлой Россіи; на него тотчасъ же стали смотрѣть, какъ на великаго поэта... И такой успѣхъ получить послѣ Пушкина!... Согласитесь, что все это отнюдь не доказываетъ, чтобъ время поэзіи прошло, и чтобъ стихи писались только для забавы пустыхъ людей. Посредственность въ поэзіи недолговѣчна; но истинная поэзія вѣчна, вкусъ къ ней никогда не пройдетъ.

Передъ нами книга, которую могутъ считать за что кому угодно — одни за книгу, другіе — за маленькую тетрадку. Тѣ, которымъ дорога память геніяльнаго поэта, которые интересуются каждымъ стихомъ, вышедшимъ изъ-подъ пера его и замѣчательнымъ для нихъ, если не въ эстетическомъ, то въ психологическомъ отношеніи, — тѣ, говоримъ, совершенно въ правѣ счесть ее за книгу. Но тѣ, которые любятъ въ поэзіи одно совершенное, безъ отношенія къ личности поэта, въ правѣ счесть ее за маленькую тетрадку. Однакожь эта маленькая тетрадка драгоцѣннѣе многихъ толстыхъ книгъ; въ ней они найдутъ піесы: «Сонъ», «Тамара», «Утѣсь», «Выхожу одинъ я на дорогу», «Морская Царевна», «Изъ-подъ таинственной холодной полумаски», «Дубовый листокъ оторвался отъ вѣтки родимой», «Нѣтъ, не тебя такъ пылко я люблю», «Не плачь, не плачь, моя дитя», «Пророкъ», «Свиданіе», — одиннадцать піесъ, всѣ высокаго, хотя и не равнаго достоинства, потому что «Тамара», «Выхожу одинъ я на дорогу» и «Пророкъ», даже и между сочиненіями Лермонтова, принадлежать къ бле-

стоящихъ исключеній... Что касается до остальныхъ десяти піесъ (изъ нихъ одна—цѣлая поэма), которыхъ мы не упоминаемъ, большая часть ихъ ознаменована то проблесками таланта Лермонтова, то отпечаткомъ его личности. и въ этомъ отношеніи всѣ онѣ чрезвычайно любопытны. Одинъ журналъ жестоко нападалъ на «Отечественныя Записки» за помѣщеніе будто-бы Лермонтовскаго хлама. дѣлаемое будто-бы изъ корыстныхъ разсчетовъ, и кончилъ эти нападки тѣмъ, что самъ, для показанія своихъ безкорыстныхъ разсчетовъ, въ одно прекрасное утро явился вдругъ съ семью стихотвореніями Лермонтова, которыя, за исключеніемъ послѣдняго, всѣ довольно слабы и изъ которыхъ два («Весна» и «Я не люблю тебя») гораздо прежде были напечатаны въ «Отечественныхъ Запискахъ». Последнее было напечатано еще въ первомъ изданіи стихотвореній Лермонтова. 1840 года, и въ первой части втораго изданія 1842 года, но передѣланное и въ лучшемъ видѣ: тамъ оно начинается стихомъ: «Разстались мы; но твой портретъ...»

Всѣ сочиненія Лермонтова сдѣлались теперь навсегда собственностью ихъ издателя, вслѣдствіе права, приобретеннаго имъ отъ наслѣдниковъ покойнаго поэта. Это обстоятельство насъ очень радуетъ, ибо ручается, что изданія сочиненій Лермонтова будутъ продолжаться безперерывно по мѣрѣ требованій со стороны публики, которымъ тоже нельзя ожидать перерыва. Равнымъ образомъ, это обстоятельство ручается сколько за то, что сочиненія Лермонтова всегда будутъ издаваться подъ хорошею редакціею и изящно въ типографскомъ отношеніи, столько и за то, что многочисленные почитатели таланта Лермонтова могутъ надѣяться увидѣть полное собраніе его сочиненій, изданное по другому плану. Что касается собственно до насъ, то, не принимая на себя права советовать, мы изъявляемъ здѣсь желаніе поскорѣе увидѣть сочиненія Лермонтова сжато изданными въ двухъ книгахъ, въ

которыхъ одна заключала бы въ себѣ «Героя Нашего Времени», а другая стихотворенія, расположенныя въ такомъ порядкѣ, чтобъ лучшія піесы помѣщены были одна за другою по времени ихъ появленія; за ними слѣдовали бы отрывки изъ «Демона», «Бояринъ Орша», «Хаджи Абрекъ», «Маскарадъ», «Уѣздная Казначейша», «Измаилъ Бэй», а наконецъ уже всѣ мелкія піесы низшаго достоинства.

Говорятъ, что въ рукахъ одного извѣстнаго русскаго литератора находится еще нѣсколько нигдѣ доселѣ ненапечатанныхъ піесъ Лермонтова. Имя этого литератора вполне можетъ служить ручательствомъ въ подлинности этихъ піесъ. Кто не пожелаетъ поскорѣ увидѣть ихъ въ печати, особенно въ новомъ и, слѣдовательно, болѣе полномъ изданіи сочиненій Лермонтова?...

---

**СТИХОТВОРЕНІЯ В. ЖУКОВСКАГО. Томъ девятый. Спб. 1844.**

Литература наша всячески бѣдна. У насъ мало гениальныхъ писателей, — да и тѣ писали и пишутъ очень мало, по крайней мѣрѣ гораздо меньше, нежели сколько можно и должно ожидать отъ ихъ средствъ; у насъ мало талантовъ, — да и тѣ писали и пишутъ еще меньше писателей перваго разряда. Самый дѣятельный и плодovitый изъ русскихъ писателей, безъ сомнѣнія—Пушкинъ. Дѣйствительно, онъ написалъ чрезвычайно много въ сравненіи съ каждымъ изъ его литературныхъ собратій; но тѣмъ не менѣе нельзя бояться утонуть въ этой безднѣ; отъ ея глубины даже и голова не закружится: количество сочиненій Пушкина безконечно уступаетъ ихъ достоинству. И причиною этому не одна только преждевременная смерть великаго поэта: онъ могъ бы написать въ четверо больше того, сколько написалъ въ продолженіе своей литературной

дѣтельности. Это частію происходило и оттого, что онъ долго не хотѣлъ вполне отдаться своему призванію — хотѣлъ казаться больше волонтеромъ литературы, нежели писателемъ и по призванію и ex-officiо вмѣстѣ. Только незадолго передъ своею кончиною, началъ онъ видѣть въ своемъ призваніи цѣль и опредѣленіе своей жизни, началъ трудиться какъ человекъ, обрекшій себя постоянному труду литературному, смотрѣть на себя, какъ на писателя по преимуществу. Это было необходимымъ результатомъ полного развитія и полной зрѣлости его таланта. Можно сказать утвердительно, не въ видѣ предположенія, что еслибъ Пушкинъ прожилъ еще десять лѣтъ, — онъ написалъ бы вдвое больше, нежели сколько написано имъ съ 1818 до 1836 года, слѣдовательно, почти въ двадцать лѣтъ, — и тѣмъ чувствительнѣе должна быть для насъ его безвременная утрата! Повидимому, какъ много произвела бездарность Сумарокова и Хераскова, а между тѣмъ это — оптический обманъ, происходящій отъ неуклюжаго и разгонистаго изданія ихъ издѣлій. Еслибъ четыре тома сочиненій Державина издать въ одной книгѣ большаго формата, сжатою печатью, въ два столбца, какъ издаются французскіе писатели, то вышла бы книжечка, по своей тонинѣ чудовищно несообразная съ ея форматомъ. Фонъ-Визинъ написалъ едвали меньше Державина, а между тѣмъ изданныя книгопродавцемъ г. Салаевымъ четыре части сочиненій Фонъ-Визина (1830 г.) вошли потомъ въ одну пристрашно тощую книжку большаго формата, компактнаго изданія въ двѣ колонны, книгопродавца Н. Глазунова (1838 г.).

Но мы почти не имѣемъ возможности пользоваться и тѣмъ, что произвела необширная дѣтельность нашихъ немногихъ писателей: всѣ они издавались и издаются у насъ такимъ образомъ, что ихъ сочиненій нельзя имѣть тѣмъ именно людямъ, которые и читаютъ книги и покупаютъ. Люди, которые были бы въ состояніи пріобрѣтать не только книги, но и цѣлыя библіо-

теки, — эти-то люди у насъ всего менѣе и всего рѣже покупають книги, особенно русскія. Наша книжная торговля держится читателями или нѣ весьма богатыми, или и просто бѣдными. Поэтому, охотники почитать и купить книгу у насъ рѣдко дозволяютъ себѣ это удовольствіе. И какъ же иначе? У насъ книги дороже золота. Вообразите себѣ, напримѣръ, учителя словесности, которому, по его профессіи, нельзя не имѣть собранія всѣхъ замѣчательнѣйшихъ писателей русскихъ, кромѣ теоретическихъ сочиненій по части преподаваемого имъ предмета; представьте себѣ журналиста, рецензента, критика, которому необходимо имѣть не только замѣчательнѣйшихъ, но и всѣхъ сколько-нибудь извѣстныхъ писателей, не исключая изъ нихъ числа ни Тредьяковского, ни Сумарокова, — необходимо имѣть ихъ для справокъ, указаній, ссылокъ, выписокъ; представьте себѣ, наконецъ, простаго любителя русской литературы, который занимается ею съ толкомъ и во всякомъ даже устарѣвшемъ, но въ свое время имѣвшемъ вѣсъ авторѣ видитъ болѣе или менѣе любопытную лѣтопись вкусовъ, понятій, нравовъ, языка, литературы прошедшаго времени: — сколько имъ надобно употребить денегъ на пріобрѣтеніе всѣхъ этихъ книгъ! Собранію сочиненій Сумарокова, въ десяти частяхъ, въ каталогѣ г. Смирдина, цѣна выставлена — сто рублей ассигнаціями! . . . Собраніе сочиненій Ломоносова, по этому каталогу, стоить шестьдесятъ рублей! . . . Собраніе сочиненій Хераскова, въ двѣнадцати частяхъ, стоить, по этому каталогу, восемьдесятъ рублей! Сочиненія Кантемира и Тредьяковского никогда не были изданы вполнѣ, и чтобъ собрать всѣ сочиненія Тредьяковского, какъ вы думаете, сколько, по каталогу г. Смирдина, должно употребить на это денегъ? — Триста тридцать восемь рублей ассигн.!... И всѣхъ этихъ писателей трудно достать по случаю, а если и удастся, то они обойдутся не слишкомъ дешево цѣны, выставленной въ каталогѣ г-на Смир-



дина. Необходимость искать и собирать нѣсколько книгъ, чтобъ имѣть полное собраніе сочиненій одного автора, тоже стоитъ потери денегъ. Купивъ собраніе стихотвореній Капниста, надо еще купить его знаменитую въ свое время комедію «Ябеда». Фонъ-Визинъ перевелъ прозою поэму Битобѣ «Юсифъ», басни Гольберга; «Жизнь Снеа, царя египтскаго», «Сидней и Силли, или Благодареніе и Благодарность», «Любовь Хариты и Полидора», «Слово похвальное Марку Аврелію» Томаса, «Торгующее Дворянство, противоволоженное дворянству военному», — и всего этого, равно какъ и «Слова на выздоровленіе Великаго Князя Павла Петровича» и стихотвореній: «Сидней» и «Матюшка Разнощикъ», — всего этого тѣсно стали бы вы искать въ «Полномъ собраніи сочиненій Д. И. Фонъ-Визина» (1838) . . . Положимъ, вамъ, въ продолженіе многихъ лѣтъ, съ потерей значительныхъ (сравнительно съ товаромъ) денегъ, удалось все это собрать: сколько нужно нѣста для помѣщенія всѣхъ этихъ книгъ, разноформатныхъ, разношерстныхъ, старинныхъ, безвкусно, неопратно-изданныхъ, разгонисто-напечатанныхъ! И все это изъ удовольствія или необходимости заглянуть въ иную изъ этихъ книгъ одинъ разъ въ три года! А новые-то писатели, напримѣръ, Пушкинъ? Полное собраніе его сочиненій, не всѣхъ собранныхъ и дурно изданныхъ какъ въ отношеніи къ редакціи, такъ и въ отношеніи типографскомъ (особенно первые восемь томовъ), стоитъ шестьдесятъ рублей! . . . Шестьдесятъ рублей полное собраніе не вполне собранныхъ сочиненій писателя, уже семь лѣтъ умершаго, — сочиненій, изъ которыхъ многія еще при жизни автора были по нѣскольку разъ изданы! Шестьдесятъ рублей — одиннадцать неуклюжихъ томовъ! . . . Когда авторъ самъ издаетъ свое сочиненіе, онъ воленъ назначить ему цѣну по своей прихоти, и вообще, большіе проценты за новостъ сочиненія — самое законное пріобрѣтеніе. Но когда творенія автора извѣстны

всѣмъ читающимъ людямъ цѣлаго народа, когда каждое изъ нихъ издавалось по нѣскольку разъ и когда, наконецъ, уже нѣтъ болѣе самого автора, — его сочиненія должны быть издаваемы вполнѣ, для всѣхъ, слѣдовательно, дешево. Восемь главъ «Онѣгина» сперва стояли сорокъ рублей; потомъ, изданный отдѣльно и вполнѣ, «Онѣгинъ» продавался по десяти рублей, а наконецъ — по пяти: теперь не худо было бы, еслибъ хорошенькое изданіе этой поэмы можно было имѣть за 50 или 40 коп. серебромъ. Посмотрите, какъ за границею издаются классическіе писатели. Огромный томъ превосходнаго компактнаго изданія въ двѣ колонны стѣдитъ не дорожѣ десяти рублей. Превосходнѣйшее изданіе всего Байрона въ Лондонѣ стоитъ восемь рублей. Къ полному собранію сочиненій извѣстнаго писателя тамъ прилагается его біографія, писанная извѣстнымъ литераторомъ; примѣчанія и комментаріи почитаются тоже необходимою подобныхъ книгъ. Въ изданіе полныхъ сочиненій Байрона, о которомъ мы сей часъ говорили, вошли не только даже слабыя и неудачныя произведенія этого поэта, каковы: «Часы Праздности», не только его письма, но и всѣ критики и антикритики, написанныя, при его жизни, по поводу каждаго изъ его произведеній. Скажутъ: сочиненія Байрона — теперь въ Англіи общее достояніе, и издателю не нужно платить денегъ за право ихъ изданія, тогда какъ произведенія бѣльшей части лучшихъ нашихъ писателей составляютъ собственность или самихъ ихъ, или ихъ наслѣдниковъ, и потому еще не можетъ быть хорошихъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, дешевыхъ изданій сочиненій, напримѣръ, Карамзина и Пушкина? — Это правда; но, во первыхъ, почему не желать хотя дорогихъ, за то хорошихъ и полныхъ изданій Карамзина и Пушкина? А во вторыхъ, почему досихъ поръ еще нѣтъ компактнаго изданія сочиненій Державина, которое, будучи полно, снабжено хорошимъ портретомъ, хорошо написанною біографіею этого поэта и необходимыми

примѣчаніями въ поясненіе текста его твореній, стоило бы не дороже полутора рубля серебромъ? Вѣдь уже слишкомъ три года, какъ сочиненія Державина сдѣлались общимъ достояніемъ! Почему нѣтъ такого же изданія сочиненій Ломоносова, отъ смерти котораго протекло уже 79 лѣтъ? Мы даже думаемъ, почему бы не быть компактнымъ изданіемъ всѣхъ русскихъ писателей, которые хотя только въ свое время пользовались большою извѣстностію, а теперь забыты, каковы: Кантемиръ, Тредьяковский, Сумароковъ, Херасковъ, Петровъ, Бобровъ? Французы, въ этомъ отношеніи, могли бы служить намъ образцомъ, подражаніе которому не было бы ни смѣшно, ни бесполезно. Вѣдь они издають же, напримѣръ, Деланля? И хорошо дѣлають: кто ничего не видитъ для себя въ Деланля, тотъ пусть и не читаетъ его; но зачѣмъ же лишать удовольствія читать его тѣхъ, которые могутъ находить удовольствіе, читая его? И мы не безъ основанія думаемъ, что въ Россіи теперь еще не мало почтенныхъ пожилыхъ людей, которые Сумарокова, Хераскова и Петрова считаютъ великими писателями, гораздо выше Пушкина, и которые обрадовались бы возможности пріобрѣсти за дешевую цѣну въполнѣ, опрятно, хорошо изданныя вновь сочиненія этихъ корифеевъ добраго стараго времени. Сверхъ того, подобныя изданія были бы нелишними въ бібліотекахъ казенныхъ учебныхъ заведеній, были бы необходимы для всѣхъ занимающихся русскою литературою по страсти, или ex-officio. Можно имѣть современныя понятія объ эстетическомъ достоинствѣ сочиненій Сумарокова, Хераскова и Петрова, но нельзя лишать ихъ всякаго значенія. Правда, со стороны содержанія, скоро выдохлись и сочиненія писателей помѣнее этихъ трехъ, и потому весьма естественно скорое охлажденіе къ нимъ вслѣдъ за ними же immediate вынабій, которымъ не чувствовалъ никакого осязательной связи интереса между ихъ сочиненіями и своимъ собственнымъ

потребностями, и которыя имѣли всѣ причины болѣе смотрѣть впередъ, нежели оглядываться назадъ. Но, съ другой стороны, нельзя не согласиться, что и сочиненія такихъ писателей, какъ Сумароковъ, Херасковъ, Петровъ, Княжнинъ, не лишены своего интереса; они — болѣе или менѣе живая лѣтопись вкусовъ, понятій, нравовъ, литературы и языка прошедшаго времени. Въ отношеніи къ языку, даже Тредьяковскій не лишенъ для насъ интереса. Сверхъ того, всякій успѣхъ основывается на какомъ-нибудь правѣ и всегда болѣе или менѣе заслуженъ. Въ царствованіе Екатерины, были довольно плодovitые писатели и кромѣ тѣхъ, которыхъ мы сейчасъ назвали, однако они не пользовались почти никакою извѣстностію, тогда какъ современники Сумарокова называли его побѣдителемъ Лафонтена, Расина, Вольтера; Петровъ ставился почти наравнѣ съ Державинимъ, а о Херасковѣ вотъ что написалъ человѣкъ уже другаго поколѣнія, товарищъ и сподвижникъ Карамзина—Дмитріевъ:

Пускай отъ зависти сердца злоловъ ноютъ:  
Хераскову они вреда не нанесутъ;  
Владиміръ, Іоаннъ щитомъ его покроютъ  
И въ храмъ безсмертія проведутъ.

Какъ бы то ни было, но людямъ, которые пользовались единодушнымъ, хотя и преувеличеннымъ, уваженіемъ своихъ современниковъ, потомство не можетъ, безъ несправедливости, отказать если не въ уваженіи, то во вниманіи, — и если въ школахъ считаютъ нужнымъ и полезнымъ преподавать, между прочимъ, и исторію русской литературы, то, знакомя учениковъ съ именами писателей, не худо было бы знакомить и съ ихъ сочиненіями, — хотя бы для того только, чтобъ они имѣли какую-нибудь возможность понять, за что учитель хвалитъ или не хвалитъ этихъ писателей. А это рѣшительно невозможно безъ изданій, о которыхъ мы разговаривали.

Компактныя изданія въ большую восьмушку, въ два столбца—превосходное изобрѣтеніе: оно даетъ возможность дѣлать дешевыя дорогія книги. Если тотъ или другой авторъ написалъ довольно для наполненія такой большой книги, — пусть онъ будетъ изданъ отдѣльно. Писавшихъ мало можно соединять по нѣскольку въ одной книгѣ, съ общимъ заглавнымъ листкомъ, гдѣ бы выставлены были ихъ имена, подъ общою нумераціею. Такимъ образомъ, въ одну книгу можно было бы соединить сочиненія Поповскаго, Дашковой, Баркова, Эмина, Кострова, Майкова, Аблесимова, Плавильщикова, Богдановича, Хемницера, Нелединскаго-Мелецкаго, Боброва, Долгорукаго, Подшивалова, Муравьева (М. Н), и другихъ. Другая книга соединила бы писателей другаго поколѣнія—Макарова, Буринскаго, Мартынова, Кавниста, Дмитріева, Озерова, Воейкова, Пнина, Сумарокова (Панкратія), В. Пушкина, Милонова, Крюковского, Измайлова (А.), Ильина, Иванова и другихъ. Такъ какъ мы пишемъ здѣсь не планъ такого изданія, а только предлагаемъ мысль о возможности и пользѣ его, то и не отвѣчаемъ за точность и опредѣленность раздѣленія книгъ по писателямъ, сочиненія которыхъ должны туда войти. Мы не считаемъ излишнимъ и изданіе Шишкова, сочиненія котораго интересны по ихъ полемическому характеру и еще какъ живой фактъ для сужденія о реформѣ, произведенной Карамзинымъ въ русскомъ языкѣ и русской литературѣ. Весьма было бы полезно компактное изданіе (въ двухъ или — уже много — трехъ книгахъ) «Дѣяній Петра Великаго» Голкова, потому что новое изданіе ихъ неполно (въ чемъ издатель нисколько не виноватъ) и дорого (потому что оно не компактное), а старое изданіе и уродливо и рѣдко. Мы думаемъ еще, что труды такихъ людей, какъ Феофанъ Прокоповичъ, Конисскій, Бецкій, Рычковъ, Румовскій (переводчикъ Тацита, котораго новаго перевода намъ, кажется, не дожидаться).

Лепехинъ, Миллеръ, Озерецковскій, Головинъ и другіе, очень бы стояли новаго изданія, — особенно при теперешней бѣдности русской литературы. Все это интересно, и всего этого нельзя достать.

Читатели не удивятся, что на эти мысли навелъ насъ девятый томъ «Стихотвореній В. Жуковскаго», если мы скажемъ, что первыхъ восьми томовъ сочиненій этого поэта теперь почти нѣтъ въ лавкахъ, и что теперь ихъ нельзя приобрести дешевле сорока пяти рублей... Кто не желалъ бы имѣть у себя собранія сочиненій Жуковскаго? скажемъ болѣе: кто изъ образованныхъ людей не обязанъ имѣть ихъ? — И между тѣмъ, всѣ ли, многіе ли въ состояніи приобрести ихъ? Мы въ этомъ никого не винимъ, ни на кого за это не жалуемся: мы только показываемъ неопровержимое существованіе факта, что сочиненія Жуковскаго немногіе могутъ имѣть, и что занятіе русскою литературою для людей небогатыхъ крайне разорительно. Въ этомъ мы видимъ одну изъ причинъ холодности русской публики къ русской литературѣ и жалкаго состоянія книжной русской торговли. Иному нужно имѣть сочиненія Жуковскаго; приходитъ онъ въ русскую книжную лавку. Чтѣ стоятъ? — Сорокъ пять рублей. Дорого! и купилъ бы, да не на что! Тотъ же читатель заходитъ мимоходомъ во французскую книжную лавку; видитъ, между прочимъ, парижское компактное изданіе — «Oeuvres complètes de Sterne. — Oeuvres choisies de Goldsmith. Nouvelle édition, ornée de huit vignettes, revue et augmentée de notices biographiques et littéraires par Walter Scott, traduites par M. Francisque Michel». Развертываетъ — изданіе красиво, изящно; виньетками названы — прекрасный гравированный портретъ Стерна и семь прекрасныхъ гравированныхъ картинокъ. Чтѣ стоитъ? Десять рублей. Еслибъ и не нужно было этой книги, — нельзя не соблазниться, не купить, хотя бы подъ опасеніемъ быть

обыкновенный въ пристрастіи къ лукавому Западу и въ равнодушіи къ русской словесности...

Сочиненій Жуковского было нѣсколько изданій; но изъ нихъ полное только одно, въ которомъ, впрочемъ, нѣтъ его переводовъ прозою («Переводы въ Прозѣ В. Жуковского». Пять частей. Москва. 1816 — 1817 года). Первые пять томовъ были изданы въ Петербургѣ въ 1835 году, подъ титуломъ «Стихотворенія В. Жуковского»; седьмой томъ изданъ тоже въ 1835 году, подъ титуломъ «Сочиненія В. Жуковского»; шестой томъ «Стихотвореній» въ 1836, а восьмой (тоже «Стихотвореній») — въ 1837; теперь вышелъ девятый томъ. Онъ заключаетъ въ себѣ уже извѣстныя публикѣ новыя стихотворенія знаменитаго поэта: «Налъ и Дамаянти», индійская повѣсть, съ нѣмецкаго; «Камоенсъ», драматическій отрывокъ, подражаніе Гальму; «Сельское Кладбище», Греева элегія, новый переводъ; «Бородинская Годовщина»; «Молитвой нашей Богъ смягчился»; «Цвѣтъ Завѣта». Если этотъ томъ объемлетъ собою и всю дѣятельность поэта отъ 1838 до 1844 года, то нельзя сказать, чтобъ онъ теперь меньше писалъ, нежели прежде, потому что эти всѣ девять томовъ (за исключеніемъ переводовъ въ прозѣ, написаны имъ въ продолженіи сорока лѣтъ. Самый избытокъ достоинства въ сочиненіяхъ Жуковского еще болѣе заставляетъ сожалѣть объ умѣренности въ ихъ количествѣ. Публикѣ извѣстно наше мнѣніе о значеніи этого поэта въ русской литературѣ (Ч. VIII стр. 145—249). Оно велико: Жуковскому принадлежитъ честь введенія романтизма въ русскую поэзію. Романтикъ по натурѣ, Жуковский и доселѣ остался романтикомъ по преимуществу. Отсюда великія достоинства и нѣкоторые недостатки его поэзіи. Какъ бы чувствуя самъ, что уже прошло время для романтической поэзіи, Жуковский, обремененный заслуженными лаврами, является теперь на поэтическое поприще болѣе какъ ветеранъ поэзіи, нежели,

какъ воинъ, состоящій въ дѣйствительной службѣ. Его теперь особенно занимаетъ не сущность содержанія, а простота формы въ изящныхъ произведеніяхъ, — и надобно сказать, что въ этой простотѣ съ нимъ было бы трудно состязаться какому угодно поэту. При этой простотѣ, которой единственный недостатокъ состоитъ въ томъ, что она нѣсколько искусственна (потому что и самая простота можетъ быть искусственна, если за нею будете усиленно стремиться) — при этой простотѣ, стихъ Жуковского такъ легокъ, прозраченъ, тепелъ, прекрасенъ, что, благодаря ему, вы можете прочесть отъ начала до конца «Наль и Дамаянти» — индійскую поэму съ нѣмецко-романтическимъ колоритомъ — къ совершенному вашему удивленію, несмотря на то, что вы привыкли требовать отъ поэзіи пищи не одному вашему чувству, или одной фантазіи, но и уму. Прочтите отрывокъ изъ довольно посредственной драмы Гальма «Камоенсъ», и вы опять удивитесь стиху Жуковского, и поймете, что поэтъ, владѣющій такимъ стихомъ, можетъ быть не слишкомъ строгимъ въ выборѣ піесъ для переводовъ. Говорятъ, Жуковский переводитъ теперь «Одиссею» съ подлинника: утѣшительная новость! При удивительномъ искусствѣ Жуковского переводить, его переводъ «Одиссеи» можетъ быть образцовымъ, если только поэтъ будетъ смотрѣть на подлинникъ этой поэмы прямо по-гречески, а не сквозь призму нѣмецкаго романтизма.

Изданіе девятаго тома «Стихотвореній В. Жуковского» прекрасно во всѣхъ отношеніяхъ. Жаль только, что при оглавленіи не выставлено страницъ; это облегчило бы приписываніе піесы, которая нужна; но это, вѣроятно, вина редактора, а не издателя.

---



АРХАНГЕЛЬСКИЙ ИСТОРИЧЕСКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБОРНИКЪ, издаваемый Флегонтомъ Вальневымъ. Сиб. 1844.

О радость, о восторгъ! наконецъ мы можемъ воскликнуть  
виѣсть съ Пушкинскимъ графомъ Нулинымъ:

Нѣтъ! право? такъ у насъ умы  
Ужъ развиваться начинаютъ.  
Дай Богъ, чтобъ просвѣтились мы!

Доселѣ, изъ всѣхъ губернскихъ городовъ, только Харьковъ снабжалъ насъ, виѣсть со всякими сырыми произведеніями, — и стихами, и прозою, и поэтами, и сочинителями, и поэмами, и альманахами, а теперь, о чудо! и гиперборейская губернія возымѣла снѣлое намѣреніе — не отстать отъ Петербурга и Москвы въ дѣлѣ... литературномъ. Было время, когда въ этой странѣ льдовъ и сѣвернаго сіянія явился сынъ рыбака, гениальный Ломоносовъ. отецъ русскаго слова и русскаго учения; но съ тѣхъ поръ берегъ, омываемый холодными волнами Бѣлаго моря, рѣшился производить только снѣлыхъ путешественниковъ, рыбаковъ, артельщиковъ, переводчиковъ на Невѣ и проч.; съ тѣхъ поръ не родилось на немъ, кажется, ни одного поэта, ни одного ученаго. И нельзя не похвалить за это рѣшеніе бѣломорскаго побережья: послѣ Ломоносова, ему надобно было или — произвести что-нибудь въ уровень съ этою великою натурою, если не больше ея, или — ничего не производить. Харьковъ не стыдись можно сотнями производить мелкихъ поэтовъ: Харьковъ не произвелъ ни одного великаго поэта, исключая Гринка Основьяненка, который, только за отсутствіемъ великихъ писателей, временно состоялъ въ родѣ замѣчательнаго рассказчика. Но Архангельскъ, отстоящій отъ Холмогоръ только на 72 версты, Архангельскъ не могъ, безъ ункшенія своего достоинства, производить мелкихъ поэтовъ и писакъ — этихъ пискарей и снѣжковъ литературнаго моря, —

тъмъ болѣе, что Архангельскъ стоитъ на берегу Бѣлаго моря, въ которомъ водятся киты. Однако, не выдержалъ Архангельскъ: позавидовалъ онъ литературной славѣ Харькова, и, будучи не въ состояніи произвести опять одного Ломоносова, вдругъ, разомъ произвелъ нѣсколькихъ мелкихъ поэтовъ—гг. Борисова, Истомина, N. N., Ширкова, и пятерыхъ мелкихъ прозаиковъ—гг. Валнева (онъ же и издатель сборника), Фондёръ-Лауница, Вячеславлева, Зейде, Иваницкаго. Г. Борисовъ особенно замѣчателенъ между всѣми этими поэтами и прозаиками: онъ вмѣстѣ и поэтъ и прозаикъ. Вотъ въ чемъ дѣло: въ оглавленіи «Архангельскаго Сборника» прозаическія статьи поименованы особо отъ стихотвореній, и переводъ стихами г. Борисова «Сцены изъ драмы Шиллера: «Вильгельмъ Тель», помѣщенъ въ оглавленіи прозаическихъ статей, — вѣроятно, въ ознаменованіе того, что стихотворный переводъ г. Борисова прозаиченъ, — въ чемъ придумавшій это оглавленіе и не ошибся.

Мы сказали, что наши губернскіе города съ нѣкотораго времени не отстаютъ отъ столицъ въ дѣлѣ литературномъ. «Архангельскій Сборникъ» служитъ прекраснымъ доказательствомъ справедливости такого мнѣнія. Вотъ вамъ навидержку стихотвореніе—«Не веселъ я»:

Не веселъ я! отдайте жъ мнѣ обратно  
 Пылъ прошлой юности, ея волшебный міръ  
 Съ надеждами, съ любовью *необъятной!*...  
 Пусть снова, *опытомъ развѣнчанный кумиръ*,  
 Кумиръ грядущаго *мечтой озолотится*,  
 Чтобъ вновь предъ нимъ, колѣна преклоня,  
 Я могъ ему и вѣрить и молиться  
 Съ душой и сердцемъ полными огня.  
 Пусть снова будутъ тайной для меня  
 Любви земной и нѣга и желанья  
 И трепетъ робости въ взволнованной груди,  
 И упоенье перваго лобзанья...

Пусть снова ждать меня все это вперед;  
 Тогда... но нѣтъ еще... не здѣсь конецъ условью;  
 Сродните душу нѣтъ, уснувшую во мглѣ(.)  
 Вновь съ теплою вѣтрою и чистою любовью  
 Къ всему высокому, святому на землѣ;  
 Тогда, тогда лишь я, въ восторгѣ упоены  
 Прийму отъ васъ бокалъ кипящаго вина;  
 Явлюся съ золотомъ предъ жрицу наслажденія,  
 Усну безъ тяжкихъ грезъ на наклонъ ложа сна.

Какое? Читѣть хуже нашихъ столичныхъ романтиковъ? Стихъ гладокъ, фразы хоть и истертыя отъ частаго употребленія, но современные: есть и развѣнчанный опытомъ кумиръ, есть и озолоченный мечтою кумиръ грядущаго, и взволнованная грудь, и упоенье перваго лобзанія, и теплая вѣтра и чистая любовь къ всему высокому и святому на землѣ, вѣстѣ съ жрицею наслажденія... Да это все точь въ точь какъ у насъ въ Петербургѣ, и какъ не у насъ въ Москвѣ... Ни хорошо, ни дурно — середка на половинѣ. Тѣ же приемы, тѣ же мотивы, та же ложность чувства, тѣ же истасканные мысленники, та же пустота содержанія — все то же самое! Забудьте только эту черту: если вы выполните всѣ условія, предлагаемыя вамъ сочинителемъ, т. е., возвратите ему, во верныхъ, «озолоченный мечтою кумиръ грядущаго» (что это за іероглифъ—предоставляемъ вамъ самимъ разгадать), «что бы онъ», сочинитель, «могъ ему вновь и вѣрить и молиться, и чтобы нѣга и желанія земной любви вновь стали для него тайною», да при этомъ, сродните «его уснувшую во мглѣ душу съ теплою вѣтрою и чистою любовью къ всему прекрасному и святому на землѣ»: — тогда онъ, г. сочинитель, архангелогородскій романтикъ, «приметъ отъ васъ бокалъ кипящаго вина, возьметъ золото и придетъ съ нимъ къ жрицѣ наслажденія» (что по-французски называется une fille de joie)... Зачѣмъ тутъ нужно золото, — вы безъ труда отгадаете: зачѣмъ, чтобы

достойнымъ романтика образомъ отпраздновать обрѣтеніе теплой вѣры и чистой любви къ всему высокому и святому на землѣ... Видно, нынѣшніе господа-романтики вездѣ одинаковы, отъ холоднаго Архангельска, до пламеннаго Харькова, по тракту черезъ Петербургъ и Москву!...

Довольно о стихахъ; обратимся къ прозѣ. Въ ней замѣтнѣе отпечатокъ провинціализма. Повинуясь духу времени, наши архангелогородскіе прозаики расточаютъ въ своихъ повѣстяхъ уже не романтическіе ужасы, какъ бывало, но юморъ домашняго архангелогородскаго издѣлія. Въ повѣсти «Суженые», г. Иванецкаго, сочинитель могъ бы съ успѣхомъ коснуться многихъ сторонъ провинціальной жизни, но по губернскому обыкновенію, въ одномъ не досалилъ, въ другомъ пересолилъ. «Волонтеръ», рассказъ подъячаго, блеститъ еще болѣе наивнымъ юморомъ и обнаруживаетъ еще большія претензіи смѣшить насмерть. Сочинитель этого рассказа, г. Вячеславлевъ, объясняетъ своимъ читателямъ, по какому случаю онъ возымѣлъ къ господамъ-военнымъ такое уваженіе, что дрожитъ въ ихъ присутствіи и позволяетъ имъ на улицѣ, среди бѣлаго дня, сплывать съ него, г. Вячеславлева, шапку и употреблять съ нимъ тому подобныя продѣлки. Онъ, видите ли, разъ собрался на войну въ качествѣ волонтера, и оказалъ опыты примѣрной трусости. Но все это было во снѣ: свалившись съ постели на полъ, онъ почувствовалъ, что его подушка мокра — видно во что-нибудь попала... Все это очень замысловато... «Бассорская Вдова» восточный апологъ г. Вальнева, есть одна изъ тѣхъ восточныхъ пошлостей, которыя могутъ забавлять только дѣтей — и то маленькихъ, очень маленькихъ. Но «Санъ-Доминго де-ла-Кальпода» испанская легенда Тромлица, переведенная г-мъ Фонъ-деръ Лауницемъ, по совершенной нелѣпости, не годится даже и для дѣтей. «Монополія» анекдотъ временъ Екатерины Великой, очень любопытенъ по содержанію, но из-

ложенъ надутымъ слогомъ дурнаго тона. «Гунчилда, королева норвежская» — довольно пустая статья, въ которой какой-то шведскій археологъ, соблазняется повѣрить исторической догадкѣ, ничѣмъ не оправдываемой. Статья эта довольно дурно переведена г-мъ Зейде. Мы попросили бы архангелогородскаго переводчика растолковать намъ, что значать фразы въ родѣ слѣдующихъ: «Открылось, что трупъ былъ женскій, судя по значительному образованію формъ»; «внутренность вся разложилась. Преимущественно сохранились всѣ части организма, кожа и кости» (стр. 104).

---

**НА СОНЪ ГРЯДУЩІЙ.** *Отрывки изъ вседневной жизни.*  
 Томъ I. Сочиненіе графа В. А. Соллума. Спб. 1844.

Изрѣдка явится въ толстомъ журналѣ хорошая оригинальная повѣсть, хорошее стихотвореніе; потомъ авторъ издастъ отдѣльную книгою свои повѣсти, или свои стихотворенія, въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ помѣщавшіяся въ журналахъ; далѣе — новыя изданія этихъ повѣстей и стихотвореній, или новыя изданія прежнихъ писателей: вотъ въ чемъ заключается все движеніе изящной русской литературы нашего времени. За исключеніемъ этого, все мертво и пусто; даже посредственность и бездарность, столь дѣятельныя прежде, теперь дѣйствуютъ лѣнливо и робко. Впрочемъ, въ этомъ есть своя хорошая сторона: лучше немного истинно хорошаго, нежели много посредственнаго и дурнаго. Мы не разъ уже говорили, что бѣдность современной русской литературы гораздо значительнѣе и плодотворнѣе, нежели прежнее ея богатство, потому что причина этой бѣдности, между прочимъ, заключается и въ томъ, что публика сдѣлалась взыскательнѣе и разборчивѣе, а для авторства сдѣлался необходимымъ талантъ. Таланъ

ты же не съются, а сами родятся. Прежде быть талантомъ ничего не стоило, и новостъ принималась за одно съ достоинствомъ. Дѣйствительно, новаго тогда было очень много сравнительно съ нашими временемъ; но цѣнность этого «новаго», которое теперь такъ устарѣло, уже опредѣляется совсѣмъ по другимъ основаніямъ. «Сѣверные Цвѣты» считались, въ свое время, лучшимъ русскимъ альманахомъ; появленіе этой крохотной книжки, въ продолженіе семи лѣтъ, было годовымъ праздникомъ въ литературѣ, къ которому всѣ приготавлились заранее, журнальными и словесными толками. И чтѣ же было въ этомъ альманахѣ? Въ отдѣлѣ прозы совершенное ничтожество — статьи г. Ореста Сомова, аллегоріи г.  $\Theta$ . Глинки и тому подобныя невинныя литературныя опыты; а сколько балласта въ отдѣлѣ стиховъ! Хорошаго только и было, что стихотворенія Пушкина, Жуковского, да нѣсколько стихотвореній Баратынскаго: почти все остальное дышало такою посредственностью, такимъ ничтожествомъ, что не можешь довольно надивиться, безтребовательности тогдашней публики. А между тѣмъ, сколько было и другихъ альманаховъ, которые пользовались тогда значительнымъ успѣхомъ и которые были еще хуже «Сѣверныхъ Цвѣтовъ»! Какого шума надѣлали своимъ появленіемъ повѣсти Марлинскаго, которыя теперь наводятъ зѣвоту даже на бывшихъ поклонниковъ этого фосфорическаго краснослова! И въ то же время со вниманіемъ читали отрывки изъ историческаго романа г. Б. Ф(Ѳ)едорова — «Андрей Курбскій», и заранее видѣли въ его сочинителѣ русскаго Вальтеръ Скотта. И въ то же время были въ восторгѣ отъ «Гайдамаковъ» Порфирія Байскаго, изрѣдка потчивавшаго публику гомеопатическими отрывками изъ этого романа, которому не суждено было выйти изъ отрывочнаго существованія. И въ то же время читали и «Ягуна Скупалова» и «Удивительнаго Человѣка» и «Записки Москвича», говорили и спорили о

нихъ. И въ тоже время авторъ «Монастырки» снискалъ себѣ безсмертную славу. Повѣсти гг. Погодина и Полеваго имѣли своихъ жаркихъ поклонниковъ, особенно повѣсти послѣдняго. Первыя отличались народностью: отъ нихъ такъ и несло кислю капустою; языкъ ихъ прямо, цѣликомъ перенесенъ былъ на бумагу съ базара; вторыя — электрическою смѣсью само-дѣльной идеальности и высшихъ взглядовъ, съ нѣмецкою сентиментальностью по манеру Клаурена. Гдѣ все это, и что теперь во всемъ этомъ? Альманахи перевелись изъ моды, потому что слава видѣть себя въ печати потеряла цѣну даже и въ глазахъ мальчиковъ; а хорошія статьи перестали давать gratis. Повѣсти, о которыхъ мы говорили, какъ чахоточныя дѣти всѣ перемерли прежде отцовъ своихъ. Повѣсти Гоголя измѣнили вкусъ публики, дали новое направленіе литературѣ и погубили во цвѣтѣ лѣтъ много повѣстей и романовъ старой школы. Писать стало мудрено, успѣхъ сдѣлался труденъ. Прежніе повѣствователи и рассказчики потеряли кредитъ, исключая тѣхъ, которые догадались своротить съ старой тропы на новую дорогу. Насталъ чередъ новому поколѣнію.

Намъ скажутъ: много ли гениевъ и талантовъ явилось изъ новаго поколѣнія? много ли великихъ твореній произвело оно, и не та же ли участь, не то же ли забвеніе ожидаетъ и его столь хвалимыя и такъ читаемыя теперь произведенія? Мы можемъ отвѣчать на этотъ вопросъ со всею искренностію и безъ всякаго самолюбиваго обольщенія. Гениевъ изъ новаго поколѣнія не явилось ни одного, за исключеніемъ автора «Героя Нашего Времени»; талантовъ явилось тоже немного, да и написано ими тоже не слишкомъ много. Долго ли они будутъ читаться — не знаемъ; но что ихъ повѣсти проживутъ гораздо дольше повѣстей, о которыхъ мы говорили, это для насъ ясно. И вотъ почему: покуда оставляя въ сторонѣ вопросъ о талантѣ, есть огромная разница между направленіемъ, мане-

рою, духомъ и содержаніемъ повѣстей старой и новой школы. Эту разницу можно опредѣлить въ немногихъ словахъ: прежнія повѣсти изображали міръ, существовавшій только въ фантазіи ихъ авторовъ, тогда какъ повѣсти нашего времени изображаютъ дѣйствительную жизнь. Литература, въ которой нельзя видѣть вѣрнаго зеркала общества, не стоитъ вниманія людей мыслящихъ и можетъ служить только невинною забавою людямъ недалекимъ. Чтобы фактически показать существенную разницу между повѣстями старой и новой школы, укажемъ на нѣкоторые изъ новыхъ произведеній въ этомъ родѣ. Скажите: какая изъ прежнихъ повѣстей можетъ быть перечитана послѣ, на примѣръ, «Колбасниковъ и Бородачей», повѣсти Луганскаго, — писателя не изъ новаго поколѣнія, но даровитаго и, къ счастью, оставившаго свое прежнее ложное направленіе для новаго и лучшаго? Была ли прежде хоть одна повѣсть, которая заслуживала бы какого-нибудь вниманія послѣ «Послѣдняго Визита», повѣсти псевдонима Нестроева? Скажемъ болѣе: въ какой изъ прежнихъ повѣстей найдется столько поразительно вѣрныхъ дѣйствительности чертъ, столько дѣльныхъ сторонъ, какъ въ «Чайковскомъ», повѣсти г. Гребенки?... Повѣсти г. Панаева, столь жадно читаемыя теперешнею публикою, не отличаются ни разнообразіемъ, ни особеннымъ присутствіемъ въ нихъ чисто-поэтическаго, чисто-творческаго элемента, — и между тѣмъ, какою аркадіею кажутся передъ ними прежнія повѣсти, какое на ихъ сторонѣ преимущество передъ прежними повѣстями во взглядѣ на вещи, въ дѣльности направленія, въ меткой наблюдательности!

Графъ Соллогубъ занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ между писателями повѣстей новой школы. Это талантъ рѣшительный и опредѣленный, талантъ сильный и блестящій. Поэтическое одушевленіе и теплота чувства соединяются въ немъ съ умомъ наблюдательнымъ и вѣрнымъ тактомъ дѣйствительности. Какъ



всѣ истинные таланты, онъ не гоняется за необыкновенными идеалами и умѣетъ находить матеріалы для поэтическихъ созданий въ той прозаической сущности, которая у всѣхъ передъ глазами, но въ которой только немногіе провидятъ и жизнь и поэзію. Въ основѣ почти каждой его повѣсти лежитъ мысль, которая одна даетъ полноту и цѣлость сюжету. Поэтому, очень трудно пересказывать содержаніе повѣстей графа Соллогуба: въ нихъ важны не завязка съ развязкою, не вѣншее событіе, а то внутреннее созерцаніе, котораго сюжетъ служить только выраженіемъ и которое постигается и оцѣнивается только созерцаніемъ же. Поэтому, художественное достоинство повѣстей графа Соллогуба преимущественно заключается въ подробностяхъ и колоритѣ. По нашему мнѣнію, нѣтъ поэзіи и творчества, нѣтъ мысли въ той повѣсти, которую вы знаете, если вамъ рассказали ея сюжетъ. Поэтическая повѣсть не пересказываема: ее надо читать, чтобъ узнать ея содержаніе.

Повѣсти графа Соллогуба такъ извѣстны нашей публикѣ, что нѣтъ никакой нужды слишкомъ распространяться о каждой изъ нихъ въ особенности. Графъ Соллогубъ началъ писать съ 1837 года. Первые его опыты: «Три Жениха», «Два Студента» и «Серѣжа» — не болѣе, какъ довольно удачные опыты. «Исторія двухъ Калошъ» была первою повѣстью графа Соллогуба, обратившею на его талантъ общее вниманіе. «Большой Свѣтъ» упрочилъ это вниманіе за авторомъ «Исторіи двухъ Калошъ». Поименованныя нами повѣсти составляютъ содержаніе перваго тома «На Сонъ Грядущій». Всякій истинный талантъ развивается и идетъ впередъ: поэтому очень естественно, что второй томъ этой книги далеко превосходитъ первый въ достоинствѣ. Въ краткомъ, но исполненномъ ума и скромнаго сознанія предисловіи, даровитый авторъ говоритъ, что и порадованъ и опечаленъ постояннымъ требованіемъ публики на его книги: порадованъ, какъ доказательствомъ, что у насъ читать хотятъ;

опечаленъ, какъ доказательствомъ, что у насъ нечего читать. Говоря, что его первыя повѣсти не стоили чести втораго изданія, онъ признается, что думалъ ихъ переправить; «но (продолжаетъ онъ) переправить писанное за десять лѣтъ — такъ же легко, какъ сдѣлаться десятию годами моложе. И такъ, эти повѣсти остаются какъ были, со всѣми прежними своими недостатками, со всѣми прегрѣшеніями неопытности, но подъ защитой теплыхъ чувствъ молодости, которыя, къ сожалѣнію, утрачиваются по мѣрѣ того, какъ настоящая оцѣнка искусства и жизни яснѣе опредѣляется въ умѣ». Не совсѣмъ соглашаясь съ авторомъ въ его строгомъ судѣ надъ своими первыми произведеніями, мы очень рады, что онъ не рѣшилъ ихъ переправлять. Всякое поэтическое произведеніе тѣсно, родственно, кровно связано съ породившею его минутою: прошла минута — и переправлять значить портить. Желаемъ скорѣе дожидаться втораго изданія втораго тома и выхода третьяго. Увѣрены, что третій будетъ еще лучше; но въ то же время увѣрены, что и первый сохранить свою цѣну. Публика бываетъ судьей ошибочнымъ только на первое время появленія новыхъ сочиненій; послѣ первой минуты, она рѣдко ошибается. Второе изданіе перваго тома сочиненій графа Соллогуба можно принимать за третье, потому что въ немъ публика уже въ третій разъ читаетъ одни и тѣ же произведенія: въ первый разъ она прочла ихъ въ журналахъ. Значить: на сочиненія графа Соллогуба она смотритъ не какъ на пріятныя новости, но какъ на произведенія капитальныя, какъ на необходимую принадлежность хорошей библіотеки. Не имѣя причины раздѣлять строгости, очень понятной въ истинномъ талантѣ, мы смѣло можемъ увѣрить автора, что публика потребовала новаго изданія первыхъ его опытовъ не оттого, что ей нечего читать.

---

**III.**

**ТЕАТРЪ.**



## РУССКІЙ ТЕАТРЪ ВЪ ПЕТЕРБУРГѢ.

### 1.

#### ПРЕДОКЪ И ПОТОМКИ. *Трилогія въ стихахъ и прозѣ.*

Эта пьеса по-французски называется «Les Burgrafs», а по-русски ее слѣдовало бы назвать «Крикуны, или много шума изъ пустяковъ». Геній г. Гюго, столько шумѣвшаго въ европейско-литературномъ мірѣ, назадъ тому лѣтъ десять съ небольшимъ, теперь такъ низко упалъ, что даже наши домо-рожденные «драматическіе представители» — еслибъ у нихъ было хоть крошечку побольше ума, вкуса и образованія — могли бы писать драмы не только не хуже, даже лучше «Бургграфовъ». Имя Гюго возбуждаетъ теперь во Франціи общій смѣхъ, а каждое новое его произведеніе встрѣчается и провождается тамъ хохотомъ. Въ самомъ дѣлѣ, этотъ псевдо-романтикъ смѣшонъ до крайности. Онъ вышелъ на литературное поприще съ девизомъ: «le laid c'est le beau», и цѣлый рядъ чудовищныхъ романовъ и драмъ потянулся для оправданія чудовищной идеи. Обладая довольно замѣчательнымъ лирическимъ дарованіемъ, Гюго захотѣлъ, во что бы ни стало, слѣзаться романистомъ и, въ особенности, драматикомъ. И это ему удалось вполне, но дорогою цѣною — потерю здраваго смысла. Его пресловутый романъ «Notre Dame de Paris», этотъ цѣлый океанъ дикихъ, изысканныхъ фразъ и въ выраженіи, и въ изобрѣтеніи, на первыхъ порахъ показался гениальнымъ про-

изведеніемъ, и высоко поднялъ своего автора, съ его «высокимъ черепомъ» и «израненными боками». Но то былъ не гранитный пьедесталъ, а деревянныя ходули, которыя скоро подгнили, и мнимый великанъ превратился въ смѣшнаго карлика, съ огромнымъ лбомъ, съ крошечнымъ лицомъ и туловищемъ. Всѣ скоро поняли, что смѣлость и дерзость страннаго, безобразнаго и чудовищнаго — означаютъ не геній, а раздутый талантъ, и что изящное просто, благородно и не натянуто. Гюго писалъ драму за драмой, и послѣдняя всегда выходила у него хуже предыдущей. Наконецъ «Бургграфы» превзошли въ ничтожности и пошлости все написанное доселѣ ихъ авторомъ. Это сдѣленіе самыхъ избитыхъ эффектовъ, повтореніе самыхъ истертыхъ общихъ мѣстъ. Тутъ есть Корсиканка, которая сорокъ лѣтъ дышетъ мщеніемъ за убійство ея возлюбленнаго. Она шлалась по всему свѣту, была въ Индіи, и тамъ научилась небывалому искусству по волѣ своей и умерщвлять и воскрешать людей. Посредствомъ какой-то таинственной жидкости, она заставляетъ чахнуть отъ изнурительной болѣзни плѣмянницу Іова, бургграфа эппенгенскаго, графиню Регину, и общается влюбленному въ нее стрѣлку Отберту излѣчить ее въ одну минуту, если тотъ поклянется помочь ей въ мщеніи и убить того, кого она ему укажетъ. Отбертъ этотъ былъ сынъ Іова Проклятаго (въ афишкѣ названнаго, вѣроятно, ради смѣха, окаяннымъ), пропавшій въ дѣтствѣ. Регина выздоровѣла отъ чудотворныхъ капель, и Отбертъ, въ темномъ подземельѣ, идетъ убить своего отца. Но не бойтесь—это только шутка, пустяки, вздоръ—нѣчто въ родѣ пошлаго театральнаго эффекта; не бойтесь этого картоннаго кинжала, какъ ни размахивается онъ надъ грудью столѣтняго старика: сейчасъ явится избавитель и въ самую пору остановить руку невольнаго убійцы. И избавитель явился очень кстати—въ ту самую минуту, когда палачъ и жертва уже надорвались отъ усталости.

сти, называясь въ патетическихъ монологахъ. Этотъ изъавитель—Фридрихъ Барбарусса, императоръ священной Римской имперіи, явившійся въ замкъ Іова Проклятаго, въ видѣ нищаго. Онъ—изволите видѣть—братъ Іова, бывшій возлюбленный истительной Корсиканки. Когда Проклятый бросилъ его, израненнаго, изъ этого самого подземелья, за рѣшетку окна, онъ какъ-то зацѣпился за рѣшетку и спасся, чтобъ доставить г-ну Гюго нѣсколько дрянныхъ сценическихъ эффектовъ. Когда братья разчувствовались, Корсиканка, видя, что уже мстить не за что, скоропостижно лишаетъ себя живота: она покаялась, что въ гробъ (который былъ принесенъ въ пещеру съ лежавшею въ немъ Региною) долженъ кто-нибудь быть вынесенъ изъ подземелья. Вотъ, что называется, сдержатъ клятву!

Когда старая колдунья умерла, Регина воскресла—трогательная сцена! Всѣ овечки на лицо, а волкъ умеръ! Отбѣртъ еще прежде обиженный Гатто, маркизомъ веронскимъ, вызываетъ его на поединокъ; но маркизъ (пьяница, шутъ и разбойникъ) съ презрѣніемъ отвѣчаетъ ему, что не можетъ драться съ сыномъ Цыганки (Корсиканки тожъ). Тогда старичокъ-нищій, бросая свой посохъ и выхватывая мечъ, вызывается драться съ Гатто. Но ты кто? говоритъ Гатто. — Я императоръ Фридрихъ Барбарусса! — Эффектная сцена?... За тѣмъ онъ заковалъ въ цѣпи цѣлыя три поколѣнія бургграфовъ—Іова, столѣтняго старца, Магнуса, сына Іова, восьмидесятилѣтняго старика, и Гатто, сына Магнусова, молодого человѣка. Въ лицѣ этихъ трехъ бургграфовъ, Гюго хотѣлъ представить три поколѣнія рыцарей, одно другаго хуже: Іовъ, несмотря на грѣхи своей юности, рыцарь хоть куда; Магнусъ—ни рыба, ни мясо, а такъ себѣ; Гатто—пьяница, шутъ и разбойникъ.

На сценѣ Александринскаго театра, «Бургграфы» очень эффектная, а потому и отличная драма...

---

**ЖИЛА БЫЛА ОДНА СОБАКА.** *Водевиль въ одномъ дѣйстви,*  
*переведенный съ французскаго.*

Мы что-то не могли добиться никакого толка въ этотъ собачьемъ водевилѣ. Это, вѣроятно, потому что въ немъ дѣйствительно мало толка. Къ тому же, было уже около двѣнадцати часовъ ночи, когда начался этотъ водевиль, — и мы, во уваженіе всѣхъ этихъ причинъ, ушли вонъ изъ театра, отчаявшись дожидаться конца занимательнаго спектакля.

**НОВОГОРОДЦЫ.** *Драматическое представленіе въ пяти дѣйствіяхъ и восьми картинахъ, въ стихахъ, съ пѣснями.*

Сочинитель этой длинной и тяжелой пѣсы хотѣлъ представить, въ формѣ драмы, историческую и частную жизнь Великаго Новгорода, во всей ея полнотѣ и со всѣми ея подробностями; но по бѣдности своей въ средствахъ (которые состоятъ въ фантазіи и разныхъ другихъ талантахъ) онъ, т. е. сочинитель, представилъ на удивленіе и восторгъ александринской публики, множество лицъ безъ образовъ, которые ходятъ, говорятъ, машутъ руками, сами не зная для чего. Тутъ есть все — и посадникъ, и бояре, и вольница, и купецъ ганзейскій, и полонникъ, и юродивый, — словомъ, всякаго жита по лопатѣ; нѣтъ только смысла, толка, ума, вдохновенія, таланта. Въмѣсто Великаго-Новгорода, мы видимъ шайку негодяевъ и мерзавцевъ, которые уводятъ насильно дочь честнаго любекскаго купца; и изъ этихъ молодцовъ всѣхъ отвратительнѣе Алеша и Самсоновичъ. Послѣдній до того возненавидѣлъ Нѣмцевъ, убившихъ его сына въ честномъ бою, что готовъ зарѣзать и задушить всякаго Нѣмца только за то, что онъ — Нѣмецъ, и ему въ этомъ случаѣ все равно — старикъ, женщина, дѣвушка, младенецъ, лишь бы въ ихъ жилахъ текла нѣмецкая кровь! Для изъясненія своей вѣщей ненависти къ Нѣмцамъ, онъ хвали-



тсѣ своимъ презрѣніемъ къ виноградному вину и хлебаеть уматани одну чистую сивуху. Истинный герой! Но таково обиліе этого новаго «драматическаго представленія» великими характерами (пьющими одну сивуху), что Самсоновичъ не бо-лѣе, какъ одно изъ второстепенныхъ лицъ, а герой нелѣпой пѣсмы—Ростиславъ, сынъ новгородскаго посадника, негодай и крикунъ. Налгавъ на себя небывалыя на бѣломъ свѣтѣ страсти, онъ кривляется, кричитъ, ломается такъ, что зритель, въ просоняхъ (отъ аплодисмановъ) то и дѣло готовъ спросить его:

Да изъ чего жъ бѣснуетесь вы столько?

Еслибъ у этого Ростислава была въ мозгу хоть искорка ума, онъ отвѣчалъ бы протяжно-зѣвающему зрителю: «Да я и самъ не знаю; сочинитель заставилъ меня нести этотъ вздоръ — такъ у него и спрашивайте». Но какъ Ростиславъ совершенно невиненъ въ умѣ, то онъ продолжаетъ на всѣ вопросы отвѣчать надутую галиматьею о пламени въ крови, о дикомъ безуміи, и о томъ, что Нѣмка околдовала и свела его съ ума, отчего онъ и сталъ дуракъ-дуракомъ. Такъ какъ всѣ наши «драматическія представленія» идутъ отъ изуродованнаго г-нъ Полевымъ Шекспирова «Гамлета», то въ «Новгородцахъ» есть и сумасшедшая Офелія, иначе Евлампія. Впрочемъ, эта «неземная дѣва» и въ полномъ разумѣ говорила такой вздоръ, такъ жеманилась и ломалась, что зрителю нельзя было замѣтить, съ которой минуты она сошла съ ума. Рассказывать содержаніе всей этой нелѣпости—нѣтъ силы и возможности, а потому, махнувъ рукою, перестанемъ говорить о ней—до новаго какого-нибудь «драматическаго представленія».

**СИГАРКА.** *Комедія въ одномъ дѣйствіи, соч. Н. А. Полеваго.*

Семенъ Ивановичъ Телятинскій женатъ и нервнивъ, а другъ его, Павелъ Яковлевичъ Ягуновъ, вдовъ и ревнивъ. Оба эти

достойные друга уѣзжаютъ въ городъ, а къ Аннѣ Ивановнѣ Телятинской является дочь Ягунова, въ мужскомъ платьѣ, съ хлыстомъ въ рукѣ и сигаркою въ зубахъ. Разумѣется, изъ этого завязываются сцены ревности, пока все не обнаруживается къ торжеству Телятинскаго и позору Ягунова. Все это совершенно въ русскихъ нравахъ, и для присяжныхъ сочинителей и посѣтителей Александринскаго театра кажется очень забавнымъ и остроумнымъ.

ДОЧЬ РУССКАГО АКТЕРА. *Оригинальная шутка-водевиль въ одномъ дѣйствіи, соч. П. И. Г.*

Эта пѣса, въ комическомъ родѣ—то же самое, что «Новгородцы» въ трагическомъ, т. е. галиматья галиматей и всяческая галиматья. Она основана на избитомъ и неправдоподобномъ переодѣваніи и мистификаціи: героиня пѣсы, переодѣваясь цыганкою и форрейторомъ, морочитъ дурака-жениха своего, а г. Мартыновъ пляшетъ съ нею saltarello.

## 2.

Мы давно уже не говорили ни слова о новыхъ пѣсахъ, появившихся на сценѣ Александринскаго театра съ наступленіемъ новаго театральнаго года, — слѣдовательно, не отдавали отчета за цѣлые шесть мѣсяцевъ. И между тѣмъ, опущеніе, сдѣланное нами въ театральной хроникѣ, совсѣмъ не такъ велико, какъ можетъ казаться съ перваго взгляда. Это происходитъ отъ свойства пѣсень, играемыхъ на сценѣ Александринскаго театра: онѣ являются иногда съ шумомъ и исчезаютъ безъ шума, не оставляя послѣ себя ни слѣда, ни воспоминанія; большая же часть изъ нихъ пропадаетъ безъ вѣсти послѣ перваго представленія. И, однакожь, публика такъ довольна всѣми

ним, что было бы бесполезно разувѣрять ее въ ихъ достоинствѣ и увѣрять въ ихъ ничтожествѣ. Вслѣдствіе этого, мы сдѣлали театральную хронику постоянною статьею въ нашемъ журналѣ совсѣмъ не для критической оцѣнки этихъ піесъ, равно какъ и не для назиданія, или удовольствія почтеннѣйшей публики Александринскаго театра. Да и къ чему бы послужило все это? Чтò можно сказать о «ничемъ»? Нѣтъ, наша цѣль совсѣмъ другая: мы трудимся для будущаго историка русскаго театра и русской драматической литературы, и надѣемся, что только наша театральная хроника дастъ ему истинно драгоцѣнные матеріалы. Чѣмъ больше наберется вдругъ піесъ, тѣмъ легче говорить о нихъ, потому что повторять одно и то же двадцать разъ гораздо скучнѣе и труднѣе, нежели сказать это одинъ разъ по поводу двадцати піесъ. Намъ не долго будетъ перечестъ все, чтò до сихъ поръ давалось на Александринскомъ театрѣ, а говорить объ этихъ піесахъ рѣшительно все равно, чтò тотчасъ послѣ ихъ появленія на сценѣ, чтò спустя три года.

Чтобъ не нарушить полноты нашей театральной хроники, переберемъ наскоро всѣ новыя піесы, которыя давались съ апрѣля мѣсяца до настоящей минуты. Первая изъ нихъ, по величинѣ, по притязаніямъ на что-то великое и по имени ея автора, есть, конечно. —

**ВОЯГНИЙ ОЛЕОРЪ ВАСИЛЬЕВИЧЪ ВАСНЮКЪ, трагедія въ пяти актахъ, въ стихахъ, соч. Н. Букольника.**

Чтò сказать о ней теперь, когда уже о ней никто болѣе не говоритъ и не помнитъ даже? Это тысяча первая попытка на воспроизведеніе итальянскихъ и испанскихъ страстей и отравленій, но одѣтыхъ въ quasi-русскую рѣчь, въ охабенъ и сарафаны. Конечно, тутъ есть и талантъ, и умъ, и чувство, но все это ложное, парадоксальное. Дѣйствительность и истори-

ческая истина принесены въ жертву желанію написать эффектную трагедію изъ такой исторіи, изъ которой невозможно написать никакой трагедіи. Но видно, что старые источники изобрѣтенія и готовые эффекты уже понадобили публикѣ: тучная піеса опочила сномъ праведника — вѣчная ей память!...

Давалось въ это время и еще нѣчто въ родѣ трагедіи, названное:

*ЭСПАНЬОЛЕТТО, или отецъ и художникъ.*

Цѣль этого «нѣчто» состояла въ «изображеніи итальянскихъ страстей на сѣверѣ». Но цѣль не всегда сходится съ выполненіемъ. Иной и хорошо метить, а не попадаетъ; неизвѣстный же «изобрѣтатель на сѣверѣ итальянскихъ страстей» и метить плохо, отъ каковаго прискорбнаго обстоятельства изъ его «Эспаньолетто» вышло сущее изображеніе итальянской галиматіи на русскомъ языкѣ, довольно, впрочемъ, грамотномъ. Въ этой путаницѣ разговоровъ публика ровно ничего не поняла, мы — тоже: премудренная піеса, Богъ съ нею!...

Отъ трагедіи перейдемъ къ комедіи, изъ Испаніи и Италіи перейдемъ въ Россію. Перѣздъ нетруденъ, потому что путь не далекъ: отъ одного вздора перейти къ другому — все равно, что изъ одной комнаты перешагнуть въ другую:

*ПРИХОТЬ КОКЕТКИ, оригинальная комедія въ четырехъ дѣйствіяхъ, соч. Д. Бруннера.*

Вотъ комедія, такъ комедія! Чего стоитъ уже то одно, что сюжетъ ея заимствованъ изъ современной хроники большого свѣта! На сценѣ все графини, княгини и генеральши — знать такая, что простому человѣку страшно и взглянуть на сцену! А тонъ, манера говорить и держать себя — Боже милосердый! Вообразите только, что всѣ эти графини, княгини и генеральши называютъ другъ друга *ma chère*!... Сейчасъ видно аристо-

кратокъ! А мужики говорятъ другъ другу *mon chér*: сейчасъ видно, что «съ турецкииъ посланникоиъ въ вистъ играютъ», подобно Ивану Александровичу Хлестакову!... А какой паеосъ, какія свирѣпыя страсти — брррррр!... Тутъ есть и Меѳистофель, въ графскомъ достоинствѣ, и исполненный вѣтры въ мечту и адскихъ, пожирающихъ страстей благородный юноша, кажется, изъ княжеской породы. Юношу мистицируютъ дамы; онъ подслушиваетъ ихъ разговоръ — дверь съ трескомъ отворяется, стулья падаютъ, столы трещать — и самая восторженная галиматья рѣкою льется въ видѣ высокопарныхъ монологовъ... Все это такъ по-свѣтски!... Нѣтъ сомнѣнiя, что сочинитель знаетъ большой свѣтъ, какъ свои пять пальцевъ, и что онъ тамъ, какъ у себя дома...

Но еще лучше «Прихоти Кокетки» —

*УТРО ПОСЛѢ БАЛА ФАМУСОВА, комедiя-шутка въ одномъ дѣйствiи, 1. В\*.*

Есть люди, которые думаютъ, что успѣхъ произведенiя основывается не на внутреннемъ его достоинствѣ, а на счастливо придуманномъ заглавiи. Для такихъ людей, талантъ — лишняя вещь. Придираясь къ произведенiю, имѣвшему огромный успѣхъ, они берутъ его заглавiе и имена дѣйствующихъ въ немъ лицъ, и смѣло сочиняютъ страшную нелѣпость. Такъ нѣкто г. Навроцкiй, извѣстный публикѣ изъ театральнoй хроники «Отечественныхъ Записокъ», какъ «кандидатъ въ генiи», написалъ чудовищную безсмыслицу подъ именемъ «Новаго Недося»: ему захотѣлось стать на ряду съ Фонъ-Визиннымъ, — между тѣмъ онъ забылъ, что Фонъ-Визинъ самъ выдумалъ «Недоросля», никому не подражая, ни у кого не заимствуя, и что Фонъ-Визинъ былъ одаренъ отъ природы необыкновеннымъ умомъ и необыкновеннымъ талантомъ. Другой господинъ, въ родѣ господина Навроцкаго, смастерилъ «Настоящаго Ревизора»,

думая черезъ это стать на одну доску съ Гоголемъ. Наконецъ, третій господинъ, въ родѣ того же господина Навроцкаго, со-стряпалъ «Утро послѣ Бала Фамусова». Ему показалось, что «Горе отъ Ума» не кончено, потому что въ немъ никто не женится и не выходитъ замужъ. Стихъ Грибоѣдова,—этотъ удивительный стихъ, которому подобнаго доселѣ еще ничего не являлось въ русской драматической литературѣ, нисколько не испугалъ г-на В\* и не охолодилъ его сочинительской отваги. Исказивъ всѣ характеры «Горя отъ Ума», онъ смѣло состязается со стихомъ Грибоѣдова собственными стихами топорной работы, въ которыхъ безпрестанно попадаютъ слова: «перговорить» вмѣсто переговорить, «молкосось» вмѣсто моллосось, «плутское лицо» вмѣсто плутовское лицо. Швейцаръ въ плащадномъ фарсѣ г-на В\*, является то Филькою, то Егорушкою, а Фамусовъ то вдовцомъ, то женатымъ человекомъ. Словомъ, такой диковинки давно уже не появлялось въ семъ подлунномъ мѣрѣ, столь богатомъ разнаго рода диковинками. Несмотря на то, она благосклонно была принята публикою Александринскаго театра.

Отъ аристократовъ перейдемъ къ плебеямъ:

**ГАМЛЕТЪ СИДОРОВИЧЪ И ОФЕЛІЯ КУЗЬМИНИШНА, водевиль передѣланный съ французскаго Д. Ленскимъ.**

Какое остроумное названіе! Прикащикъ и перчаточница живутъ по сосѣдству и переговариваются черезъ дверь: онъ ее зоветъ Офеліею Кузьминичною, а она его — Гамлетомъ Сидоровичемъ. Потомъ они идутъ въ клубъ и, такъ какъ дѣло было на масляной, то Гамлетъ напивается пьянъ. Къ нему зачѣмъ-то стучится полиція, и онъ переноситъ свои пожитки въ комнату Офеліи. Вотъ и все. По-французски это мило и забавно, потому что правдоподобно; по-русски—это чистый вздоръ, потому что совершенно вѣтъ русскихъ нравовъ и обычаевъ.

**война съ дворникомъ, водевилъ.**

Къ сочиненію этого водевиля въ Парижѣ подали поводъ «Парижскія Тайны», а въ нихъ — продѣлки Кабріона съ Пилё. Впрочемъ, содержаніе водевиля совсѣмъ другое. Възбѣшен- ный насмѣшками жильцовъ, дворникъ сгоряча отдулъ метлою жениха своей дочери, и съ отчаянія пустился рассказывать собравшимся вокругъ него жильцамъ свои военные подвиги, совершенные подъ начальствомъ его любимаго полковника, уби- таго въ сраженіи. Одинъ изъ жильцовъ, молодой человѣкъ, по разсказу дворника узналъ, что этотъ полковникъ его отецъ, а такъ какъ этотъ домъ принадлежитъ полковнику, то дворникъ вручаетъ молодому человѣку бумаги, по которымъ онъ дѣлается владѣльцемъ дома, гдѣ жилъ, какъ постоялецъ, ми- рить дворника съ зятемъ и беретъ на себя свадебныя издержки.

Еще былъ представленъ «Воскресеніе въ Марьиной Рощѣ», дивертиссементъ московскаго издѣлія, о которомъ ни- чего нельзя сказать, кромѣ того, что это отчаянный вздоръ. — Къ театральнымъ новинкамъ нынѣшняго года можно отнести также возобновленныя старыя піесы — Модную Лавку, ко- медію въ трехъ дѣйствіяхъ, И. А. Крылова, и Севильскаго Цирюльника, доказавшихъ собою ту грустную истину, что въ старину репертуаръ русскаго театра былъ и умнѣе и та- лантливѣе современнаго намъ репертуара.

Вотъ и всѣ лѣтнія піесы. Теперь обратимся къ осеннимъ.

**НАСЛѢДСТВО.** *Драма въ пяти дѣйствіяхъ, съ прологомъ.*  
Соч. Ф. Сулье, переводъ г. Григоровича.

Сулье напуталъ такую драму, что нѣтъ никакой возможно- сти распухать ее въ пересказѣ ея содержанія: для этого не- обходимо сдѣлать изъ его драмы повѣсть; но какъ у насъ есть обыкновеніе повѣсти передѣлывать въ драмы, и нѣтъ еще обы-

кновенія передѣлывать драмы въ повѣсти, то мы и не хотимъ подавать дурнаго примѣра къ новому дурному обыкновенію, тѣмъ болѣе, что и Сулье сдѣлалъ свою драму изъ своей же повѣсти «Eulalie Pontois». Героиня драмы—Элали, дочь смотрителя замка маркизы Субиранъ, Понтуа, видитъ, какъ отецъ ея воруетъ завѣщаніе у умирающей маркизы, и черезъ минуту отъ самаго его узнаётъ, что онъ зарѣзалъ больную маркизу. Элали принимаютъ за убійцу; она отрекается отъ убійства, но виновнаго не называетъ, и сама скрывается. Это только прологъ. Черезъ годъ, она является женою живописца Торси, который не знаетъ, кто она, и прячетъ ее отъ всѣхъ. Родственники маркизы Субиранъ, пришедшіе къ Торси заказать ему свои портреты, узнаютъ Элали въ портретъ жены Торси. Украденное завѣщаніе переходитъ изъ рукъ одного негодяя въ руки другаго. Элали признава и готовится принять казнь за убійство маркизы Субиранъ. Но маркизъ де-Шанжиронъ, мужъ дочери графини де-Бревизъ, спасаетъ ее, объявляя ей, что она, Элали — дочь его отца и покойной маркизы Субиранъ, и что послѣдняя отказала ей все свое имѣніе, и такъ какъ она, Элали, знала объ истинномъ завѣщаніи (въ рукахъ негодяевъ подложное), то и не могла поднять рукъ на свою благодѣтельницу, еяго невинна. Тутъ и конецъ. Въ цѣломъ, эта драма вся построена на эффектахъ; но при хорошей обстановкѣ и хорошемъ выполненіи на сценѣ, она очень занимательна, тѣмъ болѣе, что въ ея подробностяхъ много умнаго и вѣрно схваченнаго изъ дѣйствительности. Такъ мы и видѣли ее и любовались ею на нашей французской сценѣ. На русскомъ театрѣ, она... но, какъ сказалъ авторъ новой «Тилемахиды» —

Молчаніе, тобою въ мірѣ  
Не оскорбится слуха взоръ!...



**ДЯДЯ ПАХОМЪ.** *Комедія въ двухъ дѣйствіяхъ, П. Фурмана.*

Передѣлка французскаго водевиля «L'Oncle Baptiste», съ грѣхомъ пополамъ прииѣненнаго къ русскимъ купеческимъ нравамъ. Купецъ, брѣющій бороду и живущій по-нѣмецки, отдастъ свою дочь Настеньку замужъ за молодаго человѣка, въ котораго она «влюблена» и который ее «обожаешь». На сговоръ пріѣзжаетъ братъ отца Настеньки, съ бородою, сильно припахивающею капустою, и въ армякѣ, и баронъ Думштольцъ, дядя жениха. Баронъ, увидя бороду невестина дяди, не соглашается на свадьбу. Къ довершенію бѣды, одинъ изъ должниковъ отца невесты обанкрутился. Но Пахомъ съ бородою, отъ которой припахиваетъ капустою, даетъ брату денегъ, а барону угрожаетъ открытіемъ какой-то тайны, и свадьба оканчивается гораздо благополучнѣе пьесы г. Фурмана.

**КАКЪ ОПАСНО ЧИТАТЬ НИНЫ ГАЗЕТЫ!** *Комедія въ одномъ дѣйствіи, переведенная П. Фурманомъ.*

Честный мѣщанинъ Тушаръ любить читать «Gazette des Tribunaux», гдѣ помѣщаются иногда самые ужасные процессы, по случаю убійствъ отцовъ дѣтьми, мужей женами, ради наслѣдства. Чудаку приходитъ въ голову, что и его жена хочетъ отравить его. Когда человѣкъ помѣшается на какой-нибудь нелѣпости, онъ во всемъ видитъ подтвержденіе своихъ подозрѣній. Изъ этого у Тушара выходятъ съ женою пресмѣшныя сцены; но къ концу все объясняется: Тушаръ проситъ у жены прощенія и даетъ обѣщаніе не читать больше «Gazette des Tribunaux».

Лучше и важнѣе всѣхъ этихъ театралныхъ новостей временное появленіе на петербургской сценѣ московскаго артиста М. С. Щепкина. Публика толпами собирается смотрѣть его

игру, и театръ всегда полонъ. Это обстоятельство не можетъ не остаться безъ многихъ весьма хорошихъ послѣдствій. Публика Александринскаго театра, благодаря Щепкину, наконецъ взяла въ толкъ, что «Женитьба» Гоголя — не грубый фарсъ, а исполненная истины и художественно воспроизведенная картина нравовъ петербургскаго общества средней руки. Здѣшніе артисты, понявъ, съ кѣмъ они играютъ, сдѣлали на этотъ разъ побольше, нежели сколько дѣлали прежде, разыгрывая эту піесу, — и каждое слово ея, каждое выраженіе принималось съ живымъ смѣхомъ удовольствія. «Горе отъ Ума» давалось три раза, «Ревизоръ» два раза, «Игроки» Гоголя одинъ разъ. Несмотря на то, что въ «Матростѣ» Щепкинъ игралъ одинъ одинёхонекъ, эта піеса произвела глубокое впечатлѣніе и доказала собою ту простую истину, что раздѣленіе драматическихъ произведеній на трагедію и комедію въ наше время отзывается анахронизмомъ, что назначеніе драматическаго произведенія — рисовать общество, страсти и характеры, и что трагедія такъ же можетъ быть въ комедіи, какъ и комедія въ трагедіи. Щепкинъ принадлежитъ къ числу немногихъ истинныхъ жрецовъ сценическаго искусства, которые понимаютъ, что артистъ не долженъ быть ни исключительно трагическимъ, ни исключительно комическимъ актёромъ, но что, его назначеніе — представлять характеры, безъ разбора ихъ трагическаго или комическаго значенія, но лишь соображаясь съ своими внѣшними средствами, т. е. не играя статныхъ молодыхъ людей, будучи человѣкомъ пожилымъ и тучнымъ, и т. п. Мы убѣждены, что еслибъ такой артистъ, какъ Щепкинъ, почаще являлся на сценѣ Александринскаго театра, требованія здѣшней публики скоро сдѣлались бы совсѣмъ другими, а сообразно съ ними произошла бы большая перемѣна со стороны здѣшнихъ артистовъ въ манерѣ играть роли изъ порядочныхъ піесъ.

Литература наша заснула непробуднымъ сномъ: всѣ новости ея, за исключеніемъ пяти-шести сколько-нибудь сносныхъ книгъ въ теченіи цѣлаго года, ограничиваются перепечатками, въ видѣ книгъ, того, что уже извѣстно публикѣ изъ журналовъ. За то, наша сценическая литература не дремлетъ. Да, именно, если ее въ чемъ-нибудь можно упрекнуть, такъ въ томъ, что она заставляетъ другихъ дремать, а ужъ совсѣмъ не въ томъ, чтобъ сама дремала. Новыя драмы и комедіи, стихами и прозою, новые водевили такъ и родятся роями, словно насѣкомыя... Именно, насѣкомыя — сравненіе поразительно вѣрно въ фактическомъ отношеніи, потому что истинно физиологически. Дѣло въ томъ, что происхожденіе насѣкомыхъ и «драматическихъ представленій» тождественно, т. е., тѣ и другія выходятъ изъ источниковъ чрезвычайно аналогическихъ: насѣкомыя рождаются изъ... чернозема, драматическія произведенія изъ... бенефисовъ... Сходныя причины производятъ и сходныя слѣдствія: отъ насѣкомыхъ нѣтъ житья лѣтомъ, отъ новыхъ театралныхъ піесъ нѣтъ житья осенью и зимою... Но оставимъ аллегоріи, и скажемъ прямо, что въ бенефисахъ заключается одна изъ главныхъ причинъ упадка нашего сценическаго искусства, сценической литературы и сценическихъ талантовъ. Бенефицианту нѣтъ дѣла до искусства, до хорошихъ піесъ: ему нужна только длинная-длинная аффиша со многими множествомъ піесъ, испещренная затѣйливыми заглавіями, которыя бы какъ можно больше общали и какъ можно меньше выполняли. Съ перваго взгляда можетъ показаться страннымъ, какъ удается каждому бенефицианту одинаковымъ образомъ

разочаровывать публику въ ея ожиданіяхъ нѣсколько лѣтъ сряду; но стоитъ только взять въ соображеніе, что бенефисная публика не похожа ни на какую другую, и что она всегда была, есть и будетъ одна и таже, — и вы увидите, что дѣло очень просто. Зло отъ бенефисовъ неизчислимо. Бенефициантъ заказываетъ для своего бенефиса нѣсколько піесъ разнымъ доморощеннымъ драматургамъ. Плата за эти піесы — ничтожная, и драматургъ заботится только о томъ, чтобъ спихнуть съ плечъ долой заказанную ему работу и, какъ говорится, отхватываетъ ее съ плеча. Между тѣмъ, онъ не хочетъ же, чтобъ его піесу ошिकाи, и потому наскоро украшаетъ ее всевозможными тривіальными эффектами, соображаясь со вкусомъ бенефисной публики. Бенефициантъ радъ, если ему удастся собрать заказанныя имъ піесы недѣли за двѣ, за полторы до дня бенефиса. Піесы ставятся кое-какъ, нѣкоторые актеры почти никогда не знаютъ ролей (этого не случается никогда и ни въ какомъ случаѣ, напримѣръ, съ г-мъ Каратыгинымъ 1-мъ, который слишкомъ уважаетъ свое искусство, публику и самого себя, и потому всегда является на сцену не только выучивъ, но даже и изучивъ свою роль). А такъ какъ почти всѣ новыя піесы даются только въ бенефисы, и такъ какъ бенефисамъ нѣсть числа, то изъ этого и выходитъ, что литераторы, по привычкѣ, не умѣютъ писать для театра иначе, какъ по бенефисному; публика привыкаетъ считать хорошими піесами только такія, которыя пишутся въ бенефисномъ духѣ; актеры привыкаютъ играть по бенефисному. Не будь вовсе этихъ несчастныхъ бенефисовъ, авторы имѣли бы дѣло съ дирекціею и за хорошій гонораріумъ не позволяли себѣ являться къ ней съ піесами, которыя не были бы обдуманы, обдѣланы и не стояли бы большаго труда; всѣ новыя піесы ставились бы отъ дирекціи. Но пока продолжится обычай привлекать публику въ театръ бенефисами, — до тѣхъ поръ

ничего и мечтать о возможности театра, назначеннаго служить храмомъ искусству.

Послѣ всего этого, богатство нашей драматической литературы должно насъ не радовать, а печалить. Піесъ много, а смотрѣть нечего.

**НАПОЛЕОНОВСКІЙ ГВАРДЕЕЦЪ.** *Драма въ трехъ дѣйствіяхъ, въ стихахъ, сюжетъ взятъ изъ повѣсти «ВИТРЪ-ШЕВАЛЬЕ».*

Не понимаемъ, зачѣмъ пишутся драмы стихами... Мы понимаемъ, зачѣмъ писали ихъ стихами такіе люди, какъ Шекспиръ, Мольеръ, Шиллеръ, Грибоѣдовъ, Пушкинъ: за тѣмъ, что у этихъ людей превосходный, поэтический стихъ, который только увеличиваетъ художественное очарованіе представляемой драмою дѣйствительности, и который невольно остается въ памяти зрителя. Но зачѣмъ пишутъ драмы стихами такіе люди, подъ перомъ которыхъ самая проза выходитъ то надутою фразою, то безцвѣтнымъ наборомъ словъ, которыя скрипятъ, зацѣпляясь другъ за друга? Вотъ чего не можемъ мы понять! Можетъ-быть, для того, чтобъ водяными ямбами повергнуть публику въ сладостную дремоту? Этой цѣли достигла драма «Наполеоновскій Гвардеецъ», съ тѣмъ и имѣемъ честь ее поздравить.

**ДОМА АНГЕЛЪ СЪ ЖЕНОЙ, ВЪ ЛЮДЯХЪ СМОТРИТЪ САТАНОЙ,** *комедія въ трехъ дѣйствіяхъ, переведенная съ французскаго.*

Судя по бенефисному заглавію и многимъ другимъ причинамъ, трудно было бы на сценѣ Александринскаго театра узнать въ этой піесѣ переводъ прекрасной французской комедіи «Le Mari à la Campagne», которая съ такимъ удивительнымъ совершенствомъ играется французскою труппою на Михайловскомъ театрѣ.

**ЕВГЕНИЙ.** *Оригинальная драма, съ куплетами, съ трехъ дѣйствійхъ, соч. Х. З.*

Преоригинальная чепуха! И какая высокопарная, какая надутая! Герой — слѣпецъ, впрочемъ преочаровательный молодой чѣловѣкъ, сынъ помѣщицы Ильменевоу. Сирота Марія (Марія, а не Марья) — другъ его; а дочь сосѣдки Савилиноу, Полину, прочать за него замужъ. Искусный докторъ счастливо совершаетъ опасную операцію. Эффектна (впрочемъ, избѣгннмъ образомъ эффектна) сцена прозрѣнія. Прозрѣвшій Ильменевъ признаетъ въ Маріи Полину; Марія въ отчаяніи, отъ его ошибки. Обрадовавшись прозрѣнію, Ильменевъ идетъ въ военную службу. Желая сдѣлать сюрпризъ матери, онъ вдругъ является въ ея деревенскій домъ. Пока онъ былъ въ полку, Марія удалена изъ дома, и на концѣ села, въ избушкѣ, учитъ грамотѣ дѣтей крестьянъ г-жи Ильменевоу (какъ это все правдоподобно!); Филиппъ, старый слуга Ильменевыхъ, тоже выгнанъ изъ дома — онъ былъ посредникомъ въ нѣжной перепискѣ между Маріею и Ильменевымъ. Г-жа Ильменева объявляетъ сыну, что Марія — умерла (какъ это правдоподобно!); Полина спрашиваетъ ее, кто умерла? — Собачка! отвѣчаетъ ей на ухо г-жа Ильменева (какъ это наивно!). Тутъ зачѣмъ-то сдѣлался пожаръ въ деревнѣ, Ильменевъ бѣжитъ на помощь и — спасаетъ Марію отъ гибели. Отъ радости, онъ сходитъ съ ума, замирается и умираетъ на сценѣ. Филиппъ говоритъ монологи на манеръ какого-нибудь *cuire de village*; Марія безпрестанно утираетъ глаза платкомъ, а Полина чтобъ быть наивнѣе, безпрестанно говоритъ глупости. Но самая оригинальная черта этой «оригинальной драмы, съ куплетами, въ трехъ дѣйствіяхъ», состоитъ въ томъ, что она — передѣлка, или лучше сказать, отчаянное искаженіе водевиля «Слѣпой». Вотъ это оригинально!

**СЫНЪ СТЕНЕЙ, или африканская любовь.** *Драма въ одномъ дѣйстви, въ стихахъ.*

Опять стихи, и пристрашные! Бедуинъ влюбился въ невольницу Мавра и просить его дружески промѣнять ее на коня. Мавръ и невольница обожаютъ другъ друга—иѣна не можетъ состояться. Бедуинъ кричитъ, ломается, кривляется, и въ заключеніе закалывается. Вѣроятно, неизвѣстный сочинитель этой драмы хотѣлъ испытать на сценѣ очарованіе восторженной нелѣпности, написанной плохими стихами. Забудьте, наши сочинители уже перестаютъ выставлать свои имена на бенефисныхъ афишахъ: знакъ добрый и предостерегательный для публики!...

**ЧУМА, или ГВЕЛЬФЫ И ГИБЕЛЛИНЫ.** *Историческія сцены въ трехъ картинахъ, въ стихахъ.*

Еще стихи, и тоже плохіе! Оттавіо Галеаццо Висконти синѣяетъ, по волѣ папы, отца своего, Бернабо Висконти, въ качествѣ синѣйора Милана. Отецъ прозванъ тигромъ за его злодѣйства; сынъ невиненъ, какъ теленокъ. Узнавъ отъ отца, что его сестра любитъ синѣйора Альберикко Счіотто, синѣйора Піаченцы, онъ оскорбляетъ его гордымъ и презрительнымъ отказомъ, несмотря на то, что обязанъ ему жизни. Счіотто изъ низкаго званія возвысился на степенъ синѣйора. Между Миланомъ и Піаченцою война на смерть. Миланцы разбиты храбрыми Счіоттою. Но въ Піаченцѣ вдругъ обнаруживается чума, Альберикко дѣлается одною изъ первыхъ жертвъ язвы. Последнія минуты жизни своей онъ спѣшитъ употребить на ищеніе: пришедъ въ миланскій станъ, онъ объявляетъ врагамъ своимъ, что отрекается отъ власти, и во власяницѣ хочетъ идти къ святому гробу. Въ знакъ мира онъ цѣлуетъ враговъ своихъ, послѣ чего объявляетъ имъ, что они, какъ и онъ — зачу-

млены. Піеса эффектная, но по крайней мѣрѣ не безъ смысла эффектная. Лицъ множество, и все аристократы; но ихъ и не замѣчаетъ зритель, потому что, кромѣ другихъ причинъ, вся піеса составлена для роли г-на Каратыгина, который, по своему обыкновенію, сыгралъ ее обдуманно, съ мыслию, умно и ловко воспользовался всѣми средствами, какія только могла она дать его таланту. О родѣ таланта г. Каратыгина каждый можетъ имѣть свое мнѣніе; но никто не можетъ, безъ нарушенія добросовѣстности, не согласиться въ томъ, что г. Каратыгинъ служить своему искусству не только умно, но и совѣтливо, что онъ — артистъ въ душѣ, и что съ его удаленіемъ со сцены Александринскаго театра удалится оттуда искусство, не оставивъ по себѣ и слѣда...

**Нѣсколько лѣтъ впередъ, или желѣзная дорога между Санктпетербургомъ и Москвою.** *Водевиль въ трехъ актахъ.*

Мысль этого водевиля и умна и счастлива; но осуществленіе ея вполне бенефисное. Авторъ имѣлъ случай сдѣлать много, и сдѣлалъ мало: вѣроятно, онъ употребилъ на составленіе этого водевиля меньше времени, нежели сколько писецъ употребилъ времени на его переписку. Петербургскій чиновникъ хочетъ женить сына своего на дочери богатаго московскаго купца. Но какъ его сынъ никогда ея не видалъ, и притомъ влюбленъ въ какую-то незнакомку, которую видѣлъ разъ въ Лѣтнемъ Саду, — то и отказывается ѣхать въ Москву. Отецъ объявляетъ, что кредиторъ вдругъ подалъ на него ко взысканію вексель въ 40,000 рублей — сынъ рѣшается на жертву. На станціи между Петербургомъ и Москвою, онъ увидѣлъ кредитора и бранить его; но тотъ увѣряетъ, что онъ никогда ни копейки не давалъ его отцу и не имѣетъ никакого векселя. Молодой человѣкъ понавѣлъ, что обманутъ, — и пред-



загасть одному голодному актеристу жениться на своей невестѣ, благо ея родные не знаютъ жениха въ лицо. Оказывается, что невеста — та самая дѣвушка, въ которую влюбленъ настоящий женихъ, и на которой женится актеристъ. Тутъ бы слѣдовало актеристу отказаться за деньги; но неожиданный прїѣздъ дражайшихъ родителей настоящаго жениха улаживаетъ дѣло въ благополучному окончанію. — Содержаніе довольно водевильное, но не совсѣмъ избитое; сцены въ заглѣ на станціи могли бы быть въ высшей степени интересны, но автору, видно, некогда было подумать надъ ними. Несмотря на то, есть много забавнаго и хорошіе куплеты. Въ первое представленіе водевилъ этотъ пагъ, въ слѣдующія—второе и третье, началъ подниматься.

**„новорожденный.“** *Комедія въ шести декораціяхъ, соч. М. Н. Загоскина.*

Эта піеса взята изъ второй части «Москвы и Москвичей» г. Загоскина. Несмотря на то, что она писана для чтенія, а не для сцены, — на сценѣ она лучше, чѣмъ въ чтеніи, хотя, во всякомъ случаѣ, это только образъ, въ которомъ авторъ могъ бы сказать очень много, еслибъ не сказалъ очень мало. Особенно хороша на сценѣ вторая декорація. Роль Ползкова, дурно обдѣланная, тѣмъ не менѣе по своей мысли такова, что не можетъ не быть интересною на сценѣ: въ ея мысли много правды, которую Щепкинъ своею игрою умѣлъ сдѣлать ошутительною. Въ первый разъ эта піеса пала; но въ послѣдующіе разы принималась все лучше и лучше. Это не мудрено: вкусъ бенефисной публики таковъ, что надобно судить о піесахъ не по тому, какъ ихъ принимаютъ.

Кромѣ этихъ піесъ, по случаю временнаго появленія Щепкина на сценѣ Александринскаго театра, возобновлены были

«Москаль Чарывникъ», малороссійскій водевилъ, г. Котляревскаго; «Подложный Кладъ, или опасно подслушивать у дверей», комедія въ одномъ дѣйствіи, передѣланная съ французскаго Н. Ильиницкѣ; «Школа Женъ», «Тартюфъ», «Учитель и Ученикъ, или въ Чужомъ Пиру Похмѣлье», водевилъ въ одномъ дѣйствіи, переведенный съ французскаго А. И. Писаревымъ; «Ссора или Два Сосѣда», комедія въ одномъ дѣйствіи, князя Шаховскаго; сверхъ того, Щепкинъ являлся въ «Модной Лавкѣ», въ піесѣ «Два Отца и два Купца», въ сценѣ изъ «Жениховъ» и въ сценѣ изъ «Наталки Полтавки». При Щепкинѣ же поставлена на Александринскомъ театрѣ комическая сцена Гоголя «Тяжба», съ восторгомъ принятая публикою. Во время своего пребыванія въ Петербургѣ, Щепкинъ шесть разъ являлся въ «Горе отъ Ума»; пять разъ въ «Ревизорѣ»; четыре раза въ «Матросѣ»; тринадцать разъ въ «Москалѣ Чарывникѣ»; три раза въ «Игрокахъ»; три раза въ «Подложномъ Кладѣ»; два раза въ «Женитьбѣ»; три раза въ «Новорожденномъ»; два раза въ «Тяжбѣ» и два раза въ сценѣ изъ «Жениховъ». Приѣмъ, оказанный петербургскою публикою знаменитому московскому артисту, былъ самый блестящій, самый радушный, самый искренній. Кого не наскучитъ безпрестанно смотрѣть въ старыхъ піесахъ и въ однихъ и тѣхъ же роляхъ? Но только однажды при представленіи «Ревизора» (кажется, въ четвертый разъ) публики было въ театрѣ менѣе обыкновеннаго. Но, кромѣ этого раза, театръ всегда полонъ, лишь только имя Щепкина стоитъ на афишѣ. Случалось не разъ, что театръ почти пустъ, но лишь оканчивается піеса, или піесы, въ которыхъ Щепкинъ не принимаетъ участія, театръ вдругъ наполняется. Не забудьте при этомъ, что Щепкинъ является на сцену большею частію въ тѣ дни, когда дается итаалыянская опера. Замѣчательнѣе же всего, что въ Александринскій театръ теперь ѣздитъ публика всѣхъ слоевъ

общества, публика, которая, следовательно, состоит не из одних присяжных посетителей Александрынского театра, способных восхищаться какими-нибудь «Раемъ Магомета». Подобный успѣхъ очень понятенъ: кромѣ великаго таланта, какинъ владѣеть Щепкинъ, его искусная, художественная игра, подкрѣпленная умнымъ и добросовѣстнымъ изученіемъ ролей, въ которыхъ онъ является, не могла не поразить петербургской публики...

Въ роли Городничаго (въ «Ревизорѣ») можно видѣть только Щепкина, хотя игра его и не вездѣ равно удовлетворительна. Замѣтно, что въ первомъ актѣ онъ слабѣе, чѣмъ въ остальныхъ четырехъ. Первая сцена пятаго акта (съ женою и съ кушачи) — торжество таланта Щепкина! Въ роли Кочкарева (въ «Женитьбѣ»), онъ обнаруживаетъ больше искусства, нежели истинной натуры; но тѣмъ не менѣе только его игра въ этой роли показала петербургской публикѣ, что за пиеса «Женитьба». — Въ роли Бурдюкова у него не достаетъ грубости, медлительной естественности и даже органа, и, несмотря на то, онъ удивителенъ въ этой роли! Справедливость требуетъ замѣтить, что и г. Мартыновъ въ роли чиновника въ «Тяжбѣ» безподобенъ, и мы только тутъ вполнѣ разгадали, какинъ огромный талантомъ обладаетъ этотъ молодой артистъ потому что только художественно-созданныя и исполненныя глубокаго смысла роли могутъ быть пробнымъ камнемъ таланта. «Игроки» такая пиеса, которая никакъ не можетъ имѣть успѣха на сценѣ, если въ ея выполненіи нѣтъ величайшей цѣлости и не все артисты играютъ равно хорошо. — Въ роли Фанусова у Щепкина не достаетъ оттѣнка барства, чтобъ его игра была самымъ совершенствомъ. — Роль матроса въ пиесѣ этого имени — новое торжество таланта Щепкина, и онъ былъ въ ней удивителенъ, несмотря на то, что физическія средства нѣсколько начинаютъ ему измѣнять, и что онъ

въ этой піесѣ играетъ совершенно одинъ. — Разсказъ Горлопанова изъ комедіи «Женихи» показываетъ, до какой степени разнообразенъ талантъ Щепкина. Но если въ чемъ игра его становится полнымъ совершенствомъ — это въ роли Чупруна въ «Москалѣ Чарывникѣ». Не удивительно, что онъ сыгралъ ее тринадцать разъ въ какіе-нибудь полтора мѣсяца. Въ «Подложномъ Кладѣ», роль скупца вообще выполняется Щепкинымъ необыкновенно искусно, но истинно вдохновенныхъ мѣстъ у него въ этой роли немного.

Вообще, появленіе Щепкина на сценѣ Александринскаго театра—событіе, весьма важное и въ области искусства и въ сферѣ общественнаго понятія объ искусствѣ: благодаря пріѣзду его въ Петербургъ, здѣсь многіе о многомъ будутъ думать иначе, нежели какъ думали прежде...

---

**1845.**

—

**ОТЕЧЕСТВЕННЫЯ ЗАПИСКИ.**

•



**I.**

**КРИТИКА.**





## РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВЪ 1844 ГОДУ.

---

Вотъ уже пятое обозрѣніе годового бюджета русской литературы представляемъ мы нашимъ читателямъ. Обязавшись передъ публикою быть вѣрнымъ зеркаломъ русской литературы, постоянно отдавая отчетъ во всякой вновь выходящей въ Россіи книгѣ, во всякомъ литературномъ явленіи, «Отечественныя Записки» не вполнѣ выполнили бы свое назначеніе — быть полною и подробною лѣтописью движенія русскаго слова, еслибъ не вѣрили себѣ въ обязанность этихъ годичныхъ обозрѣній, въ которыхъ обо всемъ, о чемъ въ продолженіи цѣлаго года говорилось, какъ о настоящемъ, говорится какъ о прошедшемъ, и въ которыхъ всѣ отдѣльныя и разнообразныя явленія цѣлаго года подводятся подъ одну точку зрѣнія. Не ставимъ себѣ этого въ особенную заслугу, потому что видимъ въ этомъ только должное выполненіе добровольно принятой на себя обязанности; но не можемъ не замѣтить, что подобная обязанность довольно тяжела. Читатели наши знаютъ, что большая часть этихъ годичныхъ обозрѣній постоянно наполнялась разсужденіями вообще о русской литературѣ и, слѣдовательно, о всѣхъ русскихъ писателяхъ, отъ Кантемира и Ломоносова до настоящей минуты; а взглядъ на прошлогоднюю литературу — главный предметъ статьи, всегда занималъ ея меньшую часть. Подобныя отступленія отъ главнаго предмета

необходимы по двумъ причинамъ: во первыхъ, потому что настоящее объясняется только прошедшимъ, и потому что по поводу цѣлой русской литературы еще можно написать не одну, а даже и нѣсколько статей, болѣе или менѣе интересныхъ; но о русской литературѣ за тотъ или другой годъ, право, не о чемъ слишкомъ много или слишкомъ интересно разговаривать. И это-то составляетъ особенную трудность подобныхъ статей. Легко пересчитывать богатства истинныя или мнимыя; много можно говорить о нихъ; но что сказать о бѣдности, близкой къ нищетѣ? Да, о совершенной нищетѣ, потому что теперь нѣтъ уже и мнимыхъ, воображаемыхъ богатствъ. А между тѣмъ, о чемъ же говорить журналу, если ему уже нечего говорить о литературѣ? Вѣдь у насъ литература составляетъ единственный интересъ, доступный публикѣ, если не упоминать о преферансѣ, говоря о немногихъ, исключительныхъ и какъ бы случайныхъ ея интересахъ. Итакъ, будемъ же говорить о литературѣ, — и если, читатели, этотъ предметъ уже кажется вамъ нѣсколько истощеннымъ и слишкомъ часто истощаемымъ; если толки о немъ уже доставляютъ вамъ только то магнетическое удовольствіе, которое такъ близко къ усыпленію, — поздравляемъ васъ съ прогрессомъ, и пользуемся случаемъ увѣрить васъ, что мы, въ свою очередь, совѣмъ не чужды этого прогресса, и что, въ этомъ отношеніи, вы не правы, если вздумаете упрекнуть насъ въ отсталости отъ духа времени и въ наивной запоздалости касательно его интересовъ... Еще разъ: будемъ разсуждать о русской литературѣ, — предметъ и новый и любопытный...

Переходчивы времена, какъ подумаешь! Вспомните о томъ, что такъ сильно интересовало васъ, что давало такую полноту вашей жизни и что было еще такъ недавно, — вы по неволѣ воскликнете съ грустію:

Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ!

На Руси еще не вывелись люди, которые

Извѣсты черпаютъ изъ забытыхъ газетъ  
Время очаковскихъ и покоренья Крыма;

люди, которые со вздохомъ вспоминаютъ о пудрѣ, о косахъ съ комельками, о вискахъ à la pigeon, о шитыхъ кафтанахъ, о шляпахъ корабликахъ, объ атласныхъ штанахъ, о шелковыхъ чулкахъ и башмакахъ съ брильянтовыми пражками и красными каблучками; о роброндахъ, о фижиахъ, о мушкахъ, о менуэтѣ, о грессатерѣ, о вельможескихъ столахъ, куда всякій раучте diable могъ явиться за подачкою, наѣсться и ваниться, и за все это расквитаться только униженнымъ поклономъ щедрому амфитріону, который такъ же мало замѣчалъ этотъ поклонъ, какъ и тѣхъ, кто сидѣлъ за столомъ его; о фейерверкахъ, о ипрахъ, о «Петриадѣ» Ломоносова, о трагедіяхъ Сумарокова, «Россіадѣ» Хераскова, «Душенькѣ» Богдановича, одахъ Петрова и Державина, и обо всей этой поэзіи, столь плодотворной, столь громкой, столь однообразной, нѣкогда возбуждавшей такое благоговѣйное удивленіе, а теперь извѣстной болѣею частію только по воспоминаніямъ, по преданію и по слухамъ... И правы, сто, тысячу разъ правы эти вздыхающіе остатки, одиноко и безотрадно уцѣлѣвшіе отъ тѣхъ временъ: вокругъ нихъ «все новое кипитъ, бывшее истреба». Міръ ихъ и міръ нашъ—два совершенно различные міра, между которыми нѣтъ ничего общаго. Говоря съ нами, они съ трудомъ понимаютъ въ нашихъ устахъ русскій языкъ, такъ странно измѣнившійся съ тѣхъ поръ; что же до нашихъ понятій — они не вразумительны для нихъ даже и при посредствѣ самаго точнаго и вѣрнаго перевода на ихъ понятія. Положеніе такихъ людей можно сравнить только съ несчастіемъ—вдругъ ожить, пролежавъ лѣтъ восемьдесятъ подъ тою землею, на которой все двигалось и измѣнялось съ быстротою изумительной. Да, нѣтъ, этихъ добрыхъ людей, есть о чемъ вздыхать! Но эти

люди теперь — исключение, дорогая рѣдкость, нѣчто въ родѣ подлинника Несторовой лѣтописи, если только подлинникъ Несторовой лѣтописи гдѣ-нибудь еще существуетъ, или существовалъ когда-нибудь. Но теперь есть еще довольно людей другаго міра, болѣе близкаго нашему. Это люди, которые юношами любовались на блестящій закатъ царствованія Екатерины II, и съ гордыми надеждами встрѣтили кроткое сіяніе царствованія Александра Благословеннаго; которые еще не успѣли привыкнуть ни къ пудрѣ, ни къ пуклямъ, и весело разстались съ этими атрибутами отошедшаго къ вѣчности вѣка; которые безъ повѣрки, безъ сомнѣнія, повторяли громкія фразы пожилыхъ и старыхъ людей о величіи Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, Петрова и Державина. — но которые уже плакали навзрыдъ надъ «Бѣдною Лизою», предавались нѣжной меланхоліи при чтеніи «Наташи Боярской Дочери», и восхищались «Письмами Русскаго Путешественника». При этомъ поколѣніи, оды были еще въ ходу, но болѣе по укоренившемуся въ прошломъ вѣкѣ благоговѣнію къ ихъ громогласію, нежели вслѣдствіе потребностей наставшаго новаго вѣка. Скажемъ болѣе: ода тогда уже отжила свое время, и ея громозвучные возгласы были заглушены томными вздохами и нѣжнымъ журчаніемъ сладкихъ слезъ. Одамъ не переставали удивляться, считая ихъ высшимъ родомъ поэзіи, послѣ героической поэмы; но новыхъ даровитыхъ одистовъ не являлось. Дмитріевъ пробовалъ писать оды, но только пробовалъ (что не помѣшало ему, однакожь, жестоко осмѣять оды въ остроумной сатирѣ «Чужой Толкъ»), — и настоящій успѣхъ имѣли его пѣсни, басни, сказки, эпиграммы, надписи и мадригалы, а не оды. Между молодымъ поколѣніемъ, начали потомъ появляться *ésprits-forts*, которые позволяли себѣ сомнѣваться въ неоспоримомъ величіи Сумарокова: и не мудрено — они вѣдь знали каждую строку Карамзина, выучили наизусть его стихи,

равно какъ стихи Дмитріева и Нелединскаго; въ театрѣ восхищались трагедіями Озерова. Мерзляковъ даже дерзнулъ (о, ужасъ!) изъяснить довольно рѣзкое сомнѣніе на счетъ безукоризненнаго совершенства «Россіады» и «Владимира». Муза Жуковскаго открыла изумленнымъ глазамъ этого поколѣнія совершенно новый міръ поэзіи. Намъ разъ случилось слышать отъ одного изъ людей этого поколѣнія довольно наивный рассказъ о томъ странномъ впечатлѣніи, какимъ поражены были его сверстники, когда, привыкнувъ къ громкимъ фразамъ, въ родѣ: «О ты, священна добродѣтель!» — они вдругъ прочли эти стихи:

Вотъ и мѣсяцъ величавый  
Всталъ надъ тихою дубравой:  
То изъ облака блеснетъ,  
То за облако зайдетъ:  
Съ горъ простерты длинны тѣни;  
И лѣсовъ дремучихъ сѣни,  
И зеркало зыбкихъ водъ,  
И небесъ далекій сводъ  
Въ свѣтлый сумракъ облеченны...  
Спать пригорки отдаленны,  
Боръ заснулъ, долина спитъ...  
Чу!... полночный часъ звучитъ.

По наивному рассказу современниковъ этой баллады, особеннымъ изумленіемъ поразило слово «чу!»... Они не знали, что имъ дѣлать съ этимъ словомъ, какъ принять его — за поэтическую красоту, или литературное уродство... И въ то время, какъ Жуковскій вводилъ и распространялъ вкусъ къ романтизму, скрипучій, сросшійся съ усѣченіями и какофонією русской псевдо-классицизмъ, подъ очаровательнымъ перомъ Батюшкова, дошелъ даже не только до шегольства, но и почти до поэзіи выраженія, до мелодіи стиха... И что же? — Едва прошло два десятилѣтія наступившаго вѣка, какъ явился Пушкинъ, — и доселѣ-новое поколѣніе съ изумленіемъ увидѣло себя

поколѣніемъ уже отжившимъ свое время... Въ самомъ дѣлѣ если русская проза, преобразованная Карамзинымъ, улучшенная Жуковскимъ, еще не показала въ это время рѣшительнаго стремленія къ новому преобразованію, — за то стихи такъ быстро, такъ скоро измѣнились, что тотчасъ же за Пушкинымъ даже и убогіе талантомъ молодые люди запѣли такими легкими, такими гладкими стихами, что, въ сравненіи съ ними, и стихи Батюшкова перестали казаться образцомъ изящества. И добро бы реформа стиха ограничивалась только его фактурою: нѣтъ, самый тонъ поэзіи, ея содержаніе, ея мотивы — все стало діаметрально противоположно прежней поэзіи. Сколько уже времени до того Жуковский писалъ баллады! на нихъ нѣкоторые косились, хотя большинство читало ихъ съ одобреніемъ; но лишь явился Пушкинъ, не написавшій почти ни одной баллады, какъ баллада сдѣлалась любимымъ родомъ: всѣ принялись за мертвецовъ, за кладбища, за ночныхъ убійцъ; поднялись жестокіе споры за балладу. Элегія напавалъ убила оду; уныніе, грусть, разочарованіе, сомнѣніе, сладостная лѣнь, пьянство, похмѣлье, пиры, студентское удалство, Гамлетовское раздумье, разрушенныя надежды, обманщица жизнь, пѣна шампанскаго, разбойники, нищіе, цыгане — вотъ что, какъ хозяева, вошло во храмъ русской поэзіи и гордо пальцемъ указало дверь прежнимъ жрецамъ и поклонникамъ... Критика, дотогѣ скромная, покорная служительница авторитета и льстивая повторяльщица избитыхъ общихъ мѣстъ, — вдругъ словно съ цѣпи сорвалась. Она перевернула всѣ понятія, ложью объявила то, что дотогѣ считалось истиною, назвала истиною то, что дотогѣ считалось ложью. Сумарокова провозгласила она бездарнымъ писакою, подъ пару Тредьяковскому; поэмы Хераскова изъ великихъ произвела только въ тяжелыя; Петрова объявила надутымъ риторомъ въ стихахъ; даже Ломоносова дерзнула поставить, какъ

поэта и лирика, на весьма почтительное разстояніе отъ Державина. Изъ всѣхъ этихъ колоссальныхъ славъ уцѣлѣли только Ломоносовъ и Державинъ; но первый больше, какъ ученый, какъ преобразователь языка, нежели какъ поэтъ: объ одномъ только Державинѣ новая критика повторила всѣ старыя фразы, съ прибавленіемъ своихъ новыхъ. Потомъ пользовались ея благосклонностію Хемницеръ и Богдановичъ, и не былъ ею оцѣненъ Фонъ-Визинъ — единственный писатель Екатерининскаго вѣка, котораго будутъ читать еще не одинъ вѣкъ. Къ числу заслугъ новой критики принадлежитъ еще то, что она уничтожила смѣшной предрасудокъ, основанный на кумовствѣ и безвкусицѣ, — предрасудокъ, вслѣдствіе котораго басни Дмитріева считались выше басенъ Крылова, — тогда какъ здравый смыслъ и чистый вкусъ запрещали какое-нибудь сравненіе между талантливыми баснями Дмитріева и гениальными баснями Крылова... Не перечестъ всѣхъ подвиговъ новой критики! Не довольствуясь своими писателями, она смѣло пустилась судить (впрочемъ, съ чужаго голоса) объ иностранныхъ: не только Флоріанъ, Деланъ, Кребильйонъ, Дюси, Попе, Адиссонъ, Драйденъ, но и трагики—Корнель, Расинъ, Вольтеръ, были объявлены ею плохими и ничтожными поэтами. Въ замѣнъ ихъ, она провозгласила великими гениями Шекспира, Сервантеса, Шиллера, Гёте, Байрона, Вальтеръ Скотта, Виктора Гюго, заговорила съ уваженіемъ о Гофманѣ, Жанъ-Полѣ, Вашингтонѣ-Ирвингѣ, Тикѣ, Цшюкке.—Буало, Баттѣ и Лагарпъ, были ею уничтожены, какъ законодатели въ области изящнаго, какъ руководители литературнаго вкуса: на дребезги разбитыхъ ихъ статуй и пьедесталовъ поставила она братьевъ Шлегелей.

Но всѣ эти «опасныя новости», всѣ эти «дикія неистовства» вольнодумной критики, такъ изумившія и раздражившія старое поколѣніе, и въ половину не произвели на него такого стра-

шнаго, потрясающаго впечатлѣнія, какъ начавшіяся потомъ нападки на Карамзина. Тутъ вполне обнаружилось воспитанное Карамзинымъ поколѣніе: въ непростительной дерзости новыхъ критиковъ—судить о Карамзинѣ не по табели о рангахъ, а по своему смыслу и вкусу, увидѣло оно покушеніе на жизнь и честь—не Карамзина (котораго честь достаточно обезпечивалась его заслугами), а на жизнь и честь Карамзинскаго поколѣнія. Война была страшная; много было пролито чернилъ и поломано перьевъ; сражались и стихами и прозою. Замѣчательно, впрочемъ, что эта война началась еще при жизни Карамзина (который не вмѣшивался въ нее), и что первый осмѣлился заговорить о Карамзинѣ, не по преданію и не по авторитету, а по собственному сужденію, человекъ стараго поколѣнія—профессоръ Каченовскій. Князь Вяземскій доказывалъ ему его несправедливость въ стихотворномъ посланіи, которое было напечатано въ «Сынѣ Отечества» (1821) и начиналось такъ:

Передъ судомъ ума сколь, Каченовскій! жалокъ...

Каченовскій перепечаталъ это посланіе у себя, въ «Вѣстникѣ Европы», поблагодаривъ издателей «Сына Отечества» за запятую и восклицательный знакъ, которыми, въ первомъ стихѣ, отдѣлено имя того, къ кому адресовано посланіе, и снабдивъ эту піесу очень любопытными примѣчаніями. И долго послѣ того продолжалась война... Карамзина не стало; князь Вяземскій напечаталъ въ «Телеграфѣ» еще стихотворную филиппику противъ враговъ Карамзина, т. е. противъ людей, которые почли себя въ правѣ судить о Карамзинѣ по крайнему ихъ, а не чужому разумѣнію; въ этой филиппикѣ, онъ сравнилъ Карамзина съ гениальнымъ зодчимъ, который изъ грубаго матеріала русскаго языка воздвигъ великолѣпный храмъ; а критиковъ Карамзина сравнилъ онъ съ совами, которыя набились въ храмъ, и проч. Но, несмотря на всѣ филиппики въ прозѣ и стихахъ, время все шло да шло, унося съ собою и вещи и



людей, все измѣняя въ пользу новаго на счетъ стараго. Изъ поколѣнія, образованнаго подъ вліяніемъ Карамзинскаго направленія, многіе смотрѣли на Пушкина косо, какъ на литературнаго еретика; но очень немногіе умѣли какъ-то эклектически сочетать уваженіе къ Пушкину и другимъ новымъ талантамъ, съ уваженіемъ, по прежнему болѣе упрямымъ, нежели отчетливымъ, къ литературнымъ корифеямъ своего времени. Мое время, наше время — какія это волшебныя слова для чело-вѣка! И какъ не считать ему своего времени за золотой вѣкъ Астрей: вѣдь онъ тогда былъ молодъ и счастливъ! Писатели его времени были первыми, которые поразили впечатлѣніемъ его юный умъ, его юное сердце, а впечатлѣнія юности неизгладимы!... И потому, мы не можемъ безъ живой симпатіи читать этихъ стиховъ, въ которыхъ отжившее свой вѣкъ поколѣніе, въ лицѣ одного изъ замѣчательнѣйшихъ своихъ представителей, съ такою грустною искренностью признаетъ себя побѣжденнымъ, и, отказываясь дѣлить интересы новаго поколѣнія, уже не обвиняетъ его за то, что оно живетъ жизнью тоже своего, а не чужаго времени:

Сны другаго поколѣнія,  
Мы въ новотъ — прошлагомнѣи нѣтъ:  
Живемъ намъ чужимъ впечатлѣніемъ,  
А наивнъ въ нѣтъ сочувствіи нѣтъ.  
Они, что любятъ, разлюбили,  
Ступили нѣтъ — нѣтъ не возлюбилъ,  
Нѣтъ не было такъ, гдѣ мы были,  
Гдѣ будемъ — намъ ужъ не бывать!  
Наша нѣтъ — нѣтъ хронъ оустомленнѣи,  
Нѣтъ (асерозовѣ — нѣтъ бѣли,  
И то, что нѣтъ намъ свѣтлѣи —  
Дли нѣтъ одна нѣтъ нѣтъ.  
Тамъ мы развѣдываемъ подобокъ,  
И въ расступѣи живемъ,  
Стоитъ намъ павити нѣтъ кагробный  
Среди обителѣи людскнѣи.

Да, понятна такая грусть, равно какъ и то, что поколѣніе Карамзинскаго періода нашей литературы проиграло тяжбу о своемъ первенствѣ скорѣе, нежели увидѣло и призналось, что его тяжба проиграна. Между нимъ было много людей, которые прочли первыя печатныя строки Карамзина въ минуту ихъ появленія, а Карамзинъ началъ писать за десять лѣтъ, до начала новаго столѣтія: слѣдовательно, многіе изъ людей этого поколѣнія, неприготовившись, встрѣтили славу Пушкина вдругъ выросшую колоссально, безъ ихъ вѣдома, безъ ихъ содѣйствія, и какую славу! — славу, которой до него не зналъ ни одинъ русскій поэтъ — славу народную... Въ то время, самыя младшіе изъ людей этого поколѣнія были уже людьми возмужалыми, вполне развившимися и опредѣлившимися; бѣльшая же часть этого поколѣнія состояла изъ людей пожилыхъ; и если между ними немного было стариковъ, то къ нимъ примкнулись, въ чувствѣ оппозиціи новой литературѣ, всѣ старцы Ломоносовскаго періода нашей литературы, — старцы, которые, разнясь съ ними во многомъ, почти всѣ совершенно сходились въ безусловномъ удивленіи къ Карамзину. Но вотъ чтò удивительно: какъ это новое, это романтическое поколѣніе, одержавшее такую рѣшительную побѣду надъ предшествовавшимъ ему поколѣніемъ, — какъ оно - то такъ скоро стало въ то самое положеніе, въ которое оно поставило смѣненное имъ поколѣніе? Скажутъ: этому минуло уже около двадцати пяти лѣтъ, почти цѣлая четверть вѣка. Еслибъ это было такъ, тутъ не было бы ничего особенно удивительнаго; но дѣло въ томъ, что между 1831-мъ и 1835-мъ годомъ, въ литературѣ нашей произошелъ крутой переломъ. Пушкинъ пошелъ по совершенно новой дорогѣ, предавшись искусству въ исключительномъ значеніи этого слова; издавъ «Бориса Годунова» и послѣднія главы «Онегина», онъ печаталъ, и то изрѣдка, только небольшія піесы. Правда, онъ напечаталъ въ своемъ

журналъ «Капитанскую Дочку» и «Скупого Рыцаря»; но «Египетскія Ночи», «Русалка», «Мѣдный Всадникъ» и «Каменный Гость» были напечатаны уже послѣ его смерти. Сверхъ того, онъ обнаружилъ сильную склонность къ прозѣ и къ важнымъ историческимъ трудамъ, потому что его «Исторія Пугачевского Бунта» была для него самого только пробнымъ камнемъ его историческаго таланта, и, работая надъ нею, онъ уже готовилъ матеріалы для труда болѣе важнаго и великаго — для исторіи Петра-Великаго. Но, чтѣ особенно замѣчательно, въ началѣ тридцатыхъ годовъ (между 1831 и 1835-мъ), Пушкинъ такъ же былъ въ упадкѣ своей славы, какъ въ началѣ двадцатыхъ годовъ онъ былъ въ ея апогеѣ. Это фактъ многозначительный. Отъ Пушкина отступились его присяжные хвалители и издалека повели рѣчь, что онъ отсталъ отъ вѣка, обманулъ всеобщія ожиданія, — словомъ, повели рѣчь о его паденіи такъ же основательно, какъ основательно провозглашали его еще не такъ давно «сѣвернымъ Байрономъ» и «представителемъ современнаго человѣчества». Даже дружина талантовъ, вмѣстѣ вышедшая съ Пушкинымъ и ему такъ много обязанная отблескомъ его отразившейся на ней славы, даже она была недовольна имъ. Многіе спрашивали, чтѣ же онъ сдѣлалъ, гдѣ у него европейскія идеи, и т. п. Нѣкоторые дошли до того, что въ Пушкинѣ стали видѣть не болѣе, какъ преобразователя русскаго стиха, — легкаго, пріятнаго и граціознаго стихотворца, а пальму первенства между русскими поэтами думали вручить г. Языкову, тѣмъ болѣе, что и самъ Пушкинъ видѣлъ въ послѣднемъ какого-то необыкновеннаго поэта.

Но все это означало ни больше, ни меньше, какъ только то, что все это поколѣніе, изъ-подъ орлиного крыла Пушкина весело выпорхнувшее на раздолье литературнаго міра, уже отстало отъ него. Пушкина спасла не мысль, не сознательное стремленіе впередъ; нѣтъ: своимъ спасеніемъ, т. е. тѣмъ,

что онъ не исписался и не выписался, онъ обязанъ былъ только своему колоссальному таланту, своей глубокой натурѣ, своему необыкновенному художническому инстинкту. Когда явились его посмертныя сочиненія, для нихъ нашлись цѣнители и судьи уже изъ людей новаго поколѣнія; а то, которое развилось подъ его вліяніемъ, и теперь еще живетъ воспоминаніемъ славы Пушкина, какъ творца «Руслана и Людмилы», «Братьевъ Разбойниковъ», «Кавказскаго Пльинника», «Бахчисарайскаго Фонтана», «Графа Нулина», «Цыганъ» и первыхъ шести главъ «Онегина». Въ 1830 году, необычайный успѣхъ «Юрія Милославскаго» сообщилъ русской литературѣ болѣе прозаическое направленіе, въ томъ смыслѣ, что стиховъ стали меньше читать и писать, тогда какъ прозу жадно читала публика и въ прозѣ усердно начали подвизаться литераторы. Въ 1831 и 1832-мъ годахъ, появились «Вечера на Хуторѣ» Гоголя, а въ 1836 году, русская публика уже прочла его «Арабески», «Миргородъ» и познакомилась, и въ книгѣ и въ театрѣ, съ его «Ревизоромъ». Поэты Пушкинской эпохи продолжали писать, но ихъ стихотворенія уже не возбуждали прежняго вниманія, ихъ имена уже потеряли свое прежнее очарованіе и перестали быть неоспоримымъ доказательствомъ высокаго достоинства піесъ, подъ которыми они подписаны. Въ то же время, явились въ литературѣ совершенно новыя имена, — между прочими, гг. Кукольникъ и Бенедиктовъ, въ сочиненіяхъ которыхъ замѣтно было совершенно новое направленіе, совсѣмъ другой характеръ, нежели у поэтовъ Пушкинской школы. О значеніи этого направленія мы не считаемъ нужнымъ распространяться; скажемъ только, что оно было новое, и что во всемъ новомъ всегда выражается стремленіе къ прогрессу, если не прогрессъ. Все это, каждое въ свою очередь, болѣе или менѣе было признакомъ конца одного періода литературы и начала другаго: одно поколѣніе уступало мѣсто другому. Но ни въ

чемъ такъ рѣзко не выразился этотъ конецъ для однихъ, и это начало для другихъ, какъ въ критикѣ. Споръ о романтизмѣ и классицизмѣ кончился; партіи не согласились, но время рѣшило вопросъ, и этимъ рѣшеніемъ воспользовались, разумѣется, не тѣ, которые спорили. Романтическая критика, какъ мы уже замѣтили выше, потеряла свой торжествующій и побѣдный тонъ; она вдругъ сдѣлалась недовольною, ворчливою и пустилась сокрушать авторитеты, которымъ сама еще такъ недавно кадила онѣиамомъ благовоннѣйшихъ похвалъ. Если въ ея глазахъ и самъ Пушкинъ отсталъ отъ вѣка, то кто же бы изъ другихъ могъ не отстать отъ него? И потому, всѣ отстали, всѣ исписались или выписались, всѣ кромѣ ея, «критики съ высшими взглядами»... А между тѣмъ, если кто больше всѣхъ отсталъ, такъ это, конечно, она, верхоглядная критика, и если кто вовсе не думалъ отставать, такъ это, конечно, Пушкинъ. Но мы не будемъ слишкомъ нападать на романтическую критику, и если, правды ради, выскажемъ ея прегрѣшенія, то не скроемъ и заслугъ ея, — а она оказала большія заслуги общему дѣлу развитія. Она повалила множество ничтожныхъ авторитетовъ, въ гениальность которыхъ, до нея, вѣрили, какъ Монголы вѣрятъ въ святость Далай-Ламы; она изгнала изъ литературы множество предразсудковъ самыхъ смѣшныхъ и самыхъ жалкихъ; она первая осмѣлилась сказать во всеуслышаніе, что можно быть въ одно и то же время и человѣкомъ и прекраснымъ отцомъ семейства, образцомъ нравственности, словомъ, всячески почтеннымъ и заслуженнымъ человѣкомъ и — кропать плохіе стихи, сочинять дрянные романы; что званія и должности должны уважаться, но никакъ не должны бездарности давать права, принадлежащія одному таланту, и что стихи или проза почтеннаго человѣка — совершенно различные предметы, такъ что хула на стихи или прозу его нисколько не есть хула на его лич-

ность, или его званіе. Все это теперь похоже на истины въ родѣ той, что зимою бываетъ холодно, а лѣтомъ тепло; но тогда — это было другое дѣло и нужно было много любви къ истинѣ и благородной смѣлости, чтобъ рѣшиться два раза въ мѣсяцъ и говорить эти истины и примѣнять ихъ къ дѣлу. Было время, когда Мерзляковъ не зналъ, куда дѣваться отъ всеобщаго негодованія, которое возбудили его смѣлыя статьи противъ Хераскова. И даже во время Пушкина, — это помнимъ и мы, — выходки противъ Сумарокова многими принимались съ суевѣрнымъ ужасомъ, какъ въ степяхъ Средней-Азіи были бы приняты хулы на Далай-Ламу. Теперь, о талантѣ можно всякому судить какъ угодно: если вы судите ложно, и Пушкина называете бездарнымъ писакою, а какого-нибудь новаго Тредьяковского — гениальнымъ писателемъ, — въ этомъ всѣ увидятъ только ваше невѣжество и безвкусіе, а не дерзость, не буйство, не безнравственность. И этимъ прогрессомъ мы обязаны блаженной памяти романтической критикѣ: и это ея неотъемлемая, неоспоримая заслуга, за которую ей честь и слава. Романтическая критика явилась въ такія баснословныя, такія мифическія времена русской литературы, какъ будто-бы это было назадъ тому тысячу лѣтъ, хотя это было не болѣе двадцати пяти лѣтъ назадъ. Судите сами — и дивитесь: въ то блаженное и приснопамятное время, молодой человѣкъ, желавшій дѣйствовать на литературномъ поприщѣ, долженъ былъ сперва втереться въ гостиную какого-нибудь знаменитаго писателя, прославившагося нѣсколькими мадригалами и прозаическою статьею о ничемъ, напечатанною лѣтъ пятнадцать назадъ; въ гостиной, нашъ кандидатъ въ писатели долженъ былъ прислушиваться къ литературнымъ толкамъ «знаменитыхъ и опытныхъ» литераторовъ, чтобъ научиться здраво судить о литературѣ, т. е. научиться погорать чужія слова, а вмѣстѣ съ тѣмъ и позапа-

стись приличіемъ и хорошимъ тономъ. Выдержавъ первый испускъ, онъ въ одинъ прекрасный вечеръ, робко, съ замираніемъ сердца, объявлялъ почтенному собранію, что онъ смастерилъ басенку, пѣсенку, надригалъ, сонетецъ или что-нибудь въ этомъ родѣ, и что, при сочиненіи своей пѣсмы, онъ подражалъ такому-то (тогда сочинять значило подражать, а сочиняя не подражать, или сочинять не подражая, значило буйствовать и вольнодумничать). Почтенное собраніе благосклонно соизволяло выслушать первый опытъ юнаго пѣнты, потомъ начинало дѣлать свои замѣчанія о томъ, что хорошо и что плохо въ пѣснѣ. Сколько головъ, столько умовъ: въслѣдствіе этой аксіомы, въ пѣснѣ скромнаго пѣнты не оставалось почти ни одного незабракованнаго слова, и все осужденное онъ долженъ былъ перемѣнить или исключить. Это повторялось нѣсколько вечеровъ; наконецъ, стихотвореніе объявлялось годнымъ для печати и помещалось въ журналѣ. Это было родомъ рыцарскаго посвященія, и съ той минуты новоставленникъ обязывался быть вѣрнымъ рыгорикѣ, фразамъ, пѣнтическимъ вольностямъ, обязывался не имѣть своего сужденія до извѣстныхъ солидныхъ лѣтъ, а до тѣхъ поръ жить ходячими мнѣніями знаменитыхъ и опытныхъ литераторовъ. Одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ поборниковъ такъ называемаго романтизма рассказываетъ презабавный анекдотъ изъ этихъ временъ литературнаго патронажства: «Я помню, какъ однажды при мнѣ, въ обществѣ литераторовъ, читали стихи Пушкина «Къ Морю» (они тогда не были еще напечатаны и только что явились въ рукописи). Молодой человекъ, прочитавшій ихъ, застѣнчиво сказалъ, что это его произведеніе, и скромно просилъ совѣта, что ему исправить, и вообще можно ли напечатать ихъ. Пошли толки! Одинъ говорилъ то, другой другое; мнѣнныи авторъ все отрицалъ, записывалъ, выслушалъ рѣшительный приговоръ, что стихи недурны, но безъ исправле-

нія печатать ихъ нельзя, и вдругъ объявилъ, что это — стихи Пушкина! Вообразите, какіе длинные носы приросли къ носамъ всѣхъ совѣтниковъ!» Вотъ какія были это времена! И со всѣмъ этимъ, романтическая критика боролась смѣло, отважно, неутомимо, и все это она побѣдила.

Надо еще сказать, что эта критика имѣла что-то въ родѣ самобытнаго мнѣнія, не чужда была эстетической образованности и вкуса, наскоро читала все, что писалось за границею и, наскоро перелистывала, во французскихъ переводахъ, почти всѣхъ европейскихъ писателей. Это давало ей огромный перевѣсъ надъ людьми стараго поколѣнія, которые были хорошо знакомы только съ французскими писателями XVII и XVIII вѣка, глазами которыхъ смотрѣли на писателей Германіи и Англіи, но сами ихъ никогда не читали, или читали въ водяныхъ французскихъ переводахъ того же XVIII вѣка. Такимъ образомъ, ложная мысль, что искусство есть украшенное подражаніе изящной (а не низкой) природы, и что сочинять значить подражать какому-нибудь прославленному писателю, особенно изъ древнихъ, — эта ложная мысль была первымъ и главнымъ догматомъ ихъ эстетическаго корана. Романтическая критика въ особенности устремилась на подражаніе, — и если теперь поставить въ заглавіи своего сочиненія: подражаніе тому-то или такому-то, значить заранѣе убить свою книгу, лишивъ ее читателей (такъ же, какъ прежде значило — заранѣе расположить и критику и публику въ пользу своей книги); это дѣло — заслуга романтической критики. Такъ называемые русскіе классики больше всего боялись имѣть какое-нибудь свое собственное оригинальное мнѣніе и больше всего старались думать и говорить, какъ думали и говорили прежде ихъ и какъ думали и говорили въ ихъ время всѣ: романтическая критика сдѣлала то, что теперь каждый скорѣе рѣшится высказать странное мнѣніе, нежели повторить



чужое. О движеніи современныхъ европейскихъ литературъ классики не имѣли никакого понятія: романтическая критика по-своему слѣдила за нимъ и озадачивала классиковъ новыми именами и новыми идеями.

Повторяемъ: всѣ эти заслуги романтической критики важны и велики; но этимъ только онѣ и оканчиваются, тогда какъ она претендовала на что-то гораздо важнѣйшее и болѣе. Такъ называемые ея «вышіе взгляды» были ничѣмъ инымъ, какъ верхоглядствомъ; ея многосторонность и всевѣдніе — эклектическимъ энциклопедизмомъ; ея философія — ошибочно понятыми и невѣрно повторенными чужими рѣчами. Явившійся въ эпоху чисто переходную, когда гораздо легче было все отрицать, нежели что-нибудь утверждать въ области русской литературы, обладая болѣе практическою, нежели теоретическою способностью дѣйствовать, и не понявъ исторически умственного движенія въ современной Европѣ, — она все, дѣлавшееся въ европейскихъ литературахъ, цѣликомъ думала перенести въ русскую, и потому впала въ самыя смѣшныя ошибки. Французовъ, у которыхъ, послѣ Декарта, не было уже и признаковъ философіи, какъ науки, — Французовъ увлекъ эклектизмъ Кузена, и они добродушно признали этого краснорѣчивымъ великимъ философомъ. Русская романтическая критика въ этомъ исключительно французскомъ, слѣдовательно, совершенно частномъ явленіи, увидѣла явленіе міровое, и когда даже наши доморощенные критики, понявъ нелѣпость эклектизма, начали посмѣиваться надъ Кузеномъ, а во Франціи онъ уже совершенно палъ, — романтическая критика тутъ-то и принялась съ особеннымъ усердіемъ кадить генію Кузена. Теперь уже не нужно объяснять, что эклектизмъ есть не философія, а чистое и прямое отрицаніе философіи, и что эклектическій философъ есть то же самое, что холодный огонь, или огненный холодъ, и что основаніе эклетизма, какъ ученія мертвого и неорганическаго,

составляет мыслекрадство и шарлатанство. После того, как Кузень переправил посмертныя сочиненія своего ученика Жоффуа и вписалъ въ нихъ похвалы себѣ и своей философiи, тогда какъ Жоффуа прямо отвергаетъ эклектизмъ, какъ не-  
лѣпость, и послѣ того, какъ эта шулерская продѣлка эклектиче-  
скаго философа была печатно выведена наружу, кто же теперь не знаетъ, что Кузень шарлатанъ? Познакомившись съ новымъ историческимъ направленiемъ во Франціи, романтическая кри-  
тика цѣликомъ перенесла идеи Гизо, Тьерри и Баранта, о противоположности галльскаго элемента съ франкскимъ, какъ непосредственнаго источника всей послѣдующей исторiи Фран-  
ціи, о борьбѣ общинъ съ феодализмомъ и важности средняго сословія въ новой европейской исторiи, — всѣ эти идеи, выведен-  
ныя изъ совершенно чуждыхъ намъ фактовъ, романтическая критика цѣликомъ перенесла въ исторiю русскаго народа. Нападая на Карамзина, оспаривая его въ каждой строкѣ, она — бѣдная романтическая критика, и не замѣчала, какую смѣшную игравъ роль, отыскивая въ русской исторiи совершенно чуждый ей смыслъ и мѣняя ея событія совершенно чуждымъ ей аршиномъ. И мудрено ли, что факты въ ея исторiи остались тѣ же самыя, какіе находятся въ исторiи Карамзина, съ прибавленiемъ ней-  
дущихъ къ дѣлу высокопарныхъ умствованiй, взятыхъ на про-  
катъ у чужеземныхъ мыслителей, — и еще съ тою разницею, что исторiя Карамзина написана языкомъ блестящимъ, художе-  
ственно обработаннымъ, хотя и искусственнымъ, а исторiя ро-  
мантической критики написана языкомъ пухлымъ, многорѣчи-  
вымъ, фразистымъ, темнымъ, неопредѣленнымъ — не по без-  
грамотности романтической критики (въ которой ее тогда упре-  
кали враги ея), а по неопредѣленности идей, невольнo отразившейся и въ языкѣ. Карамзинъ увлекся идеею московскаго царства, созданнаго Іоанномъ III, какъ высочайшимъ идеаломъ государства: кто можетъ раздѣлять этотъ энтузіазмъ Карамзи-

на, тотъ въ его исторіи найдетъ именно то, чего въ ней должно искать и что въ ней действительно есть, потому что Карамзинъ со всею добросовѣстностью, во всей истинѣ исполнилъ свое дѣло, не искажая ни одного изъ фактовъ. Романтическая критика, въ своей исторіи, волею или неволею, показала тоже московское царство (потому что противъ очевидности фактовъ нечего дѣлать), но только съ какими-то теоретическими атрибутами, которые относились къ нему, какъ масло къ водѣ.

Далѣе: романтическая критика, узнавъ, что во Франціи закипѣла война между классицизмомъ и романтизмомъ, обѣими руками уцѣпилась за слово «романтизмъ» и сдѣлала его альфой и омегой всякой мудрости, отвѣтомъ на все вопросы. А между тѣмъ, во Франціи, думая спорить о классицизмѣ и романтизмѣ, въ сущности-то спорили о литературной свободѣ, стѣсненной до уродства писателями ХVІІ и ХVІІІ вѣка. Въ свое время, во Франціи была своя романтическая поэзія, которая называлась провансальскою. Кончилось рыцарство — кончился и романтизмъ. Корнель и Расинъ были поэтами ново монархическаго, а не феодальнаго общества. Послѣ революціи, Шатобрианъ явился представителемъ подновленнаго ради текущей потребности романтизма: тѣмъ же явился во время реставраціи Ламартинъ. Съ ними ожилъ на минуту гальванически воскрешенный романтизмъ; но чаеточное чадъ сканчалось гораздо прежде своихъ здоровыхъ родителей. Кромѣ этихъ двухъ писателей, въ новой Франціи не было ни одного нео-романтика. Но наша романтическая критика думала видѣть романтиковъ во всѣхъ новыхъ французскихъ писателяхъ, не разсмотрѣвъ въ нихъ направленій чисто отрицательнаго и чисто общественнаго, и потому уже нисколько не романтическаго характера. Особенно видѣла она и романтика и великаго генія въ Викторѣ Гюго, этотъ поэтъ, который, не будучи лишемъ поэтическаго таланта, совершенно лишемъ чувства истины, и который, смѣясь стать

выше самого себя, выше своих средств, дошелъ до крайнихъ предѣловъ натянутости и неестественности. Быстро выросши до облаковъ, его колоссальная слава скоро и испарилась вмѣстѣ съ этими облаками. Въ Германіи, такъ называемое романтическое движеніе было ни чѣмъ инымъ, какъ литературною оппозицію протестантизму, — и о романтизмѣ и среднихъ вѣкахъ больше всего хлопоталъ перешедшій въ католицизмъ Шлегель. Такое же движеніе въ пользу католицизма было частію и во Франціи. Не понявъ этого, столь исключительнаго явленія, объясняемаго несовѣстѣмъ литературными причинами, — наша романтическая критика объявила Шлегелей и Экштейна великими гениями, представителями философскихъ понятій объ искусствѣ и лучшими критиками нашего времени. Гдѣ теперь эти гении, эти маленькіе великіе люди, которымъ удалось разыграть замѣтную роль въ переходный моментъ? — ихъ эфемерное существованіе кончилось съ породившимъ ихъ моментомъ. Наша романтическая критика, преклоняясь передъ Кузеномъ, почитала своею обязанностью благоговѣть и передъ Шеллингомъ, объ ученіи котораго узнала она изъ французскихъ газетъ. Когда же слышала она о Гегелѣ, ея время уже прошло; ей уже не подъ силу стало справляться, что такое Гегель. Отставъ отъ времени, она рѣшилась объявлять отсталымъ все новое, съ чѣмъ уже нельзя ей было сладить. Такъ же начала она, съ роковой для нея эпохи тридцатыхъ годовъ, дѣйствовать и въ отношеніи къ руской литературѣ. Марлинскій у нея обогналъ вѣкъ, а Пушкинъ отсталъ отъ вѣка. Не желая отстать отъ Марлинскаго она и сама принялась писать повѣсти. Это были пренеприятныя повѣсти: въ нихъ вся сущность и вся цѣнность романтической критики. Можетъ-быть, мы когда-нибудь поговоримъ особенно объ этихъ повѣстяхъ: предметъ и любопытенъ и поучителенъ... «Вечера на Хуторѣ», это первое произведеніе Гоголя, столь оригинальное, столь свѣжее, столь наивное и исполнен-

ное жизни, романтическая критика встрѣтила бранью. Запоздалая, никѣмъ невнимаемая, безъ голоса, безъ кредита, романтическая критика и теперь еще не перестаетъ давать знать, что она все еще пишетъ, пишетъ... Что же и какъ же она пишетъ? Кажется, все то же и все такъ же, какъ и прежде; да дѣло въ томъ, что все это только прежнія слова, но уже безъ увѣренности, безъ силы, безъ увлеченія, безъ жара, и притомъ, слова одни и тѣ же, всѣмъ извѣстныя и всѣмъ давно уже наскучившія. Новаго въ ней одно, да и то, отъ частаго повторенія, сдѣлалось уже старо: это какая-то инстинктивная и закоренѣлая враждебность ко всему новому, исполненному силы и свѣжести. Такъ, она бранитъ постоянно Гоголя, Диккенса, доказывая, что ихъ постигнетъ участь Дюкре-дю-Мениля. Явился Лермонтовъ — она бранитъ и его, и, говоря объ одномъ изъ лучшихъ его стихотвореній: «И скучно и грустно», восклицаетъ насмѣшливо: «и скучно и грустно!» Въ-рѣмъ, въ-рѣмъ, что ей — отсталой романтической, ей — запоздалой верхоглядной критикѣ, — и скучно и грустно сознать свое безсиліе въ разумѣніи и чувствованіи всего новаго и юнаго! Но не однимъ этимъ ограничиваются ея подвиги: она пустилась въ мелкія компиляціи; она кропаетъ стишонки, надъ которыми во время оно такъ остроумно потѣшалась... Прежде она была самобытная критика, а теперь она поставщица всякихъ статей и мнѣній, какія ни закажутъ ей, готовая къ услугамъ тѣхъ самыхъ людей, которые нѣкогда очень боялись ея...

Конечно, все это «и скучно и грустно», но въ то же время и понятно. Результата всякаго явленія должно искать въ самомъ этомъ явленіи. Мы уже говорили, что романтическая эпоха нашей литературы (отъ начала двадцатыхъ до половины тридцатыхъ годовъ) была эпохою переходною, въ которой непонятое старое отрицалось во имя еще менѣе понятаго новаго,

въ которой только увлекались и обольщались идеями, но не проникались ими. Основаніе было и неглубокое и непрочное; непосредственное чувство (часто очень вѣрное) принималось за сознательную мысль. практическая ловкость, сноровка и тактъ — за философское направленіе, за мыслительную созерцательность, наглядка — за изученіе. Слово «романтизмъ» всего лучше объясняетъ дѣло. Романтизмъ былъ попыткою подновить старое, воскресить давно умершее. Въ Германіи онъ былъ усиленіемъ остановить потокъ новыхъ идей объ обществѣ и успѣхи знанія, основаннаго на чистомъ разумѣ. Во Франціи, онъ былъ вызванъ, сперва какъ противоѣдѣствіе идеямъ переворота, потомъ, какъ нравственная поддержка реставраціи. Обстоятельства его вызвали, и вмѣстѣ съ обстоятельствами онъ и исчезъ. Но къ намъ онъ не находился ни въ какихъ отношеніяхъ; правда, онъ изгналъ изъ нашей литературы стѣснительность и однообразіе формъ; но развѣ въ этомъ сущность романтизма? Романтизмъ, это — переведенный на языкъ поэзіи піэтизмъ среднихъ вѣковъ, экзальтація рыцарства. Съ этимъ романтизмомъ насъ еще прежде познакомил Жуковский, и однакожь Жуковского никто не называлъ романтикомъ, хотя онъ въ тысячу разъ болѣе романтикъ, нежели Пушкинъ, котораго всѣ почитали творцомъ и представителемъ романтизма въ русской литературѣ. Вотъ ясное доказательство, что спорили, сами не зная хорошенько, о чемъ!

Сверхъ того, даже и со стороны эстетической свободы, такъ ли были далеки, какъ думали? — Нѣтъ, и тысячу разъ нѣтъ! — У самыхъ отчаянныхъ нашихъ романтиковъ понимаемый въ ихъ смыслѣ романтизмъ былъ не больше, какъ тотъ же псевдо-классицизмъ, только расширенный и развязанный отъ узъ вѣтшней формы. Мы очень хорошо помнимъ, что романтическая критика не разъ толковала о возможности эпической поэмы въ наше время: не тотъ же ли это псевдо-

классицизмъ, для котораго поэма была высшимъ родомъ поэзіи, и который сочинялъ «Генріады», «Петріады», «Россіады», чтобы не отстать отъ Грековъ и Римлянъ? Нашъ романтизмъ видѣлъ великое созданіе въ «Notre Dame de Paris», этотъ натанутомъ, ложномъ и всячески фальшивомъ, хотя и блестящемъ произведеніи, — и видѣлъ признакъ упадка вкуса въ романахъ Диккенса и произведеніяхъ Гоголя. А если вы захотите присмотрѣться къ «драматическимъ представленіямъ» нашего романтизма, — то увидите, что и они мѣсятся по тѣмъ же самымъ рецептамъ, по которымъ составлялись псевдо-классическія драмы и комедіи: тѣ же избитыя завязки и насильственные развязки, та же неестественность, та же «украшенная природа», тѣ же образы безъ лицъ вмѣсто характеровъ, то же однообразіе, та же пошлость и то же ушѣнье. Даже въ иной передѣлкѣ «Гамлета» нельзя не увидѣть чисто Дюссювскихъ понятій о трагедіи, только немного подновленныхъ, — и иной передѣлыватель «Гамлета» — тотъ же самый Дюси, только не XVIII, а XIX вѣка: разница въ покроѣ платья, а не въ идеѣ. А эти нападки, будто-бы, на мерзости романовъ Диккенса и, будто-бы, на сальности произведеній Гоголя, — не чистый ли это классицизмъ XVIII вѣка? Наши романтики ушли отъ псевдо-классицизма гораздо меньше, нежели ушелъ отъ него Казимиръ Делавинъ — этотъ мнимый примиритель Расина съ Шекспиромъ, этотъ поэтический академикъ-эклектикъ...

Мы помнимъ русскій романтизмъ въ самомъ разгарѣ его. Эпоха нашего сознанія сливается съ эпохою его торжества. Юношескому чувству нравилась его походка, его удалство, его гордое сознаніе своихъ успѣховъ. Жадно перечитывая, и даже переписывая, всякое вновь появившееся стихотвореніе Пушкина, мы почти съ такимъ же восторгомъ хватались за все, что выходило изъ-подъ пера Баратынскаго, г. Языкова, Дельвига, г. Подолнскаго, Веневитинова, Полежаева, Да-

выдова, Козлова, г. Туманскаго, г. Хомякова... e tutti quanti. Все было хорошо, все нравилось, все восхищало. Но болѣе всего, послѣ Пушкина, интересовали насъ, какъ и всѣхъ, стихотворенія Баратынскаго, Веневитинова, Полежаева и г. Языкова. Послѣдній стоялъ въ нашемъ сознаніи едва ли не первымъ послѣ Пушкина. Но время шло, и мы шли за нимъ; декорации перемѣнились; послѣ того много промелькнуло новыхъ именъ, много появилось надѣлавшихъ большаго шума сочиненій, и одни изъ нихъ, очень немногія, удержали за собою свою знаменитость, но большая часть исчезла навсегда... И вотъ теперь эта блестящая дружина талантовъ, такъ очаровывавшихъ наше юношеское вниманіе, уже дождалась потомства, хотя многіе изъ нихъ еще живы и даже не стары; дождалась потомства, потому что между эпохою ея блестящаго успѣха, и между нашимъ временемъ легла цѣлая бездна... Веневитиновъ умеръ во цвѣтѣ лѣтъ, оставивъ книжечку стиховъ и книжечку прозы: въ той и другой видны прекрасныя надежды, какія подавалъ этотъ юноша на свое будущее, та и другая юношески прекрасны; но ничего опредѣленнаго не представляетъ ни та, ни другая. Короче: это прекрасная надежда, разрушенная смертію. — Полежаевъ умеръ жертвою богатыхъ, но неуравновѣшенныхъ даровъ природы: все доброе въ немъ было вмѣстѣ и зломъ и отравой его жизни. Поэзія его есть полное выраженіе его личности: это смѣсъ вкуса съ безвкусіемъ, таланта съ неразвитостію, геніальныхъ проблесковъ съ пошлостію, силы безъ мѣры и гармоніи, словомъ, что-то прекрасное и вмѣстѣ дикое, неопредѣленное. — Поэзія Козлова была скорбію<sup>е</sup> личнаго несчастія поэта; Козловъ былъ поэтомъ не по призванію, а по несчастію. Такіе поэты бываютъ всегда однообразны, и нравятся, пока къ нимъ не привыкнешь. «Чернецъ» былъ прочитанъ еще въ рукописи цѣлою Россією; но это не былъ успѣхъ «Горя отъ Ума»: это былъ успѣхъ «Бѣдной



Лазы». Козловъ переводилъ Байрона, но, переводя, онъ сообщалъ ему колоритъ своего собственнаго вдохновенія и силу Байрона превращалъ въ простое чувство унылости. Въ лучшихъ стихотвореніяхъ Козлова есть мелодія стиха, но содержаніе ихъ однообразно и недовольно существенно. — Летучія стихотворенія Давыдова — бивуачныя импровизаціи. Давыдовъ и въ поэзіи былъ партизаномъ, какъ на войнѣ. Нельзя лучше его уснить въ поэзіи, занимаясь ею между прочимъ, какъ однимъ изъ наслажденій жизни. — Дельвингъ своею поэтическою славой былъ обязанъ больше дружескимъ отношеніямъ къ Пушкину и другимъ поэтамъ своего времени, нежели таланту. Это была прекрасная личность, которую любили всѣ близкіе къ ней: Дельвингъ любилъ и понималъ поэзію не въ однихъ стихотвореніяхъ, но и въ жизни, и это-то ошибочно увлекло его къ занятію поэзіею, какъ своимъ призваніемъ: онъ былъ поэтическая натура, но не поэтъ. — Давно уже г. Подолинскій началъ писать все рѣже и рѣже, а наконецъ и совсѣмъ пересталъ. Чтò это значитъ: неужели прежде времени потухло священное пламя вдохновенія? Мы думаемъ, г. Подолинскій почувствовалъ самъ, что онъ сдѣлалъ все, чтò могъ сдѣлать, написалъ все, чтò могъ написать. Онъ пробовалъ писать когда уже прошло его время, но, вѣроятно, увидѣлъ, что у него выходитъ то же самое, чтò было имъ давно уже написано, а попытки въ другомъ тонѣ, вѣроятно ему не удавались. У г. Подолинскаго былъ талантъ, и прекрасный; но, по нашему мнѣнію, ни одинъ поэтъ этой эпохи не выразилъ своими сочиненіями такъ опредѣленно и ясно, до какой степени бѣдна... какъ бы это сказать? бѣдна сущностію эта эпоха. Возьмите прежнія стихотворенія г. Подолинскаго: прекрасно, а какъ-то утомительно. Удивительно ли, что теперь о нихъ совсѣмъ не говорятъ, какъ будто бы ихъ и не было? А гдѣтъ пятнадцать назадъ, появленіе новаго стихотворенія, новой

поэмы г. Подолинскаго, было фактомъ текущей русской литературы. — Г. Туманскій писалъ немного, и только въ элегическомъ родѣ; въ его стихахъ много чувства и души; въ свое время, стихотворенія его имѣли большое достоинство, и когда прошло ихъ время, они перестали являться вновь.

Призваніе Баратынскаго было на рубежѣ двухъ сферъ: онъ мыслилъ стихами, если можно такъ выразиться, не будучи собственно ни поэтомъ въ смыслѣ художника, ни сухимъ мыслителемъ. Стихотворенія его не были ни стихотворнымъ резонерствомъ, ни художественными созданіями. Дума всегда преобладала въ нихъ надъ непосредственностью творчества. Почти каждое стихотвореніе Баратынскаго было порождено не стремленіемъ осуществить идеальныя видѣнія фантазіи художника, но необходимостью высказать скорбную мысль, навѣянную на поэта созерцаніемъ жизни. Эта мысль, или, лучше сказать, эта дума, всегда такъ тепла, такъ душевна въ стихахъ Баратынскаго; она обращается къ головѣ читателя, но доходитъ до нея черезъ его сердце. Въ думѣ Баратынскаго много страдательнаго, въ обоихъ значеніяхъ этого слова: и въ томъ, что въ ней слышится страданіе, и въ томъ, что эта мысль не активная, а чисто пассивная. Она—всегда вопросъ, на который поэтъ отвѣчаетъ только скорбію; никогда этотъ вопросъ не разрѣшается у него въ отвѣтъ самостоятельностью мысли, въ вопросѣ заключенной. Читая стихи Баратынскаго, забываешь о поэтѣ, и тѣмъ болѣе видишь передъ собою человѣка, съ которымъ можешь не соглашаться, но которому не можешь отказать въ своей симпатіи, потому что этотъ человѣкъ, сильно чувствуя, много думалъ, слѣдовательно, жилъ, какъ не всѣмъ дано жить, но только избраннымъ. Его скорбь была у него не въ фантазіи, а въ сердцѣ; фантазія же только давала жизнь и форму его скорби; и сердце не раждало его скорби, но только принимало ее отъ его головы. Стихъ Бара-

тынского запечатлѣнъ одушевленіемъ и чувствомъ; иногда онъ не лишень даже силы выраженія; словомъ, въ стихѣ Баратынскаго есть поэзія, но какъ его второстепенное качество, и оттого онъ не художественъ. Къ недостаткамъ стиха Баратынскаго принадлежитъ мѣстами прозаичность, мѣстами неточность выраженія. Вообще, поэзія Баратынскаго — не нашего времени; но мыслящій человѣкъ всегда перечтетъ съ удовольствіемъ стихотворенія Баратынскаго, потому что всегда найдеть въ нихъ человѣка — предметъ вѣчно интересный для человѣка. Въ последнее время Баратынский писалъ очень мало; въ его «Сумеркахъ» есть нѣсколько истинно прекрасныхъ піесъ; появлявшіяся за тѣмъ стихотворенія его довольно слабы. Онъ сдѣлалъ все, что могъ сдѣлать для литературы; но, оплакивая его преждевременную смерть, мы скорбимъ о потерѣ не только поэта, но и человѣка: въ Баратынскомъ оба эти имени слились нераздѣльно...

Теперь намъ остается поговорить о двухъ поэтахъ Пушкинской эпохи; объ одномъ, котораго слишкомъ превозносили близкіе къ нему люди и которымъ восхищалась вся Россія — о г. Языковѣ, и о другомъ, котораго превозносятъ теперь близкіе къ нему люди, но о которомъ публика и въ то время едва знала — о г. Хомяковѣ. Какъ нарочно, въ прошломъ году вышли стихотворенія того и другаго, слѣдовательно, они сами просятся въ нашу статью, предметъ которой — обзоръ всей русской литературы въ 1844 году.

Стихотворенія гг. Языкова и Хомякова вышли въ маленькихъ книжкахъ, объѣ съ оригинальнымъ титуломъ: «HS Стихотвореній Н. М. Языкова» — «KE Стихотвореній А. С. Хомякова». Заглавіе по счету стихотвореній, счетъ славянскими цифрами, киноварью оттиснутыми, — оригинально, хотя и некрасиво! Въ одной книжкѣ 56, въ другой 25 стихотвореній: хорошаго по немножку!... Начнемъ съ пятидесяти шести; но прежде

скажемъ нѣсколько словъ о томъ времени, когда этихъ стихотвореній было написано цѣлыхъ сто шестнадцать...

Это было необыкновенно оригинальное время, читатели! Даже сочиненія самого Пушкина, написанныя въ это время, большею частію весьма рѣзко отличаются отъ его же сочиненій, написанныхъ послѣ. Но Пушкинъ смѣло перешагнулъ черезъ границу и своихъ тридцати лѣтъ, по поводу которыхъ онъ такъ поэтически распрощался съ своею юностью въ VI-й главѣ «Онѣгина», вышедшей въ 1828 году, и черезъ границу критическихъ для русской литературы тридцатыхъ годовъ текущаго столѣтія. Но онъ перешагнулъ черезъ нихъ, какъ мы замѣтили выше, болѣе посредствомъ своего огромнаго художническаго таланта, нежели сознательной мысли. На первыхъ его сочиненіяхъ, несмотря на все превосходство ихъ передъ опытами другихъ поэтовъ его эпохи, слишкомъ замѣтенъ отпечатокъ этой эпохи. Поэтому, не удивительно, что Пушкинъ видѣлъ вокругъ себя все геніевъ, да талантовъ. Вотъ почему онъ такъ охотно упоминалъ въ своихъ стихахъ о сочиненіяхъ близкихъ къ нему людей, и даже въ особыхъ стихотвореніяхъ превозносилъ ихъ поэтическія заслуги:

Тамъ нашъ Катенинъ воскресилъ  
Корнея геній величавый;  
Тамъ вывелъ колкій Шаховской  
Своихъ комедій шумный рой...

Увы! гдѣ же этотъ величавый геній Корнея, воскрешенный на русскомъ театрѣ г. Катенинымъ? — объ этомъ равно ничего не знаемъ ни мы, ни русская публика... Гдѣ шумный рой комедій? — разлетѣлся, разсѣялся и — забыть! Кто не помнитъ гекзаметровъ Пушкина, въ которыхъ онъ говорить, что Дельвигъ возрастилъ на снѣгахъ Теоокритовы нѣжныя розы, въ желѣзномъ вѣкѣ угадалъ золотой, — что онъ, молодой Славянинъ, духомъ Грекъ, а родомъ Германецъ! Или

кто не знает этих стиховъ къ Баратынскому, на счетъ его «Эды»:

Стихъ каждый повѣсти твоей  
Звучить и блещетъ какъ червонецъ.  
Твоя Чухончка, ей-ей,  
*Гречанокъ Байрона мильй,*  
А твой зовъ — прямой Чухонецъ.

Какъ не сказать, что если всѣ безпрекословно согласятся съ послѣднимъ стихомъ, то едва ли кто согласится съ третьимъ и четвертымъ? Но, чтобъ показать дѣло во всей его ясности, выпишемъ посланіе Пушкина къ г. Языкову:

Языковъ, кто тебѣ внушилъ  
Твое посланье *удалое*?  
Какъ ты пѣялъ и какъ ты мнилъ,  
Какой избытокъ чувствъ и силъ,  
Какое *буйство молодое*!  
Нѣтъ, не кастальскою водою  
Ты воспонилъ свою Камену;  
Пегасъ вину Иппокрену  
Копытомъ вышишь предъ тобой.  
Она не холодной льется влагой,  
Но пѣнится *жмѣлькою братой*;  
Она *разыжчива*, пьяна,  
Какъ сей напитокъ благородный,  
Сліянье рому и вина,  
Безъ примѣси воды негодной,  
Въ Тригорскомъ *жаждою свободной*,  
Открытый въ наши времена.

Это было писано въ лѣто отъ Р. Х. 1826-е, — и тогда намъ, какъ и всѣмъ, очень нравилось, а теперь мы, какъ и всѣ, спрашиваемъ самихъ себя: неужели это намъ нравилось и какъ же это намъ нравилось? Чтò такое: «удалое посланіе», и почему же это только удалое, а вмѣстѣ съ тѣмъ и не ухорское, не забубѣнное? Чтò такое — «буйство молодое»? — Въ «Словѣ о Пѣлку Игоревѣ» слова: буй и буесть употреблены въ смыслѣ храбрый, сильный, храбрость,

богатырство; но въ наше время буйство означаетъ только ту добродѣтель, за которую сажаютъ въ тюрьму. И потому: что за эпитетъ — молодое буйство? «Хмельная брага» — напитокъ, который сами наши поэты, вѣроятно, замѣняли или англійскимъ портеромъ, или кроновскимъ пивомъ. Эпитетъ «разымчивый» происходитъ отъ глагола разнимать, разбирать; о пьяныхъ говорятъ: экъ его разнимаетъ, экъ его разбираетъ! — Что такое «свободная жажда» — рѣшительно не понимаемъ.

А между тѣмъ, было время, когда всѣ этимъ восхищались, не вникая слишкомъ строго въ смыслъ. Въ это золотое время, быть поэтомъ — значило быть древнимъ полубогомъ. И потому всѣ бросились въ поэты. Стишки были въ страшной модѣ: ихъ читали въ книгахъ, изъ книгъ переписывали въ тетрадки. Молодые люди бредили стихами, и чужими и своими; «барышники» были отъ стиховъ безъ ума. «Дѣва, луна, она, къ ней, золотая лѣнь, мечта, буйное разгулье, разочарованіе», но въ особенности дѣва и луна сдѣлались постоянными темами, на которыя наши поэты въ запуски варіировали свои невинныя упражненія въ стихотворствѣ. Это было полное торжество самой безкорыстной любви къ искусству и литературѣ. Лишь появится, бывало, стихотвореніе, — критики и рецензенты о немъ пишутъ и спорять между собою; читатели говорятъ и спорять о немъ. Бывало, убить нѣсколько вечеровъ на споръ о стихотвореніи ничего не стоило. Да, это былъ золотой вѣкъ Астрей для стиховъ! поэты и читатели жили въ Аркадіи. Литературу любили для литературы, стихи любили для стиховъ, рифмы для рифмъ, а совсѣмъ не для того смысла или того значенія, которое было (если только было) въ стихахъ и рифмахъ. Теперь не то: въ нашъ корыстный вѣкъ, люди до того развратились, что никто не дастъ даромъ своей статьи въ журналъ — изъ чести видѣть въ печати свое имя. Теперь

многіе пишутъ только для денегъ, въ полномъ убѣжденіи, что это гораздо и умнѣе и приличнѣе для взрослого человѣка, нежели писать изъ безкорыстнаго стремленія прославить свое имя въ кругу своихъ пріятелей, или плохими сочиненіями дѣйствовать въ пользу отечественной словесности. Люди съ талантомъ и призваніемъ пишутъ теперь изъ желанія высказаться, и за свои труды хотятъ брать деньги, чтобы имѣть возможность вполнѣ посвятить себя литературѣ. И только немногія праведныя души прошли чистыми чрезъ мутный потокъ времени и сохранили цѣломудріе и наивность романтической эпохи. Уже не вспоминая съ умысломъ о томъ, что они тогда кропали стишонки, которыми пріобрѣли себѣ большую извѣстность, — они тѣмъ не менѣе любятъ сшивать жиденькія печатныя тетрадки, набивая ихъ разнымъ невиннымъ вздоромъ въ стихахъ и прозѣ, и приправляя запоздалыми сужденіями о литературѣ и устарѣлыми фразами о безкорыстной любви къ литературѣ... Счастливые люди! имъ все кажется, что ихъ время или еще не прошло, или опять скоро настанетъ...

Въ это-то время, явился г. Языковъ. Несмотря на неслыханный успѣхъ Пушкина, г. Языковъ въ короткое время успѣлъ пріобрѣсти себѣ огромную извѣстность. Всѣ были поражены оригинальною формою и оригинальнымъ содержаніемъ поэзіи г. Языкова, звучностью, яркостью, блескомъ и энергіею его стиха. Что въ г. Языковѣ дѣйствительно былъ талантъ, объ этомъ нѣтъ и спора; но пора уже рассмотреть, до какой степени были справедливы заключенія публики того времени объ оригинальности поэзіи и достоинствахъ стиха г. Языкова.

Начнемъ съ оригинальности. Пятое поэзіи г. Языкова составляетъ поэзія юности! Теперь посмотримъ, какъ понаятъ поэтъ поэзію юности, и попросимъ его самого отвѣчать на этотъ вопросъ.

Намъ было весело, друзья,  
 Когда мы лихо пировали,  
 Свободу нашего житя  
 И цѣлый міръ позабывали!  
 Тѣ дни летѣли, какъ стрѣла,  
 Могучимъ кинутая лукомъ;  
 Они звучали яркимъ звукомъ  
 Разгульныхъ пѣсень и стекла;  
 Какъ искры брызжущія стали  
 На поединкѣ роковымъ,  
 Какъ очи свѣтлыя виномъ,  
 Они плѣнительно блистали.

Въ этихъ стихахъ, такъ сказать, программа всей поэзіи  
 Г. Языкова. Но вотъ цѣлое стихотвореніе — «Кубокъ», пред-  
 ставляющее апофеозу юности и любви поэта:

Восхитительно играетъ  
 Драгоценное вино!  
 Сильной пѣною играетъ,  
 Златомъ искрится оно!  
 Усладжающая влага  
 Оживить тебя всего:  
 Вспыхнуть радость и отвага  
 Блескомъ взора твоего;  
 Самобытными мечтами  
 Загуляетъ голова,  
 И, какъ волны за волнами,  
 Изъ души польются сами  
 Вдохновенныя слова;  
 Строенъ, пышенъ, міръ *житейской*  
 Развернется предъ тобой...  
 Много силы чародѣйской  
 Въ этой влагѣ золотой!  
 И любовь развеселяетъ  
 Человѣка, и она  
 Животворно въ немъ играетъ,  
 Столь же *сладостно* сильна;  
 Въ дни прекраснаго *расцвѣта*  
*Поэтическихъ заботъ (???)*,  
 Ея дѣятельность поэта



Дани дивныя несетъ;  
 Молодое сердце бьется,  
 То притихнетъ и дрожитъ,  
 То проснется, встрепенется,  
 Словно выпорхнеть, взвиться  
 И куда-то улетитъ!  
 И, послушно, нима дѣвъ  
 Станетъ въ лики чудныхъ словъ (???).  
 И сроднятся съ нимъ напѣвъ  
 Вѣчно-памятныхъ стиховъ (!!!)!  
 Дѣва, радость, величайся  
 Рѣдкой славой любви,  
 Настоящему възвѣйся  
 И мгновенія лови!  
 Горделивый и свободный  
 Чудно (?) пьянствуетъ (!) поэтъ!  
 Кубокъ взявъ: души угодны  
 Этотъ образъ, этотъ цѣпъ (!!),  
 Стѣла и напилъ; ихъ ласкаетъ  
 Взоромъ, словомъ и рукою;  
 Сразу кубокъ выпиваетъ  
 И высоко поднимаетъ,  
 И надъ буйной головой  
 Держитъ. Рѣчь его струится  
 Безмятежно весела,  
 А въ рукѣ еще таится  
 Жребій брэннаго стекла (???!!!).

Вотъ она — поэзія юности и любви поэта, по идеалу г.  
 Языкова!... Чудно пьянствуетъ поэтъ: а что жъ тутъ  
 чуднаго, кромѣ развѣ того, что и поэтъ такъ же можетъ  
 пьянствовать, какъ и... приберите сами, читатели, къ нашему  
 «я» кого вамъ угодно. Мы понимаемъ, что есть поэзія во  
 всемъ живомъ, стало-быть, есть она и въ питьѣ вина; но  
 никакъ не понимаемъ, чтобъ она могла быть въ пьянствѣ;  
 поэзія можетъ быть и въ ѣдѣ, но никогда въ обжорствѣ.  
 Пьютъ и ѣдятъ всѣ люди, но пьянствуютъ и обжираются  
 только дикари. Подобное анти-эстетическое направленіе нашъ

поэтъ довелъ до того, что въ одномъ стихотвореніи, вспоминая о времени своего студенчества, говоритъ:

Ну, да! судьбою благосклонной  
Во здравье было мнѣ дано  
Той жизни *мило-забубѣнной*  
Извѣдать крѣпкое вино.

Въ другомъ стихотвореніи, приглашая друзей на свою могилу, поэтъ восклицаетъ:

Во славу мнѣ, вы чашу круговую  
Наполните блистательнымъ виномъ,  
Торжественно процойте пѣснь родную,  
И *пльнствуйте* о имени моемъ.

Спрашивается: какимъ образомъ поэтъ съ дарованіемъ, человекъ образованный и принадлежащій къ одному изъ замѣтнѣйшихъ круговъ общества. — какимъ образомъ могъ онъ дойти до такой анти-эстетичности, до такой, выразимся прямо, тривиальности въ мысли, чувствѣ и выраженіи? — Не трудно объяснить это странное явленіе. До Пушкина, наша поэзія была не только риторическою, но и скучно-чопорною, приторно-сентиментальною. Она или воспѣвала надутыми словами разныя иллюминаціи, или перекладывала въ пухлые фразы газетныя реляціи: а если впадалась въ сферу частной жизни, то или жеманно сентиментальничала, или старалась прикинуться сладострастною на манеръ древнихъ. Нужна была сильная реакція этому риторическому направленію. Разумѣется, эта реакція должна была заключаться въ натурѣ, естественности и простотѣ какъ предметовъ, избираемыхъ поэзію, такъ и въ выраженіи этихъ предметовъ. Понятно, что всѣ захотѣли быть народными, каждый по своему. Такъ Дельвигъ началъ писать русскія пѣсни; г. Языковъ началъ брать слова и предметы изъ житейскаго русскаго міра, запѣлъ русскимъ удалцомъ. Но тутъ прогрессъ былъ только въ намѣреніи, а въ исполненіе забралась та же риторика, которая водянила и

прежнюю поэзію. Пѣсни Дольвига были пѣснями барина, пропѣтými будто-бы на мужицкій ладъ. Удаль г. Языкова была тоже удалю барина, который только въ стихахъ носилъ шапку, заломленную на бекрень, а въ самомъ дѣлѣ одѣвался какъ одѣваются всѣ порядочные люди его сословія. Въ посланіи Пушкина къ г. Языкову, которое мы привели выше (и на которое должно смотреть, какъ на исключеніе между его стихотвореніями), упоминается о «хитрой братѣ», ясно, что поэтъ здѣсь только прикинулся пьющимъ этотъ напитокъ, а въ самомъ-то дѣлѣ никогда не пилъ. — а прикинулся, чтобъ казаться народнымъ. Вообще, о нравственности всѣхъ современнѣе поэтовъ отсюда не должно заключать по нѣмъ стихамъ въ честь вину и пьянству: въ этомъ случаѣ, они риторически напытали на себя необычайщину. Этого рода риторикѣ есть главная основа всей поэзіи г. Языкова. Всѣ его ухорскія и мило-забубенныя выходы, его молодое буйство и чудное пьянство явились въ печати не какъ выраженіе действительности (чѣмъ должна быть всякая истинная поэзія), а такъ, только для «красоты слога», какъ говоритъ Маниловъ. Кстати о риторикѣ: перечтите его пѣснь: «Олегъ», «Евстапій», «Пѣсня короля Регнера»<sup>1)</sup>, «Ливонія», «Кудесникъ», «Новгородская Пѣсня», «Услалъ», «Меченосецъ», «Аранъ», «Пѣснь Баяна»: что такое все это, если не риторика, хотя и не лишенная своего рода изящества? Тутъ Славяне полу-баснословныхъ временъ Святослава и Русскіе XIII вѣка говорятъ и чувствуютъ, какъ ливонскіе рыцари, которые, въ свою очередь, очень похожи на нѣмецкихъ буршей: тутъ не въ чести нѣтъ истины — ни въ содержаніи, ни въ краскахъ, ни въ тонѣ.

---

<sup>1)</sup> Эта пѣснь есть подражаніе пѣснѣ Беттишкова: *Пѣснь Гаральда Сильного*. Вообще, г. Языковъ не разъ подражалъ Беттишкову какъ въ прозѣ, такъ въ пѣснѣ: *Мое Любимое* и въ другихъ.

А тамъ, гдѣ поэтъ говоритъ отъ себя, нѣтъ никакой истины въ чувствѣ, мысль придумана, произвольно кончена, стихъ блестящъ, бросается въ глаза, поражаетъ слухъ своею необыкновенностью, и читатель только до тѣхъ поръ признаетъ его прекраснымъ, пока не дастъ себѣ труда присмотрѣться и прислушаться къ нему.

Люди, несимпатизировавшіе съ романтической школою, нападали на нѣкоторыя стихотворенія г. Языкова за отсутствіе въ нихъ чувства цѣломудрія, за слишкомъ неприкрытое даже цвѣтами поэзіи сладострастіе. Мы такъ думаемъ, что эти піесы такъ же точно заслуживаютъ упрекъ за отсутствіе въ нихъ именно того, излишнее присутствіе чего въ нихъ такъ восхищало однихъ, такъ оскорбляло другихъ. Сладострастіе этихъ піесъ холодное; это не болѣе, какъ шалость воображенія. Слѣдующая піеса самого г. Языкова есть лучшая критика на всѣ его піесы въ этомъ родѣ:

Ночь безлунная звѣздами  
Убирала синій сводъ;  
Тихи были зыби водъ;  
Подъ зелеными кустами,  
*Сладко, дѣва-красота,*  
*Я сжималъ тебя руками;*  
Я горячими устами  
Целовалъ тебя въ уста;  
Страстнымъ жаромъ подымались  
Перси полныя твои;  
Разлетаясь, развивались  
Черныхъ локоновъ струи;  
Закрывала, открывала  
Ты лазурь своихъ очей;  
Трепетала и вздыхала  
Грудь, прижатая къ моей.  
Подъ ночными небесами,  
*Сладко, дѣва-красота,*  
*Я горячими устами*  
Целовалъ тебя въ уста...

Небесахъ благодаренье!  
Здравствуй, дѣва-красота!  
*То играло сновидѣнье,*  
*Безтѣлесная мечта!*

Когда муза г. Языкова прикидывается вакханкою, — въ ея безтѣлесномъ лицѣ блеститъ яркій румянецъ наглаго упоенія, но худо то, что этотъ румянецъ, если вглядѣться въ него, оказывается толстымъ слоемъ румянъ... Теперь объ оригинальномъ стихѣ г. Языкова: въ немъ много блеска и звучности; первый ослѣпляетъ, вторая оглушаетъ, и изумленный читатель, застигнутый върасплохъ, признаетъ стихъ г. Языкова образцовымъ. Первое и главное достоинство всякаго стиха составляетъ строгая точность выраженія, требующая, чтобъ всякое слово необходимо попадало въ стихъ и стояло на своемъ мѣстѣ, такъ чтобъ его никакимъ другимъ замѣнить было невозможно, чтобъ эпитетъ былъ вѣренъ и опредѣлительнъ. Только точность выраженія дѣлаетъ истиннымъ представляемый поэтомъ предметъ, такъ что мы какъ-будто видимъ передъ собою этотъ предметъ. Стихи г. Языкова очень слабы со стороны точности выраженія. Это можно доказать множествомъ примѣровъ. Вотъ нѣсколько:

Тѣ дни летѣли, какъ стрѣлы,  
Могучиѣ кинутой лукомъ;  
Они звучали яркимъ звукомъ  
*Разгульныхъ пѣсенъ* и стекла;  
Какъ искры брызжущія стали  
*На поединкѣ рокового,*  
Какъ очи, свѣтлыми виномъ,  
Они плѣнительно блистали.

Что такое «яркій звукъ разгульныхъ пѣсенъ»? Есть ли какая-нибудь точность и какая-нибудь образность въ этомъ выраженіи? И какъ могли «звучать дни»? И неужели искры только тогда плѣнительны, когда брызжутъ на роковомъ поединкѣ? И

какое отношеніе имѣютъ эти страшныя искры къ веселой жизни поэта? Разберите все это строго, переведите всѣ эти фразы на простой языкъ здраваго смысла, — и вы увидите одинъ наборъ словъ, замаскированный кажущимся вдохновеніемъ, кажущеюся красотою стиха...

Вспыхнуть радость и отвага  
Блескомъ зора твоего,

Неужели это поэтический образъ?

Самобытными мечтами  
Загуляетъ голова.

Что за самобытныя мечты? развѣ — пьяныя?

Чудно пьянствуетъ поэтъ.

Что жь тутъ чуднаго?

Прекрасно радуясь, играя,  
Надежды смѣлыя кипятъ.

Что за эпитетъ: прекрасно радуясь?

Ты вся мила, ты вся прекрасна!  
Какъ пламенны твои уста!  
Какъ безгранично сладострастна  
Твоихъ объятий полнота!

Безгранично сладострастная полнота объятий: помилуйте, да этого «не хитрому уму не выдумать бы въ вѣкъ»!...

Здѣсь муза пѣсень полюбила  
Мои словесныя дѣла.  
Разнообразныя надежды  
Я расточительно питаю.  
..... Грозю правой  
Ты знаменито ихъ пугнешь.

Тебѣ привѣтъ мой издавеча  
Отъ москворѣцкихъ береговъ,  
Туда, гдѣ звонки звонимъ вѣча  
Моихъ пугалась ты стиховъ.

Товарищи, какъ думаете вы?  
 Для васъ я нѣтъ.....  
 Нѣтъ, не для васъ! — Она меня любила,  
 Ей нравились *разумный* хей *о-мекъ*,  
 И радости заносчивая сила  
 И пламенный восторгъ клятокъ.

—  
 Благословлю твой возвратъ  
 Изъ этой *нехристи* нѣмецкой  
 На Русь, къ святымъ *москворѣцкой*.

Неточность, вычурность и натянутость всѣхъ этихъ выражений и словъ, означенныхъ нами курсивомъ, слишкомъ очевидны и не требуютъ доказательствъ. Замѣтимъ только что «нѣмецкая нехристь» есть выраженіе, уже оставляемое даже русскими мужичками, понявшими наконецъ, что Нѣмцы вѣрують въ того же самого Христа, въ котораго и мы вѣруемъ; г. Языковъ тоже понимаетъ это — въ чемъ мы ручаемся за него; но какъ ему, во чтобы ни стало, надо быть народнымъ и какъ поэзія для него есть только маскарадъ, то, являясь въ печати, онъ старается закрыть свой фракъ зипуномъ, поглаживаетъ свою накладную бороду и, чтобъ ни въ чемъ не отстать отъ народа, такъ и щеголяетъ въ своихъ стихахъ грубостію и чувствъ и выраженій. По его мнѣнію, это значитъ быть народнымъ! Хороша народность! Кому не дано быть народнымъ и кто хочетъ сдѣлаться имъ насильно, тотъ непременно будетъ простонароднымъ, или вульгарнымъ. У г. Языкова нѣтъ ни одного стихотворенія, въ которомъ не было бы хотя одного слова, некстати поставленнаго, или изысканнаго и фигурнаго. Еслибъ приведенныхъ нами примѣровъ кому-нибудь показалось мало, или доказательства наши кому-нибудь показались бы неудовлетворительными, — мы всегда будемъ готовы представить и больше примѣровъ и придать нашимъ доказательствамъ большую убѣдительность и очевидность... Правда, встрѣчаются у него иногда и весьма счастливые и ловкіе стихи и

выраженія, но они всегда перемѣшаны съ несчастными и неловкими. Такъ, напримѣръ, въ стихотвореніи «Пожаръ»:

Уже, осушены за Русь и сходы наши,  
Высоко надъ столомъ *состукивались* чаши,  
И разохъ кинуты *всей силою плеча*,  
Скакали по полу дробясь и брэнча.

Послѣдній стихъ хорошъ, но глаголъ «состукивались» какъ-то отзывается изысканностію, а выраженіе: «кидать *всей силою плеча*» совершенно ложно.

Картина пышная и грозная предъ нами:  
Подъ *громоносными* ночными облаками,  
Полнеба заревоиъ багровымъ обхвативъ,  
Шумѣлъ и вылъ огня блистательный разливъ.

Послѣдніе два стиха даже очень хороши; но эпитетъ «громоносными» во второмъ стихѣ не то, чтобъ неточенъ, а какъ-то отзывается общимъ мѣстомъ, и его вставка въ стихъ если чѣмъ-нибудь оправдывается, такъ это развѣ необходимостію составить стихъ непременно изъ шести стопъ. Въ томъ же стихотвореніи есть стихи:

Ты помнишь ли, какъ мы, на праздникъ ночномъ,  
*Уже веселые и шумные виноиъ*,  
*Уже плывучіе (?) и свѣтлые (!)*, кругами  
Сидѣли у стола...

Что за странный наборъ словъ!

Есть у г. Языкова нѣсколько стихотвореній очень недурныхъ, несмотря на ихъ недостатки, какъ напримѣръ: «Поэту», «Двѣ Картины», «Вечеръ», «Подражаніе псалму СXXXVI». Еще разъ: мы не думаемъ отрицать таланта въ г. Языковѣ, но хотимъ только опредѣлить объемъ этого таланта. Имя г. Языкова навсегда принадлежитъ русской литературѣ и не соотрется съ ея страницъ даже тогда, когда стихотворенія его уже не будутъ читаться публикою: оно останется извѣстно людямъ, изучающимъ исторію русскаго языка и русской литературы. Г.



Языковъ принесть большую пользу нашей литературѣ даже самыми ошибками своими: онъ былъ смѣлъ, и его смѣлость была заслугой. Вычурныя выраженія, оскорбляющія эстетическій вкусъ, минималъ оригинальность языка, внѣшняя красота стиха, ложность красокъ и самыхъ чувствъ, — все это теперь уже признано въ поэзіи г. Языкова и все это теперь уже не дастъ успѣха другому поэту; но все это было необходимо и принесло великую пользу въ свое время. Дотогѣ всякая мысль, всякое чувство, всякое выраженіе, словомъ, всякое содержаніе и всякая форма казались противными и эстетическому вкусу, если они не оправдывались, какъ копія образцовъ, произведеніемъ какого-нибудь писателя, признаннаго образцовымъ. Оттого писатели наши отличались удивительною робостію: всякое новое, оригинальное выраженіе, родившееся въ собственной ихъ головѣ, приводило ихъ въ ужасъ; литература, въ свою очередь, отличалась, скучнымъ однообразіемъ, особенно въ произведеніяхъ второстепенныхъ талантовъ. Чтобъ имѣть право писать не такъ, какъ всѣ писали, надо было сперва приобрести огромный авторитетъ. Такимъ образомъ, первыя сочиненія Пушкина ужасали нашихъ классиковъ своеволіемъ мысли и выраженія. И потому, смѣлыя, по ихъ оригинальности, стихотворенія г. Языкова имѣли на общественное мнѣніе такое же полезное вліяніе, какъ и проза Марлинскаго: они дали возможность каждому писать не такъ, какъ всѣ пишутъ, а какъ онъ способенъ писать, слѣдственно, каждому дали возможность быть самимъ собою въ своихъ сочиненіяхъ. Это было задачею всей романтической эпохи нашей литературы, задачею, которую она счастливо рѣшила.

Вотъ историческое значеніе поэзіи г. Языкова: оно немаловажно. Но въ эстетическомъ отношеніи, общій характеръ поэзіи г. Языкова чисто риторическій, основаніе зыбко, пафосъ бѣдновъ, краски ложны, а содержаніе и форма лишены

истины. Главный ея недостатокъ составляетъ та холодность, которую такъ справедливо находилъ Пушкинъ въ своемъ произведеніи — «Русланъ и Людмила». Муза г. Языкова не понимаетъ простой красоты, исполненной спокойной внутренней силы: она любитъ во всемъ одну яркую и шумную, одну эффектную сторону. Это видно во всякой строкѣ, имъ написанной; это онъ даже самъ высказалъ:

Такъ геній радостно трепещетъ,  
Свое величье познаетъ,  
Когда предъ нимъ *гремитъ и блещетъ*  
Инаго генія полетъ.

Повидимому, поэзія г. Языкова исполнена бурного, огненного вдохновенія; но это не болѣе, какъ разноцвѣтный огонь отражившагося на льдинѣ солнца, это... но мы лучше объяснимъ нашу мысль собственными стихами г. Языкова:

... Такъ волна  
Въ лучахъ свѣтила золотого  
Блеститъ, кипитъ — но холодна!

Разсказывая въ удалыхъ стихотвореніяхъ болѣе всего о своихъ попойкахъ, г. Языковъ нерѣдко разсуждалъ въ нихъ о томъ, что пора уже ему охмѣлиться и привыкнуть за дѣло. Это благое намѣреніе, или лучше, эта охота говорить въ стихахъ объ этомъ благомъ намѣреніи, сдѣлалась новымъ источникомъ для его вдохновенія, обратилась у него въ истинную манію и отъ частаго повторенія превратилась въ общее риторическое изреченіе. Общанія эти продолжаются до сихъ поръ; всѣ давно знаютъ, что нашъ поэтъ давно уже охмѣлился; публика узнала даже (изъ его же стиховъ), что онъ давно уже не можетъ ничего пить, промѣ реинвейна и малаги; но дѣла до сихъ поръ отъ него не видно. Новые стихотворенія его только повторяютъ недостатки его прежнихъ стихотвореній, не повторяя ихъ достоинствъ, ка-

ковы бы они ни были. Въ прошломъ, 1844. году, въ одномъ журналѣ было помѣщено предлинное стихотвореніе г. Языкова, въ которомъ онъ, между прочимъ, говоритъ:

Но вотъ въ Москвѣ я, слава Богу!  
Уже не робко я гляжу  
И на парнаасскую дорогу —  
*Пора за дѣло мнѣ!* Вину и кутежу  
Уже не стану, какъ бывало,  
Пѣть *вольнодумную* хвалу:  
Потѣхи юности удалой  
Не кстати были бъ мнѣ; некому челу  
Не кстати рѣзвѣй плещъ и роза...  
*Пора за дѣло!* Въ добрый путь!

Вотъ подлинно длинныя сборы въ путь! Гдѣ жъ дѣло-то? Неужели эта крохотная книжечка съ пятьюдесятью стихотвореніями, изъ которыхъ большая половина старыхъ, имѣющихъ свой историческій интересъ, и меньшая половина новыхъ, интересныхъ развѣ только какъ фактъ совершеннаго упадка таланта, нѣкогда столь превозносимаго? Перечтите, напр., драгоценное стихотвореніе, въ которомъ неуваженіе къ печати и грамотнымъ людямъ доведено до послѣдней степени: это—посланіе къ М. П. Погодину:

Благодарю тебя сердечно  
За *подаренъице* твое!  
Мнѣ съ нимъ раздолье! Съ нимъ житье  
Поэту! *Дивно—быстротечно*,  
Легко пошли часы мои —  
Съ тѣхъ поръ, какъ ты меня *уважилъ!*  
*По—стихотворчески* я зажилъ,  
*Я въ дуэль!* Словно, какъ ручьи  
Съ высокихъ горъ на доли *злачны*  
Бѣгутъ, игривы и *прозрачны*,  
Бѣгутъ, сверкая и звѣня  
*Святлостеклянными* струями,  
При ясномъ небѣ, межъ цвѣтами  
Весной: такъ точно у меня  
Стихи мои, *проворно, мило*

Съ пера бѣгутъ теперь; — и вотъ  
 Тебѣ, мой *лениый* доброхотъ,  
*Стаканъ стиховъ* (!...): *на, пей!*—Что было—  
 Того ужъ намъ не воротить!  
 Да, братъ, теперь мои созданья  
 Не то, что въ пору волнованья  
 Надеждъ и мыслей 1); — такъ и быть!  
 Они теперь — напитокъ трезвый 2):  
 Давнымъ давно уже въ нихъ нѣтъ  
 Игры и силы прежнихъ лѣтъ,  
 Ни мысли пламенной и рѣзвой,  
 Ни *пьяно-буйнаго* стиха 3).  
 И не *дикивинное дѣло* 4).  
 Я самъ не тотъ уже (.) и смѣло  
 Въ томъ признаюсь: Кто безъ грѣха?  
 Но ты, *мой добрый и почтенный*,  
 Ты пріймешь ласковой душой  
 Напитокъ, поднесенный мной,  
 Хоть онъ безхмельный и не *пльный* 5).

Скажите, ради здраваго смысла: неужели это—поэзія, «языкъ боговъ»? Вотъ чѣмъ разрѣшился романтизмъ двадцатыхъ годовъ! Впрочемъ, и то сказать: «Отъ великаго до смѣшнаго только шагъ», по выраженію Наполеона: стало быть, отъ *небольшаго* до смѣшнаго еще ближе!...

Это «дивно быстротечное» стихотвореніе, звѣнящее «свѣтло-стеклянными» струями прѣсной и не совсѣмъ свѣжей воды, под-

1) Вотъ чтò правда, такъ правда, хотя и выраженная прозаически, нескладно и съ грѣшкомъ противъ грамматики!...

2) То есть: вода?

3) Зачѣмъ же продолжать печатать такіа жалкія созданія, въ которыхъ нѣтъ не только поэзіи, но даже и *буйно-пьянаго* стиха?

4) Даже очень понятно!

5) Зачѣмъ же было не послать этого прѣснаго стакана въ рукописи тому, для кого онъ былъ назначенъ, — дѣло семейное и до публки не касающееся. Что такое: *не пльное* вино? Должно быть: не *пльный*? иначе было бы сказано: не *пльнистое* вино.

несенной въ стаканѣ «явному» dobroxоту стихотворцемъ, «сдѣлавшимся въ духѣ» отъ «подареньица», которымъ «уважилъ» его «явный» dobroxотъ, — это образцовое проявленіе заживо умершаго таланта, не напечатано въ числѣ завѣтныхъ 57-ми стихотвореній г-на Языкова. Напрасно! отъ этого его книжечка много потеряла. По нашему, ужъ если печатать, такъ все, что характеризуетъ и опредѣляетъ дѣятельность поэта; лучше было бы или совсѣмъ не издавать этой маленькой книжечки, въ которой литература ровно ничего не выиграла, или издать книжку побольше, которая была бы вторымъ изданіемъ изданныхъ въ 1833 году стихотвореній г. Языкова, съ прибавленіемъ къ нимъ всего написаннаго имъ послѣ, а между прочимъ, и его прекрасной «Драматической Сказки объ Иванѣ Царевичѣ, Жарѣ Птицѣ и о Сѣромъ Волкѣ», которая, по нашему мнѣнію, лучше всего, что вышло изъ-подъ пера г. Языкова.

Муза г. Хомякова состоитъ въ близкомъ родствѣ съ музою г. Языкова, хотя и многимъ отъ нея отличается. Сперва о различіи: въ стихотвореніяхъ г. Языкова (прежнихъ) нельзя отрицать признака поэтической струи, которая болѣе или менѣе сквозитъ черезъ ихъ риторизмъ; въ стихотвореніяхъ г. Хомякова есть не только струя, но полный и блестящій талантъ — только отнюдь не поэтическій, а какой, мы скоро это скажемъ. Теперь о средствѣ: мы показали выше, что шумливая, пѣнистая и кипучая, хотя, въ тоже время, и холодная струя поэзіи г. Языкова была ѣе изъ сердца — источника страстной натуры, а изъ головы, которая у людей еще чаще бываетъ источникомъ прихотей празднаго и фантазирующаго разсудка, нежели источникомъ разума, глубоко и вѣрно постигающаго дѣйствительность. Мы показали, что народность поэзіи г. Языкова, непродышный хмѣль и пьяное буйство его музы, равно какъ и ея стремленіе быть вакханкою — все это было болѣе или менѣе искусственно и поддѣльно. Въ этой искусственности и поддѣль-

ности г. Хомяковъ далеко опередилъ г. Языкова. Имѣя способность изобрѣтать и придумывать звучные стихи, онъ рѣшился употребить ее въ пользу себѣ, пріобрѣсти ею себѣ славу не только поэта, но и прорицателя, который проникъ въ дѣйствительность настоящаго и постигъ тайну будущаго и который гадаетъ на своихъ стихахъ не о судьбѣ частныхъ личностей (какъ это дѣлають ворожеи на картахъ), но о судьбѣ царствъ и народовъ... Прочтите въ «Новомъ Живописцѣ Общества и Литературы» г. Полеваго, сцены изъ трагедіи «Стенька Разинъ» (Т. II, стр. 210 — 223), и сравните ихъ съ любимыми сценами, напримѣръ, изъ Ермака г. Хомякова: вы увидите, что способность владѣть такимъ стихомъ, какимъ владѣтъ г. Хомяковъ, не имѣетъ ничего общаго съ талантомъ поэзіи, съ даромъ творчества. Стихи «Разина» ничѣмъ не хуже стиховъ «Ермака»; можно даже подумать, что тѣ и другіе писаны однимъ и тѣмъ же лицомъ. Ниже мы сравнимъ ихъ. И такъ, г. Языковъ, владѣя стихомъ, для котораго все-таки нужно было кой-чего побольше простой способности располагать слова по правиламъ версификаціи, съ какою-то добродушною безпечною, обличающею болѣе или менѣе поэтическую натуру, ограничился, изъ множества предметовъ, представлявшихъ его уму, тѣмъ, что выбралъ какое-то удалое и пьяное буйство, какую-то будто бы вакханальную, но въ сущности прескромную и преневинную любовь. Г. Хомяковъ, какъ болѣе свободный отъ всякаго внутренняго, непосредственнаго стремленія версификаторъ, выбралъ для своихъ стихотворческихъ занятій предметы гораздо повыше. Пушкинъ, напримѣръ, не выбиралъ, потому что поэтъ по призванію, поэтъ великій лишень не только права, даже возможности выбирать предметы для своихъ пѣснопѣній и давать своимъ твореніямъ произвольное направленіе: источникъ его вдохновенія есть его собственная натура, а его натура есть цѣлый, въ самомъ себѣ

замкнутый міръ, который рвется наружу; задача поэта — вывести наружу, объектировать въ поэтическихъ образахъ свой собственный внутренній міръ, сущность своего собственного духа. Г. Хомякову нельзя было не выбирать: онъ не былъ поэтомъ, и ему было все равно, что бы ни пѣть. Онъ не долго думалъ — и рѣшился посвятить свои посильные труды на гимны старой, до-Петровской Руси. Намѣреніе похвальное, хотя и лишенное всякаго художественнаго такта, потому что живое современное всегда ближе къ сердцу поэта. Чтобы довершить ошибку направленія, г. Хомяковъ рѣшился въ современной Россіи видѣть старую Русь. Не дивитесь, читатели: для г. Хомякова это было гораздо легче, нежели для насъ съ вами; люди простые, мы всѣ вещи или видимъ такъ, какъ онѣ суть, или, если не можемъ увидѣть ихъ въ настоящемъ свѣтѣ, не считаемъ нужнымъ представлять ихъ въ ложномъ. Кто одаренъ способностью глубокаго, страстнаго убѣжденія, кто алчетъ и жаждетъ истины, тотъ можетъ заблуждаться; но ему, — когда онъ сознаетъ свою ошибку, есть оправданіе въ ней: это страданіе всего его существа, потому что онъ убѣждается всѣмъ своимъ существомъ — и умомъ, и сердцемъ, и кровью, и плотью. Кто же, напротивъ, одаренъ счастливою способностью свободного выбора во всемъ, тому легко убѣждаться въ чемъ ему угодно и на столько времени, на сколько ему заблагоразсудится — на годъ, на два, или на цѣлую жизнь; потому что вѣдь это прихоть, или расчётъ ума, а не убѣжденіе, — спокойное дѣйствіе головы, а не страстное сотрясеніе всей органической системы, не то чувство, которое заставило Лермонтовскаго мцыри сказать:

Я зналъ одной лишь думы власть  
Оду — но пламенную страсть:  
Она, какъ червь во мнѣ жила,  
Изгрызла душу и сожгла.

.....  
 Я эту страсть во тѣмъ ночной  
 Вскормилъ слезами и тоской;  
 Все предъ небомъ и землею  
 Я нынѣ громко признаю  
*И, о прощеньи не молю.*

Но мы отдалились отъ предмета — отъ стихотворствованія г. Хомякова. Возможностью выбрать и самимъ выборомъ своимъ онъ сталъ въ то самое выгодное положеніе, какого хотѣлъ себѣ: его многіе признали юнымъ поэтомъ, подающимъ о себѣ большія надежды въ будущемъ. Особенно обратилъ онъ на себя вниманіе двумя трагедіями: «Ермакъ» и «Димитрій Самозванецъ». Обѣ онѣ, по ихъ назначенію — апоэеоза старрой Руси, или московскаго царства; но ни въ одной изъ нихъ нѣтъ никакой Россіи, ни старой, ни новой, потому что ни въ одной изъ нихъ нѣтъ ничего русскаго. «Ермакъ» — совершенно классическая трагедія, въ родѣ трагедій Расина: въ ней казаки похожи на нѣмецкихъ буршей, а самъ Ермакъ — живая карриатура Карла Моора. Французская классическая трагедія искажала Грековъ и Римлянъ, но этотъ недостатокъ выкупала своею національностью: ея Греки и Римляне были живые Французы того времени. Въ тѣсныхъ, до китанизма искусственныхъ формахъ, она умѣла быть не только скучною и вялою, но мѣстами и страстною, поэтическою, блестящею, отпечаткомъ необыкновеннаго таланта. Ничего этого нѣтъ въ «Ермакѣ»: нѣмецкіе бурши обидѣлись бы этою трагедіею, увидя въ ней карриатуру на себя, а для Русскихъ отъ ней нѣтъ ни радости, ни горя, потому что въ ней нѣтъ ничего русскаго. Чтò же до стиховъ, — то вотъ чувствительный романсъ, который поетъ своей наперсницѣ Софѣ Амаліи этой пародіи на Шиллеровскихъ «Разбойниковъ» — предметъ пламенной любви Ермака, злополучная Ольга:



«Зачѣмъ, скажи, твое стѣнание  
 И безотрадная печаль?  
 Твой умеръ другъ, или изгнание  
 Его умчало въ степь и даль?»  
 — Когда бъ онъ былъ въ странѣ далекой,  
 Я друга бы назадъ ждала,  
 И въ скорби жизни одинокой  
 Надежда бы тогда цвѣла.  
 Когда бъ онъ былъ въ могилѣ холодной,  
 Мои бы плакали глаза,  
 А слезы въ грусти безотрадной —  
 Небесъ вечерняя роса!  
 Но онъ преступникъ, онъ убійца;  
 О немъ и плакать мнѣ нельзя...  
 Ахъ, растворись моя гробница,  
 Раскройся тихая земля!

Теперь сравните съ этимъ романсомъ идеальной русской  
 дѣвы XVI вѣка — эту романтическую пѣсню донскаго  
 казака XVII столѣтія (изъ трагедіи «Стенька Разинъ»), — и  
 рѣшите сами, въ которой изъ двухъ пѣсень стихи лучше:

Тихій Донъ, страна родная.  
 Первыхъ радостей пріютъ,  
 Гдѣ свобода золотая,  
 Гдѣ мечты мои живутъ,  
 Гдѣ пѣвецъ, безвѣстный въ мірѣ,  
 Вдохновеній тайныхъ полнъ,  
 Я вѣтрялъ несмѣлой лирѣ,  
 Въ челнокѣ, на лонѣ волнъ,  
 И мечты, и вдохновенье,  
 И любви мой идеалъ,  
 И въ горящемъ пѣснопѣньи  
 Всю природу обнималъ!  
 Помню, помню тѣ мгновенья,  
 Какъ пѣвецъ героемъ сталъ:  
 Саблей — радость вдохновенья,  
 Пулей — лиру замѣнялъ;  
 Какъ въ азовскія твердыни,  
 Съ свистомъ ринулся свинецъ,

И въ далекія пустыни  
 Мчался юноша пѣвецъ;  
 На конѣ, съ мечомъ во длани,  
 Несся вихремъ по полямъ,  
 Громоноснымъ богомъ брани,  
 Смертью, гибелью врагамъ.

Въ «Димитріи Самозванцѣ», г. Хомяковъ обнаружилъ притязанія на историческое изученіе. Но историческое изученіе только тогда полезно для поэта, желающаго воспроизвести въ своемъ твореніи нравственную физиономію народа, когда въ самой натурѣ, въ самомъ духѣ этого поэта есть живое, кровное сродство съ національностью изображаемаго имъ народа. Такимъ поэтомъ былъ Пушкинъ, и потому онъ націоналенъ не въ однихъ только тѣхъ своихъ произведеніяхъ, въ которыхъ изображаетъ русскую дѣйствительность. Этого рода національность дается не всякому, кто только вздумаетъ писать стихи, или кто воображаетъ себя дѣйствительно проникнутымъ любовью къ своему родному. Чѣмъ поэтъ огромнѣе, тѣмъ онъ и національнѣе, потому что тѣмъ болѣе сторонъ національнаго духа доступно ему. Но бываютъ таланты односторонніе, не великіе, и вѣстѣ глубоко, хотя и односторонно національные: таковъ былъ талантъ Кольцова, въ безыскусственныхъ звукахъ котораго высказывалась душа чисто-русская. Изученіе исторіи и нравовъ народа можетъ только усилить, такъ сказать, талантъ поэта, но никогда не дастъ оно ему чувства народности, если его не дала ему природа. Вотъ почему въ «Димитріи Самозванцѣ» видна болѣе или менѣе ловкая поддѣлка подъ русскую народность, но нѣтъ ни одного истиннаго проблеска русской народности. Видимъ лица, видимъ событія, видимъ русскія слова, но не видимъ того, что давало бы смыслъ, было бы ключомъ къ разгадкѣ этихъ лицъ и событій. Самозванецъ и Ляпуновъ г. Хомякова говорятъ, кажется, по-русски, а между тѣмъ оба они — какіе-то романтическіе мечта-

тели двадцатых годовъ XIX столѣтія, слѣдовательно, нисколько не Русскіе начала XVII вѣка. А между тѣмъ, эта трагедія написана послѣ «Бориса Годунова» Пушкина!... Мы сказали, что въ ней видна болѣе или менѣе ловкая поддѣлка подъ русскую народность; но какая разница между поддѣлкою русскаго поэта, г. Хомякова, подъ русскую народность — и поддѣлкою Француза Мериме подъ народность пѣсень юго-западныхъ Славянъ. Мериме не зналъ ни одного славянскаго языка, не былъ ни въ одной славянской землѣ, писалъ эти пѣсни во Франціи, руководствуясь только одною маленькою брошюрою и однимъ итальянскимъ сочиненіемъ, имѣющими нѣкоторое отношеніе къ пѣснямъ Сербовъ, Далматовъ, Босняковъ и пр. Мериме сочинилъ эти пѣсни «rouge se moque de la soupe locale» и ввелъ въ заблужденіе Мицкевича и Пушкина, которые оба признали эти пѣсни подлинными, а послѣдній даже большую часть ихъ переложилъ по-русски превосходнѣйшими стихами.

Защитники г. Хомякова говорятъ, что драма — не его призваніе, что онъ лирикъ. Изъ романа Ольги можно видѣть характеръ лиризма г. Хомякова. Прежде, чѣмъ быть лирикомъ, надо быть поэтомъ. Лиризмъ еще больше, нежели всякій другой родъ поэзіи, основывается на непосредственности теплаго сердечнаго чувства и не терпитъ холодныхъ головныхъ чувствъ, которыя выдаются за мысли, но которыя въ сущности такъ же относятся къ мыслямъ, какъ умъ къ умничанью, чувство къ сентиментальности, щеголеватость къ изяществу. Посмотримъ на лиризмъ г. Хомякова въ его лирическихъ произведеніяхъ. Первое изъ нихъ — «Къ Иностранкѣ», можетъ служить образцомъ всего лиризма, г. Хомякова:

Вокругъ нея очарованье,  
Вся роскошь юга дышитъ въ ней,  
*Отъ розъ ей прелесть и название,*

И въ далекія пустыни  
 Мчался юноша пѣвецъ;  
 На конѣ, съ мечомъ во длани,  
 Несся вихремъ по полямъ,  
 Громоноснымъ богомъ брани,  
 Смертью, гибелью врагамъ.

Въ «Димитріи Самозванцѣ», г. Хомяковъ обнаружилъ при-  
 тязанія на историческое изученіе. Но историческое изученіе  
 только тогда полезно для поэта, желающаго воспроизвести въ  
 своемъ твореніи нравственную физиономію народа, когда въ  
 самой натурѣ, въ самомъ духѣ этого поэта есть живое, кров-  
 ное сродство съ національностью изображаемаго имъ народа.  
 Такимъ поэтомъ былъ Пушкинъ, и потому онъ націоналенъ не  
 въ однихъ только тѣхъ своихъ произведеніяхъ, въ которыхъ  
 изображаетъ русскую дѣйствительность. Этого рода національ-  
 ность дается не всякому, кто только вздумаетъ писать стихи,  
 или кто воображаетъ себя дѣйствительно проникнутымъ лю-  
 бовью къ своему родному. Чѣмъ поэтъ огромнѣе, тѣмъ онъ и  
 національнѣе, потому что тѣмъ болѣе сторонъ національнаго  
 духа доступно ему. Но бываютъ таланты односторонніе, не  
 великіе, и вѣстѣ глубоко, хотя и односторонно національные:  
 таковъ былъ талантъ Кольцова, въ безыскусственныхъ зву-  
 кахъ котораго высказывалась душа чисто-русская. Изученіе  
 исторіи и нравовъ народа можетъ только усилить, такъ ска-  
 зать, талантъ поэта, но никогда не дастъ оно ему чувства на-  
 родности, если его не дала ему природа. Вотъ почему въ «Ди-  
 митріи Самозванцѣ» видна болѣе или менѣе ловкая поддѣлка  
 подъ русскую народность, но нѣтъ ни одного истиннаго про-  
 блеска русской народности. Видимъ лица, видимъ событія, ви-  
 димъ русскія слова, но не видимъ того, что давало бы смыслъ,  
 было бы ключомъ къ разгадкѣ этихъ лицъ и событій. Само-  
 званецъ и Ляпуновъ г. Хомякова говорятъ, кажется, по-рус-  
 ски, а между тѣмъ оба они — какіе-то романтическіе мечта-

В. И. Ленин

В. И. Ленин

В. И. Ленин

В. И. Ленин

В. И. Ленин

В. И. Ленин

В. И. Ленин

В. И. Ленин

В. И. Ленин

В. И. Ленин

В. И. Ленин

В. И. Ленин

В. И. Ленин

В. И. Ленин

В. И. Ленин

В. И. Ленин

В. И. Ленин

В. И. Ленин

В. И. Ленин

В. И. Ленин

В. И. Ленин

В. И. Ленин

В. И. Ленин

В. И. Ленин

В. И. Ленин

В. И. Ленин

В. И. Ленин

В. И. Ленин

В. И. Ленин

В. И. Ленин

В. И. Ленин

В. И. Ленин

В. И. Ленин

В. И. Ленин

В. И. Ленин

В. И. Ленин

В. И. Ленин

В. И. Ленин

В. И. Ленин

В. И. Ленин

корень  
словъ!

И, а ка-  
леніе! Сла-

, краткость  
антесная об-

лъ; но отчего,

валъ опыты сверхъ-человѣческой силы: гдѣ же опыты нашего поэта? А вотъ поищемъ...

Не презирай клинка стальнаго  
Въ обдѣлкѣ древности простой,  
И пылъ забвенья вѣковаго  
Сотри заботливой рукой.

Что такое: «обдѣлка простой древности»? Какой смыслъ этого кудреватаго выраженія? Далѣе, въ этомъ стихотвореніи есть «мечи съ красивою оправой», которые «блистають тщетною забавой»??!... Наконецъ, голосъ брани «воскрешаетъ губительный порывъ булата»... Восточные жители поэзію называютъ искусствомъ «нанизывать жемчугъ на нить описаній»: какъ не далеко ушли отъ Персіанъ многіе изъ нашихъ такъ называемыхъ «поэтовъ», которые насмѣшливо улыбаются надъ турецкимъ опредѣленіемъ поэзіи, а между тѣмъ сами, думая творить, только нанизываютъ пустозвонныя фразы на нить какой-нибудь бѣдной рефлексіи! У г. Хомякова есть піеса — «Вдохновеніе»; прекрасно! Мы отъ самого г. Хомякова узнаемъ, какъ онъ понимаетъ вдохновеніе.

Лови минуту вдохновенья,  
Восторговъ чашу жадно пей,  
И сномъ лѣниваго забвенья  
Не убивай души своей.

Что значить ловить минуту вдохновенія? — Не тратить времени, но писать, когда почувствуешь наитіе вдохновенія? Если такъ, — оно справедливо, какъ дважды-два—четыре, но точно также и не ново. Или, можетъ-быть, поэтъ словомъ «лови» разумѣлъ настоящую ловлю и хотѣлъ сказать: ищи вдохновенія, гоняйся за нимъ? — Если такъ, то это самое ложное понятіе о вдохновеніи: его не ищутъ, оно приходитъ само. «Восторговъ чашу жадно пей»: что такое—«чаша восторговъ»? и какихъ восторговъ? Слово восторгъ можетъ употребляться

во множествѣ самыхъ разнообразныхъ и самыхъ противоположныхъ значеній: для одного чаша восторговъ заключается въ штофѣ полугара, для другаго въ бутылкѣ шампанскаго, а для третьяго — въ знаніи истины. Первыя чаши можно пить жадно когда угодно, если кто полюбитъ такіе восторги; третью чашу можно опять пить когда угодно и сколько угодно, но для этого требуется жажда истины, самоотверженіе труда. Однимъ словомъ, когда въ стихотвореніи не опредѣлено, о какихъ восторгахъ идетъ дѣло — такое стихотвореніе легко можно принять за наборъ звучныхъ словъ. Но это бы еще куда ни шло; а вотъ, скажите намъ, ради грамматики, ради логики, ради здраваго смысла, что такое: «сонъ лѣниваго забвенія»? — Просимъ васъ: объясните намъ, по какимъ законамъ мысли человеческой сошлись рядомъ эти три слова, не образуя собою не только идеи какой-нибудь, но даже и какого-нибудь смысла? Неужели это лирическій пафосъ?...

И если разъ, въ безпечной лѣни,  
Ничтожность міра полюбвишь,  
Ты сляжешь цѣпью наслажденій  
Души бунтующій порывъ, —  
Къ тебѣ поэзіи священной  
Не снидетъ чистая роса, и пр.

Связать цѣпью наслажденій (какихъ?) бунтующій порывъ души: какая великолѣпная шумиха бѣдныхъ значеніемъ словъ! какая неопредѣленность понятій! Цѣпь наслажденій, а какихъ? Вѣдь и пить чашу восторговъ — тоже наслажденіе! Скажутъ: поэтическое произведеніе — не диссертация; краткость выраженій есть первое его достоинство, а прозаическая обстоятельность — главнѣйшій недостатокъ. Такъ; но отчего, напр., у Пушкина, у Лермонтова одно слово, по своей рѣзкой опредѣлительности, иногда заключаетъ въ себѣ самую обстоятельную диссертацию въ прозѣ? Оттого, что оба они поэты,

и притомъ еще великіе. И потомъ, какая сухая отвлеченность въ понятіи г. Хомякова о сущности поэта: онъ дѣлаетъ изъ поэта то, чѣмъ поэтъ никогда не бывалъ и никогда быть не можетъ: существо безгрѣшное, не падающее, не спотыкающееся. По его мнѣнію, согрѣши поэтъ разъ въ жизни, — и навсегда прощай его вдохновеніе. Чтобъ предупредить это несчастіе, онъ даетъ ему рецептъ: живи - да беспрестанно въ поэтическихъ восторгахъ, т. е. будь шутомъ на ходуляхъ, повтори собою лицо манчскаго витязя, дон-Кихота, который даже и спалъ въ своемъ картонномъ шлемѣ, даже и во снѣ сражался съ баранами и мельницами... Нѣтъ, не таковъ поэтъ: зовемъ въ свидѣтели Пушкина, который сказалъ, что часто «межъ дѣтей ничтожныхъ міра, быть можетъ, всѣхъ ничтожнѣе поэтъ, пока не коснется его слуха божественный глаголъ, и пока не вострепечетъ душа его, какъ пробудившійся орелъ». Когда поэзія есть живой глаголъ дѣйствительности, — она великая вещь на землѣ; но когда она силится сдѣлать существующимъ несуществующее, возможнымъ невозможное, когда она прославляетъ пустое и хвалитъ ложное, — тогда она не болѣе, какъ забава дѣтей, которымъ деревянная лошадка нравится болѣе настоящей лошади... И не поэтъ тотъ, кто лишенъ всякаго такта дѣйствительности, всякаго инстинкта истины; не поэтъ онъ, а искусникъ, который умѣетъ плясать съ завязанными глазами между яйцами, не разбивая ихъ... Такой поэтъ похожъ на тѣхъ жонглѣровъ діалектики, которымъ все равно о чемъ бы и какъ бы ни спорить, лишь бы только оспорить противника; которые, доказавъ одному, что дважды-два — четыре, съ тѣмъ же жаромъ доказываютъ другому, что дважды-два — пять, и для которыхъ важнѣйшій результатъ спора есть не истина, а суетное, мелочное удовольствіе переспорить другаго и остаться побѣдителемъ, хотя бы то было на счетъ здраваго смысла и добросовѣстности.



Но мы нѣсколько отделились отъ нашего предмета — отъ стихотвореній г. Хомякова: возвратимся къ нимъ. Пока мы не нашли никакихъ признаковъ поэзіи въ простыхъ лирическихъ его стихотвореніяхъ: можетъ-быть, поэзія скрывается въ его прорицательныхъ лирическихъ піесахъ? — А вотъ посмотримъ. Въ стихотвореніи «къ Россіи», г. Хомяковъ даетъ своему отечеству истинно-отеческія наставленія: онъ запрещаетъ ему чувство гордости и рекомендуетъ смиреніе. Онъ говоритъ Россіи:

Грознѣй тебя былъ Римъ великій,  
*Царь семихолмнаго хребта,*  
*Желѣзныхъ силъ и воли дикой*  
*Осуществленная мечта,*  
 И нестерпимъ былъ огонь булата  
 Въ рукахъ алтайскихъ дикарей.

Какіе великолѣпные, энергическіе и поэтическіе стихи! Самъ Пушкинъ никогда не писывалъ такихъ чудно-прекрасныхъ стиховъ! Мы очарованы и увлечены ими; однакожь не до такой степени, чтобъ не могли освѣдомиться скромно о томъ, что скрывается въ этихъ дивныхъ стихахъ. И потому беремъ на себя смѣлость спросить кого бы то ни было — самого поэта, или нашихъ читателей: что такое «царь семихолмнаго хребта» и что такое «семихолмный хребетъ»? Что Римъ построенъ будто-бы на семи холмахъ, случилось слышать и намъ; но чтобъ онъ былъ построенъ на хребтѣ горъ — это едва ли кому случилось слышать. Что такое: «осуществленная мечта желѣзныхъ силъ и дикой воли»? Еще, еслибы дѣло шло только объ осуществленной мечтѣ желѣзной силы (а не желѣзныхъ силъ), — мы кое-какъ поняли бы мысль поэта; но почему воля Римлянъ (а Римляне дѣйствительно были по преимуществу народъ воли, какъ Греки — народъ эстетическаго чувства) была дикая — не понимаемъ! Она можетъ быть силь-

ою, несокрушимую, желѣзною, если угодно даже стальною, ютъ это и довольно пошлый эпитетъ, гордою, непреклонною; но дикою... нѣтъ, не понимаемъ, совѣтъ не понимаемъ!... Позвольте—кажется поняли! Да, такъ, точно такъ: воля Ринлянъ сдѣлалась для того дикою, чтобъ богато рифмовать съ словомъ великій... Чтѣ такое: «огнь булата»? Опять не понимаемъ! Остріе, тяжесть, сила булата — это мы понимаемъ, но «огнь булата»... Не понимаете ли вы, господа-защитники генія г. Хомякова, чтѣ такое: «огнь булата»?...

Итакъ, вотъ они — эти великолѣпные, энергическіе и поэтическіе стихи: *sic transit gloria mundi!*...

Въ другомъ стихотвореніи, г. Хомяковъ предрекаетъ скорую гибель Англіи. Сперва онъ расхваливаетъ ее, называетъ «счастливою» и «богатою» (вѣроятно, мѣтя на дѣтей, работающихъ въ рудокопняхъ), а потомъ начинаетъ бранить:

Но за то, что ты лукава;  
 Но за то, что ты горда,  
 Что тебѣ мірская слава  
 Выше Божьяго суда;  
 Но за то, что церковь Божью  
 Святотатственной рукой  
 Приковала ты къ подножью  
 Власти суетной, земной...  
 Для тебя, морей царица,  
 День придетъ, и близокъ онъ —  
 Блескъ твой, злато, багряница,  
 Все пройдетъ, минетъ какъ сонъ...

Чтѣ это такое? — іереміада по папской власти, нѣ повелѣвавшей царями и народами?... Да развѣ въ одной Англіи служители церкви введены въ истинныя ихъ обязанности, высокихъ, священныя, но уже потому не суетныхъ, земныхъ? Въ нашъ просвѣщенный европейскими народами править вездѣ свѣтская власть Турціи, въ которой законы и даже власть султана

отъ иштїя улемовъ и муфтіевъ. Мы не беремъ на себя высокой роли предрекать скорый конецъ народамъ и государствамъ: вѣдь существованіе народовъ и государствъ — не то, что существованіе какихъ-нибудь стихотвореній, которое зависть иногда отъ первой дѣльной критики... Мы не думаемъ, чтобъ Англія такъ-таки вотъ взяла да и окончила смертію животъ свой, прочитавъ стихотвореніе г. Хомякова: отъ него и вздремнуть довольно, и то не Англіи, а какому-нибудь русскому читателю. Но что Англія можетъ много потерпѣть за то, что въ ней бѣдные люди безпрестанно или умираютъ голодною смертію, или предупреждаютъ смерть самоубійствомъ, — это другое дѣло...

Въ стихотвореніи: «Мечта», нашъ поэтъ оплакиваетъ близкую гибель Запада, гдѣ «кометы бурныхъ сѣчь бродили въ высоту»... При сей вѣрной оказіи, онъ почелъ нужнымъ даже похвалить покойника, въ которомъ много-де было хорошаго, —

Но горе! вѣкъ прошелъ — и мертвеннымъ покровомъ  
Задержнутъ Западъ весь! тамъ будетъ мракъ глубокъ.  
Услышь же гласъ судьбы, въ сіяньи новомъ,  
Проснися дремлющій Востокъ!

Г. Хомяковъ очень хорошо сдѣлалъ, что догадался потолкать въ бокъ этого лежня, Востокъ, который безъ трескучей стукотни его удивительныхъ стиховъ, вѣроятно, и не подумалъ бы даже потянуться или зѣвнуть во снѣ, не только проснуться. Такова ужъ восточная натура: ей хоть весь свѣтъ провалился, все спать; къ восточному человѣку очень идутъ эти стихи Тредьяковского:

Аще міръ сокрушенъ распадется,  
Сей мужъ николи жъ содрогнется.

Все это хорошо, но вотъ вопросъ: чтѣ разумѣть г. Хомяковъ подъ «Востокомъ»? По крайней мѣрѣ, чтѣ касается до

насъ, — мы такъ горды чувствомъ нашего національнаго достоинства, что подъ Востокомъ не можемъ разумѣть Россію. Вѣдь Западъ — Европа, а Востокъ — Азія? Россія же принадлежитъ къ Европѣ и по своему географическому положенію, и потому что она держава христіанская, и потому что новая ея гражданственность — европейская, и потому что ея исторія уже слилась неразрывно съ судьбами Европы. Кажется, такъ, г. поэтъ? Кого же вы будите? Какихъ врановъ призываете вы на мнимый трупъ Запада торжествовать мнимую гибель цивилизаціи, смерть свѣта и праздникъ тьмы? — Вѣрно, Турковъ и Татаръ?—Ну, Турки и Татары, просыпайтесь на голосъ вашего прорицателя: по его увѣренію, Западъ не нынче, завтра скончается, и наступитъ вашъ чередъ, потомки Чингисъ-Хановъ и Тамерлановъ!...

Г. Хомяковъ писалъ очень мало, и притомъ издалъ не все написанное и напечатанное имъ въ журналахъ: въ его крохотной книжечкѣ нѣтъ по крайней мѣрѣ десятка его стихотвореній, и между прочимъ, той чудной импровизаціи («Московский Вѣстникъ» 1828), которая начинается такъ:

Въ стаканы чокъ  
И въ зубы чмокъ!  
На долгій срокъ,  
Друзья, прощайте!  
Лечу къ боямъ,  
Къ другимъ краямъ,  
Во слѣдъ орламъ:  
Чокъ — выпивайте!

Но нѣсколько нѣтъ удивительнаго, что г. Хомяковъ такъ мало написалъ: хорошаго по немножку. Кромѣ того, намъ что-то сдается, что каждое стихотвореніе писалось долго, что между однимъ и другимъ стихомъ инаго его стихотворенія лежали мѣсяцы и годы промежуточнаго времени... Чтѣ жъ! тѣмъ лучше выходили стихотворенія!...

Намъ, можетъ-быть, замѣтять, что мы противорѣчимъ сами себя, увѣряя, будто г. Хомяковъ не поэтъ и въ то же время говоря о его произведеніяхъ, какъ о чемъ-то важномъ. Мы Пишемъ не для себя, а для публики: въ ней могутъ найдтись люди, которые, пожалуй, повѣрятъ возгласамъ одного журнала, увѣряющаго, что г. Хомяковъ — великій и національный русскій поэтъ. «Отечественныя Записки» въ прошломъ году, при выходѣ стихотвореній гг. Языкова и Хомякова, говорили о нихъ не только съ увѣренностью, но и съ снисходительностью. Чтò жь вышло изъ этого? — Журналъ, въ которомъ исключительно печатаются стихотворенія обоихъ этихъ поэтовъ, умалчивая о г. Языковѣ, по поводу стихотвореній г. Хомякова объявилъ, что этотъ поэтъ великъ, а «Отеч. Записки» никуда не годятся, потому что не признають его великости. Затѣмъ, онъ перепечаталъ почти всю книжку стихотвореній г. Хомякова, и, сочтя это за неопровержимое доказательство ихъ высокаго достоинства, заключаетъ такъ: «Не правда ли, читатели, что надо быть слишкомъ наглу, слишкомъ дерзку, чтобъ ругать такіа С(с)тихотворенія. И какія несчастныя бредни выставляютъ П(п)убликѣ на поклоненіе Иностранныя Записки, вмѣсто Хомяковыхъ и Языковыхъ!» Не знаемъ, согласились ли съ этимъ журналомъ его читатели; не считаемъ важнымъ сужденіе его о нашемъ журналѣ и нашихъ мнѣніяхъ, равно какъ и обо всемъ, о чемъ онъ судить; но не можемъ не выставить на видъ, что если существуетъ журналъ, который до того убѣжденъ въ великости и національности г. Хомякова, какъ поэта, что печатно называетъ «дерзкими» и «наглыми ругателями» и «иностранцами» всѣхъ, кто не согласенъ съ нимъ во мнѣніи о г. Хомяковѣ, — стало-быть, существуютъ и люди, которые думаютъ и чувствуютъ точно такъ же, какъ этотъ журналъ: вотъ для этихъ-то людей (а совсѣмъ не для этого журнала) и пишемъ мы. Поэтъ съ поддѣльнымъ дарова-

ніемъ, но никѣмъ не замѣчаемый, никакимъ печатнымъ крикуномъ непровозглашаемый, неопасенъ въ отношеніи къ портѣ общественнаго вкуса: о немъ можно, при случаѣ, отозваться съ легкою удыбкою — и все тутъ. Но поэтъ съ дарованіемъ слагать громкія слова во фразистыя стопы, поэтъ, который замѣняетъ вкусъ, жаръ чувства и основательность идей завлекательными для неопытныхъ людей софизмами ума и чувства, и между тѣмъ имѣетъ усердныхъ глашатаевъ своей великости — воля ваша, надо предположить въ критикѣ рыбью кровь, если она можетъ оставаться равнодушною къ такому явленію и со всею энергіею не обнаружить истины.

Можетъ-быть, намъ еще замѣтить, что способъ нашего анализа, состоящій въ разборѣ фразъ, мелоченъ. Дѣло не въ способѣ, а въ его результатахъ; да, кромѣ того, это единственный и превосходный способъ для сужденія даже и не о такихъ поэтахъ, каковы: Марлинскій, гг. Языковъ, Хомяковъ, Бенедиктовъ и другіе въ томъ же родѣ. Многія фразы съ перваго раза кажутся блестящими, поэтическими и заключающими въ себѣ глубокія идеи; но если вы не поторопитесь, отдавшись первому впечатлѣнію, произнести о нихъ сужденіе, а хладнокровно спросите самихъ себя: чтò значить вотъ это, чтò хотѣлъ сказать поэтъ вотъ этимъ? — то съ удивленіемъ увидите что это сначала такъ поразившее васъ стиховореніе — просто наборъ пустыхъ словъ...

Кромѣ двухъ книжечекъ стихотвореній гг. Языкова и Хомякова, въ прошломъ году вышла еще книжечка стихотвореній г. Полонскаго, подъ скромнымъ названіемъ: «Гаммы». Г. Полонскій обладаетъ въ нѣкоторой степени тѣмъ, чтò можно назвать чистымъ элементомъ поэзіи и безъ чего никакія умныя и глубокія мысли, никакая ученость не сдѣлаютъ человека поэтомъ. Но и одного этого также еще слишкомъ мало, чтобы въ наше время заставить говорить о себѣ, какъ о поэтѣ. Знаемъ,

знаемъ, скажутъ многіе: нужно еще направленіе, нужны идеи! Такъ, господа, вы правы; но не исполнѣ: главное и трудное дѣло состоятъ не въ томъ, чтобъ имѣть направленіе и идеи, а въ томъ, чтобъ не выборъ, не усиліе, не стремленіе, а прежде всего сама натура поэта была непосредственнымъ источникомъ его направленія и его идей. Еслибъ сказали Лермонтову о значеніи его направленія и идей, — онъ, вѣроятно, многому удивился бы и даже не всему повѣрилъ; и не мудрено: его направленіе, его идеи были — онъ самъ, его собственная личность, и потому онъ часто высказывалъ великое чувство, высокую мысль, въ полной увѣренности, что онъ не сказалъ ничего особеннаго. Такъ силачъ безъ вниманія, мимоходомъ, откидываетъ ногою съ дороги такой камень, котораго человѣкъ съ обыкновенною силою не сдвинулъ бы съ мѣста и руками. Повторяемъ: въ наше время трудно быть такимъ поэтомъ, котораго бы всѣ знали и о которомъ бы всѣ говорили; другими словами: въ наше время трудно поэту пріобрѣсти славу. Это потому, что въ наше время еще являются таланты и много умныхъ людей, между тѣмъ, какъ наше время обращаетъ вниманіе только на замѣчательныя натуры.

Изъ отдѣльно вышедшихъ въ прошломъ году поэтическихъ произведеній въ стихахъ, самымъ замѣчательнымъ, безъ сомнѣнія, было — «Наль и Дамаянти», индійская поэма, съ нѣмецкаго перевода Рюккерта переведенная Жуковскимъ на русскіе гекзаметры, легкіе, свѣтлые, прозрачные, граціозные и плѣнительные. Вмѣстѣ съ другими произведеніями Жуковского, помѣщенными имъ въ разныхъ журналахъ съ 1837 года, «Наль и Дамаянти» составила потомъ девятый томъ полнаго собранія сочиненій знаменитаго поэта. — Новое изданіе басенъ Крылова съ прибавленіемъ новой, девятой, части, также составляетъ одно изъ блестящихъ пріобрѣтеній литературы прошлаго года. Но это было послѣднее изданіе при жизни маститаго поэта,

такъ же, какъ этотъ годъ былъ послѣднимъ въ его жизни... Крыловъ — самъ талантъ огромный и человекъ замѣчательный, былъ ровесникъ русской литературы. О такомъ явленіи можно сказать больше, нежели сколько было о немъ сказано: въ слѣдующей книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ», мы, въ особой статьѣ, выполнимъ нашъ долгъ передъ Крыловымъ и публикою. — Въ прошломъ же году вышли: четвертая (и послѣдняя) часть «Стихотвореній Лермонтова»; переводъ «Гамлета» г. Кронеберга; переводъ г-на Вронченко «Фауста» Гёте; третье изданіе «Героя Нашего Времени»; «Сочиненія князя Одоевскаго»; второе изданіе перваго тома повѣстей графа Соллогуба, подъ общимъ названіемъ: «На Сонъ Грядущій». Изъ стихотвореній Лермонтова, вошедшихъ въ четвертую часть, двѣ піесы: «Пророкъ» и «Свиданіе» сдѣлались извѣстными только въ прошломъ году. «Сочиненія князя Одоевскаго», доселѣ разсѣянные во множествѣ періодическихъ изданій почти за двадцать лѣтъ, будучи теперь собраны вмѣстѣ и изданы въ трехъ уемистыхъ томахъ, какъ бы возвратили публикѣ одного изъ лучшихъ ея писателей, съ которымъ она привыкла встрѣчаться только изрѣдка и не надолго. Теперь сочиненія князя Одоевскаго уже не отрывки, не отдѣльныя піесы, но нѣчто цѣлое и полное, отразившее на себѣ духъ и направленіе писателя замѣчательнаго и даровитаго.

Вотъ все, что вышло достойнаго вниманія въ продолженіи прошлаго года по части изящной литературы. Надо согласиться, что очень немного! Остальнаго должно искать въ журналахъ. къ чему мы сейчасъ же и приступимъ. Но прежде сдѣлаемъ одну оговорку: мы будемъ упоминать только о замѣчательныхъ, въ какомъ бы то ни было отношеніи, явленіяхъ, а все, что мы не считаемъ ни въ какомъ отношеніи замѣчательнымъ, пройдемъ молчаніемъ. Такимъ образомъ, мы даже и журналы не все назовемъ по имени; тѣмъ менѣе намѣрены мы судить о ихъ



достоинствахъ и недостаткахъ. Да и къ чему? Если они издаются, значить, ихъ кто-нибудь да читаетъ же, и кому-нибудь они нравятся же. Переубѣдить этихъ «кого-нибудь» такъ же невозможно, какъ и доказать самимъ этимъ журналамъ, что они напрасно издаются; если же мы предприняли бы это бесполезное дѣло, — за чтѣ же большинство публики, неподозрѣвающей существованія этихъ журналовъ, должно было бы терпѣть скуку подобныхъ разсужденій и толковъ? Нѣтъ ничего труднѣе, скучнѣе и бесполезнѣе, какъ говорить о вещахъ отрицательно-хорошихъ или отрицательно-дурныхъ. Изъ журналовъ настоящаго времени, намъ остается говорить только о нашемъ собственномъ журналѣ, о «Библіотекѣ для Чтенія» и о «Москвитинѣ», примѣчательномъ въ томъ отношеніи, что онъ единственный журналъ въ Москвѣ. Изъ газетъ — объ «Инвалидѣ», «Сѣверной Пчелѣ» и «Литературной Газетѣ»<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Нельзя не сдѣлать, хотя въ выноскѣ, исключенія въ пользу двухъ прекурёзныхъ петербургскихъ изданій—*Сына Отечества* и *Листка для Святскихъ Людей*. Первый давно уже прославился своимъ злоупотребленіемъ на пути къ совершенствованію. Онъ нѣсколько разъ мѣнялся въ форматъ и планъ изданія, нѣсколько разъ чаялъ движенія живой воды то отъ той, то отъ другой редакціи, къ которымъ безпрестанно переходилъ; но истощеніе жизненныхъ силъ въ немъ было такъ велико, что всѣ попытки на продолженіе его жизни остались совершенно безуспѣшными. Послѣдній его редакторъ уже два раза передъ всякимъ новымъ годомъ, въ подробной и обстоятельно составленной программѣ, увѣрялъ публику, что онъ додастъ ей недостающіе №№ *Сына Отечества* за прошлый годъ, а въ будущемъ будетъ выдавать его книжки безъ замедленія и своевременно. Въ прошломъ 1844 году, опытный и извѣстный своими блестящими дарованіями редакторъ *Сына Отечества* снова рѣшился подвергнуть свой журналъ коренной реформѣ. Обстоятельная и пріятнымъ слогомъ написанная программа, еще въ концѣ 1843 года, вслѣдъ за программой «Литературной Газеты», извѣстила весь читающій міръ, что *Сынъ Отечества* съ будущаго года превращается въ недѣльное изданіе, въ родѣ газеты съ политипажами. Чтобы реформа была радикальнѣе, а слѣдовательно, и успѣшнѣе, преобразованный журналъ установилъ для себя новую эру и рѣшился считать свой новый годъ съ 1-го марта. Особенно замѣчательны слѣдующія строки программы: «Фамиль-

Не наше дѣло разсуждать объ «Отечественныхъ Запискахъ»: судъ надъ ними принадлежитъ публикѣ, и она давно уже произнесла его и словомъ и дѣломъ. Что касается до «Библіотеки для Чтенія», мы можемъ сказать о ней свое мнѣніе, не впадая ни въ брань, ни въ кумовство... Но что можно сказать новаго объ этомъ журналѣ? Что онъ всегда имѣлъ свои неотъемлемыя достоинства, это доказываетъ его прочный и продолжительный успѣхъ въ публикѣ; что теперь этотъ журналъ да-

---

няя дѣла, оставшіяся на попеченіи редактора по смерти отца его, не допускали (кого?) обратить полное вниманіе преимущественно на журнальную работу, — и это было единственною причиною несвоевременнаго выхода книжекъ журнала. • Замѣчательны также и эти строки въ программѣ: «Точность выхода въ назначенный день, немедленная разсылка и вѣрность доставки тетрадей принимаются неизмѣннымъ правиломъ (чего?); для чего приняты редакторомъ особыя мѣры». Но еще замѣчательнѣе то, что до сихъ поръ *Сына Отечества* вышло только 16 №№, т. е. только за четыре мѣсяца, за мартъ, апрѣль, май и іюнь, и еще не вышло ни одной тетради за іюль, августъ, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь, т. е. не додано бездѣлицы — *двадцати-четыре*хъ тетрадей.. Да, сверхъ того, не доданы еще послѣднія книжки за 1843 годъ. Вѣрьте послѣ этого обещаніямъ!

Кстати уже вотъ и еще достопримѣчательное явленіе въ области русской литературы: издававшійся когда-то въ Петербургѣ журналъ: *Русскій Вѣстникъ*, тоже перешедъ въ руки новой редакціи и общая (въ программѣ) быть аккуратнымъ въ выходѣ своихъ *двадцати* книжекъ, — въ продолженіи всего 1844 года вышелъ въ числѣ — только *одной* книжки... Должно быть, новая редакція *Русскаго Вѣстника* приняла еще болѣе, *особыя* мѣры къ правильному и своевременному выходу книжекъ этого журнала, нежели редакція *Сына Отечества*...

*Листокъ для Свѣтскихъ Людей* издается съ возможнымъ великоліціемъ, съ возможнымъ въ Россіи изыществомъ въ типографскомъ отношеніи. Модныя картинки его получаются изъ Парижа; печатается онъ на лучшей веленовой бумагѣ, лучшимъ шрифтомъ; политипажы его превосходны. Но не этимъ только оканчиваются достоинства этого удивительнаго изданія; внѣшняя сторона не есть самая блестящая и лучшая его сторона. Выборъ, изобрѣтеніе и слоги статей — вотъ его главныя права на извѣстность во всѣхъ уголкахъ міра, гдѣ только есть свѣтское общество. Особенно замѣчателенъ *свѣтскій* тонъ этихъ статей. Говорятъ, что въ

леко уже не таковъ, какимъ онъ былъ назадъ тому лѣтъ шесть или семь, — это также не новость. О замѣчательныхъ статьяхъ, какія въ немъ появлялись въ продолженіи прошлаго года, мы скажемъ въ своемъ мѣстѣ. Характеръ и направленіе — все тѣ же: слѣдовательно, о нихъ новаго сказать нечего. Впрочемъ, не мѣшаетъ напомнить о нихъ новыми фактами. Въ прошломъ году, въ «Библіотекѣ для Чтенія» было помѣщено нѣсколько весьма забавныхъ и острыхъ рецензій; но лучше всѣхъ была библіографическая статейка о книгѣ московскаго профессора, г. Погодина — «Годъ въ Чужихъ Краяхъ»: на русскомъ языкѣ не часто случается читать такіа умныя и

---

изданіи *Листка* никоимъ образомъ не участвуетъ лондонское фешенебельное общество и *la haute société du Faubourg Saint-Germain*. Мы хотѣли бы, читатели, представить вамъ нѣсколько образчиковъ этого «свѣтскаго» тона, царствующаго въ *Листкѣ*, но... чувствуемъ, что силы наши слишкомъ слабы для подобнаго дѣла. Выписывать отрывки — нѣтъ мѣста; да намъ и некогда; характеризовать нашими собственными словами... но, увы! мы не бываемъ ни въ гостиной г-жи Горбачевой, прославленной г. Панаевымъ, ни въ танцклассахъ г-жи Марцинкевичевой, ни въ лѣтнемъ нѣмецкомъ клубѣ... Нѣтъ, чувствуемъ, воображеніе наше слишкомъ сухо, перо слишкомъ слабо, чтобы дать хоть приблизительное понятіе объ этомъ фантастическомъ блескѣ, этомъ ароматѣ свѣтскости самаго лучшаго тона... Но нельзя же не представить хотя одной черты. Въ «Листкѣ», между прочимъ, помѣщаются и *gebits*. Кто-то изъ свѣтскихъ участниковъ «Листка» прислалъ (кажется изъ Тамбова) его редакціи вопросъ — не хочетъ ли она помѣщать каррикатуры на знаменитыхъ русскихъ писателей, разумеется, съ ихъ позволенія. Редакція «Листка» отвѣчала политипажемъ, на которомъ были изображены двѣ барыни — свѣтскія само собою разумеется, — пьющія чай; а въ слѣдовавшемъ за тѣмъ номерѣ, была напечатана разгадка картинки: «Обѣ съ чаемъ», — т. е. *общаемъ*... Это ли не верхъ свѣтскаго остроумія? Увѣряемъ читателей, что такихъ чертъ *высшаго тона* въ «Листкѣ» — бездна; есть даже и лучшія... Петербургскій *beau monde* долженъ быть очень доволенъ, что для него издается такой прекрасный журналъ. Впрочемъ, это только одно предположеніе съ нашей стороны. За то, мы увѣрены, что *beau monde* нашихъ уѣздныхъ городовъ дѣйствительно въ восторгѣ отъ *Листка*, и провинціальныя львы и дѣнди изъ него набираются свѣтскаго столичнаго тона...

острые статьи. Но въ томъ же прошломъ году была напечатана въ «Литературной Лѣтописи» «Библіотеки для Чтенія» рецензія четвертой части стихотвореній Лермонтова, рецензія, которая... но судите сами о ея умѣ и остротѣ по этому началу:

«О трижды, четырежды счастливая провинція! ты еще читаешь стихи! ты будешь читать эти стихи!... Петербургъ... *тра, ля ля ля—ля ля ля!*...

*Ахъ, ть соло іо вьдо, іо спнто!*...

Гарсія! Віардо! Віардо!... о!... бриконна!... бриккончелла!... Что ты сдѣлала изъ этого степеннаго, гордаго, молчаливаго Петербурга? Его узнать нельзя!» *И т. д.*

Мы думаемъ, что этою выпискою достаточно напомнили всей русской публикѣ объ этой знаменитой рецензіи, которая, вѣроятно, очень удивила ее, — и потому дальше выписывать не нужно. Кромѣ страннаго тона статьи — конечно, забавной, только на ея же собственной счетъ <sup>1)</sup>, — книжка стихотвореній такого поэта, какъ Лермонтовъ, книжка, въ которой, правда, наполовину піесъ слабыхъ, но въ которой помѣщены и такія піесы, какъ «Тамара», «Выхожѹ одинъ я на дорогу», «Утесъ», «Морская Царевна», «Пророкъ» и проч., — эта кни-

<sup>1)</sup> Замѣчательно, что одна газета прежняя союзница *Библіотеки для Чтенія*, очень дѣльно подава свой голосъ объ этой рецензіи. Вотъ что, между прочимъ, сказала эта газета: «Любопытны мы знать, что скажутъ иногородные, прочитавъ эту критику. Намъ, видѣвшимъ Воробьева, Замбони и восхищающимся теперь *буффомъ* Ровере, намъ это ни смѣшно, ни забавно. *Титумъ, титумъ, пампамъ, пампамъ, тра ля, ля, ля, ля!* Кого это разсмѣшить, или позабавить? «Библіотека для Чтенія» юворить, что Петербургъ только поетъ и ничего не читаетъ. И весьма умно дѣлаетъ, если поетъ вмѣсто того, чтобы читать *титумъ, титумъ, и пампамъ, пампамъ*. Ловко и метко! Но подмѣтивъ грамматическую ошибку въ рецензіи «Библіотеки для Чтенія», газета, о которой мы говоримъ, растолковала, въ чемъ ошибка, и прибавляетъ, что это — *замѣчаніе бабушки, Феклы Власьевны Логикі*!... Ужъ это совсѣмъ не остро!...

жка поставлена рецензією въ число самыхъ пустыхъ и ничтожныхъ литературныхъ явленій. Такими отзывами «Библіотекъ для Чтенія» уже не въ первый разъ удивлять читающій міръ: кому не извѣстно, что этотъ журналъ постоянно бранить Гоголя и, какъ-будто въ досаду ему, хвалить даже романы г. Воскресенскаго? Кому не извѣстно, какъ превозносила «Библіотека для Чтенія» «Сенсаціи г-жи Курдюковой»?—и вотъ что теперь говоритъ она о нихъ, въ своей послѣдней книжкѣ за прошлый годъ: «Покойный Мятлевъ написалъ очень умную шутку, которая цѣлую недѣлю была въ большой модѣ. Кто не читалъ этихъ безцѣнныхъ Сенсаций мадамъ Курдюковой, въ Россіи э данъ л'этранже? Кто не повторялъ ихъ, кто не забылъ?» Подобныя выходки, однакожъ, многихъ и теперь удивляютъ. Что касается до насъ, — мы прежде думали въ нихъ видѣть ошибки вслѣдствіе недостатка эстетическаго вкуса и эстетическаго образованія. Дѣйствительно, нельзя сказать, чтобъ въ области изящнаго «Библіотека для Чтенія» была у себя дома; но тѣмъ не менѣе, нельзя и отрицать, чтобъ этотъ журналъ, столь сметливый, не зналъ цѣны сочиненіямъ Гоголя, которыя онъ бранить, или цѣны сочиненіямъ гг. Загоскина и Воскресенскаго, которыя онъ хвалить. Нѣтъ, «Библіотека для Чтенія» не теперь только поняла, что такое «Сенсаціи»: она очень хорошо поняла ихъ и тогда, когда въ первый разъ собиралась превознести ихъ. Что же это значить? — Прихоть, страсть шутить. Надъ кѣмъ, надъ чѣмъ? — Ну, да хоть надъ тѣми людьми, которые эти шутки принимаютъ не за шутки. Цвѣтущее время «Библіотеки для Чтенія» давно уже прошло—и невозвратно; кругъ ея читателей значительно сжался; но онъ и теперь еще не малъ: значить, есть люди, которымъ нуженъ журналъ съ такимъ направленіемъ. И почему же «Библіотекъ» не удовлетворять потребности цѣлой части русской публики?

«Москвитянинъ» имѣетъ весьма тѣсный кругъ читателей; но этотъ кругъ какъ ни малъ, все же существуетъ: почему же не существовать и «Москвитянину»? Больше мы ничего не можемъ сказать объ этомъ журналѣ, хотя и желали бы сказать больше. Его издатель много писалъ о томъ, что бы можно было и что бы должно было дѣлать для русской исторіи; онъ писалъ трагедіи въ стихахъ и повѣсти въ прозѣ, — стало-быть, онъ и поэтъ; онъ переложилъ на русскіе нравы Гётева «Геца Фонтъ-Бердихингена»; онъ провелъ годъ въ чужихъ краяхъ — и подарилъ публику восхитительнѣйшимъ описаніемъ своего путешествія; онъ... Но кто перечтетъ все, чѣмъ знаменито и славно имя г. Погодина въ лѣтописяхъ русской науки, литературы, журналистики и поэзіи?... Сотрудники «Москвитянина» тоже все презамѣчательные таланты, уже много сдѣлавшіе, подобно гг. Шевыреву, М. Дмитріеву и Лихонину, и много общающіе въ будущемъ, подобно гг. Милькѣеву, Студитскому, Иванчину-Писареву и господамъ Зражевской и Шаховой. Статьи, помѣщаемыя въ этомъ журналѣ, должны быть очень интересны и хорошо написаны, — и если до сихъ поръ въ этомъ еще никто не согласился, кромѣ сотрудниковъ и вкладчиковъ самого журнала, — такъ это потому, вѣроятно, что направленіе и духъ журнала слишкомъ исключительны. Кто считаетъ себя только русскимъ, не заботясь о своемъ славянизмѣ, тотъ въ статьяхъ «Москвитянина» заблудится, словно въ одной изъ тѣхъ темныхъ дубравъ, гдѣ воздвигались деревянные храмы Перуну и обитали мелкія славянскія божества — кикиморы и лѣшіе. Надо быть истымъ Славяниномъ, чтобъ находить въ статьяхъ «Москвитянина» талантъ, знаніе, убѣжденіе, интересъ, ясность, и проч. Но, увы! мы не болѣе, какъ Русскіе, а не Словене, мы граждане Россійской имперіи, мы и душою и тѣломъ въ интересахъ нашего времени, и желаемъ не возврата aux temps primitifs, а есте-

ственного хода впередъ, путемъ просвѣщенія и цивилизаціи. Это обстоятельство совершенно лишаетъ насъ возможности понимать «Москвитянина». Думаемъ, что это — прекрасный журналъ (потому что какіе люди, какіе таланты въ немъ участвуютъ!...); но чѣмъ и какъ онъ прекрасенъ, — не можемъ сказать, при всемъ нашемъ желаніи...

Лучшая русская политическая газета теперь — «Инвалидъ». Онъ столько хорошъ, сколько можетъ быть хорошимъ при его средствахъ и условіяхъ. Политическія извѣстія въ немъ всегда полны и свѣжи. Фельетонъ его всегда занимателенъ и разнообразенъ, особенно фельетонъ, составляемый изъ иностранныхъ новостей. И публика вполне оцѣнила превосходство этого изданія передъ всеми ему подобными: «Инвалидъ» теперь наиболѣе читаемая въ Россіи газета. — О «Сѣверной Пчелѣ» новаго сказать нечего: она все та же, какою была въ первый годъ своего существованія. Въ прошломъ году, въ ней была только одна перемѣна: ея фельетоны были необыкновенно скучны и сухи. — Сдѣлаемъ еще одну замѣтку касательно «Пчелы»: забота о чистотѣ отечественнаго (?) языка и вопли о его искаженіи всеми журналами и газетами, кромѣ «Сѣверной Пчелы», составляли, въ продолженіи прошлаго года, все направленіе, весь духъ этой газеты. Объявляя о своемъ продолженіи на 1845 г., «Сѣверная Пчела», между прочимъ, говоритъ, что она «по прежнему будетъ хранительницей и блюстительницей чистоты и правильности драгоценнаго народнаго достоянія — русскаго языка» (255 № «Сѣвер. Пчелы» 1844 года). Все это очень хорошо; но одни слова еще немного стоятъ, взглянемъ на факты; вотъ нѣсколько выдержекъ изъ «Сѣверной Пчелы» за 1843 и 1844 годъ: «Роль Ироджены играла г-жа Тадини. Какъ вторая пѣвица, она имѣетъ превосходныя качества. (:) П(п)рекрасный, звучный, обширный голосъ, хорошую методу, выгодную фи-

зику (?) и много жару» (246 № 1843). — «Вы, вѣроятно, читаете что-нибудь по сочнѣе: Парижскія Тайны, романъ, при чтеніи котораго кровь течетъ изъ носа у читателя.» — «А если вы левъ или львица, то вы должны быть въ восторгѣ отъ огнедышущихъ изверженій вулканической головы, на каменномъ основаніи сердца Жоржъ-Занда» (278 № 1843); — «Конечно, надобно необыкновенной власти надъ собою, чтобъ и пр. (57 № 1844). Такихъ фразъ можно набрать изъ «Сѣверной Пчелы» тысячи; но довольно и этихъ, прежде другихъ бросившихся намъ въ глаза, когда мы рѣшились перелистовать нѣсколько на удачу попавшихся намъ подъ руку номеровъ. Неужели это пуризмъ? неужели это значить: быть «хранильницею» и «блюстительницею» чистоты языка? Мы не говоримъ уже о тонѣ всей газеты, объ остротахъ, которыя вертятся на томъ, что фельетонный остроловъ называетъ Жюль Жанена «почтеннѣйшимъ Юліемъ Ивановичемъ Жаненомъ» (78 № 1844) и которыя подъ-стать «бабушкѣ Оеклѣ Васильевнѣ Логикѣ» (258 № 1844): всякій шутить и острить по крайнему своему разумѣнію и сообразно съ своимъ образованіемъ; но зачѣмъ браться быть блюстителями и хранителями языка?...

«Литературная Газета» была вѣрна своей программѣ и постоянно представляла читателямъ статьи съ политипажами о разныхъ любопытныхъ предметахъ, литературную театральную и петербургскую хронику, записки для хозяевъ и, наконецъ, кухонныя статьи доктора Пуфа, который пишетъ такъ же хорошо, какъ и учить готовить лакомыя блюда. Нельзя не замѣтить, что докторъ Пуфъ владѣетъ перомъ едва ли еще не лучше, чѣмъ вертеломъ, — и его статейки даже и для людей, не интересующихся кухнею, казались интереснѣе, остроумнѣе и литературнѣе статей многихъ нашихъ фельетонистовъ.



Теперь взглянемъ на замѣчательнѣйшія беллетристическія статьи, помѣщенные въ прошлагоднихъ журналахъ. Первое мѣсто, въ этомъ отношеніи, принадлежитъ г. Луганскому. Въ первыхъ двухъ книжкахъ «Библіотеки для Чтенія» были помѣщены «Похожденія Христіана Ивановича Віольдамура и его Аршета». Эта повѣсть написана г. Луганскимъ, какъ текстъ для объясненія картинокъ г. Сапожникова, сдѣданныхъ заранѣе безъ всякихъ предварительныхъ соглашеній романиста съ рисовальщикомъ. Г. Сапожниковъ рисовалъ свои, исполненные смысла, жизни и оригинальности картинки по прихоти своей художнической фантазіи; г. Луганскому предстоялъ трудъ угадать поэтическій смыслъ этихъ картинокъ и написать къ нимъ текстъ, словно либретто къ готовой уже оперѣ: слѣдовательно, это была нѣкоторымъ образомъ заказная работа. Но г. Луганскій болѣе, нежели ловко и удачно выпутался изъ затруднительнаго полрженія: изъ его текста къ картинкамъ вышла оригинальная повѣсть, которая прекрасна и безъ картинокъ, хотя при нихъ и еще лучше. Правда, нѣкоторыя мѣста отзываются задачею, но въ общемъ этого почти незамѣтно. Жизнь петербургскихъ Нѣмцевъ, многія черты вообще петербургской жизни и вообще русской жизни, вѣрно подмѣченныя, удачно схваченныя, множество фигуръ, искусно обрисованныхъ—отъ добраго подъячаго Ивана Ивановича до ломоваго извозчика, перевозящаго пожитки Віольдамура, отъ «свѣдки З'Виборга» до няни Акулины и хозяйки квартиры на Пескахъ, отъ самаго Віольдамура до его вѣрнаго Аршета,—все это такъ занимательно, такъ полно жизни и истины, что отъ труда г. Луганскаго нельзя оторваться, не дочитавъ его до послѣдней строки. И еще лучше повѣсть г. Луганскаго... но о ней послѣ: сперва пересмотримъ, чтѣ еще есть хорошаго въ «Библіотекѣ для Чтенія». Очень занимателенъ романъ г. Кукольника: «Два Ивана, два Степановича, два Костылькова»,

помѣщенный въ 5, 6, 7 и 8 книжкахъ «Библіотеки». Содержаніе романа относится къ эпохѣ Петра-Великаго. Есть, однакожь, въ этомъ романѣ неземная дѣва, созданіе ложное и приторное всячески — и какъ поэтическое произведеніе, и какъ невозможное для того времени лицо; вообще, всѣ сцены любви, все страстное и нѣжное какъ-то сбивается у г. Кукольника на сентиментальное. Герой романа весь составленъ изъ невозможностей и противорѣчій. То, подобно Испанцу, онъ стремится выполнить клятву мести; то играетъ роль нѣжнаго влюбленнаго пастушка; то по своей собственной склонности играетъ роль полицейскаго шпіона. Много натянутого, неестественнаго; часто событія разрѣшаются посредствомъ *deus ex machina*. Причина этихъ недостатковъ скрывается сколько въ самомъ талантѣ г. Кукольника, столько и въ поспѣшности, съ которою онъ писалъ свой романъ. Несмотря на то, въ этомъ романѣ очень много хорошаго: въ дѣйствующихъ лицахъ часто замѣтна не только вѣрность языка, но и вѣрность понятій той эпохѣ. Есть мѣста мастерскія. И хотя мѣстами романъ очень утомителенъ, однако его нельзя не дочитать до конца. Можно еще упомянуть о разсказѣ г. Гребенки: «Быль не быль, и не сказка». Изъ переводныхъ повѣстей въ «Библіотекѣ» скажемъ во первыхъ о «Сесилѣ», романѣ г-жи Ганъ-Ганъ, которую называютъ нѣмецкимъ Жоржемъ-Зандомъ. Романъ не то, чтобъ плохъ, не то, чтобъ хорошъ, — отзывается посредственностью, а потому хуже, чѣмъ плохъ. Очень удивилъ насъ романъ Алексиса: «Кабанисъ»: первая часть его, представляющая картину воспитанія и семейныхъ нравовъ Германіи XVIII вѣка, чрезвычайно интересна, но остальные части набиты такою безтолковою и пошлою путаницею романическихъ эффектовъ, что не знаешь, чему больше дивиться — терпѣнію ли сочинителя написать такой длинный вздоръ, или рѣшимости журнала — передать его на своихъ страницахъ. Въ видѣ

прибавленія, при «Библиотекѣ» выдается по частямъ переводъ «Вѣчнаго Жида» Эжена Сю. Переводъ слабъ. Чтѣ до романа — основа его нелѣпа, но подробности большею частію очень занимательны; въ разсказѣ много жара и движенія, но много сантиментальности и надутой пошлости. Главный интересъ этого романа для Французовъ заключается въ нападкахъ на іезуитовъ. Впрочемъ, съ этой стороны, романъ Эжена Сю интересенъ не для однихъ Французовъ. Въ послѣднихъ двухъ книжкахъ «Библиотеки для Чтенія» начался безконечный романъ: «Лондонскія Тайны», наполненный такими приключеніями, какихъ не бываетъ ни на землѣ, ни на лунѣ. «Лондонскія Тайны» повторяютъ собою всѣ недостатки «Парижскихъ Тайнъ», не представляя ни одного изъ достоинствъ послѣдняго романа. Впрочемъ, и «Лондонскія Тайны» не то, чтобъ имѣли какой-нибудь интересъ, но раздражаютъ любопытство читателя, дѣйствуя не столько на его умъ, сколько на нервы: это интересъ чисто наркотическій, потому, романъ долженъ понравиться многимъ.

Въ «Отечественныхъ Запискахъ» прошлаго года изъ оригинальныхъ бѣллетристическихъ произведеній были напечатаны: «Барышня», разсказъ г. Панаева, одинъ изъ самыхъ мѣткихъ, самыхъ удачныхъ юмористическихъ очерковъ этого писателя; «Живой Мертвецъ» — одна изъ лучшихъ юмористическихъ статей князя Одоевскаго: она потомъ вошла въ составъ изданныхъ въ прошломъ же году «Сочиненій князя Одоевскаго»; «Докторъ», г. Гребенки — не столько повѣсть, сколько правоописательный очеркъ, заключающій много хорошаго въ подробностяхъ. «Сцены Уѣздной Жизни», г. Н\* обнаруживаютъ большое знаніе уѣздной жизни, много наблюдательности и таланта, хотя и отзываются литературною неопытностью. Отъ автора, скрывшагося подъ таинственною литерою Н\*, много можно ожидать въ будущемъ. «Андрей Колосовъ», г. Т. Л. — разсказъ, чрезвычайно замѣчательный по прекрасной мысли :

авторъ обнаружилъ въ немъ много ума и таланта, а вмѣстѣ съ тѣмъ и показалъ, что онъ не хотѣлъ сдѣлать и половины того, что бы могъ сдѣлать; оттого и вышелъ хорошенькій рассказъ тамъ, гдѣ бы слѣдовало выйти прекрасной повѣсти. — Лучшими повѣстями въ «Отечественныхъ Запискахъ» прошлаго года были: «Колбасники и Бородачи», г. Луганскаго, и «Послѣдній Визитъ» г. А. Нестроева. «Колбасники и Бородачи» — рѣшительно лучшее произведеніе г. Луганскаго. Несмотря на чисто практическую и внѣшнюю цѣль этой повѣсти, въ ней есть подробности истинно художественныя, есть черты купеческаго быта, схваченныя съ изумительною вѣрностью: такова сцена сватанья, гдѣ отецъ перебиваетъ у сына невесту. Даже слишкомъ явно внѣшная цѣль повѣсти нисколько не вредитъ ея достоинству: авторъ умѣлъ возвысить ее до мысли и, черезъ мысль слить ее съ поэтической стороною своего произведенія. Какъ «Колбасники и Бородачи» были лучшею, въ продолженіи прошлаго года, повѣстью въ юмористическомъ родѣ, такъ «Послѣдній Визитъ» — едва ли не лучшая русская повѣсть въ патетическомъ родѣ. Да, публика еще въ первый разъ прочла на русскомъ языкѣ повѣсть, въ которой страсть понята такъ глубоко и вѣрно, изображена такъ просто и сильно. Дѣйствующія лица очень обыкновенны, а потому и истинны; завязка проста до того, что ея нельзя пересказать иначе, какъ подлинными словами автора, — а между тѣмъ, тутъ заключена страшная, потрясающая душу драма. Въ первый еще разъ страсть нашла себѣ голосъ и выраженіе въ русской повѣсти... Чтобы не приняли нашихъ словъ за преувеличеніе, скажемъ въ поясненіе, что были и прежде русскія повѣсти, въ которыхъ слышался голосъ страсти какъ, напримѣръ, въ «Тарасѣ Бульбѣ» Гоголя, именно въ сценахъ любви Андрія и прекрасной Полячки; но тутъ положеніе исключительное, среди дѣйствительности страшно поэтической, а въ «Послѣднемъ Визитѣ»

страсть горитъ въ нѣдрахъ дѣйствительности современной, обыкновенной, прозаической, въ сердцахъ людей, поихъ характерамъ и положенію въ обществѣ вовсе не исключительнымъ, и эта страсть не изливается бурными потоками исполненныхъ лирическаго пафоса рѣчей, а высказывается драматически, горитъ и пышетъ въ самыхъ простыхъ словахъ. Характеры этой повѣсти задуманы и выполнены очень вѣрно; только характеръ героини не совсѣмъ дочерченъ; за то, характеръ героя повѣсти, и въ особенности характеръ мужа, отдѣланы съ удивительною опредѣленностью. Но въ этомъ произведеніи, къ сожалѣнію, есть недостатокъ, который тѣмъ рѣзче и тѣмъ непріятнѣе, чѣмъ прекраснѣе вся повѣсть: ея конецъ слабѣе начала и середины. Мы даже думаемъ, что выстрѣла, который дошелъ до ушей героини, было совсѣмъ ненужно, равно какъ и самой дуэли: развязка могла бы быть проще, и тѣмъ поразительнѣе. Помѣшательство героини повѣсти тоже немного сбивается на эффектъ: достаточно было бы, вмѣсто помѣшательства — просто апатическаго равнодушія: для благоразумнаго Григорія Павловича это было бы не легче сумасшествія жены... Кстати скажемъ, что авторъ этой повѣсти <sup>1)</sup> уже не въ первый разъ является на литературномъ поприщѣ и не въ первый разъ обращаетъ на себя вниманіе любителей изящнаго: «Звѣзда», «Цвѣтокъ» и другія повѣсти въ «Отечественныхъ Запискахъ», означенныя подписью А. Н., принадлежать ему. Но съ «Послѣдняго Визита», для него, кажется, настала эпоха новаго, болѣе глубокаго и истиннаго творчества: въ прежнихъ своихъ повѣстяхъ, онъ изображалъ и характеры и положенія какіе-то исключительные и необыкновенные; въ послѣдней своей повѣсти, онъ смѣло вошелъ въ глубину простой, ежедневной дѣйствительности и умѣлъ въ ея пошлости и прозѣ найти страсть, слѣдо-

<sup>1)</sup> П. Н. Кудрявцевъ.

вательно, и поэзію. Отъ души желаемъ, чтобъ этотъ прекрасный талантъ никогда болѣе не сходилъ съ этой новой для него дороги, но все шель по ней впередъ и впередъ: онъ можетъ уйти далеко...

Изъ переводныхъ статей, въ «Отечественныхъ Запискахъ» за прошлый годъ были помѣщены: «Домашній Секретарь», романъ Жоржъ-Занда; «Крошка Цахесъ по прозванію Цинноберъ», повѣсть Гофмана; «Зять, какихъ мало», повѣсть Шарля Бернара; «Жакъ», романъ Жоржъ-Занда; «Жизнь и Приключенія Мартина Чодзльвита», новый романъ Чарльса Диккенса. О достоинствѣ романовъ Жоржъ-Занда нечего распространяться: они говорятъ сами за себя гораздо лучше, нежели кто-либо могъ бы говорить о нихъ. — «Жизнь и приключенія Мартина Чодзльвита» — едва ли не лучший романъ даровитаго Диккенса. Это полная картина современной Англіи, со стороны правовъ, и вмѣстѣ яркая, хотя, можетъ-быть, и односторонняя картина общества Сѣверо-Американскихъ Штатовъ. Чтѣ за неистощимость изобрѣтенія, чтѣ за разнообразіе характеровъ, такъ глубоко задуманныхъ, такъ вѣрно очерченныхъ! Чтѣ за юморъ! чтѣ за слогъ! Прочитавъ въ прошломъ году «Лавку Древностей», мы думали, что приходитъ время навсегда проститься съ огромнымъ талантомъ Диккенса; но послѣдній его романъ доказалъ, что талантъ автора «Николая Никльби» и «Бэрнеби Роджа» только вздремнулъ на время, чтобъ проснуться еще свѣжѣе и могучѣе прежняго. Въ «Мартинѣ Чодзльвитѣ» замѣтна необыкновенная зрѣлость таланта автора; правда, развязка этого романа отзывается общими мѣстами; но такова развязка у всѣхъ романовъ Диккенса: вѣдь Диккенсъ — Англичанинъ.

Между немногими стихотвореніями, печатавшимися въ нашихъ прошлогоднихъ журналахъ, въ нѣкоторыхъ промелькнували искорки то поэзіи безъ мысли, то мысли безъ поэзіи, то

что-то какъ-будто похожее и на мысль и на поэзію вмѣстѣ. Мы разумеѣмъ здѣсь стихотворенія гг. Майкова, Фета, Т. Л., Огарева, Крешева, Полонскаго. Но кромѣ двухъ вновь открытыхъ стихотвореній Лермонтова: «Пророкъ» и «Свиданіе», выдалось изъ ряда другихъ только стихотвореніе г. Фета: «Колыбельная пѣсня».

Изъ переводныхъ стихотвореній, замѣчательнѣе всего, по обыкновенію, были переводы г. Струговщикова изъ Гёте. Къ числу замѣчательныхъ явленій этого рода принадлежитъ отрывокъ изъ «Фауста», переведенный г. Т. Л. (6-я книжка «Отеч. Записокъ»). Какъ объ опытѣ, заслуживающемъ вниманія, должно упомянуть о переводѣ г. Яхонтова «Торквато-Тассо», графы Гёте (8-я книжка «Отеч. Записокъ»). Очень любопытны напечатанныя въ «Библіотекѣ для Чтенія» (3-я книжка) неизданныя стихотворенія Державина и Фонъ-Визина.

Изъ статей ученаго содержанія, замѣчательны, въ «Библіотекѣ для Чтенія»: «Историческое обозрѣніе открытія золота въ старомъ и новомъ свѣтѣ»; «Послѣднія путешествія Французовъ»; «Арнаутъ»; «Яссы и Молдавія» (автора «Странствователя по сушѣ и морямъ»); «Кардиналъ Ришельё»; «Финансы и государственный кредитъ въ Австріи и Пруссіи»; «Германскій таможенный Союзъ».—Въ «Библіотекѣ для Чтенія» съ нѣкотораго времени появилась критика, состоящая не изъ однихъ выписокъ изъ разбираемой книги, иногда даже вовсе безъ этихъ выписокъ; но такая перемѣна нисколько не улучшила этого отдѣла журнала, а только сдѣлала его еще мѣнѣе занимательнымъ. Замѣчательна въ «Библіотекѣ для Чтенія» одна критическая статья, и то только тѣмъ, что она — переводъ нѣмецкой брошюры: «Schiller's Leben von Döring, переводъ, разведенный водою мыслей переводчика и выданный за оригинальное сочиненіе. Это — статья о «Вильгельмѣ Теллѣ», переведенномъ г. Миллеромъ, и кстати о Шиллерѣ. Оригина-

льнаго, въ Россіи сочиненнаго, въ ней только одна мысль, за то удивительная, если не чудовищная. Мысль эта состоитъ въ томъ, что хотя Пушкинъ и выше Жуковского, какъ поэтъ и мыслитель, однако «никогда творенія Пушкина не приобрѣтали и не приобрѣтутъ той любви, которую возбуждали и всегда будутъ возбуждать творенія Жуковского» (2-я книжка). Эта мысль, или шутка, или мистификація, можетъ имѣть достоинство неоспоримой истины, если ее прочесть наизусть, и понять наоборотъ...

Въ «Отечественныхъ Запискахъ» изъ статей ученаго содержанія вѣроятно замѣчены читателями: «Иезуиты»; «Лудовикъ XV и его вѣкъ»; «Записки русскаго морскаго офицера во время путешествія вокругъ свѣта въ 1840, 1841 и 1842 годахъ», г. Бутакова (двѣ отдѣльныя статьи: одна въ третьей, другая въ седьмой книжкѣ); «О ходѣ искусства у древнихъ народовъ и объ употребленіи и сохраненіи памятниковъ древняго искусства», И. Я. Кронеберга (бывшаго профессора Харьковскаго университета); «Пѣздка черезъ Буэносъ-Айресскія Пампы», г. Чихачева; «Байкалъ», г. Щукина; «Августъ Лудвигъ Шлёцеръ — жизнь и труды его» г. Головачева; «Реформація»; «О народности медицины»; «Е. А. Баратынскій». Въ отдѣлѣ «Критики», кромѣ разборовъ собственно къ изящной литературѣ относящихся книгъ, разборовъ, выражающихъ мнѣніе редакціи, — въ «Отечественныхъ Запискахъ» были напечатаны разборы, писанные сторонними лицами: «о Филологическихъ наблюденіяхъ г. Павскаго надъ составомъ русскаго языка», г. Надеждина (двѣ статьи, впрочемъ еще не заключающія въ себѣ конца критики); разборъ книгъ: «Гальванизмъ въ техническомъ примѣненіи, для любителей природы и искусства и для технического употребленія», соч. К. О., и «Полное изложеніе гальваноопластики, гальванической позолоты и серебрения», соч. А. Г.; «Полный курсъ геологическихъ наукъ», соч. Эдуарда Эйхвальда.



Русскихъ книгъ теперь выходитъ годъ отъ году меньше; за то, число дурныхъ уже не находится въ чудовищной пропорціи къ числу хорошихъ. Особенно много выходитъ хорошихъ книгъ спеціальнаго содержанія; перѣдки и хорошіе учебники. Все это гораздо лучше множества пустыхъ книгъ преимущественно бѣллетристическаго содержанія, которыя прежде наводняли собою русскую литературу, или, лучше сказать, подвалы книжныхъ лавокъ. Назовемъ нѣкоторыя изъ вышедшихъ въ прошломъ году книгъ, особенно замѣчательныхъ важностію содержанія: «Остромирово Евангеліе», изд. г. Востоковымъ; «Выходы Царей Михайла Ѳеодоровича и Алексія Михайловича», изд. г. Строевымъ; «Семена Порошина Записки, служащія къ исторіи Великаго Князя Павла Петровича»; «Описаніе первой войны Императора Александра съ Наполеономъ въ 1805 году», соч. Михайловскаго-Данилевскаго; «Основныя начала русскаго судопроизводства», диссертация г. Кавелина; «Поездка въ Якутскъ», г. Щукина; «Поездка въ Забайкальскій Край»; «Правила, мысли и мнѣнія Наполеона о военной наукѣ, военной исторіи и военномъ дѣлѣ», собранныя Каузлеромъ, переведенныя г. Леонтьевымъ; «Политическая и военная жизнь Наполеона», соч. Жомини; «Исторія военныхъ дѣйствій въ Азіатской Турціи»; «Описаніе турецкой войны въ 1828—1829 годахъ», г. Лукьяновича и друг. Обо всѣхъ этихъ и другихъ, не упомянутыхъ здѣсь, книгахъ, Библиографическая Хроника «Отечественныхъ Записокъ» постоянно и своевременно отдавала отчетъ публикѣ. Въ прошломъ году, возымѣло начало и теперь продолжается успѣшно монументальное изданіе литографическихъ снимковъ съ картинъ Императорской Эрмитажной Галлерей, предпринятое французскими художниками гг. Гойе-Дефонте-номъ и Полемъ Пети.

Если мы вообще насчитали не слишкомъ много замѣчательныхъ явленій въ русской литературѣ 1844 года, можетъ-быть,

еще меньше, чѣмъ въ литературѣ 1843 года, — не должно видѣть въ этомъ только доказательство все бѣднѣй и бѣднѣй бѣдности русской литературы. Бѣдность, дѣйствительно, страшная, но въ ней есть своя хорошая, скажемъ больше—своя прекрасная сторона. Теперь пишутъ мало, потому что публика стала разборчивѣе и взыскательнѣе: стало-быть писать сдѣлалось труднѣе и для талантовъ, а для посредственности просто невозможно. Потерявъ въ числительномъ богатствѣ, наша литература много выиграла въ духѣ и направленіи. Немного было хорошихъ повѣстей въ прошломъ году, но выберите самую слабую изъ всѣхъ упомянутыхъ нами въ этомъ обзорѣ, и сравните ее съ повѣстями Марлинскаго, гг. Полеваго, Погодина, Загоскина и другихъ, — и вы увидите, какъ богата нищета современной русской литературы въ сравненіи съ ея нищенскимъ богатствомъ прежняго времени. Теперь, слава Богу! переводится поколѣніе такъ называемыхъ безкорыстныхъ любителей литературы для литературы: теперь читаютъ корыстно, т. е. хотятъ видѣть въ книгѣ не средство къ пріятному препровожденію времени, а мысль, направленіе, мнѣніе, истину, выраженіе дѣйствительности. Литературное достоинство теперь уже не искупитъ недостатка мысли, и поэтическая мишура таланта никому не дастъ славы. Фраза потеряла свое очарованіе: ее сейчасъ разложить на слова, чтобъ добиться, что за смыслъ скрывается она въ себѣ; въ риторикѣ теперь упражняются только старые писатели, которые повыписались или совсѣмъ исписались. Метроманы тоже выводятся; стихотвореніе, даже очень недурное, уже перестало быть явленіемъ великой важности: восхищаются одними превосходными стихотвореніями. Все это составляетъ характеръ послѣдняго періода нашей литературы, которому тонъ и направленіе дали Гоголь и Лермонтовъ. Многіе жалуются на журналы, особенно на толстые, приписывая имъ малочисленность книгъ. Но развѣ не все равно — въ отдѣльной книгѣ или

въ журналѣ прочесть хорошее сочиненіе? Правда, теперешніе журналы слишкомъ энциклопедичны, слишкомъ разнообразны; но это не ихъ вина, а дѣло необходимости. Чтобы журналъ былъ читаемъ, не гоняясь за разнообразіемъ содержанія, — нужно, чтобы онъ выигралъ мнѣніемъ: а въдѣ въ чемъ болѣе выразиться мнѣнію, если не въ литературѣ? Литература — предметъ, конечно, интересный, но совѣмъ не неистощимый; притомъ же, теперь, какъ мы это уже говорили, прошелъ вѣкъ литературщины, и въ литературѣ всѣ хотятъ видѣть больше разнообразія... И такъ, будемъ толковать о литературѣ и читать толстые журналы.

---

ТАРАНТАСЪ. *Путевыя впечатлѣнія. Сочиненіе графа В. А. Соллогуба. Санктпетербургъ. 1845.*

Въ современной русской литературѣ, журналъ совершенно убилъ книгу. Между разнымъ балластомъ, все-таки только въ журналахъ, — разумѣется, лучшихъ (которыхъ такъ немного), — можно встрѣчать болѣе или менѣе замѣчательныя произведенія по части изящной литературы. Сюда должно отнести еще сборники, или альманахи: въ лучшихъ изъ нихъ, тоже попадаются иногда хорошія піесы. Но хорошая книга теперь истинная рѣдкость, такъ что критикамъ и рецензентамъ ex-officiо приходится хоть совѣмъ не упоминать о книгахъ и, вмѣсто ихъ, разбирать вновь выходящія книжки журналовъ и даже листки газетъ. Тѣмъ болѣе вниманіе должна обращать критика на всякую книгу, сколько-нибудь выходящую изъ-подъ уровня посредственности. Нечего и говорить, что появленіе книги,

которая слишкомъ далеко выходитъ изъ-подъ этого уровня, должно быть истиннымъ праздникомъ для критики. Къ такимъ книгамъ принадлежитъ «Тарантасъ», графа Соллогуба. Несмотря на то, изъ двадцати главъ, составляющихъ это произведение цѣлыхъ семь главъ были напечатаны въ «Отечественныхъ Запискахъ» еще въ 1840 году, — «Тарантасъ» — столько же новое, сколько и прекрасное произведение, которое своимъ появленіемъ составило бы эпоху и не въ такое бѣдное изычными созданіями время, каково наше. Семь главъ «Тарантаса», давно уже извѣстныхъ публикѣ, давали понятіе только о достоинствѣ цѣлаго произведенія, а не о идеѣ его, прекрасной и глубокой, которую можно понять только по прочтеніи всего сочиненія, проникнутаго удивительною цѣлостностью и совершеннымъ единствомъ. Многіе видятъ въ «Тарантасѣ» какое-то двойственное произведение, въ которомъ сторона непосредственного, художественнаго представленія дѣйствительности превосходна, а сторона воззрѣній автора на эту дѣйствительность, его мыслей о ней, будто-бы исполнена парадоксовъ, оскорбляющихъ въ читателѣ чувство истины. Подобное мнѣніе несправедливо. Тѣ, кому оно принадлежитъ, не довольно глубоко вникли въ идею автора, — и объективную вѣрность, съ какою изобразилъ онъ характеръ одного изъ героевъ «Тарантаса» — Ивана Васильевича, приняли за выраженіе его личныхъ убѣжденій, — тогда какъ на самомъ дѣлѣ авторъ «Тарантаса» столько же можетъ отвѣчать за мнѣнія героя своего юмористическаго разсказа, сколько, напримѣръ, Гоголь можетъ отвѣчать за чувства, понятія и поступки дѣйствующихъ лицъ въ его «Ревизорѣ», или «Мертвыхъ Душахъ». Между тѣмъ, ошибочный взглядъ лучшей части читателей на «Тарантасъ» очень понятенъ: при первомъ чтеніи можетъ показаться, будто-бы авторъ не чуждъ желанія, хотѣя и не прямо, а предположительно, высказать, черезъ Ивана Васильевича,

нѣкоторыя изъ своихъ воззрѣній на русское общество, — и тѣмъ легче увлечься подобнымъ ошибочнымъ мнѣніемъ, что необыкновенный талантъ автора и его мастерство живописать дѣйствительность, лишаютъ читателя способности спокойно смотрѣть на картины, которыя такъ быстро и живо проходятъ передъ его глазами. Мы сами на первый разъ увлеклись рѣзкимъ противорѣчіемъ, которое находится между этими безпрестанно смѣняющимися и безпрестанно поражающими новымъ удивленіемъ картинами, и между странными — чтобъ не сказать, нелѣпыми мнѣніями Ивана Васильевича. Это заставило насъ забыть, что мы читаемъ не легкіе очерки, не силуэты, а произведеніе, въ которомъ характеры дѣйствующихъ лицъ выдержаны художественно, и въ которомъ нѣтъ ничего произвольнаго, но все необходимо проистекаетъ изъ глубокой идеи, лежащей въ основаніи произведенія. Такимъ образомъ, беремъ назадъ свое выраженіе въ рецензій о «Тарантасѣ» (см. въ слѣдующей части въ отдѣлѣ Библіографія 1845 года), что въ немъ, вмѣстѣ съ дѣльными мыслями, много и парадоксовъ. Только въ XV и XVI-й главахъ, авторъ «Тарантаса» говорить съ читателемъ отъ своего лица; и вотъ — кстати замѣтить — эти-то главы больше всего сбиваютъ читателя съ толку, раздвоя въ его умѣ произведеніе графа Соллогуба и ужасая его множествомъ страшныхъ парадоксовъ. Но мы не скажемъ, чтобъ это были парадоксы: это скорѣе мнѣнія, съ которыми нельзя согласиться безусловно и которыя вызываютъ на споръ. Последнее обстоятельство даетъ имъ полное право на книжное существованіе: съ чѣмъ можно спорить и что стоитъ спора, — то имѣетъ право быть написаннымъ и напечатаннымъ. Есть книги, имѣющія удивительную способность смертельно наскучать читателю, даже говоря все истину и правду, съ которою читатель вполне соглашается; и, наоборотъ, есть книги, которыя имѣютъ еще болѣе удивительную способность

заинтересовать и завлечь читателя именно противоположностію ихъ направленія съ его убѣжденіями; онѣ служатъ для читателя повѣркою его собственныхъ вѣрованій, потому что, прочитавъ такую книгу, онъ или вовсе отказывается отъ своего убѣжденія, или умѣряетъ его, или, наконецъ, еще болѣе въ немъ утверждается. Такой книгѣ охотно можно простить даже и парадоксы, тѣмъ болѣе, если они искренны и авторъ ихъ далекъ отъ того, чтобы подозрѣвать въ нихъ парадоксы. Вотъ другое дѣло — парадоксы умышленные, порожденные эгоистическимъ желаніемъ поддержать воцѣвшую ложь въ пользу касты, или лица: такіе парадоксы не стоятъ опроверженія и спора; презрительная насмѣшка — единственное достойное ихъ наказаніе...

Не будемъ пускаться въ изслѣдованія — къ какому роду и виду поэтическихъ произведеній принадлежитъ «Тарантасъ». Въ наше время, слава Богу, признается въ мірѣ изящнаго только одинъ родъ — хорошій, запечатлѣнный талантомъ и умомъ, а обо всѣхъ другихъ родахъ и видахъ теперь никто не заботится. Наше время вполне принимаетъ глубоко мудрое правило Вольтера: «все роды хороши, кромѣ скучнаго». Но мы, въ отношеніи къ этому правилу, гораздо послѣдовательнѣе самого Вольтера, который противорѣчилъ своему собственному принципу, держась преданій и повѣрій французскаго псевдо-классицизма. Къ правилу Вольтера: «все роды хороши, кромѣ скучнаго», наше время настоятельно прибавляетъ слѣдующее дополненіе: «и несовременнаго», — такъ что полное правило будетъ: «все роды хороши, кромѣ скучнаго и несовременнаго». Поэтому, мы, если не признаемъ безусловно хорошимъ всего, что имѣло огромный успѣхъ въ свое время, то во всемъ этомъ видимъ хорошія стороны, смотря на предметъ съ исторической точки. Вслѣдствіе этого, удивляясь великимъ генимъ Данте, Шекспира, Сервантеса, наше время не отрицаетъ

заслугъ Корнеля, Расина и Мольера; не становясь на колѣни передъ Ломоносовымъ, Державиннымъ, Озеровымъ, Карамзиннымъ, не видя въ нихъ слишкомъ многого для себя собственнаго, — тѣмъ съ не меньшимъ уваженіемъ произносить имена ихъ, какъ людей, чьихъ творенія, въ ихъ время, были современно хороши, т. е. удовлетворяли потребностямъ ихъ современниковъ. Чисто художественная критика, недопускающая историческаго взгляда, теперь никуда не годится, какъ односторонняя, пристрастная и неблагодарная. Художественность и теперь великое качество литературныхъ произведеній; но если при ней нѣтъ качества, заключающагося въ духѣ современности, она уже не можетъ сильно увлекать насъ. По этому, теперь посредственно - художественное произведеніе, но которое даетъ толчокъ общественному сознанію, будитъ вопросы, или рѣшаетъ ихъ, гораздо важнѣе самаго художественнаго произведенія, ничего не дающаго сознанію въ сферѣ искусства. Вообще, нашъ вѣкъ—вѣкъ рефлексіи, мысли, тревожныхъ вопросовъ, а не искусства. Скажемъ болѣе: нашъ вѣкъ враждебенъ чистому искусству, и чистое искусство невозможно въ немъ. Какъ во всѣ критическія эпохи, эпохи разложенія жизни, отрицанія стараго при одномъ предчувствіи новаго,—теперь искусство — не господинъ, а рабъ: оно служитъ постороннимъ для него цѣлямъ.

Мы сказали, что «Тарантасъ» графа Соллогуба — произведеніе художественное; но къ этому должны прибавить, что оно, въ то же время, и современное произведеніе, — что составляетъ одно изъ важнѣйшихъ его достоинствъ, которому обязано оно своимъ необыкновеннымъ успѣхомъ. Слѣдовательно, «Тарантасъ»—художественное произведеніе въ современномъ значеніи этого слова. Оттого, въ него вошли не только разсужденія между дѣйствующими лицами, но и цѣлыя диссертаціи. Оттого, оно—не романъ, не повѣсть, не очеркъ,

не трактать, не изслѣдованіе; но то и другое и третье вмѣстѣ. Пусть называетъ его каждый какъ кому угодно: тутъ дѣло въ дѣлѣ, а не въ названіи. «Тарантасъ» имѣлъ большой успѣхъ: его не только раскупили и прочли въ короткое время, но однимъ онъ очень понравился, другимъ очень не понравился, третьимъ очень понравился и очень не понравился въ одно и то же время; одни его хвалятъ безъ мѣры, другіе бранятъ безъ мѣры, третьи и хвалятъ и бранятъ вмѣстѣ; авторъ черезъ него приобрѣлъ себѣ и друзей и враговъ; о его произведеніи говорятъ, судятъ и спорятъ. Это успѣхъ! По нашему мнѣнію, незавиденъ успѣхъ произведенія, которое возбудило бы однѣ похвалы, одну любовь, безъ порицаній, безъ ненависти; подобный успѣхъ немногимъ лучше полного неуспѣха, т. е. когда произведеніе возбуждаетъ одну брань безъ похвалы, — хотя то и другое все-таки лучше, нежели не возбудить ни похвалы, ни брани, а встрѣтить одно равнодушное невниманіе.

Этотъ-то необыкновенный успѣхъ «Тарантаса» и налагаетъ на критику обязанность — разсмотрѣть его внимательно, со всѣхъ сторонъ. Для этого необходимо прослѣдить все развитіе этого произведенія, безпрестанно выражаясь словами автора, или прибѣгая къ выпискамъ. Такой способъ критики нисколько не опасенъ для «Тарантаса», какъ книги: онъ упредилъ нашу статью слишкомъ тремя мѣсяцами, а въ это время его уже вездѣ прочли, и едвали найдется хотя одинъ читатель, который прочелъ бы нашу статью, еще не успѣвъ прочесть «Тарантаса».

Русская литература, къ чести ея, давно уже обнаружила стремленіе — быть зеркаломъ дѣйствительности. Мысль изобразить въ романѣ героя нашего времени не принадлежитъ исключительно Лермонтову. Евгеній Онѣгинъ тоже — герой своего времени; но и самъ Пушкинъ былъ упрежденъ въ этой мысли, не будучи ни кѣмъ упрежденъ въ искусствѣ и совер-



шесть ея выполненія. Мысль эта принадлежит Карамзину. Онъ первый сдѣлалъ не одну попытку для ея осуществленія. Между его сочиненіями есть неконченный, или, лучше сказать, только что начатый романъ, даже и названный «Рыцарь Нашего Времени». Это былъ вполнѣ «герой того времени». Назывался онъ Леонъ, былъ красавецъ и чувствительный мечтатель. «Любовь питала, согрѣвала, тѣшила, веселила его; была первымъ впечатлѣніемъ его души, первою краскою, первою чертою на бѣломъ листѣ ея чувствительности». Онъ и родился не такъ, какъ родятся нынче, а совершенно романически, совершенно въ духѣ своего времени. Судите сами по этому отрывку: «На луговой сторонѣ Волги, тамъ, гдѣ впадаетъ прозрачная рѣка Свѣга, и гдѣ, какъ извѣстно по исторіи Натальи боярской дочери, жилъ и умеръ изгнанникомъ невинный бояринъ Любославскій, — тамъ, въ маленькой деревенькѣ, родился прадѣдъ, дѣдъ, отецъ Леоновъ; тамъ родился и самъ Леонъ, въ то время, когда природа, подобно любезной кокеткѣ, сидящей за туалетомъ, убиралась, наряжалась въ лучшее свое весеннее платье; бѣлилась, румянилась... весенними цвѣтами; смотрѣлась въ зеркало... водъ прозрачныхъ, и завивала себѣ кудри... на вершинахъ древесныхъ — то-есть, въ маѣ мѣсяцѣ, и въ самую ту минуту, какъ первый лучъ земнаго свѣта коснулся до его глазной перепонки, въ орѣховыхъ кустахъ запѣли вдругъ соловей и малиновка, а въ березовой рощѣ закричали вдругъ филинъ и кукушка: хорошее и худое предзнаменованіе! по которому осьмидесятилѣтняя повзвѣзавшая бабка, принявшая Леона на руки, съ веселою усмѣшкой и съ печальнымъ вздохомъ предсказала ему счастье и несчастье въ жизни, вѣдро и ненастье, богатство и нищету, друзей и непріятелей, успѣхъ въ любви и рога при случаѣ». Этого слишкомъ достаточно, чтобъ показать, что Карамзинъ имѣлъ бы полное право своего «Рыцаря Нашего Времени» на-

звать «Героюмъ Нашего Времени». Въ повѣсти: «Чувствительный и Холодный» (два характера). Карамзинъ, въ лицѣ своего Эраста, тоже изобразилъ одного изъ героевъ своего времени. Въ юмористическомъ очеркѣ: «Моя Исповѣдь», представилъ онъ еще одного изъ героевъ своего времени, хотя и совѣтилъ въ другомъ родѣ, нежели въ какомъ были его Леонъ и Эрастъ. Послѣ Онегина и Печорина, въ наше время никто не брался за изображеніе героя нашего времени. Причина понятна: герой настоящей минуты—лицо въ одно и то же время удивительно многосложное и удивительно неопредѣленное, тѣмъ болѣе требующее для своего изображенія огромнаго таланта. Сверхъ того, наша современность кипитъ необыкновеннымъ разнообразіемъ героевъ: въ этомъ отношеніи, Чичиковъ, какъ пріобрѣтатель, не меньше, если еще не больше Печорина—герой нашего времени. И потому, вся современная русская литература, по необходимости принявъ исключительно юмористическое направленіе, устремилась на изображеніе героевъ современности, смотря по силѣ и средствамъ таланта каждаго писателя. Иванъ Васильевичъ, герой «Тарантаса»,—тоже одинъ изъ героевъ нашего времени. Онъ до того мелокъ и ничтоженъ, что авторъ не могъ рисовать его серьезно, и съ перваго же раза выводитъ его смѣшнымъ: явный знакъ, что это одинъ изъ второстепенныхъ героевъ нашего времени. Но въ то же время, нельзя не вѣнчить графу Соллогубу въ большую заслугу, что онъ именно Ивана Васильевича, а не другаго какого-нибудь героя, выбралъ для своего юмористическаго карандаша, потому что современная дѣйствительность кишитъ такими героями, вѣрнѣе сказать, кишитъ Иванами Васильевичами...

Что такое Иванъ Васильевичъ? — Это нѣчто въ родѣ маленькаго донъ-Кихота. Чтобъ объяснить отношенія Ивана Васильевича къ настоящему, къ большому, къ испанскому

донъ-Кихоту, надо сказать нѣсколько словъ о послѣднемъ. Донъ Кихотъ — прежде всего прекраснѣйшій и благороднѣйшій человекъ, истинный рыцарь безъ страха и упрека. Несмотря на то, что онъ онъ смѣшонъ съ ногъ до головы, внутри и снаружи, — онъ не только не глупъ, но, напротивъ, очень уменъ; мало этого: онъ истинный мудрецъ. Потому ли, что такова уже натура его, или отъ воспитанія, отъ обстоятельствъ жизни, — но только фантазія взяла у него верхъ надъ всѣми другими способностями и сдѣлала изъ него шута и посмѣшище народовъ и вѣковъ. Отъ чтенія вздорныхъ рыцарскихъ сказокъ, у него, по русской пословицѣ, умъ за разумъ зашелъ. Живя совершенно въ мечтѣ, совершенно внѣ современной ему дѣйствительности, онъ лишился всякаго такта дѣйствительности и вздумалъ сдѣлаться рыцаремъ въ такое время, когда на землѣ не осталось уже ни одного рыцаря, а волшебникамъ и чудесамъ вѣрила только тупая чернь. И онъ свято выполнялъ свой обѣтъ — защищать слабыхъ противъ сильныхъ, остался вѣренъ своей воображаемой Дульциней, несмотря на всѣ жестокія разочарованія, которымъ подвергала его совѣтъ нерыцарская дѣйствительность. Еслибъ эта храбрость, это великодушіе, эта преданность, еслибъ всѣ эти прекрасныя, высокія и благородныя качества были употреблены на дѣло, во время и ксати, — донъ-Кихотъ былъ бы истинно великимъ человекомъ! Но въ томъ-то и состоитъ его отличие отъ всѣхъ другихъ людей, что сама натура его была парадоксальная, и что никогда не увидѣлъ бы онъ дѣйствительности въ ея настоящемъ образѣ и не употребилъ бы ксати, во время и на дѣло богатыхъ сокровищъ своего великаго сердца. Родись онъ во времена рыцарства, — онъ навѣрное устремился бы на уничтоженіе его, и еслибы узналъ о существованіи древняго міра, сталъ бы корчить изъ себя Грека, или Римлянина. Но какъ не было уже и слѣдовъ рыцарства, когда онъ родился, то рыцар-

ство сдѣлалось точкою его помѣшательства, его *idée fixe*. Когда ему случалось выходить на минуту изъ этой мысли, онъ удивлялъ всѣхъ своимъ умомъ, здравымъ смысломъ, говорилъ какъ мудрецъ. Даже, когда мистификація сильныхъ людей осуществила мечты его рыцарскихъ стремленій, — онъ, въ качествѣ судьи, обнаружилъ не только великій умъ, но даже мудрость. И между тѣмъ, въ сущности, онъ тѣмъ не менѣе былъ сумасшедшій, шутъ, посмѣшище людей... Мы не беремся примирить это противорѣчіе; но для насъ ясно, что такіа парадоксальныя натуры не только не рѣдки, но даже очень часты вездѣ и всегда. Онѣ умны, но только въ сферѣ мечты; онѣ способны къ самоотверженію, но за призракъ; онѣ дѣятельны, но изъ пустяковъ; онѣ даровиты, но бесплодно; имъ все доступно, кромѣ одного, чтѣ всего важнѣе, всего выше — кромѣ дѣйствительности. Онѣ одарены удивительною способностію породить изъ себя нелѣпую идею и увидѣть ея подтвержденіе въ наиболѣе противорѣчащихъ ей фактахъ дѣйствительности. Чѣмъ нелѣпѣе запавшая имъ въ голову идея, тѣмъ сильнѣе пьютъ онѣ отъ нея, и на всѣхъ трезвыхъ смотрятъ какъ на пьяныхъ, какъ на сумасшедшихъ, какъ на безумныхъ, а иногда даже какъ на людей безнравственныхъ, злонамѣренныхъ и вредныхъ. Донъ-Кихоть — лицо въ высшей степени типическое, родовое, которое никогда не переведется, никогда не устарѣетъ, — и въ этомъ-то обнаружилась вся великость генія Сервантеса. Развѣ изувѣръ по убѣжденію, въ наше время, не донъ-Кихоть? Развѣ не донъ-Кихоты — эти безумные бонапартисты, которыхъ только смерть герцога рейхштадскаго заставила разстаться съ мечтою о возможности возстановленія имперіи во Франціи? Развѣ не донъ-Кихоты — нынѣшніе легитимисты, нынѣшніе ультрамонтанисты, нынѣшніе тори въ Англіи? А этотъ нѣкогда великій мыслитель, который, въ молодости, далъ такое сильное движеніе развитію человеческой мы-

сли, а въ старости вздумалъ разыграть роль какого-то самозваннаго пророка, этотъ Шеллингъ однимъ словомъ, — развѣ онъ не донъ-Кихотъ? Къ особеннымъ и существеннымъ отличіямъ донъ-Кихотовъ отъ другихъ людей, принадлежитъ способность къ чисто-теоретическимъ, книжнымъ, внѣ жизни и дѣйствительности почерпнутымъ убѣжденіямъ. Есть люди, по мнѣнію которыхъ не только Атилла, самъ Адамъ былъ Славянинъ... это ли не донъ-кихотство?... Другимъ не нравится созданная Петромъ Великимъ Россія, и они, съ горя, видно, мечтаютъ о реставраціи блаженной эпохи, когда за употребленіе табака рѣзали носы; другіе идутъ далѣе, и хотятъ реставраціи Руси до нашествія Татаръ, а третьи желаютъ о возвращеніи въ XIX вѣкъ Руси Гостомысловскихъ временъ, т. е. Руси баснословной... Это ли еще не донъ-кихотство?... А между тѣмъ, послушайте-ка этихъ господъ: если вы не согласитесь съ ними, они вамъ скажутъ, что вы отстали отъ вѣка, что вы невѣжда. апостать, человѣкъ безнравственный, вредный...

Теперь обратимся къ Ивану Васильевичу. Это донъ-Кихотъ маленькій, донъ-Кихотъ въ миньятюрѣ. У испанскаго донъ-Кихота достало души, чтобъ осуществить на дѣлѣ свою мечту, и великодушно пожертвовать ей всѣмъ существомъ своимъ. Только на смертномъ одрѣ понялъ онъ, что онъ — не донъ-Кихотъ, а мирный манчскій помѣщикъ... У Ивана Васильевича стало силы воли только на то, чтобъ отъ Москвы до села Мордасъ, провезти, въ чужомъ тарантасѣ, бѣлую тетрадь, назначенную для путевыхъ замѣтокъ. Иванъ Васильевичъ въ мужикѣ нашелъ идеалъ русскаго человѣка, и хотѣлъ даже дворянъ нарядить въ костюмъ очень похожій на мужицкій, за исключеніемъ жолтыхъ сафьянныхъ сапожекъ (собственного его, Ивана Васильевича изобрѣтенія), — а между тѣмъ, самъ скорѣе рѣшился бы умереть, нежели на одну складку отступить отъ моднаго парижскаго костюма. Такихъ микроскопическихкихъ

донъ-Кихотовъ въ наше время развелось на Руси многое множество. Всѣ они, за исключеніемъ незначительныхъ, разнообразныхъ оттѣнковъ, похожи одинъ на другаго, какъ двѣ капли воды. Всѣ—они люди добрые, умные, сочувствующіе всему прекрасному и высокому, любятъ разсуждать и спорить о Байронѣ и о матеряхъ важныхъ, страшные либералы, и, въ дополненіе ко всему этому, прегустѣйшіе и прескучнѣйшіе люди. Но мы оставимъ ихъ въ сторонѣ и обратимся наконецъ исключительно къ ихъ достойному представителю — къ Ивану Васильевичу.

Иванъ Васильевичъ — одинъ изъ тѣхъ червячковъ, которые имѣютъ свойство блестѣть въ темнотѣ. Въ глуши провинціи, вы обрадовались бы, какъ неожиданному счастью, знакомству съ такимъ человѣкомъ; даже въ столицѣ, куда вы недавно пріѣхали и всему чужды, вы поздравили бы себя съ подобнымъ знакомствомъ. Сначала вы очень полюбили бы Ивана Васильевича и не могли бы довольно нахвалиться имъ; но скоро вы съ удивленіемъ замѣтили бы, что въ немъ ничего не обнаруживается новаго, что онъ весь высказался и выказался вамъ, что вы его выучили наизусть, и что онъ сталъ вамъ скученъ, какъ книга, которую вы, за неимѣніемъ другихъ, сто разъ перечли и наизусть знаете. Сначала, вамъ покажется, что онъ добръ, даже очень добръ; но потомъ вы увидите, что эта доброта въ немъ—совершенно отрицательное достоинство, въ которомъ больше отсутствія зла, нежели положительнаго присутствія добра, что эта доброта похожа на мягкость, свидѣтельствующую объ отсутствіи всякой энергіи воли, всякой самостоятельности характера, всякаго рѣзкаго и опредѣленнаго выраженія личности. И тогда вы поймете, что доброта Ивана Васильевича, тѣсно связана въ немъ съ безсиліемъ на зло. Сначала, вамъ покажется, что онъ уменъ, даже очень уменъ; вы и потомъ никогда не скажете, чтобъ онъ былъ глупъ, потому что

это была бы вопіющая неправда; но вы скоро замѣтите, что умъ его — ограниченный, легкій и поверхностный, который не способенъ долго и постоянно останавливаться на одномъ предметѣ, неспособенъ къ сомнѣнію и его мукамъ и борьбѣ. Тогда вы поймете, что его умъ чисто страдательный, т. е. способный раздражаться и приходить въ дѣятельность отъ чужихъ мыслей, но неспособный самъ родить никакой мысли, ничего понять самостоятельно, оригинально, неспособный даже усвоить себѣ ничего чужаго. Такъ же скоро исчезнетъ и ваше мнѣніе о его талантахъ — и исчезнетъ тѣмъ скорѣе, чѣмъ больше вы въ нихъ видѣли. Если вы и замѣтите въ немъ способность къ чему-нибудь, то скоро увидите, что она служить ему для того только, чтобъ все начинать, ничего не оканчивая, за все браться, ничѣмъ не овладѣвая. Но всего болѣе приобрѣлъ онъ ваше расположеніе, вашу любовь, даже ваше уваженіе — избыткомъ чувства, готоваго откликнуться на все человѣческое, и что же! съ этой-то стороны всего болѣе и долженъ потерять онъ въ вашихъ глазахъ, когда вы лучше разсмотрите и узнаете его. Его чувство такъ чуждо всякой глубины, всякой энергіи, всякой продолжительности, и между тѣмъ такъ легко воспламеняется и проходить, не оставляя слѣда, что оно похоже больше на нервическую раздражительность, на чувствительность (*susceptibilité*), нежели на чувство. Умъ, сердце, дарованія, словомъ, вся натура Ивана Васильевича такъ устроена, что онъ неспособенъ понять ничего такого, чего не испыталъ, не видѣлъ, и потому его могутъ беспокоить или радовать однѣ случайности, одни частные факты, на которые ему приходится наткаться. Слѣдствіе занимаетъ его безъ причины, явленія останавливаютъ его вниманіе, но идея всегда проходитъ мимо его, такъ что онъ и не подозреваетъ ея присутствія. Онъ не можетъ жить безъ убѣжденій и гоняется за ними; впрочемъ, ему легко имѣть ихъ, потому что въ сущности ему все равно, чему бы не вѣрить, лишь

бы вѣрить. Когда чье-нибудь рѣзкое возраженіе, или какой-нибудь фактъ разобьетъ его убѣжденіе, — въ первую минуту ему какъ-будто больно оттого, но въ слѣдующую за тѣмъ минуту, онъ или самъ сочинить себѣ новое убѣжденіе, или возьметъ на прокатъ чужое, и на этомъ успокоится. Сильное сомнѣніе и его муки чужды Ивану Васильевичу. Умъ его — парадоксальный и бросается или на все блестящее, или на все странное. Что дважды-два — четыре, это для него истина пошлая, грустная, и потому во всемъ онъ старается изъ двухъ, умноженныхъ на два, сдѣлать четыре съ половиною, или съ четвертью. Простая истина невыносима ему, и, какъ всѣ романтики и страдательно-поэтическія натуры, онъ предоставляетъ ее людямъ съ холоднымъ умомъ, безъ сердца. Во всемъ онъ видитъ только одну сторону, — ту, которая прежде бросится ему въ глаза, и изъ-за нея ужъ никакъ не можетъ видѣть другихъ сторонъ. Онъ хочетъ во всемъ встрѣчать одно, и голова его никакъ не можетъ мирить противоположностей въ одномъ и томъ же предметѣ. Такъ, напримѣръ, во Франціи, онъ увидѣлъ борьбу корыстныхъ расчетовъ и мелкихъ интригъ — и съ тѣхъ поръ Франція, его прежній идеалъ, во все перестала существовать для него... Онъ неспособенъ понять, что добро и зло идутъ ѓ-бокъ, и что безъ борьбы добра со зломъ не было бы движенія, развитія, прогресса, словомъ, — жизни; что историческое лицо можетъ въ одно и то же время дѣйствовать и по искреннему убѣжденію и по самолюбію, и что исторія — говоря метафорически — есть гумно, на которомъ цепями анализа отдѣляются зерна отъ мякины человѣческихъ дѣяній, и что количество мякины, хотя бы и превосходящее количество зеренъ, никогда не можетъ уничтожить цѣны и достоинства самихъ зеренъ. Нѣтъ, ему давайте или одно бѣлое, или одно черное, но тѣней и разнообразія красокъ онъ не любитъ. Для него не существуютъ люди такъ, какъ они



суть: онъ видитъ въ нихъ или демоновъ, или ангеловъ. Все это происходитъ отъ бѣдности его натуры, рѣшительно неспособной ни къ убѣжденіямъ, ни къ страстямъ, способной только къ фантазіямъ и чувствованіямъ. А между тѣмъ, съ тѣхъ поръ, какъ только началъ онъ себя поминать, онъ смотрѣлъ на себя, какъ на человѣка, отмѣченнаго перстомъ провидѣнія, назначеннаго къ чему-то великому, или, по крайней мѣрѣ, необыкновенному... Это очень обыкновенное явленіе въ обществахъ неустановившихся, полуобразованныхъ, гдѣ все пестро, гдѣ невѣжество идетъ рядомъ съ знаніемъ, образованность съ дикостью. Въ такомъ обществѣ, всякому человѣку, который обнаруживаетъ какое-нибудь стремленіе, или хотя просто претензіи на образованность, который живетъ не всѣмъ такъ, какъ всѣ живутъ, и любитъ разсуждать, — всякому такому человѣку легко увѣрить себя (и притомъ очень искренно) и другихъ, что онъ — гениальный человѣкъ. Если же, при этомъ, онъ не глупъ и не тупъ, одаренъ способностью легко схватывать со всего вершки, много читаетъ, обо всемъ говорить съ жаромъ и рѣшительно, бранить толпу, да собирается путешествовать, или уже и путешествовалъ — то онъ гений, непремѣнно гений! Вслѣдствіе этого, онъ всю жизнь къ чему-то говится... Прежде, Иваны Васильевичи носились съ своими непонятными толпѣ внутренними страданіями, восторгами и разочарованіями, корчили изъ себя Фаустовъ, Манфредовъ, корсаровъ; теперь мода на эти глупости проходитъ, — и потому Иваны Васильевичи теперь пустились изучать Западъ и Россію, чтобъ разгадать будущность отечества и узнать, чѣмъ они могутъ быть ему полезны. Въ томъ и другомъ случаѣ, главную роль играетъ непомѣрное самолюбіе бѣдной натуры; самолюбіе — единственная страсть такихъ людей. Прежде Иваны Васильевичи съ истинно-гениальнымъ самоотверженіемъ доходили до грустнаго убѣжденія, что толпѣ не понять ихъ,

и что имъ нечего дѣлать на землѣ; теперь это сдѣлалось пошло, и потому теперь Иваны Васильевичи рѣшились убѣдиться, что Западъ гніетъ...

Вотъ нашъ взглядъ на Ивана Васильевича, какъ на лицо, на характеръ. Когда мы прослѣдимъ нить событій, развивающихся въ «Тарантасѣ», — читатели увидятъ сами, до какой степени вѣренъ нашъ взглядъ. Но прежде, намъ надобно сказать, что авторъ «Тарантаса» очень умно и ловко далъ своему маленькому донъ-Кихоту спутника, — не Санчо-Пансу, а олицетворенный непосредственный здравый смыслъ, въ лицѣ Василія Ивановича, медвѣдеобразнаго, но весьма почтеннаго казанскаго помѣщика. Иванъ Васильевичъ — непризванный, самозванный геній, питающій реформаторскія намеренія на счетъ толпы; Василій Ивановичъ — толпа, которая своимъ пошлымъ здравымъ смысломъ обиваетъ восковыя крылья самозванному генію. Здравый смыслъ толпы кажется пошлымъ истинному генію и, рано или поздно, падаетъ во прахъ передъ его высокимъ безуміемъ; но онъ — бичъ самолюбивой посредственности, и немилосердно бьетъ ее, даже иногда самъ не зная, какъ и чѣмъ. Таковы отношенія другъ къ другу обоихъ героевъ «Тарантаса». Первую и главную роль играетъ, безъ сомнѣнія, Иванъ Васильевичъ; но Василій Ивановичъ необходимъ для Ивана Васильевича: безъ перваго, послѣдній не былъ бы такъ опредѣлительно, ярко, рельефно обрисованъ, — извѣстно, что ничто такъ рѣзко не выказываетъ вещи, какъ противоположность. Въ нравственномъ отношеніи, между Иваномъ Васильевичемъ и Василіемъ Ивановичемъ существовала такая же противоположность, какъ и между героями извѣстной повѣсти Гоголя: у одного голова похожа на рѣдку хвостомъ внизъ; у другаго — на рѣдку хвостомъ вверхъ. Впрочемъ, нельзя рѣшить, кто изъ нихъ правъ и съ кѣмъ изъ нихъ должно соглашаться; мы даже думаемъ, что, въ дѣйствительности, истинно дѣльный человекъ

убѣжить отъ того и другаго: отъ одного, какъ отъ неуклюжаго, косолапаго медвѣдя, — отъ другаго, какъ отъ крикливаго ученаго попугая. Но книга — не жизнь; въ книгѣ можно съ кѣмъ угодно ужиться, въ книгѣ очень милы даже и герои «Ревизора». И потому, мы не убѣжимъ отъ Ивана Васильевича и Василя Ивановича, а напротивъ побѣжимъ къ нимъ. Они очень интересны для изученія, а изучать ихъ можно только обоимъ вмѣстѣ. Итакъ, къ нимъ, — но не на Тверской-бульваръ въ Москвѣ, гдѣ они встрѣтились, даже не въ тарантасъ, въ которомъ они ѣхали, а въ ихъ деревни — посмотримъ, какъ они родились, выросли и стали такими, какими встрѣчаетъ ихъ читатель на Тверскомъ-бульварѣ, въ первой главѣ «Тарантаса».

Итакъ, мы начнемъ даже и не съ середины, а чуть ли не съ конца—съ XV и XVI главъ, отъ которыхъ уже перейдемъ къ первой главѣ. Начнемъ, какъ это сдѣлалъ и самъ авторъ, съ медвѣдя:

«Василій Ивановичъ родился въ Казанской губерніи, въ деревнѣ Мордасахъ, въ которой родился и жилъ его отецъ, въ которой и ему было суждено и жить и умереть. Родился онъ въ восьмидесятыхъ годахъ и мирно развивался подъ сѣнью отеческаго крова. Ребенку было привольно расти. Бѣгалъ онъ весело по господскому двору, погоняя кнутикомъ трехъ мальчишекъ, изображающихъ тройку лошадей и поспѣвая весьма порядочно пристяжныхъ, когда онъ недостаточно закидывали головы на сторону. Любилъ онъ также тѣшить вѣчный свой досугъ чуркомъ, бабками, свайкой и городками; но главное основаніе системы его воспитанія заключалось въ голубятнѣ. Василій Ивановичъ провелъ лучшія минуты своего дѣтства на голубятнѣ, сманивалъ и ловилъ крестьянскихъ чистыхъ голубей и приобрѣлъ весьма обширныя свѣдѣнія касательно козырныхъ и турмановъ.

Отецъ Василя Ивановича, Иванъ Федотовичъ, имѣлъ какъ-то несчастье испортить себѣ въ молодости желудокъ. Такъ какъ по близости доктора не обрѣталось, то какой-то сосѣдъ присовѣтовалъ ему прибѣгнуть для поправленія здоровья къ постоянному употребленію травничка. Иванъ Федотовичъ до того пристрастился къ своему способу леченія, до того усиливалъ пріемы, что скоро приобрѣлъ въ околodѣ весьма недиковинную славу чловѣка пьющаго-запоємъ. Со-временемъ, барскій запой сдѣлался постояннымъ, такъ что каждаго день утромъ, аккуратно въ десять часовъ, Иванъ Федотовичъ съ хозяй-

ской точностью былъ уже немножко подшефе, а въ одиннадцать совершенно пьянъ. А какъ пьяному человѣку скучно одному, то Иванъ Федотовичъ окружилъ себя дурами и дураками, которые и услаждали его досуги. Торговалъ онъ, правда, себѣ карлу, но карла пришлось слишкомъ дорого, и былъ тогда же отправленъ въ Петербургъ къ какому-то вельможѣ. Надлежало, слѣдовательно, довольствоваться взрослыми глупцами и уродами, которыхъ одѣвали въ затрапезныя платья съ красными фигурами и заплаты на спинѣ, съ рогами, хвостами и прочими смѣшными украшеніями. Иногда морили ихъ голодомъ для смѣха, били по носу и по щекамъ, травили собаками, кидали въ воду и вообще употребляли на всѣ возможные забавы. Въ такихъ удовольствіяхъ проходилъ цѣлый день, и когда Иванъ Федотовичъ ложился почивать, пьяная старуха должна была разсказывать ему сказки, оборванные казаки щекотали ему легонько пятки и обгоняли кругомъ его мухъ. Дураки должны были ссориться въ уголку и отнюдь не спать или утомляться, потому что кучеръ вдругъ прогонялъ дремоту и оживлялъ ихъ бесѣду звонкимъ прикосновеніемъ арапника.

Мать Василя Ивановича, Арина Аникимовна, имѣла тоже свою дуру, но ужъ больше для приличія и, такъ сказать, для штата. Она была женщина серьезная и скупая, не любила заниматься пустяками. Она сама смотрѣла за работами, знала кого выдрать и кому водки поднести, присутствовала при молотбѣ, свидетельствовала на мельницѣ закормы, надсматривала ткацкую, мушницъ приказывала наказывать при себѣ, а женщинъ иногда и сама трепала за косу. Само собой разумѣется, что кругомъ ея образовалась цѣлая куча разностепенной дворни, приживалокъ, наущницъ, кумушекъ, нанекъ, дѣвокъ, которыя, какъ водится, цаловали у Василя Ивановича ручку, кормили его тайкомъ медомъ, пили бражкой и угождали ему всячески, въ ожиданіи будущихъ благъ.

Говоря о такомъ произведеніи, какъ «Тарантасъ», нѣтъ никакой возможности избѣжать выписокъ, и частыхъ и довольно длинныхъ; у какого рецензента поднимется рука—пересказывать своими словами, на примѣръ, содержаніе сейчасть выписаннаго нами отрывка, заключающаго въ себѣ такую вѣрную, такъ мастерски написанную картину русскаго семейства? Здѣсь не знаешь, чему больше удивляться въ авторѣ: глубокому ли его знанію дѣйствительности, которую онъ изображаетъ, или его мастерству изображать! Но обратимся къ Василю Ивановичу. Онъ росъ себѣ, говоритъ авторъ, по простымъ законамъ природы, какъ растетъ капуста, или горохъ. Десяти лѣтъ

началъ онъ учиться у дьячка грамотѣ, и два года долбилъ азы; писать онъ выучился прескверно, и кончилъ свой курсъ наукъ катихизисомъ и ариметикою въ вопросахъ и отвѣтахъ. Кромѣ дьячка, у него былъ еще учителемъ отставной унтеръ-офицеръ, изъ Малороссiянъ, Вухтичъ.

•Получалъ онъ (Вухтичъ) жалованья шестьдесятъ рублей въ годъ, да отсыпной муки по два пуда въ мѣсяцъ, да изношенное платье съ барскаго плеча и нѣчто изъ обуви. Кромѣ того, такъ какъ платья было не много, потому что Иванъ Федотовичъ вѣчно ходилъ въ халатъ, то Вухтичу было еще предоставлено въ утѣшеніе держать свою корову на господскомъ корнѣ. Василій Ивановичъ мало оказывалъ почтенія учителю, ѣздилъ верхомъ на его спинѣ, дразнилъ его языкомъ и нерѣдко швырялъ ему книгой прямо въ носъ. Если же терпѣливый Вухтичъ и выйдетъ, бывало, наконецъ изъ терпѣнія и схватится за линейку, Василій Ивановичъ кувыркомъ побѣжитъ жаловаться татинкѣ, что учитель его такой, сякой, бьетъ-де его палкой и бранить его дурными словами. Татинька съ-пьяна раскричится на Вухтича. «Ахъ, ты, сѣдой этакой пестъ, я тебя кормлю и одѣваю, а ты у меня въ дому шумѣть задумалъ. Вотъ я тебя... смотри по шеемъ вею выпроводить. Не давай коровѣ его сѣна...» А кумушки и приживалки окружать Василія Ивановича и начать его утѣшать... Ненаглядное ты наше красное солнышко, свѣтъ наша радость, баринъ вы нашъ, позвольте ручку поцаловать... Не слушайтесь, ягода, золотой вы нашъ, хохла поганого. Онъ мужикъ, нашъ братъ... Гдѣ ему знать какъ съ знатыми господами обиходъ имѣть...

«—Что жъ въ самомъ дѣлѣ, думалъ Вухтичъ, не ходить же по міру... Заключениемъ всего этого было то, что Вухтичъ женился на дворовой дѣвкѣ, получилъ въ награжденіе двѣ десятины земли и воспитаніе Василія Ивановича было окончено» (стр. 177).

Изобразивъ съ такою поразительною вѣрностью «воспитаніе» Василія Ивановича и сказавъ, что даже и оно не испортило его доброй натуры,—авторъ удивляется тому, что всѣ наши дѣды и прадѣды воспитывались такъ же, какъ и Василій Ивановичъ, а между тѣмъ не въ примѣръ намъ были отличнѣйшіе люди, съ твердыми правилами, — чтò особенно доказывается тѣмъ, что они «крѣпко хранили, не по логическому убѣжденію, а по какому-то странному (?) внушенію (?) любовь ко всѣмъ нашимъ отечественнымъ постановленіямъ» (стр. 179).

Здѣсь авторъ что-то темновато разсуждаетъ; но, сколько можемъ мы понять, подъ отечественными постановленіями онъ разумѣетъ старые обычаи, которыхъ наши дѣды и прадѣды, дѣйствительно, крѣпко держались. Кому не извѣстно, чего стоило Петру-Великому сбрить бороду только съ малѣйшей части своихъ подданныхъ? Впрочемъ, добродѣтель, которая возбуждаетъ такой энтузіазмъ въ авторѣ «Тарантаса», и которая заключается въ крѣпкомъ храненіи старыхъ обычаевъ, — именно изъ того и вытекала, что наши дѣды и прадѣды, какъ говоритъ графъ Соллогубъ, «были точно люди не грамотные» (стр. 179). Мы не можемъ прійти въ себя отъ удивленія, не понимая, чему же авторъ тутъ удивляется... Эта добродѣтель и теперь еще сохранилась на Руси, именно — между старобрядцами разныхъ толковъ, которые, какъ извѣстно, въ грамотѣ очень несильны. Китайцы тоже отличаются этою добродѣтью, именно потому, что они, при своей грамотности, ужасные невѣжды и обскуранты. Но еще больше Китайцевъ отличаются этою добродѣтью безчисленныя породы безсловесныхъ, которыя совсѣмъ неспособны знать грамотѣ, и которыя до сихъ поръ живутъ точь въ точь, какъ жили ихъ предки съ перваго дня созданія. Вотъ, еслибы авторъ «Тарантаса» нашелъ гдѣ-нибудь людей просвѣщенныхъ и образованныхъ, но которые крѣпко держатся старыхъ обычаевъ, и удивился бы этому, — тогда бы мы нисколько не удивились его удивленію и вполне раздѣлили бы его...

Мы не будемъ говорить, какъ Василій Ивановичъ служилъ въ Казани, плясалъ на одномъ балу казачка и влюбился въ свою даму; но мы не можемъ пропустить рацеи его «дражайшаго родителя», въ отвѣтъ на «покорнѣйшую» просьбу «послушнѣйшаго» сына о благословеніи на бракъ: «Вишь, шенокъ, что затѣялъ; еще на губахъ молоко не обсохло, а ужъ о бабѣ думаетъ». Отъ матери онъ услышалъ то же самое. Воля мужа

была ей закономъ. Даромъ, что пьяница, думала она, а все-таки мужъ. При этомъ, авторъ не могъ удержаться отъ восклицанія: «такъ думали въ старину!» Хорошо думали въ старину! прибавимъ мы отъ себя. Когда милый «тятенька» Василія Ивановича умеръ отъ сивухи, добрые его крестьяне горько о немъ плакали: картина была умилительная... Авторъ очень остроумно замѣчаетъ, что «любовь мужика къ барину есть любовь врожденная и почти неизъяснимая»: мы въ этомъ столько же увѣрены, какъ и онъ... Наконецъ, Василій Ивановичъ женился и поѣхалъ въ Мордасы; на границѣ помѣстья, всѣ мужики, «стоя на колѣняхъ», ожидали молодыхъ съ хлѣбомъ и съ солью. «Русскіе крестьяне» говоритъ авторъ «не кричатъ виватовъ, не выходятъ изъ себя отъ восторга, но тихо и трогательно выражаютъ свою преданность; и жалокъ тотъ, кто видитъ въ нихъ только лукавыхъ, безсловесныхъ рабовъ, и не вѣруетъ въ ихъ искренность». Объ этомъ предметѣ мы опять думаемъ точно такъ же, какъ самъ авторъ. Еслибъ Василій Ивановичъ спросилъ у своего старосты, отчего крестьяне такъ радуются, — староста, навѣрное отвѣтилъ бы:

. . . . . они  
На радости, тебя увидя, пляшутъ.

Послѣ этого, Василій Ивановичъ сдѣлался, какъ и слѣдовало отъ такого воспитанія и такихъ примѣровъ, предобродѣтельнымъ помѣщикомъ. Онъ поправилъ мужиковъ, управляя ими по «русской методѣ», безъ агрономическихъ и филантропическихъ усовершенствованій. Учитъ сына поручилъ уже не дьячку, а семинаристу. Старые сосѣди говорили о Василіи Ивановичѣ, что онъ — «продувная шельма», а молодые, что онъ — «пошлый дуракъ»; но въ сущности онъ былъ — добродѣтельный помѣщикъ села Мордасъ, въ которомъ пока и оставимъ его, чтобъ захватить въ сосѣдную деревню — къ родителямъ Ивана Васильевича.

Иванъ Васильевичъ родился черезъ тридцать лѣтъ послѣ Василя Ивановича. Это даетъ намъ надежду, что авторъ представитъ намъ совсѣмъ другую картину воспитанія, въ которой будетъ видѣнъ прогрессъ цѣлыхъ тридцати лѣтъ — огромнаго періода времени для Россіи, которая такъ быстро развивается. Василій Ивановичъ родился въ восьмидесятихъ годахъ прошлаго столѣтія; слѣдовательно, Иванъ Васильевичъ родился или около 1815 года, или немного позже. Мать его была какая-то княжна средней руки, недавняго восточнаго происхожденія, какъ говоритъ авторъ, и была помѣшана на французскомъ языкѣ. Несмотря на всѣ свои претензіи, какъ старая дѣвка безъ приданаго, она принуждена была выйти замужъ за помѣщика, который «не былъ похожъ на Малекъ-Адея или на Eugène de Rothelin, не былъ похожъ даже на лютаго тирана, а скорѣй на сурка: ѣлъ, спалъ, да рыскалъ цѣлый день по полю». Отъ этой-то достойной четы родился Иванъ Васильевичъ. Воспитаніе его поручено было французскому гувернёру. «Всѣмъ извѣстно», говоритъ авторъ, «что Французы долго мстили намъ за свою неудачу, оставивъ за собою несмѣтное количество фельдфебелей, фельдшеровъ, сапожниковъ, которые, подъ предлогомъ воспитанія, испортили на Руси едва ли не цѣлое поколѣніе» (стр. 197). Замѣчаніе энергическое и остроумное, но, во первыхъ, совсѣмъ не новое — оно уже тысячу-тысячу разъ было предметомъ посильныхъ остротъ журналовъ и нравоучительныхъ романовъ добраго стараго времени; во вторыхъ, оно едва ли основательно. Человѣку, несчастною судьбою занесенному въ чуждую страну, нечего ѣсть, а умирать съ голоду, естественно, не хочется: что жъ тутъ остричь, что онъ схватился даже и за воспитаніе, чтобъ добыть кусокъ хлѣба? Авторъ могъ бы безъ всякихъ натяжекъ обнаружить свое остроуміе на счетъ невѣждъ, которые Богъ знаетъ кому поручали воспитаніе своихъ дѣтей: все смѣшное на



сторонѣ сихъ дражайшихъ родителей. Эмигрантовъ авторъ не смѣшиваетъ съ этой саранчою: да, французскіе эмигранты, конечно, люди почтенные въ глазахъ многихъ, и мы не станемъ спорить съ этими «многими». Гувернёръ Ивана Васильевича былъ эмигрантъ. Съ удивительною ироніею, авторъ рассказываетъ намъ, какъ Иванъ Васильевичъ узналъ, что Расинъ первый поэтъ въ мірѣ, а Вольтеръ такая тьма мудрости, что и подумать страшно. Воспитаніе Ивана Васильевича, какъ и слѣдуетъ, было самое поверхностное и безтолковое, уже потому только, что его воспитывалъ человѣкъ, который случайно сдѣлался воспитателемъ. Это такъ естественно! А между тѣмъ мы далеки отъ того, чтобъ слишкомъ нападать и на родителей, поручавшихъ своихъ дѣтей такимъ воспитателямъ. Гдѣ же имъ было искать лучшихъ? Университеты русскіе тогда были совсѣмъ не то, что теперь, а ученые того времени, за слишкомъ рѣдкими исключеніями, часто казались сродни «зеленому господину» въ «Петербургскихъ Углахъ» г. Некрасова. Слѣдовательно, въ такомъ состояніи воспитанія никто не былъ виновать, и намъ кажется, что даровитый авторъ обращаетъ на воспитаніе слишкомъ исключительное вниманіе, почти вовсе упуская изъ вида натуру своего героя. Въ такомъ воспитаніи, вся надежда на добрую натуру воспитанника. Вѣдь Василій Ивановичъ, по словамъ автора, не погибъ же отъ самаго ужаснаго воспитанія, благодаря добрымъ наклонностямъ его природы? Почему же съ Иваномъ Васильевичемъ не то сбылось? А вѣдь онъ, даже и по воспитанію, имѣлъ огромныя преимущества передъ Василиемъ Ивановичемъ, потому что зналъ хотя одинъ иностранный языкъ (а это — совсѣмъ не пустяки) и имѣлъ хоть какія-нибудь познанія, какъ бы поверхностны и пусты они ни были. Будь у него добрая натура, ему не поздно было бы проснуться отъ своего ничтожества даже въ двадцать лѣтъ, и дѣльнымъ трудомъ (который для него былъ

такъ возможенъ, потому что онъ зналъ уже иностранный языкъ) воротить потерянное въ дѣтствѣ время. И какую пользу принесло бы ему путешествіе въ Европу!... Но мы сейчасъ увидимъ, какъ воспользовалась этимъ путешествіемъ слабая голова Ивана Васильевича. Авторъ самъ чувствовалъ необходимость взглянуть на натуру своего героя, но сдѣлалъ это вскользь и не совсѣмъ впопадъ: «Иванъ Васильевичъ былъ мальчикъ совершенно славянской породы, то есть лѣнливый, но бойкій» (стр. 199). Такъ; русская лѣнь—большая помѣха во всемъ русскому человѣку, но еще не непреодолимое препятствіе, и не въ ней корень зла: корень лежитъ глубже, его надо искать въ отсутствіи опредѣленнаго общественнаго мнѣнія, которое каждому указывало бы его путь, а не становило бы его на распутии, говоря: иди куда хочешь. Что же касается до Ивана Васильевича, корень зла его жизни заключался въ его слабой, ничтожной натуршкѣ, неспособной ни къ убѣжденію, ни къ страсти, и вѣчно гонявшейся за убѣжденіями и страстями не по внутренней потребности, а по самолюбію и отъ скуки. Отъ гувернёра перешелъ онъ въ одинъ частный пансіонъ въ Петербургѣ, гдѣ наблюдалась удивительная чистота, а учили вздорамъ и плохо. Иванъ Васильевичъ лѣнился и молодецествовалъ трубкою, водкою и другими пороками взрослыхъ, а на выпускномъ экзаменѣ сѣззался. Это заставило его подумать о себѣ. «Онъ почувствовалъ, что не рожденъ для безсмысленнаго разврата, а что въ немъ таится что-то живое, благородное, просящееся на свѣтъ, требующее дѣятельности, возвышающее душу». Онъ бы не прочь былъ и приняться за свое перевоспитаніе; «но какъ начать учиться, когда нѣкоторые товарищи уже титулярные совѣтники и веселятся въ свѣтъ?» А! вотъ что! Мелкая натура сказала! Ступайте-ка служить, Иванъ Васильевичъ—куда вамъ учиться! Но оказалось, что онъ не годился и въ чиновники, и потому бросилъ

службу; потомъ влюбился, — и тутъ толку не было; бросился въ свѣтъ, — и то надоѣло; хватался за поэтовъ, за науки, «принимался за все сторяча, но горячность скоро проходила; онъ утомлялся и искалъ минутнаго разсѣянiя, глупой забавы. Онъ сдѣлался истинно жалкимъ человѣкомъ, не оттого, чтобъ положенiе его было несчастливое, но оттого, что онъ ни въ чемъ не могъ принимать долго участiя, оттого, что самъ собою былъ недоволенъ, оттого, что усталъ самъ отъ самого себя». Наконецъ онъ отправился за границу. Сперва поѣхалъ Берлинъ. «Знаменитости, передъ которыми онъ готовился благоговѣть, произвели на него то же самое впечатлѣнiе, какъ кассиръ его министерства или излеровскiй маркёръ. У одной знаменитости былъ носъ толстый, у другой — бородавка на щекѣ». Вздумалъ было посѣщать лекцiи, но увидѣлъ, что безъ приготовленiя нельзя ихъ понимать. «Въ Германiи объяснилась ему тайна воспитанiя. Онъ видѣлъ, какъ здѣсь каждый человѣкъ, отъ мужика до принца, возвращается въ свой кругъ терпѣливо и систематически, не заносясь слишкомъ высоко, не падая слишкомъ низко. Онъ видѣлъ, какъ каждый человѣкъ выбираетъ себѣ дорогу и идетъ себѣ постоянно по этой дорогѣ, не заглядываясь на стороны, не теряя ни разу изъ виду своей цѣли». И жалкiй бѣднякъ, который уже своею натурою осужденъ на вѣкъ остаться духовно-малолѣтнимъ, принялся проклинать своего Француза-наставника, вмѣсто того, чтобъ ругнуть хорошенько самого себя... Потомъ онъ началъ ругать Нѣмцевъ, за то, что они дѣлнѣе его: для слабыхъ натуръ это не послѣднее средство утѣшиться въ горѣ! Но кромѣ того, вообще въ русской натурѣ — оправдываться въ своихъ недостаткахъ недостатками другихъ; одна изъ любимыхъ поговорокъ русскаго человѣка: «славны бубны за горами»...

Иванъ Васильевичъ поѣхалъ въ Парижъ. Сначала онъ увлекся шумнымъ и разнообразнымъ движенiемъ парижской

жизни, но скоро «онъ увидѣлъ собственную исторію въ огромномъ размѣрѣ: вѣчный шумъ, вѣчную борьбу, вѣчное движеніе, звонкія рѣчи, громкіе возгласы, безмѣрное хвастовство, желаніе выказаться и стать передъ другими. а на днѣ этой кипящей жизни тяжелую скуку и холодный эгоизмъ» (стр. 209). Подлинно, всякій во всемъ видитъ свое, въ оправданіе Шеллинговской системы тождества, и въ то же время въ оправданіе басни Крылова, извѣстная героиня которой, затесавшись на барскій дворъ, ничего не увидѣла тамъ, кромѣ навоза... Бѣдный Иванъ Васильевичъ! ему вездѣ и во всемъ суждено видѣть ужасную дрянь — самого себя... Нѣтъ — виноваты! — въ Италіи онъ увидѣлъ искусство, и оно освѣжило его. По крайней мѣрѣ, такъ увѣряетъ авторъ. Мы вѣримъ ему, хотя, въ то же время, вѣримъ и тому, что безъ приготовленія, безъ страсти, безъ труда и настойчивости въ развитіи чувства изящнаго въ самомъ себѣ, искусство никому не дается. Минутное раздраженіе нервовъ — еще не проникновеніе въ тайны искусства; минутное развлеченіе новыми предметами — еще не наслажденіе ими. — Авторъ увѣряетъ (стр. 210), что Италія не пала, не погибла, не схоронена, и совѣтуетъ ей не вѣрить коварнымъ словамъ, истину которыхъ она сама хорошо понимаетъ. Впрочемъ, никто не станетъ спорить, чтобъ природа Италіи, развалины и обломки ея прежней богатой жизни не были обаятельно прекрасны. Къ ней идетъ сравненіе, сказанное Байрономъ о Греціи: это прекрасная женщина, которая еще прекрасна и въ гробѣ. Но Греція воскресла, и для нея это сравненіе уже не годится.

Непріязненные толки иностранцевъ о Россіи заставили Ивана Васильевича думать о своемъ отечествѣ и полюбить его. Черта вполне достойная Ивана Васильевича! Пустота составляетъ душу этого человѣка, и въ его пустотѣ есть какое-то тревожное, суетливое стремленіе безъ всякой способности

достиженія. Въ немъ нѣтъ ничего непосредственнаго, живаго: ему нужно, чтобъ его толкали извнѣ, и только тогда можетъ онъ бросаться, на время и не надолго, то на то, то на другое. Такимъ образомъ, безъ поѣздки за границу, ему никогда не пришло бы въ голову полюбить Россію, даже никогда не вздумалось бы что земля, въ которой онъ живетъ, называется Россіею, и что онъ самъ — гражданинъ этой земли. Поэтому, какъ понятно, что и теперь, когда, благодаря путешествію, онъ полюбилъ Россію, — какъ понятно, что это—не чувство, а новая мечта его празднующейся фантазіи! «Тогда рѣшился онъ изучить свою родину основательно, и такъ какъ онъ принимался за все съ восторгомъ, то и отчизнолюбіе въ немъ загорѣлось бурнымъ пламенемъ». Возвратившись въ Россію, онъ вооружился книгой для своихъ путевыхъ впечатлѣній и очинилъ перо. Но что будетъ изъ этого? что напишетъ онъ? Что откроетъ? что скажетъ намъ? — Кажется ничего!» (стр. 212). Авторъ объясняетъ это тѣмъ, что Иванъ Васильевичъ не приученъ къ упорному труду: мы принимаемъ эту причину, но какъ одну изъ второстепенныхъ. Первая и главная причина—въ натурѣ Ивана Васильевича, неспособной ни къ убѣжденію, ни къ страсти, — въ его умѣ, неспособномъ выдерживать отрицанія и идти до послѣднихъ слѣдствій...

Теперь пойдѣмъ за нашими героями въ Москву, на Тверской бульваръ и подслушаемъ нѣкоторые отрывки изъ разговора.

— Откуда ты?

— Я былъ за границей.

— Вотъ-съ! а гдѣ, коль смѣю спросить?

— Въ Парижѣ шесть мѣсяцевъ.

— Такъ-съ.

— Въ Германіи, въ Италіи...

— Да, да, да, да... Хорошо... а коли смѣю спросить, много деньжонокъ изволилъ порастрасти?

— Какъ-съ?

— Много ли, братъ, промотыжничалъ...

— Довольно-съ.

— То-то... а батюшка-то твой, мой сосѣдъ, что скажетъ на это. Вѣдь старики-то не очень сговорчивы на дѣтское мотовство... Да и годы-то плохіе. Ты, чай, слышалъ, что у батюшки всю гречиху градомъ побилло?

— Батюшка писалъ-съ; я самъ теперь къ нему собираюсь.

— Хорошее дѣло старика утѣшить. А... смѣю спросить, какого чина!

— Такъ и есть! подумалъ молодой человѣкъ. — 12 класса, отвѣчалъ онъ запинаясь...

— Гм... не важно... а ужъ въ отставкѣ, чай?

— Въ отставкѣ.

— То-то же. Вы, молодые люди, вбили себѣ въ голову, что надо пренебрегать службой. Умны слишкомъ, изволите видѣть, стали. — А теперь, коли смѣю спросить, что вы намѣрены дѣлать-съ... Ась?

— Да я хотѣлъ бы, Василій Ивановичъ, посмотрѣть на Россію, познакомиться съ ней.

— Какъ-съ?

— Я хотѣлъ бы изучить свою родину.

— Что, что, что...

— Я намѣренъ изучить свою родину.

— Позвольте, я не понимаю... Вы хотите изучать?...

— Изучать мою родину... изучать Россію.

— А какъ это вы, батюшка, будете изучать Россію?...

— Да въ двухъ видахъ... въ отношеніи ея древности и въ отношеніи ея народности, что, впрочемъ, тѣсно связано между собой. Разбирая наши памятники, наши повѣрья и преданья, прислушиваясь ко всѣмъ отголоскамъ нашей старины, мнѣ удастся... виновать, намъ... мы, товарищи и я... мы дойдемъ до познанія народнаго духа, нрава и требованія, и будемъ знать изъ какого источника должно возникать наше народное просвѣщеніе, пользуясь примѣромъ Европы, но не принимая его за образецъ.

— По моему, сказалъ Василій Ивановичъ:—я нашелъ тебѣ самое лучшее средство изучать Россію — жениться. Брось пустяя слова, да поѣдемъ-ка, братъ, въ Казань. Чинъ у тебя небольшой, однако офицерской. Имѣніе у васъ дворянское. Партію ты легко найдешь. На невѣсть у насъ, слава Богу, урожай... Женись-ка, право, да ступай жить съ старикомъ. Пора и объ немъ подумать. — Эхъ, братъ, право — ну! Ты вѣдь думаешь, въ деревнѣ скучно? Ни чуть. По утру въ поле, а тамъ закусить, да пообѣдать, да выспаться, а тамъ къ сосѣдямъ... А именины-то, а псовая охота, а своя музыка, а ярмарка... А?... Житье, братъ... что твой Парижъ. Да главное, какъ заведется у тебя ребятишки, да родится у тебя рожъ самъ-восемь, да на гумнѣ стоило

лѣба наберется, что не успѣешь молотить, а въ карманѣ столько цѣковыхъ, что не сочтешь, такъ, по моему, ты славно будешь знать Россію. А?...»

Видите ли: не правы ли мы, сказавъ, что при этомъ минья-тюрномъ донъ-Кихотѣ, Иванѣ Васильевичѣ, авторъ назначилъ Василію Ивановичу роль не Санчо-Пансы, а олицетвореннаго здраваго смысла, который, впрочемъ, и не подозреваетъ ни мало, что онъ — здравый смыслъ? — Мало этого: Василій Ивановичъ, въ отношеніи къ Ивану Васильевичу, не только олицетворенный здравый смыслъ, но и олицетворенная иронія. Все, что ни говорилъ онъ ему, можно перевести такъ: знаемъ мы васъ, голубчики! вы и модничаете, и умничаете, и ѣздите за границу, проматываетесь и дома и на чужбинѣ, и подымаете носъ кверху передъ нами, степными медвѣдями, — а въ концѣ же тѣмъ, что сами омедвѣдитесь не лучше нашего, и въ законномъ сожителствѣ съ какою-нибудь Авдотьей Петровною, съ кучею дѣтей, разѣвшись, разоспавшись и растолстѣвъ, отъ полноты сердца будете говорить: «Въ деревнѣ скучно? Ни чуть! По утру въ поле, а тамъ закусить, да пообѣдать, да выспаться, а тамъ къ сосѣдямъ... А именины-то, а псовая охота, а своя музыка, а ярмарка... А?... Житье, братъ... что твой Парижъ!» Еслибъ Василій Ивановичъ былъ хоть немного философски образованъ, онъ могъ бы прибавить къ этому: какъ ни заносись, мой милый, а дѣйствительность возьметъ свое, — и быть тебѣ не рыцаремъ, не философомъ, не реформаторомъ, а помѣщикомъ, да еще женатымъ на какой-нибудь Авдотѣ Петровнѣ, которая смолоду болтала по-французски, а въ лѣтахъ будетъ держать дѣвичью въ страхѣ не хуже моей Авдотьи Петровны. Я же тебя знаю: ты боекъ только на словахъ, а натурка твоя жиденькая, и ты спасуешь передъ прозою жизни, даже и не попытавшись побороться съ нею!... Конечно, Василій Ивановичъ и не думалъ иронизировать, и самъ не подозревалъ глубокаго смысла своихъ словъ

но вѣдь онъ — безсознательный, непосредственный здравый смыслъ: онъ уменъ, какъ дѣйствительность, какъ природа, которая никогда не ошибается, но которая сама не знаетъ ни того, что она разумна, ни того, какъ она разумна, ни даже того, что она существуетъ... Да и зачѣмъ Василю Ивановичу сознание? онъ силенъ и безъ него — большинство, толпа, словомъ, дѣйствительность за него; а на сторонѣ Ивана Васильевича только слова и фразы. Если хотите, на дѣйствицѣ нравственнаго совершенства, послѣдній стоитъ несравненно выше перваго; но по особенному, исключительному свойству дѣйствительности, среди которой оба они живутъ, — въ сущности оба они сходятъ на нуль. Одинъ, какъ медвѣдь, мечтаетъ, идя по Тверскому-бульвару, о московскихъ удовольствіяхъ:

«Въ самомъ дѣлѣ, какъ подумаешь, Англійскій клубъ, Нѣмецкій клубъ, Коммерческій клубъ, и все столы съ картами, къ которымъ можно присѣсть, чтобъ посмотреть, какъ люди играютъ большую и малую игру. А тамъ лото, за которымъ сидятъ помѣщики, и бильярдъ съ усатыми игроками и шутовскими маркёрами. Что за раздолье!... а цыгане-то, а комедіи-то, а медвѣжья травля меделянскими мордашками у Рогожской Заставы, а гулянье за городомъ, а театр-то, театръ, гдѣ пляшутъ такіе красавицы, и ногами такіе вензеля выдѣлываютъ, что просто глазамъ не вѣришь...»

Другой, какъ попугай, мечтаетъ о парижскихъ удовольствіяхъ:

«Господи, Боже мой, какъ жаль, что такъ мало здѣсь движенія и жизни... Nel furor!... то ли дѣло Парижъ... della tempesta. Ахъ, Парижъ, Парижъ! Гдѣ твои гризетки, твои театры и балы Мюзара ... Nel furor. Какъ вспомнишь: Лаблашъ, Гризи, Фанни Эльслеръ, а здѣсь только что спрашиваютъ, какой у тебя чинъ. Скажешь: губернской секретарь — никто на тебя и смотреть не хочетъ... della tempesta!...»

Что за странная пустота, что за странное ничтожество въ чувствахъ этихъ двухъ представителей двухъ вѣковъ!...

Мы не будемъ распространяться о дивномъ экипажѣ, по имени котораго названо новое сочиненіе графа Соллогуба, о



сундукахъ , сундучкахъ , коробкахъ , коробочкахъ , боченкахъ , которыми этотъ экипажъ загроможденъ и увязанъ снаружи , о перинахъ , тюфякахъ , подушкахъ , которыми онъ заваленъ внутри : скажемъ только , что талантъ автора неподражаемъ въ отношеніи всѣхъ этихъ подробностей . Тарантасъ готовъ двинуться ; наконецъ явился и Иванъ Васильевичъ .

«Воротникъ его макинтоша былъ поднятъ выше ушей ; подъ мышкой былъ у него небольшой чемоданчикъ , а въ рукахъ держалъ онъ шелковый зонтикъ , дорожный мѣшокъ со стальнымъ замочкомъ и прекрасно переплетенную въ коричневый сафьянъ книгу со стальными застѣжками и тонко очиненнымъ карандашомъ .

— А , Иванъ Васильевичъ ! сказалъ Василій Ивановичъ . — Пора , батюшка . Да гдѣ же кладъ твой ?

— У меня ничего нѣтъ больше съ собой .

— Эва ! да ты , братъ , эдакъ въ мѣшкѣ-то своемъ замерзнешь . Хорошо , что у меня есть лишній тулупчикъ на залячемъ мѣху . Да-бишь , скажи , пожалуйста , что подѣ тебя подложить , перину , или тюфякъ ?

— Какъ ? съ ужасомъ спросилъ Иванъ Васильевичъ .

— Я у тебя спрашиваю , что ты больше любишь , тюфякъ или перину ?

Иванъ Васильевичъ готовъ былъ бѣжать и съ отчаяніемъ поглядывалъ со стороны на сторону . Ему казалось , что вся Европа увидитъ его въ тулупѣ , въ перинѣ и въ тарантасѣ (стр. 20) .»

Да , было отчего въ отчаянье прійти ! И вотъ въ чемъ состоитъ европеизмъ господъ въ родѣ Ивана Васильевича . Этимъ людямъ и въ голову не входитъ , что если въ Европѣ всѣ стремятся къ опозитизированію своего быта , — за то никто , при недостаткѣ , при переверотѣ обстоятельствъ , при случаѣ , не постыдится ни сѣсть въ какой угодно тарантасъ , ни вычистить себя , при нуждѣ , сапоги . Этого рода Европейцевъ , въ отличіе отъ истинныхъ Европейцевъ , не худо бы называть Европейцами-Татарами . . .

Ивану Васильевичу было грустно , но дѣлать нечего . Онъ промотался по-русски и нашелъ случай доплестись до дому ; притомъ же , дорогою онъ можетъ изучать Россію и вести свои записки . . . Все бы хорошо . «Но эта неблагородная перина , но

эти ситцевыя подушки, но этотъ ужасный тарантасъ!...» Въ самомъ дѣлѣ ужасно!...

• — Василій Ивановичъ?

— Что, батюшка?

— Знаете ли, о чемъ я думаю?

— Нѣтъ, батюшка, не знаю.

— Я думаю, что такъ какъ мы собираемся теперь путешествовать...

— Что, что, батюшка... Какое путешествіе?

— Да вѣдь мы теперь путешествуемъ.

— Нѣтъ, Иванъ Васильевичъ, совсѣмъ нѣтъ. Мы просто ѣдемъ изъ Москвы въ Мордасы, черезъ Казань.

— Ну, да вѣдь это тоже путешествіе.

— Какое, батюшка, путешествіе. Путешествуютъ тамъ за границей, въ Нѣмечинѣ; а мы что за путешественники? Просто — дворяне, ѣдемъ-себѣ въ деревню.»

О Василій Ивановичъ! о великій практическій философъ, отъ роду не философствовавшій! Какъ, съ своею безграмотностью, какъ умнѣ ты этого полуграмотнаго фертика! Потому умнѣ, что какъ бы ни были грубы твои понятія, ихъ корень въ дѣйствительности, а не въ книгѣ, и, вѣрный степовому началу своей жизни, ты знаешь, что въ степяхъ ѣздить по дѣламъ и по нуждѣ, а не изъ любопытства, не для изученія! Ты называешь всѣ вещи ихъ настоящими именами, мѣсяць называешь просто мѣсяцомъ, а не воздушною, или небесною ночною лампадою! Ахъ, еслибы зналъ ты, какъ уменъ твой глубокий отвѣтъ: «мы не путешествуемъ, а ѣдемъ изъ Москвы въ Мордасы; мы не путешественники, а просто — дворяне, ѣдемъ-себѣ въ деревню»!...

Иванъ Васильевичъ, книжнымъ языкомъ, толкуетъ своему спутнику о пользѣ путешествій, — и Василій Ивановичъ, ничего не понимая, но смутно предчувствуя, что юноша несетъ страшную дичь, отвѣчаетъ ему: «Вотъ-съ». Иванъ Васильевичъ, съ риторическимъ восторгомъ, говоритъ о своихъ предполагаемыхъ путевыхъ впечатлѣніяхъ, о пользѣ, которую слѣ-

даетъ его книга; Василій Ивановичъ наконецъ объясняется на-прямки: «Ты все такое мелешь странное». Иванъ Васильевичъ толкуетъ о своей любви и своемъ уваженіи къ русскому мужику и русскому барину, и о своей ненависти и своемъ презрѣніи къ чиновнику. Василій Ивановичъ, человекъ умный по привычкѣ, и потому совершенно чуждый и благоговѣнія къ мужику и барину, и презрѣнія къ чиновнику — такъ какъ всѣхъ ихъ онъ находитъ въ порядкѣ вещей, спрашиваетъ: «А отчего же это. батюшка, ненавидите вы чиновниковъ?» Иванъ Васильевичъ прибѣгаетъ къ уловкѣ всѣхъ людей, которые ничего не въ состояніи понять въ идеѣ, въ принципѣ, въ источникѣ, а все понимаютъ случайно, и раздѣляетъ чиновниковъ на благородныхъ, которыхъ онъ уважаетъ, и на такихъ, которыхъ онъ презираетъ за ихъ трактирную образованность, за отсутствіе въ нихъ всего русскаго, за взяточничество. Отсутствіе всего русскаго — и взяточничество! Каковъ?... Браня чиновниковъ, онъ восхищается мужиками, увѣряя, что ничего не можетъ быть красивѣе и живописнѣе ихъ. «Въ мужикѣ» говоритъ онъ «таится зародышъ русскаго богатырскаго духа, начало нашего отечественнаго (народнаго, національнаго?) величія». — «Хитрыя бываютъ бестіи!» замѣтилъ Василій Ивановичъ... Аполлогистъ не смѣшался отъ этого замѣчанія, совершенно чуждаго всякихъ претензій на остроуміе или юморъ, но которое тѣмъ поразительнѣе, чѣмъ невиннѣе и простодушнѣе, — и поставилъ въ огромную заслугу мужику его, будто-бы, способность сдѣлаться, по желанію (желательно бы знать, чьему?), музыкантомъ, механикомъ, живописцемъ, управителемъ, чѣмъ угодно. Если хотите, — это, къ сожалѣнію, справедливо: изъ страха, или изъ корысти, русскій человекъ возмется за все, вопреки мудрому правилу:

Бѣда, коль пироги начнетъ печь сапожникъ,  
А сапоги тачать пирожникъ.

Покажите русскому человѣку хотъ Аполлона Бельведерскаго: онъ не сконфузится, и топоромъ и скобелю сдѣлаетъ изъ еловаго бревна Аполлона Бельведерскаго, да еще будетъ божиться, что его работа настоящая нѣмецкая. Потому-то русскіе покупатели такъ страстны къ иностранной работѣ и такъ боятся отечественныхъ издѣлій. Конечно, способность и готовность ко всему, хотя бы и вынужденная, имѣетъ свою хорошую сторону и иногда творить чудеса: противъ этого мы ни слова. Но въдь иногда совѣмъ не то, что всегда, и *tour de force*, какъ дѣло случайности и удачи, совѣмъ не то, что свободное произведеніе таланта, или природной способности, развитой правильнымъ ученіемъ. Умы поверхностные любятъ увлекаться блестящими, бросающимися въ глаза, парадоксальнымъ; но умъ основательный не позволить себѣ увлечься лицевою стороною предмета, не посмотрѣвъ на изнанку; естественное и простое онъ всегда предпочтетъ насильственному и хитрому.

Есть, однакожъ, въ апологіи Ивана Васильевича мысль очень умная и дѣльная—о гнусности и вредѣ существа, называемаго дворовымъ человѣкомъ; есть часть истины и въ его одностороннемъ взглядѣ на чиновника, какъ потомка двороваго человѣка.

• Дворовый не что иное, какъ первый шагъ къ чиновнику. Дворовый обрѣтъ, ходить въ длиннополомъ сюртукѣ домашняго сукна. Дворовый служить потѣхой праздной гѣни, и привыкаетъ къ тунеядству и разврату. Дворовый уже пьянствуетъ и воруетъ, и важничаетъ, и презираетъ мужика, который за него трудится и платитъ за него подушныя. Потомъ, при благополучныхъ обстоятельствахъ, дворовый вступаетъ и въ конторщики, въ вольноотпущенные, въ приказные; приказный презираетъ и двороваго и мужика, и учится уже крючкотворству, и потихоньку отъ исправника подбираетъ себѣ куръ да гривенники. У него сюртукъ нанковый, волосы примазанные. Онъ обучается уже воровству систематическому. Потомъ приказный спускается еще на ступень ниже, дѣлается писцомъ, повѣтчикомъ, секретаремъ и наконецъ настоящимъ чиновникомъ. Тогда сфера его увеличивается; тогда получаетъ онъ другое бытіе: презираетъ и мужика, и приказнаго, потому что они, изволите ли-

дѣть, люди необразованные. Онъ иѣсть уже высшія потребности, и потому крадетъ уже ассигнаціи. Ему гдѣ надо пить донское, курить табакъ Жукова, играть въ банчикъ, ѣздить въ тарантахъ, выписывать для жены чепцы съ серебряными колосьями и шелковыя платья. Для этого онъ безъ малѣйшаго зазрѣнія совѣсти вступаетъ на свое мѣсто, какъ купецъ вступаетъ въ лавку, и торгуетъ своимъ вліяніемъ, какъ товаромъ. Попадется иной, другой... «Ничто ему, говорить собратья. Бери, да ути!» (стр. 30—31).

Дѣйствительно, эта генеалогія, отъ двороваго черезъ конторщика изъ вольноотпущенныхъ, и приказнаго до чиновника, не только остроумна, но и отчасти справедлива. Реформа Петра-Великаго, которой основнымъ принципомъ было преимущество личныя достоинствъ или способностей надъ породою, пересоздала двороваго въ подъячаго, подъячій родилъ приказнаго, приказный — чиновника. Итакъ, дворовый — яйцо, подъячій — червь, приказный — куколка, чиновникъ — бабочка! Тутъ, какъ видите, есть развитіе, и каждая новая ступень выше и лучше прежней. Мы сами не охотники до «чиновника», но тѣмъ не менѣе, мы чужды всякаго несправедливаго и одно-сторонняго недоброжелательства къ сему почтенному члену нашего общества. Мы никакъ не можемъ согласиться съ Иваномъ Васильевичемъ, что лучшія сословія у насъ — мужикъ и баринъ, а худшее — чиновникъ. Пусть образованіе чиновника трактирное, какъ увѣряетъ Иванъ Васильевичъ, пусть онъ пьетъ донское, курить жуковский, ѣздитъ въ тарантахъ и выписываетъ для жены своей чепцы съ серебряными колосьями да шелковыя платья: во всемъ этомъ есть своя хорошая сторона, которая состоитъ въ томъ, что формы жизни чиновника близко подходятъ къ формамъ жизни барина. Сынъ чиновника годится на все и всюду: онъ поступаетъ въ кадетскій корпусъ, и оттуда выходитъ хорошимъ офицеромъ; онъ поступаетъ въ университетъ, откуда для него открыты честные и благородные пути на всѣ поприща жизни, и онъ всегда способенъ съ честію идти по одному разъ-избранному имъ поприщу; онъ

можетъ быть ученымъ, художникомъ, литераторомъ, словомъ, всѣмъ, чѣмъ можетъ быть и баринъ. Скажутъ: кто же не можетъ, и почему это привилегія сына чиновника?—потому, отвѣчаемъ мы, что военный офицеръ, чиновникъ, приготовившійся къ службѣ университетскимъ образованіемъ, ученый, профессоръ, учитель, художникъ, литераторъ изъ мужиковъ, изъ купцовъ, изъ духовнаго званія, — всѣ они — больше исключенія изъ общаго правила, нежели общее правило, и всѣ они находятся въ прямой противоположности съ формами жизни сословій, изъ которыхъ вышли. И потому-то, образовавшись, они спѣшатъ выйти изъ своего сословія, съ которымъ чувствуютъ себя на вѣкъ разорваннымъ черезъ образованіе, и, слѣдовательно, спѣшатъ увеличить собою чиновническое сословіе. Какъ? спросятъ насъ. да какое же отношеніе между музыкантомъ, напримѣръ, и чиновникомъ? — Очень большое: ихъ связываетъ одинаковость формъ жизни. И потому-то сынъ чиновника, сдѣлавшись, напримѣръ, ученымъ или художникомъ, такъ будто совсѣмъ не выходитъ изъ своего сословія: его костюмъ тотъ же, комнаты тѣ же, образъ жизни тотъ же, отъ утренняго чаю или кофе — до поклона знакомой дамѣ, или до канца съ нею на балѣ. Скажемъ прямо: формы жизни чиновника могутъ быть нѣсколько грубѣе, аляповатѣе формъ жизни барина, но сущность тѣхъ и другихъ совершенно одинакова, и чиновникъ изъ бѣдныхъ людей, котораго образованіе допустить въ свѣтскій кругъ, никогда не будетъ такимъ страннымъ исключеніемъ, какимъ былъ бы человѣкъ изъ другаго сословія, особенно купческаго. Чиновническое сословіе играетъ въ Россіи роль химической печи, проходя чрезъ которую люди мѣщанскаго, купческаго, духовнаго и, пожалуй, двороваго сословія, теряютъ рѣзкія и грубыя вѣщности этихъ сословій и, отъ отца къ сыну, выражаются въ сословіе баръ. Это потому, что въ Россіи чинъ, обязывая человѣка носить европейскій костюмъ и

держаться европейскихъ формъ жизни, вмѣстѣ съ тѣмъ обязываетъ его во всемъ тянуться за барининомъ. Сверхъ того, между барининомъ и чиновникомъ—не во гнѣвъ будь сказано всѣмъ Иванамъ Васильевичамъ,—существуетъ болѣе живая и крѣпкая связь, нежели между барининомъ и мужикомъ, купцомъ, духовнымъ или человѣкомъ изъ другаго какого-либо сословія:—это все чиновничество же. Развѣ баринъ— не чиновникъ? Много ли у насъ дворянъ неслужащихъ и немѣющихъ чина? Скажутъ: они служатъ въ военной. Неправда! Ихъ больше въ статской, и статскою службою по большей части оканчиваютъ и тѣ, которые начали съ военной. А сколько теперь дворянъ, сдѣлавшихся дворянами черезъ службу? Два-три поколѣнія—и вы ни въ какой телескопъ не отличите ихъ отъ родового дворянства. Чтѣ же касается до взяточничества, право, никому не легче давать взятки засѣдателю или исправнику, нежели стряпчему, или писцу квартального, потому что взятка—все взятка, кто бы ни взялъ ее съ васъ. Мы уже не говоримъ о томъ, что въ Петербургѣ, напримѣръ, служащіе въ министерскихъ департаментахъ чиновники не подвержены никакому упреку въ этомъ отношеніи. Вообще, это предметъ, о которомъ... о которомъ мы не хотимъ больше говорить, «чтобъ гусей не раздражить». Иванъ Васильевичъ— гусь породистый: маменька его были татарская княжна, — и потому для него важна генеалогія людей. Мы съ этой стороны, совсѣмъ въ другомъ положеніи, — и намъ нисколько нѣтъ нужды до того, кто былъ отецъ этого человѣка; для насъ важно одно: каковъ самъ этотъ человѣкъ.

Иванъ Васильевичъ наговорилъ очень много хорошаго о состояніи, до какого дошли теперь дворянскіе выборы, и по своему верхоглядству сложилъ всю вину на богатыхъ дворянъ (стр. 32). Мы не беремся объяснить это явленіе, и скажемъ только, что все, чтѣ есть или чтѣ сдѣлалось, есть и сдѣлалось по причинамъ неотразимымъ и съ самаго начала носило въ себѣ сѣмена

своего будущаго состоянія. Объ этомъ бы и слѣдовало говорить Ивану Васильевичу, или ничего не говорить. А іереміады-то мы слышали и не отъ него, и онѣ всѣмъ надоели, потому что ихъ способенъ повторять всякій человѣкъ, не умѣющій порядочно связать двухъ идей. Чтѣ новаго въ этихъ, напримѣръ, словахъ Ивана Васильевича? — «Всѣ старинныя имена наши исчезаютъ. Гербы нашихъ княжескихъ домовъ развалились въ прахъ, потому что нѣ на что ихъ возстановить, и русское дворянство зажиточное, радушное, хлѣбосольное, отдало родовыя свои вотчины оборотливымъ купцамъ, которые въ роскошныхъ палатахъ подѣлали себѣ фабрики» (стр. 33). Какая же, по мнѣнію Ивана Васильевича, причина этого важнаго явленія? — «Попромотались на праздники, на театры, на любовницъ, на всякую дрянъ» (ibid)... Знаете ли, на чтѣ похоже подобное объясненіе! Вопросъ: Отчего умеръ этотъ человѣкъ? Отвѣтъ: Отъ болѣзни. — Хорошо; но отчего онъ заболѣлъ, и почему онъ умеръ отъ этой болѣзни, когда другой, у котораго была та же самая болѣзнь, не умеръ отъ нея? Но это сравненіе еще не совсѣмъ вѣрно: человѣкъ можетъ умереть отъ случайности, а случайность не объясняется общими законами; измѣненіе же, или упадокъ цѣлаго сословія не можетъ быть дѣломъ случайности, — и мотовство тутъ плохое объясненіе. Чтѣ праздники, театры и любовницы богачей нашего времени передъ роскошью вельможъ прошлаго вѣка! Однакожъ, имъ доставало своихъ средствъ... Нѣтъ; подобный вопросъ надо было или рѣшить поглубже и поосновательнѣе, или вовсе не браться за него. Василій Ивановичъ гораздо лучше рѣшилъ его. «Чтѣ думаете вы о нашихъ аристократахъ?» спрашиваетъ его Иванъ Васильевичъ. «Я думаю» сказалъ Василій Ивановичъ «что на станціи намъ не дадутъ лошадей».

Описаніе станціи превосходно: при каждой строкѣ такъ и хочется вскрикнуть: «Здѣсь русскій духъ, здѣсь Русью пахнетъ!»



Анекдотъ станціоннаго смотрителя о генералѣ прекрасенъ и самъ по себѣ, и по тому восторгу, въ который привелъ онъ Василія Ивановича. Описаніе жилища, или, лучше сказать, зоговища, въ которомъ помѣщается станціонный смотритель и въ которомъ такъ вѣрно, какъ въ зеркалѣ, отражаются его духъ, понятія и наклонности, — это описаніе — верхъ мастерства, и хотя нѣкоторые правоописательные романисты, они же и критики, объявили, ради весьма понятныхъ причинъ, что графъ Соллогубъ пишетъ въ поверхностномъ родѣ, — однако для насъ одна страница въ «Тарантасѣ», которая знакомитъ читателя съ нокнами станціоннаго смотрителя, въ тысячу разъ лучше всѣхъ правоописательныхъ и нравственно-сатирическихъ романовъ. Превосходенъ также этотъ вскользь, но вѣрно обрисованный майоръ, который, въ ожиданіи лошадей, всѣмъ говорилъ «ты» и всѣмъ разсказалъ обстоятельства своей жизни, хотя о нихъ никто у него не спрашивалъ, и котораго Василій Ивановичъ трепалъ по плечу, приговаривая: «военная косточка!» (стр. 43). Никѣмъ неподозрѣваемый изъ чаявшихъ движенія лошадей, внезапный проѣздъ тайнаго совѣтника, для котораго у станціоннаго смотрителя нашлись лошади, есть истинно-художническая черта, которая удивительно вѣрно доканчиваетъ картину «станціи». За станцію слѣдуетъ гостинница, но въ промежуткѣ этихъ двухъ любопытныхъ фактовъ русской жизни, съ Василіемъ Ивановичемъ случилось несчастье: отъ тарантаса были отрѣзаны два чемодана и нѣсколько коробовъ, а съ ними пропали чепчикъ и тюбанъ отъ мадамъ Лебуръ, съ Кузнецкаго-моста, пріобрѣтенные для Авдотьи Петровны.

«Пріѣхавъ на станцію, онъ бросился къ смотрителю съ жалобой и просьбою о помощи. Смотритель отвѣчалъ ему въ утѣшеніе: «Будьте совершенно спокойны. Вещи ваши пропали. Это уже не въ первый разъ. Вы тутъ въ двѣнадцати верстахъ проѣзжали черезъ деревню, которая тѣмъ извѣстна: все шалуны живутъ».

— Какіе шалуны? спросилъ Иванъ Васильевичъ.

— Известно-съ. На большой дорогѣ шалать ночью. Коли заснете, какъ разъ задній чемоданъ отрѣжутъ.

— Да это разбой!

— Нѣтъ, не разбой, а шалости.

— Хороши шалости, уныло говорилъ Василій Ивановичъ, отправляясь снова въ путь. — А что скажетъ Авдотья Петровна? (Стр. 47).

Иванъ Васильевичъ торопится во Владимірѣ, которымъ онъ, какъ древнѣйшій городомъ, прекрасно можетъ начать свои путевыя впечатлѣнія. «Я вамъ уже говорилъ, Василій Ивановичъ, что я... и не я одинъ, а насъ много, мы хотимъ выпутаться изъ гнуснаго просвѣщенія Запада, и выдумать своеобытное просвѣщеніе Востока» (ib). И эту дичь Иванъ Васильевичъ несетъ простодушно, безъ всякой задней мысли... Какой чудакъ!...

Наконецъ, путешественники наши во Владимірѣ, въ губернской гостинницѣ, которая изображена и вѣрно и оригинально.

«— Что есть у васъ? спросилъ Иванъ Васильевичъ у полового.

— Все есть, отвѣчалъ надменно половой.

— Постели есть?

— Никакъ нѣтъ-съ.

— А что есть обѣдать?

— Все есть.

— Какъ все?

— Щи-съ, супъ-съ. Бѣштекъ можно сдѣлать. Да вотъ на столѣ записка, прибавилъ половой, гордо подавая стрый лоскутокъ бумаги.

Иванъ Васильевичъ принялся читать:

Обѣтъ!

1. Супъ. — Липотажъ.

2. Говядина. — Телятина съ цидрономъ.

3. Рыба. — Раки.

4. Соусъ. — Патиша.

5. Жаркое. — Курица съ рысью.

6. Хлѣбное. — Желе сапельсиновъ.

На вопросъ о винахъ, половой тоже съ увѣренностію отвѣчалъ: «Какъ не быть-съ? Всѣ вина есть: шампанское, полу-

шампанское, три-шадера, дафты есть. Первѣйшія вина». Нечего и говорить, что онъ собиралъ на столъ долго, перебѣгая и встряхивалъ грязныя салфетки, и что ничего ни ѣсть, ни пить не было возможности. Это, однакожъ, не помѣшало Василію Ивановичу ѣсть за троихъ — русскій баринъ! Лежа на сѣнѣ и поворачиваясь съ боку на бокъ, Иванъ Васильевичъ началъ съ горя бранить русскія гостинницы на нѣмецкій ладъ и мечтать о заведеніи гостинницы на русскую статью. Много хорошихъ фразъ отпустилъ онъ на этотъ предметъ, но дѣла, по своему обыкновенію, не сказалъ. Гонимая за теоретическими, отдаленными причинами, онъ не увидѣлъ ближайшихъ, практическихъ. Онъ никакъ не можетъ взять въ толкъ, что дѣло сдѣлано, и воротить его невозможно; что все на Руси, волею или неволею, тянется за европеизмомъ и коверкаетъ его на монгольскую статью. Иванъ Васильевичъ, видно не бывалъ въ губернскихъ трактирахъ, гдѣ по-русски угощается русскій людъ: тогда бы онъ понялъ, почему всѣ дрянную гостинницу предпочитаютъ хорошему трактиру. А что наши губернскія гостинницы скверны, въ этомъ виноваты не отсутствіе національнаго элемента, не подражаніе вѣншему европеизму, а просто на просто отсутствіе конкуренціи между заведеніями такого рода. Въ иномъ губернскомъ городѣ одна гостинница и та плоха до невозможности, потому что пуста и рѣдко принимаетъ гостей; а Торжокъ—уѣздный городъ, и въ немъ двѣ гостинницы, одна сносная, а другая даже порядочная, оттого, что, по значительному числу проѣзжающихъ, обѣ могутъ существовать, не подрывая одна другой. Видите ли, «ларчикъ просто открывался»; но Иванъ Васильевичъ не любитъ простыхъ причинъ, которые не даютъ предмета для риторики и вычурно-умныхъ фразъ.

Отправившись осматривать историческій городъ, Иванъ Васильевичъ, по своему невѣдѣнію, немного нашелъ удоволь-

ствія въ сдѣрпаніи древностей. Не понимаемъ, какъ не догадался онъ, что люди, живущіе среди этой древности, до того равнодушны къ ней, что даже не считаютъ за нужное пожалѣть, что не имѣютъ о нихъ никакого понятія. А вѣдь это фактъ, о которомъ можно пораздуматься. Тутъ естественно представляется вопросъ: кто виноватъ въ этомъ равнодушіи—люди, или древности?... Вѣдь любовь къ родному, къ древностямъ, къ исторіи, должна быть непосредственная, живая, самородная, а не книжная, не искусственная, и если на что само собою не откликается цѣлое общество, это едва ли стоитъ изученія и едва ли не нѣмо само по себѣ... Но если Иванъ Васильевичъ ничего не узналъ о древностяхъ Владиміра, за то хорошо узналъ его настоящее положеніе, какъ губернскаго города. Сдѣлавъ яркую и вѣрную характеристику губернскаго города (стр. 64 — 68), которая, право, въ тысячу разъ стоитъ больше всякой, самой ученой диссертациі о гнилыхъ древностяхъ, — пріятель Ивана Васильевича рассказываетъ ему свою исторію, по имени которой эта глава названа «простою и глупою исторіею». Тутъ много вѣрнаго и правдиваго, хотя въ цѣломъ разсказѣ преобладаетъ догматическій и правоучительный тонъ. Разсказъ начинается съ опредѣленія на службу въ Петербургъ. «Жить въ Петербургъ и не служить — все равно, что быть въ водѣ и не плавать. Весь Петербургъ кажется огромнымъ департаментомъ, и даже строенія его глядятъ министрами, директорами, столоначальниками, съ форменными стѣнами, съ вицемундирными окнами. Кажется, что самыя петербургскія улицы раздѣляются, по табели о рангахъ, на благородныя, высокоблагородныя и превосходительныя» (стр. 72). Но служба не далась пріятелю Ивана Васильевича, что онъ приписалъ своему невѣжеству. Странное уничтоженіе!... «Служба — лѣстница. По этой лѣстницѣ ползаютъ, шагаютъ, карабкаются и прыгаютъ люди зеленого цвѣта, то толкая другъ

друга, то срываясь от неосторожности, то зацѣпляясь за фалды надежнаго эквилибриста; немногіе идутъ твердо и безъ помощи. Немногіе думаютъ объ общей пользѣ, но каждый думаетъ о своей. Каждый помышляетъ, какъ бы схватить крептикъ, чтобъ поважничать передъ собратіями, да какъ бы набить карманъ потуже. Не думай, впрочемъ, чтобъ петербургскіе чиновники брали взятки. Сохрани Богъ! Не смѣшивай петербургскихъ чиновниковъ съ губернскими. Взятки, братецъ, дѣло подлое, опасное и притомъ не совсѣмъ прибыльное. Но мало ли есть проселочныхъ дорогъ къ той же цѣли. Займы, афферы, акціи, облигаціи, спекуляціи... Этимъ способомъ, при нѣкоторомъ служебномъ вліяніи, при удачной смѣтливости въ дѣлахъ, состоянія точно также наживаются. Честь спасена, а деньги въ карманѣ» (стр. 72—73). Не понимаемъ, зачѣмъ же, послѣ этого, нужны для службы науки и образованіе? Тутъ нужны, напротивъ, гибкая спина, ловкость акробата и практическая способность пріобрѣтать благонамѣреннымъ образомъ...

Разскащикъ пустился въ свѣтъ. Слѣдуютъ моральныя нападки на гибельную страсть низшихъ сословій таяться за вышними, бѣдныхъ за богатыми. Потерянное время, потерянные слова! Сколько ни толкуй знатный ничтожному, сколько ни увѣрай богатый бѣднаго, что онъ, ничтожный, такъ же осужденъ судьбою на ничтожество, какъ онъ, знатный, определенъ на знатность; что онъ, бѣдный, такъ же осужденъ судьбою на нищету, какъ онъ, богатый, назначенъ для богатства: — ничтожный и бѣдный никогда не будутъ такъ глупы, чтобъ простодушно повѣрить подобнымъ увѣреніямъ. Никто изъ земнородныхъ не считаетъ себя ниже и хуже другаго, — и лѣзть на верхъ, гдѣ такъ спокойно и безопасно, вмѣсто того, чтобъ ползти внизъ, въ грязь, подъ ноги другихъ, служа имъ мостовою, — это такой же инстинктъ, какъ пить и ѣсть.

Только сильные и богатые убеждены, что хорошо быть слабым и бедным, и то до тех пор только, пока не ослабѣютъ и не обѣдѣютъ сами; но лишь случись это, они вдругъ измѣняютъ свое кровное убѣжденіе. И потому, право, давно бы пора оставить эту риторическую мораль, потому что теперь уже нѣтъ такихъ людей, которые допустили бы убѣдить себя въ ней. Свѣтскость пріятеля Ивана Васильевича кончилась тѣмъ, что онъ въ конецъ разорился, и для поправленія обстоятельствъ рѣшился жениться, а для этого еще болѣе сталъ прикидываться богачомъ. Но женившись, онъ узналъ, что и его супруга такимъ же образомъ дѣлала спекуляцію, выходя замужъ. Жить было имъ нечѣмъ. Ему хотѣлось въ деревню, а она, какъ женщина образованная и свѣтская, не хотѣла и слышать о деревнѣ, и потому помирились на Москвѣ, гдѣ онъ попалъ въ особенный кружокъ, «составляющій въ огромномъ городѣ нѣчто въ родѣ маленькаго досаднаго городка. Этотъ городокъ—городокъ отставной, отечество усовъ и венгерокъ, пріютъ недовольныхъ всякаго рода, вертепъ самыхъ странныхъ разбоевъ, горнило самыхъ странныхъ разсказовъ. Въ немъ живутъ отставленные и отставные, сердитые, обманутые честолюбіемъ, вообще все люди лѣнныя и недоброжелательныя. Оттого и господствуетъ между ними духъ праздности и празднословія, и не даромъ называютъ этотъ городъ старухой. Ему прежде всего надо болтать, болтать во что бы ни стало. Онъ разскажетъ вамъ, что сѣрый волкъ гуляетъ по Кузнецкому-мосту и заглядываетъ во всѣ лавки; онъ повѣдаетъ вамъ на ухо, что турецкій султанъ усыновилъ французскаго короля; онъ выдумаетъ особую политику, особую Европу, — было бы о чемъ поболтать» (стр. 80). Очень недурно еще это замѣчаніе: «Пороки петербургскіе происходятъ отъ напряженной дѣятельности, отъ желанія выказаться, отъ тщеславія и честолюбія; пороки московскіе происходятъ отъ отсутствія дѣятельности, отъ недостатка жизни»

дѣли въ жизни, отъ скуки и тяжелой барской лѣни» (стр. 83). Насчетъ жены пріятеля Ивана Васильевича пошли по Москвѣ сплетни, за которыя онъ трепалъ одинъ хохолъ и одні усы и вызвалъ ихъ на дуэль. А между-тѣмъ жить ему съ женой было совершенно нечѣмъ, потому что онъ промоталъ все до копейки. Такъ какъ «русскій человѣкъ крѣпокъ заднимъ умомъ», онъ тогда только замѣтилъ, что у его жены есть и хорошія качества, и что онъ ее любитъ; жена его поняла то же въ отношеніи къ нему. Вызванные имъ на дуэль хохолъ и усы распорядились такъ, что его, за вызовъ, отправили на телегѣ во Владиміръ, гдѣ онъ и обрѣтался подъ присмотромъ полиціи, а жена его уѣхала въ Петербургъ къ отцу.

Этотъ разсказъ произвелъ на Ивана Васильевича тяжелое впечатлѣніе и заставлялъ попризадуматься. Онъ вспомнилъ о своемъ путешествіи:

«Въ Германіи удивила меня глупость ученыхъ; въ Италіи страдалъ я отъ холода; во Франціи опротивѣла мнѣ безнравственность и нечистота. Вездѣ нашелъ я подлую алчность къ деньгамъ, грубое самодовольствіе, всѣ признаки испорченности и смѣшныя притязанія на совершенство. И по неволѣ полюбилъ я тогда Россію и рѣшился посвятить остатокъ дней на познаніе своей родины. И похвально бы, кажется, и нетрудно.

Только теперь вотъ вопросъ: какъ ее узнаешь? хватился я сперва за древности, — древностей нѣтъ. Думалъ изучить губернскія общества, — губернскихъ обществъ нѣтъ. Всѣ они, какъ говорятъ, форменныя. Столичная жизнь — жизнь не русская, перенявшая у Европы и мелочное образованіе и крупныя пороки. Гдѣ же искать Россію? Можетъ-быть, въ простомъ народѣ, въ простомъ всеневномъ быту русской жизни? Но вотъ я ѣду четвертый день, и слушаю и прислушиваюсь, и гляжу и вглядываюсь, и хоть что хочешь дѣлай, ничего отиѣтить и записать не могу. Окрестность мертвая, земли, земли. Земли столько, что глаза устаютъ смотрѣть, дорога скверная... по дорогѣ идутъ обозы... мужики ругаются... Вотъ и все... а тамъ, то смотритель пьянъ, то тараканы по стѣнамъ ползаютъ, то щипальными свѣчами пахнутъ... Ну, можно ли порядочному человѣку заниматься подобною дрянью?... И всего безотраднѣе то, что на всемъ огромномъ пространствѣ господствуетъ какое-то ужасное однообразіе, которое утомляетъ до чрезвычайности и отдохнуть не дастъ... Нѣтъ ничего новаго, ничего неожиданнаго. Все то же да то же...

и завтра будет как нынче. Здѣсь станція, а тамъ еще та же станція; здѣсь староста, который просить на водку, а тамъ опять до безконечности все старосты, которые просятъ на водку... что же я стану писать? Теперь я понимаю Василя Ивановича. Онъ въ самомъ дѣлѣ былъ правъ, когда утѣрялъ, что мы не путешествуемъ и что въ Россіи путешествовать невозможно. Мы просто ѣдемъ въ Мордасы. Пропали мои впечатлѣнія!» (стр. 88 — 89).

Бѣдный Иванъ Васильевичъ! Жалкая карриатура на донъ-Кихота! У него голова устроена рѣшительно вверхъ ногами: тамъ, гдѣ земля усыяна развалинами рыцарскихъ замковъ и готическими соборами, онъ видѣлъ только мельницы и барановъ и сражался съ ними; а тамъ, гдѣ только мельницы и бараны, онъ ищетъ рыцарей!... Въ утѣдномъ городишкѣ, онъ спрашивалъ у мужика:

« — А что здѣсь любопытнаго? — Да чему, батюшка, быть любопытному! Кажись, ничего нѣтъ. — Древнихъ строеній нѣтъ? — Никакъ нѣтъ-съ... Да бишь... былъ точно деревянный острогъ, нѣча сказать, куда не годился... да и тотъ въ прошедшемъ году сгорѣлъ. — «Давно, видно, былъ построенъ?» — Нѣтъ-съ, не такъ давно, а лѣсомъ мошенникъ подрядчикъ надулъ совсѣмъ. Хорошо, что и сгорѣлъ... право-съ. — «А много здѣсь живущихъ?» — Нашей брати мѣщанъ довольно-съ, а то служащіе только. — «Городничій?» — Да-съ, извѣстное дѣло, городничій, судья, исправникъ и прочіе — весь комплектъ. — «А какъ они время проводятъ?» — Въ присутствіе ходятъ, пуншты пьютъ, картишками тѣшатся... Да-бишь: — теперь у насъ за городомъ цыганскій таборъ, такъ вотъ они повадился въ таборъ таскаться. *Словно московскіе баря, или купецкіе сылки.* Такой куражъ, что чудо. Судья на скрипкѣ играетъ. Артамонъ Ивановичъ, засѣдатель, отхватываетъ въ присядку; ну, и хмѣльнаго-то тутъ не занимать... Гуляютъ себѣ да и только. Этакая, знать, нація (стр. 90 — 94). »

И вотъ наши путешественники въ таборѣ. Иванъ Васильевичъ прежде всего огорчился, увидѣвъ на Цыганкахъ жалкіе европейскіе костюмы: такой чудакъ! Потомъ онъ чуть не заплакалъ съ отчаянія, когда Цыганки запѣли не дикую кочевую пѣсню, а русскій водевильный романсъ. Вынувъ изъ галстуха золотую булабочку, онъ подарилъ ее красавицѣ Наташѣ, съ тѣмъ, чтобъ она ходила въ своемъ національномъ костюмѣ и не пѣла русскихъ пѣсень... Больше этого быть шутомъ не



позволяется человѣку, и сентиментальное, донъ-кихотское фразёрство Ивана Васильевича, въ этомъ смѣшномъ поступкѣ, дошло до послѣднихъ предѣловъ возможнаго. Чтò бы онъ могъ еще сдѣлать?—развѣ жениться на Наташѣ, замѣтивъ въ ней какія-нибудь добрыя качества... Но довольно и того, чтò уже сдѣлалъ онъ, чтобъ Наташа смѣялась надъ нимъ цѣлую жизнь...

За то, степная натура Василья Ивановича плавала въ блаженствѣ. Онъ забывалъ и себя и грозную свою Авдотью Петровну, улыбался, притопывалъ, прищолкивалъ, сыпалъ въ жадную толпу двугривенными и четвертаками и прикрикивалъ: «а вотъ эту пѣсню, а вотъ ту», и т. д. Это для него была истинная итальянская опера, единственная, доступная ему. Въ заключеніе, онъ бросилъ Цыганамъ десятирублевую ассигнацію... Это называется широкимъ размѣтомъ русской души, богатырствомъ. Иностранецъ выпьетъ бутылку шампанскаго; Русскій одну выпьетъ, а другую вылетъ на полъ: изъ этого нѣкоторые выводятъ такое слѣдствіе, что у людей гніющаго Запада мышиныя натуры, а у насъ — чисто медвѣжьи...

Эпизодъ объ интригѣ мѣщанина съ женою частнаго пристава рассказанъ съ неподражаемымъ, истинно-художественнымъ совершенствомъ и превосходно заканчивается собою картину жизни уѣзднаго города...

Теперь послушаемъ проповѣдь Ивана Васильевича противъ русской литературы, до которой, какъ и до всякой другой, Василію Ивановичу никакой нужды не было; — это однакожъ не помѣшало его спутнику ораторствовать громко, фразисто, книжно, съ надутымъ восторгомъ и натянутымъ негодованіемъ. Подобно Ивану Александровичу Хлестакову, который безграмотнымъ людямъ объявилъ рѣшительно, что все, чтò ни пишется и ни издается въ Петербургѣ все это—его сочиненіе,—Иванъ Васильевичъ также рѣшительно объявилъ безграмотному Василію Ивановичу, что литература теперь вездѣ — торговля и

спекуляція, и что «въ Европѣ чистыя чувства задушены пороками и разсчетомъ» (стр. 110). Что нужны, что Иванъ Васильевичъ, какъ мы уже видѣли выше, ничему не учился, ничего не читалъ и — можно побиться о закладъ — понятія не имѣетъ о нравственномъ движеніи и литературѣ современной Европы: ему тѣмъ легче корчить судью грознаго и неумолимаго, и изрекать приговоры рѣшительные и неизмѣнные! Вѣдь Василю Ивановичу, который въ этомъ дѣлѣ ничего не понимаетъ и совершенно равнодушенъ къ нему, вѣдь ему все равно, и онъ не помѣшаетъ болтать этому витязю, сражающемуся съ мельницами и баранами... Всего больше досталось отъ него русской литературѣ. Онъ раздѣлил ее на двѣ литературы: на благородную и подлую, на безкорыстную и торговую, на даровитую и бездарную. «Одна даровитая, но усталая, которая показывается въ люди рѣдко, смиренно, иногда съ улыбкою на лицѣ, а всего чаще съ тяжкою грустью на сердцахъ. Другая наша литература, напротивъ, кричитъ на всѣхъ перекресткахъ, чтобъ только ее приняли за настоящую русскую литературу, и не узнали про настоящую... Оттого наши даровитые писатели всегда удалялись и теперь удаляются отъ ея прикосновенія, опасаясь быть замѣшанными въ ея странную дѣятельность» (стр. 111). Вотъ какіе бѣлоручки, подумаешь! Имъ нельзя писать и дѣйствовать потому только, что наша литература, подобно всѣмъ литературамъ въ мірѣ, бывшимъ, сущимъ и будущимъ, имѣетъ свои пятна, свои темныя стороны! Чтобъ они могли писать, для этого нужно сперва на-строга запретить писать всѣмъ, кто, по ихъ мнѣнію, недостойнъ писать въ то время, когда они сами изволятъ писать! Иначе, они станутъ появляться на литературномъ поприщѣ рѣдко и смиренно, чуть не со слезами на глазахъ, будутъ удаляться отъ его прикосновенія, опасаясь быть замѣшанными въ его странную дѣятельность! Иванъ Васильевичъ и не подозреваетъ, что подобными обсахаренными и переслащенными

комплиментами онъ дѣлаетъ смѣшными тѣхъ, кого прославляетъ. Изъ этого видно, что онъ и о русской литературѣ имѣетъ такое же ясное понятіе, какъ о европейской, и что русскую литературу онъ изучалъ за границею — по столовымъ картамъ въ трактирахъ. У кого есть талантъ, тотъ съ особеннымъ жаромъ дѣйствуетъ именно тогда, когда въ литературѣ застой, бездарность и духъ спекуляціи. Только маленькіе таланты, или таланты самозванные, прославленные въ своемъ кружкѣ и признанные за геніевъ своими пріятелями, удаляются отъ литературы въ ея бѣдномъ, безпомощномъ состояніи. Если наши таланты, истинные и большіе, рѣдко напоминаютъ о себѣ своими новыми произведеніями, — значитъ, или они лѣнны, или имъ нечего писать, или не о чемъ писать. Можетъ-быть, нашлись бы и другія причины, только совсѣмъ не тѣ, о которыхъ декларируетъ Иванъ Васильевичъ... Если ужъ предположить, что истинный талантъ можетъ не писать изъ презрѣнія къ настоящему положенію литературы, то ужъ не долженъ писать совсѣмъ и никого не смѣшить рѣдкими появленіями, какъ признаками невыдержаннаго характера. А между тѣмъ, изъ живущихъ теперь литераторовъ и писателей, нѣтъ ни одного, который бы хоть изрѣдка не показывался, если ужъ не съ чѣмъ-нибудь дѣльнымъ, то хоть со стихами — вѣдь привычка другая натура! Когда начиналась «Библіотека для Чтенія», въ нее всѣ бросились съ своими вкладами, отъ Пушкина и Жуковского до людей съ самыми маленькими именами. Пересчитывать же имена, для доказательства, что и теперь пишутъ всѣ, которые и прежде писали — трудъ совсѣмъ лишній: нѣтъ рѣшительно ни одного имени въ подтвержденіе такъ нелѣпо выдуманнаго Иваномъ Васильевичемъ факта... Многимъ покажется странно, что мы такъ вооружились противъ лица, существующаго въ книгѣ, а не въ дѣйствительности. Въ томъ-то и горе, что Ивановъ Васильевичъ слишкомъ много въ дѣйствительности; мы

не даромъ говорили, что даровитый авторъ «Тарантаса» слишкомъ хорошо проникъ мыслию въ типъ людей этого рода и такъ художественно-вѣрно воспроизвелъ его. Эти-то Иваны Васильевичи издавна уже твердятъ и повторяютъ, время отъ времени, будто нашимъ даровитымъ писателямъ то негдѣ печататься, то вовсе нельзя писать, по причинѣ торговаго и недобросовѣстнаго направленія литературы, — и мы очень рады случаю отбить охоту у этихъ господъ повторять подобныя нелѣпости. Иванъ Васильевичъ въ особенности сердитъ на русскую критику, какъ въ «Горѣ отъ Ума» Скалозубъ сердитъ на басню, и называетъ ее «чудовищной неблагопристойностью». Это понятно: мыши не любятъ кошекъ. Извѣстное дѣло, Иваны Васильевичи большіе охотники, «пописать, иногда прозою, иногда стихами — какъ выкинется», (какъ говоритъ Хлестаковъ); но критика мѣшаетъ имъ попасть въ геніи, т. е. выдавать всякій вздоръ за удивительныя красоты поэзіи. Разумѣется, и русская критика, подобно всякой отрасли русской литературы, имѣетъ свои пятна и черныя стороны; но изъ этого не слѣдуетъ бросать анашему на всю критику, которая принесла и приносить столько пользы и литературѣ и публикѣ очищеніемъ вкуса, преслѣдованіемъ ложныхъ авторитетовъ и ложныхъ произведеній. Мы понимаемъ, впрочемъ, что разумѣютъ Иваны Васильевичи подъ критикою благородною и благопристойною: критику безъ убѣжденій, безъ принциповъ, безъ энергіи, безъ жара, безъ души, безъ оригинальности, безъ таланта, холодную, мелочную, — критику, которая выѣзжаетъ на общихъ мѣстахъ, кадитъ признаннымъ знаменитостямъ за все, что бы ни написали онѣ, не смѣетъ признать новаго таланта, рабски угождаетъ своей партіи и бросаетъ камешки изъ-за угла только въ чужихъ. — наконецъ, критику, на которую никто не сердится, которой никто не ненавидитъ, потому что всѣ презируютъ ее. Такая критика есть полное выраженіе слабенькихъ и пошлень-

кихъ натуръ Ивановъ Васильевичей. Чтобы хорошенько поразить ненавистную ему критику, Иванъ Васильевичъ представляетъ ее въ видѣ заморскаго шута, который коверкается передъ мужиками, а мужики на него не хотятъ и смотрѣть: очень остроумно! жаль только, что ни мало не правдоподобно и натянуто, потому что критика пишется не для мужиковъ, и мужики не имѣютъ ни малѣйшаго понятія о ея существованіи. «Русскій человѣкъ» (продолжаетъ декламировать Иванъ Васильевичъ) «не отзовется ни на одинъ голосъ ему незнакомый и непонятный. Ему не то надо. Ему давай родные звуки, родныя картины, чтобъ забилося его сердце, чтобъ засвѣтлѣло въ его душѣ». Что за фразы! какая риторика!... Далѣ Иванъ Васильевичъ предлагаетъ рѣшительную мѣру: выбросить за окошко все, что сдѣлано слишкомъ столѣтіемъ и что дѣйствительно существуетъ, и замѣнить это тѣмъ, что проблематически существуетъ въ головахъ славянофильскихъ... Какой яростный реформаторъ — ему все ни по чемъ! Сказано — и сдѣлано! Въ заключеніе, онъ зоветъ нашихъ поэтовъ и писателей въ мужицкую избу—набираться тамъ мудрости. Особенно совѣтуетъ онъ слушать со вниманіемъ слова умирающаго мужика: въ этихъ словахъ, по его убѣжденію, заключается богатое содержаніе для литературы... Что за пустой человѣкъ Иванъ Васильевичъ!...

Тарантасъ повстрѣчалъ карету, у которой опустилась рессора и лопнула шина. Въ каретѣ Иванъ Васильевичъ узналъ русскаго князя, съ которымъ познакомился за границей. Этотъ князь варварскимъ русскимъ языкомъ, испещреннымъ галицизмами, кричитъ на ямщиковъ и лакеевъ и каждому сулитъ по пяти-сотъ палокъ. «Въ деревню їду (говоритъ князь Ивану Васильевичу). Нечего дѣлать. Бурмистръ оброка не высылаеть; чортъ ихъ знаетъ, что пишутъ. Неурожай у нихъ тамъ какой-то, деревня какая-то сгорѣла. А мнѣ что за дѣло? Я

человѣкъ европейскій, я не мѣшаюсь въ дѣла своихъ крестьянъ; пускай живутъ какъ хотятъ, только чтобъ деньги доставляли аккуратно. Я ихъ насъвозъ знаю. Такіе мошенники, что ужаси. Они думаютъ, что я за границей, такъ они могутъ меня обманывать. Да я знаю, какъ надо поступать. Сыновей бурмистра въ рекруты, неплательщиковъ въ рабочій домъ, возму весь доходъ на годъ впередъ, да на зиму въ Римъ» (стр. 122). Къ несчастію, портретъ этого Европейца не совсѣмъ невѣренъ: бывають такіе. Хуже всего въ этихъ выродкахъ то, что многіе добродушные невѣжды по нимъ дѣлають свои заключенія о русскихъ путешественникахъ и пользѣ путешествій вообще. Простодушнымъ невѣждамъ трудно растолковать, что люди бываютъ всякіе: одни, побывавъ за границей, дѣлаются еще хуже и дерутся еще больѣе; а другіе перемѣняются къ лучшему и научаются уважать человѣческое достоинство даже и въ своемъ собственномъ лакеѣ...

Разъ Иванъ Васильевичъ былъ не въ духѣ и, презрительно поглядывая на своего спутника, говорилъ про-себя: «О, дубина, дубина, самоваръ безтолковый, подъяческая природа, ты самъ не что иное, какъ тарантасъ, уродливое созданіе, начиненное дрянными предрасудками, какъ тарантасъ начиненъ перинами. Какъ тарантасъ, ты не видишь ничего лучше степи, ничего далѣе Москвы. Лучъ просвѣщенія не пробилъ твоей толстой шкуры. Для тебя искусство сосредоточивается въ вѣтренной мельницѣ, наука въ молотильной машинѣ, а поэзія въ ботвиньѣ, да въ кулебякѣ. Дѣла тебѣ нѣтъ до стремленія въка, до современныхъ европейскихъ задачъ. Были бы у тебя лишь щи, да баня, да погребецъ, да тарантасъ, да плѣсень твоя деревенская. Дубина ты, Василій Ивановичъ!» (стр. 143). Вся эта филиппика устремлена противъ Василя Ивановича за то, что онъ не хотѣлъ помедлить въ Нижнемѣ и дать оратору время изучать Россію на ярмаркѣ. Но Василій Ивановичъ тотъ-

часть же представился своему спутнику совсѣмъ съ другой стороны—истиннымъ благодѣтельнымъ помѣщикомъ, точъ въ точъ какъ представляютъ ихъ въ афишисманахъ на нашихъ театрахъ. Тутъ все дѣло вертится на любви крестьянъ къ господамъ, внушенной имъ уже самою природою, и еще на томъ, что Авдотья Петровна сама лечитъ больныхъ простыми средствами. Изъ всего этого выводится слѣдствіе, что все хорошо, какъ есть, и никакихъ измѣненій къ лучшему, особенно въ иноземномъ духѣ, вовсе не нужно. Въ самомъ дѣлѣ, къ чему больница и докторъ, развращенный познаніями гнилаго Запада, — къ чему они тамъ, гдѣ всякая безграмотная баба умѣетъ лечить простыми средствами?... Какъ бы то ни было, но Иванъ Васильевичъ (чувствительная душа!) чуть не расплакался при разсказѣ Василія Ивановича о томъ, какъ будетъ онъ встрѣченъ своими мужиками, которые на радости свиданія съ бариномъ, предстанутъ передъ его свѣтлыя очи, кто съ индюкомъ подъ мышкою, кто съ ковригой хлѣба. Эта сцена изображена на картинкѣ: Василій Ивановичъ съ своею полу-русскою и полу-татарскою фізіономію, а мужички съ греческими лицами героевъ «Иліады», можетъ-быть въ ознаменованіе того, что всѣ мужики — красавцы, и непріятныхъ фізіономій между ними не бываетъ.

Въ заштатномъ городѣ неизвѣстнаго званія, тарантасъ измѣнилъ довѣренности друга своего, Василія Ивановича, и потребовалъ починки. Кузнецъ, впрочемъ, незнакомый съ развратнымъ Западомъ, запросилъ за починку 50 рублей, а согласился за три цѣлковыхъ. Съ горя, путешественники наши зашли въ харчевню напиться чаю. Тамъ сидѣли купцы, чистые Русаки, нисколько незнакомые съ развращеннымъ Западомъ. Одинъ изъ нихъ хвастался, какъ онъ купилъ у проигравшагося въ карты помѣщика скверной муки, смѣшалъ ее съ хорошею, да и продалъ въ Рыбинскѣ за лучший сортъ. «Что жъ, коммерческое дѣло!» сказалъ одинъ. — «Оборотецъ извѣ-

стный, прибавилъ другой» (стр. 162). Разумѣется, они пили чай, держа блюдечки на растопыренной пятернѣ, и потъ ручьями катился съ ихъ фizioномій — но попадалъ ли въ блюдечки, объ этомъ авторъ ничего не говоритъ. Вообще, купцы изображены превосходно, и наблюдательный талантъ автора торжествуетъ въ этомъ изображеніи такъ же, какъ и вездѣ, гдѣ приходится ему изображать. Очень ловко съумѣлъ онъ заставить ихъ высказаться передъ Иваномъ Васильевичемъ, который думалъ, что онъ видитъ все это во снѣ — такъ пораженъ онъ былъ принципами этой особой «коммерціи», которая избѣгаетъ, по возможности, векселей и всякихъ формальностей, и вертится на навѣкъ, рутинѣ, обманѣ и плутняхъ. Какъ ни убѣждалъ онъ ихъ въ превосходствѣ правильной, систематической европейской коммерціи передъ этимъ испорченно-восточнымъ барышничествомъ на авось, — купцы остались при своемъ. Одинъ изъ нихъ, сѣдой, помолчавъ нѣсколько, сказалъ:

«— Вы, можетъ-быть, кое-что. признательно сказать, и справедливое тутъ говорите, хоть и больно грозное. Да изволите видѣть, люди-то мы не грамотные. Дѣловъ всѣхъ разсудить не въ состояніи. Какъ разъ подвернутся Французы, да афферисты, заведутъ компаніи, а тамъ глядишь и поклонился капиталу. Чего добраго, въ несостоятельные попадешь. Нѣтъ ужъ, батюшка, по старому-то оно не такъ складно, да ладно. Нашъ порядокъ съ-изстари такъ ведется. Отцы наши такъ дѣлали и не промотались, слава Богу, и капиталъ намъ оставили. Да вотъ-съ, и мы потрудились на своемъ вѣку, и тоже, слава Богу, не промотали отцовскаго благословенія, да и дѣтей своихъ надѣлили. А дѣти пушай дѣлаютъ какъ знаютъ. Ихняя будетъ воля... Да не прикажете ли, сударь, чашечку?

— Нѣтъ, спасибо.

— Одну хоть чашечку.

— Право не могу...

— Со сливочками!... (стр. 170).»

Въ большомъ селѣ, гдѣ былъ праздникъ, Иванъ Васильевичъ пустился изучать русскую народность, но его аристократическій носъ безпрестанно отворачивался отъ народныхъ



сценъ, которыя, какъ извѣстно, бываютъ грязноваты не у насъ однихъ. Увидя молодицъ, онъ поправилъ на себѣ пальто, и въ надеждѣ вѣрнаго эффекта, подошелъ къ толпѣ.

«Однако онъ ошибся. Здоровая, румяная дѣвка указывала на него довольно нахально, обращаясь къ подругамъ: «Види какой облизанный Нѣмецъ идетъ!»

Молодицы засмѣялись, а парень въ красной рубашкѣ вѣшался въ разговоръ:

— Эка зубастая Матрѣха. Смотри, *рыло разобью!*

Матрѣха улыбнулась.

— Види больно напугалъ... Озарникъ этакой. Я и сама такъ тресну, что сдачи не попросишь (стр. 220).»

Насладившись этою сценою сельской идиалли и рыцарской любезности, нашъ изыскатель наткнулся на раскольника и попробовалъ допроситься у мужика, что за секта, много ли у нихъ раскольниковъ, и проч. Но на всѣ свои вопросы получалъ одинъ отвѣтъ: «по старымъ книгамъ». Далѣе, пьяный солдатъ рассказывалъ, какъ онъ ходилъ подъ Турку и объяснялъ причину войны тѣмъ, что «турецкій салтанъ, по ихъ нѣмецкому языку вишь государь такой значить, прислалъ къ нашему Царю грамоту: я хочу-де, чтобъ ты посторонился, а то мѣста не даешь; да изволь-ка еще окрестить всѣхъ твоихъ православныхъ въ нашу языческую поганую вѣру», и проч. (стр. 225). Долго еще бродилъ Иванъ Васильевичъ, много еще видѣлъ пьяныхъ сценъ, — а народности все не нашелъ. Мимо его промчался на тройкѣ застѣдатель, и Иванъ Васильевичъ воскликнулъ: «О чиновники! Ужъ не вы ли, по привычкѣ къ воровству, украли у насъ народность!» (стр. 231). Вотъ что называется съ больной-то головы да на здоровую! Ужъ не чиновники ли, по привычкѣ къ воровству, украли у Ивана Васильевича способность смотрѣть прямо на вещи? Или онъ не получилъ ея отъ природы? Последнее вѣроятнѣе...

Какъ нарочно, при входѣ въ избу, на слѣдующей станціи, Иванъ Васильевичъ встрѣтилъ — чиновника. Это былъ

исправляющий должность исправника, выѣхавшій на встрѣчу губернатору. Василій Ивановичъ пригласилъ его съ собою напиться чаю и спросилъ, давно ли онъ служитъ. — Съ восемьсотъ четвертаго. «А почему вы служите по выборамъ?» лукаво спросилъ его Иванъ Васильевичъ. Чиновникъ объяснилъ свое житьё-бытьё очень просто, безъ риторики — и Ивану Васильевичу отъ чего-то стало грустно... Народность опять увернулась у него изъ-подъ рукъ. Отдернувъ занавѣсъ стоявшей въ сторонѣ кровати, онъ увидѣлъ на ней больного старика съ дѣтьми, и первое чувство этого Европейца, который такъ гнушается развратнымъ просвѣщеніемъ Запада, этого либерала, который такъ любитъ толковать объ отношеніяхъ мужика къ барину, — первое движеніе его было — обидѣться, что простой станціонный смотритель осмѣлился не встать передъ нимъ, Европейцемъ и либераломъ 12-го класса! Оказалось, что старикъ давно лишился ногъ, и, по милости начальства, должность за него править его сынъ, мальчикъ лѣтъ одиннадцати. Ивану Васильевичу опять стало грустно, и его гнѣвъ на чиновниковъ утихъ.

Вѣхавъ въ Казань, Иванъ Васильевичъ словно помѣшался: такую дичь понесъ о Западѣ и Востокѣ, притиснувшихъ между собою бѣдное славянское начало, что у насъ рѣшительно нѣтъ силы и смѣлости остановиться на этой декламациі, въ которой на каждомъ словѣ умъ за разумъ заходитъ. За нее Востокъ, въ лицѣ Татаръ, надулъ Ивана Васильевича: продалъ ему за большія деньги разной дряни, которую опытный Василій Ивановичъ не хотѣлъ оцѣнить и въ 15 рублей ассигнаціями.

Но вотъ мы уже у послѣдней главы, которая оканчивается сномъ Ивана Васильевича. Это чудный сонъ: авторъ истощилъ въ немъ всю иронію и чудесно дорисовалъ имъ своего миниатюрнаго донъ-Кихота. Вообще, старикъ Дмитріевъ сказалъ о снахъ великую истину: «Когда же складны сны бываютъ?» Приба-

вѣте къ этому, что сонъ этотъ видится такому человѣку, какъ Иванъ Васильевичъ — и трепещите заранѣе. А между тѣмъ, дѣлать нечего — станемъ бредить съ Иваномъ Васильевичемъ. Пропускаемъ подробности, какъ тарантасъ обратился въ птицу и попалъ въ пещеру съ тѣнями, какъ мертвые призраки подъячихъ гнались за Иваномъ Васильевичемъ, ругали его подлецомъ и канальею, и хотѣли растерзать живаго. Намъ лучше хотѣлось бы пересказать все, что видѣлъ онъ на землѣ, мчавшійся на тарантасѣ-птицѣ по воздуху, но не умѣемъ, а выписывать цѣликомъ — слишкомъ много. И потому, волею или неволею, пропускаемъ даже возрожденіе русскаго тарантаса на европейскую стать, и спѣшимъ къ встрѣчѣ Ивана Васильевича съ тѣмъ княземъ, который недавно ругалъ своихъ людей въ сломанной каретѣ. Встрѣча воспослѣдовала въ Москвѣ, которая, въ чудномъ снѣ, по своей архитектурѣ, перешеголяла Италію. «На головѣ его (князя) была бобровая шапка, станъ былъ плотно схваченъ тонкимъ суконнымъ полшубкомъ на собольемъ мѣху, а на ногахъ желтые сафьянные сапоги доказывали, по славянскому обычаю, его дворянское достоинство» (стр. 274). Въ нравственномъ отношеніи, князь такъ же измѣнился, какъ и наружно: онъ уже считаетъ глупостью путешествія... Почему? спросите вы: ужъ не изъ патріотизма ли? — Отчасти такъ. — Но, скажете вы: если въ чемъ всего менѣе можно упрекнуть Англичанъ, такъ это въ отсутствіи или недостаткѣ патріотизма; напротивъ, ихъ любовь къ отечеству переходитъ даже въ недостатокъ, въ порокъ, въ какое-то слѣпое и фанатическое пристрастіе ко всему англійскому, — и между тѣмъ вся Европа наводнена англійскими туристами, особенно Парижъ и Римъ. Это правда, но вѣдь не забудьте, что за человѣкъ Иванъ Васильевичъ, и не забудьте, что все это онъ бредитъ во снѣ. Главная же причина, почему князь съ гордостью отвергалъ въ Русскомъ даже возможность желанія

путешествовать, состоитъ въ томъ, что Русскому, въ эти блаженные времена желтыхъ сафьянныхъ сапожекъ (какъ жаль, что эта эпоха не означена цифрами!), что Русскому тогда не зачѣмъ будетъ ѣхать ни на западъ, ни на востокъ, ни на югъ, ни на сѣверъ, ибо въ огромной Россіи есть свой западъ и востокъ, югъ и сѣверъ. Изъ этого можно навѣрное заключить, что въ это вождельнное время, которое можетъ только представиться во снѣ, и то развѣ какому-нибудь Ивану Васильевичу, въ Россіи будетъ свой Римъ, свой Неаполь, свой Везувій, свое Средиземное море, свои Альпы, своя Швейцарія, свой Гиммалай и Индія, словомъ будетъ все, чего нѣтъ теперь, и что манитъ и раздражаетъ любопытство путешественниковъ всѣхъ странъ. Далѣе, въ сію вождельнную желто-сапожную эпоху уже не будетъ существовать между народами братскаго размѣна идей, никакихъ связей торговли, науки, образованности, и новый Гумбольдтъ уже не пойдетъ къ намъ изучать природу Уральскаго хребта!... Нѣтъ, ужъ лучше бы князь по прежнему проматывался за границею и обнаруживалъ свой европеизмъ пятьюстами палокъ, чѣмъ вдаваться въ такую дикую философію!... Да! чуть было не забыли мы: въ желто-сапожную эпоху будетъ процвѣтать арзамасская школа живописи, которая, вѣроятно, смѣнитъ собою нынѣшнюю суздальскую... Князь исчезъ—и Иванъ Васильевичъ очутился въ объятіяхъ своего пансіонскаго товарища, — того самаго, который на владимірскомъ бульварѣ рассказывалъ ему о себѣ «простую и глупую исторію». Этотъ такъ же исправился, какъ и князь, и съ своею милою супругою сталъ идеаломъ семейнаго блаженства. Но главная его добродѣтель въ томъ, что онъ не завидуетъ богатымъ и безъ ума радъ, что бѣденъ... Позвольте! опять чуть было не забыли мы одного изъ самыхъ характеристическихъ обстоятельствъ желто-сапожной эпохи (въ которую процвѣтетъ Торжокъ, бойко

торгующій сафьянными издѣліями): въ эту желто-сафьянную эпоху будутъ равно отвратительны и тунсады, надувающиеся глупой надменностью, и жолчные завистники всякаго отличія (желтыхъ сапожекъ?) и всякаго успѣха (наслѣдства?), и голодная зависть нищей бездарности (стр. 277). Жаль, что Иванъ Васильевичъ, постѣившій во снѣ эту славянофильскую эпоху, не выглядѣлъ въ ней ничего на счетъ зависти нищей даровитости, нищей геніяльности: вѣроятно, таланты и геніи будутъ ходить въ красныхъ сапожкахъ, и потому имъ нечего будетъ завидовать желтымъ. Обращаемся къ семейному блаженству пансіонскаго товарища Ивана Васильевича.

«— Есть на землѣ счастье! сказалъ Иванъ Васильевичъ съ вдохновеніемъ:— есть дѣлъ въ жизни... и она заключается...

— Батюшки, батюшки, помогите!.. Бѣда... помогите... Валимся, падаемъ?...»

Иванъ Васильевичъ вдругъ почувствовалъ сильный толчокъ, и шибнувшись обо что-то всей своей тяжестью, вдругъ проснулся отъ сильного удара.

— А... что?... что такое?...

«Батюшки, помогите, умираю!» кричалъ Василій Ивановичъ: «кто бы могъ подумать... тарантасъ опрокинулся».

Въ самомъ дѣлѣ, тарантасъ лежалъ во рву вверхъ колесами. Подъ тарантасомъ лежалъ Иванъ Васильевичъ, ошеломленный неожиданнымъ паденіемъ. Подъ Иваномъ Васильевичемъ лежалъ Василій Ивановичъ въ самомъ ужасномъ испугѣ. Книга путевыхъ впечатлѣній утонула на вѣки на днѣ влажной пропасти. (Туда ей и дорога! скажемъ мы отъ себя). Сенька висѣлъ внизъ головой, зацѣпясь ногами за козлы...

Одинъ ямщикъ успѣлъ выпутаться изъ постромокъ и уже стоялъ довольно равнодушно у опрокинутаго тарантаса... Сперва оглядѣлся онъ кругомъ, нѣтъ ли гдѣ помощи, а потомъ хладнокровно сказалъ вопіющему Василю Ивановичу:

«Ничего, ваше благородіе!»

Превосходно! Юморъ какого бы ни было автора, хотя бы съ талантомъ первой величины, не могъ лучше прервать вздорнаго сна и лучше закончить прекрасной книги... Нельзя не согласиться, что юморъ автора «Тарантаса» тѣмъ болѣе исполненъ глубины и жолчи, что онъ замаскированъ удивительнымъ

спокойствіемъ, такъ что мѣстами читателю можетъ казаться, будто авторъ раздѣляетъ образъ мыслей своего жалкаго и смѣшнаго героя, этого маленькаго донъ-Кихота въ миньятюрѣ и въ каррикатурѣ. Между тѣмъ, ясно, что эта книга, по ея тонкому и глубокому юмору, принадлежитъ къ разряду книгъ въ родѣ «*Epistolae obscurorum Virorum*», «Писемъ Юнія» и «*Lettres Persannes*» Монтескьё. Славянофилы, въ лицѣ Ивана Васильевича, получили въ ней страшный ударъ, потому что ничего нѣтъ въ мірѣ страшнѣе смѣшнаго; смѣшное — казнь уродливыхъ нелѣпостей. Какъ! эти люди... но оставимъ людей и поговоримъ объ одномъ человѣкѣ — объ Иванѣ Васильевичѣ... Какъ! этотъ человѣкъ съ жидкою натурою, слабою головою, безъ энергіи, безъ знаній, безъ опытности, съ одною мечтательностью, съ однѣми пошлыми фантазіяками, могъ вообразить, что онъ нашелъ дорогу, на которую Россія должна своротить съ пути, указаннаго ей ея великимъ просвѣтителемъ!... Комары, мошки хотятъ поправлять и передѣлывать громадное зданіе, сооруженное исполиномъ!... Близорукіе, косые, кривые и слѣпые, они хотятъ заглядывать въ будущее и думаютъ видѣть его такъ же ясно, какъ и настоящее! Ихъ маленькому самолюбію не приходитъ въ голову, что и настоящее-то въ ихъ головахъ отражается невѣрно, какъ въ кривомъ, или разбитомъ зеркалѣ. Головы, устроенныя вверхъ ногами, они мыслятъ вѣчно заднимъ числомъ, и если имъ удастся замѣтить кое-что такое, что всѣмъ бросается въ глаза и что на всѣхъ производитъ грустное и тяжелое впечатлѣніе, — они ждуть исцѣленія не отъ будущаго, но, вычеркивая настоящее (какъ-будто бы его вовсе не было, или какъ-будто бы оно не есть необходимый результатъ прошедшаго), обращаются къ давно-прошедшему, котораго или вовсе не знаютъ, или плохо знаютъ, смотря на него въ очки своей фантазіи, — и посредствомъ какого-то невозможнаго, чудовищнаго *salto mortale* хотятъ выдвинуть это

давно-прошедшее, мимо настоящего, прямо въ будущее. Не понимая современнаго, не будучи гражданами никакой эпохи, никакого времени (потому что кто живетъ внѣ настоящаго, современнаго, тотъ нигдѣ не живетъ), новые донъ-Кихоты, они сочинили себѣ одно изъ тѣхъ нелѣпыхъ убѣжденій, которыя такъ близки къ толкамъ старообрядческихъ сектъ, основанныхъ на мертвомъ пониманіи мертвой буквы, и изъ этого убѣжденія сдѣлали себѣ новую Дульцинею тобозскую, ломаютъ за нее перья и льютъ чернила. Не понимая, что у нихъ нѣтъ и не можетъ быть противниковъ (потому что невинное помѣшательство пользуется счастливою привилегіею не имѣть враговъ), — они выдумываютъ, ищутъ себѣ враговъ, и думаютъ видѣть главнаго своего врага въ просвѣщеніи Запада; но Западъ не хочетъ и знать о ихъ существованіи: онъ идетъ себѣ куда указало ему провидѣніе, не замѣчая ни ихъ бумажныхъ шлемовъ, ни ихъ деревянныхъ копій... Подобныя нелѣпости давно уже требовали одной изъ тѣхъ жестокихъ и бьющихъ на смерть сатиръ, которыми можетъ поражать только художественный талантъ... «Тарантасъ» графа Соллогуба явился такою сатирою, исполненною ума, остроумія, мысли, юмора, художественности...

Мы все сказали. Прощайте жъ, Иванъ Васильевичъ! Спасибо вамъ: вы заняли насъ, вы и посердили и позабавили насъ на свой счетъ. Прощайте, смѣшной и жалкій донъ-Кихотъ! Вѣчное спасибо вамъ за то, что вы сказали всему свѣту, какъ зовутся по имени и по отчеству люди извѣстнаго разряда: ихъ зовутъ Иванами Васильевичами...

Прощай, «Тарантасъ»! прощай, книга умная, даровитая и — что всего важнѣе — книга дѣльная! Благодаримъ тебя за наслажденія, которыми подарила ты насъ и которыхъ, вѣроятно, долго, долго не дождаться намъ, потому что такія книги и не у насъ рѣдко появляются...

**ОПЫТЪ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.** *Сочиненіе э. профессора Императорскаго Санктпетербургскаго Университета доктора философіи А. Никитенко. Книга первая. Введеніе. Спб. 1845.*

Давно чувствуется всеми настоятельная потребность въ исторіи русской литературы. Впрочемъ, въ послѣднее время, обнаружались нѣкоторые признаки, по которымъ можно судить, что уже предпринята не одна попытка къ удовлетворенію этой потребности. Еще въ 1839 году, г. Максимовичъ издалъ первую часть своей «Исторіи Древней Русской Словесности»: когда выйдетъ вторая часть, и выйдетъ ли она когда-нибудь, — намъ не извѣстно, и потому эта попытка доселѣ остается попыткою, неперешедшею въ дѣло. Вышедшая теперь въ свѣтъ первая часть «Опыта Исторіи Русской Литературы» г. Никитенко, была упреждена многочисленными чтеніями г. Шевырева въ «Москвитянинѣ», касающимися до исторіи древней, преимущественно теологической, русской словесности, и предвѣщающими появленіе полной исторіи всей русской литературы. Къ этому мы можемъ присовокупить, что готовится и еще сочиненіе по тому же предмету, подъ именемъ «Критической Исторіи Русской Литературы» (преимущественно новой, съ обзорѣніемъ, въ видѣ введенія, произведеній народной поэзіи); впрочемъ, мы ничего не можемъ сказать положительнаго о времени выхода этого сочиненія. Во всякомъ случаѣ, нельзя не желать, чтобъ всѣ эти сочиненія вышли какъ можно скорѣе, вполнѣ оконченныя: каковы бы ни были ихъ направленія и степень достоинства — они не могутъ не способствовать довольно сильно движенію общественнаго сознанія въ столь важномъ предметѣ, какъ отечественная литература. И чѣмъ различнѣе и противоположнѣе въ своихъ взглядахъ и направле-



ніяхъ будутъ всѣ эти сочиненія, тѣмъ больше принесутъ они пользы.

Есть три способа знакомиться съ литературою и изучать ее. Первый — чисто-критическій, который состоитъ въ критическомъ разборѣ каждаго замѣчательнаго писателя; второй — чисто-историческій, который состоитъ въ обзорѣ хода и развитія всей литературы: здѣсь обращается больше вниманія на эпохи и на школы литературы, чѣмъ на отдѣльныя дѣйствующія лица. Третій способъ состоитъ въ соединеніи, по возможности, обоихъ первыхъ. Этотъ способъ самый лучший. Во всякомъ случаѣ, вліяніе и важность критики не подвергаются никакому сомнѣнію. Первымъ критикомъ и, слѣдовательно, основателемъ критики въ русской литературѣ былъ Карамзинъ. Самая замѣчательная его критическая статья была «О Богдановичѣ и его сочиненіяхъ»; къ числу критическихъ же его статей должно отнести и статью «Пантеонъ Россійскихъ Авторовъ», въ которой онъ сообщаетъ краткія извѣстія, не чуждаясь мѣстами критическаго взгляда, о старинныхъ писателяхъ — Несторѣ, Никонѣ, Матвѣевѣ (Артемонѣ Сергѣевичѣ), царевнѣ Софіи, Симеонѣ Полоцкомъ, Дмитріи Тупталѣ, Теофанѣ Прокоповичѣ, князѣ Хилковѣ, князѣ Кантемирѣ, Татищевѣ, Климовскомъ, Буслаевѣ, Тредіаковскомъ, Сильвестрѣ Кулябкѣ, Крашенинниковѣ, Барковѣ, Геденѣ, Димитріи Сѣченовѣ, Ломоносовѣ, Сумароковѣ, Ѳедорѣ Эминѣ, Майковѣ, Поповскомъ, Поповѣ. Не говоримъ о множествѣ мелкихъ рецензій Карамзина въ его «Московскомъ Журналѣ» и «Вѣстникѣ Европы», — рецензій, которыми онъ такъ много способствовалъ къ очищенію и утвержденію вкуса публики. — Кромѣ Карамзина, какъ критикъ, заслуживаетъ почетнаго упоминенія современникъ его, Макаровъ, изъ критическихъ статей котораго особенно замѣчательны: «Сочиненія и переводы Ивана Дмитріева» и «Разсужденіе о ста-

ромъ и новомъ слоgъ россійскаго языка». Онѣ были напечатаны въ его журналѣ: «Московскій Меркурій», который онъ издавалъ въ 1803 году. — Черезъ нѣсколько лѣтъ, Жуковский написалъ двѣ критическія статьи «О Сатирахъ Кантемира» и «Басняхъ Крылова». Батюшковъ разобралъ сочиненія Муравьева (М. Н.) и писалъ объ «Освобожденномъ Іерусалимѣ» Тасса и сонетахъ Петрарки. — Князь Вяземскій долженъ быть упомянутъ, какъ одинъ изъ первыхъ критиковъ эпохи русской литературы до двадцатыхъ годовъ: онъ написалъ «О Жизни и Сочиненіяхъ Озерова», «О Державинѣ» (по случаю смерти великаго поэта; статья эта напечатана въ «Вѣстникѣ Европы» 1816 года, N 15) и другія критическія статьи, въ свое время очень замѣчательныя. Но критикомъ по ремеслу, критикомъ ex-officio, во второе десятилѣтіе настоящаго вѣка, былъ Мерзляковъ, писавшій въ особенности о Сумароковѣ и Херасковѣ. Въ то же время, Мерзляковъ былъ и теоретикомъ поэзіи, какъ искусства. — Въ началѣ двадцатыхъ годовъ, критики начали размножаться, и въ альманачныхъ «обозрѣніяхъ литературы» за тотъ или другой годъ видны попытки дѣлать очерки исторіи русской литературы. Представителями этой критики, поверхностной, безотчетной, но безпокойной и горячей, ратовавшей за такъ называемый романтизмъ противъ такъ называемаго классицизма, — критики, распространившей много поверхностныхъ и неосновательныхъ мыслей, но и принесшей большую пользу сближеніемъ литературы съ жизнью, — представителями этой критики были Марлинскій и г. Полевой. Последній около десяти лѣтъ былъ главнымъ органомъ русской критики, черезъ свой журналъ — «Московскій Телеграфъ». Потомъ, въ 1839 году, онъ издалъ, подъ именемъ «Очерковъ Русской Литературы», свои важнѣйшія критическія статьи, въ двухъ томахъ: въ нихъ онъ показалъ крайніе пре-

дѣлы, до которыхъ могла доходить наша такъ называемая романтическая критика, — равно какъ и собственная его критическая тенденція. Въ самомъ дѣлѣ, еще до выхода этихъ двухъ томовъ, г. Полевой уже отсталъ отъ самого себя, и началъ издавать такія произведенія, которыя еще такъ недавно и такъ жестоко преслѣдовала его критика и въ принципѣ и въ исполненіи. Поэтому, на его «Очерки Русской Литературы» можно смотрѣть, какъ на памятникъ, сооруженный авторомъ своей критической славы. — Г. Шевыревъ вышелъ на поприще критики вскорѣ послѣ г. Полеваго. До тридцатыхъ годовъ, характеръ и направленіе его критики носили отпечатокъ знакомства съ нѣмецкими эстетиками и вообще съ нѣмецкою литературою. Въ критикѣ его замѣтно было присутствіе чего-то похожаго на принципъ и потому въ ней меньше было произвольныхъ мнѣній, чѣмъ въ критикѣ г. Полеваго; но со стороны таланта, г. Шевыревъ далеко уступалъ г. Полевому, — и потому послѣдній имѣлъ большое вліяніе на современную ему литературу, а первый не имѣлъ на нее почти никакого вліянія. Съ тридцатыхъ годовъ, критика г. Шевырева приняла какое-то quasi-итальянское направленіе; по крайней мѣрѣ онъ безпрестанно, и кстати и некстати, толковалъ о Дантѣ, Петраркѣ и Тассѣ, говоря о русскихъ писателяхъ. Это, вѣроятно, было слѣдствіемъ его пребыванія въ Италіи. Въ эту-то итальянскую эпоху своей критики, г. Шевыревъ, во первыхъ, напечаталъ знаменитое свое стихотвореніе, названное имъ: «Чтеніе Данта», и начинающееся этимъ бессмертнымъ стихомъ:

Что въ морѣ купаться, то Данта читать!

во вторыхъ, учинилъ два безцѣнныхъ критическія открытія касательно русской литературы: первое сдѣлано имъ по поводу разбора «Трехъ Повѣстей», Н. Павлова, и мы передаемъ его, это открытіе, словами самого изобрѣтателя, г. Шевырева:

«Жизнь есть какое-то складное бюро, со множеством ящичков, между которыми есть одинъ глубокий, тайный ящикъ съ пружиной. Всѣ повѣствователи шарятъ въ этомъ бюро, но не всякому извѣстна пружина закрытаго ящика. Въ немъ-то лежитъ тайна повѣсти истинной, повѣсти глубокой. Авторъ повѣстей, мною разбираемыхъ, нашелъ путь къ этому секрету; онъ открылъ въ немъ маленькій уголокъ; но этотъ ящикъ чрезвычайно сложенъ. Въ немъ такъ много пружинокъ и пружинокъ. Есть надежда, что и тѣ онъ откроетъ со временемъ, послѣ такого прекраснаго начала; но есть святое мѣсто этого ящика, которое надо непременно заранѣе открыть всякому повѣствователю, но которое нашъ авторъ только что вскрылъ слегка, коснулся одной его поверхности. Въ этомъ ящикѣ лежитъ вещь, сильно дѣйствующая въ нашемъ мірѣ, лежитъ половина насъ самихъ а иногда и всѣ мы. Это сердце женское». («Московскій Наблюдатель» 1835, часть 1, стр. 122).

Кто не согласится, что это открытіе очень оригинально?.. Второе открытіе, уже чисто-литературное, еще оригинальнѣе. Разбирая стихотворенія г. Бенедиктова, г. Шевырева, съ свойственною критическою проникающею, замѣтилъ, что въ русской поэзіи, до появленія г. Бенедиктова, не было мысли;—замѣтите: не было мысли въ поэзіи, которой представителями были Державинъ, Фонъ-визинъ, Крыловъ, Жуковский, Батюшковъ, Пушкинъ и Грибоѣдовъ,—а, по мнѣнію г. Шевырева, ея представителями были еще и гг. Языковъ, Хомяковъ и tutti quanti... Вотъ его собственныя слова: «Это была эпоха изящнаго матеріализма въ поэзіи... Слухъ нашъ дрожалъ отъ какой-то роскоши раздражительныхъ звуковъ... упивался ими, скользилъ по нимъ, иногда не вслушиваясь въ нихъ... Воображеніе наслаждалось картинами, но болѣе чувственными... Иногда только внутреннее чувство, чувство сердечное и особенно чувство грусти неземной, вѣяло тѣмъ-то духовнымъ въ нашей поэзіи... Но матеріализмъ торжествовалъ надъ всѣмъ... Формы убивали духъ... Нѣжные, сладкіе, упоительные звуки оплетали насъ своею невидимою сѣтью...» («Московскій Наблюдатель», 1835, N 11, стр. 442). Итакъ, въ этой поэзіи не доставало мысли: г. Бенедиктовъ — первый

поэтъ, въ поэзіи котораго нѣтъ матеріальности — одна духовность, т. е. проникновеніе мыслію, и потому г. Шевыревъ, въ восторгѣ отъ своего открытія, воскликнулъ: «Вотъ почему съ особенною радостью встрѣчаю я такого поэта, въ первыхъ прелюдіяхъ котораго доносится мнѣ сквозь матеріальные звуки эта глубокая, тайная, прожитая дума, одна возможная спасительница нашей поэзіи!» (Ibid. стр. 443).

Въ этомъ можно на-слово повѣрить г. Шевыреву: онъ самъ поэтъ, и ему ли не знать толка въ поэзіи! Потому-то, онъ мало того, что расхвалилъ г. Бенедиктова, но и нашелъ въ его стихахъ мысль, которой не находилъ даже въ созданіяхъ Пушкина! Въ эту же итальянскую эпоху своей критики, г. Шевыревъ пустился было на изобрѣтеніе русской октавы, по примѣру итальянской; но предпріятіе такъ же точно не удалось, какъ и введеніе гекзаметровъ въ русскую поэзію другимъ извѣстнымъ поэтомъ, критикомъ и профессоромъ. Можетъ-быть, октавы потому не восторжествовали, что въ поэтическомъ достоинствѣ нисколько не превосходили упомянутые гекзаметры, хотя между тѣми и другими легло чуть не столѣтіе...

Въ первую эпоху своей критической дѣятельности, г. Шевыревъ дѣйствовалъ въ «Московскомъ Вѣстникѣ» г. Погодина (1827—1830); во вторую—въ «Московскомъ Наблюдателѣ» г. Андросова (1835 — 1837). Но онъ не ограничился этими двумя эпохами, и теперь обрѣтается въ третьей, въ которой онъ отступился не только отъ Германіи, но и отъ Италіи, равно какъ и отъ всего Запада. Эта третья эпоха—восточная, славянофильская; ея дѣятельность проявилась въ «Москвитинѣ». Она ознаменовалась многими любопытными и оригинальными открытіями и изобрѣтеніями, такъ что перечестъ ихъ все нѣтъ никакой возможности; но лучшимъ изъ нихъ кажется намъ замѣчаніе о Лермонтовѣ, какъ подражателѣ не только Пушкина и Жуковскаго, но даже и г. Бенедиктова!...

Много было и других критиковъ, изъ которыхъ каждый чѣмъ-нибудь да прославилъ себя: одинъ «душегрѣйкою новѣйшаго унынія»; другой—мыслию, что Пушкинъ не болѣе, какъ легкій и пріятный стихотворецъ, мастеръ на мелочи, что герои поэмъ его — бѣсената, и что изящество его произведеній есть не болѣе, какъ изящество хорошо-спитаго моднаго фрака; а Ломоносовымъ-де не налюбоваться «въ сытость» и позднѣйшему потомству, и что Шекспиръ и Байронъ неомовенными руками возлагали возгребія нечистыя и уметы поганыя на алтарь чистыхъ дѣвъ, сирѣчь, музъ... <sup>1)</sup>). Третій снискалъ себѣ безсмертную славу просто прославленіемъ писателей своего прихода и бранью на чужихъ; четвертый похвалою и бранью однимъ и тѣмъ же лицамъ, смотря по обстоятельствамъ и погодѣ. Обо всѣхъ такихъ мы умалчиваемъ. Наша цѣль была поименовать только главнѣйшихъ дѣйствующихъ на поприщѣ критики, въ различные эпохи русской литературы.

Изъ этого краткаго обзора видно, что каждая эпоха русской литературы имѣла свое сознаніе о самой себѣ, выражавшееся въ критикѣ. Но ни одна эпоха не выразила этого сознанія о цѣлой литературѣ, въ историческомъ изложеніи ея хода и развитія. Были попытки, но до того ничтожныя, что не стоить и упоминать о нихъ. Впрочемъ, такъ называемый «Краткій опытъ исторіи русской литературы», г. Греча, имѣетъ, по крайней мѣрѣ, достоинство литературнаго адресъ-календаря и справочной книги о времени рожденія, смерти, о служебномъ поприщѣ, чинахъ, орденахъ и времени появленія въ свѣтъ сочиненій значительной части нашихъ писателей. Какъ справочная книга, она очень полезна для современниковъ и будетъ полезна даже для отдаленнѣйшаго потомства, которое узнаетъ

<sup>1)</sup> Все это факты не только не преувеличенные, но еще ослабленные нами. Еслибъ нужно было, мы представили бы *печатныя* доказательства, что такимъ слогомъ писалась критика назадъ тому лѣтъ восемнадцать.

изъ нея, что старинные литераторы и поэты были вмѣстѣ и чиновники. Что же касается до прагматической и критической стороны этой книги, — смѣшно и говорить о ней. Многие изъ нашихъ читателей изъявляли намъ свое удивленіе, что мы рѣшились на серьезный и дѣльный разборъ новаго изданія «Учебной Книги Русской Словесности», вмѣсто того, чтобъ посмѣшить публику забавною рецензіею на эту поистинѣ забавную книгу. Мы очень рады случаю объяснить на этотъ счетъ съ читателями. Во первыхъ, мы хотѣли быть полезны многочисленному классу учащихся и учащихся «россійской словесности», для которой на русскомъ языкѣ нѣтъ ни одного сколько-нибудь сноснаго руководства. Во вторыхъ, сочинителя этой невѣроятной книги мы хотѣли лишить всякой возможности утѣшить себя мыслию, что наша статья — брань безъ доказательствъ и что она внушена намъ завистью и недоброжелательствомъ къ автору такого превосходнаго учебника... Безъ этихъ причинъ, которыя, конечно, гораздо важнѣе для насъ, чѣмъ для нашихъ читателей, — мы никакъ не рѣшились бы съ важностью доказывать, что книга, въ которой все — противорѣчіе, никуда не годится. Поступивъ такъ, мы за одинъ разъ вырвали зло съ корнемъ, — и жалкаго учебника теперь какъ не бывало!... Есть и еще книга, претендующая знакомить своихъ читателей съ исторіею русской литературы. Это — «Руководство къ познанію литературы», г. Плаксина. Но г. Плаксинъ даже не означилъ въ заглавіи своей книги — какой литературы хочетъ онъ повѣствовать исторію; за то, въ самой книгѣ, рассказавъ кратко исторію литературъ еврейской, индійской, греческой, римской, и объяснивъ духъ новыхъ литературъ, классицизмъ и романтизмъ, пространство изложилъ исторію русской литературы. Эта книга — повѣрять ли? — далеко ничтожнѣе книги г. Греча... Впрочемъ, всѣ учебники и ученые сочиненія такого рода равно никуда не годятся по

совершенному отсутствію въ нихъ всякаго начала, которое проникало бы собою всѣ ихъ сужденія и приговоры и давало бы имъ единство. Для г. Плаксына, напимѣръ, и Пушкинъ — поэтъ, и Херасковъ — тоже поэтъ, да еще какой!... Есть ли тутъ что-нибудь похожее на взглядъ, на образъ мыслей, на мнѣніе, на убѣжденіе, на принципъ? Не такъ мыслилъ и понималъ въ этомъ отношеніи, напимѣръ, Мерзляковъ. Можно не соглашаться съ его системою и даже считать ее ложною; но нельзя не видѣть въ ней ни самобытнаго мнѣнія, ни послѣдовательности въ доказательствахъ и выводахъ. Каково бы ни было его начало, онъ вѣренъ ему и ни въ чемъ не противорѣчить самому себѣ. Признавая великимъ поэтомъ Ломоносова, находя поэтическія достоинства и красоты въ сочиненіяхъ Сумарокова, Хераскова и Петрова, — Мерзляковъ не видѣлъ (потому что не могъ видѣть, оставаясь вѣрнымъ своему началу) въ Пушкинѣ великаго поэта. И потому, вы или вовсе отвергнете основное начало критики Мерзлякова и, следовательно, его выводы, или во всемъ согласитесь съ нимъ. А у этихъ господъ все смѣшано и перемѣшано: въ ихъ книгѣ мирно уживаются самыя разнородныя, противорѣчащія понятія, — и то, что дважды-два — четыре, и то, что дважды-два — пять съ половиною...

Тѣмъ важнѣе теперь появленіе всякаго опыта исторіи русской литературы, хоть сколько-нибудь отличающагося самостоятельнымъ взглядомъ на предметъ и послѣдовательностью въ выводахъ. Но опытъ г. Никитенко далеко не принадлежитъ къ числу какихъ-нибудь и сколько-нибудь сносныхъ или порядочныхъ опытовъ: онъ общаетъ гораздо больше. Говоримъ, общаетъ, потому что «Опытъ» пока состоитъ еще только въ одномъ введеніи; но это введеніе тѣмъ не менѣе даетъ надѣяться читателю найти въ исторіи русской литературы г. Никитенко сочиненіе прекрасное и по взгляду на пред-



метъ и по изложенію содержанія, — сочиненіе, болѣе чѣмъ прекрасное, сочиненіе дѣльное. Но пока оно еще не въ рукахъ публики, пока мы еще не прочли его, поговоримъ пока не о будущемъ, а о настоящемъ, поговоримъ о «Введеніи», тѣмъ болѣе, что, обѣщая хорошую исторію русской литературы, оно, въ тоже время, и само по себѣ, какъ отдѣльное произведеніе, заслуживаетъ большаго вниманія. Содержаніе этого «Введенія» само по себѣ можетъ служить предметомъ особеннаго сочиненія, и потому, пока не явятся въ свѣтъ остальные части труда г. Никитенко, — мы имѣемъ право рассмотреть его «Введеніе», какъ само по себѣ полное и оконченное сочиненіе.

Вотъ предметы, которые разсматриваются во «Введеніи» къ исторіи русской литературы: 1) идея и значеніе исторіи литературы; 2) методъ изученія исторіи литературы; 3) источники исторіи литературы; 4) идея и значеніе исторіи литературы русской; 5) раздѣленіе исторіи русской литературы на періоды. Этотъ простой перечень главъ, изъ которыхъ состоитъ «Введеніе», много говоритъ въ пользу сочиненія, свидѣтельствуя, что авторъ началъ съ начала и принялся за тѣ вопросы, рѣшеніе которыхъ должно быть положено во главу, краеугольнымъ камнемъ исторіи русской литературы, и что, въ послѣдующихъ частяхъ труда его, изложеніе фактовъ будетъ озарено свѣтомъ мысли. Мы сейчасъ увидимъ, какъ счастливо успѣлъ авторъ избѣжать двухъ крайностей, которыя для писателей бываютъ сциллою и харибдою — успѣлъ избѣжать односторонняго идеализма, гордо отвергающаго изученіе фактовъ, и односторонняго эмпиризма, который дорожитъ только жертвою буквою и, набирая фактъ на фактъ, подавляется безполезнымъ избыткомъ собственныхъ приобрѣтеній и завоеваній. Авторъ «Введенія» начинается прямымъ нападеніемъ на послѣднюю крайность.....

Въ мысли, въ идеѣ, видитъ авторъ таинственную психею народной жизни, которая составляетъ содержаніе исторіи; а преимущественное откровеніе этой мысли, этой идеи, видитъ онъ въ словѣ. «Человѣкъ», говоритъ онъ, «есть органъ мысли: это верховнѣйшее изъ его преимуществъ, долгъ его, злополучіе и благо» (стр. 6). По нашему мнѣнію, думать такъ, значить — думать справедливо объ исторіи. «Несмотря одна-кожъ» (говоритъ авторъ) «ни на очевидность успѣховъ мыслительной дѣятельности, ни на требованія вѣка, многіе писатели не совсѣмъ еще чуждаются прежней методы и воззрѣній исторіи. Направленіе, характеръ мысли народной, выраженные въ словѣ, судьба науки и литературы у нихъ все еще составляетъ одно какое-то дополненіе къ жизни внѣшней. Они, кажется, и до сихъ поръ не довольно вникли въ тѣсную органическую связь глубокихъ внутреннихъ явленій этого рода со внѣшними; ихъ не слѣдуетъ разлучать тамъ, гдѣ дѣло идетъ о полнотѣ знанія. Такое положеніе науки дѣлаетъ необходимымъ специализированіе главнѣйшихъ элементовъ исторіи, и мы принуждены изъ исторіи литературы составлять особую науку, тогда какъ настоящее ея мѣсто въ общей великой наукѣ, обнимающей жизнь и судьбу народа въ цѣлости и нераздѣльно» (стр. 9—10). Вотъ истинный взглядъ на исторію литературы! Исторія народа есть исторія развитія мысли, выраженной и непосредственною и сознательною стороною жизни народа, а мысль народа преимущественно выражается въ его литературѣ, потому что обнаруживается въ ней прямо и сознательно. Правда, литература не есть исключительное и полное выраженіе умственной жизни народа, которая еще высказывается и въ искусствѣ въ обширномъ значеніи этого слова. Громадные храмы Индіи, высѣченные изъ скалъ, построенные изъ горъ, стоятъ «Махабгараты» или «Рамаяны»; изящные памятники древней греческой архитек-

туры и скульптуры составляютъ какъ-бы одно съ «Иліадою», «Одиссеею» и трагедіями; огромныя римскія зданія, ознаменованныя печатію гражданскаго и государственнаго величія, не менѣе повѣствованій Тита Ливія и Тацита, не менѣе Юстиніанова кодекса свидѣтельствуютъ о бытіи народа, который былъ державнымъ владыкою міра, властелиномъ царей и народовъ, и который, даже по смерти своей, внесъ преобладающій элементъ своей жизни въ жизнь новѣйшихъ народовъ Европы, ознакомивъ ихъ съ лучшими идеями о правѣ. Въ готическихъ соборахъ, картинахъ и музыкѣ мастеровъ среднихъ вѣковъ жизнь этой по преимуществу религіозно-христіанско-католической эпохи отразилась едва ли еще не полнѣе и роскошнѣе, нежели въ поэмѣ Данте и романсахъ менестрелей. И теперь, въ наше время, жизнь, народовъ выражается не въ одной литературѣ, а только преимущественно въ литературѣ. Это, впрочемъ, было и всегда, за исключеніемъ развѣ среднихъ вѣковъ. Кромѣ того, что литература объемлетъ собою несравненно обширнѣйшій кругъ народнаго сознанія, нежели всякое другое искусство, — ея памятники прочнѣе, несокрушимѣе, вѣковѣчнѣе, потому что она, по сущности своей, духовнѣе другихъ искусствъ, менѣе зависитъ отъ матеріальныхъ средствъ.

Но здѣсь есть недоразумѣніе: мы назвали литературу искусствомъ и противопоставили ее другимъ искусствамъ. Это не совсѣмъ опредѣлительно, и на этотъ счетъ надо яснѣе выразиться; надо начать съ начала, надо опредѣлить литературу, съ точностью указать, что входитъ въ ея кругъ, съ чѣмъ она соприкасается, и что должно исключать изъ ея круга. Авторъ «Опыта», какъ и должно, не миновалъ этого вопроса, но разсмотрѣлъ и по своему рѣшилъ его. Онъ начинаетъ разсматривать его съ отношеній между частнымъ и общимъ, національнымъ и общечеловѣческимъ, и въ основу сокровенной

внутренней жизни литературы полагаетъ общія всему чело-  
вѣчеству идеи разума...

Во всемъ, что онъ говоритъ по этому поводу, много исти-  
ны, и все очень близко къ истинѣ, многое выражено необы-  
кновенно удачно и опредѣленно; но намъ кажется, что тутъ  
вопросъ рѣшенъ не вполне удовлетворительно. Прежде всего  
обратимъ вниманіе на то, что г. Никитенко противопостав-  
ляетъ науку литературѣ. Это не совсѣмъ вѣрно съ его  
же собственной точки зрѣнія на литературу, потому что подъ  
его опредѣленіе литературы (стр. 24—25) подходитъ и на-  
ука, какъ «мысль человѣческая, возникающая у народа вмѣ-  
стѣ съ нимъ изъ его духа, жизни, историческихъ и мѣстныхъ  
обстоятельствъ, и посредствомъ слова выражающая свое на-  
родочеловѣческое развитіе подъ совокупнымъ вліяніемъ вер-  
ховныхъ и всеобщихъ идей истиннаго и изящнаго». Повтора-  
емъ: это опредѣленіе такъ же идетъ и къ наукѣ, какъ и къ  
литературѣ, и по этому самому не выражаетъ вѣрно ни той,  
ни другой. Содержаніе науки и литературы одно и то же —  
истина; слѣдовательно, вся разница между ними состоитъ  
только въ формѣ, въ методѣ, въ пути, въ способѣ, которыми  
каждая изъ нихъ выражаетъ истину. Такъ какъ у обѣихъ одно  
и то же орудіе выраженія — слово, то и отдѣлить ихъ другъ  
отъ друга можно только на существенномъ отличіи. Лите-  
ратура, въ обширномъ значеніи, обнимаетъ собою и науку,  
и потому говорится: литература исторіи, литература химіи,  
литература медицины и т. д. Такимъ образомъ, въ этомъ  
смыслѣ, сама наука относится къ литературѣ, какъ видъ къ  
роду, какъ часть къ цѣлому. Противопоставивъ литературѣ  
науку, авторъ хотѣлъ яснѣе и точнѣе опредѣлить первую че-  
резъ ея противоположность. Цѣль хорошая и средство вѣрное;  
но тутъ есть ошибка, которая парализовала средство и не  
допустила вполне достигъ цѣли: авторъ упустилъ изъ вида

искусство, которое и слѣдовало противопоставить литературѣ, чтобъ точно и вѣрно опредѣлить послѣднюю. Но, можетъ быть, мы сами ошибаемся, и авторъ подъ литературою разумѣетъ именно искусство? Въ такомъ случаѣ, его ошибка дѣлается еще бѣльшею. Во первыхъ, подъ его опредѣленіе литературы искусство никакъ не подойдетъ, потому что въ этомъ опредѣленіи нѣтъ ни слова о творчествѣ; во вторыхъ, литература состоитъ не изъ однихъ только произведеній искусства. Говоря объ искусствѣ по поводу литературы, должно разумѣть искусство словесное, т. е. поэзію. Опредѣлить поэзію — значитъ опредѣлить искусство вообще, т. е. столько же опредѣлить и архитектуру, и скульптуру, и живопись, и музыку, сколько и поэзію, потому что послѣдняя отъ первыхъ разнится не сущностью, а способомъ выраженія. Правда, этотъ способъ, т. е. слово, дѣлаетъ ее выше всѣхъ другихъ искусствъ и производитъ цѣлый кругъ эстетическихъ законовъ только ей одной свойственныхъ и всякому другому искусству чуждыхъ. Но это показываетъ только, что теорія поэзіи существенно раздѣляется на двѣ части — общую и прикладную: въ первой объясняется значеніе искусства вообще и излагаются законы, равно общіе всѣмъ искусствамъ; а во второй поэзія разсматривается какъ особенное искусство, имѣющее свои, только ей свойственные законы. Вотъ это-то словесное или литературное искусство, т. е. поэзія, и должно противоположиться наукѣ для взаимнаго опредѣленія той и другой, какъ двухъ самостоятельныхъ областей литературы. Въ такомъ случаѣ, ихъ различіе очевидно: наука — область спекулативнаго, діалектическаго развитія истины, какъ мысли прямо, безъ всякаго посредства образовъ. Главный дѣтель науки — умъ, и всего менѣе фантазія. Искусство, слѣдовательно, и поэзія, есть, напротивъ, непосредственное развитіе истины, въ которомъ мысль высказывается черезъ

образъ, и въ которомъ главный дѣтель есть фантазія. Наука, разлагающею дѣтельностью разсудка, отвлекаетъ общія идеи отъ живыхъ явленій. Искусство, творящею дѣтельностью фантазіи, общія идеи являетъ живыми образами. Наука мертва для непосвященнаго въ ея таинства; искусство оказываетъ свое вліяніе иногда надъ самыми грубыми и невѣжественными людьми. Наука требуетъ всей жизни человѣка, всего человѣка; искусство болѣе или менѣе дается почти всякому. Наука дѣйствуетъ мыслию прямо на умъ; искусство дѣйствуетъ непосредственно на чувство человѣка. Это два полюса совершенно противоположные. Только въ исторіи, наука и искусство соединяются вмѣстѣ для достиженія одной и той же цѣли, потому что въ наше время, исторія есть столько же ученое, по внутреннему содержанію, сколько художественное, по изложенію, произведеніе. Доселѣ мы говорили о наукѣ спекулятивной, которая весь міръ явленій переводитъ на языкъ мысли, идеи, и въ которой бытіе является единымъ изъ самого себя вѣчно развивающимся идеальнымъ началомъ: другая наука — наука опытная, эмпирическая, терпѣливымъ и постояннымъ трудомъ медленно, шагъ за шагомъ, пріобрѣтающая и приготовляющая поприще для завоеваній мысли, — эта наука тоже противоположна искусству. Она находитъ, разлагаетъ, сравниваетъ, приводитъ въ порядокъ безконечный міръ фактовъ, классифируетъ ихъ. Она тоже не для толпы, а для избранныхъ, тоже требуетъ всей жизни человѣка, всего человѣка, также имѣетъ своихъ героевъ и мучениковъ.

Итакъ, вотъ первое различіе науки отъ искусства въ отношенія къ обществу: тайны ея, т. е. процессъ ея дѣтельности, доступенъ только для посвященныхъ, для тружениковъ, по страсти обреченныхъ себя ея служенію, — слѣдовательно, для самой малѣйшей части общества; результаты же науки доступны уже для большей части общества, т. е. не для однихъ ученыхъ, но

и для дилеттантовъ. Искусство, напротивъ, по его доступности, существуетъ для всѣхъ, хотя и не въ равной мѣрѣ, и не для всѣхъ одинаково.

Искусство существуетъ даже для дикихъ народовъ. Пѣснью дикарь торжествуетъ свою побѣду надъ врагомъ; пѣснью возбуждаетъ онъ въ себѣ воинственный пылъ, готовясь на битву; въ пѣснѣ изливается онъ и горе и радость. Но неизмѣримое пространство раздѣляетъ народную пѣсню отъ художественной поэмы или драмы. Въ образованныхъ обществахъ (у которыхъ однихъ можетъ быть художественная поэзія), художественныя произведенія имѣютъ обширный кругъ читателей, а драматическая поэзія, черезъ театръ, дѣлается доступною даже безграмотнымъ людямъ. Однакожъ изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобъ художественныя произведенія были не только доступны всему обществу, но и вполне доступны только его меньшей части. Для полнаго, истиннаго постиженія искусства, а слѣдовательно, и полнаго, истиннаго наслажденія имъ, необходимо основательное изученіе, развитіе; — эстетическое чувство, получаемое человѣкомъ отъ природы, должно возвыситься на степень эстетическаго вкуса, пріобрѣтаемаго изученіемъ и развитіемъ. А это возможно только для тѣхъ, кто на искусство смотритъ не какъ на пріятное препровожденіе времени, веселое занятіе отъ нечего-дѣлать, или легкое средство отъ скуки, но кто видитъ въ искусствѣ серьезное дѣло, требующее размышленія, вызывающее на мысль, развивающее и умъ и сердце. Искусство должно имѣть не однихъ только дилеттантовъ, но и жрецовъ, героевъ и мучениковъ, которые, не производя ничего сами, тѣмъ не менѣе занимаются имъ какъ дѣломъ своей жизни, какъ своимъ назначеніемъ, горячо берутъ къ сердцу его успѣхи, его ослабленіе, его упадокъ; изучая его сами, объясняютъ его другимъ. Это та же наука, та же ученость, потому что для истиннаго постиженія искусства, для истиннаго наслажденія имъ

нужно много и много, всегда и всегда учиться, и притомъ учиться многому такому, что, повидимому, находится совершенно внѣ сферы искусства. Сами дилеттанты, эти любезники искусства, ищущіе въ немъ только наслажденія и развлеченія, сами дилеттанты раздѣляются на множество разрядовъ, по степени ихъ страсти, или пристрастія къ искусству. Для толпы же собственно существуютъ только результаты искусства, и то безъ ихъ вѣдома и сознанія: само искусство вовсе не существуетъ для нея, такъ же какъ и наука. Толпа никогда не понимаетъ высшихъ произведеній искусства, и они рѣдко ей нравятся, потому что, какъ мы сказали выше, искусство требуетъ изученія, требуетъ особеннаго посвященія въ его таинства. А между тѣмъ, необходимо, чтобъ и у толпы было свое искусство, своя литература. И толпа имѣетъ то и другое въ такъ называемой бельетристикѣ, за неимѣніемъ другаго, болѣе опредѣлительнаго термина. Дѣятели бельетристики—таланты, иногда большіе, всего чаще малые. Бельетристика (*belles-lettres*) есть ежедневная пища общества, которая перемѣняется ежедневно, потому что одни и тѣ же блюда скоро надоѣдаютъ. Бельетристика относится къ искусству, какъ гравюры и литографіи относятся къ картинамъ, какъ статуэтки и фигурки, бронзовыя, мраморныя и гипсовыя, — къ вѣковѣчнымъ произведеніямъ скульптуры, къ статуямъ Венеры-медичейской и Аполлона-бельведерскаго. Какъ бы ни была хороша гравюра или литографія, хотя бы это была мастерская копія съ мастерской картины, она—не болѣе, какъ украшеніе вашей комнаты, украшеніе, которое скоро наскучаетъ, и вы спѣшите замѣнить ее другою, какъ спѣшите перемѣнить мебель, обои вашихъ комнатъ, занавѣски вашихъ оконъ, сообразуясь съ требованіями моды. Но если вы владѣете картиною великаго мастера и если умѣете понимать ее, — она никогда не наскучитъ вамъ, вы никогда не выучите ее наизусть, но всегда будете открывать въ ней



новыя красоты, прежде незамѣченныя вами; вы повѣсите ее не для украшенія комнаты, потому что комната, какъ бы ни была великолѣпна, такъ же не стоитъ этой картины, такъ же недостойна украшаться ею, какъ не стоитъ она человека. И вы для этой картины выберете не лучшую, не великолѣпнѣйшую, не роскошнѣйшую, а удобнѣйшую, хотя бы и самую простую комнату вашего дома, — комнату, которая должна быть удобно для картины освѣщена, и въ которой не должно быть никакихъ игрушекъ. Изъ сказаннаго видно, въ чемъ состоитъ существенная разница между художественными и бельетристическими произведеніями. Вѣдь и гравюра и статуэтка принадлежать къ области изящнаго, и въ нихъ есть и творчество и художественность; но въ какой мѣрѣ — вотъ вопросъ! Мало этого: всѣ эти игрушки, всѣ домашнія принадлежности — лампы, жирандоли, шандалы, чернильницы, прессъ-папье, сигарочницы, мебель и пр. и пр., — всѣ эти вещи теперь дѣлаются съ такимъ вкусомъ, такимъ изяществомъ, что тѣ, которые изобрѣтаютъ ихъ форму, болѣе имѣютъ право называться артистами, нежели мастеровыми. Но естественно, что гравюры и статуэтки стоятъ еще на высшей степени художественности, нежели домашняя утварь, и болѣе, нежели она, принадлежать къ міру изящнаго. Итакъ, гдѣ же, въ чемъ жета рѣзкая черта, которая отдѣляетъ искусство отъ бельетристики? — Рѣзкой черты нѣтъ и быть не можетъ, такъ же какъ, въ психологическомъ мірѣ, нѣтъ рѣзкой черты между геніяльностью и бездарностью, умомъ и глупостью, красотою и безобразіемъ, потому что между всѣми этими крайностями есть посредствующія звенья, переходы и оттѣнки незамѣтные и невидимые. Рѣзкой черты нѣтъ, но черта есть. Истинно-художественное произведеніе безсмертно; оно составляетъ вѣчный капиталъ литературы. Оно, при своемъ появленіи, иногда можетъ быть даже не узнано и не признано современниками, не только тол-

пою, но и учеными; однакожь, оно возьметъ свое, и будущія поколѣнія преклонятся передъ нимъ, вдохновенныя вѣющимъ въ немъ духомъ новой жизни. Бельетристическія произведенія, напротивъ, могутъ добиваться только развѣ долговѣчности, но никогда не достигнуть безсмертія; они рождаются тысячами, — тысячами и умираютъ; вчера еще побѣдоносныя, владѣвшія вниманіемъ свѣта, восхищавшія и радовавшія его, веселыя, гордыя, свѣжія, живыя, яркія, блестящія, — сегодня они уже блекнутъ, вянутъ, а завтра ихъ нѣтъ. Всего болѣе и всего чаще, они имѣютъ огромный успѣхъ при своемъ появленіи; толпа тотчасъ же провозглашаетъ ихъ гениальными произведеніями, кроетъ ихъ нехочетъ ничего знать, ничего читать, ни о чемъ слышать, ни о чемъ говорить; но время идетъ, и колоссальное, великое произведеніе умираетъ вмалѣ, а неблагодарная толпа забываетъ даже, какъ она превозносила его, и нагло отпирается даже отъ знакомства съ нимъ, какъ отпираются люди отъ знакомства съ разорившимся богачомъ, у ногъ котораго недавно ползали они...

Но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобъ бельетристическія эфемериды были ничтожными явленіями и не заслуживали вниманія и уваженія людей дѣльных. Нѣтъ, онѣ необходимы, онѣ имѣютъ великое значеніе, великій смыслъ. Само искусство такъ же не замѣнитъ ихъ, какъ и онѣ не замѣнятъ искусства; онѣ необходимы и благотѣльны, какъ и художественныя произведенія. Онѣ—искусство толпы; безъ нихъ, толпа была бы лишена благотѣній искусства. Сверхъ того, въ бельетристикѣ выражаются потребности настоящаго, дума и вопросъ дня, которыхъ иногда не предчувствовала ни наука, ни искусство, ни самъ авторъ подобнаго бельетристическаго произведенія. Слѣдовательно, подобныя произведенія, такъ же какъ и наука и искусство, бываютъ живыми откровеніями дѣйствительности, живою почвою истины и зерномъ будущаго.

Итакъ, мы нашли уже три области литературы: науку, искусство (поэзію) и беллетристику. Но это еще не все: остается еще область, неназванная нами, но не менѣе великая и важная, особенно въ наше время, въ которое она такъ развилась и усилилась. Для этой области нѣтъ названія на русскомъ языкѣ, и потому мы назовемъ ее такъ, какъ она называется тамъ, гдѣ родилась, гдѣ ея владычество и сила — прессою (*la presse*). Въ эту область литературы входитъ журналистика, брошюра, словомъ все, что легко, изящно и доступно для всѣхъ и каждого, для общества, для толпы, что популяризуетъ, обобщаетъ идеи, знакомить съ результатами науки и искусства и распространяетъ энциклопедическое образованіе, превращаетъ интересы и вопросы, самые отвлеченные и глубокіе, въ интересы и вопросы жизни, для всѣхъ и каждого равно близкіе и важные, словомъ, сближаетъ науку и искусство съ жизнію.

Теперь взглянемъ на взаимныя отношенія этихъ четырехъ областей литературы, чтобы увидѣть, какъ ѣ въ какой мѣрѣ всѣ они могутъ служить содержаніемъ исторіи литературы.

Наука имѣетъ свою исторію, искусство также; но искусствъ много, и каждое изъ нихъ, независимо отъ другихъ, можетъ имѣть свою исторію, слѣдовательно, и словесное или литературное искусство — поэзія. Но исторія поэзіи, безъ связи съ исторіею беллетристики и прессы вообще, была бы неполна и односторонняя; слѣдовательно, она такъ и просится сама въ исторію литературы, какъ одна изъ главнѣйшихъ и существеннѣйшихъ частей ея. Наука, несмотря на всю свою противоположность поэзіи, не можетъ не дѣйствовать на нее, ни не принимать на себя ея вліянія. Мы не будемъ говорить уже о томъ, какъ дѣйствуетъ философія на поэзію и поэзія на философію: это завлекло бы слишкомъ далеко; скажемъ только, что никакъ невозможно отрицать хотя непрямаго и невидимаго вліянія на искусство даже положительныхъ наукъ, какова, напримѣ-

мѣръ, математика. Новый способъ рѣшать теорему, конечно, не можетъ имѣть никакого вліянія на искусство; но рѣшеніе вопроса о круглотѣ земли и ея обращеніи вокругъ неподвижнаго, въ отношеніи къ ней, солнца, о движеніи всей міровой системы. — рѣшеніе такихъ вопросовъ, развязавъ умы, сдѣлавъ ихъ смѣлѣе и полѣтнѣе, могло ли не имѣть вліянія на фантазію поэта и его произведенія? Все живое — въ связи между собою; наука и искусство суть стороны бытія, которое едино и цѣло: могутъ ли стороны одного предмета быть чужды другъ другу? Итакъ исторія науки должна входить въ исторію литературы, по крайней мѣрѣ, въ той мѣрѣ, въ какой наука, по своимъ результатамъ, имѣла вліяніе на искусство. Вліяніе поэзіи на бельетристику очевидно: бельетристика есть та же поэзія, только низшая, менѣе строгая и чистая, — то же золото, только низшей пробы, только смѣшанное съ металлами низшаго достоинства. Поэзія даетъ бельетристикѣ жизнь и направленіе, и потому иногда одно высокое художественное произведеніе порождаетъ множество болѣе или менѣе прекрасныхъ бельетристическихъ явленій; одинъ геній даетъ полетъ множеству талантовъ. Но и бельетристика, съ своей стороны, имѣетъ вліяніе на искусство: она переводитъ на языкъ толпы его идеи, и даже дѣлаетъ толпѣ доступными художественныя произведенія, подражая имъ. Сверхъ того, бельетристика имѣетъ свои минуты откровенія, указывая на живыя потребности общества, на непредвидѣнные вопросы дня, и не даетъ искусству изолироваться отъ жизни, отъ общества и принять характеръ педантическій и аскетическій. Чтò же касается до прессы, — она всему служитъ, она равно необходима и наукѣ, и искусству, и бельетристикѣ, и обществу.

Итакъ, содержаніе исторіи литературы составляетъ: исторія поэзіи, бельетристики, прессы и, отчасти, науки. Въ этомъ случаѣ, мы нисколько не разнимся съ г. Никитенко во взгля-

дѣ на предметъ; но намъ кажется, что онъ не довольно опредѣлительно выразился въ рѣшеніи этого вопроса. Вотъ почти единственное мѣсто во всемъ «Введеніи», которое мы могли не оспаривать, потому что въ сущности мы согласны съ нимъ, но противъ котораго мы нашли сказать что-нибудь. Почти во всемъ остальномъ мы вполне согласны съ идеями автора, такъ прекрасно вездѣ изложенными. Мы могли бы прослѣдить ихъ, чтобъ представить содержаніе всей книги г. Никитенко; но думаемъ, что для читателей будетъ пріятнѣе непосредственно познакомиться съ этою книгою...

---

**СЛАВЯНСКІЙ СБОРНИКЪ. Н. В. Савельева — Ростиславича.**  
*Спб. 1845.*

Трепещите и кланяйтесь, читатели! Вы готовитесь имѣть дѣло съ книгою, которая — бездна премудрости, океанъ учености... Вообразите: однихъ примѣчаній полторы тысячи!... Предметъ книги самый ученый — славянскій міръ, иначе словянщина, или словенщина... Цѣль книги — возстановленіе русской народности, будто бы съѣденной врагами нашими, Нѣмцами; возжелѣнное возстановленіе это торжественно совершается книгою черезъ рѣшеніе вопроса, что Варяго-Руссы были не Нѣмцы, а Славяне, — чистые, породистые Славяне, безъ всякой нѣмецкой, или другой какой еретической примѣси. Средства книги, — страшная эрудиція, неслыханная начитанность. Не знаемъ, какъ вамъ это покажется, но что касается до насъ, мы нисколько не испугались этой книги. Ученость — вещь почтенная, и мы сочли бы варваромъ, Готтентомомъ всякаго, кто безъ уваженія сталъ бы смотрѣть на ученость; но

ученость учености рознь: есть ученость истинная, свѣтлая, плодотворная и благотворная, и есть ученость ложная, мрачная, безплодная, хотя и работающая. Черезъ ученость люди доискиваются истины; черезъ ученость доискивался истины Фаустъ, тревожимый внутренними вопросами, мучимый страшными сомнѣніями, жаждавшій обнять, какъ друга, всю природу, стремившійся добраться до начала всѣхъ началъ, до источника жизни и свѣта, и безтрепетно пускавшійся въ безпредѣльный и невещественный міръ матерей—первородныхъ, чистыхъ идей. Но черезъ ученость же добивался истины и Вагнеръ, человекъ узколобый, ограниченный, слабоумный, сухой, безъ фантазіи, безъ сердца, безъ огня душевнаго, прототипъ педанта, представитель всѣхъ возможныхъ Тредьяковскихъ, изобрѣтателей русскихъ гекзаметровъ на греческій ладъ, и русскихъ октавъ на итальянскій манеръ... Къ чему ни прикоснется Вагнеръ — все изсыхаетъ и гніетъ подъ его мертвою рукою: цвѣты теряютъ свои краски и благоуханіе, красота превращается въ мертвый аппаратъ, нравственность становится скучнымъ жеманствомъ, истина—пошлою сентенціею... Глядя на Вагнера, особенно слушая его, чувствуешь невольное отвращеніе къ наукѣ и къ учености: такъ противѣтъ въ глазахъ вашихъ красивый, благоухающій, вкусный и сочный плодъ, если по немъ проползетъ отвратительный слизнякъ...

Вагнеровъ много, и они раздѣляются и подраздѣляются на множество родовъ и видовъ. Мы имѣемъ теперь въ виду только одинъ родъ этихъ, впрочемъ, очень любопытныхъ людей. Сохраняя общіе родовые признаки всѣхъ Вагнеровъ, т. е. ограниченность, слабоуміе, сухость, пошлость, задорливость и фанатизмъ, — Вагнеръ, о которомъ мы хотимъ говорить въ общемъ типическомъ смыслѣ, не прии́мная ни къ кому въ особенности его характера, — нашъ Вагнеръ ко всѣмъ этимъ прекраснымъ качествамъ присовокупляетъ еще ипохондрическую

способность впадать въ манію какой-нибудь нелѣпой мысли, какого-нибудь дикаго убѣжденія. Избравъ предметомъ своихъ занятій, напримѣръ, исторію, онъ видитъ въ исторіи совсѣмъ не исторію, а средство къ защищенію и оправданію чудовищныхъ идей. Во всѣхъ другихъ отношеніяхъ, существо доброе и нисколько не опасное, — онъ дѣлается разъяреннымъ, когда онъ говоритъ или пишетъ о своей заветной идеѣ, на которой помышлялся. Всѣ противники этой идеи — личные враги Вагнера, хотя бы они жили за сто, или за тысячу лѣтъ до его рожденія; всѣ они, мертвые и живые, по его мнѣнію, люди слабоумные, глупые, низкіе, злые, презрѣнные, способные на всякое дурное дѣло. Всѣ ея защитники и послѣдователи, мертвые и живые, по его мнѣнію, люди умные, геніальные, добродѣтельные, чуть не праведные. Идея его — истинна и непреложна: онъ ее доказалъ, утвердилъ, сдѣлалъ яснѣе солнца, — и только люди, ослѣпленные невѣжествомъ или злобою, могутъ не видѣть этого. Говоря о своей идеѣ, какъ объ аксіомѣ, принятой всѣмъ міромъ, за исключеніемъ нѣсколькихъ невѣждъ и злодѣевъ (хотя бы въ самомъ-то дѣлѣ, кромѣ самого Вагнера и его пріятелей, или никто и знать не хочетъ ея, или всѣ смѣются надъ нею, какъ надъ вздоромъ), — онъ самъ о себѣ говоритъ, какъ о великомъ человѣкѣ, великомъ ученомъ, великомъ геніи, и, въ подтвержденіе этого, не краснѣя, вставляетъ въ свою книгу похвалы самому себѣ, полученныя имъ отъ своихъ пріятелей, такихъ же Вагнеровъ, какъ и самъ онъ, и, въ благодарность, съ своей стороны также превозносить ихъ до седьмага неба. Бѣдный человѣкъ, жалкій человекъ! Хуже всего въ немъ то, что онъ отъ всей души считаетъ себя великимъ ученымъ. Въ самомъ дѣлѣ, онъ усердно занимается своимъ предметомъ, много прочелъ и перечелъ, знаетъ бездну фактовъ, — словомъ, по всѣмъ правамъ принадлежитъ къ числу самыхъ остервенѣлыхъ книгоѣдовъ. Но, несмотря

на то, онъ такъ же мало имѣетъ право претендовать на титулъ ученаго, какъ и на званіе умнаго человѣка. Это не потому только, что Вагнеръ ограниченъ и, какъ говорится, недалекъ и пороха не выдумаетъ: и ограниченные люди могутъ быть учеными (эмпирически и фактически), и своими посильными трудами, очищая старые факты и натѣкаясь на новые, приносить пользу наукѣ; но потому что Вагнеръ, о которомъ мы говоримъ, въ наукѣ видитъ не науку, а свою мысль и свое самолюбіе. Онъ принимается за науку уже съ готовою мыслию, съ опредѣленною цѣлію, садится на науку, какъ на лошадь, зная впередъ, куда привезетъ она его. Мы этимъ не хотимъ сказать, чтобъ нельзя было приступить къ наукѣ изъ желанія оправдать ею свою задушевную мысль, въ которой человѣкъ убѣжденъ по чувству, предчувствію, а priori, и которой онъ хочетъ, путемъ науки, дать дѣйствительное, реальное существованіе. Нѣтъ, такъ приступалъ къ наукѣ не одинъ великій человѣкъ, и не безъ успѣха; но для этого нужно прежде всего, чтобъ задушевная, завѣтная, пророческая мысль родилась въ благодатной натурѣ, въ свѣтломъ умѣ, и чтобъ она носила въ себѣ зерно разумности; потомъ необходимо, чтобъ приступающій такимъ образомъ къ наукѣ, для оправданія своей мысли въ собственныхъ глазахъ и глазахъ всего міра, — вошелъ въ святилище науки съ обнаженными и чистыми ногами, не заноса въ него сора и пыли заранѣе принятыхъ на вѣру убѣжденій. Онъ долженъ, на все время изслѣдованія, отречься отъ всякаго пристрастія въ пользу своей идеи, долженъ быть готовъ дойти и до убивающаго ее результата. Человѣкъ, который посвящаетъ себя наукѣ, не только можетъ, долженъ быть живымъ человѣкомъ, въ тѣлѣ, съ кровью, съ сердцемъ, съ любовью; но у науки не должно быть тѣла, крови и сердца: она — духъ безтѣлесный, чистый отвлеченный разумъ, безъ крови и сердца, безъ страстей и пристрастій, холодный, строгій, суровый и без-



пошадный. У нея есть любовь, но своя особенная, ей только свойственная, духовная, идеальная любовь къ предмету безплотному, отвлеченному—къ истинѣ, — не къ той или вотъ этой истинѣ, заранѣе извѣстной, а къ такой, какая сама-собою явится результатомъ свободнаго изслѣдованія. Въ этомъ смыслѣ, типъ истиннаго ученаго—математикъ, который, ища неизвѣстной величины, нисколько не заботится, какая именно будетъ эта величина, и понравится она ему, или нѣтъ: для него всѣ величины равно хороши, и онъ добивается именно той, которая необходимо должна быть результатомъ рѣшаемой имъ задачи. У кого есть любимая мысль, и кто такимъ образомъ оправдываетъ ее черезъ науку, тотъ вполне заслуживаетъ высокаго и благороднаго титла ученаго; равнымъ образомъ какъ и тотъ, кто умѣетъ отказаться отъ любимаго убѣжденія, если увидитъ, что оно оказалось, черезъ ученое изслѣдованіе, предубѣжденіемъ или заблужденіемъ. Не таковы Вагнеры, о которыхъ мы говоримъ: они обращаются съ наукою какъ съ лошадью, которую заставляютъ насильно везти себя куда имъ нужно или куда имъ угодно. Любимыя мысли ихъ всегда внѣ науки и ея интересовъ. Устремлять ли они свое исключительное вниманіе, напримѣръ, на русскую исторію,—не думайте, чтобъ ихъ цѣль была разработать ея матеріалы, разъяснить ея темные факты, или изложить въ стройномъ повѣствованіи ея событія. Нѣтъ, подобные труды и задачи они охотно оставляютъ другимъ. а сами занимаются вопросами, которые столько же легки для ученой болтовни, сколько пусты въ своей сущности. Имъ, видите ли, нужно непременно узнать, кто были Варяго-Руссы. Зачѣмъ? Для окончательнаго рѣшенія перваго вопроса русской исторіи, какова бы ни была степень его важности? — О, совсѣмъ нѣтъ! Имъ это нужно для изъясненія ихъ отвращенія къ Нѣмцамъ и любви къ славянскому міру. Какъ надо рѣшить вопросъ — это они знаютъ напередъ.

Еще не начиная заниматься русскою исторіею, они уже знали, что Варяго-Руссы—чистые Славяне, и что Шлёперъ съ умысла «вралъ», называя ихъ Норманами, увлекаемый рейнскимъ патриотизмомъ. Читая этихъ господъ, такъ и думаешь, что читаешь писаніе какого-нибудь брадатаго учителя какого-нибудь старообрядческаго толка: та же стрѣлцкая ненависть ко всему иноземному, та же нелѣпая логика, то же фанатическое изступленіе въ дикихъ убѣжденіяхъ...

Но это Вагнеровское направленіе, становится еще диче, когда къ нему примѣшивается охота сочинять историческія гипотезы и догадки, которыя выдаются за непреложныя истины, на основаніи натянутыхъ словопроизводствъ, сближеній, цитатъ, и такъ называемой «исторической логики». Ни одна область науки такъ не богата чудовищными нелѣпостями, какъ область филологіи и исторіи. Происхожденіе, начало и сродство языковъ и народовъ представляютъ самое обширное поле для произвольныхъ толкованій, нелѣпыхъ догадокъ и дикихъ заключеній. Первоначальная исторія всѣхъ народовъ покрыта глубокимъ и непроницаемымъ мракомъ, — и потому Вагнерамъ тутъ легко одними и тѣми же доказательствами утверждать самыя противорѣчащія положенія. Для этого и невѣжество и многознаніе равно служатъ, и послѣднее иногда доходитъ еще до большихъ нелѣпостей, нежели первое. По крайней мѣрѣ, послѣднее увлекаетъ за собою толпы адептовъ, и иногда переходитъ отъ поколѣнія къ поколѣнію. Ученость этого рода, по-истинѣ забавна, съ своими важными изслѣдованіями вопросовъ, которые въ сущности очень не важны, а главное—неразрѣшимы. Великій нашъ юмористическій поэтъ, глубокій знатокъ тѣхъ комическихъ слабостей человѣческой природы, въ которыхъ такъ трудно уловить тонкую черту, отдѣляющую гениальность отъ сумасшествія, — превосходно характеризуетъ манеры и уловки историческихъ изслѣдователей.

Онъ сдѣлалъ это, чтобъ объяснить происхожденіе глупыхъ сплетней, которыя возникли на счетъ героя его романа и ни съ того ни съ сего, въ глазахъ сплетницъ обратились въ достовѣрность. «Наша братья, народъ умный, какъ мы называемъ себя, поступаетъ почти также, и доказательствомъ служатъ наши ученые разсужденія. Сперва ученый подѣзжаетъ въ нихъ необыкновеннымъ поддецомъ, начинаетъ робко, умѣренно, начинаетъ самымъ смиреннымъ запросомъ: не отсюда ли? не изъ того ли угла получила имя такая-то страна? или: не принадлежитъ ли этотъ документъ къ другому позднѣйшему времени? или: не нужно ли подъ этимъ народомъ разумѣть вотъ какой народъ? Читуетъ немедленно тѣхъ и другихъ писателей, и чуть только видитъ какой-нибудь намекъ, или показалось ему намекомъ, ужъ онъ получаетъ рысь и бодрится, разговариваетъ съ древними писателями запросто, задаетъ имъ запросы, и самъ даже отвѣчаетъ за нихъ, позабывая все о томъ, что началъ робкимъ предположеніемъ; ему уже кажется, что онъ это видитъ, что это ясно — и разсужденіе заключено словами: такъ это вотъ какъ было, такъ вотъ какой народъ нужно разумѣть, такъ вотъ съ какой точки нужно смотрѣть на предметъ? Потомъ во всеуслышаніе, съ кэедрь, — и новооткрытая истина пошла гулять по свѣту, набирая себѣ послѣдователей и поклонниковъ» (Мертвыя Души, стр. 362 — 363).

Это столько же не преувеличено и вѣрно, сколько зло и смѣшно... Главный источникъ подобныхъ человѣческихъ слабостей заключается въ человѣческомъ самолюбіи. Ученому, литератору пріятно не только основать въ наукѣ свою систему, свой взглядъ на предметъ, но даже и быть послѣдователемъ новаго ученія, кѣмъ-нибудь другимъ основаннаго. — Мы-де не старовѣры, мы-де впереди всѣхъ, — думаютъ, самолюбиво осклабляясь, такіе ученые или такіе литераторы, не

подозрѣвая, что они дѣйствительно впереди всѣхъ... на пути негѣпости.

Но мы совсѣмъ забыли объ «ученой» книгѣ г. Савельева-Ростиславича, о знаменитомъ «Славянскомъ Сборникѣ», увлекшись разными размышленіями, которыя, разумѣется, нисколько не относятся ни къ ученому г. Савельеву-Ростиславичу, ни къ его варяго-русскому альманаху. Займемся же имъ исключительно.

Альманахъ состоитъ изъ нѣсколькихъ статей, сочиненныхъ г. Савельевымъ-Ростиславичемъ, и раздѣляется на два выпуска; третій печатается. Первая статья «Критическое обозрѣніе, во всѣхъ отношеніяхъ, системы скандинавскаго производства Руси, отъ 1735 до 1845» — занимаетъ весь первый выпускъ, напечатана гораздо крупнѣйшимъ шрифтомъ, нежели второй выпускъ, перемѣчена римскими цифрами и до невозможности преисполнена типографскими ошибками, безпрестанно искажающими смыслъ, — почему статью эту такъ же трудно читать, какъ дурно и неразборчиво написанную рукопись. За этой статьей въ 239 страницъ, слѣдуетъ бѣлая страница, потомъ четыре страницы указаній опечатокъ, которыя, несмотря на то, показаны далеко не всѣ; затѣмъ — латинскій эпиграфъ изъ Тита-Ливія; за нимъ — двѣ бѣлыя страницы, а за ними — страница съ русскимъ переводомъ эпиграфа изъ Тита-Ливія; потомъ заглавіе новой статьи (первая статья не имѣетъ заглавія — оно выставлено, вмѣстѣ съ поименованіемъ всѣхъ статей, на цвѣтной оберткѣ), на оборотѣ — бѣлая страница (оттого книга толще и, слѣдовательно, ученеѣ), за которою уже начинается новая статья. Заглавіе книги на цвѣтной обложкѣ весьма неблагообразно жмется къ корешку, оставляя большое поле справа. Всѣ эти чисто внѣшнія, типографическія подробности могутъ показаться читателямъ мелочными придирками; но мы не могли избѣжать этихъ внѣшностей, потому что онѣ

находятся въ живой связи съ внутреннимъ достоинствомъ книги: «Славянскій Сборникъ» долженъ быть и напечатанъ по-славянски, въ восточномъ вкусѣ, въ противоположность лукавому Западу, который издаетъ свои книги красиво, изящно, со вкусомъ и безъ опечатокъ...

Первая статья, неимѣющая, какъ мы уже сказали, другаго заглавія, кромѣ того, какое выставлено на цвѣтной обложкѣ (которая при переплетѣ книги, какъ извѣстно, бросается прочь)—посвящена сочинителемъ «памяти Ломоносова и Венелина, падшихъ въ борьбѣ за независимость русской мысли». Аллахъ керимъ — что это за извѣстіе? или, лучше сказать, что это за выдумка?... Да когда же они падали? Можно сказать, напримѣръ, о Волинскомъ, что онъ палъ за вражду къ Бирону; но Ломоносовъ не падалъ, сколько намъ извѣстно, и умеръ своею смертію, не задолго до нея осчастливленный посвѣщеніемъ императрицы Екатерины II. Развѣ такъ падаютъ? Дай Богъ всякому такъ падать! Правда, Ломоносовъ умеръ прежде времени, но это по собственной винѣ, вслѣдствіе нѣкотораго славянскаго пристрастія къ нѣкоторому варяго-русскому напитку, а совсѣмъ не потому, чтобъ его кто-нибудь преслѣдовалъ за независимость русской мысли. Что касается до Венелина, онъ тоже умеръ не во-время, даже гораздо болѣе не во-время, чѣмъ Ломоносовъ; но г. Савельевъ-Ростиславичъ самъ лично зналъ Венелина, слѣдовательно, знаетъ, что онъ умеръ тоже совсѣмъ не вслѣдствіе преслѣдованія за независимость русской мысли... Итакъ, что же это за ученое сочиненіе, которое даже въ посвященіи умышленно говоритъ неправду?... Или уже таково должно быть всякое произведеніе въ славянофильскомъ духѣ?...

Книга г. Савельева-Ростиславича начинается увѣреніемъ, что Петръ-Великій любилъ Россію и Русскихъ и что онъ, когда могъ, всегда предпочиталъ Русскаго Нѣмцу. Это справедливо,

хотя уже и не ново. Сочинитель, ссылаясь на донесеніе Кампредона французскому двору, увѣряетъ, что Петръ-Великій для того сзывалъ въ Петербургъ всѣхъ дворянъ, подъ опасеніемъ конфискаціи имѣній и лишенія дворянскаго званія за неявку, чтобы узнать способныхъ на службу дворянъ и задержать ими иностранцевъ, которыхъ онъ хотѣлъ скорѣе уволить отъ службы и отослать. Это похоже на правду, однакожь на самомъ дѣлѣ не правда, что бы ни говорили гг. Кампредонъ и Савельевъ-Ростиславичъ. Что Петръ желалъ освободиться отъ лишнихъ иностранцевъ, между которыми, естественно, было много пустыхъ и даже вредныхъ для Россіи людей, и дать ходъ своимъ способнымъ людямъ, — это вѣрно; но чтобы онъ хотѣлъ отослать всѣхъ иностранцевъ, даже достойныхъ и оказавшихъ ему услуги, онъ, у котораго между ними былъ когда-то Тиммерманъ, Гордонъ, Лефортъ, былъ Остерманъ, и послѣ котораго остался Россіи Минихъ, — это просто выдумка, не стоящая опроверженія. Императрица Екатерина, Нѣмка по рожденію, но дочь Петра-Великаго не по крови, а по духу, равно умѣла дать свободный ходъ и широкое поприще и даровитымъ Русскимъ и даровитымъ Нѣмцамъ, и умѣла дѣлать это такъ, что при ней не было ни русской, ни нѣмецкой партіи, а было, вмѣсто ихъ, твердое, умное и славное русское правительство. Г. Савельевъ-Ростиславичъ продолжаетъ сочинять: «Но Великій умеръ — и мысль его осталась безъ исполненія. Люди, къ которымъ онъ питалъ глубочайшее презрѣніе, размножались. Въ благодарность Россіи, которая кормила ихъ и поила, они подарили бироновщину (1730—1740), тяготѣвшую надъ нашимъ отечествомъ до счастливаго воцаренія дочери Петровой, кроткой Елисаветы, очистившей Русь отъ иноплемениковъ и приготовившей намъ вѣкъ Екатерины Великой» (стр. VII, VIII). Тутъ что ни слово, то воіюющая ложь! Читая это, невольно подумаешь, что иноплемен-

ники съ умыслу подготовили намъ Бирона, какъ іезуиты, по мнѣнію нѣкоторыхъ ученыхъ, подготовили московскому царству Дмитрія Самозванца... Въ благодарность подарили намъ бироновщину—что за нелѣпость! Этакъ иной подумаетъ, пожалуй, что Анна Іоанновна была иноплеменница, а не родная дочь Іоанна Алексіевича, не родная племянница Петра-Великаго!... Не знаемъ, право, въ какой мѣрѣ Елизавета Петровна предуготовила царствованіе Екатерины-Великой; мы даже думаемъ, что славою и блескомъ своего царствованія Екатерина II никому не обязана, кромѣ самой себя и своихъ сподвижниковъ, которыхъ она такъ хорошо умѣла выбирать... Жаль, что г. Савельевъ-Ростиславичъ не заглянулъ хоть въ исторію г. Устрялова, если ему не извѣстны другіе источники касательно царствованія Елизаветы Петровны... Но что ему до источниковъ, что до истины: Елизавета Петровна «очистила Русь отъ иноплеменниковъ», а это въ его глазахъ все равно, что сдѣлать Русь счастливою! Но исторія говоритъ не то... Трудно было Россіи при Петрѣ—и реформа, и войны, и трудъ, и пожертвованія; но правосудіе и нелицепріятіе великаго царя, доступность къ нему для всѣхъ и cadaго, очарованіе имени и обильные плоды его подвиговъ вознаграждали Русь за все, — и послѣ его смерти она, къ несчастію, слишкомъ скоро и слишкомъ хорошо узнала, что была при немъ счастлива. По смерти же Петра, только съ царствованія Екатерины II началась для Россіи и теперь продолжающаяся эпоха счастья, благоденствія и славы.

По мнѣнію Савельева-Ростиславича, система скандинавскаго происхожденія Руси явилась во время Бирона, изъ угожденія временщикамъ-иноземцамъ. Тутъ онъ видитъ рѣшительный заговоръ Нѣмцевъ противъ Русскихъ. Въ самомъ дѣлѣ, если Байеръ правъ, и варяго-русскіе князья пришли къ намъ изъ Скандинавіи, — горе намъ: наша національная честь посрам-

лена на вѣки, достоинство пограно, и мы—нѣчто менѣе собаки, какъ говорятъ Персіяне. Словомъ, послѣ этого, намъ, Русскимъ, остается только взять да повѣситься всеѣмъ до еди-наго! За то, какое торжество для Швеции: послѣ этого, ей нечего даже жалѣть ни о прибалтійскихъ областяхъ, ни о Финляндіи! Но утѣштесь: Байеръ былъ Нѣмецъ, увлекавшійся рейнскимъ патріотизмомъ, врагъ Россіи, злодѣй, извергъ, который хотѣлъ украсть нашу честь, славу, достоинство. Нашлись люди, которые изобличили его. Первымъ изъ нихъ былъ великій Ломоносовъ, послѣднимъ — г. Савельевъ-Ростиславичъ. Въ «Славянскомъ Сборникѣ» подробно и краснорѣчиво изображены подвиги того и другаго по этой части. Во время Бирона, Нѣмцы жили дружно между собою въ Россіи, а объ Русскихъ, въ этомъ отношеніи, вотъ что сказалъ Волинскій: «Намъ, Русскимъ, не надобенъ хлѣбъ: мы другъ друга ѣдимъ, и съ того сыты бываемъ». И все-таки не мы, а Нѣмцы были виноваты въ нашихъ бѣдствіяхъ: по крайней мѣрѣ, г. Савельевъ-Ростиславичъ крѣпко держится этого мнѣнія. Главную же причину нашихъ бѣдствій въ то время онъ полагаетъ въ скандинавскомъ происхожденіи Руси. Скажи Байеръ съ самаго начала, что Варяго-Руссы пришли къ намъ съ славянскаго балтійскаго поморья, и прійми это мнѣніе Шлёцеръ, — Биронъ ничего бы не могъ намъ сдѣлать, и мы непременно сослали бы его въ Великій-Кутъ, или Прибалтійскую Сербь, въ славянскій городъ Винету, недавно до тла разрушенный диссертациею г. Грановскаго. Но когда Ломоносовъ принялся за русскую исторію, которой онъ не зналъ, и за возстановленіе славы Россіи, — было уже поздно: Нѣмцы, Биронъ и Байеръ, уже успѣли призвать въ Россію скандинавскихъ Варяго-Руссовъ. Умный, ученый, энергическій, гениальный Шлёцеръ, своею могущественною историческою критикою, своими изслѣдованіями и авторитетомъ утвердилъ



Байерово учение о скандинавскомъ происхожденіи Руси. Если и въ наше время есть люди, которые, подобно г. Вельтману, считаютъ «предосудительнымъ для чести Россіи скандинавское происхожденіе Варяго-Руссовъ», — то могли ли на Шлёцера смотрѣть иначе въ тѣ времена надутно-риторическаго патриотизма, когда самъ Ломоносовъ, — человѣкъ высокаго ума, гениальныхъ способностей, сильнаго характера, великой учености, — если не принималъ за достовѣрное нелѣпаго и педантическаго мѣнія о происхожденіи Рюрика отъ Кесарей, то и не отрицалъ въ немъ вѣроятности!!!... Итакъ, Ломоносовъ первый возсталъ противъ Байерова ученія. Причиною этого возстанія человѣка ученаго и гениальнаго, но рѣшительно незнавшаго исторіи, было, во первыхъ, убѣжденіе, столь свойственное риторическому варварству того времени, будто бы скандинавское происхожденіе Варяго-Руссовъ позорно для чести Россіи; и во вторыхъ, небезосновательная вражда Ломоносова къ Нѣмцамъ-академикамъ, и вообще огорченія, которыми, по своей великой ревности къ успѣхамъ наукъ въ Россіи, онъ подвергался вслѣдствіе академической кабалы и сплетень подъяческаго характера. Въ числѣ его противниковъ (которыхъ — надо сказать правду — Ломоносовъ умѣлъ наживать себѣ вспылчивостью и крутостью своего нрава), былъ и безсмертный «профессоръ элоквенціи, а паче всего хитростей шитическихъ», Василій Кирилловичъ Тредьяковский. Г. Савельевъ-Ростиславичъ до того осерчалъ на бѣднаго и жалкаго Тредьяковского, который держался нѣмецкой партіи и скандинавскаго происхожденія Руси, что съ восторгомъ и необыкновенною элоквенціею пересказываетъ исторію истязанія, которому Волынской подвергъ Тредьяковского ровно ни за что. «Артемій Петровичъ и кормилъ друга плюхами (говорить краснорѣчивый г. Савельевъ-Ростиславичъ); приказалъ ввалить ему 70 палокъ по голой спинѣ; велѣлъ закатить ему еще 30 палокъ;

далъ ему на прощанье еще съ десятокъ палокъ»... (стр. XII). Вотъ что значить истощить на яркое повѣтствованіе оплеуш-наго и палочнаго событія все богатство славянскаго языка и краснорѣчиво воспользоваться всею энергіею и живописностью великокутскихъ глаголовъ: накормить плюхами, ввалить, закатить и проч.!... Г. Савельевъ-Ростиславичъ съ презрѣніемъ говорить о Тредьяковскомъ, который, по паденіи Волинскаго, взыскалъ съ его наслѣдниковъ, за побои, 720 рублей. Что жъ тутъ удивительнаго? Могъ ли иначе поступить человѣкъ, котораго «кормили оплеухами» и «валяли палками», заказавъ ему стихи на шутовскую свадьбу въ ледяномъ домѣ?... И можно ли слишкомъ порицать низость чувствъ въ писакѣ, котораго, какъ всякаго писака, въ то время можно было бить?... А хорошее было то время, когда вельможа Волинскій, провозглашенный патріотомъ, потѣшался собственноручнымъ кормленіемъ бѣднаго писака оплеухами?... И писатели нашего времени берутъ сторону Волинскаго въ этомъ позорномъ фактѣ, забывая, что, каковъ бы ни былъ Тредьяковскій, но вѣдь все же и писака — братъ писателя по ремеслу, если не по таланту... То-то славянская-то логика! А еще жалуются, что Нѣмцы обижали нашихъ ученыхъ и литераторовъ! Да найдите хоть одного Нѣмца, который бы не оскорбился, видя, что его брата по ремеслу бьютъ оплеухами и палками, хотя бы этотъ братъ по ремеслу былъ его личный врагъ... Правъ Волинскій: «Намъ, Русскимъ, не нужно хлѣба: мы ѣдимъ другъ друга, и съ того сыты бываемъ»... Бѣдный Тредьяковскій! тебя до сихъ поръ ѣдятъ писаки, и не на радуются до-сыта, что въ твоемъ лицѣ нещадно бито было оплеухами и палками достоинство литератора, ученаго и поэта!...

Г. Савельевъ-Ростиславичъ, словно за великое преступленіе, упрекаетъ Байера и Шлёцера за ихъ мнѣніе о сканди-

навскомъ происхожденіи Руси и приписываетъ его: 1) злomu умыслу извести русское самопознаніе (стр. XV), и 2) нѣмецкому патріотизму. Мы рѣшительно не можемъ понять, почему бы Байеръ и Шлёцеръ, даже ошибаясь, не могли дойти до убѣжденія въ скандинавскомъ происхожденіи Руси совершенно безпристрастно, безъ всякихъ злыхъ умысловъ и безъ всякаго патріотизма? Что г. Савельевъ-Ростиславичъ принялъ мнѣніе г. Морощкина о происхожденіи Варяго-Руссовъ отъ балтійско-поморскихъ Славянъ Великаго-Кута,—принялъ его не по ученому убѣжденію, а по чувству патріотическому,—это ясно,—и онъ самъ въ этомъ сознается, находя предосудительнымъ для Россіи скандинавское происхожденіе Варяго-Руссовъ. Нѣмецъ вообще не слишкомъ страстный патріотъ, а въ наукѣ онъ еще болѣе космополитъ, чѣмъ въ чемъ-нибудь другомъ. Мнѣніе Байера, развитое и утвержденное Шлёцеромъ, сверхъ того, совѣтъ не такъ нелѣпо, какъ угодно утверждать г. Ростиславичу. Оно имѣетъ за себя сильныя доказательства и много вѣроятности; если же оно также имѣетъ сильныя доказательства и противъ себя, и если оно не имѣетъ полной достовѣрности,—такъ это потому, что вопросъ о происхожденіи Руси, будь сказано не во гнѣвъ г. Ростиславичу, столько же неразрѣшимъ, сколько и бесплоденъ, даже еслибъ онъ и былъ разрѣшимъ. По тому же самому, и мнѣніе Эверса о черноморскомъ происхожденіи Руси такъ же точно вѣроятно, какъ и мнѣніе о скандинавскомъ, такъ же точно имѣетъ сильныя доказательства за себя, какъ и противъ себя. По тому же самому, и мнѣніе славянофиловъ о славянскомъ происхожденіи Руси не вовсе лишено смысла и вѣроятности.

Много было мнѣній объ этомъ предметѣ, и еще будетъ больше, благодаря охотѣ людей рѣшать неразрѣшимое и изслѣдовать бесполезное, — и каждое изъ этихъ мнѣній будетъ имѣть свою долю вѣроятности. Таково свойство гипотезъ: онѣ пред-

ставляютъ широкій разгулъ колюбродству человѣческаго ума. Ипoteза можетъ имѣть свое относительное достоинство, но ничего имѣть неслѣдуетъ, какъ принимать ее за непреложную истину, за аксіому, и честить невѣждами, глупцами и безнравственными людьми всѣхъ тѣхъ, кто съ нею несогласенъ. Догадки и соображенія должны играть важную роль въ исторической критикѣ; безъ логики тутъ, какъ и вездѣ, нельзя шага сдѣлать; но эти догадки и соображенія, эта логика должны имѣть матеріалъ, безъ котораго онѣ—пустыя, хотя бы и ученныя фантазіи; этотъ матеріалъ — историческіе факты. Только по ихъ основанію, логика, соображенія и даже догадки доводятъ до истины. Еслибъ хоть одно изъ многочисленныхъ мнѣній о происхожденіи Руси основывалось на достаточномъ числѣ несомнительныхъ фактовъ, — то это мнѣніе сейчасъ же побѣдило бы всѣ другія и было бы признано за непреложное единодушно всѣми учеными. Но пока объ одномъ и томъ же вопросѣ существуетъ множество различныхъ и противоположныхъ мнѣній, — до тѣхъ поръ вопросъ не далеко подвинулся, и неслѣдуетъ считать его рѣшеннымъ. Карамзинъ очень умно поступилъ, послѣдовавъ Шлёцеровскому мнѣнію о происхожденіи Руси, но въ то же время давъ мѣсто и другому мнѣнію. Но мы думаемъ, что будущій историкъ русской земли еще лучше поступитъ, когда, касательно вопроса о происхожденіи Руси, перечтетъ всѣ важнѣйшія мнѣнія, съ ихъ главнѣйшими доказательствами, и порѣшитъ, что ни одного изъ нихъ невозможно ни принять, ни отринуть, и что, поэтому, всѣ они равно никуда не годятся. Развѣ найдется подлинная рукопись Несторовой лѣтописи, безъ искаженій и пропусковъ, а въ ней найдется опредѣленное и никакому сомнѣнію неподверженное указаніе на происхожденіе Руси; или развѣ отыщется другой какой-нибудь древній манускриптъ, русскій, словянскій, латинскій, или вѣмецкій, который окончательно рѣшитъ вопросъ о происхожденіи Руси:

тогда другое дѣло! Но въ ожиданіи этого, право, давно пора бы перестать компрометировать и русскую исторію, и русскую ученость этими безплодными изысканіями, этою безплодною полемикою, этими безплодными ипотезами, и всею этою учепостью Рудбековъ и Тредьяковскихъ! И что важнаго въ рѣшеніи этого вопроса? — Положимъ, что Байеръ и Шлёцеръ правы, что Варяго-Руссы пришли изъ Скандинавіи: явѣ ли отъ этого, хоть на волосъ, первый періодъ русской исторіи? Эти варяго-русскіе князья изъ Скандинавіи, призванные новгородскими Славянами, такъ мало привели съ собою своихъ норманскихъ земляковъ, что новгородская національность не получила отъ ихъ вліянія никакого отпечатка, и если они что-нибудь привили къ ней, такъ развѣ съ десятокъ собственныхъ именъ, скоро ославянившихся, да много-много если съ десятокъ словъ, тоже скоро измѣнившихся и ославянившихся, такъ что теперь никакъ не разберешь, они ли къ намъ зашли отъ Нѣмцевъ, или отъ насъ зашли къ Нѣмцамъ. Скандинавскіе Варяго-Руссы не занесли къ намъ даже феодализма — главнѣйшей черты тевтонской народности, потому что наша удѣльная система столько же въ сущности похожа на феодальную, сколько русскій языкъ похожъ, напримѣръ, на англійскій: прототипъ нашей удѣльной системы совсѣмъ не политическій и не государственный, а чисто семейственный и племенной, который и теперь сохранился во всей чистотѣ въ помѣщичьихъ правахъ. Оттого, и не вошло въ нее майората, но напротивъ, она сама собою исчезла бы чрезъ раздробленіе, еслибъ нашествіе Татаръ не дало перевѣса Москвѣ. Гдѣ же другіе слѣды вліянія скандинавскаго происхожденія Варяго-Руссовъ на нравы, обычаи, характеръ, умъ, фантазію, законодательство и другія стороны славянской народности Новгородцевъ? Пока — ихъ еще не отыскано, а о нихъ-то прежде всего и слѣдовало бы позаботиться Шлёцеру и его послѣдова-

телямъ. Итакъ, что же намъ въ томъ, что къ нашимъ предкамъ, пришли Шведы, а не другой какой-нибудь народъ, напримѣръ, не Японцы?

Теперь положимъ, что совершенно и несомнѣнно правы Ниманъ и Эверсъ, — Варяги-Русь пришли изъ-за Чернаго моря: что жъ въ томъ, что пришли варвары къ варварамъ, да и потонули въ ихъ народности, не оставивъ въ ней никакого слѣда, слово кавули на дво? Сверхъ того, на Эверсъ и его послѣдователей лежитъ болѣе тяжкое обвиненіе, нежели на послѣдователей другихъ мнѣній: ихъ воззрѣніе (которое, впрочемъ, едва ли не достовѣрнѣе всѣхъ другихъ) совершенно ниспровергаетъ авторитетъ лѣтописи Нестора, — и имъ слѣдовало бы окончательно рѣшить вопросъ о ней, сличивъ ея списки и строго разобравъ ее со всѣхъ сторонъ и во всѣхъ отношеніяхъ. Ученый профессоръ Каченовскій, исключительно и долгое время занимавшійся развитіемъ Эверсова взгляда на черноморское происхожденіе Варяго-Руссовъ, дѣйствовалъ такъ медленно, робко и нерѣшительно, что только возбудилъ новые (правда, очень важные и дѣльные, какихъ до него не существовало) вопросы, но не рѣшилъ ихъ, а школа его, съ смертію г. Сергія Строева (Скромненки) какъ-будто исчезла. — Теперь, положимъ, что Варяги-Русь пришли изъ прибалтійскаго Великаго-Кута, т. е. свои пришли къ своимъ: чѣмъ же это лучше Скандинавовъ или Хозаръ, Нѣмцевъ или Татаръ? Славянофилы говорятъ, будто это тѣмъ лучше, что иноплеменное происхожденіе Руси оскорбляетъ наше національное достоинство; но это такая нелѣпость, на которую смѣшно и возражать... Потомъ, они говорятъ еще, что отъ рѣшенія вопроса: Нѣмцы, или Славяне были Варяго-Руссы? зависитъ рѣшеніе современной и будущей судьбы нашей народности, т. е. можемъ ли мы развиваться своеобытно и самостоятельно, или должны ограничиться жалкою ролью подражателей и пере-

дразнивателей той или другой, но всегда чуждой намъ жизни. Это уже изъ рукъ вонъ нелѣпо, особенно въ приложеніи къ Россіи! Во первыхъ, что за дикая мысль разгадывать и опредѣлять будущее народа, писать его программу? На основаніи многихъ данныхъ можно быть убѣждену, что Россію ожидаетъ великая и блестящая будущность, но какая именно и какимъ образомъ—стараться или надѣяться узнать это—такая же чудовищная нелѣпость, какъ и думать, что можно узнать будущую участь каждаго человѣка. Для народа, какъ и для человѣка, жизнь тѣмъ и интересна, тѣмъ и заманчива, тѣмъ и обаятельна, что ея даль закрыта отъ его взоровъ и недоступна имъ, что онъ можетъ заглядывать только развѣ въ идею своего будущаго, но никогда въ форму его проявленія. Дайте ему это всевѣдѣніе будущаго, и вы увидите, что онъ не захочетъ жить. Потомъ, что за нелѣпость судить о будущемъ народа по его отдаленному прошедшему, которое такъ оторвано даже отъ его настоящаго? Что общаго между Новгородцемъ IX-го, Московитомъ XV-го и Русскимъ XIX вѣка? Если можно предчувствовать и предугадывать (въ идеѣ) будущее, то не иначе, какъ на основаніи настоящаго, которое одно есть испытанная мѣра и прошедшаго, какъ результатъ его. Вѣдь дерево узнается по плоду. Если вы хотите узнать, выйдетъ ли что-нибудь путное изъ молодаго человѣка, вѣрно вы не захотите справляться, каково онъ велъ себя въ утробѣ своей матери, или потомъ въ колыбели, а напротивъ, какимъ обнаружилъ онъ себя въ лѣта юности, когда созрѣли его силы, развились способности, обнаружилась воля? Положимъ, что Варяги-Русь были иноплеменики — Шведы, Хозары, Чухны, или кто угодно: что жъ изъ этого? Кажется, Францію и Англію, напримеръ, нельзя обвинить въ отсутствіи или недостаткѣ народности—какъ вы объ этомъ думаете, гг. славянофилы? А между тѣмъ, развѣ національность ихъ сложилась и развилась

изъ одного элемента? Напротивъ, изъ многихъ. Галлы, коренное и туземное народонаселеніе Франціи, были сперва покорены Римлянами и отчасти смѣшались съ ними кровью, языкомъ, религіею, обычаями, изъ чего и образовался элементъ галло-римскій. Потомъ римская Галлія была завоевана Франками (которыхъ г. Савельевъ-Ростиславичъ считаетъ, вмѣстѣ съ Венелинымъ, славянскимъ народомъ!!...), и наконецъ, цѣлая часть римско-галльско-франкской Франціи была завоевана Норманами. Сколько различныхъ элементовъ! Но сильное галльское начало восторжествовало надъ всѣми, и въ комментаріяхъ Юлія Цезаря нельзя не видѣть зародыша нынѣшней современной Франціи. А Англія?—Бритты, потомъ Римляне, потомъ Саксонцы и наконецъ французскіе Норманы! Здѣсь, кажется, наоборотъ Франціи, тевтонское начало явилось преобладающимъ надъ кельтическимъ, а результатомъ все-таки была сильная, крѣпкая, оригинальная національность! Неужели этихъ уроковъ мало для доказательства славянофиламъ, что кто-бы ни были Варяго-Руссы — Нѣмцы, или Славяне, — вопросъ о нашей народности черезъ нихъ ровно нисколько не рѣшается, и къ нашему будущему они имѣютъ еще менѣе существеннаго отношенія, нежели сколько имѣли къ тому давно-прошедшему Руси, въ которое пришли въ нее?...

Пусть Шлѣцеръ ошибался въ происхожденіи Руссовъ: въ этомъ нѣтъ никакого преступленія съ его стороны, никакого нѣмецкаго патріотизма, никакого злоумышленія на честь и благоденствіе Россіи. И вообще, о Шлѣцерѣ не худо было-бы говорить съ бѣльшимъ уваженіемъ, нежели какъ позволяетъ себѣ говорить о немъ г. Савельевъ-Ростиславичъ, который, кажется, ровно ничего еще не сдѣлалъ для русской исторіи... Да, пусть даже главная мысль Шлѣцера о русской исторіи — ошибка, заблужденіе; но все таки заслуги Шлѣцера русской исторіи велики: онъ, своимъ изслѣдованіемъ Нестора, далъ



намъ истинный, ученый методъ исторической критики. Есть за что быть намъ вѣчно благодарными ему! И если какой-нибудь г. Ростиславичъ можетъ, будто-бы съ ученою манерою, нападать на Шлёцера, то благодаря все ему же, Шлёцеру же. И что за вина со стороны Шлёцера быть Нѣмцемъ, и за что такая фанатическая ненависть къ Нѣмцамъ, у которыхъ Петръ Великій выучился побѣждать ихъ же самихъ, и которые дали намъ флотъ, торговлю, просвѣщеніе, образованность, науку, искусство, нравы, благодатныя выгоды цивилизованной человѣческой жизни и все, чего не знали и чему были чужды наши предки, которые такъ чуждались и такъ ненавидѣли Нѣмцевъ?

Но у г. Ростиславича, какъ истаго Славянина, Нѣмцы всегда и во всемъ виноваты — безъ вины виноваты, какъ говорить славянская пословица. Шлёцеръ, смѣясь надъ Рудбековскимъ искусствомъ подвергать слова филологической дыбѣ говорить: «Если дадутъ мнѣ сотню русскихъ именъ, то, съ помощію извѣстнаго Рудбековского искусства, возьмусь я отыскать столько же подобныхъ звуковъ въ малайскомъ, перуанскомъ и японскомъ языкахъ». Какъ же понялъ эти слова Шлёцера добросовѣстный, безпристрастный Славянинъ, г. Ростиславичъ? — На основаніи этихъ словъ, онъ утверждаетъ, что будто-бы «онъ самъ» (т. е. Шлёцеръ) «хвастался Рудбековскимъ искусствомъ находить сходство тамъ, гдѣ нѣтъ ни малѣйшаго сходства»!!... (стр. LVI). Мало того: г. Ростиславичъ въ восторгѣ отъ этой остроумно-полемиической выходки Ломоносова противъ Шлёцера, который дѣйствительно смѣшно ошибался въ производствѣ нѣкоторыхъ русскихъ словъ: «Изъ сего заключать должно, какихъ гнусныхъ пакостей не наколѣблудить въ російскихъ древностяхъ такая допущенная въ нихъ скотина»... — «Рѣзко, а вѣдь справедливо!» (восклицаетъ г. Ростиславичъ) «и Ломоносовъ имѣлъ право (!) такъ (!) говорить, какъ Русскій (!?!!) и какъ уче-

ный (???!!!...), коротко знакомый съ отечественною исторіею (sic!), которой удѣлялъ часть своихъ занятій въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ» (стр. LXIV). Чтѣ за образъ мыслей и чувствованій у г. Савельева-Ростиславича!... Но и этого еще не довольно для варяжскаго его правдолюбія: чтѣ ни дѣлають Нѣмцы, все это глупо и низко въ его глазахъ; чтѣ ни дѣлаеть Ломоносовъ, все это у него и умно и благородно. Онъ въ восторгѣ, что рѣчь академика Миллера (ученаго знаменитаго, который, даже по признанію г. Савельева-Ростиславича (стр. XIX), оказалъ великія заслуги собраніемъ матеріаловъ и Сибирскою Исторіею),—рѣчь Миллера «о началѣ народа и имени русскаго», написанная въ Байеровскомъ духѣ, была запрещена. Ломоносовъ съ Крашенинниковымъ и Поповскимъ объявили рѣчь Миллера «предосудительною для Россіи». Въ этомъ случаѣ, какъ Ломоносовъ, такъ и г. Ростиславичъ обнаружили истинно славянскія понятія о свободѣ ученаго изслѣдованія, не говоря уже объ «учености» ихъ взгляда на то, что приговоры науки могутъ быть предосудительны государству или народу. Но и всего этого было мало г. Ростиславичу: ему оставалось еще доказать, что Миллеръ виноватъ и въ томъ, что хотѣлъ защищаться и вознаградить себя за уничтоженіе его рѣчи напечатаніемъ ея. «Миллеръ» (говоритъ г. Ростиславичъ) «старался отмстить своимъ противникамъ другимъ образомъ: онъ сталъ, по выраженію Ломоносова, въ ежемѣсячныхъ и другихъ своихъ сочиненіяхъ, всѣвать по обычаю своему, занозливыя рѣчи» (какое преступленіе!), «и больше всего высматривать пятна на одеждѣ російскаго тѣла, проходя многія истинныя ея украшенія, — а между тѣмъ, въ разныхъ сочиненіяхъ, началъ виѣщать свою скаредную диссертацію о російскомъ народѣ, по частямъ» (какой, подумаешь, извергъ былъ этотъ Миллеръ!) «и хвастать, что онъ ту диссертацію, за кою оштрафованъ, напечатаетъ золотыми лите-

рами» (стр. XXI). Эти строки возбуждают въ насъ желаніе спросить г. Ростиславича: что бы онъ заговорилъ, еслибы такъ называемые имъ Шлёцеріане успѣли добиться запрещенія всѣхъ изысканій касательно русской исторіи, дѣлаемыхъ не въ духѣ Шлёцера? Или, можетъ-быть, какъ истый Славянинъ, онъ уважаетъ свободу ученаго изслѣдованія только для самого себя и для своихъ?... И подобныя монгольскія книги пишутся въ XIX вѣкѣ и выдаются за «ученыя» сочиненія! Хороша ученость!

Но послѣдуемъ желанію г. Ростиславича, отбросимъ всѣхъ этихъ Нѣмцевъ, которые совсѣмъ перепортили первый періодъ нашей исторіи, и посмотримъ на историческіе подвиги Ломоносова, полюбуемся ими. Ломоносовъ признавалъ варяжскую Русь племенемъ славянскимъ, обитавшимъ на южныхъ берегахъ Балтійскаго моря: великая заслуга съ его стороны, въ глазахъ г. Ростиславича! Но почему Ломоносовъ думалъ такъ, а не иначе, какимъ путемъ дошелъ онъ до этого убѣжденія? — Не почему другому, какъ потому, что не-славянское происхожденіе Варяговъ-Руси было бы «предосудительно славъ Россовъ». Миллеръ, по внѣшней необходимости, попытавшійся было на сближеніе съ мыслию Ломоносова, сталъ подкрѣплять ее учеными доводами, о которыхъ Ломоносовъ и не подумалъ (стр. XXI); но все-таки въ племени Роксолановъ думалъ видѣть Скандинавовъ. Желая оправдать и очистить память Ломоносова отъ незнанія и неучености въ исторіи, и доказать, что Ломоносовъ былъ и великій историкъ, только оклеветанный Шлёцеромъ, г. Савельевъ-Ростиславичъ дѣлаетъ длинную выписку изъ вступленія къ его «Древней Россійской Исторіи». Мы думали и Богъ знаетъ что увидѣть въ этой выпискѣ, которую г. Савельевъ-Ростиславичъ грозился убить наповалъ всѣхъ Шлёцеріанъ и не-славянофиловъ; а вмѣсто того, что же увидѣли мы въ этихъ строкахъ Ломоносова, по мнѣнію его

апологиста, исполненных такой удивительной мыслительности, до которой Нѣмцамъ никогда не удавалось доходить? что нашли мы въ этомъ историческомъ profession de foi Ломоносова?— Ничего, кромѣ надутаго риторическаго пустословія и суетсловія о древней славѣ Россовъ, и объ удивительномъ сходствѣ русской исторіи съ римскою... Вотъ маленькій отрывокъ для образчика историческихъ воззрѣній Ломоносова: «Посему всякъ, кто увидитъ въ російскихъ преданіяхъ — равныя дѣла и героевъ греческимъ и римскимъ подобныя, унижать насъ предъ оными причины имѣть не будетъ; но только вину полагать долженъ на бывшій нашъ недостатокъ въ искусствѣ, каковымъ греческіе и латинскіе писатели своихъ героевъ въ полной славѣ предали вѣчности»... Мы не намѣрены издѣваться надъ этими простодушными словами великаго человѣка, жившаго въ томъ вѣкѣ, когда идея и значеніе исторіи едва только предчувствовались немногими свѣтлыми умами, отличавшимися философическимъ направленіемъ. Ломоносовъ былъ умъ положительный и практическій, чуждый всякаго умозрительнаго направленія, да, и исторія была совсѣмъ не его предметъ. Нѣмецкіе ученые, съ которыми онъ такъ опрометчиво, такъ запальчиво и такъ неосновательно вступилъ въ историческую полемику, стояли, въ отношеніи къ исторіи, какъ наукѣ, неизмѣримо выше его, потому что они глубоко чувствовали и сознавали необходимость строгой и холодной критики, чтобъ очистить исторію отъ басни. Короче мы не видимъ уголовного преступленія со стороны Ломоносова, что онъ взялся явно не за свое дѣло; но какъ же не грѣхъ г. Ростиславичу видѣть въ словахъ Ломоносова что-нибудь другое, кромѣ пустой риторики? Какъ! въ наше время, не шутя, всю разницу между исторіею древнихъ Грековъ и Римлянъ и между исторіею Россіи видѣть только въ «нашемъ недостаткѣ искусства, каковымъ греческіе и латинскіе писатели

своихъ героевъ въ полной славѣ предали вѣчности»? Да это только и составляетъ все! Поэтому-то и нѣтъ ничего общаго между древнею Греціею, древнимъ Римомъ и Россіею временъ Елизаветинскихъ, что у насъ не было ни науки, ни искусства! Вѣдь между греческими и римскими героями и между греческими и латинскими писателями есть кровная, живая связь: явленіе однихъ необходимо условливало явленіе другихъ, и Омиръ, Исіодъ, Эсхиль, Софокль, Эврипидъ, Пиндаръ, Геродотъ, Фукидидъ, Ксенофонтъ, Сократъ, Платонъ, Аристотель, Демосеенъ, Аристофанъ, Прокситель, Фидіасъ, Апеллесъ, Титъ-Ливій, Горацій, Виргилій, Овидій, Тацитъ и другіе были такими же точно героями и историческими лицами, какъ Ахиллъ, Агамемнонъ, Гекторъ, Кодръ, Ликургъ, Солонъ, Мильтіадъ, Перикль, Алкивіадъ, Александръ Македонскій и всѣ герои Рима, отъ консула Брута до Юлія Цезаря и послѣдняго Римлянина, соименника первому консулу. Гдѣ нѣтъ поэтовъ, историковъ, ораторовъ, художниковъ, тамъ нѣтъ въ нихъ и потребности, тамъ не могли они быть, да тамъ и нечего было бы имъ дѣлать. Ломоносовъ, далѣе, находитъ рѣшительное сходство между римскою и русскою исторіею... Вотъ поминистіе наивная манера находить сходство тамъ, гдѣ нѣтъ ничего, кромѣ совершенной противоположности и совершеннаго несходства. Но Ломоносову это извинительно: онъ и въ исторіи былъ такимъ же риторомъ, какъ и въ своихъ надутыхъ одахъ на иллюминаціи и въ своей раздутой quasi-русской трагедіи «Темира и Селимъ», и, поэтому, въ русской исторіи искалъ не истины, а «славы Россовъ». Но простительно ли г. Ростиславичу, не шутя, безъ смѣха, безъ мистификаціи передавать эти слова Ломоносова, какъ его право на титулъ историка, какъ доказательство, что Ломоносовъ указывалъ русской исторіи настоящую дорогу, съ которой сбили ее лукавые и злонамеренные Нѣицы?... Мало всего этого; кончивъ вы-

писку риторическихъ фразъ Ломоносова, г. Ростиславичъ очень наивно восклицаетъ: «Это вступленіе лучше всего знакомить со взглядомъ Ломоносова на русскую исторію и на обязанности историка». Именно такъ! Прочтя это вступленіе, кто же захочетъ прочесть самую исторію Ломоносова, или упоминать имя ея автора, говоря объ исторіи, какъ о наукѣ, а не какъ о риторическомъ панегирикѣ Россамъ!...

Но—дѣлать нечего—скрѣпя сердце, посмотримъ на дальнѣйшіе историческіе подвиги Ломоносова. Говоря о первобытныхъ племенахъ славянскихъ, Ломоносовъ заключаетъ о ихъ древности и величїи по пространству, которое они занимали. «Сравнивъ тогдашнее состояніе могущества и величества славянскаго съ нынѣшнимъ, едва чувствительное нахожу въ немъ приращеніе. Черезъ покореніе западныхъ и южныхъ Словенъ въ подданство чужой власти и приведеніе въ магометанство едва ли не послѣдовалъ бы знатный уронъ сего племени передъ прежнимъ, — еслибы приращенное могущество Россіи съ одной стороны онаго умаленія съ избыткомъ не наполнило. Того ради безъ сомнѣнія заключить можно, что величество словенскихъ народовъ, вообще считая, стоитъ близъ тысячи лѣтъ почти на одной мѣрѣ». Видите ли, въ чемъ дѣло! Для Русскихъ XVIII вѣка, много было радости въ томъ, что Славяне, около тысячи лѣтъ коснѣя въ безплодномъ для человѣчества существованіи, все-таки, несмотря на то, пребывали въ величествѣ! Индійцы, Китайцы, Японцы ужъ, конечно, гораздо древнѣе Славянъ и, своимъ существованіемъ, оставили въ исторіи человѣчества болѣе глубокой, нежели Славяне, слѣдъ; но что жъ въ этомъ пользы для нихъ теперь, когда они превратились въ какія-то нравственные окаменѣлости какъ-будто допотопнаго міра? Для насъ, Русскихъ, важна русская, а не словенская исторія; да и русская-то исторія становится важною не прежде, какъ съ возвышенія москов-

скаго княженія, съ котораго для Россіи наступило время уже историческаго существованія. Первый періодъ русской исторіи до Ярослава совершенно неуловимъ для историка, то мелькая, то исчезая изъ его глазъ въ баснословномъ и мифическомъ сумракѣ. Непроходимая чаща удѣльнаго періода составляетъ только полу-историческій періодъ русской исторіи, — періодъ, въ которомъ важна одна только сторона — распространеніе и расширеніе Руси на сѣверъ, черезъ удѣльную систему. Все это въ русской исторіи можетъ занимать не болѣе, какъ двѣ главы: первая будетъ состоять изъ малаго числа фактовъ и съ умѣренностью и осторожностію употребленныхъ гипотезъ и догадокъ, а вторая будетъ родомъ введенія въ русскую исторію, которая начнется собственно съ Іоанна Калиты (съ 1328 года). До Славянъ же намъ нѣтъ дѣла, потому что они не сдѣлали ничего такого, что дало бы имъ право на вниманіе науки, и на основаніи чего наука могла бы видѣть въ ихъ существованіи фактъ исторіи человѣчества. Если Славяне не были варварами, но, напротивъ, обладали цивилизаціею, просвѣщеніемъ и образованіемъ, — тѣмъ лучше для нихъ, а совѣтъ не для насъ, которымъ отъ этого ни холоднеѣе, ни теплѣе, ни хуже, ни лучше. И если Байеръ и Шлѣцеръ были не правы, отзываясь о новгородскихъ Славянахъ, какъ о невѣжественныхъ варварахъ, а Ломоносовъ былъ правъ, приписывая имъ цивилизацію, просвѣщеніе и образованность, — пусть славянофилы уличаютъ первыхъ и оправдаютъ послѣдняго, пусть покажутъ они въ памятникахъ письменности, законодательства, самаго язычества, науки и искусства, какъ велики были цивилизація, просвѣщеніе и образованность новгородскихъ Славянъ. Но въ такомъ случаѣ, пусть покажутъ и докажутъ все это не ради ложнаго патріотизма, который тутъ совершенно неуиѣстенъ, но ради объективной истины предмета, которая всегда имѣетъ свою относительную важность и достоинство. Пусть они

въ этомъ случаѣ обопрутса на факты, а не на ипотезы, догадки и фантазіи; пусть не хвалятся, какъ Богъ знаетъ чѣмъ, мірскою сходкою, ископи существовавшей у всѣхъ славянскихъ племенъ и даже до нашихъ дней сохранившеюся и въ Россіи, — пусть, говоримъ, не хвалятся ею, потому что она существовала и существуетъ у Индійцевъ, и даже у обитателей Океаніи, оставаясь обычаемъ, изъ котораго ничего не развивается для исторіи. А еслибъ славянофиламъ и удалось уличить Байера и Шлёцера и оправдать Ломоносова, еслибы они и доказали, основываясь на фактахъ, что новгородскіе Славяне были народъ цивилизованный, просвѣщенный и образованный, — все-таки да остерегутся они хвалиться этимъ, какъ чѣмъ то очень лестнымъ для чести современной намъ Россіи, потому что, повторяемъ, эта цивилизація и образованность, это просвѣщеніе, если онѣ — не мечта, дѣлаютъ честь новгородскимъ Славянамъ прежде-Рюриковскихъ временъ, а не намъ, — и изъ нихъ (т. е. изъ цивилизаціи, просвѣщенія и образованности) не вышло ровно никакихъ слѣдствій, потому что въ періодъ удѣловъ и татарщины, мы не видимъ ни цивилизаціи, ни просвѣщенія, ни образованности. Съ Іоанна III развилась полу-восточная цивилизація Московскаго-царства; но просвѣщеніе и образованность все-таки появились только съ царствованія Петра-Великаго. Но, увы! Славянофилы тщетно вопіютъ намъ о цивилизаціи, просвѣщеніи и образованности кievскихъ и новгородскихъ Славянъ еще задолго до пришествія къ послѣднимъ Варяго-Руссовъ: нѣтъ никакихъ слѣдовъ этой цивилизаціи, этой образованности, этого просвѣщенія! Что за просвѣщеніе безъ грамотности, а грамотностію мы обязаны христіанству, а христіанство явилось у насъ послѣ Рюрика! И что унижательнаго для нынѣшней Россіи, что предки ея — Славяне, были необразованы? Развѣ не варвары были Галлы и всѣ племена цельтическія? развѣ не варвары были племена тевтонскія, по-



ложившія основаніе нынѣшнихъ просвѣщенныхъ европейскихъ государствъ? Развѣ Европа до открытія Америки, изобрѣтенія книгопечатанія и пороха, не была странною варварскою? И неужели Европѣ нашихъ временъ должно стыдиться сознаться въ этомъ? Какая нелѣпость! Изъ всѣхъ народовъ челоѣчества, древніе Греки были народомъ-аристократомъ, и тѣмъ не менѣе отцы ихъ — Пелазги были дикіе варвары? Какъ-будто бы происхожденіе можетъ унижить челоѣка, или народъ? Какъ-будто бы каждый народъ не бываетъ, въ своемъ происхожденіи, дикимъ варваромъ, — такъ же, какъ-будто бы каждый челоѣкъ не родится младенцемъ?... Неужели все это — не аксіомы въ глазахъ славянофиловъ? Неужели для нихъ ново и странно, что дважды-два—четыре, а не пять?... Станные люди!...

Обратимся еще разъ къ Ломоносову; но, избѣгая длинныхъ выписокъ, скажемъ просто, что г. Савельевъ-Ростиславичъ, вмѣстѣ съ Ломоносовымъ, въ превеликомъ восторгѣ оттого, что славянское имя будто бы прославилось еще въ началѣ VI столѣтія по Р. Х.; что, вмѣстѣ съ другими варварами, Славяне способствовали разрушенію Римской-имперіи; и что, по свидѣтельству Птолемея, Сармацію одержали «превеликіе Вендскіе народы», которые были не кто другіе, какъ наши предки — Славяне... Положимъ, что все это и такъ; но чему же тутъ радоваться? Древность Славянъ? — Но что она передъ древностью Китайцевъ? — молодость, просто молодость! Но еслибъ Славяне были древнѣе самихъ Китайцевъ, что жъ въ этомъ? Современная намъ китайская цивилизація смѣшна, уродлива, пошла; но, какъ окаменѣлый памятникъ цивилизаціи, можетъ-быть, древнѣйшей, нежели цивилизація всѣхъ другихъ историческихъ народовъ глубокой древности, она интересна, поучительна, достойна глубочайшаго изученія. Что же осталось намъ отъ древности Славянъ, которые, подожимъ, были

уже страшными головорѣзами ещез адо лго до Пто ломея?—ничего, ровно ничего! — Такая древность и не стоить ничего,—и юность Россійской имперіи, существующей не болѣе полутора столѣтія, въ миллионъ разъ лучше такой древности... Но что мы говоримъ! Какое тутъ сравненіе, какая параллель! Развѣ можно сравнивать пустоту съ содержаніемъ, ничто со многимъ?...

Забавнѣ всего, что г. Савельевъ-Ростиславичъ, послѣ выписки изъ Ломоносова, восклицаетъ: «Итакъ, вотъ на чемъ хотѣлъ основать свою историческую критику Ломоносовъ. Сравненіе тѣхъ временъ съ нынѣшними, естественное теченіе бытія человѣческаго, то есть естественность и логическая возможность событій, и наконецъ примѣры прошедшаго, послѣ чего и филологія составляетъ уже не безсильное доказательство, но только тогда, когда опирается на свидѣтельствъ древнихъ, согласна съ истинными основаніями, извлекаемыми изъ разсмотрѣнія временъ уже чисто-историческихъ, вполне извѣстныхъ. Какое безмѣрное разстояніе отъ Байера(,) Миллера и самого Шлёцера!» Именно—безмѣрное! Байеръ, Миллеръ и Шлёцеръ могли и ошибаться, но они всегда понимали сами, что говорили, и ихъ всегда можно понимать, даже иногда и не соглашаясь съ ними...

Слѣдить шагъ за шагомъ за мыслями, или, лучше сказать, за мечтами г. Савельева-Ростиславича нѣтъ возможности: это и скучно и бесполезно. Сверхъ того, мы вѣдь и взялись не опровергать его (это не стоило бы труда), а только показать и обнаружить нецѣльность славянофильскаго направленія въ наукѣ,—направленія, незаслуживающаго никакого вниманія ни въ ученомъ, ни въ литературномъ отношеніяхъ, но очень любопытнаго... въ психологическомъ отношеніи... И потому, будемъ указывать на особенно курьёзные мѣста въ книгѣ г. Савельева-Ростиславича.

Вотъ образецъ ученаго достоинства, литературной вѣжливости и гуманнаго образованія г. Савельева-Ростиславича: разругавъ г. Полеваго за то, что онъ въ своемъ «Телеграфѣ» хвалилъ сочиненіе г. Погодина «О происхожденіи Руси», и сказавъ, что г. Погодинъ, въ благодарность за это, объявилъ г. Полеваго человѣкомъ неспособнымъ связать въ порядкѣ двухъ идей, — г. Савельевъ-Ростиславичъ такъ продолжаетъ говорить о г. Полевомъ: «Смѣтливый журналистъ, ради потѣхи почтеннѣйшей публики, особенно изъ недоучившихся купеческихъ сынковъ, придумалъ особое названіе кваснаго патріотизма и под(т)чивалъ имъ всѣхъ несогласныхъ съ рейнскими идеями, перенесенными цѣликомъ въ «Исторію Русскаго Народа», и пр. (стр. LXXXV). Мы понимаемъ, что названіе кваснаго патріотизма, по извѣстнымъ причинамъ, должно крѣпко не нравиться г. Савельеву-Ростиславичу; но тѣмъ не менѣе, остроумное названіе это, котораго многіе боятся пуще чумы, придумано не г. Полевымъ, а княземъ Вяземскимъ, — и, по нашему мнѣнію, изобрѣсти названіе «кваснаго патріотизма» есть бѣлая заслуга, нежели написать нелѣпую, хотя бы и ученую, книгу въ 700 страницъ. Мы помнимъ, что г. Полевой, тогда еще неписавшій квасныхъ драмъ, комедій и водевилей, очень ловко и удачно умѣлъ пользоваться остроумнымъ выраженіемъ князя Вяземскаго, но совѣмъ не противъ только противниковъ Шлёцеровскаго ученія о Варяго-Руссахъ, а противъ всѣхъ тѣхъ непризванныхъ и самозванныхъ патріотовъ, которые мнимымъ патріотизмомъ прикрываютъ свою ограниченность и свое невѣжество, и возстаютъ противъ всякаго успѣха мысли и знанія. Со стороны г. Полеваго, это заслуга, которая дѣлаетъ ему честь. Но г. Полевой принялъ мнѣніе Шлёцера о скандинавскомъ происхожденіи, — и ему уже никакъ не оправдаться передъ неумолимымъ къ такому ужасному преступленію г. Савельевымъ-Ростиславичемъ. По мнѣнію по-

слѣднаго, «Исторія Русскаго Народа» не могла не быть дурною уже потому, что авторъ ея послѣдовалъ Шлёцеру, и г. Савельевъ-Ростиславичъ повторяетъ ксати, плоскую, пошлую и старую остроту, что Нибуръ умеръ отъ прочтенія посвященной ему «Исторіи Русскаго Народа», — остроту, которая такъ идетъ къ такой ученой книгѣ, каковъ «Славянскій Сборникъ»... Но вѣдь и Карамзинъ преимущественно держался мнѣнія Шлёцера, хотя и далъ мѣсто въ своей исторіи другому мнѣнію: отчего же г. Савельевъ-Ростиславичъ находитъ хорошія качества въ «Исторіи Государства Россійскаго»?—На это у него есть достаточная причина: на страницахъ ССѴІІІ и ССІХ-й, мы узнаемъ, отъ него самого, что онъ, г. Савельевъ, «рѣшился посвятить всѣ способности (чи?) разработанію (разрабатыванію?) отечественной исторіи, въ память единственнаго нашего русскаго исторіографа, Николая Михайловича Карамзина, который прислалъ ему, новорожденному, безсмертный трудъ свой, съ надписью: маленькому тѣзкѣ, можетъ-быть (.) также будущему историку»... Видите ли, что значитъ подарокъ во время и ксати: и Карамзина исторія сдѣлась безсмертною, несмотря на Шлёцеровскія идеи, принятыя ею за основаніе, и г. Савельевъ, маленький тѣзка великаго писателя, сдѣлался также историкомъ... О, велико-кутская наивность!...

Отдѣлавъ г. Полеваго, нашъ рыцарь Великаго-Кута принимается за г. Погодина. И подѣломъ ему, г. Погодину: зачѣмъ онъ Шлёцеру вѣритъ больше, чѣмъ гг. Венелину, Морошкину и Савельеву! Вотъ какъ онъ отдѣлываетъ его, мимоходомъ не давая спуска и тѣзкѣ своему Карамзину, несмотря на подарокъ:

*«Фантастическо-ученое построеніе древней Русской Исторіи наперекоръ Несторовой лѣтописи. Нѣкогда, въ Московскомъ Вѣстникѣ»* г-нъ Погодинъ писалъ объ Исторіи Государства Россійскаго: «Карамзинъ *есть* какъ художникъ-живописецъ, хотя его картины часто похожи на кар-

тины того славнаго Итальянца, который *героевъ естъ въ время* одѣвалъ въ платье *своего времени*; хотя въ его Олегахъ и Святославахъ мы видимъ часто Ахиллесовъ и Агамемноновъ Расиновскихъ. Какъ критикъ, Карамзинъ *только что можъ* воспользоваться тѣмъ, что *до него было сдѣлано*, особенно въ древнѣйшей Исторіи: вотъ ужъ, право, излишняя синхроничность! Слѣдовало сказать: Карамзинъ *не умѣлъ* воспользоваться открытіями Байера, что Новгородцы суть Кабардинцы, а Бужане—Татарскіе Бужаки, или что Витичевъ на Дѣпрѣ есть Витебскъ (на Двинѣ); *не умѣлъ* воспользоваться и тѣмъ, что сдѣлано для древнѣйшей Исторіи Миллеромъ, особенно касательно превращенія царя Додона въ скандинавскаго бога Одна, а Бовы королевича въ Бауса Оденовича; *не умѣлъ* воспользоваться и открытіями Струбе, что Перунъ славянскій именно есть скандинавскій Торъ; *не умѣлъ* воспользоваться и гипотезою Шлёцера, что у насъ на югѣ былъ особый азіатскій народъ, Rhos, неизвѣстная орда варваровъ, которые показались на западѣ и исчезли; или съ востока, но неизвѣстно откуда; названы Россами, но неизвѣстно почему; прогнаны опять въ свои пустыни не европейскимъ просвѣщеніемъ или храбростію, но случаемъ, только неизвѣстно куда; *не умѣлъ* воспользоваться гениальною мыслию Рейнскаго патриотизма о внутреннемъ бытѣ Славянъ и значеніи Русскаго славянскаго племени, забытаго до IX вѣка Отцемъ человечества; *не умѣлъ* воспользоваться удивительно высокою мыслию объ основаніи Русскаго Царства шайкою дерзкихъ разбойниковъ, жестокихъ Шведскихъ грабителей, призванныхъ по неосторожности грубыми Славянами въ ландманы; *не умѣлъ* воспользоваться превосходными соображеніями о томъ, какъ Елена перешла въ католичество потому, что въ Царьградѣ всѣ знакомые померли; наконецъ, слѣдовало сказать: Карамзинъ не только не умѣлъ воспользоваться ни одною изъ этихъ *ученыхъ* идей, но даже осмѣлился замѣтить, что Байеръ уважалъ сходство именъ недостойное замѣчанія, и худо зналъ географію; что Миллеръ повторялъ Датскія сказки, и что у Шлёцера народы падаютъ съ неба и скрываются въ землю какъ мертвецы по сказкамъ суевѣрія... Въ самомъ дѣлѣ, какой же ограниченный человекъ былъ Карамзинъ, не постигавшій величія Байера, Миллера и Шлёцера!... Но послушаемъ Михаила Петровича: «Какъ *философъ*, онъ имѣетъ *еще меньше* достоинствъ, и *ни на одинъ философскій вопросъ не отвѣтятъ* мнѣ изъ его Исторіи. Апофеизмы Карамзина въ Исторіи суть большею частію общія мѣста. *Взглядъ* его на *Исторію* какъ науку, *неверный*, и это ясно видно изъ Предисловія». Въ чемъ состоитъ невѣрность взгляда Карамзина, несправедливость общихъ мѣстъ его Исторіи, и какіе философскіе вопросы занимали умъ почтеннаго профессора—любители исторіи не узнали, потому что и до нынѣ еще не увидѣла свѣтъ Божій — обѣщанная профессоромъ (1829) книга «Карамзинъ, собраніе статей, относящихся до Исторіи». Видѣсто ее, Михаилъ Петровичъ началъ упражняться въ стихахъ и прозѣ: отъ профессора

исторіи, такъ строго осудившаго славное твореніе историографа, всѣ Русскіе ждали *доказательствъ*; но вмѣсто разбора Карамзина—въ 1830 году явилась «*Марѳа, Посадница Новгородская*, трагедія въ 5 дѣйствіяхъ, въ стихахъ». Почтенный профессоръ хотѣлъ испытать свои силы въ *историческомъ* родѣ, а именно: когда безсмертная Екатерина ввела при Дворѣ русскій языкъ, то за каждое иностранное слово, употребленное въ разговорѣ, опредѣлялось въ видѣ наказанія — выучить 100 стиховъ изъ Тилемахиды; въ наше время, при славномъ Внукѣ Екатерины Великой, Русская народность опять воскресаетъ; но еслибы, для введенія въ общество русскаго языка, введено было подобное же наказаніе, то гдѣ современная Тилемахида? Почтенный профессоръ Исторіи чувствовалъ этотъ важный недостатокъ и —удачно восполнилъ его знаменитою «*Марею Посадницею*», написанною такими стихами, какіе уже не показывались со временъ Тилемахиды Василія Кирилловича.—Въ 1832 году, вышелъ «*Повѣсти Михаила Погодина*» (въ 3 частяхъ), написанныя почтеннымъ авторомъ въ *дидактическомъ* родѣ: ловкій и остроумный профессоръ Исторіи хотѣлъ представить *очевидное* доказательство, что у кого нѣтъ ни слога, ни воображенія, ни глубины мысли, тому не должно писать *повѣсти*. Убѣдивъ себя и читателей въ этой великой истинѣ, онъ рѣшился опять испытать свои силы въ стихахъ à-la Trétiakow-ъку, и съ этою цѣлію написалъ драму «*Петръ Великій*», которая донынѣ остается ненапечатанною, хотя отрывки и явились было къ Русскимъ читателямъ: почтенный профессоръ Исторіи убѣдился наконецъ на опытѣ, что пародія на стихи и на шекспировское созданіе изъ жизни безсмертнаго Императора была бы только оскорбленіемъ памяти Великаго человека, и потому, какъ Русскій патріотъ, обрекъ свою драму на вѣчное забвеніе. Въ благодарность за это, Русскіе почитатели г. Погодина уже терпѣливо стали ждать появленія давно обѣщаннаго историческаго творенія. Въ 1835 году, они съ радостью прочли объявленіе, что вышла «*Исторія въ лицахъ о Димитріи Самозванцѣ*, сочиненіе М. Погодина», но почтенный профессоръ Исторіи на этотъ разъ вздумалъ пошутить: подъ именемъ «Исторіи въ лицахъ» онъ поподчивалъ своихъ читателей опять драмой, только въ прозѣ. Это сочиненіе, кажется, написано авторомъ съ благою цѣлію—рѣшительно и окончательно убѣдить всѣхъ своихъ друзей и почитателей въ совершенной неспособности писать драму, даже въ прозѣ. Успѣшно достигнувъ этой цѣли, почтенный авторъ принялся *отдѣлывать* Исторію, какъ философъ.

«Пока издавался «Московскій Вѣстникъ», М. П. Погодинъ умѣлъ приобрѣсть себѣ хорошую извѣстность, какъ знатокъ Русской и Всеобщей Исторіи, нѣсколькими умными и дѣльными критическими замѣтками на разныя историческія сочиненія; участіе, которое принималъ въ изданіи журнала Юрій Ивановичъ Венелинъ, оказало въ самыхъ благотворныхъ слѣдствіяхъ относительно развитія мыслительности у Михаила Петровича. Но, по мѣрѣ осла-

бленія этого вліянія, Скандинавоманія прибрѣтала большую и большую силу надъ почтеннымъ авторомъ «Мары» и «Исторіи въ лицахъ», наконецъ воз-  
обладала имъ совершенно, и чѣмъ далѣе шелъ онъ, тѣмъ глубже погружался  
въ тинистое болото дикихъ мыслей и странныхъ выраженій.

Все это, или почти это, было уже сказано о г. Погодинѣ въ странной брошюрѣ: «Современные историческіе труды въ Россіи, М. Т. Каченовскаго, М. П. Погодина, Н. Г. Устрялова и пр.», о которой читатели наши могутъ справиться въ 5-й книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» нынѣшняго года, въ отдѣлѣ Библиографической Хроники, стр. 31 — 32. Во всѣхъ этихъ нападкахъ на г. Погодина есть своя доля правды; но онъ здѣсь неумѣстенъ и производитъ на читателя непріятное впечатлѣніе: читатель видитъ, что г. Погодина бранятъ совсѣмъ не за тѣ факты, которые выставляютъ на видъ, а за то, что онъ раздѣляетъ мнѣніе Шлёцера. Это возмутительно! Можно не соглашаться съ мнѣніемъ другаго, можно и даже должно опровергать его; но кому бы то ни было ставить въ преступленіе мнѣніе объ ученомъ предметѣ и преслѣдовать за него ненавистью и ругательствомъ, это ни на что не похоже! Отдѣлавъ à la Atilla (вѣдь Атилла былъ тоже Славянинъ?) всѣхъ байеріянъ, миллеріянъ и шлёцеріянъ, г. Савельевъ раздаетъ вѣнцы мученичества, славы и величія всѣмъ историческимъ критикамъ въ славянофильскомъ духѣ, преимущественно же — Венелину, г. Морошкину, и самому себѣ, г. Савельеву-Ростиславичу!...

Мы не будемъ входить въ разборъ мнѣній г. Савельева о Венелинѣ. Скажемъ только, что всѣ странности этого страннаго челоуѣка г. Ростиславичъ безусловно принимаетъ за несомнѣнныя истины, и что онъ, столь строгій къ Байеру и Шлёцеру за ихъ филологическія натяжки, въ филологической дыбѣ Венелина видитъ свободные и рациональные филологическіе выводы. Для него ясно, какъ день Божій, что Гунны

были Славяне, а Атилла — Тѣланъ, что Франки были тоже Славяне, и т. п. Всему этому онъ такъ радъ, всѣмъ этимъ онъ такъ гордъ, какъ-будто бы и въ самомъ дѣлѣ для насъ, Русскихъ XIX вѣка, большая радость — кровное родство съ варварами-Гуннами и ихъ Тамерланомъ-Атиллою, грозившимъ гибелью будущей европейской цивилизаціи!... Что касается до насъ, мы охотно признаемъ въ Венелинѣ, какъ въ ученомъ, хорошія стороны. Это былъ одинъ изъ тѣхъ умовъ замѣчательныхъ, но парадоксальныхъ, которые вѣчно обманываются въ главномъ положеніи своей доктрины, но открываютъ иногда истины побочныя, которыхъ касаются мимоходомъ. Страстный къ своему предмету, владѣвшій огромною, хотя и спеціальною ученостію, изступленный Славянинъ, Венелинъ, доказывая нелѣпость—славянизмъ большей части народовъ, игравшихъ роль въ Европѣ среднихъ вѣковъ до крестовыхъ походовъ, въ то же время обогатилъ свои сочиненія интересными побочными сближеніями и выводами, можетъ-быть, дѣйствительно поубавилъ число народовъ, доказавъ, что одинъ и тотъ же народъ принимался за нѣсколькихъ, потому что былъ извѣстенъ подъ разными именами, и т. п. Нѣмцы не будутъ благодарны Венелину за ослабленіе Нѣмцевъ; но въ томъ, что касается собственно Славянъ, указанія Венелина могли бы имѣть свою цѣну и въ глазахъ Нѣмцевъ, незнающихъ славянскихъ нарѣчій, еслибъ только истинно-ученая и безпристрастная рука отдѣлила въ сочиненіяхъ Венелина плевелы отъ зеренъ. Усердіе Венелина къ успѣхамъ просвѣщенія Болгаръ, доказанное не одними словами, но и дѣломъ, любовь и признательность, которыя успѣлъ онъ возбудить въ нихъ къ себѣ, даютъ о немъ хорошее понятіе, можетъ-быть, еще болѣе какъ о человѣкѣ, нежели какъ объ ученомъ. *Suum cuique!* Но смотрѣть на Венелина, какъ на славянскаго Нибура, какъ на великаго ученаго, который оказалъ человѣчеству услугу не меньше услуги,



напримѣръ, Коперника, видѣть въ ультра-славянизмѣ что-нибудь другое, кромѣ болѣзненной односторонности, вѣрить ему на-слово, что Гунны и Франки—Славяне, а Атилла—Тѣланъ, и т. п., — все это, воля ваша, не больше, какъ только смѣшно и жазко! Есть же, наконецъ, вещи, о которыхъ нельзя говорить серьёзно, не рискуя сдѣлаться посмѣшищемъ въ глазахъ людей съ здравымъ смысломъ.

Что касается до г. Морошкина, нельзя не отдать ему справедливости, какъ профессору, который любитъ свой предметъ, говорить о немъ со знаніемъ дѣла, съ жаромъ и увлекательностью убѣжденія. Но вѣдь онъ читаетъ исторію русскаго права, а не русскую исторію,—и мы, право, не знаемъ, какими образомъ увлекся онъ пустымъ и безплоднымъ вопросомъ о происхожденіи Руси. По крайней мѣрѣ, онъ рѣшаетъ его столько же забавно, какъ и утвердительно. По его мнѣнію, слово Русь происходитъ отъ рощи, прута, розги или лозы (Roscia, Pruthenia, Ruthe, Rosgi), другими словами, Россія значить древлянская или лѣсная земля, роща, лѣсъ. Тутъ играетъ роль даже жезлъ, сирѣчь палка, трость, (по-малороссійски кій), и т. д. Все это филологическое производство утверждено на глаголѣ расти. Скиѣ (Чужакъ, по Венелину), по мнѣнію г. Морошкина, значить лѣсной житель, Урманъ (отсюда Норманъ), напоминающій Аримана, значить лѣсъ; Будинъ значить то же, что Скиѣ (лѣсной житель); Аланъ значить съ лѣсомъ равный; Роксоланы значить то же, что Аланы, а благороднѣйшая отрасль Роксоланъ суть Рязанцы, а въѣ эти имена значать то же, что Россы... Далѣе, г. Морошкинъ находитъ Поволжскую или Туркестанскую Россію. «Я вѣрю», говоритъ онъ: «арабскимъ географамъ и не боюсь, когда они меня, истаго Славянина и Русса, назовутъ Туркомъ: я точно Турокъ, ибо я Руссъ; Турокъ есть также Руссъ, какъ и я: ибо онъ Славянинъ». Довольно! Охотниковъ до курьёзныхъ

вещей отсылаемъ къ книгѣ г. Морошкина: «О значеніи имени Руссовъ и Славянъ» (Москва, 1840), а если они испугаются цѣлой книги, то къ рецензіи объ этой книгѣ въ 63 номерѣ «Литературной Газеты» 1841 года. Очевидно, г. Морошкинъ пошелъ гораздо далѣе самого Венелина; и если нельзя сказать, чтобъ, подобно Венелину, онъ мимоходомъ и стороною сдѣлалъ что-нибудь для знанія, — зато нельзя сказать, чтобъ онъ не довелъ до послѣдней крайности его странностей. Но тѣмъ выше заслуга Морошкина въ глазахъ г. Савельева-Ростиславича, который иногда позволяетъ себѣ не во всемъ соглашаться съ Венелинымъ, но г-на Морошкина во всемъ находить непогрѣшительнымъ, какъ Турки (они же и Славяне) своего пророка. Вотъ истинная-то стачка геніевъ!...

Но нельзя безъ слезъ умиленія читать полное и подробное изложеніе собственныхъ ученыхъ подвиговъ, которому г. Савельевъ-Ростиславичъ посвятилъ цѣлыхъ двадцать страницъ. Боже мой, какая скромность и, вмѣстѣ съ тѣмъ, какое глубокое, какое твердое сознаніе своихъ заслугъ, своего достоинства! Кто возьметъ терпѣніе прочесть эти двадцать страницъ, тотъ вполнѣ пойметъ, какимъ образомъ Бюфонъ имѣлъ смѣлость говорить, не краснѣя: «Геніевъ три: Лейбницъ, Ньютонъ и я!» Хотя г. Савельевъ-Ростиславичъ и не выговариваетъ прямо, что на Руси не было геніевъ выше трехъ — Венелина, Морошкина и, въ особенности, его, г. Савельева-Ростиславича, — однако это само собою выходитъ изъ сущности всей его толстой книги, которая, кажется, для того больше и была написана. Г. Савельевъ-Ростиславичъ помѣстилъ въ ней свою автобіографію, и началъ ее съ самаго нѣжнаго своего дѣтства — мало! — просто съ самаго дня своего рожденія, когда великій тѣзка его, Карамзинъ, прислалъ свою «Исторію» родителю новорожденнаго, — что и рѣшило послѣдняго посвятить себя обработанію (обработыванію?) русской исторіи (стр. ССVIII—

ССІХ). «Отсюда (прибавляет скромный автобіографъ) «объясняется критическое направленіе первых трудовъ автора этой книги» (стр. ССІХ). Увѣдомленіе, драгоценное для потомства, которое, поэтому, избавлено отъ труда разыскивать, писать диссертациі, толстыя книги, спорить, браниться, стараясь рѣшить великій вопросъ: чѣмъ объяснить критическое направленіе первых трудовъ г. Савельева-Ростиславича!... Отъ дня своего рожденія, г. Савельевъ-Ростиславичъ ведетъ насъ съ собою уже прямо въ университетъ: жаль! черезъ это лишились мы драгоценныхъ фактовъ о его младенчествѣ и отрочествѣ... Съ удивительною снисходительною и добротою, столь свойственными генію, знакомить насъ г. Савельевъ-Ростиславичъ съ подробностями своего университетскаго курса: какихъ профессоровъ онъ особенно уважалъ и съ особеннымъ вниманіемъ слушалъ, и кто именно изъ нихъ особенно способствовалъ развитію въ немъ, г. Савельевъ-Ростиславичъ, мыслительности, нлодомъ которой былъ его «Славянскій Сборникъ». Затѣмъ, переходитъ онъ къ разбору своихъ сочиненій, и хотя многія изъ нихъ, за давностію и за негодностію давно уже забыты, тѣмъ не менѣе онъ имѣетъ терпѣніе приводить и опровергать всѣ сужденія о нихъ журналовъ... До чего не доводитъ людей сочинительское самолюбіе!... Мимоходомъ сыплются у него брани и ругательства, на гг. Полеваго, Устрялова, Погодина, и другихъ плѣцерианъ, которые, не боясь Бога и совѣсти, не радѣя о чести и славѣ отечества, преступно и злоумышленно унижаютъ Россію, вывода Варяго-Руссовъ изъ Скандинавіи... Велико ихъ преступленіе—нельзя не согласиться; но за то и казнить же ихъ нашъ велико-кутскій инквизиторъ!... Правду говорятъ моралисты, что добродѣтель всегда торжествуетъ, а порокъ наказывается, — да, всегда и вездѣ, но особенно въ «Славянскомъ Сборникѣ» г. Савельева-Ростиславича... Гг. Полевой, Устряловъ и Погодинъ — живыя доказательства, что

преступленіе не остается безъ кары; за то, г. Савельевъ-Ростиславичъ — живое доказательство, что добродѣтель вознаграждается. Обѣ эти истины онъ развилъ съ удивительною тщательностію, особенно послѣднюю: какой-то г. Игнатовичъ отозвался о его «Исторіи Сѣверо-восточной Европы и мнимаго переселенія народовъ», что «немного найдется произведеній ума положительнаго, не только въ русской, но и въ европейской литературѣ, соединяющихъ въ себѣ такую бездну учености съ живымъ, почти изящнымъ и вмѣстѣ строго-отчетливымъ изложеніемъ», и что «теорія объ азіатскомъ и нѣмецкомъ происхожденіи всѣхъ безъ изъятія воинственныхъ дружинъ, разрушившихъ Западную Римскую Исторію (имперію?), такъ сильно потрясена розысканіями Н. В. Савельева, что еще одинъ толчекъ — и она рухнетъ безвозвратно» (стр. ССХІХ). Но справедливо говорится, что нѣтъ розы безъ шиповъ, т. е. что и добродѣтель иногда страдаетъ: тутъ же приложено мнѣніе и г. Полеваго объ этомъ геніальномъ сочиненіи ученаго г. Савельева-Ростиславича, — мнѣніе, которое обвиняетъ послѣдняго, что онъ «хвалилъ бредни Венелина, разглагольствія Шафтарика, возгласы другихъ Славянофиловъ, передѣлывалъ Всеобщую Исторію и спорилъ объ Атиллѣ», — вслѣдъ за тѣмъ г. Полевой воскликнулъ: «Какъ не жаль ему (г. Савельеву) тратить время, трудъ и дарованіе на такой вздоръ». Но г. Савельевъ-Ростиславичъ, какъ истинный геній, не струсилъ этого приговора, съ которымъ согласны всѣ здравомыслящіе люди, и подарилъ его гордымъ презрѣніемъ, которое выразилъ курсивомъ; восклицательными и вопросительными знаками въ скобкахъ. Да и странно было бы огорчиться г. Савельеву-Ростиславичу приговоромъ г. Полеваго, когда, черезъ страницу, онъ могъ привести мнѣніе одного знатока исторіи о своей статьѣ «Паденіе Пскова», что это — «живой отголосокъ простодушныхъ лѣтописцевъ нашихъ, въ изящной формѣ

нашего времени, произведение, которое принесло бы честь самому Тьерри, еслибъ онъ писалъ по-русски». Г. Савельевъ-Ростиславичъ почему-то не почелъ за нужное сказать, кто этотъ знатокъ исторіи, который произвелъ его въ русскаго Тьерри; но изъ выноски видно, что слова эти были напечатаны въ «Маякѣ»: *Sic transit gloria mundi!*... Но ничего! г. Савельевъ-Ростиславичъ — человекъ не брезгливый на похвалы, изъ какой бы ямы ни шли онъ къ нему... За нихъ, онъ сейчасъ же готовъ произвести въ «знатоки исторіи» даже человека, который совершенно невпненъ въ знаніи исторіи, и которому совершенно бесполезно знаніе и того, что онъ дѣйствительно знаетъ...

Одной только похвалы себѣ не рѣшился повторить скромный г. Савельевъ-Ростиславичъ: это гимнъ, который накропалъ въ честь его, Венедина, Атиллы и г. Морощкина какой-то московскій виршецелеть, и который начинается такъ:

Напрасно все: вашъ понять трудъ  
И оцѣнѣть великій *геній!*  
Всѣ толки мелочныхъ сужденій  
Ужъ никогда не потрясутъ  
*Глубокихъ* вашихъ *умозрѣній!*

а оканчивается такъ:

Хвала тебѣ, Венединъ славный!  
Ура! Морощкинъ-Славянинъ!  
Савельевъ, Руси православной  
Не утомимый, вѣрный сынъ!  
Нѣтъ, ваша слава не затмится,  
Вашъ трудъ великій не умретъ;  
Имъ правда всюду водворится  
И плодъ обильный принесетъ!

Вотъ мы какъ! Ай-да наши! молодцы!... Но, Боже мой, что съ нами! Кажется, и мы впадаемъ въ маяковскій тонъ... Вотъ что значить чтеніе славянофильскихъ книгъ...

«Библиотека для Чтенія», когда-то, по случаю спора между гг. Погодинымъ и Скромненко (Строевымъ), совѣтовала новой исторической школѣ сразиться на смерть съ Шлёцеровскою школою, чтобъ окончательно порѣшить, которая изъ нихъ права. «Но для этого труднаго, важнаго, великаго предпріятія (сказано тамъ же) юная историческая школа, кажется, еще слишкомъ юна. Желаемъ ей расти не по днямъ, а по часамъ: ея будущность занимаетъ всѣхъ любителей отечественной исторіи». Г. Савельевъ отвѣчаетъ на это: «Прошло десять лѣтъ, и вотъ юная историческая школа представляетъ шлёцеріанамъ уже не брошюрку, не статью, а цѣлый томъ въ семьсотъ страницъ (,) съ 1,500 примѣчаній—основной вопросъ рѣшенъ на жизнь и смерть». Какъ вамъ это покажется? А это не выдуманно нами: это напечатано на ССХХVII страницъ «Славянскаго Сборника» и списано здѣсь съ возможною точностію!

Но, во первыхъ, съ чего взялъ г. Савельевъ-Ростиславичъ, что слова «Библиотеки для Чтенія» относятся къ нему? Тутъ явно говорится объ исторической школѣ, основанной Каченовскимъ, человѣкомъ умнымъ, ученымъ, здравомыслящимъ, осторожнымъ и ужь совѣтъ не славянофиломъ. Развѣ ученикъ его, г. Сергѣй Строевъ говорилъ когда-нибудь и что-нибудь похожее на то, что утверждаетъ г. Ростиславичъ, ученикъ и вмѣстѣ соперникъ г. Венелина и г. Морошкина?... Томъ въ семьсотъ страницъ — великая важность! Считите-ка число страницъ въ томахъ Тредьяковского — и ваша книга въ семьсотъ страницъ исчезнетъ въ нихъ какъ ручеекъ въ морѣ. Съ 1,500 примѣчаній—изъ которыхъ, слѣдовало бы прибавить, большая часть состоитъ или изъ площадной брани на шлёцеріанъ, или изъ указаній на страницы «Русскаго Вѣстника», «Сына Отечества», «Маяка», «Москвитянина» и другихъ журналовъ!.. «Основной вопросъ рѣшенъ на жизнь и смерть» — верхъ хвастливаго самовосхваленія! Нѣтъ, г. Савельевъ-Ростиславичъ,

вы слишкомъ скоры: подождите, пока противники ваши сознаются побѣжденными и примутъ ваше мнѣніе. Такъ побѣждать какъ побѣждаете вы, очень легко и очень смѣшно: вѣдь китайскій богдыханъ считаетъ себя царемъ царей и, платя за англійскіе товары китайскими товарами и китайскимъ золотомъ, говоритъ же въ своихъ манифестахъ, что рыжіе варвары приносятъ ему съ Запада дань, въ изъявленіе ихъ покорности владыкѣ Небесной Имперіи... Берегитесь, господа, обольщеній своего кружка: въ немъ какъ разъ увѣрятъ васъ, что вы гений, и что вы побѣдили всѣхъ вашихъ противниковъ, которые даже и не думали съ вами бороться, а просто или смѣялись надъ вами, или не обращали на ваше ратованіе никакого вниманія. Кружокъ — вещь опасная: онъ можетъ довести человека до жалкаго донъ-кихотства. Кружокъ и свѣтъ—двѣ вещи разныя; первый признаетъ за достовѣрное, доказанное и несомнѣнное то, надъ чѣмъ часто смѣется второй, какъ надъ нелѣпностью. Живите въ кружкѣ, который вамъ нравится; — но не заглядывайте и въ свѣтъ, прислушивайтесь и къ его сужденіямъ, чтобъ не впасть сперва въ односторонность и исключительность, а потомъ и просто въ нелѣпость. Исключительное и безвыходное пребываніе въ себѣ, или въ пріятельскомъ кружкѣ, или въ приходѣ своего журнала — гибельно для человека. Ограниченіе себя однимъ и тѣмъ же, отчужденіе отъ всего, что не мы и не наше, гибельно не только для частныхъ лицъ, но и для народовъ: вспомните Китай и Японію!

Мы не отнимаемъ у г. Савельева того, что принадлежитъ ему по праву: начитанности, эрудиціи, трудолюбія, знанія, даже дарованія въ извѣстной степени; онъ владѣетъ языкомъ, и еслибъ захотѣлъ держаться болѣе приличнаго и спокойнаго тона, писалъ бы, если не изящно, то литературно. Не будучи не только Тьерри, но и десятою долею Тьерри, г. Савельевъ могъ бы сдѣлаться полезнымъ дѣятелемъ въ сферѣ нашей исто-

рической литературы и нашей исторической критики. Статьи г. Савельева: «Димитрій Іоанновичъ Донской, первоначальникъ русской славы»; «Паденіе Пскова»; «Царь Василій Шуйскій»; «Критика на русскую Исторію г. Устрялова» (въ нумерахъ 29, 30 и 34 «Литературныхъ Прибавленій къ Русскому Инвалиду» 1837); «О необходимости критическаго изданія исторіи Карамзина»,—всѣ эти статьи не безъ достоинствъ, хотя и не безъ недостатковъ, словомъ — сочиненія хорошія, полезныя, хотя и не великія, не геніальныя. И вообще, не мѣшало бы г. Савельеву не дѣлать самому себѣ приговоровъ, не ожидать ихъ отъ другихъ, и если онъ не пугается осужденія, то не слѣдовало бы ему на-слово вѣрить похваламъ и повторять ихъ, въ своей книгѣ, какъ великія истины, говоря о себѣ какъ Богъ знаетъ о комъ, и величая себя то юнымъ критикомъ, то авторомъ Донскаго...

Только вышедшее изъ всякихъ границъ ослѣпленіе мелкаго самолюбія могло заставить г. Савельева повторить отзывы г. Полеваго о его двухъ статьяхъ, какъ такіе отзывы, которые стоить только повторить, чтобъ показать всю ихъ неосновательность и нелѣпость. А между тѣмъ, эти отзывы очень основательны и, главное, совершенно безпристрастны. Вотъ слова г. Полеваго: «Мы готовы отдать справедливость труду, еслибъ и видѣли въ немъ что-нибудь противъ насъ самихъ и противъ трудовъ нашихъ<sup>1)</sup>. Вотъ, напримѣръ, мы съ удовольствіемъ упомянемъ о небольшой полемической брошюркѣ г. Савельева: Димитрій Іоанновичъ Донской. Онъ не соглашается съ нами, даже бранитъ насъ; но въ изысканіяхъ своихъ показываетъ тщательность, усердіе, начитанность—мы въ сторонѣ, а труду автора почетъ, еслибъ намъ вздумалось даже и поспорить

<sup>1)</sup> Здѣсь г. Савельевъ дѣлаетъ, въ скобкахъ, замѣчаніе, пересыпанное всѣмъ аттицизмомъ велико-кутской соли: «Все несчастное, эгоистическое Я, а гдѣ же истина-то? объ ней-то, *бодняжкѣ*, и помину совсѣмъ нѣтъ!»



съ нимъ». О статьѣ г. Савельева «О необходимости критическаго изданія исторіи Карамзина», г. Полевой отозвался такъ: «Это разысканіе статья дѣльная, и мы порадовались, что, броса свои прежніе вздорные толки объ исторіи, г. Савельевъ принимается за дѣльныя занятія». Первый отзывъ г. Полеваго долженъ бы быть для г. Савельева лестнѣе всякаго другаго мнѣнія, потому что въ брошюрѣ о Донскомъ онъ опровергаетъ, не всегда вѣжливо и въ тонѣ приличія, мнѣнія г. Полеваго; но г. Савельеву, видно, не суждено знать ни того, что ему дѣлаетъ истинную честь, ни того, чѣмъ бы онъ могъ заняться съ пользою для себя и для науки и на что бы онъ могъ не бесполезно употребить свои способности и свое трудолюбіе: онъ больше вѣритъ возгласамъ и увѣреніямъ мнимыхъ друзей своихъ, для разсчетливости которыхъ очень полезно производить его въ Тьерри и величать геніемъ въ нелѣпыхъ и плохихъ стишонкахъ.

Не слѣдовало бы также г. Савельеву братья не за свое дѣло и толковать о вопросахъ всеобщей исторіи, которой онъ — назовите нашу окровенность — вовсе не понимаетъ, что и доказалъ онъ огромными статьями. Равнымъ образомъ, хорошо бы онъ сдѣлалъ, еслибъ, для пользы русской исторіи и еще больше для своей собственной, оставилъ въ покоѣ Славянъ, Болгаръ, Гунновъ, Франковъ, Варяго-Руссовъ, Великій-Кутъ, Байера, Миллера и Шлёцера и обратилъ свою дѣятельность исключительно на тѣ вопросы русской исторіи, которые доступны критикѣ и розысканіямъ и которые такъ давно и такъ тщетно дожидаются дѣателей. Поле великое и едва-едва тронутое, — сколько пищи для дѣятельности, сколько пользы для труда, сколько славы для успѣха! Но еще болѣе слѣдовало бы г. Савельеву постараться посвятить себя наукѣ настоящимъ образомъ, сдѣлаться ученымъ въ истинномъ значеніи этого слова, т. е. научиться находить въ наукѣ одинъ интересъ —

объективную истину предмета, не примѣшивая къ нему никакихъ постороннихъ интересовъ, ни мѣстныхъ, ни космополитическихъ, ни славянскихъ, ни тевтонскихъ, ни русскихъ, ни нѣмецкихъ. Въ объективной истинѣ предмета, нѣтъ науки, нѣтъ учености, нѣтъ ученыхъ, а есть только ученныя мечты, фантазіи, мечтатели и фантазёры. Ученый долженъ быть рыцаремъ истины, а не сектантомъ, не герингутеромъ, не раскольникомъ. Фанатизмъ и мистицизмъ—враги науки, потому что они—тьма, а наука — свѣтъ. Языкъ науки можетъ принимать полемическій тонъ, но наука не должна ругаться, соблюдая свое достоинство. Въ ученыхъ сочиненіяхъ и остроуміе — не лишняя вещь; но вѣдь не всякому дана способность быть остроумнымъ, и г. Савельевъ, надо сказать правду, острить тяжело, неловко, едва ли еще не хуже, чѣмъ острить покойный Венелингъ, варяжскому остроумію котораго такъ удивляется сочинитель «Славянскаго Сборника». Но больше всего надо беречься въ наукѣ мистицизма, потому что онъ доводитъ до величайшихъ нелѣпостей, что и сбылось такъ жалко и смѣшно надъ г. Савельевымъ, который до того дошелъ, что, на основаніи свидѣтельства Льва Діакона, вѣрить, будто Ахиллъ (герой «Иліады») былъ не Эллингъ, а Скивъ; слѣдственно, Славянинъ!... (стр. 75). Боже мой! Ахиллъ, героическій представитель эллинскаго духа, герой величайшей національной поэмы величайшаго національнаго поэта Эллады, лицо баснословное, обликъ чисто мифическій, — Скивъ, Славянинъ, и это на основаніи свидѣтельства Льва Діакона, который жилъ двѣ тысячи лѣтъ послѣ Ахилла!... О нелѣпость нелѣпостей! Мистицизмъ, внесенный въ науку, заставляетъ признавать бывшимъ и сущимъ то, чего не было и нѣтъ; бѣлое представляетъ чернымъ, черное бѣлымъ; полярную зиму превращаетъ въ африканское лѣто; въ экваторіальныхъ странахъ находитъ мертвыя замерзшія тундры, а подъ полюсами

видитъ роскошную природу Индіи; помноживъ два на два, получаетъ въ произведеніи пять и семь-восьмыхъ... Мы не шутимъ: за примѣрами ходить не далеко, и книга г. Савельева въ этомъ отношеніи истинный кладъ. Она утверждаетъ, что Славяне оказали великую услугу человѣчеству, боровшись съ Римомъ и избавивъ Европу отъ оковъ римскаго деспотизма!... (стр. ССXXXVIII). Во первыхъ, только для г. Савельева рѣшеное дѣло, что варвары, разрушившіе Западную-Римскую-имперію, были Славяне, а не Тевтоны; во вторыхъ, кто бы они ни были, за эту услугу мы не намѣрены имъ кланяться, потому что они и не думали освобождать Европу отъ римскаго деспотизма, а просто грабили, рѣзали, жгли, брали въ плѣнъ, убивали и злодѣйствовали изъ корысти, для себя самихъ, вовсе не думая о будущности разоряемыхъ ими земель. Потомъ г. Савельевъ приписываетъ Славянамъ честь обновленія Запада свѣжею, нерастлѣнною жизнію: это просто-на-просто значитъ, что Нѣмцы — Славяне, и что Нѣмцевъ въ Европѣ никогда и не бывало, — все это были Славяне!... Но что всѣ эти странности въ сравненіи съ словами г. Моршкина, которыми г. Савельевъ заключаетъ свою статью! Слушайте: «Племя славянское живетъ будущностію, надеждою, что вновь возстанетъ великій царь Волги(??!!...) и воззоветъ ихъ къ единому великому знамени, къ знамени не разрушенія, а общаго успокоенія въ нѣдрахъ семейственнаго христіанскаго быта, который, кажется, предложено развить славянскимъ народамъ. Царство мира и любви имѣетъ семейственную форму, данную отъ природы и духа, а не изысканную, не созданную преходящими вѣками исторіи» (стало-быть, преходящіе вѣка исторіи — не отъ природы и духа, а такъ себѣ, ни отъ чего?). «Когда настанетъ судъ исторіи, тевтонскій міръ отдастъ Славянамъ все, что взято (что именно взято и кѣмъ — желательно бы знать? Но, кажется,

этого и самъ прорицатель не вѣдаетъ...) «у нихъ. Не своими козарскими саблями славянскій міръ грозитъ Тевтонамъ, а славянскою цивилизаціей, первородными формами человѣческаго быта» (да помилуйте! Калмыки давно уже обрѣтаются и еще въ болѣе чистыхъ, нежели Славяне, первородныхъ формахъ), «грозитъ ему преемничествомъ» (хорошо, еслибъ и причастностію его жизни!), «званіемъ наслѣдника во всемірной исторіи» (стр. ССXXXIX). Вы удивляетесь, читатель; но то ли еще пишутъ и печатаютъ господа-славянофилы! Вотъ, напримеръ, одинъ изъ нихъ недавно напечаталъ въ журналѣ слѣдующія неслыханныя новости, а именно, что «у насъ не было ненависти и гордости», которыя были въ исторіи Запада, и что наша «родимая почва была упитана не кровію — кровію упитана западная земля, — но слезами нашихъ предковъ, перетерпѣвшихъ и Варяговъ, и Татаръ и Литву, и жестокости Іоанна Грознаго (человѣка безкровнаго!), и нашествіе двадцати языковъ, и навожденіе легіона духовъ». Последняя фраза — верхъ мистической безсмыслицы, непонятна; но остальное въ этихъ словахъ все понятно: дѣло, изволите видѣть, въ томъ, что битва при Калкѣ, битва донская, нашествіе Литвы, наконецъ вторженіе въ Россію полчищъ сына судьбы не стояли намъ ни капли крови, и мы отдѣлались отъ нихъ однѣми слезами; мы не дрались, а только плакали!!...

Не будемъ разбирать другихъ статей «Славянскаго Сборника» — онѣ не стоятъ этого труда; ихъ можно читать для забавы, для потѣхи; но серьезно разсуждать о нихъ было бы и бесполезно и смѣшно. Говоря о первой статьѣ г. Савельева, мы имѣли въ виду не «Славянскій Сборникъ», не сочиненіе г. Савельева, а славянофильскую доктрину, которой г. Савельевъ является такимъ горячимъ и наивнымъ представителемъ. Его «Славянскій Сборникъ», въ 700 страницъ, съ 1,500 примѣчаній, только въ этомъ отношеніи и замѣчательнъ; во всѣхъ

же другихъ отношеніяхъ, это книга пустая, ничтожная. Въ заключеніе, советуемъ г. Савельеву воспользоваться, не на словахъ, а на дѣлѣ, полезнымъ совѣтомъ, заключающимся въ китайскомъ выраженіи изъ Сан-цзы-цзына, которыми онъ достойно заключилъ свою статью:

«Кто читаетъ исторію, долженъ изслѣдовать бытописанія; проникнетъ (проникнуть?) древнее и настоящее, какъ-бы собственными очами. Устами читай, мыслию вникай».

---

**СТО РУССКИХЪ ЛИТЕРАТОРОВЪ.** *Изданіе книгопродавца А. Смирдина. Томъ третій.—Бенедиктовъ. Бѣичевъ. Гречъ. Марковъ. Михайловскій—Данилевскій. Мятлевъ. Ободовскій. Скобелевъ. Ушаковъ. Хмельницкій.—Спб. 1845.*

За шесть лѣтъ предъ симъ, вышелъ первый томъ «Ста Русскихъ Литераторовъ». Тайнственные слухи заранѣе предупредили читающій міръ о появленіи этого изданія. Въ Россіи все идетъ скоро, и потому не удивительно, что въ 1839 году великолѣпныя изданія могли казаться чудомъ. Въ самомъ дѣлѣ, огромный, изящно изданный сборникъ статей лучшихъ русскихъ писателей,—при каждой статьѣ гравированный на стали, въ Лондонѣ, портретъ автора, и гравированная на стали же картинка къ каждой статьѣ: да это что-то прекрасное по мысли, великолѣпное по изданію! Имя издателя, книгопродавца, г. Смирдина, давно уже пріобрѣло на Руси общую извѣстность и общую довѣренность. Въ глазахъ русской публики, г. Смирдинъ давно уже не принадлежалъ къ числу обыкновенныхъ торгашей книгами, для которыхъ книги — такой же товаръ, какъ и сѣно, сало, или деготь, только, можетъ-быть, менѣе наживной и выгодный, и которые могутъ знать толкъ

и въ сѣнѣ, и въ снѣгѣ, и въ дѣтѣ, но не въ книгахъ. Нѣтъ, русская публика видѣла въ г. Смирдинѣ книгопродавца на европейскую ногу, книгопродавца съ благороднымъ самолюбіемъ, для котораго не столько было важно нажитья черезъ книги, сколько слить свое имя съ русскою литературою, внести его въ ея лѣтописи. И русская публика не ошиблась въ этомъ случаѣ: г. Смирдинъ точно былъ достоинъ ея высокаго о немъ мнѣнія. Онъ хотѣлъ торговать, слѣдовательно хотѣлъ барышей, хотѣлъ наживать, — однакожь, наживать не только честно, но еще и почетно, со славою. Для этого, онъ поставилъ себѣ за правило издавать только хорошія сочиненія и давать ходъ только хорошимъ сочиненіямъ. Правда, онъ могъ издать и дурную книгу, но не намѣренъ, а по ошибкѣ своего вкуса, или по ошибочному совѣту тѣхъ, чьему вкусу довѣрялъ онъ. Но какихъ бы барышей ни обѣщало ему сочиненіе, въ ничтожности котораго онъ былъ убѣжденъ, — никогда не рѣшился бы онъ издать его на свой счетъ. Ему всегда легче было рѣшиться на изданіе хорошаго сочиненія, которое требовало большихъ издержекъ, и, вмѣсто барышей, обѣщало убытокъ, нежели рѣшиться на изданіе дурной книги, обѣщающей вѣрную прибыль. Въ этомъ было его самолюбіе, его честолюбіе, его гордость, его страсть — тѣмъ болѣе удивительныя, тѣмъ болѣе безкорыстныя, что онъ самъ, по своему образованію, воспитанію, привычкамъ, понятіямъ, образу жизни, не могъ ни цѣнить, ни наслаждаться содержаніемъ и достоинствомъ тѣхъ сочиненій, которыхъ былъ издателемъ и которыми доставлялъ наслажденіе всему читающему русскому міру. Вслѣдствіе этого, онъ долженъ былъ руководствоваться совѣтами и указаніями тѣхъ книжныхъ людей, которые и читаютъ и сами пишутъ книги. Надо согласиться, что положеніе г. Смирдина было, въ этомъ отношеніи, очень затруднительно, потому что онъ не обладалъ никакимъ прочнымъ основаніемъ, которое могло бы

руководить его въ выборѣ совѣтниковъ. Это непріятное обстоятельство было въ послѣдствіи причиною всѣхъ его неудачъ и разрушенія его надеждъ—быть долго полезнымъ русской литературѣ. А между тѣмъ, онъ все-таки сдѣлалъ для русской литературы такъ много, что упрочилъ своему имени почетную страницу въ ея исторіи. Итакъ, не будемъ обвинять его за то, что онъ могъ бы еще сдѣлать и чего, однакожь, не сдѣлалъ: но отдадимъ ему должную справедливость за то, что имъ сдѣлано.

А онъ, повторяемъ, много сдѣлалъ: онъ произвелъ рѣшительный переворотъ въ русской книжной торговлѣ, и, вслѣдствіе этого, въ русской литературѣ. Онъ издалъ сочиненія Державина, Батюшкова, Жуковского, Карамзина, Крылова—такъ, какъ они, въ типографскомъ отношеніи, никогда прежде того не были изданы: т. е. опрятно, даже красиво, и — что всего важнѣе — пустилъ ихъ въ продажу по цѣнѣ, доступной и для небогатыхъ людей. Въ послѣднемъ отношеніи, заслуга г. Смирдина особенно велика: до него книги продавались страшно дорого и, поэтому, были доступны большею частію только тѣмъ людямъ, которые всего менѣе читаютъ и покупаютъ книги. Благодаря г. Смирдину, пріобрѣтеніе книгъ, болѣе или менѣе, сдѣлалось доступнымъ и тому классу людей, которые наиболѣе читаютъ и, слѣдовательно, наиболѣе нуждаются въ книгахъ. Повторяемъ: это главная заслуга г. Смирдина передъ русскою литературою и русскою образованностію. Чѣмъ дешевле книги, тѣмъ больше ихъ читаютъ, а чѣмъ больше въ обществѣ читателей, тѣмъ общество образованнѣе. Въ этомъ отношеніи, дѣятельность книгопродавца, опирающаяся на капиталъ, благородна, прекрасна и богата самыми благотворными слѣдствіями. Такова была дѣятельность г. Смирдина: она безукоризнена въ томъ отношеніи, которое зависѣло отъ его воли, отъ его честнаго самолюбія, его благородной страсти. Но въ томъ, что зависѣло отъ

вкуса, образованности и знанія, и въ чемъ г. Смирдинъ, какъ мы уже сказали, самъ завистѣлъ не отъ самого себя, а отъ совѣтовъ и внушеній тѣхъ литераторовъ, на сужденіе которыхъ онъ долженъ былъ безусловно полагаться, — въ этомъ отношеніи, его изданія имѣли большіе недостатки. Редакція его изданій всегда была далеко ниже ихъ типографскаго выполненія, завистѣвшаго только отъ издателя. Такъ, напримѣръ, сочиненія Державина изданы не въ хронологическомъ порядкѣ, по времени ихъ появленія изъ-подъ пера поэта, а на основаніи ложнаго раздѣленія по родамъ, которымъ всегда руководствовалась, при изданіи сочиненій каждаго автора, старая, такъ называемая классическая школа. «Исторія Государства Россійскаго» Карамзина, благодаря г. Смирдину стоила только тридцать рублей ассигнаціями, вмѣсто прежнихъ полуторасти и больше рублей, слѣдовательно, въ пять разъ дешевле. Вышла она въ двѣнадцати небольшихъ книжкахъ въ 12-ю долю листа, напечатанныхъ однакожь, не слишкомъ мелкимъ и очень четкимъ шрифтомъ. Чего бы, кажется, лучше! И дѣйствительно, на сторонѣ книгопродавца тутъ одна только заслуга, и заслуга великая! Но образованные, просвѣщенные, ученые и даровитые писатели, принимавшіе участіе въ редакціи «Исторіи» Карамзина, дали ему благой и мудрый совѣтъ — частію посократить, частію выбросить примѣчанія!... Зачѣмъ это было сдѣлано? Затѣмъ, чтобъ книжка была тоньше, изданіе обошлось дешевле, и его можно было бы пустить въ продажу дешевле. Очень хорошо; но въ такомъ случаѣ, всего бы лучше было напечатать «Исторію» Карамзина совсѣмъ безъ примѣчаній. Тогда она годилась бы, по крайней мѣрѣ, для тѣхъ людей, которые читаютъ исторію какъ романъ, какъ повѣсть, какъ сказку, и для которыхъ скучно заглядывать въ примѣчанія, состоящіе часто изъ интереснѣйшихъ и любопытнѣйшихъ выписокъ изъ лѣтописей и современныхъ за-



писокъ, чтобъ повѣрять ими и событія, и автора исторіи. Но редакторы или совѣтчики, желая угодить всѣмъ, не угодили никому. Тѣмъ, кто не любитъ примѣчаній, они все-таки навязали же примѣчанія, хотя и не полныя, которыя только безъ нужды увеличили книгу и ея цѣну; тѣхъ же, для которыхъ примѣчанія важны не меньше самого текста, они снабдили искаженными примѣчаніями, которыя, по этому, не имѣли уже никакой цѣны. И если для первыхъ лучше было бы издать «Исторію» Карамзина совсѣмъ безъ примѣчаній, то естественно, что для послѣднихъ слѣдовало бы ее издать съ полными примѣчаніями, тѣмъ болѣе, что три, или много четыре лишніе листа при книгѣ не слишкомъ увеличили бы ея толщину (книжки вышли очень тонки) и расходы изданія. Въ послѣднемъ случаѣ, лучше бы возвысить цѣну книги рублями пятью, потому что и 35 рублей — все-таки въ четверо дешевле 150 рублей. Тогда изданіе равно годилось бы для всѣхъ — и для тѣхъ, кому не нужны примѣчанія, и для тѣхъ, кому они нужны, между тѣмъ, какъ искаженіе примѣчаній много повредило успѣху изданія и, слѣдовательно, выгодамъ издателя. Раскройте журналы того времени, — вы увидите, что мы говоримъ правду: это произвольное и ненужное искаженіе примѣчаній встрѣчено было общимъ ропотомъ. И неудивительно: теперь каждый образованный читатель съ болѣею охотою заплатитъ г. Эйнерлингу 50 рублей ассигнаціями за его компактное и прекрасное изданіе «Исторіи» Карамзина, нежели г. Смирдину 10 руб. асс. за его же дешевое изданіе той же «Исторіи».

Г. Смирдину пришла счастливая мысль издать полный каталогъ своей огромной библіотеки; но для осуществленія этой мысли онъ могъ только пожертвовать капиталомъ, а не быть редакторомъ изданія, и изданіе вышло изъ рукъ вонъ плохо. Составлявшіе каталогъ, держались такого неслыханнаго порядка въ раздѣленіи книгъ по ихъ содержанію, что изъ хорошей кни-

ги по-неволѣ вышелъ вздоръ. Повѣрять ли, что въ этомъ каталогѣ, въ отдѣлѣ богословскихъ книгъ, помѣщены: «Ключъ къ тайнствамъ натуры» Эккартсгаузена, «Дочь молочника, истинная и занимательная повѣсть» и другія повѣсти и сказки нравственнаго содержания; а въ отдѣлѣ философіи — книги въ родѣ слѣдующей: «Смѣющийся Демокритъ, или поле честныхъ увеселеній, съ поруганіемъ меланхоліи»?... Еще хорошо, что при этомъ каталогѣ есть общій каталогъ, по алфавиту, всѣхъ книгъ и всѣхъ авторовъ, и потому, хоть и съ трудомъ, а можно пріискать книгу, которую нужно. Благодаря этому обстоятельству, каталогъ г. Смирдина—настолярная ручная книга въ кабинетѣ каждаго литератора. Но будь онъ составленъ какъ слѣдуетъ, это была бы безцѣнная книга. Изъ всего этого видно, что могъ бы сдѣлать для русской литературы и русскаго образованія такой книгопродавецъ, какъ г. Смирдинъ, еслибъ онъ не имѣлъ нужды въ чужихъ совѣтахъ и чужомъ руководствѣ и могъ дѣйствовать самостоятельно...

Но еще большій переворотъ въ русской литературѣ сдѣлалъ г. Смирдинъ своимъ журналомъ — «Библіотека для Чтенія». Появленіе этого журнала—истинная эпоха въ исторіи русской литературы. До него, наша журналистика существовала только для немногихъ, только для избранныхъ, только для любителей, но не для общества. Лучшій тогда журналъ, «Московскій Телеграфъ», пользовавшійся большимъ успѣхомъ, нежели всѣ предшествовавшіе и современные ему журналы, почти постоянно держался на 1,200 подписчикахъ и никогда не имѣлъ ихъ больше 1,500. Это считалось тогда огромнымъ успѣхомъ; но съ появленія «Библіотеки для Чтенія», всякому журналу необходимо стало имѣть больше 1000 подписчиковъ только для издержекъ на изданіе. Отчего произошла такая быстрая перемена? Оттого, что съ появленія «Библіотеки для Чтенія» литературный трудъ сдѣлался капиталомъ... Много было тогда

объ этомъ спорѣ, и многіе видѣли въ этомъ униженіе литературы, литературное торгашество. Рыцари литературнаго безкорыстія, или, лучше сказать, литературнаго донъ-кихотства, не замѣчали, что въ ихъ пышныхъ фразахъ больше ребячества, нежели возвышенности чувства. Въ наше время, когда не богачамъ жить такъ трудно и жить можно только трудомъ, въ наше время не цѣнить литературы на деньги, значить не цѣнить ея ни во что, не признавать ея существованія. Дѣйствительно, можно ли предполагать богатую литературу тамъ, гдѣ книги—не товаръ и гдѣ говорятъ: «все товаръ — и битое стекло, и мусоръ, и песокъ; но книги — не товаръ»? Можно ли предполагать дѣйствительное существованіе литературы тамъ, гдѣ можетъ жить своимъ трудомъ и подѣнщикъ, и разнощикъ, и продавецъ стараго тряпья и битой посуды, и тѣмъ болѣе писецъ; но гдѣ не можетъ жить своимъ трудомъ писатель, литераторъ? Что бы ни говорили, но аксіома неоспоримая, что нельзя въ одно и то же время быть вполне и хорошимъ чиновникомъ и хорошимъ литераторомъ: чиновникъ непремѣнно будетъ мѣшать литератору, а литераторъ чиновнику. Чтобъ быть ученымъ, поэтомъ, или литераторомъ вполне, необходимо видѣть въ наукѣ, въ искусствѣ, или въ литературѣ свое исключительное призваніе, свое, такъ сказать, ремесло, свой родъ промышленности, говоря языкомъ политической экономіи. Намъ скажутъ, что между нашими знаменитыми писателями были и есть люди, отличавшіеся и отличающіеся на служебномъ поприщѣ. Вѣримъ; но что же это доказываетъ, если не то, что эти же самые знаменитые писатели были бы еще знаменитѣе, т. е. лучше и больше писали бы, еслибъ могли посвятить свою дѣятельность исключительно одной литературѣ? Мы вѣдь не говоримъ, что только литература непремѣнно мѣшаетъ службѣ; нѣтъ, мы говоримъ, что у одного литература мѣшаетъ службѣ, у другого служба мѣшаетъ

литературѣ, а у третьяго служба и литература взаимно мѣшаютъ другъ другу (последнее бываетъ чаще всего и хуже всего, потому что полу-чиновникъ хуже чиновника, такъ же, какъ полу-литераторъ хуже литератора). И это будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока литературная дѣятельность не будетъ одна обеспечивать существованіе литератора. До сихъ поръ, одною изъ существенныхъ причинъ жалкаго состоянія нашей литературы должно считать то, что у насъ очень много полу-литераторовъ, и очень мало литераторовъ. Говоря это, мы хотимъ только указать на существующій фактъ, а совсѣмъ не винить въ этомъ кого-нибудь. Что необходимо, въ томъ никто не виноватъ, а полу-литераторство до сихъ поръ необходимость, своего рода неотразимый *fatum*. Въ этомъ даже есть своя хорошая сторона, хотя и не для литературы: лучше пусть чиновникъ дополняетъ скудные свои доходы урывочными литературными трудами и ими приобретаетъ возможность существовать, нежели служебными злоупотребленіями — этимъ любимымъ источникомъ людей стараго поколѣнія. Но еще будетъ лучше, когда всякій человѣкъ съ талантомъ или способностями къ литературѣ, только въ одной литературной дѣятельности будетъ находить вѣрный и благородный источникъ своего обезпеченія.

Мы не скажемъ, чтобъ г. Смирдинъ своею «Библіотекою для Чтенія» довелъ русскую литературу до состоянія обезпечивать вышнее положеніе ея дѣятелей; но онъ первый положилъ начало такому ходу русской литературы. Бывало, журналъ могъ не только держаться, но и доставлять выгоды своему издателю при какихъ-нибудь трехъ-стахъ подписчикахъ, — а при пяти-стахъ, журналъ считался богачомъ. И не мудрено: издатель его тратился только на бумагу и печать. Вотъ отчего такъ много издавалось тогда журналовъ въ Москвѣ, гдѣ бумага и печать и теперь гораздо дешевле, нежели въ Петер-

буржѣ. Книжки журналовъ тогдашнихъ были маленькія, точенькія и набивались стишками, изрѣдка оригинальными повѣстями (большею частию отрывками изъ неконченныхъ романовъ и повѣстей), да переводами. Весь этотъ матеріалъ доставался издателямъ даромъ, и если они давали за что скудную плату, такъ развѣ за переводы. Исключенія бывали рѣдки... Тогда былъ золотой вѣкъ литературной невинности, или, лучше сказать, ребяческаго литературщичества: тогда читали и писали изъ одной чистой любви къ литературѣ, какъ невинному и благородному занятію, а печатались изъ одной чести видѣть себя въ печати... Истинная литературная Аркадія, настоящая журнальная идиллія, въ которой овцы были довольны, а пастухи сыты!... Правда, тутъ не было торгашества, по крайней мѣрѣ, со стороны добровольныхъ вкладчиковъ, если не издателей; за то, сколько было тутъ мелкаго самолюбія, сколько ребячества, и какъ вся литература походила на дѣтскую игру въ мячикъ: перебрасывались стишками ни на что и полемикою изъ ничего—и были довольны, счастливы!...

Но все вдругъ измѣнилось съ появленіемъ журнала г. Смирдина: за статьи установилась плата, литературный трудъ сдѣлался капиталомъ. Сначала, это новое движеніе въ литературѣ не могло не имѣть своихъ дурныхъ сторонъ, какъ и всякій общественный успѣхъ. Но вѣдь и цивилизація имѣетъ свои дурныя стороны, которыхъ не знаютъ общества, пребывающія въ дикомъ состояніи; однакожъ, только славянофилы могутъ утверждать, что лучше оставаться людямъ дикарями, нежели, вмѣстѣ съ благодѣяніями цивилизаціи, принять и ея неизбежные недостатки. Итакъ, сначала приманка платы за литературный трудъ произвела, вмѣстѣ съ хорошими слѣдствіями, и дурныя: появилось множество писакъ, которые думали, что за ихъ сочиненія такъ вотъ и польется на нихъ золотой дождь; даже люди съ способностями и дарованіемъ начали заботиться не столько

о томъ, чтобъ хорошо писать, сколько о томъ, чтобъ много и скоро писать. Но это не было продолжительно: лишь только новость обратилась въ обычай и обыкновеніе, какъ все вошло въ свои должныя границы. И теперь, право, лучше и вѣрнѣе, чѣмъ прежде, цѣнятся и талантъ и бездарность, писака никогда не перебьетъ дороги у писателя, а плохое произведеніе никогда не предпочтется хорошему за то, что послѣднее дороже. По крайней мѣрѣ, такъ бываетъ теперь въ мірѣ журналистики. Книгопродавцы доселѣ продолжаютъ руководиться совѣтами литераторовъ, съ которыми имѣютъ дѣла и мнѣнію которыхъ вѣрятъ, а не то — именами мѣряютъ достоинства произведеній, и за плохую повѣсть знаменитаго, хотя и выписавшагося писателя, всегда дадутъ вдвое и вчетверо больше, нежели за прекрасное произведеніе молодого человѣка, который только что начинаетъ и еще не успѣлъ пріобрѣсти себѣ литературнаго имени. Но журналы (разумѣется, хорошіе) должны быть чужды этого упрека, — и если вы прочтете въ журналѣ плохую повѣсть, приписывайте ея помѣщеніе не безвкусію и не скупости журналиста, а только тому, что и за деньги не могъ онъ достать хорошей повѣсти. Этимъ, и только этимъ должно объяснять помѣщеніе въ журналахъ всего посредственнаго и дурнаго: если негдѣ взять хорошаго, поневолѣ станешь печатать чтò есть, выбирая изъ худаго менѣе худое; но хорошій романъ, хорошая повѣсть, драма, хорошая журнальная статья уже не залежатся въ портфелѣ автора потому только, что онъ хочетъ взять за свой трудъ хорошую цѣну. Если же журналистъ по расчету, изъ экономіи, наполняетъ свой журналъ балластомъ — этимъ онъ не можетъ не вредить успѣху своего изданія; слѣдовательно, и въ матеріальныхъ выгодахъ не можетъ не терять, думая выигрывать. Сами книгопродавцы, издавая много посредственнаго, уже почти не издаютъ дурнаго, а напротивъ, часто издаютъ и хорошее. Еслибъ, въ настоящее

время, русская литература была богаче талантами, и таланты были бы дѣятельнѣе, то плата за трудъ, обратившаяся въ обычай, сдѣлала бы то, что печатались бы только хорошія произведенія, а посредственныя и дурныя нашлы бы свой складочный магазинъ только въ тѣхъ журналахъ, которые издаются на прежнемъ основаніи литературнаго безкорыстія, т. е. безкорыстнаго обычая прежнихъ журналистовъ не платить сотрудникамъ и вкладчикамъ. И потому, такъ называемое торговое направленіе, данное г. Смирдинымъ русской литературѣ, даже и въ отношеніи къ успѣхамъ вкуса принесло великую пользу, и только вначалѣ произвело немного вреда.

Любопытно вспомнить кстати, какіе толки и вопли пробудила тогда «Библіотека для Чтенія», въ отношеніи къ ея праву платить за статьи. Черезъ годъ послѣ появленія этого журнала (въ 1835 г.), въ Москвѣ основался новый журналъ, — и оффиціальныи критикъ этого журнала вотъ что провозгласилъ въ своей статьѣ: «Словесность и Торговля».

— Да, да, — мой взглядъ на современную нашу литературу будетъ нынѣ совершенно матеріальный. На журналы я смотрю, какъ на капиталистовъ. *Библіотека для Чтенія* имѣетъ для меня пять тысячъ душъ подписчиковъ. *Сѣверная Пчела*, можетъ-быть, вдвое. Замѣчательно, что эти журналы еще въ томъ сходятся съ богачами, что любятъ хвастаться всенародно своимъ богатствомъ. — Эти души подписчиковъ гораздо вѣрнѣе, чѣмъ твои оброчныя: за ними нѣтъ никогда недоимки, они платятъ впередъ, и всегда чистыми деньгами, и всегда на ассигнаціи. — Вотъ ѣдетъ литераторъ въ новыхъ саняхъ; ты думаешь, это сани. Нѣтъ, это статья *Библіотеки для Чтенія*, получившая видъ саней, покрытыхъ медвѣжьей полстью, съ богатыми серебряными когтями. Вся эта бронза, этотъ коверъ, этотъ лакъ чистый и опрятный все это листы дорого заплаченной статьи, принявшіе разные образы саннаго издѣлія. Литераторъ хочетъ дать обѣдъ, и жалуется, что у него нѣтъ денегъ. Ему говорятъ: да напиши повѣсть — и пошли въ *Библіотеку для Чтенія*; вотъ и обѣдъ. Однимъ словомъ, литература наша сыта, даетъ обѣды, живетъ въ *чертогахъ* (?!), ѣздитъ въ *карематъ*, въ лаковыхъ саняхъ, кутается въ медвѣжью шубу, въ бекашъ съ бобровымъ воротникомъ, возвышаетъ голосъ на аукціонахъ *Опекунскаго Совѣта*, покупаетъ

измѣнил!... (??!...) Насталъ, если не золотой, то самый сытный вѣкъ нашей литературы. Дождались мы того счастливаго времени, что статьи наши считаются за вѣрные банковые билеты, что словесность наша имѣетъ свой торговый домъ, въ которомъ эти измаранные билеты тотчасъ вымѣниваются на чистые печатные, все приобретающіе. Не на Парнасъ сидятъ наши музы, не среди нихъ въ небесахъ, а въ снѣгу обитаетъ наша словесность. Я представляю ее себѣ владѣтельницею ломбарда; здѣсь, на престолахъ изъ ассигнацій, возсѣдаетъ она со счетами въ рукѣ. Въ огромныхъ залахъ ея чертоговъ великое множество просителей, съ исписанными тетрадами въ рукахъ; билеты равно принимаются отъ извѣстныхъ и неизвѣстныхъ; она всѣхъ сравниваетъ по уровню печатнаго листа, за исключеніемъ немногихъ прежнихъ капиталистовъ; — но между этими просителями нѣтъ уже ни одного героя, который осмѣлился бы, какъ прежде, поднять голову надъ всѣми, и объявить монополію на повѣсть, на романъ, на поэму. Но кто невидимый герой всего этого міра? Кто устроилъ ломбардъ нашей словесности и взялъ ея производителей подъ свою опеку? Кто движетъ всю эту машиную нашей литературы? *Книгопродавецъ*. Съ нимъ подружилась наша словесность, ему продала себя за деньги и поклялась въ вѣчной вѣрности. »

Эта шумливая выходка противъ прекраснаго дѣла г. Смирдина говорить всего убѣдительнѣе въ его пользу. Во первыхъ, широкобъщательная и многоглаголивая статья эта напечатана въ журналѣ, который въ своей программѣ объявилъ, что онъ будетъ «платить за статьи, и платить не скупю». Во вторыхъ, велерѣчивый сочинитель этой статьи не замедлилъ послать въ журналъ г. Смирдина статью, на общихъ для всѣхъ основаніяхъ денежнаго вознагражденія. (Вотъ подлинно, проданъ да и бранить другихъ, что они продаютъ свои труды!...) Въ третьихъ, въ отрывкѣ, который мы выписали изъ статьи, что ни слово, то неправда, что ни слово, то выдумка, что ни слово, то преувеличеніе. Все это наговорено, какъ выражается Маниловъ въ «Мертвыхъ Душахъ», только «для красоты слога», для метафоръ и фигуръ, для риторики. Риторъ, когда говоритъ, прислушивается къ собственнымъ словамъ, жуется ихъ и облизывается; что ему за дѣло, что въ нихъ заключается сущая нечѣсть, или вовсе ничего не заключается!... Что иной авторъ могъ купить себѣ сани за цѣну статьи, отданной имъ въ жур-



налъ г. Смирдина — это не невозможное дѣло. За деньги, полученные отъ того же журнала за цѣлый рядъ статей, печатавшихся въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ, иной могъ, пожалуй, купить и карету: опять не невозможное дѣло. Но превратить статью въ карету, или, посредствомъ даже многихъ статей, прійти въ состояніе возвышать голосъ на аукціонахъ Опекунскаго-совѣта и покупать деревни, — воля ваша, все это негѣлость, т. е. пустая и шумливая риторика. Правда, у насъ были два романиста, которые, своими романами, говорятъ, приобрѣли себѣ состояніе; но это случилось или до «Библіотеки для Чтенія», или безъ ея содѣйствія, и подобный успѣхъ былъ совершенною случайностію, изъ которой смѣшно было бы дѣлать общее правило. Золотой дождь, полившійся изъ журнала г. Смирдина на русскихъ литераторовъ, привидѣлся во снѣ московскому критикану, а онъ взялъ да и напечаталъ свой сонъ, какъ будто все это было дѣйствительностію, благо, что бумага все терпитъ, и ни отъ чего не краснѣетъ... Довольно и того, что журналъ г. Смирдина положилъ начало обычаю вознаграждать по мѣрѣ возможности литературный трудъ, и черезъ это далъ литераторамъ большую возможность, нежели какую имѣли они прежде, предаваться литературнымъ занятіямъ. И то было истиннымъ подвигомъ съ его стороны, и за то ему честь и слава! Говорятъ: нашъ вѣкъ желѣзный, денежный и промышленный: — фразы! Люди всегда были и будутъ людьми: ни прежде, ни теперь и ни послѣ не могли, не могутъ и не будутъ они въ состояніи питаться и одѣваться воздухомъ. Плата за честный трудъ нисколько не унизительна; унизительно злоупотребленіе труда. И по нашему мнѣнію, гораздо честнѣе продать свою статью журналисту или книгопродавцу, нежели кропать стишонки въ честь какого-нибудь мецената, милостивца и покровителя, какъ это дѣлывалось въ невинное и безкорыстное время

нашей литературы, когда подобными одами добивались чести играть роль шута въ боярскихъ палатахъ, получали мѣста и выходили въ люди...

Движеніе, данное г. Смирдинымъ русской литературѣ, сначала было очень сильно. Почти вслѣдъ за журналомъ его, началъ издаваться г. Плюшаромъ «Энциклопедическій Лексиконъ» — предпріятіе огромное и приведшее въ движеніе много перьевъ, которыя до того лежали безъ употребленія. Пока это изданіе шло хорошо, его владѣлецъ показалъ едва ли не первый примѣръ честнаго вознагражденія за трудъ на правахъ европейской коммерціи, т. е. записка отъ главнаго редактора, предъявленная въ конторѣ редакціи, была истиннымъ банковымъ билетомъ: деньги выдавались въ ту же минуту, сполна, безъ ужимокъ, безъ гримасъ, безъ отсрочекъ до слѣдующей недѣли, безъ просьбы — принять пока половинку, и монеткою, вмѣсто ассигнацій (такъ какъ тогда ассигнаціи ходили съ лажемъ), безъ жалобъ на недостатокъ денегъ, на дороговизну времени, стѣсненныя обстоятельства, — словомъ, безъ всѣхъ этихъ непріятностей, которыя дѣлаютъ для васъ истинною мукою полученіе денегъ по праву вамъ принадлежащихъ...

Какъ пошелъ въ ходъ журналъ г. Смирдина, какъ дѣйствовала его редакція, объ этомъ мы не будемъ говорить, потому что это не относится къ предмету статьи. Скажемъ только, что г. Смирдинъ все дѣлалъ для своего изданія, что долженъ былъ и что могъ онъ сдѣлать, даже болѣе. Онъ не боялся риска, сыпалъ деньгами, ходилъ къ литераторамъ, принималъ ихъ у себя, гонялся за статьями, заказывалъ ихъ, торопилъ окончаніемъ, кланялся, просилъ... Что бы могъ дѣлать онъ больше?

«Сто Русскихъ Литераторовъ» едва ли не самое любимое изъ всѣхъ изданій, которыя когда либо предпринималъ г. Смирдинъ. Онъ началъ его со страстью, продолжаетъ съ упор-

ствомъ, и, повидимому, ожидаетъ отъ него много пользы. Посмотримъ, до какой степени основательны эти надежды.

Мысль изданія «Ста Русскихъ Литераторовъ» не лишена оригинальности. Это своего рода портретная галлерей русскихъ писателей, которая не только знакомитъ читателя съ лицомъ и почеркомъ каждого замѣчательнаго писателя, но и извѣщаетъ ему его талантъ и его манеру статью, приложенною къ портрету. Картинки, сюжетъ которыхъ заимствованъ изъ статей, составляющихъ содержаніе книги, дополняютъ собою роскошь изданія. Все это очень недурно придумано, и такимъ образомъ можно было бы составить цѣлый рядъ очень интересныхъ книгъ, изданіе которыхъ принесло бы и честь и прибыль книгопродавцу. Но и тутъ г. Смирдинъ сдѣлалъ все, что могъ и чего впрямь была требовать отъ него публика, т. е. онъ не жалѣлъ ни денегъ, ни хлопотъ. Изданные вѣтъ три тома «Ста Русскихъ Литераторовъ», по красотѣ изданія, по портретамъ и картинкамъ, — книги хоть куда, книги, какихъ у насъ не много, и какихъ, до выхода перваго тома этого изданія, никогда не бывало. Г. Смирдинъ предположилъ себѣ издать десять томовъ, съ десятью портретами и десятью картинками въ каждомъ; что же касается до статей, то, по его плану, ихъ не могло быть меньше, не могло быть больше десяти въ каждомъ томѣ. Итакъ, сто портретовъ, сто литераторовъ для всего изданія! Гдѣ наберетъ ихъ г. Смирдинъ? спрашивали мы самихъ себя, когда прошелъ слухъ объ этомъ предпріятіи. Не полагая, чтобъ невозможное было возможно, — мы думали, что, во первыхъ, г. Смирдинъ начнетъ свое изданіе съ Кантемира, Тредьяковского, Ломоносова, Поповскаго, Сумарокова, Хераскова, Петрова, Державина, Фонъ-Визина, Богдановича, Княжнина, Аблесимова, Капниста и т. д. Въ такомъ случаѣ, держась хронологическаго порядка, онъ могъ бы наполнить тома три одними писателями, предшествовавшими

Пушкину. Подобная мысль была бы недурна. Тутъ нечего было бы разсуждать о томъ, поэты, или не поэты были Тредьяковский, Сумароковъ, Херасковъ, Петровъ; они играли въ свое время важную роль въ русской литературѣ и пользовались огромною извѣстностію: этого довольно. Строгость выбора — дѣло важное; но г. Смирдинъ, въ этомъ выборѣ, непременно долженъ былъ принять за основаніе извѣстность, какою въ свое время пользовался тотъ или другой писатель. Мы думали, что г. Смирдину удалось достать хоть по одному или по нѣскольку изъ неизданныхъ сочиненій этихъ писателей, а при портретахъ тѣхъ, послѣ которыхъ не оставалось ничего ненапечатаннаго, онъ приложить что-нибудь уже изъ напечатаннаго и извѣстнаго, — что-нибудь такое, что характеризовало бы писателя, портретъ котораго находился передъ глазами читателя. Это была бы истинная портретная и, въ то же время, историческая галлерей русской литературы, великолѣпный памятникъ, воздвигнутый русской литературѣ просвѣщеннымъ и умнымъ усердіемъ книгопродавца. Тутъ главное дѣло — хронологическая послѣдовательность дѣятелей русской литературы, такъ, чтобъ каждый томъ представлялъ цѣлую группу писателей отдѣльной эпохи, и чтобъ это была, такъ сказать, своего рода исторія русской литературы въ лицахъ. Нечего и говорить, что когда бы дошло дѣло до живыхъ литераторовъ, ихъ портреты явились бы съ новыми статьями. Но и тутъ насъ ужасало число семьдесятъ: гдѣ набереть столько писателей г. Смирдинъ?... Но когда вышелъ первый томъ «Ста Русскихъ Литераторовъ», мы тотчасъ поняли, что, при нуждѣ, онъ можетъ набрать ихъ, пожалуй, цѣлыхъ пятьсотъ, и даже надѣлать ихъ, еслибъ не нашлось уже готовыхъ. Какъ надѣлать? да очень просто: встрѣтилъ человѣка, который знаетъ грамотѣ и любитъ «читать книжки», да и попросилъ его написать повѣсть, или драму. Тотъ сперва удивится, потомъ поло-

нается, а тамъ и согласится. Есть тысячи людей, которые, изъ денегъ, или изъ чести видѣть въ печати свой портретъ и свое сочиненіе, готовы пуститься въ сочинительство, даже и не зная грамотѣ...

Еще первый томъ «Ста Русскихъ Литераторовъ» показалъ, что это изданіе предпринято безъ всякаго плана, безъ всякаго порядка. Кто попался первый, того и давай сюда, отчего и составлялось общество, члены котораго не могутъ довольно надвинуться тому, какъ они сошлись вмѣстѣ. Старые писатели смѣшаны съ новыми, гениальные съ бездарными, знаменитые съ неизвѣстными, хорошіе съ плохими: Пушкинъ съ г. Зотовымъ, Крыловъ съ г. Каменскимъ, Шишковъ съ г. Веревкинымъ, г. Гречъ съ г. Бенедиктовымъ, и т. д. Но пусть старые писатели смѣшаны безъ толку съ новыми и молодыми: это бы еще куда ни шло; не хорошо, но такъ и быть. Хуже всего то, что гениальность смѣшана съ бездарностію, талантъ съ посредственностію, знаменитость съ неизвѣстностію. Конечно, не г. Смирдину взвѣшивать и сортировать литературные таланты; но все-таки ему слѣдовало крѣпко держаться, въ этомъ отношеніи, основанія извѣстности, репутаціи таланта. Спрашиваемъ его, ради какихъ причинъ г. Зотовъ попалъ въ его сборникъ? Говорятъ, онъ написалъ вѣсколько десятковъ томовъ; хорошо, но развѣ мало томовъ написалъ извѣстный московскій романистъ, Александръ Ананьевичъ Орловъ, развѣ романы и повѣсти его не расходились тысячами, и онъ не нашелъ себѣ многочисленной публики? Почему же его не видимъ мы въ числѣ «Ста Русскихъ Литераторовъ»? Или еще, можетъ-быть, въ которомъ-нибудь изъ слѣдующихъ томовъ, мы будемъ имѣть удовольствіе встрѣтить этого счастливаго, по таланту и славѣ, соперника г. Зотова? Дай-то Богъ!... Но шутки въ сторону, а мы не можемъ понять, какимъ образомъ не понялъ г. Смирдинъ, что его изданіе на повалъ было убито

сосѣдствомъ г. Зотова съ Пушкинымъ? Пусть вспомнитъ онъ, что говорилось тогда въ журналахъ, что говорила публика? Кто далъ г. Смирдину роковой совѣтъ — включить г. Зотова въ число ста русскихъ литераторовъ?

Но однимъ ли этимъ убито это изданіе! Вотъ перечень литераторовъ, которыхъ статьи и портреты помѣщены въ трехъ томахъ «Ста Русскихъ Литераторовъ»: Александровъ, Марлинскій, Давыдовъ, Зотовъ, Кукольникъ, Полевой, Пушкинъ, Свиньинъ, Сенковский, Шаховской, Булгаринъ, Вельтманъ, Веревкинъ, Загоскинъ, Каменскій, Крыловъ, Масальскій, Надеждинъ, Панаевъ, Шишковъ, Бенедиктовъ, Бѣгичевъ, Гречъ, Марковъ, Михайловскій-Давилевскій, Матлевъ, Ободовскій, Скобелевъ, Ушаковъ, Хмельницкій. Прежде всего посмотрите: всѣ ли изъ поименованныхъ тутъ литераторовъ имѣютъ право быть помѣщенными въ «Ста Русскихъ Литераторахъ», и всѣхъ ли ихъ портреты любопытны для публики; потомъ: всѣ ли они въ-время и кстати попали въ эту книгу, и, наконецъ, всѣхъ ли ихъ статьи стояли напечатанія? Въ то время, какъ вышелъ первый томъ «Ста Русскихъ Литераторовъ», извѣстность г. Александрова (г-жи Дуровой) была въ полной ея апогее; теперь, появленіе портрета и статьи этого писателя было бы несвоевременно, потому что, по причинѣ быстрого хода нашей литературы и нашего общества, у насъ многое скоро забывается; тогда же (1839) это было и въ-время и кстати; но статья г. Александрова—«Сѣрный Ключъ» была больше, чѣмъ слаба, и не стояла печати. Статьи Марлинскаго—«Мулла-Нуръ» и «Местъ» и стихотвореніе «Сонъ», были изъ рукъ вонъ плохи; одна фразеологія, надутая и напыщенная, безъ всякой примѣси блестокъ таланта, которыхъ не чужды были по крайней мѣрѣ лучшія изъ прежнихъ сочиненій этого писателя. Портретъ Давыдова былъ какъ нельзя лучше кстати и въ-время — вскорѣ послѣ смерти этого даровитаго

и замѣчательнаго человѣка; статья его, при портретѣ—«Тянуть въ 1807 году», была исполнена большаго интереса и написана прекрасно.—О г. Зотовѣ мы сказали.—Портретъ г. Кукольника какъ нельзя больше былъ кстати и въ-время: опоздай онъ явиться годомъ, двумя, или, напримѣръ, явился онъ теперь, въ третьемъ томѣ этого изданія,—и онъ не имѣлъ бы уже того интереса, потому что теперь г. Кукольникъ уже не надежда въ будущемъ, какъ тогда былъ, отчего и прежніе его труды получили теперь совсѣмъ другое значеніе, нежели какое тогда имѣли... Статья г. Кукольника «Іоаннъ Антонъ Лейзевицъ» — одно изъ лучшихъ его произведеній, и читалась съ большимъ удовольствіемъ.—Портретъ г. Полеваго не могъ быть не интересенъ для русской публики, которой онъ оказалъ столько услугъ, хотя уже въ это время его слава была на ея поворотѣ съ апоген. Повѣсть его, «Дурочка», была какъ всѣ его повѣсти; можетъ-быть, для этого-то онъ и далъ въ эту книгу другую свою статью, болѣе любопытную и дѣльную — «О бумагахъ и замѣткахъ, оставшихся по кончинѣ Петра-Великаго въ его собственномъ кабинетѣ». —О портретѣ Пушкина и его статьяхъ — «Каменный Гость», и «Одна глава изъ неоконченнаго романа», здѣсь не мѣсто распространяться: первая превосходна, вторая интересна.—Портретъ г. Свиньина рѣшительно неушѣстенъ, потому что г. Свиньинъ былъ, если хотите, литераторомъ, но весьма незамѣчательнымъ; поэтъ же и беллетристомъ никогда не былъ, а сдѣлался тѣмъ и другимъ по желанію г. Смирдина, который предположилъ принимать во «Сто Русскихъ Литераторовъ» преимущественно повѣсти, драмы и стихотворенія. Удивительно ли, послѣ этого, что драма г. Свиньина — «Александръ Даниловичъ Меншиковъ» больше нежели плоха?... Портретъ г. Сенковского былъ кстати, а статья его отличалась обыкновенными достоинствами и недостатками этого писателя. — Но портретъ князя Шаховскаго

опоздалъ годами пятнадцатью по крайней мѣрѣ; онъ былъ бы на своемъ мѣстѣ, и не былъ бы лишнимъ, если бы «Сто Русскихъ Литераторовъ» были картинною и вмѣстѣ историческою галлереею русской литературы. Повѣстей князь Шаховской никогда не писалъ, и повѣсти—совсѣмъ не его родъ; присовокупите же къ этому, что въ то время онъ былъ писателемъ, который уже давно и выписался и отсталъ отъ времени, — и вы сами поймете, какова была его повѣсть «Маруся»... И вотъ первый томъ, который, однакожь, все-таки былъ лучше втораго...

Во второмъ томѣ помѣщенъ портретъ Крылова и напечатана его басня «Пѣтухъ и Кукушка»: какъ бы хорошо было, для чести и успѣха изданія, еслибъ портретъ Крылова и его прекрасная басня попали въ первый томъ... Портретъ г. Булгарина былъ бы очень кстати въ 1829 году, когда вышелъ въ свѣтъ его «Иванъ Выжигинъ». Повѣсть г. Булгарина «Побѣда отъ Обѣда» была лучшею повѣстью во второмъ томѣ «Ста Русскихъ Литераторовъ»: до того плохи всѣ остальные повѣсти въ этомъ томѣ!... Портретъ г. Вельтмана, конечно, былъ интересенъ для почитателей таланта автора «Кошечъ Безсмертнаго»; но повѣсть его «Урсулъ» очень неудачна... Какимъ образомъ зашелъ во «Сто Русскихъ Литераторовъ» портретъ г. Вережкина — не понимаемъ. Г. Вережкинъ написалъ, во всю жизнь свою, двѣ или три повѣсти, довольно незначительныя, въ которыхъ онъ, по крайнему своему разумѣнью, острилъ à la баронъ Брамбеусъ и, какъ всякій подражатель, былъ ниже своего образца... Повѣсти г. Вережкина (Рахманнаго) годились для журнальнаго обихода, въ свое время были перелистованы, да тутъ же и забыты, какъ забывается все, чтò не выходитъ за черту обыкновенности. Гдѣ жъ тутъ право на знаменитость? Зачѣмъ публикѣ былъ портретъ г. Вережкина? Развѣ за тѣмъ, чтобъ она спрашивала: да кто же этотъ



г. Вережкинъ и что такое написалъ онъ? Для разрѣшенія этихъ вопросовъ, публикѣ оставалось только прочесть предсмертный разсказъ г. Вережкина — «Любовь Петербургской Барышни», приложенный къ портрету автора: и публика въ этомъ предсмертномъ разсказѣ ничего не нашла. кромѣ плоскихъ остротъ дурнаго тона и напыщенныхъ претензій посредственности. — Портретъ г. Загоскина опоздалъ цѣлыми десятью годами; но все же это былъ портретъ автора, имѣвшего въ свое время большой успѣхъ и доселѣ пользующагося на Руси большою извѣстностію, — и потому мы ничего не говорили противъ помѣщенія портрета его во «Стѣ Русскихъ Литераторахъ»; жаль только, что повѣсть г. Загоскина — «Официальный Обѣдъ», была очень плоха. Портретъ г. Каменскаго имѣлъ еще меньше права на появленіе во «Стѣ Русскихъ Литераторахъ», нежели портретъ г. Вережкина, потому что у послѣдняго была по крайней мѣрѣ хоть какая-нибудь способность писать. Пародистъ Марлинскаго, г. Каменскій, оказалъ русской литературѣ одну только услугу: онъ, своими повѣстями, совершенно доканалъ славу своего образца, показавъ, какъ легко упражняться въ этомъ ложномъ родѣ литературы, даже и не имѣя таланта, и, особенно, какъ смѣшонъ этотъ родъ. Повѣсть г. Каменскаго — «Іаковъ Моле», по обыкновенію сочинителя, написана была въ высокомъ тонѣ, но, по обыкновенію читателей, возбудила въ нихъ только смѣхъ. — Но портретъ г. Масальскаго имѣлъ еще менѣе права на мѣсто во «Стѣ Русскихъ Литераторахъ», нежели портретъ г. Каменскаго, потому что повѣсти послѣдняго чуть было не получили въ Петербургѣ чего-то похожаго на минутный успѣхъ, благодаря возгласамъ журнальныхъ благопріятелей, тогда какъ сочиненія г. Масальскаго всегда засыпали въ тишинѣ и въ глубокой тайнѣ отъ публики, несмотря на двусмысленныя, всегда умѣренные и воздержныя похвалы журнальныхъ благо-

пріятелей. Г. Масальскій, вмѣстѣ съ гг. Зотовымъ и Воскресенскимъ, образуетъ плеяду романистовъ средней руки, за которыми уже слѣдуютъ гг. Орловъ (Александръ Ананьевичъ), Кузмичевъ, Славинъ, Б. Ф(Ѳ)едоровъ, Брандтъ, Войтъ, Машковъ, и другіе. «Осада Углича», повѣсть г. Масальскаго, и «Дерево Смерти», его же стихотвореніе во второмъ томѣ «Ста Русскихъ Литераторовъ», вполне могутъ служить выѣскою безталанности этого сочинителя. — Портретъ г. Надеждина попалъ въ знаменитое число «ста» почти въ то самое время, какъ этотъ литераторъ почти совсѣмъ сошелъ съ литературнаго поприща: стало-быть, нельзя сказать, чтобъ не кстати и не въ-время. Но г. Надеждинъ не иначе могъ сдѣлаться однимъ изъ ста, какъ написавъ повѣсть—условіе *sine qua non*!... И г. Надеждинъ, повинувшись необходимости, написалъ повѣсть «Сила Воли», за которую да простить его Ѳебъ!... — Портретъ знаменитаго нашего идиллика, г. Панаева (В. И.) опоздалъ слишкомъ двадцатью годами: его «Похвальное Слово Государю Императору Александру» вышло въ 1816 году, «Историческое похвальное слово свѣтлѣйшему князю Голенищеву-Кутузову-Смоленскому»—въ 1823; важнѣйшее же произведеніе его таланта, т. е. «Идиллія», вышли въ 1820 году. Впрочемъ, рассказъ при портретѣ — «Происшествіе 1812 года», не заключалъ въ себѣ никакого особенно-интереснаго происшествія, и, надо признаться, далеко уступаетъ въ достоинствѣ не только знаменитымъ «Идилліямъ», но и повѣсти того же автора—«Иванъ Костинъ», которая, помнится, была напечатана въ образцовыхъ сочиненіяхъ и пользовалась въ свое время большою извѣстностью. — Портретъ Шишкова опоздалъ цѣлыми тридцатью восемью годами, потому что его пресловутое «Разсужденіе о старомъ и новомъ Слогѣ» вышло еще въ 1803 году. Статья, при портретѣ — «Воспоминаніе о моемъ пріятелѣ», была написана уже одряхлѣвшею рукою и притомъ

по случаю, какъ à propos для портрета. Вотъ и второй томъ «Ста Русскихъ Литераторовъ». — Перейдемъ къ третьему.

«Воспоминанія о графѣ Милорадовичѣ», статья нашего военнаго Тита-Ливія и Плутарха, генерала Михайловскаго-Данилевскаго, отличается сколько занимательностью содержанія, столько и мастерскимъ изложеніемъ. И кому бы изъ Русскихъ могли быть не интересны подробности о личномъ характерѣ русскаго Баярда, рыцаря безъ страха и упрека, особенно, когда эти подробности изложены живымъ и увлекательнымъ перомъ воина-литератора, который давно уже приобрѣлъ себѣ въ русской литературѣ значеніе классическаго военнаго писателя?... Портретъ схожъ и сдѣланъ превосходно. «Письмо Чесменскаго Инвалида на родину» (писано для солдатъ) принадлежитъ другому воину-литератору, который создалъ себѣ особый, свой собственный родъ литературы, скрывъ отъ всѣхъ его тайну, почему и нѣтъ никакой возможности подражать ему, и который также создалъ себѣ свою особенную публику, которая не ухвалится, читая грамотки своего отца-командира. Жаль только, что «Письмо Чесменскаго Инвалида» не прочтутъ именно тѣ, для кого оно написано: для нихъ слишкомъ дорога эта книга, да и бѣлая часть въ ней — все лишнее для нихъ. Надобно было бы отпечатать эту статью еще отдѣльною книжкой... Здѣсь, читатели, позвольте перевести духъ: кромѣ этихъ двухъ статей, есть въ третьемъ томѣ «Ста русскихъ Литераторовъ» и еще статья не столь важная, какъ двѣ первыя, однакожъ удобная для чтенія; но бѣда та, что до нея надо добираться черезъ пятнадцать стихотвореній — и какихъ еще: подумать страшно! — да черезъ шесть большихъ статей въ прозѣ, которыя, въ достоинствѣ, не уступаютъ помянутымъ стихотвореніямъ... Просто, ужасъ!...

Г. Бенедиктовъ снабдилъ свой портретъ пятью стихотвореніями. Посмотримъ на нихъ и начнемъ съ перваго.

Лебедь плаваетъ на водѣ «въ державной красотѣ», и у него завязывается съ поэтомъ интересный разговоръ; г. Бенедиктовъ спрашиваетъ его:

Что такъ гордо, лебедь бѣлый  
Ты гуляешь по струямъ?  
Иль свершилъ ты подвигъ смѣлый?  
Иль принесъ ты пользу намъ?

Лебедь отвѣчаетъ г. Бенедиктову, что онъ «праздно нѣжится въ водномъ хрусталѣ», но что онъ не даромъ «упитанъ гордымъ духомъ на землѣ», и именно вотъ почему:

Жизнь мою переплывая, (?)  
Я въ водахъ омытъ отъ зла, (?)  
И не давить грязь земная  
Мнѣ свободного крыла.  
Отряхнусь — и сухъ я стану;  
Встрепенусь — и серебристь; (?)  
Запылюсь — я въ волны прыну,  
Окунусь — и снова чистъ.

Читатель, можетъ-быть, спроситъ, что значитъ «переплывать свою жизнь» и, пожалуй, не найдетъ смысла въ этой фразѣ; можетъ-быть, также, онъ не пойметъ, какъ можно омываться водою отъ зла кому-нибудь, а тѣмъ болѣе лебедю, который, какъ животное, злу непричастенъ, а развѣ грязи, которую вода дѣйствительно имѣетъ способность смывать; еще, можетъ-быть, читателю покажутся смѣшными послѣдніе четыре стиха, какъ риторическая стукотня пошлаго тона, а второй стихъ непонятенъ; но мы советуемъ вамъ не быть слишкомъ строгими и придирчивыми, и не забывать, что вѣдь все это говорить птица, животное, которому простибельнѣе, нежели людямъ, говорить вздоръ.

Далѣе, лебедь, видя, что г. Бенедиктовъ благосклонно слушаетъ его болтовню и не останавливаетъ его, — утверждаетъ рѣшительную нелѣпость, будто человекъ никогда не слыши-

валъ лебединаго крика (который поэты величаютъ пѣніемъ),  
на томъ основаніи, что

Лебединыхъ сладкихъ пѣснь  
Недостойнъ человекъ.

Вслѣдствіе сего обстоятельства, онъ, реченный лебедь, и поетъ  
только для неба, да и то лишь въ предсмертный часъ свой.  
Но пѣніе не мѣшаетъ лебедю заблаговременно распорядить-  
ся своею духовною. Во первыхъ, онъ даетъ поэту «чудотвор-  
ное» перо изъ своихъ «крылій»,

И надъ міромъ, какъ изъ тучи  
Брызнуть *молніи созвучій*  
Съ вдохновеннаго пера.

Теперь ясно, отчего одни поэты поютъ сладко, а другіе такъ  
отвратительно: первые пишутъ лебединымъ перомъ, а вторые  
гусинымъ. Конечно, если хотите, хорошій поэтъ и гусинымъ  
перомъ будетъ писать недурно, но все не такъ, какъ лебеди-  
нымъ, потому что, владея этимъ «чудотворнымъ» орудіемъ,  
онъ дѣлается «пѣвучимъ наслѣдникомъ» лебеда. *Avis aux*  
*poètes!* Потомъ, лебедь завѣщаетъ, «для изголовья милой  
дѣвы мягкій пухъ съ мертвенно-остылой груди, въ которой  
виталя летучій духъ»... И этому пуху дѣва, въ нѣмую ночь,  
ввѣрить, изъ подъ внутренней грозы, роковую тайну пламен-  
ной слезы,

И согрѣтъ ея дыханьемъ,  
Этотъ пухъ начнетъ дышать,  
И упругимъ колыбаньемъ  
Бурнымъ персямъ отвѣчать.

Подумаешь, сколько хорошаго можетъ надѣлать одинъ лебедь!  
А все отчего? — оттого, что онъ отряхнется — и станетъ сухъ;  
встрепенется — станетъ серебристъ; запылится — и поско-  
рѣй въ волны; окунется — и какъ ни въ чемъ не бывалъ!  
Оттого онъ и пѣсни поетъ небу, и перо даритъ поэту, а

пухъ — красавицѣ! А за тѣмъ... но пусть онъ вамъ самъ скажетъ, что будетъ съ нимъ за тѣмъ; онъ такъ хорошо говорить, что хочется и еще послушать его:

Я исчезну, — и средь влаги,  
Гдѣ скользилъ я, полнъ отваги,  
Не увидитъ міръ слѣда;  
А на мѣстѣ, гдѣ плескаться  
Такъ любилъ я иногда,  
Будетъ тихо отражаться  
Неба мирная звѣзда.

Но что же изъ всего этого? какой результатъ, какой смыслъ, какая мысль, какое, наконецъ, впечатлѣніе въ умѣ читателя? Ничего, ровно ничего, больше, чѣмъ ничего—стихи, и только, а къ нимъ хорошенькая картинка, ландшафтъ — деревья, зелень, вода, лебедь... Чего жъ вамъ больше? Не все же гоняться за смысломъ — не мѣшаетъ иногда удовольствоваться и одними стихами.

Однажды, въ поэтическую минуту, вниманіе г. Бенедиктова привлекла—

Отъ женской головы *отхлупая* коса,  
Достойная *любви, восторговъ и стenanій*,  
Густая, черная, сплетенная въ три грани.  
Изъ страшной тьмы могилъ *исшедшая* на свѣтъ  
И не *измятая* подъ тысячами *лѣтъ*,  
Межъ тѣмъ, какъ столько *косъ* (.) съ ихъ *царственной красою*,  
*Изслѣклось* времени нещадною *косою*.

Надо согласиться, что было надъ чѣмъ попризадуматься, особенно поэту! Не диво мнѣ говорить г. Бенедиктовъ, что діадимы не гніютъ въ землѣ:

Въ нихъ рдѣло золото—*прельстительный металлъ!*  
*Онъ время соблазнитъ и вѣчность онъ подкупитъ—*  
*И та ему удытъ нетлѣнія уступитъ.*

Эта удивительная фраза о соблазнѣ времени и подкупѣ вѣчности золотомъ, какъ-будто бы время—женщина, а вѣчность—

подъячий, — эта несравненная фраза дает надежду, что г. Бенедиктофъ скажетъ когда-нибудь, что гранить и желѣзо запугиваютъ или застрашиваютъ время и вѣчность: и эта будущая фраза, подобно нынѣшней, будетъ тѣмъ громче и блестяще, чѣмъ бессмысленнѣе. Итакъ, не удивительно, что золото, не гниетъ въ землѣ; но какъ же коса-то уцѣлѣла?

Ужели и она

Всевластной прелестью надъ временемъ сильна?

И вѣчность жадная на этотъ даръ прекрасный

Глядела издали съ улыбкой сладострастной?

Часъ отъ часу не легче! Вѣчность доступна обольщенію, подкупу! вѣчность сладострастна! Какая негодница!... Но чтѣ жъ дальше? — Дальше общія мѣста по риторикѣ г. Кошанскаго: гдѣ глаза этой косы, которые сводили съ ума диктаторовъ, царей, консуловъ, мутили весь міръ, въ которыхъ былъ свѣтъ, жизнь, любовь, душа, въ которыхъ «пировало безсмертіе» (??!!) и т. п. Гдѣ жъ она? .

И тихо выказалъ ослабленный скелетъ

На желтомъ черепѣ два страшные провала.

Откуда же взялся черепъ? Вѣдь дѣло о косѣ, «отъязтой отъ женской головы»? Подите съ поэтами! Спрашиваете у нихъ толку!...

Въ третьемъ стихотвореніи, г. Бенедиктофъ бранить толпу, и, надо сказать довольно недурно, еслибъ только онъ поостерегся отъ персидскихъ метафоръ, въ родѣ слѣдующихъ: «полотно широкой думы пламенѣетъ подъ краской чувства», «громъ искрометной рифмы» и т. п. вычурностей пошлаго тона. Въ четвертомъ стихотвореніи, г. Бенедиктофъ рассказываетъ намъ, какъ невинно и духовно взиралъ онъ на грудь «дѣвы стройной»,

Любуясь красотой сей *выси* благодатной,

Прозрачной, трепетной, *деухо*лмной, *деу*раскатной.

.....

Онъ чувство новое въ груди своей питалъ:  
 Поклонникъ чистыхъ музъ—желаньемъ не сгаралъ  
 Удава кольцами вокругъ милой обвиваться,  
 Когтями ястреба въ пухъ лебедя вшиваться.

Какіе сильные, и, главное, какіе изящные и благородные образы!...

Нельзя не согласиться, что г. Бенедиктовъ—поэтъ столько же смѣлый, сколько и оригинальный. У него есть свои поклонники, и мелкіе рифмачи даже пишутъ къ нему посланія стихами, въ которыхъ не знаютъ, какъ и изъяснить ему свое удивленіе. Нашелся даже критикъ, который поставилъ его выше всѣхъ поэтовъ русскихъ, не исключая и Пушкина... Само собою разумѣется, что предметъ поклоненія всегда бываетъ выше своихъ поклонниковъ; а такъ какъ почитателей таланта г. Бенедиктова и теперь тьма-тьмушая, — то и нельзя не согласиться, что г. Бенедиктовъ есть въ своемъ родѣ замѣчательное явленіе въ русской литературѣ, какъ были въ ней замѣчательны, напримѣръ, Марлинскій и г. Языковъ. Конечно, подобная «замѣчательность» ненадежна и недолговременна, но все же она имѣетъ свое значеніе, потому что основана не на одномъ только дурномъ вкусѣ эпохи, или значительной, по большинству, части публики, но также и на талантѣ своего рода. Но мы уже не разъ говорили, что есть таланты, которые служатъ искусству положительно, и есть другіе, которые служатъ ему отрицательно; произведенія первыхъ приводятся эстетиками, какъ примѣры истиннаго и правильнаго хода искусства; произведенія вторыхъ служатъ для примѣровъ ложнаго и фальшиваго направленія искусства. Это бываетъ не съ одними лицами, но и съ народами: для образцовъ изящнаго вкуса смѣло пользуйтесь Греками; для образцовъ дурнаго вкуса смѣло обращайтесь къ Китайцамъ, и у послѣднихъ берите только лучшихъ художниковъ и лучшія произведенія. Муза г. Бенедиктова ори-



гинальна, и муза Пушкина оригинальна; но какая между ними разница, уж не говоря о чудовищномъ неравенствѣ въ талантъ? — Муза Пушкина — то древняя статуя, цѣломудренно-нагая, то женщина аристократка, плѣняющая достоинствомъ языка и манеръ, изящною простотою наряда. Муза г. Бенедиктова всегда — женщина средней руки, — если хотите, недурная собою, даже хорошенькая, но съ пошлымъ выраженіемъ лица, бойкая, вертлявая и болтливая, но безъ граціи и достоинства, страшная щеголиха, но безъ вкуса; она любитъ бѣлала и румяна, хотя бы могла обходиться и безъ нихъ, любитъ нестроту и яркость въ нарядѣ, и, за неимѣніемъ брильянтовъ, охотно бременить себя стразами; ей мало серегъ: подобно индійской баядерѣ, она готова носить золотыя кольца даже въ ноздряхъ. Все это относится только къ выраженію въ поэзіи г. Бенедиктова; что же касается до ея содержанія — съ этой стороны она тѣмъ бѣднѣе, чѣмъ больше претендуетъ быть богатою. Что многимъ кажется избыткомъ мыслей въ поэзіи г. Бенедиктова, то не мысли, а рефлексія; рефлексія же относится къ мысли, какъ резонёрство къ мышленію, умничанье къ уму, толстота къ величію, надутость къ высокоости, сентиментальность къ чувству, бравура къ храбрости. Разложить стихотвореніе г. Бенедиктова на составные элементы, пересказать его содержаніе изъ него же взятыми и нисколько неизмѣненными фразами — всегда значитъ обратить его въ пустоту и ничтожество. Во всякомъ случаѣ, повторяемъ, г. Бенедиктовъ — замѣчательное явленіе въ нашей литературѣ, и мы очень рады, что его поэтическая физіономія воспроизведена, во «Стѣ Русскихъ Литераторовъ», съ тою вѣрностію, за которую поручится каждый, кто даже и никогда не видалъ его, но читалъ его произведенія.

Статья г. Греча — «Гейдельбергъ (Θ. В. Булгарину, отвѣтъ на его Tutti Frutti)», могла бы насъ очень удивить, еслибъ

мы могли еще чему-нибудь удивляться въ русской литературѣ, — особенно во «Стѣ Русскихъ Литераторовъ». Но сперва о г. Гречѣ, не какъ о лицѣ, а какъ о литераторѣ, а потомъ уже и о статьѣ его. Литературная дѣятельность г. Греча раздѣляется на три эпохи: въ первой, отъ 1812 (а можетъ-быть еще и раньше) до 1831 года, онъ является преимущественно грамматистомъ, составляетъ огромныя грамматики, пишетъ о грамматикѣ, хлопочетъ о русскомъ языкѣ; во второй, отъ 1831 до 1836, онъ дѣлается романистомъ, начавъ съ довольно плохаго разсказа—«Поездка въ Германію», и кончивъ довольно плохимъ романомъ — «Черная Женина». Съ тѣхъ поръ и до сего времени, онъ по преимуществу туристъ. Въ промежуткахъ, онъ издавалъ «Сынъ Отечества» и «Сѣверную Пчелу», и, по увѣренію «Библіотеки для Чтенія», прочелъ въ корректурѣ всю русскую литературу; кромѣ того, въ 1840 году, читалъ публичныя лекціи, въ которыхъ былъ «взглядъ и нѣчто» насчетъ русской грамматики и литературы, преимущественно же современной журналистики, которою тогда этотъ почтенный ветеранъ нашей словесности имѣлъ причины быть недовольнымъ. Какая неутомимая и многосторонняя дѣятельность! Около (а можетъ-быть и больше) тридцати-пяти лѣтъ печатается этотъ человѣкъ, не старѣя, а все обновляясь и молодѣя. О портретѣ г. Греча никакъ нельзя сказать, чтобъ онъ поздно попалъ въ «Сто Русскихъ Литераторовъ». Можетъ-быть, поздно какъ-портретъ грамматиста, какъ журналиста, какъ романиста, какъ лектора, но отнюдь не поздно какъ туриста: если давно забыты его прежнія письма изъ-за границы, онъ напоминаетъ о нихъ нынѣшними, говоря въ нихъ почти то же самое и совершенно такъ же, что и какъ говорилъ въ прежнихъ. Теперь онъ уже ни о чемъ больше не пишетъ, какъ только о своихъ путешествіяхъ. На этотъ разъ, онъ знакомитъ насъ съ Гейделбергомъ. Между прочимъ, онъ говоритъ о Гейдель-

бергскомъ университетѣ, и за новостъ разсуждаетъ объ извѣстномъ ученомъ твореніи Крейцера—«Символикѣ», десяти томовъ котораго выходили съ 1810 по 1820 годъ. Оно хотъ и не ново, а все бы интересно, еслибъ нашъ туристъ могъ сказать объ этой книгѣ что-нибудь больше того, что можетъ сказать о ней всякій, никогда ея нечитавшій.

За г. Гречемъ слѣдуетъ г. Мятлевъ съ цѣлымъ десяткомъ стихотвореній одно другаго хуже. Г. Мятлевъ вышелъ на литературное поприще съ книжкою преплохихъ стихотвореній подъ названіемъ: «Друзья Уговорили». Этой книжки никто не замѣтилъ, кромѣ друзей сочинителя. Потомъ г. Мятлевъ вдругъ прославился «Сенсаціями мадамъ Курдюковой», сочиненіемъ, которое, въ небольшихъ дозахъ, могло быть читано въ обществѣ знакомыхъ людей. къ ихъ удовольствію, но которое въ печати не имѣетъ никакого значенія, кромѣ скучной и довольно плоской книги. Что касается до мелкихъ стихотвореній, г. Мятлева, — тѣ изъ нихъ, въ которыхъ онъ думалъ смѣшать смѣсю французскихъ фразъ съ русскими, такъ же скучны и плоски, какъ и «Сенсаціи»; а тѣ, въ которыхъ онъ думалъ воспѣвать высокіе предметы, какъ въ «Разговорѣ Человѣка съ Душой», очень смѣшны. Все это не доказываетъ правъ г. Мятлева ни на званіе литератора, ни на мѣсто между «ста», — и намъ, право, жаль изданія г. Смирдина, которое рѣшилось принять въ себя такую, на примѣръ, піесу г. Мятлева, какъ «Споръ за Вафли», которую, курьёза ради, выписываемъ вполнѣ:

Пріѣхалъ въ Красенькой гулять  
Портной, изъ Нѣмцевъ, Буттеръ-Фрессеръ,  
Спросилъ онъ: *Габель, Лефель, Мессеръ,*  
И вафли приказалъ подать.  
Садится и глядитъ умилно,  
И въ мысляхъ ѣсть уже *мейнъ-геръ!*  
Какъ вдругъ вбѣгаетъ офицеръ  
И вафли выхватилъ насильно.

• Чей эта вафля, узнавать  
 Позвольте, гаспадинъ военный? —  
 — Ну, знать твоя, мусье почтенный,  
 Что вздумалъ за нее стоять?  
 • А если мой, могу дѣ ихъ кушаль? —  
 Сердито Нѣмецъ закричалъ.  
 — Что, что, мусье, я не разлушалъ. —  
 • Могу-ль ихъ кушаль? я сказалъ —  
 — Ну, не сердись, сейчасъ другіе  
 Я прикажу тебѣ подать. —  
 Но Нѣмецъ въ спѣсъ вошелъ такую,  
 Что раскричался не въ себя.  
 • Здѣсь все равно! Вашъ не забудеть,  
 Здѣсь вашъ польтинъ и мой польтинъ?  
 Здѣсь это все, одинъ польтинъ » —  
 — Врешь, Нѣмецъ, рубль ужъ это будетъ!  
 • Нѣтъ, сами *рубль* вы гаспадинъ!  
 Что вы задумалъ? — Забѣяка!  
 Я вашъ маркезь, иль человекъ! —  
 Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ, я не человекъ!  
 — Что жъ, Нѣмецъ, что же ты? собака?

Остроумно и изящно, нечего сказать! Не понимаемъ одного: гдѣ сочинитель видѣлъ такихъ офицеровъ, если не во снѣ?... И всѣ-то стихотворенія г. Матлева похожи на этотъ споръ за вафли, за исключеніемъ развѣ «Разговора Барина съ Афонькою», который дѣйствительно хорошъ, и то потому, впрочемъ, что не сочиненъ г. Матлевымъ, а списанъ имъ со словъ какого-нибудь Афоньки, — почему и отличается тѣмъ особеннымъ юморомъ, который такъ свойственъ людямъ этого сословія, когда они разсуждаютъ о барахъ.

Портретъ г. Хмельницкаго нельзя сказать, чтобъ вовсе не имѣлъ права на помѣщеніе между «ста»; но онъ опоздалъ болѣе, чѣмъ двадцатью годами. Въ свое время, г. Хмельницкій пользовался большою извѣстностію, какъ драматическій писатель. Вотъ его труды: «Зельмира», трагедія въ 5-ти актахъ, переводъ съ французскаго (1811 года); «Шалости Влюблен-

ныхъ», комедія въ трехъ актахъ, изъ Реньяра; «Говорунъ», комедія въ 1-мъ актѣ, изъ Буази; «Школа Женъ», комедія въ 5-ти актахъ, изъ Мольера; «Весь день въ приключеніяхъ», опера въ 3-хъ актахъ; «Греческія Бредни или Ифигенія въ Тавридѣ на изнанку», пародіи-водевиль, въ 3-хъ дѣйствіяхъ, изъ Фавара; «Бабушкины попугаи», водевиль въ 1-мъ актѣ; «Суженаго конемъ не объѣдешь, или нѣтъ худа безъ добра», водевиль въ 1-мъ дѣйствіи. Все это — или переводы, или передѣлки, и большею частію въ стихахъ. Оригинальныя сочиненія: «Воздушные Замки», комедія въ 1-мъ актѣ; «Семь пятицъ на недѣлѣ, или Нерѣшительный», комедія въ 1-мъ актѣ; «Карантинъ», водевиль въ 1-мъ актѣ; «Актеры между собою, или первый дебютъ актрисы Троепольской», водевиль въ 1-мъ актѣ, писанный въ сотрудничествѣ съ г. Всеволожскимъ. Все это было недурно; особенно старался г. Хмельницкій очистить стиха; но теперь стихъ его такъ же устарѣлъ, какъ забыты всѣ его сочиненія и самое имя его чуждо современной русской литературѣ. Желая, какъ видно, во что бы ни стало напомнить о себѣ и занять мѣсто въ числѣ «ста», г. Хмельницкій рѣшился написать «поморскій рассказъ — Мундиръ»; но рассказа у него какъ-то не вышло, хотя и рассказывалъ онъ какъ умѣлъ. Сначала, читатель чего-то ожидаетъ отъ этого рассказа, потому что начинается довольно интересными подробностями объ Архангельскѣ и Колѣ; но автору не хотѣлось ограничиться интересными очерками, написанными безъ претензіи, и онъ предпочелъ написать плохую и скучную повѣсть, безъ завязки и развязки, безъ интриги, исполненную отсталого юмора и запоздалого, цѣлыми двадцатью годами, остроумія.

Осиливъ кое какъ тощій изобрѣтательностью и интересомъ рассказъ г. Хмельницкаго, усталый и сонный читатель встрѣчаетъ чудовище, гору, слона... словомъ, сто-пудовую драматическую поэму въ пяти отдѣленіяхъ, съ прологомъ, г. П.

Ободовскаго — «Князя Шуйскіе». Извлеченіе изъ этого семимильнаго произведенія было играно на Александринскомъ театрѣ, подъ именемъ «Царя Василія Ивановича Шуйскаго». Поэма эта доказываетъ, до какой степени совершенства можетъ выработаться посредственность: въ этой поэмѣ все такъ гладко, чинно, ровно. ни умно, ни глупо, ни худо, ни хорошо; языкъ ея вылощенный, выглаженный, накрахмаленный; стихъ вялый, безъ жизни, безъ красокъ, безъ музыкальности, безъ оригинальности, но обдѣланный, обточенный, выполированный. Мудрено ли выучиться перелагать въ разговоры «Исторію» Карамзина, дополняя ее то марлинизмомъ, то изобрѣтеніями въ духѣ романовъ гг. Зотова и Воскресенскаго; создавать образы безъ лицъ, персонажи безъ характеровъ—эти общія мѣста бездарнаго драматизма? Мудрено ли наостритья писать стихи, которые—совершенно проза, пошлая, водяная проза, и въ то же время все-таки стихи? Сія «огромная» поэма занимаетъ собою двѣсти десять страницъ въ 8-ю долю листа... Страшно!

За поэмою г. Ободовскаго слѣдуетъ повѣсть г. Бѣгичева (разумѣется, съ его портретомъ)—«Записки губернскаго Чиновника». Чѣмъ извѣстенъ въ русской литературѣ г. Бѣгичевъ, что такое написалъ онъ, что бы давало его портрету право явиться между знаменитыми «ста»—не помнимъ, не знаемъ... Неужели «Записки губернскаго Чиновника» такъ хороши, что одной этой пьесы было достаточно г. Бѣгичеву для пріобрѣтенія литературнаго имени?—Не думаемъ... Но—позвольте!—кажется, были слухи, что г. Бѣгичевъ—авторъ романа «Семейство Холмскихъ». Несмотря на то, что это романъ дидактическій, «нравоучительный и длинный», немножко сантиментальный, немножко резонёрскій и нисколько непоэтическій,—онъ имѣлъ, въ свое время, довольно значительный успѣхъ, благодаря живому чувству негодованія противъ разнаго рода злоупотребленій, — чувства, которое играетъ въ означенномъ

романъ не послѣднюю роль. Послѣ этого появлялось, отъ времени до времени, нѣсколько статей, довольно плохихъ, на заглавіи которыхъ было выставляемо: «сочиненіе автора Семейства Холмскихъ». Но все-таки мы не имѣемъ никакого права печатно признать г. Бѣгичева авторомъ «Семейства Холмскихъ», потому что онъ самъ нигдѣ еще не признавался въ этомъ. Притомъ же, еслибъ г. Бѣгичевъ былъ дѣйствительно авторъ этого романа, г. Смирдинъ, какъ издатель «Старускихъ Литераторовъ», непремѣнно, при имени г. Бѣгичева, выставилъ бы заглавнѣе: «автора Семейства Холмскихъ», чтобъ оправдать помѣщеніе въ этой книгѣ портрета и статьи г. Бѣгичева. Тогда мы ничего не могли бы сказать противъ этого портрета, кромѣ развѣ того, что онъ запоздалъ слишкомъ десятью годами; но какъ г. Смирдинъ не объявилъ г. Бѣгичева авторомъ «Семейства Холмскихъ», то мы и принуждены увидѣть въ «Запискахъ губернскаго Чиновника» единственное право г. Бѣгичева на званіе литератора. По этой причинѣ мы съ особеннымъ любопытствомъ и вниманіемъ прочли эту повѣсть, если уже совсѣмъ не молодого человѣка (судя по портрету), то только что выступающаго на поприще литературы. Но тутъ нашему удивленію не было конца... Великій Боже! чтѣ это такое? Не переводъ ли съ китайскаго? Въ послѣднемъ насъ особенно утверждаетъ то, что нравы этой повѣсти — чисто китайскіе, а если не китайскіе, то ужъ никакіе, и такихъ нравовъ нигдѣ нельзя найти. Судите сами. Къ губернскому предводителю съѣхались на балъ чиновники; недоставало только губернатора. Въ ожиданіи этой важной особы, до появленія которой балъ никакъ не могъ начаться, — чиновникъ, котораго записки составляютъ повѣсть, вмѣстѣ съ какимъ-то г. Радушинымъ и еще нѣсколькими мандаринами низшихъ степеней, т. е. нѣсколькими чиновниками низшаго разряда, въ диванной у матери хозяина дома, предался назидатель-





«составил мой покойный отецъ, бывшій здѣсь губернскимъ предводителемъ, и я храню ее, какъ драгоценнѣйшій для сына памятникъ». Но добрый сынъ можетъ быть плохимъ разскащикомъ, а хорошій отецъ можетъ быть плохимъ мыслителемъ. Не удивительно, что записка вышла еще хуже повѣсти. Въ ней за новостъ открывается, что для искорененія лихоимства, необходимо, между прочимъ, достаточное жалованье чиновникамъ. Справедливо, но старо, а потому и бесполезно! Въмѣсто этихъ обветшалыхъ истинъ, лучше было бы сочинить дѣльную записку или о томъ, гдѣ и какъ найти денегъ на увеличеніе жалованья, или о томъ, какъ бы найти способъ питаться и одѣваться воздухомъ и строить изъ него дома. Это было бы тѣмъ лучше, что у насъ воздухъ всѣмъ дается даромъ, а не обкладывается налогами, какъ въ Англіи. Въ заключеніе всего, нельзя не поздравить г. Смирдина въ пріобрѣтеніи такой безподобной статьи, какъ «Записки губернскаго Чиновника»...

Но вотъ и еще незнакомецъ предстаетъ передъ нами—какой-то г. Марковъ. Кто бы это такой былъ? Что онъ писалъ, гдѣ, когда, для кого? А что-то какъ будто помнится... Позвольте — надо прибѣгнуть къ архиву старыхъ журналовъ... Такъ точно; глаза насъ не обманываютъ: г. Марковъ не только писалъ повѣсти, но еще помѣщалъ ихъ, въ 1835 году, въ лучшемъ русскомъ журналѣ того времени, въ «Библіотекѣ для Чтенія», а потомъ, въ 1838 году, издалъ ихъ отдѣльно. Такъ какъ эти повѣсти забывались въ ту же минуту, какъ прочитывались, а за десятилѣтнею давностью забыть и самый фактъ ихъ существованія, то мы считаемъ обязанностью напомнить о нихъ русской публикѣ, чтобъ она знала, почему у насъ даже только теперь имѣется въ наличности цѣлая сотня литераторовъ.

Въ одной повѣсти г. Маркова, помѣщенной въ «Библіотекѣ для Чтенія» и названной «Бѣда, еслибъ не медвѣдь», описы-

вается одна капитанша, которая разъ напилась пьяна шампанскимъ и натерла себѣ щеки мастикою собственного изобрѣтенія, растворенною въ меду. У ея любовника, майора Фрола Силыча Торопенко, съ которымъ она жила въ одномъ домѣ, былъ ручной медвѣдь. Вдругъ капитанша закричала: спасите! умираю! На крикъ ея сбѣжалась толпа и между прочими, ротмистръ Рамирскій, влюбленный въ падчерицу капитанши, «прелестную Марію», — и что же представилось глазамъ всѣхъ? — «Одна изъ любопытѣйшихъ сценъ частной жизни (говорить г. Марковъ). Медвѣдь, привлеченный медовымъ запахомъ мастики, изволилъ облапить Дарью Климовну, и прехладнокровно облизывалъ ея тучныя ланиты». Рамирскій бѣжитъ въ комнату Маріи, за своими пистолетами, и видитъ, что Марія хочетъ застрѣлиться; выхвативъ у ней пистолеты, онъ освобождаетъ Дарью Климовну отъ медвѣдя, застрѣливъ его и сперва взявъ съ нея слово, что она согласится на его бракъ съ Марією. Въ этой же повѣсти, описывая петергофскій праздникъ, и замѣтивъ, что въ этотъ день въ Петергофѣ заняты людьми даже щели, — г. Марковъ говоритъ: «Я хотѣлъ однажды описать, что дѣлается въ этихъ щеляхъ, но мнѣ сказали, что все это уже описано Поль-де-Кокомъ». И потому г. Марковъ ограничился только остроумнымъ описаніемъ слѣдующаго случая: дворникъ, намазавъ клестеромъ заднюю сторону билета, чтобы приклеить его къ воротамъ, такъ и оставилъ его на скамейкѣ, а самъ отлучился. Въ то время Дарья Климовна, не посмотрѣвъ на скамейку, присѣла на ней отдохнуть, и когда она встала и пошла, то сзади, на ея платьѣ, очутился билетъ съ надписью: «сіа квартира отдается». Вотъ каковъ юморъ г. Маркова, одного изъ ста русскихъ литераторовъ!... Въ другой его повѣсти, какая-то толстая барыня ѣдетъ съ дочерью въ театръ; надъ ея ложею пьютъ сивуху, разбиваютъ штофъ — водка течетъ на голову толстой барыни; въ театрѣ

мушъ, тревога. Потомъ, у толстой барыни увозить дочь, она ищетъ ее по всему городу, въ полночь забѣгаетъ въ трактиръ, попадаетъ въ погребъ—слѣдуютъ сцены, очень забавныя для публики извѣстнаго разряда. Словомъ, грязь по колѣно, и занять такой спиритуозный, отъ котораго порядочный читатель легко можетъ схватить насморкъ! Но г. Марковъ не только юмористъ, онъ еще и маринистъ и стихотворецъ. Въ его книжкѣ: «Мечты и Были» есть трагическая повѣсть «Евгенія», о которой мы упоминаемъ (такъ какъ предстоитъ говорить о таковой же маринистѣ, помѣщенной г. Смирдину въ 3-мъ томѣ «Ста Русскихъ Литераторовъ»), и есть стихи. Удивительные стихи! Напримеръ, въ «Думѣ о Пушкинѣ», г. Марковъ говоритъ, что этотъ поэтъ уже:

Не закодуетъ звуковъ властью,  
Не поцалуетъ сердца страстью,  
Не заклеитъ мечтою умъ!

Не правда ли, что очень хороши стихи?... Но этикъ еще не оканчивается разнообразіе литературныхъ подвиговъ г. Маркова: онъ еще сочинилъ трагедію «Александръ Македонскій», которая, къ сожалѣнію, не была напечатана, но, къ счастью, была дана на Александринскомъ театрѣ. Въ этой драмѣ — всё колоссально, особенно нелѣпость. Лучше всего въ ней — изобрѣтеніе пажей и турецкаго барабана во времена Александра Македонскаго...

Изъ всего этого читатели сами легко могутъ усмотрѣть, до какой степени неоспоримы права г. Маркова на почетное мѣсто между стами русскими литераторами.

Обращаемся къ «Пиннѣ», повѣсти г. Маркова, попавшей во «Сто». Пламенный поручикъ влюбился въ молодую вдову, графиню Пинну. Уѣзжая въ отпускъ, онъ былъ уже съ нею на короткой ногѣ и говорилъ ей «ты», но, какъ видно изъ разго-

вора, состоялъ еще въ глупомъ званіи платоническаго обожа-  
теля. Пинна была удивительно хороша. Послушаемъ самого  
сочинителя:

«Пинна была одной изъ тѣхъ женщинъ, у которыхъ волосы трещать отъ элек-  
тричества и сыплютъ огонь; ей минуло двадцать-шесть лѣтъ и не казалось  
меньше; она была очень полна: но какая очаровательная полнота! — Строгая  
нравственность не могла видѣть графини въ бальномъ платьѣ: одного ея плеча  
было довольно, чтобъ самыя холодныя глаза подернулись влагой удовольствія.  
Какъ же описать собственные глаза Пинны? Сказать, что они были огненные,  
большіе, черные, ослѣненные прекрасными рѣсницами, это значить ничего не  
сказать! Скорѣе можно было ихъ уподобить *бездонному омуту*, въ кото-  
ромъ равно погребали и веселость беззаботнаго юноши, и дѣятельность опыт-  
наго мужа, и слабѣющій разсудокъ старика. Ни кисть, ни карандашъ не мо-  
гли схватить ни одной черты съ правильнаго лица Пинны: неуловимое, оно  
могло назваться *осуществленнымъ лексикономъ всѣхъ душевныхъ ощу-  
щеній*. Розовыя губки графини раждали невольно идею о блаженствѣ поца-  
лунъ и заключали въ себѣ непонятную власть однимъ движеніемъ *леденить и  
плавить, мертвить и воскрешать* влюбленное сердце; ихъ выраженіе  
съ непостижимой быстротой и ясностью обличало всѣ оттѣнки гнѣва и мило-  
сердія, любви и презрѣнія, и часто въ одно мгновеніе превращалось изъ *ядо-  
витой насмѣшки furia* въ *простодушную улыбку ангела*. Зная Пин-  
ну, почти страшно было мечтать о прелести ея объятій: она дышала *зноимъ  
арабійскаго неба*. Знала ли, наконецъ, сама эта всемогущая жрица любви,  
неисчерпаемое наслажденіе обоюдной страсти? — Нѣтъ! — И, можетъ быть,  
потому — нѣтъ, что не нашла предмета, который бы не сожгълъ въ ея жгу-  
чихъ объятіяхъ, который бы самъ дохнулъ бурей Везувія на эту клокочущую  
Этну» (стр. 468).

И вотъ оттого-то, что не нашлось предмета, «который бы  
самъ дохнулъ бурей Везувія на эту клокочущую Этну», эта  
«клокочущая Этна», въ отсутствіе пылающаго поручика, хочетъ  
выйти за одного преглупаго, но богатаго помѣщика съ огром-  
нымъ брюхомъ. Когда кипящій поручикъ воротился изъ отпу-  
ска, Этна плясала на балу. Тогда Везувій послалъ деньщика  
на кладбище, чтобъ тотъ вырылъ ему могилу, а самъ отпра-  
вился въ домъ клокочущей Этны и подкупилъ ея горничную,  
которая и помѣстила Везувій въ спальнѣ Этны, между стѣною  
и шкафомъ. Этна воротилась домой, раздѣваясь, назвала

Везувія мальчишкою (въ чемъ и не ошибась) и легла спать. Тогда Везувій схватилъ Этну за руку, произнеся гробовымъ голосомъ: «вставай, недоступная красавица, я пришелъ за тобою...» Страшно, читатели, не правда ли? Не беремся передать всѣхъ надутыхъ фразъ, всей гробовой чепухи, которую молотъ Везувій Этнѣ; но вотъ для образчика. Этна говоритъ: «но куда? и зачѣмъ?» Везувій отвѣчаетъ: «На кладбище, жизнь моя, на кладбище: тамъ я уже велѣлъ приготовить намъ ванну широкую, прохладную... а пилюли со мною; вотъ онѣ тутъ, ихъ не видно въ этихъ желѣзныхъ трубкахъ, но онѣ, право, тутъ!... Пойдемъ же въ мою роскошную ванну, засядемъ въ нее, примемъ сперва по одной штучкѣ изъ этихъ трубокъ, только по одной! и потомъ отдохнемъ въ ваннѣ... долго... долго... Бррр! Страшно!... Но не бойтесь за Этну: ее въ-время вырвалъ изъ рукъ Везувія другъ его, ротмистръ; она скоро оправилась и вышла замужъ; а Везувій умеръ отъ воспаленія въ мозгу, который у него давно уже былъ въ разстроенномъ положеніи: единственная причина, почему онъ, въ продолженіи всей повѣсти, говорилъ книжными и надутыми фразами à la Марлинскій... Когда же онъ умеръ, на свѣтѣ стало однимъ глупцомъ меньше—единственная отрадная мысль, которую читатель можетъ вынести изъ этой галиматіи!...

Портретъ покойнаго Ушакова былъ бы совершеннымъ сюрпризомъ для русской публики, еслибъ только онъ не опоздалъ пятнадцатью годами, и еслибъ приложенная къ нему повѣсть хоть сколько-нибудь могла объяснить своимъ достоинствомъ необходимость и смыслъ этого неожиданнаго появленія съ того свѣта. Г. Ушаковъ прибрѣлъ себѣ извѣстность повѣстью въ двухъ томикахъ—«Киргизъ-Кайсакъ», изданною, кажется, въ 1834 году; а до тѣхъ поръ онъ былъ извѣстенъ только въ литературномъ кругу своими статьями о театрѣ, исполненными грубой журнальной брани и плоскими остротами на ложно-сла-

вянскомъ языкѣ. «Киргизъ-Кайсака» теперь нѣтъ никакой возможности перечестъ; но это происходитъ не столько оттого, чтобъ въ этомъ произведеніи вовсе не было таланта и хотя относительнаго достоинства, сколько оттого, что наша литература и вкусъ нашей публики съ тѣхъ поръ быстро подвинулись впередъ. Мы уже не разъ имѣли случай замѣчать, что, до Гоголя, нашимъ романистамъ и нувелистамъ было легко быть талантливыми, по крайней мѣрѣ, въ тысячу разъ легче, нежели теперь. Но какъ бы то ни было, все же успѣхъ, разумѣется, неподготовленный и неподкупленный, всегда есть признакъ силы въ извѣстной степени, слѣдовательно, всегда — заслуга и право на вниманіе; а «Киргизъ-Кайсакъ» пользовался непродолжительнымъ, но тѣмъ не менѣе, замѣчательнымъ успѣхомъ, такъ что еслибъ вышло второе изданіе этой повѣсти съ портретомъ автора, портретъ былъ бы тамъ очень кстати. Другія сочиненія г. Ушакова доказали, что у него достало дарованія только на одну эту повѣсть: послѣдовавшія за нею сочиненія были одно другаго безталаннѣе, одно другаго уродливѣе. Помѣщенная въ третьемъ томѣ «Ста Русскихъ Литераторовъ» повѣсть его «Хамово Отродье» (картина русскаго быта) — верхъ бездарности, дурнаго тона, скуки, вялости, растянутости и пустословія. Безпутно-воспитаннаго дворянчика обворовываетъ его лакей, котораго въ дѣтствѣ нещадно поролъ за шалости барина. Дворянинъ промотался, и его имѣніе перешло въ руки его же холопа, который счумѣлъ сдѣлаться чиновникомъ. Сынъ этого холопа, непричастный грѣхамъ отца и воспитанный гораздо лучше, нежели былъ воспитанъ баринъ его отца, во время нашествія Наполеона переходитъ въ службу непріятеля, сражается противъ Русскихъ, и потомъ зло погибаетъ, какъ подобаетъ измѣннику — погибаетъ не отъ презрѣнія общественнаго, а отъ ранъ... И между тѣмъ, онъ былъ, по словамъ сочинителя, не золъ, не развратенъ, не

пороченъ: вся бѣда вышла, во первыхъ, отъ холопской крови, во вторыхъ, оттого, что строгому правосудію моральнаго сочинителя необходимо было погибелью сына наказать преступленія отца. Между тѣмъ, сынъ промотавшагося дворянчика выигралъ, въ Парижѣ, въ рулетку, болѣе полутораста тысячъ франковъ, въ оправданіе мудраго правила, что добродѣтель награждается, — далъ себѣ клятву больше никогда не играть и быть добродѣтельнымъ; потомъ выкупилъ наслѣдіе своихъ благородныхъ предковъ и зажилъ на славу. Все это рассказано нескладно и растянuto; рассказъ начинается съ яиць Леды и тянется съ отступленіями, разсужденіями, эпизодами, такъ что самъ сочинитель не разъ обращается къ своимъ читателямъ съ совѣтомъ — не читать если скучно. По своему обыкновенію, онъ не утерпѣлъ, чтобъ не вставить въ рассказъ плохого диспута о классицизмѣ и романтизмѣ, о которыхъ онъ хлопоталъ во все время своего сочинительства, не понимая ихъ...

Но позвольте духъ перевести! Мы прошли черезъ восемь песчаныхъ степей, на которыхъ ни деревца, ни былинки, ни капельки росы... Есть отчего устать!.. Чтобъ вознаградить насъ за это, г. Смирдинъ даромъ даетъ, или, лучше сказать, придаетъ намъ статью своего исключительнаго автора, барона Брамбеуса. Въ самомъ дѣлѣ, имя барона Брамбеуса неразлучно съ именемъ г. Смирдина; оба они поднялись въ одно время, и въ одно же время оба потерпѣли разстройство — одинъ въ своихъ финансовыхъ обстоятельствахъ, другій — со стороны своего таланта и своей авторской знаменитости... Увы! баронъ и въ самомъ дѣлѣ уже не тотъ, что былъ, можетъ-быть, оттого, что теперь не та уже стала русская публика... Оно, если угодно, все еще потѣшно, но ужъ мѣстами только, а въ общемъ скучно и плоско. Повѣсть называется «Микерія Нильская Лилія» (переводъ древняго египетскаго папируса, найденнаго на груди одной муміи въ еивскихъ катакомбахъ). Содер-

жаніе ея — известный египетскій анекдотъ о сынѣ архитектора, который обокралъ сокровищницу Фараона, выручилъ трупъ своего брата, обманулъ дочь царя и потомъ, за свои мошенничества, женился на ней. Мимоходомъ излагается египетская мудрость, танцующая у барона Брамбеуса польку. Въ августовской книжкѣ «Библіотеки для Чтенія» вотъ что, между прочимъ, сказано о статьѣ барона: «Теперь вопросъ состоитъ въ томъ, какъ мудрымъ читателямъ понравится эта метода превращать въ шутки самыя темныя задачи древней космогоніи, самыя спорныя статьи таинственной науки жрецовъ о бытіяхъ (entia) и числахъ». Мы думаемъ, что эта шутовская метода не понравится мудрымъ читателямъ. Наука съ погремушкою въ рукѣ и шутовскимъ колпакомъ на головѣ — не наука, а гаерство. Всему есть свое мѣсто и свое время: на балѣ веселятся и пляшутъ, на похоронахъ плачутъ, или хранятъ важное молчаніе; перемените на оборотъ — и выйдетъ отвратительно. Кто надѣленъ даромъ остроумія, тотъ можетъ найти широкій разгулъ своему таланту и не паясничая во храмѣ науки. Далѣе, въ «Библіотекѣ для Чтенія» сказано: «Въ глазахъ нѣкоторыхъ важныхъ мужей, почитающихъ скуку драгоцѣннѣйшимъ достоинствомъ учености, это можетъ составить ужасное преступленіе; но барона Брамбеуса давно уже обвиняютъ въ томъ, что охотникъ сочинять шутку: такъ ужъ одинъ лишній грѣхъ — для него не въ счетъ». Плохое оправданіе! Кто хочетъ знать, для того наука не скучна и безъ фиглярства, и онъ требуетъ только, чтобъ ея предметы излагались сколько можно яснѣе; для кого же наука скучна безъ пляски въ присядку, тотъ не достоинъ знать что-нибудь... Впрочемъ, потѣшная сказка барона Брамбеуса мѣстами дѣйствительно потѣшна, а послѣ несравненныхъ и невѣроятныхъ произведеній гг. Бенедиктова, Греча, Мятлева, Хмельницкаго, Ободовскаго, Бѣгичева, Маркова, Ушакова, она перелистывается не безъ удовольствія,



особенно съ пропусками. Рисунки ясно сочинены барономъ, хотя въ нихъ и сохраненъ типъ и стиль египетскихъ иероглифовъ.

Итакъ, вотъ мы пересмотрѣли два первые тома и внимательно рассмотрѣли третій томъ «Ста Русскихъ Литераторовъ»: что же нашли мы въ нихъ? — Въ первомъ томѣ два портрета совершенно лишніе и неумѣстные (гг. Зотова и Свинына); при двухъ портретахъ (г. Александрова и Марлинскаго) плохія статьи. Во второмъ: три портрета (гг. Каменскаго, Веревкина и Масальскаго) совершенно излишніе и неумѣстные; четыре портрета (гг. Булгарина, Загоскина, Панаева, Шишкова) запоздалые, а, за исключеніемъ Крылова, девять портретовъ съ плохими статьями. Въ третьемъ: четыре портрета (гг. Ободовскаго, Мятлева, Бѣгичева и Маркова) лишніе и неумѣстные; три портрета (гг. Греча, Хмельницкаго и Ушакова) запоздалые; при восьми портретахъ плохія статьи. Итого: изъ тридцати портретовъ, девять лишнихъ и неумѣстныхъ, восемь запоздалыхъ; изъ тридцати слишкомъ статей девятнадцать плохихъ (считая за одну статью пять стихотвореній г. Бенедиктова, и за одну же статью десять стихотвореній г. Мятлева). Хорошій итогъ!... Жалуйтесь послѣ этого на холодность и равнодушіе русской публики къ поддержанію цвѣтущаго состоянія русской литературы! Объясняйте, отчего пала наша книжная торговля!

Еслибъ еще г. Смирдинъ въ своихъ «Ста Русскихъ Литераторахъ» имѣлъ цѣлю представить историко-картинную галерею русской литературы. — по крайней мѣрѣ, въ его изданіи не было бы запоздалыхъ портретовъ! Но это изданіе предпринято безъ всякаго соображенія: оттого его успѣхъ кажется довольно сомнительнымъ...

**УПРОЩЕНІЕ РУССКОЙ ГРАММАТИКИ. UPROSCENIE RUSCOI GRAMMATISCH. Сочиненіе К. М. Кодинскаго. Спб. 1842.**

Заглавіе этой книжки, напечатанное, какъ и вся книжка, двоякимъ шрифтомъ — русскимъ и латинскимъ, ясно указываетъ на то, что разумѣть ее авторъ подъ «упрощеніемъ русской грамматики». Надобно согласиться, что названіе придумано не совсѣмъ ловко. Дѣло, конечно, касается и упрощенія русской грамматики; но главная цѣль его — улучшеніе русскаго алфавита. Г. Кодинскій считаетъ новый русскій алфавитъ не только некрасивымъ и неизящнымъ, но и безобразнымъ, и притомъ отнюдь не рациональнымъ. Онъ утверждаетъ, что книга, напечатанная такимъ шрифтомъ, не можетъ быть красива и изящна. — мало того — не можетъ не быть безобразною, въ типографическомъ отношеніи. Во всемъ этомъ, мы совершенно, буквально согласны съ г. Кодинскимъ; его мнѣніе — наше мнѣніе, хотя онъ высказалъ его первый, независимо отъ насъ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что не мы одни совершенно согласны съ нимъ на этотъ счетъ. Но мало указать на зло: надо еще и найти средства поправить его. Г. Кодинскій такъ и сдѣлалъ. Въ рѣшительномъ замѣненіи существующей теперь русской азбуки латинскою, онъ видитъ единственное средство къ отстраненію зла, о которомъ догадывались многіе, но котораго исправить не думалъ никто. Да и какъ думать объ этомъ? Вѣдь это реформа, которая должна поколебать полутора-вѣковую привычку цѣлаго грамотнаго общества! Для этого надобно, чтобъ одинъ, или нѣсколько человѣкъ убѣдили и согласили всѣхъ. Гдѣ же этотъ одинъ, или эти нѣсколько? Развѣ рѣшиться, ни на что несмотря, печатать свои книги новозобрѣтеннымъ способомъ? Но кто рискнетъ на это? у кого столько матеріальныхъ средствъ, чтобъ не печалиться о

томъ, что его книги не найдутъ себѣ покупателей, и столько нравственной силы, чтобъ не бояться насмѣшекъ и — еще хуже насмѣшекъ — видѣть, что его великолѣпное предпріятіе кончится ничѣмъ?

Какъ бы то ни было, но и сидѣть сложа руки тоже не годится. Есть середина между равнодушіемъ и смѣлою, но ненадежною попыткою: кто не можетъ отважиться на самое дѣло, тотъ можетъ говорить и судить о его необходимости. Выйдетъ ли что-нибудь изъ этихъ сужденій, или ничего не выйдетъ — что нужды! Мы не можемъ сдѣлать дѣла. — можетъ-быть, другіе сдѣлаютъ его, благодаря тому, что мы же обратили на него ихъ вниманіе; никто не сдѣлаетъ, — значить, и не нужно, чтобъ оно сдѣлалось. Вотъ почему мы хотимъ серьезно поговорить о существующемъ теперь русскомъ алфавитѣ, его не-красивости и производимой имъ путаницѣ въ русской орфографіи. Книжка г. Кординскаго представляетъ намъ для этого весьма удобный случай.

Г. Кординскій находитъ наши буквы очень неудобными какъ для красиваго и четкаго письма, такъ и для красивой и четкой печати. Онъ говоритъ, что въ письмѣ и печати безпрестанно смѣшиваютъ буквы: *и*, *н*, *п*, вмѣсто *ю* ставятъ *ю*; вмѣсто *ѣ* — *ч*, вмѣсто *ш*, *щ* — *си*, *сц*; вмѣсто *ы* — *ѣс*; вмѣсто *ли* — *мс* и т. д. «Трудно (говоритъ онъ) найти книгу или изданіе, въ которомъ бы не было опечатокъ. О мелкомъ шрифтѣ и говорить нечего. Въ иностранной же книжкѣ, французской, или англійской, какъ бы она толста ни была, трудно найти одну опечатку — я разумѣю литерныя опечатки, гдѣ бы одна буква стояла вмѣсто другой. Отчего же это? Оттого, что латинскія буквы четки, круглы, выпуклы, и ни одна буква не можетъ смѣшаться съ другою». Еще, какъ важную причину для перемѣны существующаго теперь русскаго алфавита на латинскій, видитъ г. Кординскій въ невозможности выражать

первымъ иностранныя собственныя имена: почему у насъ каждый и пишетъ ихъ на свой манеръ, какъ наприимѣръ, Гуронъ и Яреннъ, Ямайка и Джемке. «Странно! (говоритъ онъ) иностранцы немногимъ числомъ буквъ удачно выражаютъ наши имена, и никогда въ иностранной книгѣ не встрѣчаются русскія имена русскими буквами; а мы, имѣя въ полтора раза больше буквъ, принуждены бываемъ пестрить нашу рѣчь то латинскими, то нѣмецкими буквами. Не доказываетъ ли это, что наши слова легче выразить латинскими буквами, чѣмъ иностранныя имена русскими?» Но главная и самая важная необходимость въ перемѣнѣ русскаго алфавита на латинскій, по мнѣнію г. Кординскаго, заключается въ ореографіи, которая у насъ произвольна, а потому и трудна для изученія. Это онъ приписываетъ въ особенности тому, что, съ одной стороны, русская азбука неполна, ибо не выражаетъ всѣхъ звуковъ языка и одною и тою же буквою выражаетъ разные звуки (ель, ежъ, день, ледъ); а съ другой стороны, заключая въ себѣ множество лишнихъ буквъ, допускаетъ двоякое начертаніе одинаковыхъ звуковъ. «Правописаніе наше (говоритъ онъ) можетъ только тогда облегчиться, когда каждый звукъ рѣчи будетъ имѣть только одно, собственно ему принадлежащее начертаніе». Яснѣе: г. Кординскій хочетъ, чтобъ всѣ слова писались точно такъ же, какъ они выговариваются; тогда, по его мнѣнію, не нужно будетъ и учиться грамматикѣ.

Преувеличенность этого мнѣнія очевидна. Она завела г. Кординскаго такъ далеко, что, вмѣсто упрощенія русской грамматики, онъ изобрѣлъ, какъ мы покажемъ это ниже, истинное затрудненіе русской грамматики, выдумавъ такое правописаніе, которое въ тысячу разъ сбивчивѣе и безтолковѣе существующаго теперь. Его алфавитъ и правописаніе рѣшительно неизучимы, потому что противорѣчатъ духу русскаго языка. Но основаніе его жалобъ на существующій теперь рус-

скій алфавитъ во многихъ отношеніяхъ истинно. Сперва рассмотримъ предметъ съ этой стороны.

Нашъ церковно-славянскій алфавитъ взятъ съ греческаго и составленъ по его образцу, за исключеніемъ немногихъ только буквъ, взятыхъ съ латинскаго (б, с) и еврейскаго (ц, ч, ш, щ). Греческій алфавитъ, по переходному характеру своего начертанія, никакъ не можетъ идти за образецъ письменной красоты. Онъ составляетъ переходъ отъ восточнаго характера письменъ къ европейскому; онъ лучше, красивѣе, проще и удобнѣе всѣхъ восточныхъ алфавитовъ; но самъ онъ еще не вполне европейскій алфавитъ, какимъ явился алфавитъ латинскій—правильный, благородно-простой, красивый и изящный безъ затѣйливости, чоткій и удобный. Азбука, составленная по образцу греческой, не могла отличаться особенною красотою. Но церковно-славянская азбука, какъ ни странна она, все-таки имѣетъ свой характеръ, подобно готическо-пѣмецкой, и потому гораздо лучше той азбуки, которая смѣнила ее, подъ именемъ «гражданской», и которая употребляется до сихъ поръ. Эта послѣдняя не имѣетъ никакого характера, ибо она не что иное, какъ облатиненный церковно-славянскій алфавитъ. Она некрасива и неудобна. Закажите первому парижскому мастеру вырѣзать и отлить русскія буквы, напечатайте ими же, въ Парижѣ, русскую книгу, на лучшей бумагѣ: эта книга все-таки будетъ хуже французской, проще и съ меньшимъ стараніемъ изданной. Причина въ томъ, что русскій алфавитъ только почти латинскій, а не вполне латинскій; что латинскія буквы въ немъ угловаты и заострены, и, между латинскими буквами, въ немъ есть буквы другаго происхожденія, рѣзко противоположныя характеромъ своего начертанія латинскимъ. Вотъ латинскія буквы нашего алфавита: А а, б, В, Е е, І і, К к, М м, Н, О о, П п, Р р, С с, Т т, У у, Х х, ь. Изъ нихъ не искажены: А а, В, Е е, І і, К к, М м, Н, О о, Р р, С с,

Т т, У у, Х, ь; но В употреблено за V (вѣди), Н употреблено за N, Р р—за R г, У у—за U и; в (бе) искажено для отличія отъ ь (ерь).

Теперь объ обостреніи округленныхъ латинскихъ буквъ въ русскомъ алфавитѣ: оно ужасно безобразить русскую азбуку и много способствуетъ опечаткамъ. Возьмемъ П п: въ письмѣ и въ курсивной печати онъ давно уже пишется какъ строчный латинскій п (и); почему же бы и не печатать его не въ одной курсивной, но и въ обыкновенной печати такъ же, какъ печатается онъ въ курсивной, т. е. почему бы верхней чертѣ его не быть изогнутой? А между тѣмъ, взгляните, какая огромная разница, въ отношеніи красоты и четкости, существуетъ между двумя способами начертанія верхней черты — прямой, которая, въ буквѣ П, дѣлаетъ сверху два правильные прямые угла, и нѣсколько изогнутой, которая уничтожаетъ эту угловатость, не дѣлая буквы ни кудрявою, ни затѣйливою! То же можно сказать и о нѣкоторыхъ русскихъ буквахъ не латинскаго происхожденія, каковы: Ц ц, Ш ш, Щ щ. Еслибъ ихъ нижняя черта была изогнутая, вмѣсто прямой, онѣ на сто процентовъ выиграли бы въ красивости и четкости. Въ письмѣ и въ курсивной печати онѣ уже и употребляются съ изогнутою внизу чертою, и потому въ курсивѣ гораздо красивѣе и четче. То же должно сказать и объ И и (иже): средняя черта дѣлаетъ эту букву угловатою, безобразною; а въ письмѣ и въ курсивѣ она красива, потому что чертится какъ латинское U и, т. е. средняя черта относится на самый низъ буквы и изображается не прямою, а изогнутою. Заглавный Н (нашъ), совершенное повтореніе латинскаго Н (га), не принадлежа къ красивѣйшимъ буквамъ и въ латинскомъ алфавитѣ, по крайней мѣрѣ не портитъ его, потому именно, что всегда употребляется какъ крупная, сравнительно съ строчными, литера; но какъ строчная буква, онъ и не четокъ и безобразенъ, и потому, въ латин-

ской азбукѣ, строчное Н (га) пишется не н, а h. Такъ точно нашъ прописной или заглавный глаголь, несмотря на его угловатость, еще не портить печати; но маленькій или строчный, онъ ее портитъ; въ курсивѣ же, вмѣсто его, употребляется тутъ буква совершенно другаго начертанія — g, не очень красивая, но и отнюдь не безобразная, потому именно, что не угловатая, а изогнутая. Буква Б есть искаженное латинское В, которое мы взяли для выраженія звука V, но какъ это Б только вполонину угловатая, а вполонину округленная, то она и не принадлежитъ къ числу самыхъ безобразныхъ буквъ русской азбуки. То же самое должно сказать и объ Ъ (ерь), который есть не что иное, какъ перевороченная (въ письмѣ) на другую сторону буква Б (буки). Буква Ь (ерь), печатаемая какъ строчное латинское b (бе), просто красива, потому что въ большомъ видѣ не употребляется. Строчное в (вѣди), этотъ маленькій уродливый кренделекъ, ужасно безобразенъ въ печати. Буква Ж ж широка, занимаетъ много мѣста, затѣйлива, кудревата и въ то же время угловата, по причинѣ пересѣкающей ее поперегъ прямой черты. Прописная буква З по крайней мѣрѣ сносна; но строчная з уродлива, какъ всѣ двух-этажныя строчныя буквы, невыходящія за линію строки ни вверхъ, ни внизъ, подобно буквамъ р, у, курсивному d. И вотъ почему Французы прямую черту строчнаго к вытягиваютъ вверхъ за линію строки — k; и вотъ почему очень жаль, что у насъ не дѣлаютъ того же, ради красоты и изящества типографскаго. Русская буква Л л, если не безобразна, то и совсѣмъ не красива, какъ разрубленное пополамъ латинское М. Русское заглавное М ничѣмъ не разнится отъ латинскаго; но въ латинскомъ строчное пишется, какъ печатается строчное курсивное m (тврдо). Что же касается до Т, т, — то теперь употребляется у насъ большею частію латинское заглавное Т, — что для заглавной буквы нисколько не безобразно; но жаль, что и

строчное *t* употребляется у насъ такое же. Все же хорошо, что выходить изъ употребленія въ печати прежнее *ш*, которое, какъ широкая угловатая буква, съ прямою чертою сверху, было такъ же точно безобразно, какъ безобразны теперь *Ш ш и Щ щ*; но въ письмѣ и въ курсивѣ удержалось прежнеѣ *т*, потому именно, что, по причинѣ изогнутой верхней черты, оно не такъ безобразно. Буква *Ф ф* не принадлежитъ къ числу красивыхъ буквъ нашей азбуки и нисколько не идетъ къ характеру латинскаго алфавита. Еслибъ буква *Ц ц* печаталась и въ обыкновенной печати, а не въ одномъ курсивѣ, съ изогнутою чертою снизу, она не принадлежала бы къ числу некрасивыхъ буквъ. Буква *Ю ю*, по причинѣ прямой поперечной черты, соединяющей продольную прямую черту съ *О*, очень некрасива, а въ письмѣ и въ курсивѣ способствуетъ опискамъ и опечаткамъ. Притомъ же эта буква очень широка и много занимаетъ мѣста. Во всякомъ случаѣ, не мѣшало бы ее переименовать, на прим., хотъ *О* замѣнить обратнымъ *Э*, такъ, чтобъ вышло *Ю*. Буква *Я я* сдѣлана изъ строчнаго *а*, только нижняя половинная черта, вмѣсто того, чтобъ быть загнутой къ прямой чертѣ, отогнута отъ нея; эта буква нисколько не безобразна, только не худо бы заднюю черту дѣлать изогнутую, какъ въ буквѣ *а*. Буква *Э э* — и излишня въ нашей азбукѣ и безобразна. Но что сказать о невыносимомъ безобразіи, которое колетъ глаза, оскорбляетъ зрѣніе, — о безобразіи буквъ: *Д д*, *Ы ы* и *Ѣ ѣ*, особенно первой и послѣдней? Скажите, ради всего святаго, есть ли какая-нибудь возможность красиво напечатать книгу на языкѣ, въ алфавитѣ котораго есть такіа чудовищныя, какъ *Д д*, *Ѣ ѣ* и *Ы ы*?... Что это буквы варварскія, чудовищныя, что онѣ не йдутъ къ нашему алфавиту, это доказывается еще и тѣмъ, что первыя двѣ изъ письма и курсива совершенно изгнаны: первая замѣнена заглавнымъ латинскимъ *D* и курсивнымъ *d*, а вторая измѣнена болѣе красивою *ь*.



Доселѣ мы говорили о русской азбукѣ только въ отношеніи къ красивости и удобству буквъ. Теперь поговоримъ о ней въ отношеніи къ затрудненіямъ и запутанности русской ореографіи.

Эта запутанность и затруднительность происходитъ отъ произвольности правилъ. Скажите ученику общее правило — онъ скоро пойметъ его и скоро привыкнетъ писать сообразно съ нимъ; ему небольшого труда будетъ стоить упомянуть и немногія исключенія изъ правила. Но скажите ему, что вотъ-де на это нѣтъ правила, но ужъ такъ принято писать, — и тогда для него ваша грамматика и ваша ореографія обратится въ мученье. Головоломны ложныя правила, но произволь еще хуже ихъ. Объяснимъ это примѣромъ. Скажите ученику, что буква *ь* пишется въ дательномъ и предложномъ падежахъ именъ существительныхъ единственнаго числа, перваго склоненія, и личныхъ мѣстоименій, *я*, *ты*; въ предложномъ падежѣ единственнаго числа именъ втораго склоненія; и въ неопредѣленномъ наклоненіи всѣхъ глаголовъ, оканчивающихся на звукъ *е*, за исключеніемъ трехъ: *тереть*, *переть*, *мереть*; это правило не покажется ему бездною премудрости. и онъ скоро привыкнетъ, подъ диктовку, не ошибаться въ буквѣ *ь*, составляющей камень преткновенія въ русской ореографіи. Но когда послѣ этого правила, вы говорите, что буква *ь* пишется еще, Богъ въдаетъ почему и зачѣмъ, вотъ въ такихъ-то и такихъ-то словахъ, и прилагаете списокъ этихъ словъ, рекомендуя ему заучить ихъ наизусть, — тогда, воля ваша, ученикъ будетъ правъ, если станетъ смотрѣть на такой урокъ, какъ на глупое занятіе, не стоящее труда! Вы чувствуете это сами, и начинаете натягивать произволъ на правило. «Замѣтите, говорятъ вы ему, буква *ь* никогда не пишется въ словахъ, вошедшихъ въ русскій языкъ изъ иностранныхъ языковъ». Хорошо-съ, почтительно отвѣчаетъ ученикъ, — и въ списокъ словъ, въ ко-

торыхъ Богъ вѣдаетъ почему употребляется буква ѡ, видятъ иностранныя слова апрѣль, а иногда еще и цѣхъ... Это исключенія, говорите вы; да зачѣмъ же они? гдѣ ихъ необходимость? и чтѣ худаго будетъ, если мы будемъ писать апрель, цехъ?... Собственные имена: «Матвѣй, Алексѣй, Сергѣй», пишемъ мы черезъ ѡ, а между тѣмъ, это имена греческія... Но, говорятъ, будто есть правило, что слова, въ которыхъ теперь слышится звукъ е, но которыя въ церковно-славянскомъ языкѣ писались черезъ і, или въ нынѣшнемъ малороссійскомъ нарѣчій выговариваются черезъ і, должно намъ писать черезъ ѡ, и что будто поэтому и въ словахъ: апрѣль (апріліи), Матвѣй (Матѣи), Алексѣй (Алексіи), Сергѣй (Сергіи), всѣ (*вси*) и т. д. Странное правило, — тѣмъ болѣе странное, что безъ него такъ легко и такъ хорошо можно обойтись! Апрель, Матвей, Алексей, Сергей, право, ничѣмъ не хуже апрѣля, Матвѣя, Алексѣя, Сергѣя. Чтѣ же касается до мѣстоименія *весь*, мы будемъ писать его въ именительномъ и винительномъ падежѣ множественнаго числа черезъ ѡ, не для того, что по славянски оно писалось въ этой формѣ черезъ ѡ, и что Малороссіяне и теперь говорятъ *вси* (или что-то среднее между *уси* и *вси*, чего Москаль никакъ не можетъ выговорить); а для того, чтобъ не смѣшивали въ выговорѣ *всѣ* съ *все*. Говорятъ, что потому надо писать: бѣгать, мѣсто, вѣсть, тѣсто, прѣсный, свѣтъ и проч., а не бегать, мѣсто, вѣсть, тѣсто, пресный, свѣтъ, что Малороссіяне выговариваютъ эти слова: бигать, мисто, вистъ, тисто, присный, свѣтъ и пр. Да какое же намъ дѣло до того, какъ выговариваютъ, или какъ не выговариваютъ Малороссіяне одинаковыя съ нами слова? И если ужъ такъ, то почему же въ правописаніи мы должны собразоваться только съ выговоромъ однихъ Малороссіянъ, а не Сербовъ, не Болгаръ, не Поляковъ, не Чеховъ и прочихъ соплеменныхъ намъ народовъ? Если же, почему-то, намъ необ-

ходимо сообразоваться въ нашемъ правописаніи съ выговоромъ Малороссіяня, — то, ради логики, должны мы сдѣлать изъ этого общее правило, и никогда не измѣнять ему; а между тѣмъ, Малороссіяне говорятъ: утукать, писокъ, Андрій, а мы, не смотря на это, пишемъ: утекать, песокъ, Андрей; они говорятъ: милкій, а мы пишемъ то млкій, то медкій, и послѣдній способъ писать это слово беретъ у насъ верхъ передъ первымъ. Еще говорятъ: буква *ль* пишется вездѣ тамъ, гдѣ звукъ *е* не можетъ переходить въ звукъ *ё*: опять вздоръ! Употребленіе давно уже наругалось надъ этимъ правиломъ; пишется: звѣзды, гнѣзды, гнѣсти, сѣдлы, блгать, намлькъ, приобрѣтеніе, изобрѣтеніе, цвѣсти, цвѣтокъ, рльчъ, нарльчіе, а говоримъ звѣзды (хотя такое произношеніе этого слова пѣсколько и простонародно), гнѣзды, гнѣтъ, сѣдлы, бѣгъ, намѣкъ, приобрѣлъ, изобрѣлъ, цвѣлъ, рѣкъ, нарѣкъ, обрѣкъ. Въ то же время, въ словахъ: пѣвецъ, дѣлецъ, молодецъ, отецъ и пр. буква *е* никогда не переходитъ въ *ё*: зачѣмъ же мы не ставимъ вмѣсто ея буквы *ль*? Скажутъ: тутъ буква *е* бѣглая, которая, въ прочихъ падежахъ, или выпадаетъ, или замѣняется буквою *ь*: пѣвца, дѣльца, молодца, отца. Хорошо! Но во первыхъ, она выпадаетъ не во всѣхъ тѣхъ словахъ, въ которыхъ выговаривается какъ *ль* (какъ напримѣръ, въ словахъ: чтець, швецъ, льстець), а во вторыхъ, сама буква *ль* выпадала же въ глаголахъ рѣщи, рѣчь (рцы), а между тѣмъ, въ существительномъ рльчъ мы и теперь удерживаемъ букву *ль*, тогда какъ многіе слово реченіе пишутъ черезъ *е*: для чего же все это, если не для того, чтобъ попусту мучить и учащихся и учащихся?

А между тѣмъ, очень легко распутать всю эту путаницу и сдѣлать простою и полезною всю эту безплодную школярную мудрость. Вѣроятно, буква *ль* въ древности хоть сколько-нибудь отличалась произношеніемъ отъ буквы *е*; но теперь это

отличіе изчезло. и на какіе голоса и тоны ни произносите слова мечъ, течъ, мѣдь и тѣнь. — вы никакой разницы въ произношеніи этихъ словъ не подслушаете. Поэтому, букву ъ надо оставить только для орфографическихъ (а отнюдь не просодическихъ) причинъ: надо оставить ее для однихъ склоненій, степеней сравненія и спряженій <sup>1)</sup>, да еще для нѣсколькихъ словъ, которыя имѣютъ различное значеніе при сходномъ произношеніи. Такъ, напримѣръ, существительное вѣденіе, происходящее отъ глагола вѣдать, можно писать черезъ ъ (а слѣдовательно и самый глаголъ), для отличія его отъ существительнаго веденіе, которое просходитъ отъ глагола вести; то же должно разумѣть и о глаголѣ мѣтить, для отличія его отъ глагола метать, съ которымъ онъ имѣетъ одинакое настоящее время. Равнымъ образомъ и глаголъ ѣсть должно писать черезъ ъ, чтобъ не смѣшивать его съ третьимъ лицомъ единственнаго числа настоящаго времени существительнаго глагола быть; или уже писать ясть, вмѣсто ѣсть, такъ какъ произносился и писался этотъ глаголъ встарину, чему доказательство и доселѣ уцѣлѣвшія слова яства, многояденіе, плотоядный. Глаголъ же ѣхать нѣтъ никакой нужды писать черезъ ъ, равно какъ нѣтъ никакой надобности употреблять эту букву въ словахъ: апрѣль, плѣть, сѣсть, дѣлать, дѣло, тѣло, тѣсто, мѣсто, тѣсный и пр. и пр. Сначала оно покажется странно и дико; но какъ привыкнуть къ этому, то будутъ удивляться нелѣпости и дикости прежней орфографіи. До тѣхъ же поръ, грамматика, и въ особенности третья часть

1) Впрочемъ, надо еще подумать, нужно ли и для глаголовъ оставлять букву ъ: вѣдь исключеній только три (*переть, тереть, мереть*), — такъ стоитъ ли для нихъ отличать другою буквою множество глаголовъ, и не лучше ли просто сказать, что изъ глаголовъ, оканчивающихся на слогъ *еть*, три имѣютъ особенное окончаніе въ настоящемъ времени: *пру, тру, мру*? Это еще лучше будетъ?

ея—правописаніе. останется бичомъ и пыткой для учащихся, камнемъ безпрестаннаго преткновенія для учащихся.

Но что же дѣлать съ безобразною фигурою буквы ѣ? — Бросить ее вовсе, не выдумывая на ее мѣсто никакой другой. Г. Кодинскій несправедливо полагаетъ, будто въ словахъ: ель, ежъ, день, лень, одною буквою выражено четыре звука, и будто для этихъ четырехъ звуковъ надо выдумать четыре разныя буквы. Во первыхъ, тутъ не четыре, а два звука, и притомъ два родственные звука, часто смѣняющіе себя въ одномъ и томъ же словѣ, напримѣръ, летать — полѣтъ, мѣдъ — медовый, лёдъ — ледяной. Наша буква ё совсѣмъ не есть тонко-произнесенное о (йо), и о совсѣмъ не относится къ нему, какъ относится я къ а, ю къ у, и къ ы, какъ это справедливо замѣтилъ г. Надеждинъ въ критической статьѣ о книгѣ г. Павскаго. Поэтому, начертаніе обоихъ этихъ звуковъ е (je) и ё должно быть одинаково. Это существуетъ не въ одной нашей азбукѣ: такую же роль играетъ буква e и во французскомъ алфавитѣ, гдѣ она выражаетъ четыре родственные звука: ê (être), e (gésou), è (succès), é (l'été), и сверхъ того, еще, подъ именемъ e *muet*, служить какъ бы придыхательною буквою въ родѣ нашего з (era), давая своимъ присутствіемъ право произношенія послѣдней въ словѣ согласной (malade) и отличая женскія имена отъ мужскихъ и, въ такомъ случаѣ, въ произношеніи слегка давая знать о своемъ присутствіи, какъ придыхательный звукъ. Такъ же должно намъ распорядиться и съ нашимъ е, посредствомъ разныхъ знаковъ сверху отличая оттѣнки его произношенія. Такъ, напр., когда оно выговаривается какъ латинское e (эхъ, эй, экъ, экой, эва, поэтъ, эхо, экваторъ), — то ничего не ставить надъ нимъ (тогда мы избавимся отъ во-все ненужной намъ и только для пяти русскихъ словъ существующей буквы э, и въ то же время будемъ имѣть возможность писать правильно собственныя имена всѣхъ европейскихъ язы-

ковъ). Когда она выражаетъ звукъ *je, ye, ÿe*, — то ставить надъ ней знакъ *è* (accent grave). мѣдъ, мѣчъ, тѣчъ, ѣль, мѣль, мѣдовый, и т. п. Когда она произносится какъ *ë*, — ставить надъ ней знакъ *é* (accent aigu): лѣдъ, мѣдъ, плѣтъ, даѣтъ, нѣсѣтъ. Букву же *ь*, нужную не для просодическихъ, а только для грамматическихъ отиѣтъ, особенно же для падежей, писать черезъ букву же *e*, только съ знакомъ обличеннымъ—*ê*: мнѣ, тебѣ, всѣ, тѣ, водѣ, дядѣ и т. д. Черезъ это мы избавимся отъ чудовищно безобразной буквы *ѣ*, не лишившись пользы, которую она приносить; въ такомъ случаѣ, даже и ошибка не такъ будетъ оскорблять глаза, потому что поставить *e* вмѣсто *ѣ*, совсѣмъ не то, что поставить *e* вмѣсто *ь*. А что надстрочные знаки *`*, *'*, *^* не безобразятъ печати,—этому доказательство французскія книги.

Если мысль — отдѣлаться отъ буквъ *ь* и *э*, особенно первой, можетъ вызвать споры и возраженія, — то мысль—изгнать вовсе ненужную букву *и*, замѣнивъ ее рускою же, ничѣмъ неотличающеюся отъ нея буквою *і*, можетъ вызвать противъ себя одну привычку, больше ничего. Буква *и* некрасива и, главное — нисколько не нужна, вовсе бесполезна и совершенно излишня, такъ же какъ и *ѣ* (ижица). Отличить миръ отъ міра легко можно будетъ такъ: первый писать: мѣръ а второй—мѣръ. Имѣть букву для одного слова нелѣпо, и потому *ѣ* (ижица) если еще держится и употребляется, то не по необходимости, а по педантизму; слово: миро, мирръ, мирро и безъ ижицы прекрасно отличается и отъ мира и отъ міра. Въ словѣ же: Евангеліе, ижица рѣшительно не идетъ къ великорусскому выговору, потому что въ немъ, какъ у Малороссіянъ, нѣтъ средняго между *в* и *у* звука... Но обратимся къ *и* и *і*. Зачѣмъ въ одной азбукѣ двѣ совершенно одинакія буквы, выражающія одинъ и тотъ же звукъ, безъ малѣйшей разницы, безъ малѣйшаго отиѣнка? Зачѣмъ,

если не для затрудненія русской грамматики? Буква *и* становится передъ согласными и за гласными, а *і*—только передъ гласными: но зачѣмъ же, въ такомъ случаѣ, не сдѣлано двойниковъ для а, е, о, у, ы, ю, я? Что за нелѣпость? Тутъ нѣтъ никакого смысла—одна глазная привычка. Буква *и* и некрасива и шире буквы *і*, больше ея занимаетъ мѣста: вонъ ее! Намъ и *і* будетъ хорошо служить и за нее и за себя. Но гдѣ тогда взять *й* (иже краткое)? Вытяните *і* внизъ за строку — вотъ вамъ и иже краткое, только не безобразное, а красивое—*j*.

Буква *ѳ* тоже совершенно бесполезна при буквѣ *ѳ*; она обязана своимъ существованіемъ въ русской азбукѣ только преданію. Когда Римляне познакомились съ греческимъ образованіемъ, — естественно, что на греческій языкъ смотрѣли они какъ на единственный въ мірѣ, достойный вниманія и уваженія. Поэтому, они захотѣли занятыя ими у Грековъ слова отличать въ правописаніи отъ словъ своего роднаго языка: греческую букву *φι* (нашъ фертъ) они стали писать черезъ *ph* (*phantasia*, *phalanga*); онту — черезъ *th* (*theatrum*, *theogonia*, *theogia*); для греческихъ словъ приняли въ свою азбуку *y* (и-силонъ). Отъ латинскаго языка все это по преданію перешло въ новѣйшіе европейскіе языки, изъ латинскаго, или подъ его вліяніемъ образовавшіеся. Почти въ такомъ же отношеніи былъ къ греческому языку нашъ церковно-славянскій языкъ, почему и принявъ въ свою азбуку вовсе ненужныя ему буквы: кси, пси, онту, ижицу, омегу (отъ *ω*) и иту (иже). Но нашъ русскій языкъ — не церковно-славянскій, и ему нѣтъ никакой нужды кланяться греческому языку особенными буквами. Если же это было бы для него необходимо, то логическая послѣдовательность и чувство справедливости требовали бы отъ него, чтобъ онъ особенными буквами кланялся также латинскому, французскому, нѣмецкому, англійскому, голландскому и итальянскому языкамъ, отъ которыхъ поживился большимъ коли-

чествомъ словъ, — и тогда имѣлъ бы удовольствіе и гордость обладать большою азбукою — въ тысячу счетовъ... Но это нелѣзно, и гений русскаго языка самъ чувствуетъ это, предпочитая еиѣ твердо и съ бѣльшею охотою произнося: «театръ, математика, эстетика, этика, теорія, Маратонъ, Термопилы», нежели «еатръ, маематика, эсстетика, еника, ееорія, Мараеонъ, Еермопилы». Буква *е* со дня на день все болѣе и болѣе вытѣсняется буквою *т*. Не пора ли и вовсе выкинуть ее, какъ ненужную? Положимъ, что въ нѣкоторыхъ греческихъ словахъ нашъ слухъ не любитъ буквы *т*, упорно держась звука *е*, какъ напримѣръ: «каеэдра, Еедоръ, Еедотъ»; но почему же намъ не писать: кафедра, Федоръ, Федотъ — вѣдь звукъ одинъ и тотъ же, и въ этомъ отношеніи еита ничѣмъ не отличается отъ ферта? Во всемъ нужна консеквентность: если греческія слова отличать особеннымъ правописаніемъ, то уже не нѣкоторыя только, а всѣ до одного, и не одною еитою, но и ижею (ита), и і (ёта), и ижицею (ипсилонъ), какъ это дѣлалъ Каченовскій, надъ ореографіею котораго, основанною на знаніи греческаго языка, всѣ смѣялись; или же, если не принять этого, то выкинуть вовсе изъ нашей азбуки и еиту.

Черезъ исключеніе изъ русскаго алфавита лишннихъ буквъ *э*, *и*, *е*, *ѣ*, и замѣненіе *ѣ* черезъ *е*, *ѣ* черезъ *і*, наша ореографія значительно упростится, а печать значительно выиграетъ въ красивости и даже изяществѣ. Но не этимъ только должно ограничиться упрощеніе правописанія. Наши прилагательныя имена представляютъ обширное поле для преобразованій въ пользу простоты, единства и общности правилъ правописанія. Начнемъ съ того, что форма нашихъ прилагательныхъ въ именительномъ падежѣ обоихъ чиселъ совершенно искусственная. По какому правилу прилагательныя мужескаго рода ед. числа оканчиваются на *ѣѣ* и *ѣѣ*? — потому только, что эти окончанія существуютъ въ церковно-славянскомъ языкѣ, который былъ



языкомъ искусственнымъ, книжнымъ, на которомъ никто и никогда не говорилъ, по крайней мѣрѣ, по его ореографіи; къ тому же, гений новаго русскаго языка совершенно отрѣшился отъ всѣхъ преданій языка церковно-славянскаго. Мы пишемъ: *первый, славный, страшный, всякій, великій*, а говоримъ почти какъ *первай, славнай, страшной, всякай, великай*, и говоримъ такъ по тому коренному правилу, которымъ московское нарѣчіе рѣзко отличилось отъ новгородскаго, и по которому буква *о*, когда не надъ нею стоитъ удареніе въ словѣ, выговаривается какъ звукъ средній между *а* и *о*: слѣдовательно, яснѣе дня, что должно писать: *первой, славной, страшной, всякой, великой*, а не *первый, славный, страшный, всякій, великій*. Но нѣкоторые до того простираютъ этотъ книжный педантизмъ, что пишутъ *ы* тамъ, гдѣ само удареніе требуетъ буквы *о*, напримѣръ: *второй, святой, шестой, младый*, и пр. Прилагательныя всѣхъ трехъ родовъ, въ именительномъ множественнаго числа, по духу языка должны оканчиваться не на *ые, іе, ыя, ія*, а на *ьи, іе* и *еи*: *славными, всякими, синей*. Въ употребленіи родительнаго падежа прилагательныхъ царствуетъ у насъ тотъ же педантизмъ. Пишутъ: *большаго, великаго, синяго, дальняго*, а говорятъ: *большова, великава, синева, дальнева*. Что это значить и какъ тутъ установить истинное, а не произвольное правило? Очень просто: стоить только обратиться къ духу языка. Очевидно, что буква *а* не имѣетъ и не должна имѣть мѣста въ окончаніи родительнаго падежа прилагательныхъ: въ словахъ, имѣющихъ удареніе на послѣдней буквѣ (*большой, слѣпой*), и въ родительномъ падежѣ, въ произношеніи, удерживается буква же *о*; слѣдственно, ее же и въ правописаніи должно удерживать въ родительномъ падежѣ прилагательныхъ единственнаго числа. Что же касается до буквы *и*, она дѣйствительно существовала и существуетъ, въ окончаніи родительнаго падежа прилагате-

льныхъ, во многихъ славянскихъ нарѣчіяхъ, какъ это видно въ малороссійскомъ и польскомъ языкахъ. Можетъ-быть, когда-нибудь существовала она и въ русскомъ языкѣ; но теперь она вытѣснена въ немъ буквою *е* и, стало-быть, больше не существуетъ: зачѣмъ же и употреблять ее? Относительно же последней гласной буквы въ родительномъ падежѣ прилагательныхъ единственнаго числа, — она произносится какъ звукъ средній между *а* и *о*, какъ произносится *о*, когда не надъ нимъ стоитъ удареніе въ словѣ: слѣдственно, тутъ должно и писать *о*. славново, страшново, большово. Что же касается до прилагательныхъ и въ произношеніи оканчивающихся на *ій*, то и это окончаніе книжное и искаженное: оно въ старинномъ русскомъ языкѣ и произносилось и писалось (какъ то можно видѣть изъ историческихъ фактовъ), и теперь въ просторѣчій произносится какъ *ей*; стало-быть, должно писать: синей, верхней, нижней, дальней, третей, рыбей, и пр.; а въ родительномъ падежѣ единственнаго числа: верхнева, нижнева, дальнева, трет(ь)ева. Еслибъ всѣ приняли это на духъ и сущности языка основанное правописаніе прилагательныхъ, ученику было бы ясно правило, недопускающее ни противорѣчій, ни исключеній, и ему ничего бы не стоило запомнить его. Онъ зналъ бы, что буква *о* или *е*, неизмѣнно присутствующая въ прямыхъ окончаніяхъ прилагательныхъ единственнаго числа, неизмѣнно присутствуетъ и въ косвенныхъ, за исключеніемъ одного творительнаго падежа, тогда такъ теперь ему, вмѣсто одного этого, духомъ языка требуемаго исключенія, должно заучить на память нѣсколько, и притомъ совершенно произвольныхъ.

Все сказанное нами еще не есть требованіе азбучной реформы, и наши предложенія не принадлежать къ числу неосуществимыхъ. Изъ угловатыхъ сдѣлать округленными, посредствомъ верхней и нижней поперечной черты, буквы *п*,

*ц, ш, щ*, еще не значить измѣнить ихъ: онѣ сохранять свою фигуру и свой звукъ, и только изъ некрасивыхъ и нечеткихъ слѣдуются красивыми и четкими. Выкинуть изъ азбуки буквы: *и, ѣ, ъ, э, ѐ, ѱ*; изъ нихъ *ѣ* (иже краткое) замѣнить длиннымъ латинскимъ *j*, букву *е* посредствомъ надстрочныхъ знаковъ, различать по свойству выражаемыхъ ею трехъ звуковъ и замѣнить посредствомъ знака *ê* букву *ь*; для именительнаго падежа именъ прилагательныхъ мужескаго рода единственнаго и всѣхъ трехъ родовъ множественнаго числа принять ихъ настоящія, естественныя окончанія (*ой, ей—ьи, ии, еи: больной, всякой, синей — больными, всякими, синими*), вмѣсто искусственныхъ и книжныхъ (*ый, ій—ые, ья, ыя: славный, синій—славные, слявныя, славныя, синіе, синія, синія*), — все это, будучи принято, было бы исправленіемъ азбуки и орфографіи, но отнюдь не реформою ихъ.

Г. Кодинскій идетъ гораздо далѣе. Онъ желаетъ полнаго и совершеннаго замѣненія нашей азбуки латинскою. Это, по его мнѣнію, единственное средство упростить русскую грамматику. Главное его требованіе состоитъ въ томъ, чтобъ каждый основной звукъ имѣлъ для своего выраженія только одну букву, которая бы уже ни въ какомъ случаѣ не выражала другаго звука. Прекрасно! Но достаточенъ ли латинскій алфавитъ для выраженія всѣхъ основныхъ звуковъ русскаго языка? Г. Кодинскій совершенно убѣжденъ въ этомъ, и это большая съ его стороны ошибка. Но еще больше грѣшитъ онъ противъ духа русскаго языка, приравливая его азбуку болѣе къ французскому, нежели къ русскому языку, — такъ что будь его азбука принята въ Россіи, ей легче будетъ выучиваться Французамъ, нежели Русскимъ. Понятно, что, въ этомъ случаѣ, г. Кодинскій увлекся желаніемъ сблизить нашу азбуку съ европейскими. Онъ думаетъ, что тогда мы, по примѣру Французовъ, можемъ писать собственные иностранныя имена такъ

же точно, т. е. тѣми же самыми буквами, какъ пишутся они на своемъ языкѣ. Но это невозможно. Положимъ, что мы будемъ писать Descartes, Rabelais, Rousseau, Shakspeare, Southi: что жъ изъ этого? Русскій человекъ, незнающій ни французскаго, ни англійскаго языка, все-таки будетъ читать эти имена совсѣмъ не такъ, какъ читаютъ ихъ Французы и Англичане, а такъ, какъ они написаны, то есть: Декартесъ, Рабелайсъ, Руссеаю, Шакспеаре, Соіутти; слѣдовательно, вмѣсто того, чтобъ приблизиться къ подлинному туземному произношенію этихъ именъ, только отдалятся отъ него. И поэтому, писать Русскимъ иностранныя имена такъ, какъ пишутся они на ихъ языкѣ, есть сущая нецѣльность, которая поведетъ къ анархіи произношенія — всякій молодецъ будетъ произносить на свой образецъ. И потому, лучше стараться выражать эти имена сколько возможно ближе и вѣрнѣ звуками русскаго языка. А Французы намъ не указъ: Французъ, незнающій англійскаго языка, такъ же ужасно и чудовищно коверкаетъ собственныя англійскія имена, написанныя по-англійски, какъ коверкаетъ ихъ и Русскій незнающій англійскаго языка. А что Европейцы приняли за правило писать иностранныя имена такъ, какъ они пишутся на своемъ языкѣ, это произошло частію отъ близости и родственности европейскихъ языковъ, отъ частыхъ сношеній, одинаковости обычаевъ, образа жизни и азбуки европейскихъ народовъ. Но для того-то и хочетъ г. Кодинскій, чтобъ у насъ была латинская азбука. Какая же отъ этого польза для правильного выговора иностранныхъ именъ, написанныхъ ихъ азбукою? Если для этого вы сблизите русскую азбуку съ французскою, этимъ самымъ разведете ее съ греческою, латинскою, нѣмецкою, англійскою, итальянскою. И притомъ, сблизивъ ее съ французскою (такъ же, какъ и со всякою другою), вы изнасилуете въ ней духъ, геній русскаго языка. Г. Кодинскій такъ и сдѣлалъ,

сближая русскую азбуку преимущественно съ французскою и отчасти съ итальянскою и латинскою. Полюбуйтесь его затѣйливымъ изобрѣтеніемъ, которое онъ называлъ «упрощеніемъ» русской грамматики, тогда какъ его слѣдовало бы назвать «затрудненіемъ», или новою, еще ужаснѣйшею «путаницею» русской грамматики.

Прежде всего скажемъ, что г. Кординскій выкидываетъ изъ русскаго алфавита букву *К* и вводитъ, вмѣсто ея, букву *Q*. Къ чему это? За чѣмъ безъ всякой нужды нарушать привычку народа? Чѣмъ наше *К* хуже *Q*? Буква *К* нисколько не безобразна и принята всѣми европейскими азбуками, хотя болѣе какъ добавочная, нежели какъ необходимая буква. Пусть въ русской азбукѣ она будетъ употребляться гораздо чаще, нежели въ другихъ: это придаетъ русскому шрифту оригинальный характеръ. Притомъ же, буква *Q* рѣшительно отвергается духомъ русскаго языка, потому что въ самомъ латинскомъ и происшедшихъ отъ него языкахъ, это буква особенная, самобытная: она употребляется въ нихъ не иначе, какъ въ соединеніи съ полугласною *U*, которой у насъ нѣтъ; а во всѣхъ другихъ случаяхъ, звукъ *К* выражается въ этихъ языкахъ буквою *C* и буквою *K*. Но г. Кординскій и въ отношеніи къ буквѣ *C* не усомнился безъ нужды заставить русскій языкъ переразнить латинскій и происшедшіе отъ него языки: буква *C*, въ его новомъ алфавитѣ, передъ всѣми согласными буквами и гласными *a*, *o*, *u*, должна произноситься за *к*. «То же произношеніе (говоритъ онъ) *C* удерживаетъ въ слогахъ *che*, *chi*». Чтò за чудеса!... Но прослѣдимъ азбуку г-на Кординскаго по порядку, съ начала до конца. Буква *e* пишется у него, во первыхъ, просто какъ *e*, и произносится какъ э; потомъ, пишется она у него черезъ *ie*, *je*, *ê*, *ee*. Ё ставится въ сравнительныхъ степеняхъ на мѣсто ъ; но въ нарѣчійхъ и мѣстоименіяхъ на мѣсто ъ ставится *ee*: чтò за путаница, чтò за

хаосъ! А, Е, И, послѣ *i* произносятся, какъ *я*. *е*, *ю*. наприм.: ученіе, ученіа, ученію. Если же вмѣсто *i* стоитъ *ь*, то онъ замѣняется буквою *j*. Буква *i* послѣ гласныхъ произносится какъ *й* (иже краткое), а когда ее должно произнести явственно, надъ нею ставится двоеточіе: *voïp*, *voïna*. Е произносится какъ *йо* (мѣдъ). ЕА замѣняетъ *я* послѣ согласной: *sebea*, *tebea* (себя, тебя). Ъ замѣняетъ *ю* послѣ согласной: *pūhaïu* (нюхаю), *gūtsa* (рюмка). НІ замѣняетъ *ы*: *bhil* (былъ), *ghibhi* (рыбы). Это значить, что *г* и *ь* замѣнены буквою *h*!... У произносится двоякимъ образомъ: 1) въ концѣ слоговъ — какъ *й*: *sinu* (синій), *dobgu* (добрый, а не добр-й), *ubusza* (убійца); 2) означая союзъ, послѣ гласной, и въ греческихъ именахъ, произносится какъ *и*: *linu* (линіи), *systema* (система). С, G, X, имѣютъ двоякое произношеніе: С въ концѣ словъ, передъ согласными, и передъ гласными *а*, *о*, *и*. какъ *к*; передъ *е*, *и*, *h*, за *ч* (червь): *ucép* (учень), *ucith* (учить), *posh* (ночь); G въ концѣ словъ, передъ согласною и передъ гласными *а*, *о*, *и*, за *г*: *dolg* (долгъ), *grad* (градъ), *poga*, *pogi*, *pogoi* (нога, ногу, ногой); то же произношеніе оно удерживаетъ въ слогахъ *ghe*, *ghi*: *poghi*, на *poghe* (ноги, на ногѣ); X въ концѣ словъ, передъ согласною и передъ гласными *а*, *о*, *и*, за *х*; то же произношеніе удерживаетъ въ слогахъ *xhe*, *xhi*; а передъ *е*, *и*, *h*, за *ш*. Ç произносится за *ц*, и ставится только въ иностранныхъ именахъ передъ гласными *е*, *і*: *Greçia*, *Ногасу*, *Sçena*. CZ выражаетъ тотъ же звукъ и ставится въ началѣ и въ концѣ русскихъ словъ: *czarh* (царь), *dworesz* (дворецъ). Окончаніе *tia* произносится за *ція* въ латинскихъ словахъ. SZ произносится какъ *ш*. СН передъ *н* произносится за *ш*: *scuchno* (скушно). OF, EF — за *овъ*, *евъ*: *Orlof*, *Gusef*. AU, EU, въ словахъ, взятыхъ съ латинскаго, за *ав*, *ев*: *аулога* (аврора), *Eugheny* (Евгеній).

Это, изволите видѣть, «упрощенная» грамматика! Да она

убійственнѣе, мудренѣе и скучнѣе всѣхъ возможныхъ запутанныхъ грамматикъ! Нельзя не согласиться, что у г. Кординскаго должны быть удивительныя способности, если онъ могъ изъучить эту собственнаго своего изобрѣтенія азбуку. Даже понять ее могутъ только люди, знающіе по-французски; но чтобъ ей можно было выучить человѣка, незнающаго ни одного иностраннаго языка, — этого и предположить невозможно. Будь такая азбука принята, — и ни одинъ русскій крестьянинъ не могъ бы выучиться русской грамотѣ: для этого ему сперва надобно было бы выучиться по-французски... Г. Кординскій хочетъ, чтобъ каждая буква имѣла одинъ только звукъ, а не хочетъ, чтобъ каждый звукъ выражался только одною буквою (безъ чего упрощеніе есть новое затрудненіе), — и потому у него звукъ *ц* выражается сперва знакомъ *с*, потомъ *tia*, далѣе *сз*; *ch* превращается въ *ш*, и *x* выговаривается, за *ш*: какъ все это просто!

Очевидно, что г. Кординскій не видитъ живаго соотношенія между звуками языка и выражающими ихъ письменными знаками. Правда, начертаніе буквъ — дѣло совершенно условное и произвольное; но число буквъ и существованіе нѣсколькихъ знаковъ для выраженія одинаковыхъ или сходныхъ звуковъ, — все это уже не такъ условно, какъ можетъ казаться. Замѣненіе же одной буквы другою въ одномъ и томъ же словѣ основано на родственности звуковъ. Такъ въ русскомъ языкѣ буквы *з*, *д*, *з* переходятъ въ родственную имъ *ж*: мною — множество, годный — го~~ж~~усь, вязать — вя~~ж~~у; *к*, *т*, *ц* переходятъ въ *ч*: лукъ — лу~~ч~~окъ, метать — ме~~ч~~у, отецъ — отечество; *с* и *х* переходятъ въ *ш*: слать — ~~ш~~лю, орѣхъ — орѣ~~ш~~никъ, и т. д. Эта перестановка буквъ ни для кого изъ Русскихъ не можетъ представлять никакого затрудненія. Простолудинъ, учась грамотѣ, и не замѣтитъ вовсе этого перехода буквъ, потому что этого перехода требуетъ его ухо, и

потому что, еще не умѣя читать, онъ умѣлъ въ разговорѣ представлять эти буквы. А до иностранцевъ намъ дѣла нѣтъ: если хотятъ знать нашъ языкъ пусть трудятся при его изученіи, какъ трудимся мы, изучая ихъ языки. Притомъ же, мѣсто г. Козинскаго нисколько не облегчаетъ для нихъ измѣненія буквъ: правило и при ней остается правиломъ. Г. Козинскій не понялъ значенія нашихъ буквъ *ж* и *ь* и думалъ замѣнить ихъ латинскимъ *h*; все это выходитъ какъ-то дико...

Мы не претендуемъ произвести реформу русскаго алфавита, хотя и желаемъ ея; но еслибъ насъ спросили, какъ ее сдѣлать. — то думаемъ, что мы могли бы представить болѣе простой и сообразный съ духомъ русскаго языка планъ этой реформы, нежели планъ г. Козинскаго. Вотъ наше мнѣніе объ этомъ предметѣ.

Главная и существенная трудность сдѣлать нашу азбуку, доселѣ вполнину и некрасиво-латинскую, вполнѣ латинскою, заключается не столько въ исключеніи старыхъ буквъ и приобщеніи новыхъ, сколько въ необходимости тѣми же знаками, которые уже есть въ нашей азбукѣ, выражать другіе звуки, нежели какіе выражаютъ они теперь. То, что мы доселѣ произносили какъ *рцы*, надобно будетъ произносить какъ *покой*, а начертаніе останется такое же, какъ и было—*Рр*. Теперешнее *вѣди* обратилось бы въ заглавное *буки*—*В*, а теперешній *ерь* — въ строчное *буки* — *в*. Теперешній нашъ *обратился* бы въ заглавное *га* — *Н*; а теперешнее слово *обратилось* бы въ *цы*, а *цы* обратилось бы въ *ца*. Строчное *мыслете* печаталось бы какъ печаталось прежде строчное твердо и какъ теперь употребляется твердо въ письмѣ и курсивѣ—*т*; а строчный *покой* выговаривался бы какъ нашъ—*н*. Такъ какъ наши *ы* (еры) вельми безобразны, то ихъ слѣдуетъ исключить, а выражаемый ими звукъ поручить представлять буквѣ *Уу*, какъ въ польскомъ языкѣ. Вотъ всѣ существен-



ныя, важныя и самыя трудныя перемѣны, всего на все девять числомъ. Буквы: Аа, Оо, Ее, Іі, Кк, М, Т, Хх, Яя, остались бы безъ перемѣны и въ произношеніи и въ начертаніи, за исключеніемъ введенія надстрочныхъ знаковъ надъ Ее. Новыхъ буквъ принято было бы четырнадцать: Gg, для выраженія густаго звука теперешняго глаголя; строчное h, для выраженія (съ заглавнымъ Н) мягкаго, болѣе малороссійскому, нежели русскому языку свойственнаго звука теперешняго глаголя; Dd, въ замѣну чудовишнаго добра — Дд; Ff на-мѣсто ферта — Ф ф; Z z, въ замѣну некрасивой буквы земля (Зз); Zz, перечеркнутый въ серединѣ тонкою чертою, въ замѣну широкаго, кудряваго и некрасиваго живете — Жж; Ll въ замѣну некрасивой буквы люди — Лл; N на-мѣсто буквы нашъ, которая должна обратиться въ га (Н); Rr, на-мѣсто рцы, которое должно обратиться въ *не* — Рр; строчное t, въ замѣну неудобнаго твердо—т; Ss, на мѣсто слова, которое должно замѣнить собою цы; Ss, перечеркнутое тоненькою чертою посерединѣ, или отличенное другимъ какимъ-нибудь значкомъ наприимѣръ, сѣдѣлемъ, должно замѣнить широкое и некрасивое *ша* — Шш; Uu, на-мѣсто теперешняго Уу, котораго должно будетъ замѣнить собою исключенное еры; V на мѣсто В (вѣди), которыя должны будутъ замѣнить собою буки, и v на мѣсто исключеннаго строчнаго вѣди (е); теперешнее Ю ю, какъ некрасивое и неудобное, должно подвергнуться перемѣнѣ въ начертаніи, хоть, наприимѣръ, такъ Юу, какъ мы уже говорили объ этомъ выше. Буквы: Б б, в, Г г, Д д, Ж ж, З з, И и, Л л, н, П, т, Ф ф, Ш ш, Щ щ, Ы, Ъ ъ, Э э, Ө ө, V v, должны быть исключены—однѣ какъ замѣненные, другія какъ излишнія и вовсе ненужныя. Буквы Ч и Щ могутъ и должны остаться въ русской азбукѣ,—первая безъ всякой перемѣны въ начертаніи, такъ какъ она нисколько не безобразна; вторая можетъ быть

замѣнена буквою ц (*цы*). Противъ *щ* многіе возстаютъ, какъ противъ ненужной и излишней буквы; но это не совсѣмъ справедливо: если мы легко можемъ обойтись безъ нея въ словахъ: *счастіе, счетъ* и т. п., то не можемъ обойтись безъ нея въ причастіяхъ, оканчивающихся на *щій*. Не писать же—*дѣлающій*, вмѣсто *дѣлающій*!

Что же касается до придыхательныхъ Ъ (ерь) и Ь (ерь),—ихъ невозможно исключить изъ русской азбуки; но можно избѣжать употребленія Ъ (ера), хотя и не вовсе. Такъ какъ теперь обѣ эти буквы употребляются только для показанія тупаго или остраго окончанія согласныхъ и только одинъ Ъ (ерь) употребляется какъ придыханіе въ сложныхъ словахъ, первая часть которыхъ состоитъ изъ предлога (объявленіе, изъясненіе, отъясненный),—то довольно оставить одинъ Ь, а Ъ употреблять въ сложныхъ словахъ, или даже и тамъ замѣнять его апострофомъ (ob'яvlenie), — такъ, чтобъ на присутствіе *ера* указывало отсутствіе *еря*. Самый *ерь* можно замѣнять острымъ удареніемъ надъ согласными; а тамъ, гдѣ нельзя употреблять этого ударенія по требованію красоты, какъ наприимѣръ, надъ буквами *t* и *l*, и въ тѣхъ словахъ, гдѣ необходимо присутствіе *еря* (ученье, тряпье, юпье, мытье), тамъ можно будетъ писать его *i*, только безъ точки наверху. Это тѣмъ удобнѣе и приличнѣе, что обѣ эти буквы родственны, и *ерь* есть не что иное, какъ половина *i*, и они часто употребляются одинъ вмѣсто другаго: видѣніе—видѣнье.

Такимъ образомъ, составила бы слѣдующая, изъ тридцати-двухъ буквъ состоящая азбука:

A a, B b (*бе*), C c (*це*), D d (*де*), E e, F f (*эфъ*), G g (*густое га*), H h (*тонкое га*), I i, J j, K k, L l (*ла*), M m, N n, O o, P p (*пе*), R r (*ре, рцы*), S s (*эсъ—слово*), Š š (*ша*), T t (*те—твердо*), U u (*у*), V v (*ве—вѣди*), X x (*ха—херъ*), Ч ч (*че—червь*), Ц ц (*ца*),

*Z z (зетъ — земля), Z z (же — живете), ъ (ерь), і (ерь), У у (еры) Я я, D d (ю).*

Представляя эту азбуку, мы отнюдь не претендуемъ видѣть въ ней наше изобрѣтеніе, котораго каждую черту мы готовы были бы отстаивать какъ непреложную истину. И потому, мы всего менѣе расположены держаться упорно собственно нами изобрѣтенныхъ буквъ: *Zz, Sz, Dd*. Пусть будутъ эти, пусть другіе замѣняютъ ихъ другими, болѣе удобными и красивыми — все равно! Мы только думаемъ, что такъ какъ *Зз* и *Жж*, *Сс* и *Шш* — звуки родственные и замѣняющіе въ словахъ другъ друга, то и начертаніе ихъ должно быть сходное. Но главное тутъ — избѣжать составныхъ буквъ въ родѣ *Ch, Sch*, обезображивающихъ нѣмецкую и польскую азбуку, и чтобъ каждый звукъ имѣлъ свою особенную букву, и каждая буква имѣла свой звукъ. Подобная реформа — будь она даже возможна — не можетъ быть произведена однимъ человѣкомъ, и самый планъ ея, какъ бы онъ ни былъ удаченъ, необходимо долженъ испытать на себѣ много постороннихъ вліяній и значительно измѣниться. Во всякомъ случаѣ, усвоивъ себѣ такой, или подобный этому шрифтъ, русская азбука не отличалась бы рѣзко отъ другихъ европейскихъ алфавитовъ, а между тѣмъ и не утратила бы своей оригинальности; тогда сдѣлалось бы возможнымъ печатать русскія книги не только красиво, изящно и четко, какъ крупнымъ, такъ и мелкимъ шрифтомъ, но еще и убористо, такъ что русскій переводъ французской книги не былъ бы въ полтора или почти въ два раза толще подлинника. Но — еще разъ — подобныя реформы не зависятъ отъ воли или желанія одного лица, и мы высказали свое мнѣніе о пользѣ и возможности азбучной реформы не больше какъ мечту... Но что касается до изложеннаго нами мнѣнія въ началѣ этой статьи, объ округленіи угловатыхъ русскихъ буквъ, о замѣненіи буквы *л* буквою *ѣ* и вообще о необ-

ходимости надстрочныхъ знаковъ надъ буквою *e*; о замѣненіи же краткаго (й) знакомъ *j*, и объ исключеніи изъ русскаго алфавита буквъ: *и*, *э*, *ѳ*, *ѵ*, — обо всемъ этомъ мы говорили съ увѣренностью, какъ о дѣлѣ совершенно возможномъ для исполненія, и—что бы ни говорили о насъ—нешутя советуемъ подумать объ этомъ нашимъ журналистамъ и литераторамъ.

СПИСОКЪ КНИГЪ, ОТЗЫВЫ О КОТОРЫХЪ, ПО НЕЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ СВОЕЙ, НЕ ВОШЛИ ВЪ ДЕВЯТУЮ ЧАСТЬ ЭТОГО СОБРАНІЯ.

1844 г. *Отечественныя Записки. Кн. 2* Другъ дѣтей. — Прогулка съ дѣтьми по земному шару. В. Бурьянова. — Записки Петра Ивановича. соч. Фурмана. — Священная исторія въ разговорахъ для маленькихъ дѣтей. А. Ишимова. — Новыя повѣсти для дѣтей, Анны Зонтагъ. — Русскія сказки для дѣтей. — Елка, альманахъ для дѣтей. — Золотые цвѣтки. — Книга Хамелеонъ. — Литературный калейдоскопъ, Машкова. — *Кн. 3.* Письма Русскаго изъ Персіи. — Исторія Кіевской академіи. — Юродивый мальчикъ въ желѣзномъ клубкѣ. — *Кн. 4.* Путевыя Записки Зайца, соч. Гребенки. — Литературный калейдоскопъ, Машкова. Вып. 2. — Записки молодого челоѵка въ стихахъ. — *Кн. 5.* Сенсация Курдюковой. — Коммеражі. — Тарантелла. — Булочная, водевилъ П. Каратыгина. — *Кн. 6.* Дамскій альбомъ. — Союзъ любопытства съ пользою. — Азбука русская новѣйшая и новыя дѣтскія поздравленія. — Маленькій фокусникъ. — *Кн. 10.* Пятидесятилѣтіе литературной жизни С. Н. Глинки. — *Кн. 11.* Записки Порошина. — *Кн. 12.* Очерки южной Франціи и Ниццы, соч. Жуковой. — Очерки всеобщей исторіи для дѣтей, соч. Модестова. — Исторія царствованія Екатерины II. — Исторія царствованія Александра I. — Герои преферанса. — Трактатъ о преферансѣ. — Повѣсть о великой битвѣ Бородинской, соч. Н. Полеваго.

КОНЕЦЪ ДЕВЯТОЙ ЧАСТИ.

## ОГЛАВЛЕНІЕ ДЕВЯТОЙ ЧАСТИ

1844

### ОТЕЧЕСТВЕННЫЯ ЗАПИСКИ.

#### 1

##### КРИТИКА

(ОКОНЧАНИЕ)

	Стр.
Парижскія тайны, романъ Евгенія Сю . . . . .	3
Сочиненія Кн. В. Ѳ. Одоевскаго . . . . .	29

#### 2.

##### БИБЛИОГРАФІЯ.

Семейство, романъ Фредерика Бремеръ . . . . .	69
Суворовъ, соч. Ѳ. Булгарина. Вып. I. . . . .	75
Налъ и Дамаянти. Перев. В. А. Жуковскаго. . . . .	76
Басни И. А. Крылова . . . . .	78
Герой нашего времени, соч. М. Лермонтова. . . . .	80
Жизнь какъ она есть, записки неизвѣстнаго, изданныя Брантомъ. . . . .	83
Амарантосъ или розы возражденной Эллады . . . . .	101
Тысяча и одна ночь Т. XI—XV . . . . .	104
Сказка за сказкой Т. IV. . . . .	106
Объ историческомъ значеніи русской народной поэзіи, соч. Костомарова . . . . .	111
Гамлетъ, трагедія В. Шекспира, переводъ А. Кронеберга . . . . .	112
Парижскія тайны, романъ Е. Сю . . . . .	120
Очерки свѣта и жизни, соч. Вл. Войта.—Фантастическое описаніе кабинета Д. С. С. Д...а . . . . .	128
Молодикъ, украинскій сборникъ на 1844 г. . . . .	133
Антологія изъ Ж. П. Рихтера . . . . .	140
Старинная сказка объ Иванушкѣ Дурачкѣ, соч. Н. Полеваго . . . . .	155

	Стр.
Учебный курсъ словесности Пяксина . . . . .	161
Краткія выписки, собранныя изъ лучшихъ русскихъ писателей . . . . .	169
Инстинктъ животныхъ, соч. Надежды Мёрдеръ . . . . .	170
Стихотворенія Лермонтова. Ч. IV . . . . .	171
Стихотворенія Жуковского Т. IX . . . . .	176
Архангельскій историко-литературный сборникъ . . . . .	187
На сонъ грядущій, соч. гр. Соллогуба. Т. I. . . . .	191

### 3

#### ТЕАТРЪ.

Русскій театр въ Петербургѣ . . . . .	199
---------------------------------------	-----

### 1845

#### ОТЕЧЕСТВЕННЫЯ ЗАПИСКИ.

### 4

#### КРИТИКА

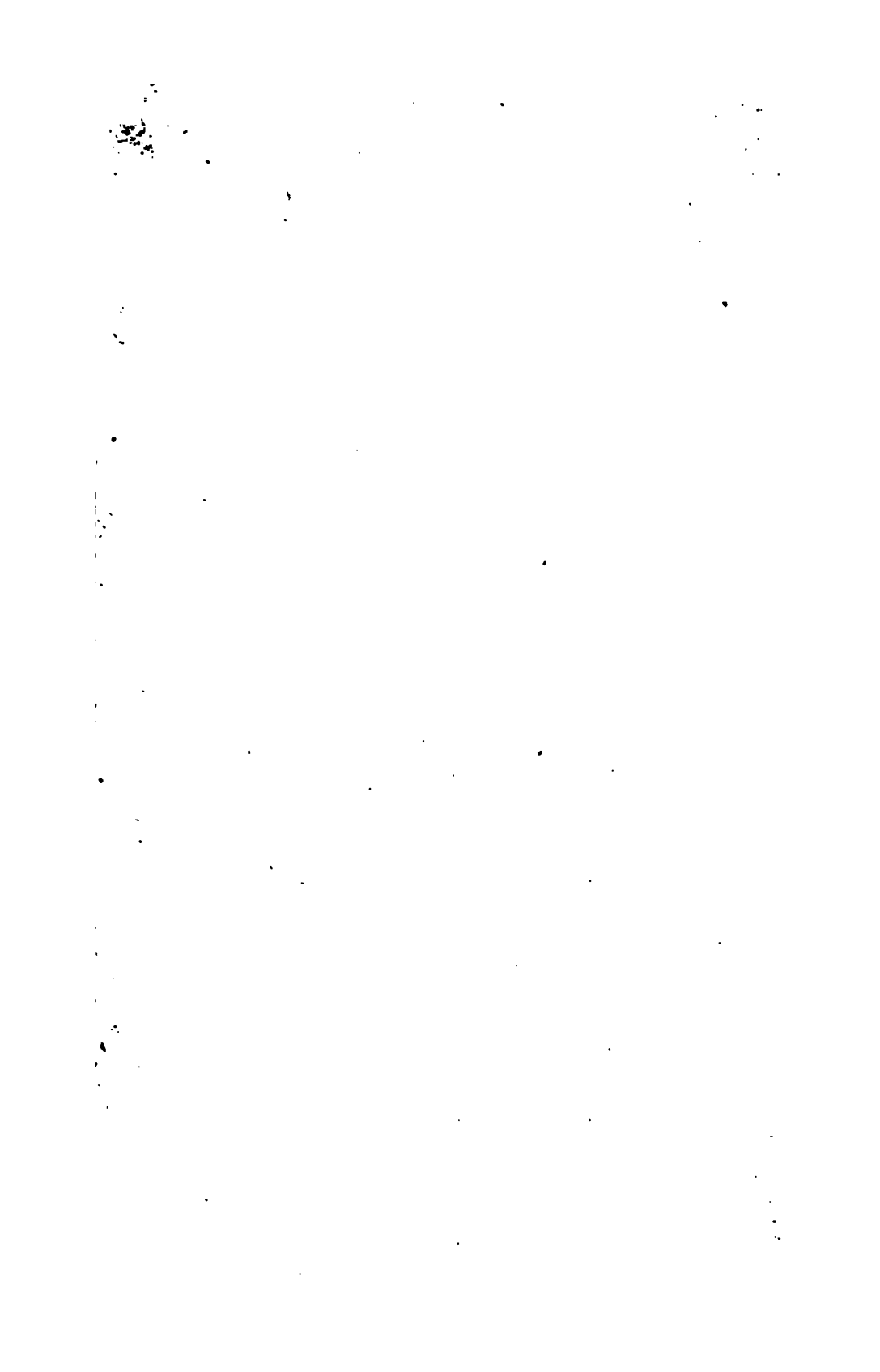
Русская литература въ 1844 году . . . . .	227
Тарантасъ, соч. гр. Соллогуба . . . . .	309
Опытъ исторіи русской литературы, соч. А. Никитенко . . . . .	370
Славянскій сборникъ, Н. В. Савельева-Ростиславича . . . . .	391
Сто Русскихъ литераторовъ. Т. III . . . . .	439
Упрощеніе русской грамматики, соч. К. М. Кюдинскаго . . . . .	484

---

Списокъ книгъ, отзывы о которыхъ, по незначительности своей не вошли въ девятую часть этого собранія. . . . . 510

---



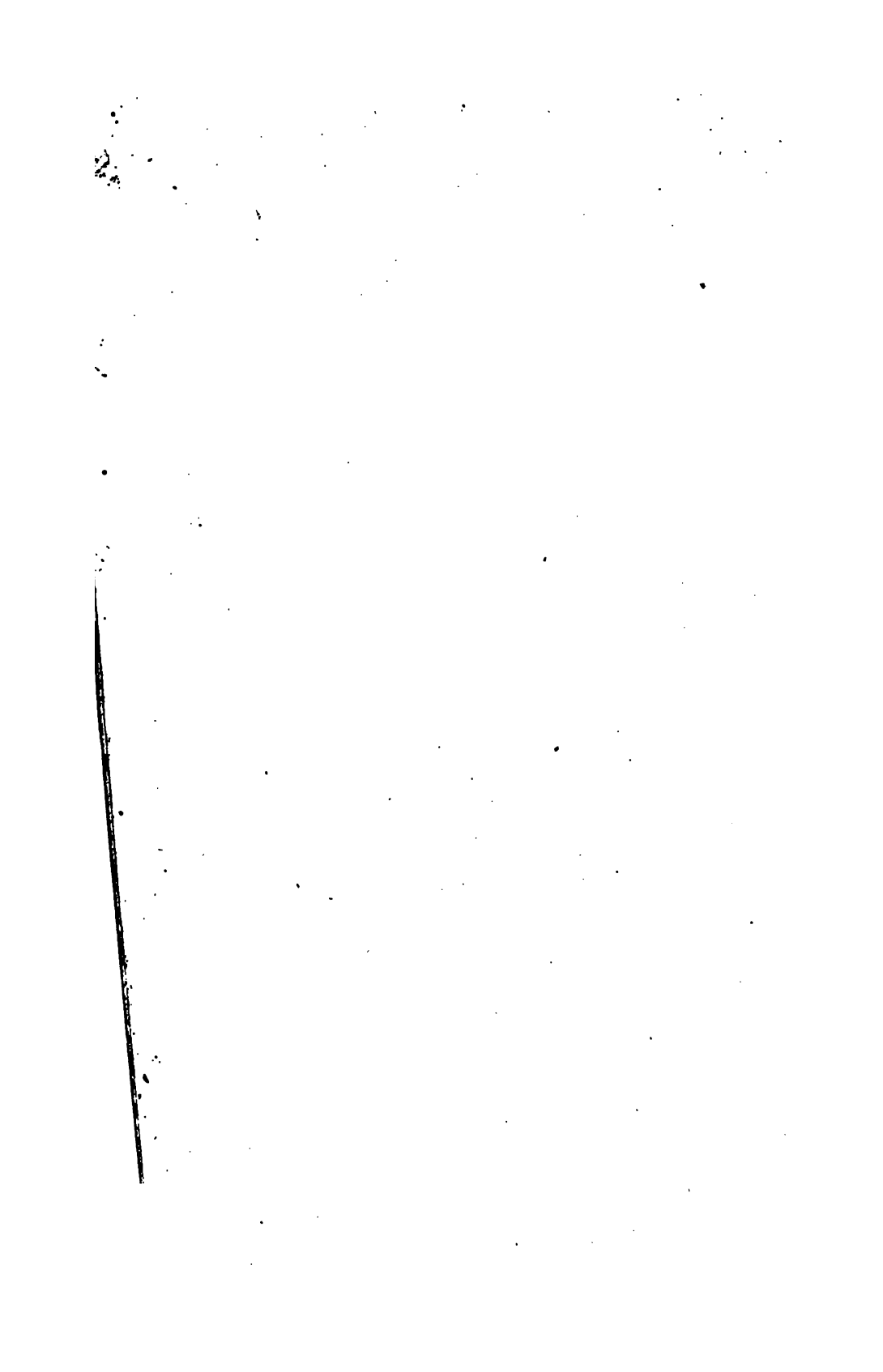




PG  
2933  
B4  
1860  
v. 9

**Stanford University Libraries  
Stanford, California**

**Return this book on or before date due.**



PG  
2933  
B4  
1860  
v. 9

**Stanford University Libraries  
Stanford, California**

**Return this book on or before date due.**

--	--	--

